

BIBLIOTHECA IGNATIANA
БОГОСЛОВИЕ, ДУХОВНОСТЬ, НАУКА

В. В. БИБИХИН

Витгенштейн:
смена аспекта



В. В. БИБИХИН

Витгенштейн:
смена аспекта

BIBLIOTHECA IGNATIANA
БОГОСЛОВИЕ, ДУХОВНОСТЬ, НАУКА

В. В. БИБИХИН

Витгенштейн:
смена аспекта

Институт философии, теологии и истории
Святого Фомы
Москва 2005

Научный совет издания:

о. Михаил Арранц (S. J.) — председатель

Анатолий Ахутин

Владимир Биbihин

о. Октавио Вильчес-Ландин (S. J.)

Андрей Коваль — ученый секретарь

Николай Мусхелишвили

о. Станислав Опея (S. J.)

ISBN 5-94242-011-4

© В. В. Биbihин, 2005

© Институт философии, теологии и истории
св. Фомы, 2005

Es kann *Höhe* der Seele sein, wenn ein Philosoph schweigt.
NIETZSCHE, KSA 12, S. 484

СОДЕРЖАНИЕ

Общее замечание	9
I ЛОГИКА	19
1 Уайтхед и «Записи» 1913 года	19
2 Рассел и Витгенштейн	29
3 Сказать и показать	42
4 Субъект-предикатная форма	50
5 Рисунок	55
6 Внутренние отношения	59
7 Фраза	67
8 Операция	77
9 Положение вещей	83
10 Простые неопределимые	87
11 Экскурс: теория языка Ф. де Соссюра	91
12 Этика	109
II ТРАКТАТ	115
1 Факт	115
2 Целое	123
3 Предмет	133
4 Экскурс: Одно	139
5 Измерение мира	142
6 Понимание	146
7 Измерение мира (продолжение)	154
8 Применение знака	164
9 Органика языка	172
10 Логическая форма и действительность	181
11 Да и нет	196
12 Отрицание и числовой ряд	211
III ЯЗЫК И СОЗНАНИЕ	223
1 Притяжение тождества	223
2 Метод описания и тождество	233

СОДЕРЖАНИЕ

3	Между Поппером и Расселом	242
4	Экскурс: «То же самое» Ницше	257
5	Граница психологии	267
6	За границей психологии. Имя	277
7	Невозможное суждение	281
8	Необходимое суждение	286
9	Вещь и слово	297
10	Экскурс: Витгенштейн и Хайдеггер	315
IV	ЛИЦО БЕСКОНЕЧНОСТИ	337
1	Опора на естественный язык	337
2	Семейное сходство	348
3	Исчезающий ступ	353
4	Следовать правилу	364
5	Представление	384
6	Экскурс: Тождество и Я у Чжуан-цзы	394
7	Ментальные процессы и выражение	402
8	Смена аспекта	418
9	Смена аспекта (продолжение). Автомат	434
10	Смена аспекта (продолжение). Имя	442
V	ЦВЕТ	461
1	Экскурс: Гёте и Ньютон	461
2	Экскурс: Платон, Аристотель	486
3	Белое и черное	493
4	Цвет логики	503
5	Логика и языковые игры	505
Приложение		
<i>Людвиг Витгенштейн. Шифрованные дневники</i>		515

ОБЩЕЕ ЗАМЕЧАНИЕ ¹

Время ставит под вопрос наше соответствие ситуации, тому, что мы говорим, и нам самим. Нам не хватает утверждения. Мы часто говорим безответственно и почти всегда безответно. Наша речь во всяком случае не безусловна. Нас тревожит ее неопределенность. С ощущения решающей важности мысли и слова начинается философская работа.

Неустойчивость нашего положения кого-то толкнет искать утверждения на столпе истины. Разумный знает, что первый жест испуга перед неопределенностью введет ее во все наши будущие постройки. Необеспеченность истиной примет прочные формы. Догма не допустит своего опровержения, скепсис всегда оправдывает себя. Успокоиться в крайностях легче чем держаться равновесия. Но неспособность вписать себя в сетку расхожих мнений еще не признак безнадежности. Можно, не впадая в самоутверждение, найти прочную опору в нашей человеческой нищете.

Два ведущих философа 20 века родились в 1889 году, Людвиг Витгенштейн 26 апреля, Мартин Хайдеггер 26 сентября. Витгенштейн вырос и получил начальное образование в Вене конца империи сыном видного в деловом и культурном мире лица. После семейного образования и интерната в Линце он учился с 1906 года инженерному делу в берлинской Высшей технической школе. Европа доживала эпоху веры в науку, машину и систему. Можно понять, как технический стиль был близок молодому человеку, чей отец был организатором сталелитейной промышленности в Австро-Венгрии и имел зарубежными коллегами Эндрю Карнеги в США и семью немецких Круппов.

Людвиг учился инженерному делу недолго не из-за недостатка способностей или интереса. Другое захватило его. В его речи и мысли однако осталась подкладка жесткой технической школы. Она учила сухой деловитости. Едва ли в меньшей мере чем научная дисциплина его стиль определяла музыкальная сторона воспитания. Его мать поддерживала в своем доме салон, куда могла приглашать как друзей Иоганнеса Брам-

¹ В основе работы лежит курс, прочитанный в 1994–1995 на философском факультете МГУ и повторенный там же в 2002–2003.

са, Густава Малера, Бруно Вальтера. Один из братьев Людвиг был европейски известный пианист. Читатель Витгенштейна обратит внимание на профессиональный уровень его беглых замечаний о музыке.

Витгенштейн вобрал в себя опыт самоубийства Европы в первой мировой войне. Он отслужил ее в австрийской армии всю с последующим девятимесячным пленом в Италии. Вторую мировую войну он перенес гражданином Великобритании на вспомогательных должностях в лондонском госпитале Томаса Гая, потом в исследовательской группе по физиологии (Ньюкасл).

Об определяющих событиях своей жизни Витгенштейн молчит. Все сделанное им было сбережением того, о чем невозможно сказать. Он не выдавал в своей речи интимного. Его стиль строго соблюдает границы области, куда объяснение не достает. Отстраненная речь, параллельная абстракции новой музыки и живописи, сложилась у Витгенштейна рано. Исполнители его воли по завещанию, распорядители архива¹ издали военные дневники 1914–1916 годов только в их философской части. Позднее опубликованная интимная часть этих дневников² показывает верность призванию и безжалостное наблюдение себя. В «Логико-философском трактате» тридцатилетний автор сковал себя логическим формализмом.

Исследователи ищут разоблачающих документов, по мемуарам восстанавливают черты, сближающие изучаемого человека с обыденным уровнем. Создается иллюзия понятности персонажа, у которого, как у всех, жизнь будто бы делилась на интимную и профессиональную стороны. Между тем в Витгенштейне мы имеем дело с одним из тех редчайших достижений, когда все человеческое существо оказалось с ранних лет собрано вокруг важного открытия. Он называл счастье долгом.

1 Elizabeth Anscombe, Rush Rhees и Georg Henrik von Wright принадлежат поколению людей, лично знавших Витгенштейна, им очарованных, потянувшихся к его теплу, задетых жаром его присутствия, заразившихся им. Их сменяют другие энтузиасты. Теперешний хранитель витгенштейновского архива Michael Nedo руководит полным критическим изданием Витгенштейна в Springer Verlag (Вена, Нью-Йорк). Ожидаемое общее число томов неизвестно. Затягивается работа с рукописями, которых в архиве больше 30 000 страниц. Исследователи пользуются пока в основном часто переиздаваемым восьмитомником *L. Wittgenstein, Werkausgabe, 8 Bd. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft* 1984, где наскоро перепечатано издававшееся в разные годы и в разных местах. Везде ниже мы ссылаемся на это издание, обозначая его двумя буквами WA с указанием тома и страницы.

2 См. Приложение с. 515–570.

Судьба человека, который метался в поисках путей, почти ничего не напечатал, оставил все во фрагментах, последние годы был неизлечимо болен, может показаться незавидной. Поэтому у него оставалась необходимость, умирая, перед последней потерей сознания сказать:

Передай им, что у меня была прекрасная жизнь.

Важным для вдумчивого наблюдателя знаком философской захваченности этого человека было то, что после смерти отца 20.1.1913 Людвиг оставил себя ради свободы философских занятий без наследства, пожертвовав 100 000 крон на пособия людям искусства и отказавшись от остальных денег в пользу членов семьи.

Присутствие Витгенштейна ощущается в 21 веке больше чем в прошлом. Понимания того, чем было захвачено его существо, по-прежнему немного. От Хайдеггера, Джойса, Антонена Арто, Ионеско мы конечно тоже далеки, но все же не в смысле интерпретаций с точностью до наоборот, которые слишком часто возникают при обсуждении мыслителя, чей путь нам предстоит проследить. В. связал себя задачей, которую считал самой трудной в философии: сказать не больше того что мы знаем¹. Для того невыразимого, что оберегалось его словом, на языке современности не нашлось других обозначений кроме логический позитивизм, логический эмпиризм, аналитическая философия, лингвистическая философия. При серьезной попытке подступить к его мысли надобность пользоваться этими рубриками отпадает. Ориентация на них уводит от дела в сферу интеллектуальных конструктов. В. занят не теорией, которая обслуживала бы практику, во всяком случае не философией языка и не анализом нравственных норм, а онтологической этикой, делом хранения бытия. Вычитать у него философию языка всегда возможно, но такое употребление его работы сравнимо с тем, как если бы кто листал Хайдеггера в поисках новой философской терминологии.

Темой должен стать Людвиг Витгенштейн, событие 20 века, без раздвоения на личность и труды, на ранний и поздний периоды, на континентальные и островные аспекты его философии. Сам Л. В. возражал бы против такого дробления. Он не захотел бы и вмешательства в свое дело с разъясняющими толкованиями. Событие не обязательно должно быть осмыслено, чтобы притягивать к себе. В. допускает рядом со своей только самостоятельную мысль, пусть спорную. Своими мнениями

1 WA 5, 75.

о его действиях лучше ему не мешать. Трудно ему и помочь. Смотреть на его голый текст так же мало что дает, как при операции наблюдать за жестами хирурга без знания дела. Человек со стороны тут мало что поймет и Бог весть что подумает. Пока нет доступа к открытию, захватившему философа, чтение его не принесет большой выгоды. Поможет только свой выход к первым вещам. Предисловие к единственной прижизненной книге Витгенштейна начинается с требования:

Эту книгу, наверное, только тот поймет, кто мысли, выраженные в ней — или хотя подобные мысли — уже сам однажды подумал.¹

Подумать их никто не научит (эта книга не учебник²), к ним каждый должен прийти неким образом сам.

В часто цитируемом афоризме 309 первой части посмертно опубликованных «Философских исследований» В. говорит о своей цели в философии, показать мухе выход из мухоловки³. Выход из этого устройства, несложного стеклянного лабиринта, для мухи собственно всегда открыт, надо только вернуться по своим следам назад. Муха однако оказывается к этому неспособна. В другом не реже цитируемом высказывании В. человек, запутавшийся в философской проблеме, словно хочет выбраться из комнаты, но не знает как. Он пробует через окошко, оно слишком высоко; пробует через камин, слишком узко. Если бы он только повернулся (turn around), то увидел бы, что дверь все время была открыта. В обоих случаях, мухи и заключенного, для успеха требуется слишком несложный шаг. Выйти в дверь намного легче чем протискиваться сквозь каминную трубу. Но насколько наступательное движение, каким живое существо внедряется в пространство, кажется естественно, настолько же противоположный шаг необычен. Технические, научные занятия человечества ориентированы на успехи прогресса. Растущая деятельность ведет к принятию дополнительных мер, осложняющих ситуацию.

Хайдеггер прав, называя Витгенштейна человеком в поисках выхода, за спиной которого открытая дверь. Но и Хайдеггер думает о повороте (Kehre) к другому началу. Поворот, которого ждут вслед за Платоном

1 «Dieses Buch wird vielleicht nur der verstehen, der die Gedanken, die darin ausgedrückt sind — oder doch ähnliche Gedanken — schon selbst einmal gedacht hat» (WA 1, 9).

2 «Es ist also kein Lehrbuch» (ibid.).

3 «Was ist dein Ziel in der Philosophie? — Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen» (Филос. исслед. I 309).

Витгенштейн и Хайдеггер, требует изменения ума без плана и указателя. Инструкции, какие он себе множит, только запутывают его теперешнее состояние. Поворот ума принадлежит к событиям, в принципе не поддающимся учету.

После освобождения от службы санитаром при раненых Витгенштейн в свои зрелые годы умеет многое, писать книги, читать лекции. Он однако не спешит публиковать почти готовые «Философские исследования» и к 1947 году оставляет чтение лекций в Кембридже. Ему ничего не интересно, кроме исканий мысли. Рядом с захваченностью ею все серо. Но небывалое нельзя получить по желанию. Зимой 1947–1948 в коттедже Росторо графства Голуэй на западном побережье Ирландии он сидит у моря, ждет погоды. Озарение не приходит. Он предполагает, что причиной тому его теперь уже неизлечимый рак. Снова, как в Норвегии зимой 1913–1914, близок нервный срыв, кроме того болит голова, тело, расстроен желудок. Об этих бедах он говорит мало. Главное, не идет работа. Он подстегивает себя: стало быть, пришла старость; да наверное и талант был невелик. Некоторые яблоки так никогда и не созревают; сначала они твердые и кислые, потом сразу становятся мягкими и дряблыми. Мой философский талант сейчас кончается; это большое несчастье, но всё так. Тогда издавай готовое, у тебя тысячи страниц рукописей; участвуй в конференциях, на которые всегда приглашают; преподавай. Витгенштейн хочет другого, чего сам себе устроить не может, что дается или не дается и без чего жить не имеет смысла.

В награду за мучительное ожидание, вынесенное без срыва в принятии мер, приходят несколько счастливых недель в ноябре и декабре 1948 года. В отеле Росса на Паркгейм-стрит в Дублине есть спокойная теплая комната, где он к своему удивлению обнаруживает, что снова способен работать. Дублинский покой не продлился и трех месяцев. Попеременно отчаяние сменялось необъяснимым счастьем вплоть до последних дней. Тогда стало окончательно ясно, что дело не в здоровье, географическом месте, удобном доме и не в продолжении жизни вообще. Зная достоверно, каким образом и примерно когда придет конец, получив приглашение от своего доктора Бивена прийти умирать в его дом в Кембридже, он пишет другу за 10 дней до своего 62-го дня рождения и за 13 дней до смерти:

Со мной произошло что-то из ряда вон выходящее. Приблизительно месяц назад я неожиданно обнаружил, что состояние моих интеллектуаль-

ных способностей таково, что я могу заниматься философией. Раньше я был *абсолютно* уверен, что никогда этого не смогу. Впервые после двух с половиной лет с моего мозга спала пелена. Конечно, пока я работаю всего где-то 5 недель, и к завтрашнему дню все может кончиться.¹

«Я буду работать сейчас как никогда раньше!» сказал он г-же Бивен. О предсмертной просьбе «передать им, что у меня была прекрасная жизнь», автор мемуаров пишет, что ему эти слова кажутся странно волнующими и полными тайны.²

Загадки, которыми Витгенштейн всегда говорил, отвечают тому неизвестному, чем он был захвачен. *Мистическое* — одно из его важных слов. Не требуются особые объяснения, почему путь, пройденный решающими умами 20 столетия, оказался таким необычным. Теперь яснее его необходимость. Отрешенная чистота была нужна среди смуты для сохранения целостности того, что не поддается представлению. Философ умеет своим словом хранить молчание, которое достойно питающей всех тайны.

Уникальность сделанного им не оставляет возможности нейтрального пересказа и повтора. Его мысль ускользнет от стараний установить ее. Его теорию невозможно в привычном смысле изложить. Поэтому его изводило собственное неумение преподавать, на которое он сердился, то решая уйти с кафедры, то на лекции выкрикивая в горе: но я чудовищный преподаватель, я порчу вас, господа, никуда не гоюсь. Передача его главного сообщения лишь мешало то, что от лектора с мировым именем терпели любые странности. Его нестандартные приемы проглатывались большинством с излишним согласием. Сдержанное неприятие оказалось бы здоровее. Академическая среда обходит бездны. Витгенштейна осваивают в надежде, что его проповедь удастся в конечном счете разложить на логико-философские, этические и мистические компоненты. Его жизненная цельность не поддается такому анализу. В конце концов он признал невозможность сообщить что-то важное методом университетского преподавания³, несмотря на всю предоставленную ему здесь свободу. Подобно Антонену Арто, он выбрал Ирландию для своего последнего бегства. Историографическая машина прорабатывает Витгенштейна по традиционным схемам. В ходу сравнение с Сокра-

1 Норман Малькольм, Людвиг Витгенштейн: воспоминания (пер. М. Дмитривской). — Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель. Сост. В. П. Руднев. М. 1993, с. 96.

2 Там же.

3 В те же годы к той же уверенности пришел Хайдеггер.

том, чьи жизнь и смерть предполагаются уже понятыми. Но уход Витгенштейна из университета был предупреждением о принципиальной невозможности справиться с ним привычными приемами философского освоения. Мировая научная среда мало изменилась после 1950-х годов в сторону большей восприимчивости к уникальному. Искания нестандартного ума ставят предприятие его изучения под вопрос. Мы не должны помогать адаптации мыслителя. Надо надеяться, что Московский университет имени Ломоносова благодаря гению страны остается местом, где удастся прислушаться к существенному и где через причастность к мировой истории сложилась достаточная традиция смирения и терпения, чтобы принять в случае неуспеха отрицательный результат.

Витгенштейн раскладывает свои загадки как игры. Здесь одна из возрожденных им черт архаики. Важное у него слово *das Spiel* включает понятия *свободный ход* и *система сложных движений*. Играя, художник разворачивает в науке, поэзии, музыке тонкость и сложность, способные отвечать полноте целого мира. Любого совершенства тут конечно окажется мало. В связи с загадками, задачами, фантазиями В. вспоминается ранняя древнегреческая мысль. У Гераклита разворачивание космоса во времени разыграно божественным младенцем эоном¹.

Особая тема — Витгенштейн и детство. После войны он по убеждению включился в образовательную программу новой Австрийской республики и шесть лет учительствовал в сельской школе. Его увлекла надежда найти в деревенских детях понимание своему сообщению. Другую сторону той же темы образует замеченное у самого Витгенштейна сохранение младенческой непосредственности. Он принадлежал к небольшому собранию тех, кто сумел навсегда сохранить в себе ребенка.

Игра принадлежит к существу человека. Детей не приходится ей учить. Стоит спросить, умеют ли они *не* играть. В древнегреческом языке *ребенок* и *игра* сросшиеся понятия. Гераклитовское *дитя играющее* — естественная этимологическая фигура (*παῖς παίζων*). О софии премудрости Божией, с какой устроен мир, мы по определению не знаем достаточно, чтобы уверенно отказывать ей в игре. Для понимания игры как естественного человеческого состояния нам, русскоязычным, приходится делать специальное усилие. Игра начинает отслаиваться от общего поведения и терять естественность с началом школы. Известна невыносимая жесткость подростковых игр. Игры взрослых или счастливо воз-

1 Гераклит, фр. В 52 (Дильс-Кранц).

вращают к детству, или уродливы и зловещи. Серьезность при долгом культивировании тяжела и провоцирует срыв. Современное человечество встраивается в компьютер, где серьезность и игра безысходно переплетены.

Серьезная игра сохраняется в музыке, драме, балете, поэзии. Из историографии, покровительница которой Клио в античности входила в число муз рядом с Мельпоменой и Терпсихорой, игру начиная с Нового времени вытесняют. Сказать, что история не меньше игра чем музыка, поэзия, театр, в наше время нельзя. От исторической науки требуют документальной точности. В своей архивной части она приближается к инстанции, выдающей официальные свидетельства. За отказ историографии в игре человечество расплачивается утратой интереса к ней. Между тем игра исподволь продолжается. Главные решения принимают часто без документов, важнейшие бумаги иногда уничтожают, а среди хранимого много продуктов административной фантазии.

Витгенштейн включает в языковые игры всю практику человеческой цивилизации. Частый образ первобытного племени позволяет ему вести анализ слепого уровня этой практики. Языковые игры обманчивое выражение, когда дело идет об операциях, в которые встроено тело с костями и кровью. Обиходный язык в афоризме 4.002 «Трактата» есть часть человеческого организма и не менее сложен чем тело. Слово слитно с поступком и действием. Речь уходит своими корнями в природу. Мы обнаруживаем себя играющими в языковые игры. От нас зависит обычно только выбор их правил. Они поддаются описанию. Каким правилам однако подчиняется переход от одной игры к другой или к никакой? Будет ли игрой смена и отмена правил? Зная нормы учебы на факультете, студенты становятся хорошими и плохими. Они могли стать никакими. Жесты, взгляды очень богатых людей другие чем у нас. Мир в целом мог быть устроен иначе. Дело никогда не складывается так, чтобы мы полностью отделились только одной игре и вложили себя целиком в ее успех. Нашим играм сопутствует неотделимая от них, пусть иллюзорная, возможность перемены.

У детей так называемого дошкольного возраста в первые пять лет жизни смена игры, так сказать, входит в игру. Потом отношение к игре сменится, как сказано, до полной противоположности. Правила обращения подростков между собой, с родителями и воспитателями крайне негибки. Одновременно с окостенением игры появляется порыв полной смены всех правил через побег из дома, смену друзей, иногда физиче-

ское уничтожение себя или партнеров по игре, ставшей невыносимо жестокой. У детей до пятилетнего возраста, который по Фрейду в доисторическом прошлом соответствовал полной зрелости человека, проблема смены игры и ее правил не существует. Младенец принимает предложенный ему мир — родившийся в тюрьме играет внутри сложившихся жизненных условий вместе с тамошними правилами, — и одновременно играет в правила, видя в них то, что подсказывает ему воображение. С позиции взрослого превосходства говорят о наивности или, хуже, неразумии детей. Ребенок может, подарив игрушку, тут же потребовать ее назад. Здесь нет нечестности и слабоумия. Игрушка была им подарена внутри прежней игры, а теперь он включил себя в другую.

В конечном счете взрослые меняют правила игры как дети, хотя и в более долгие сроки. С веками меняются шахматы. При смене цивилизаций меняются почти все игры. Человечество в целом поступает как ребенок, играющий не только в любых условиях, но и в любые условия, с той разницей, что дело здесь не ограничивается воображением.

Игры так называемого второго Витгенштейна противопоставляют строгости раннего «Логико-философского трактата», где тема игры почти отсутствует и «мир не зависит от моей воли» (6.373). Жесткость мира и языка создается поверхностным впечатлением от «Трактата». В свете этого впечатления поздний Витгенштейн якобы допускает пространство для игр. Скорее, в «Трактате» весь мир одна игра, которую нельзя изменить, но можно заменить. Здесь уместно вспомнить об ощущении другого мистика прошлого века. По Эжену Ионеско, мир нельзя исправить, но можно создать заново. Художественная речь Ионеско способна служить иллюстрацией к формулам логики:

В каждый момент времени за видимой реальностью стоит наготове другая реальность, другая вулканическая вселенная, готовая сместить первую, взорвать ее, расплавить... В конце концов возможно, что другой мир заменяет собою наш постепенно, почти незаметно для нас, без грозных катастроф, может быть, благодаря какой-то медленной метаморфозе, так что мы окажемся в иных просторах, не ведая о том.¹

Слово в «Логико-философском трактате» и раньше, в так называемом «Прототрактате» и в дневниках 1914–1916 годов, есть мера мира. Оно

1 Цит. по: В. В. Библихин, Искусство и обновление мира по Эжену Ионеско. — Самосознание культуры и искусства 20 века. М.–СПб.: Университетская книга 2000, с. 506. Здесь и везде, где не указан переводчик, перевод наш.

ОБЩЕЕ ЗАМЕЧАНИЕ

примеривается к нему, зондируя его на разную глубину. Мере тут нужно понимать широко, включая старое значение *отмерить* в смысле пройти расстояние или выдать определенное количество товара. Со своей стороны, мир в обоих смыслах времени и бытия задает предельную меру слова.

I ЛОГИКА

Логика может значить две вещи: (1) логическое исчисление как напр. Principia mathematica (2) философия логики.¹

1 УАЙТХЕД И «ЗАПИСИ» 1913 ГОДА

Учителями логики у Витгенштейна были Альфред Уайтхед почти заочно — он ушел из Кембриджа, хотя и остался членом Тринити Колледжа после тридцати лет учебы и преподавания там, в Лондон, где стал профессором прикладной математики в Imperial College, после выхода первого тома «Principia mathematica» в 1911 году, когда Витгенштейн приехал в Кембридж, — и лично Бертран Рассел, посоветовавший молодому немецкому инженеру заниматься философией, что для Рассела тогда и потом значило формальной логикой.

Уайтхед, судя по обыденности упоминаний о нем², в судьбе В. значил меньше чем Рассел. Логика Уайтхеда была онтологической, какой очень скоро стала и витгенштейновская. Ее опорой служили «вечные объекты», например³ число и цвет. Разрешено искать другие примеры eternal objects, но главными будут эти, лучше в обратном порядке из-за первичности и простоты цвета.⁴ Для иллюстрации цвета Уайтхед берет традиционное сравнение.

Гора стоит прочно. Но когда столетия сотрут ее, она исчезнет [...] Цвет вечен. Он как некий дух преследует время. Он приходит и уходит. Но когда приходит, он тот же самый цвет.⁵

1 Wittgenstein's Lectures, Cambridge 1930–1932. Ed. by Desmond Lee. Oxford: Blackwell 1980, p. 110.

2 Так в письме Расселу 17.10.1913: «Я видел Уайтхеда перед отъездом [в Норвегию], и он был очарователен как обычно».

3 Философское *например* такой же весомости, как примеры «вещей» у Канта: Бог, душа.

4 Ср. ниже с. 486 о цвете и схеме у Платона.

5 «The mountain endures. But when after ages it has been worn away, it has gone [...] A color is eternal. It haunts time as a spirit. It comes and it goes. But where it comes it is the same color. It neither survives nor does it live. It appears when it is wanted.» *Alfred North Whitehead, Science and the Modern World*. N. Y.: Macmillan Co. 1926, p. 126, цит. по: P. G. Kuntz, *Alfred North Whitehead*. Boston (Mass.): Twayne Publishers 1984, p. 21.

Цвет станет важной темой Витгенштейна. Число скрепляет мир порядком. Как цвет, число везде и нигде. Когда гора эродирует, ее цвет (белый) и число (одна) уже не наблюдаются, но не эродируют. Без горы возможна равнина, без цвета и числа нет ничего. Взаимосвязь событий создана аспектами этих вечных объектов, которые требуются для природы в сильном смысле слова — без вечных объектов природы нет, — но не возникают из нее¹.

К вечным объектам Уайтхед относит эмоции. Вечный объект — цвет, эмоция, число — неразложим в сильном смысле слова. Взять эмоцию скуки (наш пример). Пока мы там, где скучно, снять, разложить скуку нельзя, попытки развеселить тоже будут скучные; эмоция кончится только там, где не скучно. Витгенштейн будет говорить о цвете часто в широком смысле тона, состояния души.

Нам немного не по себе, когда мы слышим от Уайтхеда, что форма, цвет, эмоция не от природы. Подкрепляющая эту мысль давняя традиция убеждает, что всё именно так, но ощущение неловкости остается. У Витгенштейна малейшая неувязка подобного рода будет вызывать панику, крики в письмах и дневниках, что он в тумане и нет твердой почвы под ногами. От вопросов, которые не решаются красиво раз навсегда, он принципиально уходит, и устанавливать, от природы или не от природы число и цвет, не будет. Здесь наметится пункт его отхода от учителя, в данном случае слишком платоника. Безусловно останется у него тема цвета, его первичности.

Теперь, мы имеем цвет и другой цвет. По признаку цветности они принадлежат, не правда ли, одному классу (сегу, set). Внутри класса цвет и другой цвет могут расположиться по-разному; они тогда вступают между собой в отношение xRy . Полею отношения R Уайтхед называет класс вещей, упорядоченных этим отношением, т. е. в данном случае класс, состоящий из x, y . Так по Уайтхеду и, в период *Principia Mathematica*, по Расселу. Что мешает согласиться, усвоить схему классов и отношений, учитывая тем более важность, которую Уайтхед придает порядку и упорядочению? Он обращает внимание на то, что новые вещи в старом мире найти уже трудно, тогда как в новых перестановках известных вещей у нас громадный простор. В мире, состоящем из 99 вещей, достаточно найти еще только одну, и число возможных перестановок увеличится в сто раз ($100! = 99! \cdot 100$). Возражение против понятий

¹ P. G. Kuntz..., p. 151; p. 23.

класса, порядка, отношения возможны; существуют и другие логики. Но что делать, думает конформист; порядок так или иначе нужен; множества, входящие в классы (сеты) и упорядоченные внутри них, перед нами на каждом шагу; давайте же не ленись вникнем в схему Уайтхеда, она не хуже других.

Витгенштейн не хочет вникать в нее принципиально.

Сомнения были, однако, и у самого Уайтхеда, а именно, имеем ли мы право объединять в классы вечные объекты. Чаще, конечно, наука имеет дело с не вечными объектами, но ведь они «явились» благодаря вечным, так или иначе пробегающим всё множество не вечных. Каждый вечный объект, строго говоря, уникален («универсалии суть индивидуалии») и не имеет по своей простоте частей, общих с другими. Исследователи видят здесь нерешительность Уайтхеда; некоторые вечные объекты вроде бы образуют у него классы. Даже еще не знающий, как поступил тут Витгенштейн, чувствует, что распределять, какие универсалии суть классы, какие нет, капризный вундеркинд из Вены в принципе не будет, боясь увязнуть в вопросе. Его полный отказ от понятия класса, даже модифицированного (Расселом) до типа, кажется слишком радикальным решением. С отказом от классов в традиционной логике, к которой, как сейчас становится яснее, относилась и логика Рассела, обнаружится дыра величиной с саму эту логику. В самом деле, если x .у обозначают объекты, не образующие класса, то в формуле xRu вещам, обозначенным как x и u , нечем вступить между собой в отношение, и формула становится нашим мыслительным конструктом, которому в действительности ничего не отвечает и которое прилагается к действительности только на наш страх и риск. Между тем на отношениях xRu , xKu в основном строится логика науки Уайтхеда и Рассела.

Забегая вперед, вспомним, чем В. заделал эту дыру; теорией, которая почти всем показалась странной и которую приняли со временем только в порядке дискусии под давлением растущего авторитета ее автора. Она стоит на тезисах (1) логика должна уметь обеспечить сама себя и (2) пропозиция, Satz, есть картина, Bild. Оба тезиса взаимосвязаны. Наш пример: картина «Спящая Венера» Джорджоне ценна не тем, что вся она или ее части обозначают оригинал; при несуществовании последнего она обеспечит сама себя. Символика типа xRu правомерна, только если мы не сопоставляем x .у с предметами, а видим в них буквы. Соединенные отношением R, буквы x .у принадлежат к одному классу, а именно логических знаков, но поскольку он только один, его нет смысла назы-

вать классом; достаточно иметь в виду, что мы здесь вступаем в логическое пространство. Нет надобности сопоставлять этот знак с предметами внешнего мира; он для нас в любом случае будет такой, какую его картину мы себе составили.

Вернемся к Алфреду Уайтхеду. Природа есть космос, т. е. порядок. Совсем не обязательно, чтобы он был очевиден; неявный, он выявляется наукой. Идея порядка руководит исследованием, которое начинается с хаоса. События накатываются беспорядочным потоком, они являются прежде всего состоянием крайней асимметрии. Наука упорядочивает события, последовательно применяя к ним логику отношений, и конкретно логику *экстензии, распространения* (extending, spreading over). Если aKb (событие a распространяется на b) и bKc , то aKc , но не cKa . (K — символ особенного типа отношения, а именно «распространения на».) Предельный случай $a = b$, $b = c$ исключен априорной асимметричностью событий. Наоборот, объекты, причем не только вечные, априори симметричны. В принципе невозможно *увидеть* объект иначе, как опознав его: *а, это вот что; это то самое*. Объекты входят в научное исследование через такое узнавание и без узнавания опыт не выдал бы никаких объектов. Объекты несут в себе постоянство, узнаваемое в потоке событий; они опознаются как самотождественные среди различных обстоятельств; иначе говоря, один и тот же объект узнается как относящийся к разным событиям. Таким образом самотождественный объект сохраняет себя среди хаоса; он там и тогда, и он здесь и теперь; и «это», имеющее свое бытие там и здесь, тогда и теперь, есть недвусмысленно то же самое подлежащее для мысли в различных выносимых о нем суждениях.¹

Уайтхед в своей теории объекта опирается на явление тождества как самопонятное и на акте опознания тождества он строит философскую теорию науки. Витгенштейн спросит уже в конце 1913 года, что такое тождество, и назовет его главной проблемой философии. Уайтхедовская симметрия потонет в этой проблеме.

1 «Objects enter into experience by recognition and without recognition experience would divulge no objects. Objects convey the permanences recognized in events, and are recognized as self-identical amid different circumstances; that is to say, the same object is recognized as related to diverse events. Thus the self-identical object maintains itself amid the flux of events; it is there and then, and it is here and now; and the 'it' which has its being there and here, then and now, is without equivocation the same subject for thought in the various judgments which are made upon it.» A. N. Whitehead, *An Enquiry Concerning the Principles of Natural Knowledge*. Cambridge: University Press 1925 (2-е изд.), p. 62–63; цит. по: Kuntz..., p. 39.

И вместе с тем, хотя В. будет подчеркивать отход от учителей, интересно заметить, как их главные, серьезные заботы продолжают у него. Уайтхед видит принципиальную необеспеченность нашей речи. Нам никогда не удастся ни сказать именно то, что мы имеем в виду, ни иметь в виду как раз то, что мы говорим¹. Уайтхед настолько сжился с этим скандалом, что вообще не придает значения тому, что люди говорят в словах; достаточно, чтобы их вел инстинкт порядка². Порядок получает смысл от творчества (*creation*), образ которого Уайтхед, следуя Платону, видит в рождении одного от двух, в широком смысле от многих. Двоица в пифагорейско-платоновской традиции, которой здесь откровенно следует Уайтхед (в чем не было странности ввиду кембриджской традиции идеализма; молодой Рассел тоже прошел через Джона Мактаггарта), называется неопределенной; в *одном* она определяется. Творчество в смысле порождения (лат. *creare*) внедряется в хаос и вносит туда определенность. Среди вечных объектов, или универсалий (число, цвет, эмоция), есть решающая, сама себя обеспечивающая универсалия универсалий, а именно творческая способность (*creativity*). Она утверждает себя своим фактом.³ Если вечный объект есть одна из форм определенности (*a form of definiteness*), то творческая способность — форма таких форм; вместе с тем она всегда абсолютная новость и как таковая не имеет вообще никакой предустановленной формы и в этом смысле бесформенна, неопределенна, неполна (*formless, indefinite, indeterminate, incomplete*). В творческой способности хаос и высший порядок совпадают настолько, что хаос можно назвать источником порядка через посредство творческой способности. Она прежде порядка и беспорядка, а поскольку без порядка нет опыта, то она и прежде существования.

Одна из первых витгенштейновских «Записей о логике» 1913⁴ года направлена против Фреге: только кажется, что оценка истинно-ложно содержится в сказуемом; сказуемое не приносит ее с собой; она ему пред-

1 «We never quite say what we mean or mean what we say.» *Kuntz...*, p. 102.

2 «It doesn't matter what men say in words, so long as their activities are controlled by settled instincts.» *A. N. Whitehead, Science...*, p. 5; цит. по: *Kuntz...*, p. 15.

3 «[Creativity is] the universal of universals characterizing ultimate matter of fact.» *A. N. Whitehead, Process and Reality*. N. Y.: Macmillan Co. 1929, p. 31, цит. по: *Kuntz...*, p. 103. Уайтхед пользуется латинским *creare*, означающим как *породить*, так и *создать*, обходя таким образом полярность этих двух понятий, на которой жестко настаивает христианская теология. Кунц (p. 123) предлагает заменить *creativity* искусственным «the to produce», упуская значение *породить*.

4 WA 1, 188–208.

шествует. Эта мысль иллюстрируется (ср. Трактат 4.063): черное пятно на белой бумаге можно описать через оценку каждой точки поверхности бумаги в форме утверждения *да*, *точка черная* или отрицания *нет*, *точка белая*; но для такой оценки должно быть заранее установлено, что у нас будет называться черной, что белой точкой; мы будем таким образом следовать правилу, установленному до словесного суждения и без него. При заполнении разграфленного листа я выскажу свое *да*, *черная* или *нет*, *белая*, следуя предыдущему решению о том, что считать чем. Понимание, что решение о черном-белом принято раньше чем оформилось сказуемое эксплицитного высказывания, продолжает важную мысль Уайтхеда: не очень важно, что люди говорят словами, если их ведет интуиция космоса. Витгенштейн придает этой мысли жесткую простоту; исчезают понятия интуиции, космоса, порядка, природы. Априористическим перфектом вводится то, что *раньше*; оно недостижимо речью (словом) и из своей неуловимости диктует ей определенность. На уровне высказывания оценка на истина-ложь, черное-белое всплывает только благодаря тому, что уже принято — где? когда? во всяком случае до речи, т. е. на эти вопросы ответить нельзя, — решение в форме *есть-нет*, *то-не то*.

Мы лучше проясним себе рано обозначившуюся непривычность витгенштейновского метода, поняв, в том же начале «Записей о логике» 1913 года, его не вошедшее в Трактат (ср. 2.0201) определение \exists обратного, так называемого квантора существования: применительно к комплексам он эквивалентен полному описанию. Пеано, Уайтхед, Рассел не вкладывали в квантор существования такого смысла, для Витгенштейна он обязателен: утверждая существование комплекса *a*, мы отвечаем за то, что имеем в виду именно его, а не комплекс *a'*; обеспечить себе это без полного описания мы не можем. Полнота описания останется для В. на всю жизнь проблемой, сопоставимой с уайтхедовскими поисками соединения хаоса и определенности в творчестве, но без этих романтико-платонических терминов.

В невозможности полноты описания для молодого Витгенштейна навсегда и безнадежно увязает проблема класса. Имена «Сократ», «Платон», наверное, имеют что-то общее, но мы не знаем о нем ничего кроме того, что *выводим* из этих имен. Мы не имеем права вводить общее другим способом кроме как из рассмотрения случаев. Имеется в виду не индукция, потому что скачка, вывода, обобщения из случаев не предполагается. В «Записях» 1913 года Витгенштейн определяет классы (ти-

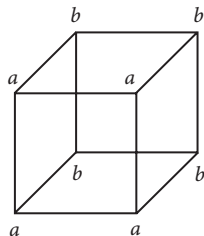
пы) уже таким образом, т. е. фактически отменяет их. К типам, кроме имен, он относит *вещь*, *пропозицию* (Satz), *субъект-предикатную форму*. Скоро он объявит, что за существование всего этого мы отвечать не можем. А за что можем? Всего картиннее это покажет позднее записанный Вайсманом на собрании Венского кружка пример Витгенштейна: мы видели штуку материи такого-то цвета и видели потом еще штуку материи такого же цвета; за это мы можем ручаться; здесь конечно не полнота, но наш предел объективного описания; гипостазирование отдельного от описания класса или типа, например множества, состоящего из двух штук материи, выведет нас из реального мира. Схемы мира (типы, классы, вещи) дадут никогда не больше того, что дает описание отдельных случаев.

Между тем логика вроде бы должна обеспечивать что-то большее чем отчет об этом случае и еще о том? Готовя формулу Трактата, «Записи о логике» 1913 года определяют пропозицию как мерную линейку, в отношении к которой стоят факты. Факт подобен стрелке, указывающей туда же, куда указывает стрелка пропозиции, или в противоположном смысле (направлении, Sinn). Полезно помнить, что в начале 20 века машины имели стрелку над крышей, которую водитель поворачивал изнутри, обозначая намеченный маневр. Выставляя символ xRy , я прочесываю факты, состоящие из всевозможных отношений между вещами, сначала на наличие отдельных вещей, которые отвечают именам x , y . Потом, если такие вещи нашлись, я прочесываю их на наличие между ними отношения R . При несовпадении с фактом символ ложь, при совпадении истина. Он остался тот же самый, истиной его сделало совпадение с фактом. Здесь можно вспомнить Уайтхеда с его опознанием, создающим объект в потоке опыта. Узнавание предметов отличается от потока, оно входит в опыт со стороны.

Витгенштейн не умел работать иначе, как ожидая от себя *освободительных* решений, выводящих из сложности не к еще одной схеме, а к последней ясности. Такого свойства решительный шаг — сделанное в «Записях» 1913 года объявление о невозможности бессмысленного суждения, в Трактате это афоризм 5.5422. Странность этого объявления ввела в ошибку переводчиков 1958 года под редакцией В. Ф. Асмуса. С тех пор появилось несколько правильных английских переводов, но последний русский перевод «Трактата» (1994) повторяет ошибку 1958 года. Трудно укладывается в голове, что бессмысленное (Sinnlos) суждение невозможно. Оно однако невозможно по определению. Суждение,

утверждая что-то, отрицает свою противоположность и таким образом, поскольку оно суждение, имеет направленность (Sinn). В Трактате 5.5423 дается иллюстрация: мы не можем видеть прозрачный куб Некера, все ребра которого просматриваются одинаково хорошо, иначе как полагая передней либо одну его сторону *aaaa*, либо противоположную *bbbb*, т. е. мы не можем видеть такой куб иначе, как придавая ему либо одну, либо противоположную направленность, но только не обе вместе. Мы должны научиться видеть логику в каждом суждении принимающей решение на *да* и *нет*. Что логика ориентирует, кажется само собой разумеющимся, тем не менее переводчики споткнулись на первом же следствии из этого тезиса: не бывает неориентирующих, ненаправленных — *бессмысленных* суждений, понимая смысл, Sinn, как направленность. Терминология Витгенштейна, правда, скоро изменилась, но, как он предупреждал в предисловии к Трактату, за ее несовершенством надо видеть верные и не подлежащие пересмотру прозрения. Бессмысленность суждения отсекается не тем, что даны правила, по которым будет построено осмысленное, а возвращением к осознанию, что *всякое* суждение, будь оно истинное, ложное и невероятное, есть ориентация, а именно поворот в одну или в противоположную сторону. «Расселовская теория не удовлетворяет этому условию» (Трактат 5.5422). Тем самым ставится под вопрос вся система Рассела и Уайтхеда, соответственно Фреге и Пеано.

Еще пример специфического подхода, каким Витгенштейн сразу отличил себя от кембриджской логической школы. Из обязательной определенной направленности суждения он в тех же «Записках о логике» 1913 года делает неизбежный, но тоже кажущийся неожиданным вывод: пропозиции, т. е. символы, рассчитанные на соответствие фактам, сами со своей стороны тоже факты (см. Трактат 3.14). Этот тезис, как все разобранные до сих пор, не аксиома и не постулат. В. не предлагает считать и не просит принять за основу, что пропозиция тоже факт, а продолжает двигаться на уровне тавтологий, т. е. повторяет то, что уже сказал. Факт имеет смысл стрелки, указывающей в одну или противоположную сторону. Например, в кубе Некера факт — это выдвинутость вперед плоскости *aaaa*; другой факт — выдвинутость вперед плоскости *bbbb*.



Плоскость выдвигается вперед без изменения куба. «Любой факт может иметь место или не иметь места, а всё остальное останется тем же самым» (Трактат 1.21). Предложение прежде всего ориентирующая стрелка и потому тоже факт. В. не строит систему, а приглашает понять, что суждения определяют наш мир. Мир состоит из фактов (Трактат, начало), в собрании которых суждения не отличаются от других фактов. Суждение не может не иметь смысла (не может не ориентировать). Оно в любом случае становится чертой мира. Ложь, резко говорится в «Записях», будто пропозиция пока еще только *называет* реальность (Фреге), *соответствует* комплексам (Рассел). Начав говорить, мы распорядились фактами и ipso facto оказались миром.

В. только в Венском кружке объявит об окончательном возвращении от логического формализма своей ранней школы к естественному языку. Однако шаг в направлении естественного языка легко просматривается в «Записях» 1913 г. Если p , говорит здесь В., следует из q , то внутри q тем или иным образом p уже содержится, и таким образом законы дедукции, законы логики, «искусство логического вывода» оказываются лишними; если же p следует из q только в том смысле, что так диктуют законы логического вывода, то из самого по себе q следования p уже не получится. Пропозиции, из которых переменные еще не убраны, Витгенштейн называет как и Рассел схемами, но не в хорошем смысле орудий анализа, а в плохом смысле всего лишь теней, которые станут настоящими пропозициями только когда все переменные заменят постоянными. $x = x$ пустая форма, *Сократ* = *Сократ* не пустая.

Это очевидное теперь движение от ранних, по существу еще учебных «Записей по логике» (они были приготовлены по просьбе Рассела), к «Философским исследованиям», где логического формализма уже почти совсем нет, было частью другого, менее очевидного поворота. В начале «Четвертой рукописи» «Записей» говорится: «Главная отличительная

черта моей теории та, что p в ней имеет то же значение (Bedeutung), что $\sim p$ ».¹ (Здесь значение пока еще противоположно смыслу, ср. выше; скоро терминология изменится до наоборот.) Этот тезис подчеркнут в Трактате 4.0621, где на месте значения встанет действительность:

Фразы « p » и « $\sim p$ » имеют противоположный смысл, но им соответствует одна и та же действительность (Wirklichkeit).

Наши решения на да-нет не задевают действительности, не касаются ее. Заглянуть в действительность и увидеть там, верно наше суждение или неверно, невозможно. Утвердить или отрицать суждение может только факт, который располагается в логическом пространстве смыслов, а не в пространстве вещей. С действительностью уже должно что-то произойти, чтобы она стала фактом. Что именно с ней происходит, мы всего вернее знаем по себе, потому что наши суждения тоже факты. Дознание, имеет ли место p или $\sim p$ в действительности, для Витгенштейна так же наивно, как усилия прочесть где-нибудь на небесах истину захвативших нас вопросов. У нас есть занятия другие, менее бесперспективные, например понимание. Для понимания фразы не нужно знать, истинна она или ложна, но обязательно нужно разбираться в отдельных блоках, из которых она построена.

Понять фразу значит знать, что имеет место (der Fall ist), если она истинна. Мы можем таким образом понять ее, не зная, истинна ли она. Мы понимаем ее, если понимаем ее структурные элементы и формы.²

Несомненная истина фразы $aRb \vee \sim aRb$ еще не обеспечивает понимания aRb , хотя многим в порядке иллюзии может так показаться. Знание, что сегодня идет дождь или не идет дождь, не будет бессмыслицей только если я выделю из этой дизъюнкции модуль, одинаковый для обоих противоположных выражений. « $(p) \cdot p \vee \sim p$ » не бессмыслица, только если я понимаю p в его «кирпичах», т. е. в его значении, или действительности. Не будем соблазняться мнимой легкостью этого бесспорного тезиса. Что такое понимание действительности? Применительно к кубу Некера модулем будут оба, aRb (aaaa впереди bbbb) и $\sim aRb$ (bbbb позади aaaa), увиденные вместе. Увидеть их вместе не удастся, куб «высвечивается» (aufleuchtet) то одной, то другой стороной, перещелкивает (umschnappt) из одной ориентации в другую помимо нашей воли. Трудной

1 WA 1, 202.

2 WA 1, 203.

задачей становится увидеть куб тогда, когда перекидывания еще нет, т. е. увидеть его не в его смысле (Sinn, направлении сторон), а в его действительности, включающей в равной мере один и другой факт.

Четвертый абзац «Четвертого манускрипта» «Записей» 1913 года¹ начинается так: «Когда слово создает мир...» (Wenn ein Wort eine Welt erschafft...). Сейчас нет надобности разбирать, почему в контексте конца Трактата (5.121) та же фраза имеет форму: «Когда Бог создает мир...» (Wenn ein Gott eine Welt erschafft...). Существенно продолжение мысли: слово не могло бы, Бог не мог бы создать мира, в котором фраза (ein Satz), какая бы то ни было фраза (der Satz «р») истинна, не создав всех включаемых ею строительных блоков (Bausteine), предметов (Gegenstände).² Значение, или действительность, устроены словом, или Богом, так, что имеют смысл истина и ложь, но ни о значении, ни о действительности нельзя сказать, что они истинны или ложны.

2 РАССЕЛ И ВИТГЕНШТЕЙН

В письме от начала июня 1912 года Витгенштейн сообщает Расселу по-скриптовому: «Моя логика вся в плавильном тигле (in the melting-pot)»³. Через полмесяца из расплавленной неопределенности выделяются очертания, совсем не похожие на то, что понимал под логикой Рассел.

Логика всё еще в плавильном тигле, но одна вещь становится мне яснее и яснее: пропозиции логики содержат только мнимые переменные, и каким бы ни оказалось надлежащее объяснение мнимых переменных, его следствием должно оказаться, что логических констант нет.⁴

В ультимативном тоне через подчеркнутое *must* у Логики — с заглавной буквы — отнимается право пользоваться переменными; иначе она лишится постоянных. Что предлагающий это понимает необычность замысла, подтверждает следующий однофразовый абзац письма:

1 Ibid.

2 Витгенштейновский предмет при первом приближении можно перевести как *то, что нас задело; то, с чем мы имеем дело*.

3 Ludwig Wittgenstein, Briefwechsel mit B. Russell, G. E. Moore, J. M. Keynes, F. P. Ramsey, W. Eccles, P. Engelmann und L. von Ficker. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1980, S. 231.

4 Ibid.: «Logic is still in the melting-pot but one thing gets more and more obvious to me: The props of Logic contain ONLY APPARENT variables and whatever may turn out to be the proper explanation of apparent variables, its consequence *must* be that there are no *logical* constants».

Логика с необходимостью оказывается совершенно иной породы чем любая другая наука.

Логика без права на обобщения действительно не встраивается в ряд наук. Скоро в тот же контекст — вне всех наук — В. поставит философию. Здесь вспоминается раннее определение Гераклита: «София от всего отстранена». Речь идет не о заимствовании мысли через века, а о единой интуиции философии как особого поступка, в ряду человеческих занятий ни на что не похожего. Логика Рассела, так же как Уайтхеда, была деятельностью упорядочения. Какое упорядочение возможно инструментом логики без переменных, т. е. без классов, Расселу не могло быть понятно.

В письме 1.7.1912, хотя и с вопросом, не будет ли это принято за сумасшествие, Витгенштейн впервые предлагает считать символ общего вида $(x) \cdot \phi x$ с входящим в него классом, т. е. с переменной, неполным символом, который сам по себе пока еще ничего не значит. Чтобы придать ему значение, надо включить его в контекст, где переменная стала бы постоянной, например в умозаключение типа:

$$\text{из } \vdash (x) \cdot \phi x \cdot \epsilon_0(a) \text{ следует } \phi(a)$$

В алфавите Уайтхеда-Рассела греческие строчные $\epsilon, \iota, \eta, \theta, \omega$ имеют «постоянные значения» (constant meanings); четыре греческих строчных входят в ряд букв, представляющих функции, — $f, g, \phi, \psi, \chi, \theta, \Gamma$. Вхождение θ одновременно и в «постоянные значения», и в «функциональные буквы» (functional letters) показывает некоторую небрежность этого алфавита. В приведенной выше формуле нулевое ϵ делает переменную (a) константой, которая имеет место в классе (x) . Если перевести на естественный язык, Витгенштейн согласен видеть смысл в знаке $(x) \cdot \phi x$ только если класс (x) будет определен до одной постоянной; тогда можно будет говорить, что у этой постоянной есть функция. Строго говоря, ϕ — тоже переменная, и Витгенштейн не требует перевести ее в постоянную, что делает его позицию формально-логически шаткой. Но работа продолжается. Сужение класса, шире — переменной до постоянной уводит от формально-логических схем, четкость которых всегда мнимая, к сырому опыту, пусть неисчерпаемому, но уже в силу этой неисчерпаемости надежному.

Непознаваемость вещей была давно убеждением Витгенштейна. Об этом на 16-й день своего знакомства с ним упоминает Рассел в письме-отчете леди Оттолине Морель 2.11.1911:

Мой немецкий инженер, мне кажется, — просто дурак. Он думает, что ничто эмпирическое не может быть познано. — Я попросил его согласиться (accept), что в этой комнате нет носорога, но он не согласился.¹

Вещи тонут с приближением к ним в непознаваемости. Если нельзя доказать даже, что в этой комнате нет носорога², то нет возможности разделить вещи на существующие и несуществующие, не говоря уже о более детальных классах. Наука воображаемо схватывает действительность издали в схемах, вблизи любой предмет полностью захватывает себе внимательного наблюдателя.

Как иметь дело с эмпирией? Давний надежный способ освоить ее — дать ей имя. Оставим на будущее вопрос, можно ли говорить во множественном числе об именах и есть ли всеобщее имя для целого. Возьмем привычный в логике пример. Имя *Сократ* означает нечто простое, не так ли — назвав его комплексом, мы навязем себе задачу перечислять его составные части до тех пор, пока не дойдем опять же до простых, — и неопределимое, потому что любая дефиниция Сократа уведет от него: он конечно учитель Ксенофонта, но ведь и Платона тоже; кроме того, у Ксенофонта и Платона были и другие учителя, и т. д. Неопределимая простота имени не противоречит опыту, который тоже и непознаваемый и простой, потому что близкий. В январе 1913 года Витгенштейн пробует считать именами по признаку неопределимой простоты как *Сократа*, так и *человечность*, *смертность*. Имена в этом широком понимании всё равно не образуют классов (типов) из-за своей одинаковой неопределимости, мы ведь не хотим скатиться с простых именуемых на комплексы и их дефиниции; а сказать, что имена составляют все вместе один общий класс, нельзя, потому что никакого другого класса рядом с ними ввиду их простоты не окажется, кроме них всё будет комплексами. Правда, при отказе от классов, даже от классов в мягкой форме уайтхедовского К (распространения, spreading over, см. выше), отношение R между Сократом и смертностью можно понять наоборот: не «Сократ есть смертен», а «смертность есть Сократ». О том, чтобы таких накладок не получалось, должен однако позаботиться способ обозначения. От приписывания классов самим вещам следует отказаться.

1 Цит. по: Вадим Руднев, Божественный Людвиг (Жизнь Витгенштейна). — *Людвиг Витгенштейн*, Заметки о философии психологии. М.: ДИК 2001, с. 169.

2 Ср. (наше наблюдение) просьбу ребенка 2 лет: «Пойдем посмотрим, как его [вентилятора] там [в другой комнате] нет». Сохранение Витгенштейном раннего детского восприятия вещей часто дает о себе знать.

Пробивая себе трудный путь, В. часто оказывается в тупике и честно сознается в этом Расселу.

Я совершенно стерилен, как никогда прежде, и сомневаюсь, что у меня еще когда появятся идеи. Как только я пытаюсь думать о логике, мои мысли так плывут, что ничего не кристаллизуется. Я чувствую на себе проклятие всех тех, у кого только полуталант; это как если тебя ведут вдоль темного коридора со свечой, и как раз когда ты в его середине, свеча гаснет и ты остаешься один.¹

Независимо от неудач растет однако предчувствие успеха. К концу лета 1913 года оно вырастает до страха, как бы смерть не помешала сообщить всем людям то важное, что родит его мысль. Витгенштейн жестко ставит перед близкими необходимость выбрать, сумасшедший он или огромное событие.

Критика основоположений расселовской логики становится резкой. Теория суждения объявляется ненужной на том основании, что « $A \vdash aRb$ » (« A полагает, что a состоит в отношении R к b ») не содержит ничего кроме лишнего символа по сравнению с « $aRb \vee \sim aRb$ » (« a состоит в отношении R к b или ложно, что a состоит в отношении R к b »)². Эта тема становится одной из главных: достаточно утверждать p , чтобы допустить тем самым $\sim p$. Роль *неопределимых простых* возрастает; они встают на место, занимаемое в традиционной логике общими определениями (законами и аксиомами). Переменные окончательно утрачивают свою реальность.

Работа моя идет хорошо; с каждым днем проблемы мне становятся яснее и чувствую себя скорее обнадеженным. Все мои успехи идут от той идеи, что *неопределимые* в Логике имеют свойство общности (таким же образом, как так называемые *дефиниции* Логики общие), а это опять же идет от отмены реальной переменной.³

На место прежних определений (дефиниций) встают неопределимые (indefinables), на них переходит черта всеобщности. Здесь нет парадокса. Дефиниции перестанут работать вне требующей их системы; наоборот, вещи, ускользающие от определений, и их имена (*Сократ, человек, смерть*) окружает нас со всех сторон как вне систем, так и внутри их;

1 Письмо Расселу из Вены 25.3.1913.

2 Ludwig Wittgenstein, Briefwechsel..., S. 238.

3 Ibid.

они наша единственная опора. Всеобщие простые неопределимые выявлены за тысячелетия и названы словами нашего древнего языка, такими же неопределимыми, но несравненно более надежными чем любая терминосистема.

Для родов того небывалого, что 24-летний Витгенштейн чувствует растущим в себе, он неожиданно остается, поехав прогуляться в сентябре 1913 в Норвегию, там больше чем на полгода. Он хочет иметь акушером сначала 41-летнего Рассела, потом 40-летнего Джорджа Мура. Мур приедет и примет порождение на руки, записав под диктовку, но событием не посчитает и скоро перестанет общаться с молодым родителем. Большинство исследователей до сих пор печальным образом не решило, считать ли норвежское настроение Витгенштейна безумием или переживанием совершившегося через него события.

Дорогой Рассел,

Решение для типов еще не найдено, но у меня всякого рода идеи, которые кажутся мне очень фундаментальными. Но чувство, что мне придется умереть прежде чем я смогу их опубликовать, становится во мне всё сильнее и сильнее день ото дня и мое самое большое желание теперь — сообщить *всё*, что я до сих пор сделал, вам, *как можно скорее*.¹

17.10.1913 Расселу сообщается текущая тема, тождество². В письме ему же 29.10.1913 тождество распространяется на всякое повторение одного и того же символа в логической записи.

Тождество самый Дьявол и есть, и *невероятно важно; намного важнее* чем я думал. Оно прямо связано — больше чего бы то ни было — с самыми фундаментальными вопросами, особенно с вопросами, касающимися появления того же аргумента в разных местах функции.³

В приписке 30.10.1913 говорится, что «вчерашнего дня» еще «совершенно новые идеи пришли мне в голову»: не следует ли вся Логика из одной только пропозиции⁴? Эта мысль будет иметь вот какое продолжение.

Ноябрь 1913 — время частой переписки из Норвегии с Расселом.

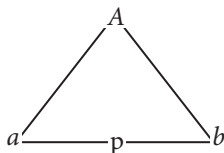
1 Ibid. S. 240 (письмо от 20.9.1913).

2 Ibid. S. 241: «*Identity is the very Devil!*»

3 Ibid. S. 242: «*Identity is the very Devil and immensely important; very much more so than I thought. It hangs — like everything else — directly together with the most fundamental questions, especially with the questions concerning the occurrence of the SAME argument in different places of a function.*»

4 Ibid.

В. окончательно перестает видеть p отдельно от $\sim p$. Всякий А, рискнувший утверждать p , независимо от своих намерений выставляет эту биполярность.



Если всякое предложение p одновременно с утверждением a пред(по)лагает и свое отрицание b , то, чтобы не быть двунаправленным и потому бессмысленным, оно должно нести в себе что-то кроме утверждения-отрицания. В пропозиции оказываются два разных уровня, или слоя, — один бросающийся в глаза, другой подлежащий выявлению. Невидимый подлежащий выявлению уровень высказывания для Витгенштейна настолько очевиден, что он вводит свою уникальную ab -нотацию. Ее графическая форма нарисованный выше треугольник, письменная $a-b$ p или ${}_a^b p$.

Назначение ab -нотации не дать забыть, что мы еще не видим полностью фразу¹, если не продумали ее противоположность.

Что я хочу сказать, это что мы *только* тогда понимаем фразу, если знаем *и* то, что будет иметь место, если она *ложна*, *и* что — если она *истинна*.²

Если всякое $a-b$ p несет в себе свою противоположность, то символом для $\sim p$ будет просто $b-a$ p или ${}_b^a p$.

Различие между утверждением и отрицанием сводится к разнице между правым и левым, верхом и низом, т. е. к видимой графике.

Рассел неоднократно просит объяснений и получает в ответ новую неожиданность или характерный для Витгенштейна отказ что бы то ни было объяснять.

Объяснение всеобщих неопределимых? О Господи! Это *слишком* скучно!!! Как-нибудь в другое время! — Честно — я *напишу* вам об этом со временем, если к тому времени вы всё это себе не проясните сам. (Потому что

1 Осмыслить по-русски немецкий непереводаемый Satz поможет возвращение к исходному значению слова *фраза* от *фра́за* указывать, объявлять, различать, решать, определять, назначать. Риторическое применение, напр. *цветистая фраза*, позднее.

2 L. Wittgenstein, Briefwechsel..., S. 242: «What I mean to say is that we *only* then understand a prop if we know *both* what would be the case if it was *false* and what if it was *true*».

это совершенно ясно в рукописи, по-моему.) Но как раз сейчас я так занят тожеством, что просто не могу расписаться. Всевозможнейшие новые логические вещи вроде бы зреют во мне, но еще не могу о них писать.¹

Один из многих вопросов Рассела: чем отличается *ab*-нотация от «истинностных функций» «Математизированных первоначал» (*Principia mathematica*). Ответ: она помогает выявить тавтологичность истинных пропозиций и самопротиворечивость ложных.²

19.11.1913 Витгенштейн жалуется Муру, что хотя Рассел необыкновенно свеж для своих лет, он уже не совсем пригоден для трудной логической работы, и предлагает заниматься вдвоем.

Не кажется ли вам что было бы хорошее дело если бы у нас шли регулярные дискуссии, когда вы приедете ко мне на Пасху? Не то что — разумеется — от меня можно что-то ожидать в этом предмете! Но я еще не протух и очень забочусь об этом. Мне невольно кажется что это заставит вас расстаться с вашим ощущением бесплодности.³

В письмах к Расселу этого времени Витгенштейн переходит на немецкий, что означает у него повышенную серьезность, и в конце 1913 года почти ультимативно требует принять, что все пропозиции логики суть обобщения тавтологий и наоборот, все обобщения тавтологий суть положения логики. Пропозиция типа $(\exists x) \cdot x = x$ (существует x , такой, что $x = x$) принадлежит уже физике, дело которой выявить реальное наличие вещей с такими характеристиками. Признак внелогических пропозиций тот, что по их знакам нельзя понять, истинны они или нет. Нужно выглянуть за пределы логики, чтобы сказать «Майер глуп»; наоборот, тавтологичность истинно логического высказывания должна просвечивать в нем самом. Логика в принципе никогда не скажет, действительно ли мир, в котором мы живем, такой или другой, но она от этого не оскудеет; тавтология, над которой редко задумываются, оказывается по существу бездной, над которой стоит работать.

Вопрос о существовании тождества не решается, пока не прояснено существо тавтологии. А вопрос о нем есть основной вопрос всей логики (Расселу 15.12.1913).

Приходилось ли вам когда думать о природе тавтологии? Вот что меня сейчас тревожит (Джорджу Муру на почтовой открытке 30.1.1914).

1 Ibid. S. 243.

2 Ibid. S. 244–245.

3 Ibid. S. 245.

Тавтология стоит на тождестве. Тождество сводит Витгенштейна с ума. Возьмем выражение « $x = x$ ». Оно тавтологично? или нет? Зависит от того, тождественны ли иксы. Здесь возможны две позиции. Поскольку правый написан правее и позже левого, т. е. в другой точке четырехмерного пространства, то они не подобны. Того требует принцип индивидуации. Однако провести этот принцип строго до конца невозможно, иначе полетит вся математика, логика, с ними вся техника, экономика, безусловно вся юриспруденция и страшно сказать что еще. Чтобы восстановить всё это обратно, т. е. в сущности санкционировать нашу цивилизацию, надо принять тождественность иксов в « $x = x$ », *приписав* им тождество. Для нашей способности продуктивного воображения это не трудно, такое делается на каждом шагу; в наше время обычно мы видим в « $x = x$ » именно тождество.

Будем говорить *тождество*, чтобы не терять опору в языке: *то же самое, то же, то*. Рискую разойтись с некоторыми теоретиками, будем считать вместе с В., что тождество главная проблема логики, как и философии вообще. От этой проблемы легко уйти; общепринятый способ ухода следующий. Различают тождество «само по себе» и тождество «вещей». Тождество само по себе относят к «абстрактным объектам», умственным конструктам; тождество вещей признается невозможным по «принципу индивидуации»: всякая вещь в универсуме единственна; «двух вещей, из которых каждая была бы тою же вещью, что и другая, не существует». С другой стороны, говорить о тождестве вещей все-таки вроде бы можно, так сказать, прагматически (по принципу, который неосторожно приписывается Лейбницу без учета его монадологии, где неисчислимость монад предполагает их сущностное тождество, *principium identitatis indiscernibilium*): если без какого-либо ощутимого ущерба можно отождествлять вещи, то пожалуйста, лишь бы не забывать, что это не соответствует «истинному порядку природы». Таким сложным путем от тождества отделяются, отодвигая его в допустимую абстракцию, в философии. В математике проблема тождества не ставится, потому что предполагается решенной; точнее сказать, она устраняется введением строгого разграничения между *равенством* (оно в каждой системе математики вводится по-своему извне математического формализма) и *графическим тождеством знаковосочетаний*, которое считается самоочевидным.

В формальной логике как специальной дисциплине проблема тождества легко снимается через различение аспектов. Например, $a = b$. Уже

само различие начертания букв делает отождествление сомнительным. Допустим, что *a* представляет собой языковое выражение *утренняя звезда*, *Morgenstern*, *b* — языковое выражение *вечерняя звезда*, *Abendstern*. Явное различие между начертаниями букв и между языковыми выражениями назовем различием в *смысле*, *Sinn*. В аспекте смысла имена *a* и *b* таким образом не тождественны. Но в другом аспекте различия нет: оба имени именуют одну и ту же планету Венера; по своему *значению*, *Bedeutung*, они тождественны. У Гуссерля аналогичное различие будет выглядеть несколько иначе чем у Готтлоба Фреге. От описанного выше общепhilosophического отодвигания проблемы тождества это логическое отодвигание отличается тем, что тонкости принципа индивидуации (планета Венера утром другая чем была вечером, там уже сменилась погода, планета перешла в другое место солнечной системы, во всяком случае она не та что была) не учитываются. Специальная логика таким образом по своей незаинтересованности проблемой тождества стоит где-то посреди между общей философией и математикой.

Философия, которая не хочет быть ни просто общей, ни тем более прикладной, видит тогда себя единственной, на которую проблема и тема тождества взвалена. Нельзя отодвинуть тождество в область абстракций, и вот почему. В той самой мере, в какой о принципе индивидуации можно говорить уверенно как об «истинном порядке природы», оказывается верно и то, что уже отмечалось в связи с Лейбницем: все вещи в таком случае тождественны, причем не абстрактно, а по существу, в своей *индивидуальности*. В качестве индивида (монады) эта и вообще всякая вещь абсолютно тождественна другой. Формальный логик зря отмахивается от нашего различения утренней и вечерней Венеры как несерьезного и не имеющего отношения к делу; доказать их тождественность трезвому естествоиспытателю все равно не удастся, а с упущением принципа индивидуации упущена и единственная опора всех отождествлений. Или, если взять более общий случай: закрывая глаза на недостижимость точки, новоевропейская математика, как мы видели, закрыла себе путь к пониманию *единственности* точки. Витгенштейн был как мало кто в 20 веке внимателен к нефиксируемости точки; он же был и один из немногих, кто не считал тождество абстракцией.

Заметим, что « $x = x$ » не обозначение тождества, в лучшем случае — условное обозначение. Тождество мы привлекаем для обеспечения этого равенства, как и множества других равенств, когда решаем так поступить, откуда-то извне. Откуда? как обозначить само по себе тождество,

не в одном из его приложений, а в области его чистого бытования? Обозначение чистого тождества должно быть свободно от критики со стороны строго проведенного принципа индивидуации, или, другими словами, тождество должно быть бесспорно очевидно в своем обозначении. Витгенштейну это не удастся. Его тезис, что логические пропозиции собственным видом показывают свою тавтологичность и соответственно истинность, зависает. Вместе с ним зависает и вся та новая наука — «философская логика», назовет он ее позднее, — к которой выбирается из расселовской логики молодой немецкий инженер.

Если я напр. говорю «Майер глуп», то Ты¹ не можешь, глядя на эту фразу, сказать истинна она или ложна. Но фразы логики — и только они — имеют то свойство, что их истинность, соотв. ложность, выражается уже в их знаке. Мне еще не удалось найти для тождества обозначение (*Bezeichnung*), удовлетворяющее этому условию; однако я *НЕ сомневаюсь*, что такой способ обозначения должен отыскаться.²

Он отыщется не там, где В. сейчас ищет, — не в логическом формализме расселовского покроя. Пока же В. силится, чтобы сделать тавтологии *безусловно* очевидными, обозначить само по себе тождество через какую-то систему знаков. Он сидит один в Норвегии, и прозрение, что в тождестве суть логики, сплетается у него с мыслью о жизни и смерти.

Одиночество здесь мне бесконечно благотворно и мне кажется, что жизни среди людей я теперь бы не перенес. Во мне всё в брожении!³ Великий вопрос теперь: как создать систему знаков, в которой всякая тавтология позволяет одним и тем же образом опознать себя как тавтологию? Это основная проблема логики! — Я уверен, что никогда в своей жизни ничего не опубликую. Но после моей смерти Ты должен отдать в печать ту книжку моих дневников, где написана вся эта история.⁴

Зачем полусумасшедший немец смешивает логические проблемы с ду-

1 К этому времени (ноябрь–декабрь 1913) Рассел и Витгенштейн перешли в немецких письмах на дружеское *Du* с прописной буквы.

2 *L. Wittgenstein, Briefwechsel...*, S. 44.

3 Ср. выше с логикой в плавильном тигле и признанием Расселу в самом конце 1913 года из Норвегии: «Здесь со мной каждый день всё меняется: сегодня я думаю, что сошел с ума, так сильно всё во мне бродит, на следующий день я снова совершенно флегматичен. Но на дне моей души всё продолжается варено как на дне гейзера. И я всё еще надеюсь что в конце концов последует какой-то окончательный прорыв и я смогу стать другим человеком» (*ibid.* S. 47).

4 *Ibid.* S. 45–46. Эти дневники не сохранились или не найдены.

шевыми? Только безмерная толерантность Рассела помогает ему сдерживать раздражение. Ищи другую систему нотации, если не нравится предложенная в «*Principia mathematica*», но не отвлекает ли от работы забота о становлении другого человека на твоём месте? Витгенштейн скажет позже, но чувствует уже сейчас, что логика это одновременно мистика, этика и эстетика.

Ты наверное считаешь что думать о самом себе растрата времени; но как я могу быть логиком, если я ещё не человек! *Прежде всего* я должен проясниться с самим собой!¹

В коротком декабрьском письме Расселу сразу после слов о музыке редкое признание. «Ты слышал Героическую [3 симфония Бетховена или 4-я последняя Брамса]! Что ты подумал (*gesagt*) о второй фразе? она невероятна, не правда ли? — Разве не совершенно удивительно, какая великая и бесконечно своеобразная наука логика; я думаю, ни Ты ни я не понимали это полтора года назад.» Как здесь логика рядом с музыкой, так в другом месте она рядом с поэзией: «Философию надо было бы собственноручно только писать стихами» (*Philosophie dürfte man eigentlich nur dichten*). И предположительно январь 1914 из Норвегии: логика не отдельна от жизни и не отдельна от моего человечества. В контексте этой последней цитаты она рядом с поэзией (Мёрике и Гёте).

В середине января 1914 Витгенштейн чувствует себя на один шаг от безумия и едва слышит голос разума сквозь вой призраков.² Он отказывается выполнить требование Рассела продолжать работу так, словно ничего не происходит, и разрывает с ним, не в первый и не в последний раз: мы разные натуры; не буду читать Тебе проповедь; как Ты имеешь глубоко въевшиеся предрассудки, так и я; дружбы у нас не получится. Я останусь Тебе навеки благодарен, но писать больше не буду и Ты меня больше не увидишь. Расстанемся в мире.³ Ну, может быть, продолжим сообщать друг другу о своей работе; даже о своем состоянии; но без пошлого лицемерного псевдосогласия.⁴

Разрыв обозначился конечно раньше, в конце «Заметок по логике» лета 1913 года. Требование обходиться без переменных было подня-

1 Ibid. S. 47.

2 Ibid. S. 48: «Но я *никогда* не знал, что это значит, ощущать себя только на один шаг от безумия (*Wahnsinn*)».

3 Ibid. S. 50–51.

4 Ibid. S. 52–53.

то здесь до первопринципа. Но если нет возможности подставить одну вещь вместо другой, то нет и дедукции.

В философии нет никаких дедукций: *она* чисто дескриптивна.¹

На комплексное выражение с переменными предлагается смотреть другими глазами: не знак « aRb » говорит, что a стоит в отношении R к b , а прямо наоборот, пребывание « a » в отношении R к « b » *говорит, что* aRb . Философия состоит из логики, своей базы, и метафизики, и не может ни подтвердить, ни опровергнуть результатов научного исследования. У логики, лишенной переменных, остается надежного в руках собственно только имя, символ «простого неопределимого». Простота неопределимых не мешает их всеобщности. Возможно, есть такое всеобщее неопределимое, которое охватывает собой всё. Во всяком случае, «учение о всеобщих неопределимых символах» первостепенно важно².

После разрыва с Расселом Витгенштейн уговорил Джорджа Мура приехать на Пасху 1914 года в Норвегию. В том, что было продиктовано тогда Муру, онтологическая хватка явственнее чем в написанных для Рассела «Заметках». Первой фразой здесь вводится комплементарность речи и мира. Показать логические свойства речи значит в порядке следствия показать логические (существенные, не контингентные, ими пусть займется наука) свойства мира. Язык и мир не два разных массива, из которых один располагается где-то в нас, а другой вне нас. Для контраста: Рассел именно в недели диктовки Муру читал в Бостоне, в Lowell Institute, лекции, опубликованные позднее под названием «Наше познание внешнего мира». Язык и мир для В. настолько одно и то же, что они ни в какой точке не пересекаются. Язык и мир не два соседних массива так же, как не нужно деления на факты-высказывания и факты-обстоятельства. Суждения, с одной стороны, и «собственно факты», с другой, не составляют двух разных классов. Это два уровня, на одном из которых мы видим факт, не видя, как он установился (как мы видим черное пятно, но не помним, как мы условились называть его черным), а на другом, словесном, слышим суждение.

В записях Мура мы находим различие двух уровней речи, между которыми тоже отношение дополнительности. В венском анекдоте человека, целые дни просиживающего в пивной, спрашивают, есть ли у него

1 WA 1, 203.

2 WA 1, 206–207.

дом. Есть. Почему же он там не проводит время? Там жена. А что жена? Она говорит, говорит, говорит... Что же она говорит? Она этого не говорит. В речи наложены одна на другую две речи. Так иностранец, приняв вас за своего, может долго говорить с вами, но его речь не скажет вам ничего. *Сразу видно*, что иностранец говорит, но *толкования* его речи нет. Поднимемся от примеров и иллюстраций на уровень чистой мысли. Обычная фраза *говорит* (sagt), т. е. толкует и требует толкования. Так называемая «логическая фраза» видна сама по себе и *кажет* (zeigt) без толкования и до него. Они соотносятся между собой не так, что есть массив обычных фраз и отдельная группа логических, самообъяснительных. Логическая фраза пробегает по всей речи как проблеск того, что в речи не требует толкования. Интуитивно мы знаем, что в речи такая сторона есть. Пробегаящая через все фразы логическая фраза, которая видна сама по себе без толкования, можно сказать, *объявляет* всякую речь. Речь поэтому ясна до того, как мы в нее входим; мы потому в нее и войдем, т. е. углубимся в толкование, что она с самого начала без толкования *объявлена*.

Речь является в *событии* (Ereignis). Язык (чтобы успеть за немецким Sprache, мы говорим попеременно *язык* и *речь*) разворачивается вокруг события, несет его и держится на явности события. Из дополнительно-сти речи и мира ясно, что различения между событием языка и событием мира нет: они одно и то же событие. Событие не нуждается в толковании, но окружено им. Говорящая речь толкует событие, логика (база философии) идет на уровне явления, т. е. того, что *кажет* само себя.

Логические фразы кажут себя через тавтологию. С ней, мы помним, остаются проблемы, пока не создана система нотации, способная недвусмысленно обозначить тождество. Но тождество, даже если не получило адекватного обозначения, уже просвечивает в логике, надежно обеспечивая собою ее тавтологии. Тавтология логики кажет основное логическое свойство мира: он опознается как *то самое*. Здесь можно отчасти вспомнить «объект» Уайтхеда, созданный отождествлением; в конечной перспективе однако В. заново открывает парменидовское бытие как тождество¹.

Носителем тождества оказывается смысл фразы, как он описан выше: стрелка, направление. Не забудем, что сказать бессмысленную, т. е. не ориентирующую фразу невозможно. Всякая *настоящая* (wirkliche) фраза

1 Ср. ниже с. 261 о Пармениде в связи с Ницше.

за поэтому протекает на обоих уровнях: она одновременно толкует (говорит, рассказывает) и своей ориентирующей направленностью показывает, отражает логическое свойство мира¹.

Присмотримся к цепочке из трех фраз, ϕ , $\phi \supset \psi$, ψ . Сразу видно, что если из ϕ следует ψ , причем ϕ дано, то ψ . Это ясно, говорит само за себя. Но в той же цепочке не проблескивает ли еще что-то? тавтология? Парадокс в том, что *показываемое* фразой труднее заметить чем говоримое ею.

3 СКАЗАТЬ И ПОКАЗАТЬ

Сумеет ли мы прочесть фразу « $\phi \cdot \phi \supset \psi : \supset : \psi$ » («из истинности одновременно ϕ и того, что ϕ имплицитует ψ , следует ψ »; двоеточие в нотации Уайтхеда-Рассела берет то, что до и после него, в скобки)? Конечно. Что при этом с нами произойдет? Читая, мы ее включим в одну из известных нам языковых игр. Скорее всего, она уляжется в нашем соображении в виде распределения ее моментов по местам внутри одной из известных нам формально-логических систем. У нас будет, возможно, чувство удовлетворения от опознания и успешного распределения знаков (мы знаем, что такое функция, что такое импликация, что такое истинность). Возможно, мы расширим схему, внутри которой ведем распределение, до сферы деятельности, для полноты картины — мыслеречедеятельности, и подключим ее к общей методологии. У нас попутно появятся соображения и возражения, мы начнем про себя или открыто спорить. Мы втянемся в работу, которой всегда занимались профессионально и называли ее философией. Что если этого не делать?

Что если помедлить на черте перед организационно-деятельной игрой. Изменим зрение, посмотрим другими глазами. Фраза не сообщает ничего такого, что толкало бы нас к какой бы то ни было деятельности: она тавтология. Можно пойти сложным путем, чтобы увидеть в ней тавтологию: вспомнить, что до записывания и прочтения знаков мы уже условились об их семантике и записью фразы только развернули, повторили то, что сами уже вложили в семантику следования. Семантическая истинность и тавтология равнозначные понятия.

¹ «Jeder wirkliche Satz zeigt etwas — neben dem, was er sagt — von der Welt: denn wenn er keinen Sinn hat [колебание терминологии закончится переменной местами Sinn и Bedeutung. — B. B.], kann er nicht gebraucht werden, und wenn er Sinn hat, spiegelt er eine logische Eigenschaft der Welt» (WA 1, 210).

Можно однако увидеть во фразе тавтологию гораздо более простым образом. Если отвлечься от нашего знания формальной логики и ее знаков, фраза останется без обеспечения. За ней тогда ничего не стоит и она ничего не говорит кроме самой себя, т. е. в ней нет ничего, кроме того, что она выставлена вот в этих знаках. Мы отвлеклись от всякого знания о ней. Равная только своим знакам, она в этом простейшем смысле тавтология.

На примере такой простейшей тавтологии, не подлежащей толкованию, яснее будет видна проблема. В самом деле, фраза равна себе вовсе не потому что остается той же самой. Ее физическая (выветривание мела на доске) и психологическая (забывание) текучесть не позволяет показать ее тождество себе иначе как через исчезание этого тождества при всякой попытке на него показать. Лейбниц просил придворных дам убедиться, что нет двух похожих листьев одного дерева; они честно проверяли и с удивлением видели, что так оно и есть. Они видели нетождество листьев на фоне тождества, которое искали и не находили. Тем, что тождества нет среди наблюдаемых вещей, оно выведено из числа событий, которым грозит прекратиться. На тождество указано тем, что на него невозможно указать; оно этим *отмечено* — меткой, которую нельзя стереть, потому что она невидимая. Удержав себя от вступления в мыслеречедеятельностьные игры, мы получили на руки тождество, точнее, проблему или загадку тождества. Похоже, тождество иначе как проблемой и загадкой не бывает.

В новом зрении, привыкание к которому не означает приобретения новой техники, мы смотрим на знак, например *у*, и не спешим вводить в действие механизм толкования.

Имея выражение $(\exists u) \cdot \text{фу}$, мы склонны говорить «Существует некая *вещь*, такая, что...» Фактически однако следовало бы говорить «Существует некий *у*, такой, что...»; тот факт, что этот *у* символизирует, выражает то, что мы имеем в виду.¹

Перемена зрения здесь вот такая. Мы привыкли видеть в символе знак, сразу оглядываясь на то, что он символизирует. О предельно возвышенном, платонически-лосевском символе, правда, говорят, что он не имеет «однозначной расшифровки», но тут же добавляют, что он «предполагает существование конкретного смысла». Между тем исходное (Ари-

1 WA 1, 212.

стотель) наполнение символа¹ — это чистое ненаполнение, неполнота, нехватка на его месте *другого*. В нашем случае удержания себя от толкований у весь полностью превращается в нехватку, будь то на уровне семантики или на уровне онтологии. Глядя на у так, т. е. без оглядки на обозначаемый предмет или смысл, мы восстановили его как символ, а именно нехватку, в пределе — нехватку этого самого у, который сразу после написания на доске мелом начал выветриваться и, если его не сотрут, сам со временем исчезнет.

Увидеть в символе до включения в толковательные игры место нехватки, провал, впускающую пустоту в одном смысле проще всего, в другом очень трудно. Обычно мы воспринимаем в у уже знак чего-то и силится представить, чего он знак, примеряя к нему одну или другую организационную сетку из многих имеющихся в нашем распоряжении. Чтобы увидеть в символе впускающую пустоту, надо воздержаться от организующих действий, и это трудно. С другой стороны, нехватку мы чувствуем всегда без подготовки, так сказать, всем телом до включения в какие бы то ни было игры; для нашей природы это естественно и легко. Воздержавшись от игр, мы и не можем вообще видеть у иначе как в диапазоне нехватки между *вообще ничего нет, смысла даже нет, чушь какая-то* и, на противоположном полюсе, *загадка, проблема, тайна знака*.

Зрение, которому обучает нас В., во всяком случае не сложнее, чем наше привычное зрение, но оно редкое. Как знак радиационной опасности (наш пример) может для нас никогда не начать скакать, если нам не покажут, что он способен быть не только черным, но и белым пропеллером, так мы можем всегда оставаться при встроеном зрении, обслуживающем нашу деятельностьную игру. Проверим себя.



Мур записывает под диктовку Витгенштейна фразу «Moore gut». Отвлекаемся от знания языков. Фраза нам ничего не говорит. Что она показывает не говоря? Что *М* больше *о* и стоит левее? Это показывание однако

1 О символе у Аристотеля и Платона ср. ниже с. 354.

развертывается на том же организующе-распределяющем деятельностном уровне, что и семантика. Доказательство: можно и словами сказать то, что *М* больше *о* и стоит слева от него. Между тем фраза, настаивает Витгенштейн, показывает одновременно такое, что не может быть проговорено словами. Что?

Здесь требуется смена зрения такого же или более сложного рода чем в случае со знаком радиационной опасности. Воздержимся от того во фразе «Moore gut», что она хотя и показывает, но по сути дела говорит, поскольку то же можно сказать и словами. Заметим кроме того, что всё, показываемое фразой графически и семантически, случайно, произвольно. Буква *М* прописная по конвенциям современных языков; в древних языках она была бы строчная. Буква *о* случайно, по принятым в английской орфографии правилам, тут стоит; в русском будет другая буква; в арабском буква *и* будет не справа, а слева от *g*. Что фраза показывает не конвенционального и такого, что нельзя проговорить словами?

Логические свойства, которые она <фраза> показывает, не произвольны, и что она их имеет, не может быть высказано ни в какой фразе.¹

Кто увидит это невидимое показывание, увидит «логическое свойство» речи и мира. Достаточно ли просто перенести на рассматриваемый теперь случай результат, полученный нами только что при разборе символа *y*, и сказать, что выражению «Moore gut», после того как мы отвлеклись от его семантики (в том числе графической), не хватает *всего*? и что тогда, значит, *нехватка всего* будет логическим свойством речи и мира? Речь держится (см. выше) на явности события. Как событие может быть связано с нехваткой всего? или событие формируется в горизонте нехватки целого и только в нем?

Попробуем удержаться на этом отвлеченном уровне, продолжая не увлекаться тем, что фраза говорит и графически показывает. В «Критических заметках о буржуазной математической логике» (1942–1947) А. Ф. Лосева, опубликованных впервые в 2004 г.² вместе с жесткой справедливой критикой Арношта (Эрнеста) Кольмана, рядом с устарелыми вещами есть резкий жест, который Лосев делает уверенно.

1 WA 1, 213: «Die *logischen* Eigenschaften, die er <der Satz> zeigt, sind nicht willkürlich, und daß er sie hat, kann in keinem Satz ausgesagt werden».

2 Историко-математические исследования. Вторая серия, вып. 8 (43), 2003, с. 339–401.

Внутренний нигилизм и внешний империализм — вот от чего надо освободить современную буржуазную логику.¹

Без некоторых эпитетов тут можно обойтись. Но от нигилизма и империализма действительно всегда хорошо освободиться.

Если всякое *p* может быть понято только если мы отдаем себе отчет в том, что́ будет иметь место, если верно $\sim p$, то на уровне утверждений или отрицаний то, что мы ищем, вообще не находится. Фраза должна что-то показывать *помимо* утверждения и отрицания, хотя наверное не так, что одна ее часть принадлежит организационно-деятельностной игре и надо искать другую часть, а так, что речь, целиком принадлежа языковой игре, имеет одновременно другой уровень. Факты-высказывания и факты мира не две смежные области. Одна и та же речь *одновременно* говорит и показывает в действительном, не просто графическом смысле. Как она это делает? Тем, что речь всегда способна *проговорить* всё, что только можно сказать, — этим же самым она *показывает*.

Логические фразы *показывают* что-то, *поскольку* язык, на котором они выражены, может *сказать* всё *могущее быть* сказанным.²

Нигде в языке (речи) не проведено границы между тем, что можно сказать, и тем, что нельзя. Ситуация аналогична с полем нашего зрения: мы не способны увидеть внутри него то, чего не можем видеть. Границы у нашего поля зрения в этом смысле нет; всё увиденное уже в нем. Неспособность разобрать на большом расстоянии буквы означает, что я их вижу. Видеть границу, за которой начинается невидимое, нам не дано. Я знаю, что не вижу себя; видеть, что себя не вижу, я не могу. Невозможно, конечно, смотреть сквозь стену, но она внешняя помеха, а не граница *моего* зрения. Мой кругозор явно ограничен; я не вижу того, что видит другой, но *видеть* ограниченность своего кругозора я не могу, а только догадываюсь о ней. И аналогично: то, что мы в состоянии сказать всякое сказуемое и не знаем, чего мы не можем сказать, показывает ограниченность нашей речи. Сплошная сказуемость всего, наша способность выразить всякий без ограничений смысл (Трактат 4.002) *показы-*

1 Историко-математические исследования..., с. 395. С той же уверенностью Лосев говорит (с. 390): «Математика ни с какой стороны не является ветвью логики. Это две совершенно разные, совершенно не зависящие одна от другой, совершенно самостоятельные дисциплины.»

2 WA 1, 211: «Logische Sätze zeigen etwas, weil die Sprache, in der sie ausgedrückt sind, alles Sagbare sagen kann».

вает границу языка и мира через ее невидимость. Знаком их ограниченности выступает возможность неограниченного применения их.

Как увидеть этот невидимый показ? Обнаруживает ли его анализ? Проведем мысленный эксперимент, проведем анализ «aRb», где *a* стоит слева от *b*. Наверное, анализ возможен, потому что едва ли *a*, *R*, *b* простые; каждое из них скорее всего раскладывается на элементы. Каждая фраза анализа однако будет иметь опять же форму aRb или более сложную. Есть ли шанс в ходе анализа получить форму более простую чем «вещь, еще вещь (пусть даже та же самая) и вещь между этими двумя»? Непохоже. В конце анализа мы получим ту же схему, что в его начале. Анализ не дает выйти из организующей системы, не приведет к простому.

Чтобы увидеть невидимый показ, надо выйти из практики анализа и из систем ориентации вообще. Витгенштейновские упражнения в зрении бесполезны для ориентации внутри цивилизационного расписания, но, пожалуй, пригодны, чтобы разобраться в нашем человечестве. Вспомним, что философская классика мало отделяла онтологию от этики. Предложенное нами различие между символом системным и символом безусловным поможет понять, что В. имеет в виду под показом.

В дефиницию символа системного, или знака в нашем обычном смысле слова, входит его отличие от вещи. Мы оперируем знаками, чтобы потом перейти к самим вещам. В остальном животном мире нет этой предварительной ступени. То обоснование знаковой системы, что она позволяет с большей степенью разумной сложности оперировать вещами, не работает в свете научной биологии, показывающей у других живых существ не меньшую разумную сложность и заведомо больше мудрости во внимании к целому. Если символ-знак соотнесен с «предметностью», у Кассирера с «духовной реальностью», у Юнга с «душой», у Шпенглера с «творчеством», у Лосева с «мифом», то символ в его исходном понимании соотнесен с *другим* ему. Язык не исчерпывается уровнем ориентирующих указаний, он всегда остается еще и подлинным символом, знаком невидимого отсутствия. Весь язык (речь) в этом понимании есть символ отсутствия речи, т. е. молчания.

Витгенштейновское логическое пространство требует освоения. Истина в нем имеет на первый взгляд простую дефиницию:

«р» истинно = «р». р. Def.¹

1 WA 1, 216.

Вторая точка здесь берет всё предыдущее в скобки, первая означает логическое произведение, т. е. одинаковую истинность выражений, стоящих непосредственно слева и справа от нее; в кавычки взят факт высказывания, без кавычек оставлен факт действительности. Вся дефиниция кажется повторением известной формулы «истина есть соответствие понимания и реальности», *veritas est adaequatio intellectus et rei*.

Возьмем произвольную линию:



Выскажем результат ее измерения: «В линии n мм». В самой линии помимо нашего высказывания тоже n мм? высказывание адекватно обстоятельствам дела? Нетрудно видеть, что истина высказывания опирается на пирамиду условностей, начиная с принятой системы мер. Условно мы видим в линии евклидовскую прямую; не проверяя, есть ли в ней кривизна, мы принимаем ее за кратчайшее расстояние между двумя точками; мы давно условились, что точек в пространстве больше чем одна; условившись, что расстояние между точками вообще поддается измерению, мы приняли практику усреднения, скажем, до миллиметра, а иначе никогда не перестали бы измерять линию (с чем сталкиваются сверхточные эксперименты математической физики). Замер и отчет о нем делаются в рамках конвенций, начиная вообще с допустимости замеров. Мы условились считать внутри нашей системы измерение с точностью до миллиметра соответствием. В системе астрономии миллиметровая точность показала бы сумасшествием, у исследователей микромира — издевательством.

За истиной как соответствием очевидно стоит система конвенций. Только она или что-то еще? До измерения мы дали (позволили) линии иметь ту длину, которую она имеет¹. Мы не подгоняли ее длину к линейке. Конвенциональное усреднение результатов замера — свидетельство того, что мы сначала разрешили линии быть такой, какая она есть. Аналогично при именовании: Сократу дано условное имя, но Сократ, рассматриваемый под этим именем, не условен. Практика подгонки именованного под его имя существует, но конвенцией не становится.оборот речи *собственное имя* имеет тот смысл, что мы даем именуемому быть именно самим собой в том же смысле, в каком до измерения видели линию именно в ее, а не какой-либо другой длине.

¹ WA 1, 215.

Тот факт, что Сократ имя человека, если он отзывается на него, истина. Основание ее конечно условность, но ей предшествовало безусловное принятие именно этого человека при даче ему имени. Мы условливаемся об имени, но не условливаемся о допущении человеку быть именно тем, что он есть. В упражнении с пятном на разграфленном листе, которое мы перерисовываем, заполняя поочередно клетки графика черным или белым, мы, конечно, условились, что называть белым и что черным; перед этим мы однако дали тому и другому цвету быть самими собой.

Если бы мы давали вещам быть собой условно, *да и нет* о них стали бы бессмысленны. Мы условливаемся, какой мерой пользоваться при измерении и на какой доле метра ее округлить, чтобы не уйти в бесконечность, но условливаться было бы не о чем и проблемы округления не существовало, не оставь мы линии ее длину. Результат любого измерения, фалангой указательного пальца, шириной большого, сантиметром или точным прибором в нанометрах, будет верным внутри избранной системы и одновременно условным в свете собственной длины линии. Таким же образом дача имени есть измерение именуемого существа в системе, о которой мы условились, но возможность условиться и дать имя обеспечена тем, что мы даем имя безусловному. О необходимости иметь дело именно с ним мы, как сказано, не условливаемся, она сама собой разумеется, пусть не всегда практикуется. Увидеть линию без системных представлений прямой, точки, кратчайшего расстояния, измерения не просто, но независимо от того, поднялись ли мы до умения видеть собственно вещи, их безусловность предполагается сама собой и обеспечивает всю практику наших конвенций. Внутри них работает самообеспечивающая логика тождества.

С записей

Логика должна обеспечивать (предусматривать, обуславливать) сама себя [...] Логика должна уметь позаботиться о самой себе [...] Мы, по-видимому, в известном смысле не можем ошибиться в логике. Это отчасти уже выражено в словах: логика безусловно обеспечивает сама себя. Это необычайно глубокое и важное познание

от 22 августа и 2 сентября начинается первая из трех сохранившихся тетрадок военных дневников Витгенштейна¹. Логика настолько уме-

¹ WA 1, 89. На другой стороне разворота тетрадки велись шифрованные записи, см. Приложение с. 519 сл.

ет позаботится о самой себе, что оставляет нам право говорить всё.

Еще раз: потому что логика должна обеспечивать сама себя. *Возможный* знак с необходимостью сразу же и обозначает. Всё, что вообще возможно, тут же и легитимно (позволено).¹

Произвольность, с какой даются имена, распространяется на высказывания. Скажем бессмысленную фразу «Сократ есть Платон». Можно ли условиться слышать имя «Сократ» так, чтобы бессмысленность исчезла? Это нетрудно; фраза может оказаться даже более осмысленной чем любое другое краткое сообщение об известном персонаже древней истории. А «Сократ идентичен» (Трактат 5.473)? Не надо напрягать ум: фраза бессмысленна хуже предыдущей, где по крайней мере было сказано, чему идентичен Сократ. Потому ли она не имеет смысла, что с ней самой что-то не в порядке? Как *символ*, т. е., в исходном смысле нехватки, бессмысленная фраза полноценна. Слабым усилием ума, принятием небольшой конвенции — считать идентичность саму по себе, а не идентичность чему-то, свойством, — мы придадим фразе смысл, причем богатый.

До следующей записи на правой стороне дневника есть несколько шифрованных². 3.9.1914 на нешифрованной правой полосе дневника сделана длинная запись.

Как это вяжется с задачей философии, что логика по необходимости обеспечивает сама себя? Если мы например спрашиваем: субъект-предикатной ли формы такой-то и такой-то факт, то мы ведь обязаны все-таки знать, что мы понимаем под «субъект-предикатной формой». Мы должны знать, существует *ли* вообще такая форма. Как мы можем это знать? «Из знаков!» Но как? У нас ведь нет никаких *знаков* этой формы.

4 СУБЪЕКТ-ПРЕДИКАТНАЯ ФОРМА

Схема подлежащее-сказуемое принадлежит к конвенциям европейских языков, в других ее может не быть. На каком основании субъект-предикатная форма прилагается к означаемым? Спросим иначе: в какой класс, разряд, тип вещей включается линия, которой допущено быть такой длины, какой она есть, или, проще, допущено быть? всякой условной

¹ WA 1, 89.

² См. в Приложении с. 519 записи от 25.8.1914.

мере линии предшествует ее тождество самой себе? Нет. Часто применяемый оборот речи «вещь, тождественная самой себе», не имеет смысла. Разрешение линии иметь длину, которую она имеет, еще не предполагает ее тождество самой себе: мы ручаемся тут не больше чем за безусловное принятие нами линии; о ее тождестве или нетождестве себе знает раз-ве что она сама. Тождество исчезает при попытках его фиксировать.

Поскольку группирование предполагает ту или иную тождественность объединяемого, а тождество фиксируется лишь условно, вопрос о существовании субъект-предикатной формы решен: она, подобно классу, типу, множеству, имеет место условно. Допустить существование классов вне конвенции значит пожертвовать серьезным отношением к тождеству, не видеть в нем проблему, остановиться на его дефиниции в той или иной системе. Так называемое тождество линии самой себе держится в конечном счете на нашем разрешении ей иметь свою длину; это мы делаем вне конвенций. От одной системы мы слышим, что длина линии *n* вершков, от другой — что ее длина *m* нанометров; но в наше принятие линии входит знание, что линия не сводится к системной мере. Давая линии иметь свою длину, *мы одни*, против всех систем, отвечаем теперь за нее. Будет облегчением, если данные нашей проверки совпадут с тем, что предлагают системы измерения. Сложности возникнут при измерении в нанометрах, но пока воздержимся от их разбора. Заметим роль *мы* как гаранта собственной длины линии.

Одним из слушателей была развернута эротическая мифология субъект-предикатной формы в порядке переноса синэргийной мифологии в логику: существуют якобы некие места, обладающие притягивающим свойством, это субъекты, и есть величины, поддающиеся этой аттракции, предикаты. Образность здесь может быть и другая, например не аттракции, а репелленции. За всякой мифологией скрывается представление, или воображение, что где-то — в бытии, во вселенной, в хронотопе, в речемыследеятельности — существует заготовленное первоотношение характерного вида и свойства, в которое как в лузу падают наблюдаемые предметы. Мифология этого и всякого другого рода вовсе не была вытеснена логической мыслью раз и навсегда когда-то в античности; миф приходится каждый раз отделять от философии снова и снова на каждом шагу.

«Die Rose ist schwarz», «роза есть черная». Роза и черное соединены субъект-предикатным отношением через связку *ist*, *есть*. Имела бы фраза смысл, если бы розы были только черные, как одуванчики толь-

ко желтые? Она работает лишь в паре со своим отрицанием. По правилу *ab*-нотации понять «роза есть черная» значит понять и «роза есть не черная», но смысл глагола *есть* здесь уже перешел от грамматической связки к существованию. (Запомним эти скачки глагола *есть*.) Таким образом, при первом же испытании на прочность субъект-предикатная форма расплывается. Глагол *есть* в смысле квантора экзистенции можно с натяжкой назвать предикатом, но так поступать не рекомендуется. Субъект-предикатная форма, возможно, сохраняет отчетливое существование в нашей голове, но факты живого языка вывертываются из нее.

В соответствии с выписанной выше дефиницией истины

«р» истинно = «р».р. Def.

найдем факт *p*, обеспечивающий истинность фразы «р». Истину факта, делающего фразу истинной, всего лучше описать как констатацию: «Роза и *есть* черная». Значение глагола *есть* еще раз скачет, теперь оно где-то в промежутке между связкой и квантором существования. Устойчивой формы, которая была бы собственно субъект-объектной, в нашем языке не оказывается. Эта форма с самого начала располагалась в области формальной логики. В языке ее искать не надо, она *ens rationis*.

Глагол во фразе «Сократ есть смертный» школьным сознанием воспринимается как связка. Эта фраза, как и разобранный выше «Роза есть черная», имеет для В. смысл только рядом с «Сократ не есть смертный = Сократ есть бессмертный». Мы должны уметь понимать, что значит второе, чтобы понимать первое. Семантика *есть* сползает снова в сторону квантора существования: есть такой Сократ, что он смертный. На месте предиката, высказываемого о субъекте, оказывается утверждение, верификацией которого будет наблюдение бесспорной смерти Сократа — дело естествознания, не логики. Правда, в специальном профессиональном контексте фраза «роза черная» не станет бессмысленной, если другого цвета роз не бывает, как термин «человек разумный» не ошибочен, хотя иначе устроенный человек не наблюдается. Однако переход от естественного языка к терминосистеме, позволяя применение специальных синтаксических схем, не доказывает их существования вне конвенций.

Так что мы можем себя спросить: существует ли субъект-предикатная форма? существует ли форма отношения? существует ли вообще какая-

либо из форм, о которых Рассел и я всё время говорили? (Рассел сказал бы: «Да! ведь это очевидно». *Как бы не так!*)¹

Вглядимся во фразу «*A ist gut*». Как доказать, что *A* субъект, *gut* предикат? Это, казалось бы, само собой видно; одно подлежащее, другое сказуемое. Но если я отвечаю за хорошую характеристику *A*, то имею в виду наверное какую-то определенную черту или набор черт, и чем ответственнее я в своей характеристике, тем меньше мне хотелось бы говорить бездоказательно. Что *A* хороший, я могу доказать или показать; чем доказать или показать, что хорошесть *предикат* *A*? Тем, что я *высказываюсь* об *A*? Нет. Если я хочу быть предельно ответственным, то буду настаивать, что говоримое мною об *A* относится именно к нему и исключает приписывание ему обобщенных черт, пусть даже таких на первый взгляд безобидных, как обладание предикатом. Как разрешение линии иметь свою длину выводило ее из любых систем, так мое высказывание об *A* выходит за рамки системных сообщений и оставляет его иметь только свои уникальные свойства. Мой *A* их имеет, чем и дает высказаться о себе. Показывает ли он свойства субъекта и предиката?

Казалось бы, нет большой беды приписать высказыванию общие системные свойства. Кроме того, на первый взгляд неудобно отказаться от таких универсальных формально-логических инструментов как субъект-предикатная форма, вещь, класс, тип. На лишение разумно пойти только в случае, если эти рассудочные сущности (*entia rationis*) заслоняют что-то существенное. Что?

На субъект-предикатной форме держится дефиниция. Нередко говорят, что философия началась вместе с дефиницией. Современные словари понятий строятся в основном по принципу дефиниции. Дефиниция берет род и уточняет его до вида, т. е. с самого начала вводит в систему. Это как если бы к линии мы подходили уже с линейкой в руке. Связь между субъектом и предикатом, шире, между означаемым и знаком предполагается с самого начала уже налаженной. Кем, как, когда?

Неясность заключается *явно* в вопросе, в чем собственно состоит логическое тождество знака и означаемого! А этот вопрос есть (*опять же*) передний фасад всей философской проблемы.²

1 WA 1, 90.

2 Ibid.

Тождество знака и означаемого? Может ли знак быть тождествен означенному содержанию? Есть мечтатели, воображающие символ настолько богатым, что содержательно он не уступит означенному. Но в трезвой перспективе полное содержательное тождество знака и означенного не дается. Разумнее думать, что знак все-таки не вещь. С другой стороны, частичное сходство знака и вещи тоже мало кого устраивает. Большинство не случайно пользуется жесткой двузначной, а не плавающей (fuzzy) логикой. Практика утверждений-отрицаний, в том числе субъект-предикатных, зависла бы, если бы знак и означенное не были связаны каким-то тождеством надежного, не материального рода. Его ищет и находит Витгенштейн.

Логическое тождество знака и означенного состоит в том, что в знаке мы имеем право опознать не больше и не меньше чем в означенном.¹

Знак равен означенному тем, что в качестве знака он есть *то самое* не в меньшей мере чем означенное есть *то самое*. Мы расстраиваемся, если означенное *не то*, так же, как если со знаком что-то *не так*. В знаке и означенном тождественна их именность: именно этот знак предполагает именно это означенное. Или проще: что знак именно тот, известно таким же сведением, каким мы осведомлены об означенном, что оно именно то (что надо, что мы имели в виду). Без тождества знака и означенного вся речь зависла бы в условности. Многие подозревают, что она и зависла. Мы знаем однако, по крайней мере интуитивно, что речь не всегда движется по кругу.

Если бы знаки и означенное *не* были тождественны по своему полному логическому содержанию, то должно было бы существовать что-то более фундаментальное чем логика.²

Работает ли логическое тождество знака и означенного вне системы? Да, с немалым успехом. Больше того, внутрисистемные отождествления, как субъект-предикатная форма и другие, заслоняют собой логическое тождество, которое вполне развертывается только вне системы. Рассмотрим это на случае, когда выход из системы поневоле объяснен.

1 WA 1, 91: «Die logische Identität von Zeichen und Bezeichnetem besteht darin, daß man im Zeichen nicht mehr und nicht weniger wiedererkennen darf als im Bezeichnetem».

2 Ibid.: «Wären Zeichen und Bezeichnetes *nicht* ihrem vollen logischen Inhalt nach identisch, dann müßte es noch etwas Fundamentaleres geben als die Logik».

Что такое точка в моем поле зрения¹? Перенос пятна с одного разграфленного листа на другой выполнит устройство с фотоэлементом. В более общем смысле перебор всех возможностей исчисления любой сложности сделает машина Тьюринга. Разграфить мое поле зрения тоже мыслимо. Но что если точка окажется настолько *моей* (повреждение, галлюцинация, индивидуальная особенность), что ее будет не с чем сопоставить? Я тогда захочу ее, возможно, скрыть, или, наоборот, пойму, что в ней моя исключительная особенность. Это не психология. Я тут название не биопсихического индивида, а степени предельной *близости* рассматриваемого. Под *близко* понимается касательство, задевание, воздействие, т. е. новизна (новое всегда *теперь вот*). Уникальная точка в моем поле зрения касается меня. Я хочу сверить ее с чем-нибудь, но такой никогда не было и вне моего поля зрения нигде, возможно, нет. Отнести ее к одному из известных классов вещей путем соглашения известного рода нетрудно, но корректно ли такое обращение с ней? В случаях большой близости увиденного мною ко мне расстаться со схемами в конечном счете придется. Единственной опорой останется и потребует себе всего внимания *именность* увиденного. Иначе *не то* будет всё, что я о нем говорю.

5 РИСУНОК

Если философия идет не путем дефиниций через род и вид, то каким путем? Витгенштейн разрешает не знать, что делать в таком случае.

Если логика позволяет завершить себя без ответа на определенные вопросы, то она *должна* быть завершена *без них*.²

Мы получаем на руки одновременно завершенную логику, и открытый вопрос о точке в нашем поле зрения, о которой мы знаем лишь, что она именно *то самое*, что она есть, и что наша речь о ней должна быть не в меньшей мере *тем самым*, логически тождественным точке. Дело идет не о содержательном сходстве.

На рисунке³ двое фехтующих. Дерутся ли между собой А и В в действительности? Возможно, нет.

1 Ibid.

2 Ibid.: «Wenn sich die Logik ohne die Beantwortung gewisser Fragen abschließen läßt, dann muß sie ohne sie abgeschlossen werden».

3 WA 1, 95.



Я нарисовал то, что могло быть, чего я хочу или чего боюсь, что мне помешалось.

Рисунок может изображать отношения, которые не имеют места!!! Как это возможно?¹

Если рисунок правдиво срисовывает действительность (между А и В на деле дуэль), он всё равно не совпадает с ней, потому что без изменения может означать и свою противоположность. С другой стороны, если рисунок не срисовывает действительность, но выражает мое желание, то он не ложь или не ложь в смысле чего-то плохого. Нам ничто не мешает сказать *хорошо, если p*, даже если мы не знаем, истина *p* или ложь.

Мы совершенно очевидно можем сказать, что положение вещей *p* хорошо, не зная, истинно «*p*» или ложно.²

Похожесть или непохожесть того, что я рисую своей фразой, на то, что наблюдается, как бы не идет в расчет, не относится к делу.

Как понимать тогда тезис «логику интересует только действительность»³? Фраза есть рисунок не в смысле срисовывания. С тем, что она показывает как раз то, что в ней не наблюдается, мы уже встречались⁴. Фраза есть такой рисунок, который пробно набрасывает мир, заботясь о *своей* действительности, а не о том, похоже или непохоже она рисует. Мое желание (нежелание, опасение, предчувствие) тоже действительность. Витгенштейн обходит модальную логику не оттого, что забыл или руки не дошли, а по необходимости, вызванной исключительным вниманием к действительности. Из модального всех оттенков взят срез действенного.

Речь (язык) делится на две стороны (не две области), в одном аспекте не предполагает, в другом предполагает проверку на истину-ложь. Изменение аспекта не заявлено в самом знаке, в лучшем случае оно определяется контекстом. Слово *kilo* имеет общеизвестное техническое зна-

1 WA 1, 95: «Ein Bild kann Beziehungen darstellen, die es nicht gibt!!! Wie ist dies möglich?»

2 WA 1, 93: «Wir können ganz offenbar sagen, der Sachverhalt *p* sei gut, ohne zu wissen ob „*p*“ wahr oder falsch ist».

3 WA 1, 97: «Nur die Wirklichkeit interessiert die Logik».

4 См. выше с. 42 слл. о показывании и говорении.

чение, а в каком-то коде военного телеграфа значит «у меня всё в порядке» и тогда соответствует или не соответствует действительности¹. Если рисунок двух фехтующих выражает мое пожелание, он не нуждается в проверке на истину-ложь, которая потребуется, если он донесение.

Когда на нашем рисунке А и В фехтуют, а в действительности они заняты другим, рисунок ложь? Мы подбираемся тут к существованию истины². Они не дерутся, но достойно было бы им драться; своим рисунком я даю им шанс это понять. «Завтра утром будет сражение.» Это высказывание окажется истиной или ложью, если оно разведывательное донесение. Как предсказание оно окажется ложью еще в другом смысле. Если это слова полководца, чьи планы сорвались, оценки на истину-ложь вообще не будет. Переплетение оценок на истину-ложь и на хорошо-плохо кажется нетехничным. Здесь уместно небольшое упражнение. Сделаем в стиле объективного датчика высказывание «р», тогда как имеет место ~р; высказывание явно ложно. Теперь не будем представлять себе автором высказывания беспристрастный датчик и услышим, так сказать, не рафинированное высказывание «р». Заметим, что мы уже не готовы в той же мере к однозначному суждению на истина-ложь, задумываемся еще о чем-то, примерно в роде того, для чего говорится «р». И еще одно упражнение. Попробуйте при чтении текста по формальной логике проследить за собой, полностью ли мы очищаем истину и ложь от нравственной оценки. Даже там, где они заменены на 1 и 0, это оказывается трудно.

Рисунок дуэли может быть иронией, и тогда под видом «да» говорит «нет», оставаясь тем же (всякое утверждение несет с собой отрицание, формально выраженное *ab*-нотацией, неформально иронией). Если рисунок дуэли всего лишь *может* быть перенесен на что-то другое, то он *уже* и перенесен; мы увидели в нем новую связь. Она сложилась где-то, не отразившись на нем. Есть ли фразы, которые нельзя повернуть? Они однозначно фиксировали бы положение вещей, но о них нельзя было бы сказать, истина они или ложь, хотим ли мы того, что в них сказано, или нет. Без расхождения между тем, что есть, и тем, чего мы хотим, высказываниям незачем было бы быть истинными или ложными. Рассмотрим предельный случай: мы хотим, чтобы всё было так, как оно есть; в этом

¹ WA 1, 96.

² WA 1, 95: «Daraus muß sich (wenn ich nicht blind wäre) sofort das Wesen der Wahrheit ergeben».

случае, казалось бы, простое существование обеспечивает себе свою истинность. Но нет: истинность существующего, если ее нельзя отрицать, оказывается без своей противоположности неполной. Только элементарное предложение (Elementarsatz, стихийная фраза) не имеет себе такого отрицания, которое оказалось бы истинным¹. Она не требует понимания того, что было бы, если бы она была ложью. Здесь приоткрывается неожиданный смысл отрицания: сама его возможность показывает, что мы находимся в области комплексов, и потеряет под собой опору, когда мы выйдем к простым.

Высказывание есть рисунок, или набросок, в котором мы, пробуя мир, составляем вещи, стремясь вовсе не обязательно к тому, чтобы они составились как в действительности². Что мы пробуем? Чтобы *получилось*; чтобы было *лучше*. Сами ли мы при этом удваиваем действительность? Нет. Не мы создали помимо действительности другой второй символический мир, а с самого начала всегда уже имели дело с *двумя*.

Описание мира через фразы возможно только потому, что означаемое не есть свой собственный знак!³

Действительность исходно отмечена лишением. Сама по себе она ничего не значит. Чтобы сделать ее значащей, нужны существа, составляющие ее рисунки. Как существа, имеющие такое свойство, мы принадлежим действительности. Тождество логического рисунка и действительности разворачивается на фоне ее исходного раздвоения. Речь не добавление, пристроенное к вещам задним числом. Действительность сама исключила свой знак. За нее отвечаем мы. Без тождества знака и означаемого эта задача невыполнима. Полным будет никогда не содержательное, а только логическое тождество. Рисунок никогда не станет тем же, что действительность. Он однако может оказаться *тем самым*.

Что мы делаем, когда рисунок не удастся? Мы тогда обычно просто множим число знаков, срисовывая положение дел еще и еще раз. Знаки при этом подпитываются означаемым. Рисунок с самого начала нацелен на то, чтобы он *получился*; в нем поэтому важно сразу уловить

1 WA 1, 101: «Представляется всё же, что простое существование форм, содержащихся в „ $(\exists x, f)$.fx“, само по себе не может обусловить истину или ложь этой фразы! Таким образом, не представляется *немыслимым*, чтобы, напр., отрицание какой бы то ни было элементарной фразы было истинным.»

2 Ibid.

3 WA 1, 103.

суть дела. Удача рисунка на любой ступени усложнения речи (языка) возвращает к простоте образа в смысле целого. Целое остается ведущим в нашем рисунке и не привязано к числу его деталей. Сложность неудачного рисунка воспринимается как грязь. Рисунок чего-то крайне сложного тоже должен иметь ведущей чертой схваченную простоту целого. Так же и рисунок *всего*. Рисунок целого мира не обязательно будет иметь много частей, потому что целое не сумма частей. Не будет ли тогда рисунок целого состоять из простейшего жеста? Похоже что именно так.

Можно было бы сказать также, что наша трудность сводится к тому, что совершенно всеобщая фраза представляется не составной.¹

6 ВНУТРЕННИЕ ОТНОШЕНИЯ

«Всеобщую фразу» в вышеприведенной цитате не нужно смешивать с обобщенными (генерализованными) высказываниями. Статус этих последних по мере становления витгенштейновской логики неуклонно снижается. Обобщенный закон, узнаем мы, не менее контингентен чем единичное наблюдение; просто при рассмотрении а, b, с... обнаружилось, что все они имеют единое свойство ф. Высказывание о многом или обо всем поэтому так же материально, как об одном.

Высказываю ли я что-то об одной определенной вещи или обо всех вещах, какие существуют, высказывание одинаково материально.

«Все вещи» — это, так сказать, описательное выражение вместо «а и b и с».²

Приравнивание общего закона к единичным наблюдениям-описанием готовит почву для встречи с таким предельным всеобщим, как целый мир и вышеупомянутая отвечающая ему единая всеобщая фраза, или, что то же, логическая форма фразы. С ее появлением генерализации теряют свой вес. Как если бы стало ненужно служить правителям и правилам, кроме одного, невидимого.

Выравнивание поля обзора, дающее выйти непосредственно к целому, имеет следствием проблему определения. Из-за того, что нет разрядов вещей, вещи теряют статус *частей* чего бы то ни было. Стоящее пе-

¹ WA 1, 107.

² WA 1, 106.

редо мной дерево у Шопенгауэра¹ в существенном смысле неотличимо от мира. Имея это в виду, вспомним о свойстве наших знаков иметь разное, предельно сужающееся и бесконечно расширяющееся значение. Возможен язык, состоящий из одного универсально применяемого слова (Бахтин). Не в этой ли расплывчатости сходство между миром и языком?

Что если наши знаки так же неопределенны как мир, который они отражают?²

Считается, что конвенция и контекст определяют значение слова. Выбор контекста и языковой игры зависит однако в каждый момент от говорящего (думающего). Часто, но не всегда, имеет место подтверждающий выбор, т. е. согласие продолжать начатую игру. Как подтверждение, так и смена игры происходят обычно с изменением не знаков, а их отношения к вещам. Те же самые знаки внутренне утверждаются в своем прежнем применении или начинают функционировать иначе. В конечном счете (при)знаков того, как мы применяем знаки, нет. Захотев показать свой способ употребления знаков, мы применим способ показа, который показать в свою очередь не сможем. Внутри наблюдаемых знаков действуют таким образом другие, невидимые.

Чтобы узнать знак в знаке, надо смотреть на его применение.³

Поучительное упражнение — попробовать обозначить какой-либо внутренний знак внешним. Красный светофор (наш пример) не означает, что надо сразу остановиться; так его понимают водители-шимпанзе и делают ошибку, мгновенно останавливаясь посреди дороги. Он не означает, что нельзя тронуться на перекрестке: если до сплошной поперечной черты остается какое-то расстояние, тронуться и пересечь эту черту уже на скорости можно. Зеленый светофор не означает, что можно трогаться: надо убедиться, что на перекрестке нет живого регулировщика и что поперечное движение прекратилось. Хотя эти подробности записаны в «Правилах движения», они мало помогают водителям, особенно

1 О необходимости не забывать в нашей связи о шопенгауэровском наследии напоминают: *Mario Micheletti*, *Lo schopenhauerismo di Wittgenstein*. Bologna: Zanichelli 1967; *E. M. Lange*, *Wittgenstein und Schopenhauer*. Logisch-philosophische Abhandlung und Kritik des Solipsismus. Cuxhaven: Junghans 1989.

2 WA 1, 106.

3 Ibid.

начинающим. Попытки переписать «Правила» иначе и подробнее предпринимаются снова и снова, но окончательно эксплицировать их не удается. Составители пользуются всё более строгими приемами обращения с понятиями, но описания этих приемов не дают: для этого понадобились бы приемы еще большей сложности. Пытаясь эксплицировать применение знака, мы скоро видим невыполнимость этой задачи.

Перед нами трудное место военных дневников, что видно из ошибок русского перевода. Перед тем как продолжить разбор, посмотрим на левую шифрованную сторону тетради.

*Я на пути к какому-то большому открытию. Но доберусь ли я до него?!
Чувственности больше чем прежде. Сегодня снова о... На дворе ледяной ветер, почти буря. Лежу на соломе на земле и пишу и читаю на деревянном сундучке (цена 2,50 крон).¹*

Нешифрованная запись 19.9.1914:

Такая фраза как «этот стул коричневый» говорит, похоже, что-то невероятно сложное, потому что захоти мы выговорить ее так, чтобы никто не мог ничего возразить против ее многозначности, ей пришлось бы быть бесконечно длинной.²

Привыкнем к этой неуловимости знака в знаке. Сама по себе фраза неопределенна в том же смысле и в той же мере, как мировая среда. Заметивший это в отношении ствола близстоящего дерева персонаж «Головокружения» Сартра потерял ориентацию. Определенность миру, определенность фразе придает их применение. Гримальпарцер сказал о философии Гегеля:

Was mir in deinem System am besten gefällt,
Es ist so unverständlich wie die Welt,³

потому что не знал ей применения, а в самой речи способ ее применения быть выражен не может.

На фразу и на мир нельзя опереться без базы *внутреннего*. Ни во внешнем знаке, ни в действительности оно не отражено, не обрисовано, не представлено и в принципе представлено быть не может. А ведь вроде бы говорилось, что между знаком и означаемым есть тождество?

1 См. Приложение с. 520.

2 WA 1, 92.

3 «Что мне в твоей системе всего больше нравится, она так же непонятна, как мир.»

Если фраза и мир расплываются в аналогичной неопределенности, в чем тожество? Оно в который раз исчезает. Русский переводчик в этом месте смущен, не верит глазам и какое-то пусть слабое тожество знака и означаемого сохраняет¹. Такая половинчатость противна витгенштейновскому подходу. Надо мужественно принять очередное ускользание тожества. Между знаком-рисунком и означаемым его все-таки не оказывается или, вернее, оно еще раз уходит в непроглядную глубину.

Похоже таким образом, что необходимо не логическое *тожество* знака и означаемого, а только *одно* внутреннее, *логическое* отношение между ними. (Наличие такового включает в известном смысле также и наличие определенного рода основополагающего — внутреннего — тожества.)²

Отношение, устанавливаемое каждый раз заново и каждый раз по-своему применением знака, невидимо. Оно остается *логическим*, т. е. имеет уже известную нам опору, а именно в тожестве, которое ушло теперь из внешнего знака во внутренний. Тожество переносится на невидимое в знаке, на «внутреннее отношение». Это последнее оказывается однако в более фундаментальном отношении тожеством, потому что *внутреннему*, ничем не фиксированному, уже не на что больше опереться. Тожество встроено во внутреннее отношение как его база.

В. надеялся добраться до тожества в означаемом через логическое в знаке и заметил, вглядываясь, что знак всегда подан по-разному способом его применения. Оказалось, что логически тем же, что означаемое, должны быть *оба вместе*, знак и способ его применения. Задача затрудняется не умножением моментов, за которыми надо следить (следили за одним знаком, теперь их оказалось два, внешний и внутренний), а интересным образом: требуя новых упражнений в невидимом и отчета о том, что принципиально не показывает себя. Ситуация красивая: чем глубже исследование, тем больше оно имеет дело с целым.

Только не запутываться в частных вопросах, а всегда спасаться бегством

1 Людвиг Витгенштейн, Дневники 1914–1916 с приложением Заметок по логике (1913) и Заметок, продиктованных Муру (1914). Томск: Водолей 1998, с. 36: «Как кажется, логическое *тождество* между знаками и тем, что они обозначают, не является необходимым, но только *неким* внутренним, *логическим* отношением между ними». В оригинале: «Es scheint also, als wäre nicht die logische *Identität* von Zeichen und Bezeichnetem nötig, sondern nur *eine* interne, *logische* Relation zwischen Beiden».

2 WA 1, 108.

туда, где есть открытый обзор всей *единой* большой проблемы, пусть даже этот обзор еще неясен!¹

Связь между знаком на бумаге и положением вещей, главная проблема логики, перемещается дразнящим образом в применение знака, с одной стороны неуловимое, с другой — ближайшее и известнейшее, поскольку к нему сводится всё дело нашей мысли здесь и теперь.

За частные суждения отвечает каждый сам. Одновременно во всякой речи просвечивает общая речь о мире, вызванная им и потому не только наша.

Представление (Darstellung) мира совершенно всеобщими фразами можно было бы называть безличным представлением мира.²

Имеются в виду не определенные фразы обобщающего характера, а срез (уровень) всеобщего, присутствующий во всякой речи. На этом уровне целое представляет само себя. Мир есть говоримое им через меня слово. Он захватывает меня с тем, чтобы я его представил. Мои фразы поэтому суть фразы-модели, которые устанавливают мир таким, как мы его мыслим, и они же — это надо увидеть — поверх меня и без меня безлично представляют мир. Оба уровня речи сливаются в перспективе: когда мы закончим перебор всех (Gesamtheit) частных фраз, они в целом подробно опишут ту сцену (Spielraum), которую очерчивают с самого начала всеобщие фразы (точнее, речь на ее всеобщем уровне).

Освоимся в ситуации, в которой мы оказались. Логическая форма переместилась во «внутреннее отношение». Оно, не забудем, не поддается описанию, потому что знаки, используемые для описания, потребуют опять же способа их применения. Внутренним отношением, или логической формой, определяется предмет (Gegenstand), который можно понимать как цель речи. Поэтому «предмет описания не находится в описании». Мир, предмет всеобщих фраз, входит в них через логическую форму, и он же всегда остается вне этих фраз, скрываясь в том, *на какой предмет* они делаются. Об этом сказано:

Предмет, с которым имеют дело всеобщие фразы, есть собственно сам мир, вступающий в них через логическое описание. — И поэтому мир собственно никогда в них не выступает, так же как и предмет описания не выступает в описании.³

1 WA 1, 112.

2 WA 1, 108.

3 WA 1, 109–110.

Мы видим рисунок фразы, но только применяющий его знает, на какой предмет он это делает. В принципе невозможно вместе с применением дать и его метод. Рисунок и метод его подачи неизбежно окажутся разными.

Применение, невидимый знак в знаке, на всех уровнях и в любой системе логических координат исходно привязано к тождеству. Фраза не эманация предмета, постепенности приближения к истине по мере срисовывания действительности нет. С самого начала значение фразы фиксируется на да и нет, то и не то. Фраза в исходном замысле окончательна как истина того, что вне ее. Рассмотрим то же самое с другой стороны. Рисунок (образ) на каждой своей ступени сопоставляется с тем, что срисовывалось. Сравнение невозможно, если неизвестен критерий оценки; он целиком зависит от способа применения рисунка. Надо знать, нарисована ли картинка двух дерущихся для отвода души или для сообщения по инстанциям. Ограничений на способы его подачи нет; его можно показывать например в перевернутом виде. Аспект истины и лжи с изменением способа подачи рисунка будет меняться.

Один и тот же рисунок будет согласоваться или не согласоваться с действительностью смотря по тому, как мы хотим чтобы он изображал.¹

Соответствие между двумя комплексами невозможно увидеть иначе как одновременно с тем, на какой предмет делается сравнение, т. е. одновременно со способом их применения. Этот способ не просматривается ни в знаках, ни в действительности.

Как уже говорилось, детализация рисунка не обеспечит его соответствие положению вещей; она может даже увести от истины. Как мы узнаём о соответствии? Мы присматриваемся к рисунку и говорим: «Ну, пожалуй сойдет». Откуда идет это внутреннее *да*? Когда мы его слышим, картинное сходство отходит на второй план; когда мы его не слышим, мы предпочтем скорее сменить весь наш подход к рисунку, чем продолжать его детализацию. Нацеленность на *да*, соответственно *нет*, таким образом предшествует рисунку. Фраза привязана к действительности не столько похожестью рисунка, сколько претензией на то, чтобы быть правдой, и остротой того риска, что вместо правды получится ложь. Вспомним, что полюса *да* и *нет*, формирующие фразу, подсказа-

1 WA 1, 111–112.

ны не действительностью. Негатива в ней нет и не может быть, пока не выставлен позитив в речи.

Чтобы существовало негативное положение вещей, должен быть дан образ позитивного.¹

Похожесть рисунка слабо привязывает фразу к действительности по сравнению с властью отменить ее.

Во внутреннюю структуру (внутреннее отношение) входит знание того, как применяется внешняя. Всё сказанное о ней до сих пор может показаться психологией; эта наука для В. однако не ближе к философии чем химия. Применение знака не надо понимать как личный выбор, интенцию вот этой моей речи, мое *ad hoc* принятое решение. Внутренняя структура диктует мою речь *прежде* моей интенции. Способ применения фразы нельзя сообщить в том числе и мне самому!

Как мне может быть *сообщено*, как изображает фраза? Или это мне вообще не может быть *сказано*? А если всё так, как я могу это «*знать*»?²

Фраза мне обычно понятна; я ее узнаю или она дает мне знание. Но почему это знание, это сообщение подано мне всегда в форме фразы (пропозиции), я не знаю. Объясните, что такое форма фразы. Для объяснения вы естественно схватитесь за форму фразы.

Что может быть сказано, может быть сказано мне фразой, поэтому ничего такого, что необходимо для понимания *всех* фраз, не может быть сказано.³

Всякое сообщение или возражение будет дано способом (методом) фразы. Этот способ подачи речи, фраза, и есть первое, основное, базовое *внутреннее отношение*. Оно создается не моей интенцией; форма фразы мне неким образом *дана*. Форма фразы есть та всеобщая фраза, через которую идет названное выше безличное, т. е. не мной созданное и не мне принадлежащее представление мира. Фразовая форма служит нам или, вернее, диктует нам форму нашей речи раньше нашего знания. Она таким образом во всех смыслах *внутренняя*. В лингвистике полусонно касаются этой темы, когда дают сотни определений предложения или удивляются, что определения предложения нет. В усовершенствован-

1 WA 1, 113.

2 WA 1, 114.

3 Ibid.

ной лингвистике предложение определяется как то, что отличается от других единиц речи¹. Фраза есть рисунок, созданный исходно и прежде всего по образу фразы. Простая фраза — универсальный неопределимый прием, внутренний в том смысле, что вовне мы видим всегда уже *вот эту* фразу. Образов (рисунков) в каждой фразе поэтому два: один материальный, другой — логический (внутренний), а именно сама же фразовая форма («простая фраза»), опережающая всякую фразу.

Так что простая фраза не образ, а скорее его праобраз (Urbild), который должен выходить в ней вперед (vorkommen)?²

Сначала и раньше всего выступает перворисунок простой фразы, созданный кем? Он рисует положение вещей, не то, которое случилось, а то, которое всегда уже есть и подлежит выяснению.

Тождество ускользнуло во внутреннее отношение, а это последнее, т. е. способ применения знака, — во всеобщую фразовую форму, которую разглядеть невозможно. В витгенштейновской логике все наметившиеся было схемы исчезают, растворяясь в простоте.

В этой работе больше чем в любой другой помогает вопросы, считающиеся уже решенными, рассматривать опять и опять с новых сторон как нерешенные.³

Так Хайдеггер говорил, что каждое утро берется за свою работу заново как начинающий. Здесь различие между механиком и философом. Для механика развалившаяся машина катастрофа, для философа звездный час наступает, когда все его прежние постройки рассыпаются у него в руках. — Но ведь человек вроде бы говорил, писал, у него уже находят перечень специфических тезисов? — Если находят, значит человека потеряли. В философии ты отвечаешь только за то, что когда говорил и писал, не конструировал, а искал. Тогда тебе, в хорошем случае, будет интересно вспомнить, что ты когда-то говорил.

Только не заботиться о том, что ты однажды написал! Только начинать всегда думать заново, как если бы вообще ничего не было сделано!⁴

И эта тяга может всегда оборваться. Этого всегда больше всего и всю свою жизнь боялся Витгенштейн.

1 Ср. ниже с. 107 Соссюр о несуществовании общей фразовой формы.

2 WA 1, 119.

3 Ibid.

4 WA 1, 120.

Фразовая форма, перворисунок действительности, внедряется в мир тем, что несет его истину или отрицание.

Эта тень, которую рисунок как бы набрасывает на мир: как его в точности схватить?

Здесь глубокая тайна.

Это тайна отрицания: дело обстоит не так, и однако мы можем сказать, как оно *не* обстоит.¹

Отрицание, негация занимает в витгенштейновской логике не меньше места чем у Гегеля.

7 ФРАЗА

Первая редакция «Логико-философского трактата» в 1918 г. имела название «Фраза» («Der Satz»). Оба титула говорят одно. На вопрос, поставленный 18.11.1914 в военном дневнике:

Что такое — черт возьми — это «логическое место»!?

на следующий день дается ответ:

Фраза и логические координаты: это логическое место.²

Тезис вошел в «Трактат» (3.41), где *фраза* без большой необходимости уточнена до *фразового знака* (Satzzeichen). Различение между фразовым знаком и фразой не обязательно и ведет к проблемам. Всеобщей формой фразы уже задано всё главное в речи; будет ли у нее содержание и какое, зависит теперь от ее включения в ту или иную языковую игру. С переходом от фразовой формы к содержанию происходит такое снижение уровня речи, которое не разрешает называть оба момента, форму и содержание, парой. *Существует*, строго говоря, только фразовый знак. Его содержание вторично и создается наслоением условностей. Много дает сравнение языка с телом. При своей непонятности тело несомненно существует, что труднее сказать о телесных движениях, особенно о неловких и неуместных. Фразовая форма приходит к нам с недоступного нам уровня. Нам нечего применить, кроме нее, как уже говорилось, и для объяснения ее самой.

В лекциях «Логика. Вопрос об истине» 1925–1926 Хайдеггер словами

¹ Ibid.

² Ibid.

фраза (der Satz) и *речь* (Reden) переводит греческий λόγος. *Логика* есть исследование речи и как таковая одна среди всех наук имеет дело с собственно истинной как непотаенностью сущего¹. Истину принято понимать как свойство фраз (Sätzen), их способность высказать нечто так, как оно есть.² Философская логика равна философии и отличается от школьной, «которая оставила позади всю философию, т. е. всякое спрашивание и разыскание» и представляет собой

некий комфорт для доцентов — поскольку тут нечего делать кроме как еще и еще пересказывать отутюженный набор пропозиций, формул, правил и дефиниций; расхождения в преподавании этой логики ограничиваются различиями во внешнем расположении, степени подробности, выборе примеров. В «логике» этого рода логику никогда не грозит опасность платить самим собой — необходимость, к которой приговорено всякое философствование.³

Кант назвал Аристотеля отцом философской логики. Заложенное им здание завершил единственный равный ему сын Гегель. Других сыновей и племянников ждать не приходится; чтобы пойти в логике дальше, нужна новая династия (Geschlecht). Не нам ее начать; достаточно для переходного времени, если кто-то понимает, о чем идет речь, и работает над возвращением логики к жизни.⁴ Культ традиции тут ведет к недоумению; научная мысль не усваивается иначе как в обращении с вещами, Umgang mit den Sachen⁵.

Отклонение укоренившейся школьной логики вполне совместимо с высокой оценкой традиции. Эта последняя имеет свое основание в историчности самого присутствия, т. е. в исходной верности присутствия самому себе. Верность: приближение к тому и удержание того, что захватило экзистенцию как избранное ею и отстаиваемое дело.⁶

Философия начинается, когда ты поражен полной загадочностью того,

1 Martin Heidegger, Gesamtausgabe (GA), II. Abteilung: Vorlesungen 1923–1944. Band 21: Logik. Die Frage nach der Wahrheit. Frankfurt a. M.: Klostermann 1976, S. 7.

2 Ibid. S. 9.

3 Ibid. S. 12.

4 Ibid. S. 14.

5 Ibid. S. 14–15. Ср. Витгенштейн: философия не вопрос выбора между спорящими теориями, поэтому обучение у истории ничего не дает; оно не нужно, поэтому мы приступаем к предмету без всяких исторических разысканий (Christian Chavire, L'Ironie de l'histoire. — Magazine littéraire № 352, mars 1997, p. 42).

6 Martin Heidegger, GA 21, S. 7, 18.

что само собой понятно здравому рассудку.¹ Казавшееся понятным оказывается непроясненным; к непроясненному Хайдеггер относит в идущей от Аристотеля логике феномен фразы, феномен речи, положение о противоречии. Аристотелю часто приписывают тезисы, что (1) место истины есть фраза и что (2) истина есть согласование мысли с сущим. Оба тезиса вместе с возведением их к Аристотелю не больше чем дурной предрассудок. Виновато ущербное толкование классика. Он определяет не истину через логос (Satz), а наоборот, логос через истину, точнее, через возможность быть истиной (Wahr-sein-können).² «Всякая речь (λόγος) что-то вообще значит [...] обнаруживает же, дает видеть не всякая речь, а только та, в которой случается [Боэций: «которой присуща»]³ истинность или ложность.»⁴ Хайдеггер дает здесь общепринятый перевод аристотелевского тезиса, потом он его уточнит. Речь как выявляющее высказывание, мы видим, определяется через возможность быть истиной или ложью. Фразе обязательно принадлежит *или-или* истины-лжи. Если фраза истина, она такая потому, что могла быть ложью. Не с высказыванием появляются истина и ложь; наоборот, высказывание (Satz) есть только потому, что истина и ложь раньше уже существуют. Что помещено в их альтернативу, то может стать высказыванием. Похоже, что истина-ложь присуща всей речи. У Аристотеля говорится, правда, что «истинность и ложность имеется не во всех видах речи (λόγος); так например просьба (εὐχή) есть речь, но ни истинная, ни ложная»⁵. Фраза «дай мне пожалуйста ножницы» на поверхности действительно не истина и не ложь. Она однако предполагает существование ножниц, возможность их передачи, институт взаимопомощи в нашей культуре, понятность языка просьбы и многое другое. Просьба о ножницах утверждает всё это. По Бернарду Больцано, вопрос «Каково отношение диаметра круга к его окружности?» истинен, если высказывает наше желание знать то отношение, и ложен, если за ним стоит другая цель⁶. Императив, оптатив, субъюнктив имеют предпосылкой индика-

1 Ibid. S. 24 (ср. Витгенштейн: «Мистическое не в том, как устроен мир, а в том, что он *есть*», Трактат 6.44).

2 Ibid. S. 128–129.

3 «...enintiativa vero non omnis (oratio), sed in qua verum et falsum inest.» Boetius, Comm. in Arist. lib. II, cap. 4.

4 De interpretatione 4, 17a 1–3.

5 Ibid. 4, 17a 4.

6 B. Bolzano, Wissenschaftslehre. Bd. 1, § 22. Цит. по M. Heidegger, GA 21, S. 130.

тив; они так или иначе постулируют определенное положение вещей и тем самым укладывают мир не хуже индикатива. Чтобы такое подправление Аристотеля не казалось странным, надо вникнуть в греческое понимание истины, ἀλήθεια, как открытия, обнаружения того, что таилось или утаивалось. Противоположное понятие ψεύδεσθαι значит подменить, обмануть, подставить вместо настоящего другое, мнимое. Обманывающая речь заслоняет то, о чем говорят, видимостью; она скрывает то, что хотят открыть. Чтобы перевести аристотелевскую дефиницию речи без двусмысленности, Хайдеггер заменяет термины *истина* и *ложь* как недостаточно определенные действием раскрытия-сокрытия сущего и получает формулу: поскольку есть возможность открыть или, наоборот, скрыть то, о чем идет дело, постольку есть речь, которая показывает или не показывает, дает увидеть или не дает увидеть, как оно обстоит. Открытием и сокрытием речь определяется как обнаруживающе-показывающая, ἀποφαντικός. Ἀπόφανσις есть высказывание в смысле показа исходя из самого дела, так, что в этой речи то, о чем она, становится доступно. Концепция высказывания как предикации о субъекте вторична и суживает исходный показ дела как именно его самого до «дефиниции» «субъекта».¹ Речь (логос) не создает впервые истину и ложь, а наоборот, разворачивается внутри феномена истины как открытия и сокрытия положения дел. Высказывание есть речь, могущая быть открытием потому, что есть сокрытие.

Открытие в высказывании есть нескрывающее открытие, т. е. структура истины высказывания есть в принципе структура лжи.²

Что открыто и скрыто речью? Прежде всего и главным образом собственно бытие (τὸ ὄν), о котором всегда идет дело. Хайдеггер заново переводит Аристотеля:

Показ речью сущего (τὸ ὄν) как не-сущего или не-сущего как бытия (εἶναι) есть сокрытие, показ сущего как бытия и не-сущего как небытия есть открытие.³

1 «Субъект: то, о чем дается определение [...] Высказывание в этом смысле стоит в сущностном отношении к высказыванию в исходном смысле, т. е. определение есть всегда показ чего-то и возможно лишь как таковое [...] Высказывание как «предикация» [...] в сравнении с высказыванием в исходном смысле суживает» (M. Heidegger, GA 21, S. 133–134).

2 Ibid. S. 135. Ср. *ab*-нотация у Витгенштейна выше с. 34.

3 Ibid. S. 163.

Дело идет всегда в первую очередь и исключительно о том, *как быть* в мире. Присутствие (Dasein) исходно открыто открываемому миру. Дело этого двойного открытия, которое может закрыться, занята речь.

Вернемся к Витгенштейну. У него хайдеггеровскому открытию и скрыванию мира соответствует его увеличение и уменьшение. Большой и малый мир — дело счастья и несчастья, должной и недолжной жизни. Истина стоит на возможности увеличения мира. Истина и красота отделены от добра и друг от друга, пока не открыты. Сближение этих трех не дешево дается. Чем дольше они сохраняют свою особность, тем вернее будет их единство. До него далеко. Ложь тесно движется за истиной как по проложенной дороге. Мы говорим о реальности так, как если бы умели отличать ее от нашей речи. На деле всё, что наша речь (мысль) не раскрыла, закрывает непроглядной тенью она же сама. Представить что-то вне представимого, помыслить что-то вне мыслимого мы не можем.

Реальность, отвечающая смыслу фразы, не может ведь быть ничем другим кроме ее (фразы) составными частями, так как *ничего* другого мы не знаем.¹

Было бы лучше, если бы мы не затеняли таким образом реальность, не заменяли ее нашим рисунком? Имеет ли вопрос смысл, если иначе мы не умеем? Мы относимся к действительности — принадлежим к ней и вступаем с ней в отношение, относимся к действительности способом вступления в отношение к ней — раньше чем узнаем себя. Фраза (речь, Satz, λόγος) несет на себе это отношение. В чем существо фразы? Это вопрос вопросов — весь вопрос.

Дуализм, позитивные и негативные факты, не дает мне покоя. Дуализма ведь не должно быть (einen Dualismus kann es ja nicht geben). Но как от него уйти?

Всё это само собой разрешилось бы через понимание существа фразы!²

Речь своим фактом опускает действительность в тень, собственно бесконечную. Потому что, допустим, нам удалось довести наше представление до такого соответствия действительности, когда о вещи сделаны все позитивные высказывания. Но ведь остается сделать еще негатив-

1 «Die Realität, die dem Sinne des Satzes entspricht, kann doch nichts Anderes sein, als seine Bestandteile, da wir doch *alles* Andere nicht wissen» (Дневник 20.11.1914, WA 1, 120).

2 Дн. 25.11.1914, WA 1, 122.

ные¹. Хайдеггеровский пример из того же лекционного курса по логике (мысль обоих движется тут параллельно): о черной доске, пожалуй, бессмысленно сказать, что она не честолюбивая, но не бессмысленно — что она не серая, потому что ее черный цвет мог быть сероватым. Непохоже, чтобы отрицаниям, которые нельзя ведь отбросить, если мы стремимся к полной характеристике, где-то был предел.

Описанию через утверждения-отрицания не видно конца. Здесь проявляется необходимость теории рисунка. Возьмем простой рисунок aRb . Если окажется, что он не отвечает положению вещей, его придется взять в рамку отрицания, $\sim aRb$. Что при этом отрицается? разве рисунок? Его отрицать нельзя. Он может пригодиться завтра, когда обстоятельства изменятся. Если в прозрачном кубе Некера вперед выдвинулась не плоскость $aaaa$, перерисовывать его не надо. Никогда не бывает нужно отрицать рисунок. Более удачным рисунком старый не отрицается. Отрицается фраза, т. е. факт. Но ведь, мы слышали, по теории В. фраза есть вроде бы рисунок? или она все-таки что-то другое? тогда чем она отличается от рисунка? Тем внутренним «да, сойдет», в котором мы согласились считать рисунок соответствующим действительности? Да, именно так.

Во фразе два: рисунок, который отрицать бессмысленно, и внутреннее согласие отнести рисунок к действительности, которое не только можно отрицать, но которое — скажем, забегая немного вперед, — в самом акте своего утверждения было утверждено через преодоление отрицания, т. е. не просто слитно с отрицанием, но *возникло в отрицании отрицания*. Рисунок, примитивный или сложный, бессмысленно отрицать уже потому что он мимесис и тем самым продолжение действительности. Рисунок *может* служить фразой, но для этого к нему должно что-то прибавиться, а именно отнесение его вот к этому предмету. Через это соотнесение рисунок становится представителем положения вещей. И сразу я оказываюсь в состоянии сказать, что нет, он не представитель! На грубый взгляд я отрицаю рисунок; на деле — только отнесение рисунка к действительности, которое, возможно, сам же сначала и допустил!²

1 Дн. 26.11.1914, WA 1, 122–123.

2 Ibid.: «Можно ли тогда отрицать *рисунок*? Нет. И здесь заключается различие между рисунком и фразой. Рисунок может служить в качестве фразы. Но тогда в него приходит нечто такое, благодаря чему он начинает теперь что-то *говорить*. Короче: я могу отрицать только, что рисунок подходит, но сам *рисунок* я отрицать не могу.»

Теория фразы-рисунка отменяется? рисунок пока еще не фраза? Не фраза. Но фраза не будет отличаться от рисунка! Всегда будет казаться, что отрицается сам рисунок; всегда будет трудно увидеть, что отрицается только некая *операция*, произведенная над рисунком в невидимом *внутри*. Это, что всего труднее увидеть, всего важнее увидеть. «Нет, не так», говорит противник моего рисунка и предлагает взамен свой. Я вижу, и все видят, что отличие его рисунка от моего не идет так далеко, чтобы полностью отменить мой; в моем тоже что-то схвачено, чего не уловил противник. Я спорю с ним. Что он отрицает не мой рисунок, а *свое* видение того, как мой рисунок соотносится с действительностью, не замечаем ни он, ни я.

Здесь то отличие между речью, которая бывает, и речью, которая не бывает истиной и ложью, которое заметил Аристотель. Граница проходит конечно не между индикативом и другими наклонениями. У Аристотеля ничего подобного и нет. Он называет области, где речь не истина и не ложь: риторика, поэзия. Фраза в индикативе там с наименьшим успехом может быть оставлена в статусе рисунка без соотнесения с «предметами» и значит без шанса быть истиной и ложью. Пока Джорджоне пишет свою «Венеру», он ничего в своем образе не сопоставил ни с каким наблюдаемым предметом и никакой факт не установил. Чем удачнее я рисую, тем больше рисунок пригоден для соотнесения с действительностью; в моем рисунке однако не видно, произвел я сам, рисовальщик, операцию этого соотнесения. Мне ничто не мешает вообще воздержаться от нее.

Повторим пройденное. Читая хайдеггеровское изложение Аристотеля, мы заметили с помощью Больцано, что в непрямых наклонениях предполагается индикатив и они поэтому тоже оказываются утверждающей-отрицающей речью. Ясно, что и наоборот, индикатив может не предполагать утверждения-отрицания. Переход речи к утверждению-отрицанию происходит вообще *не в речи*, а когда к ней прибавляется претензия на соответствие действительности и согласие на эту претензию. В речь извне речи, без обязательного обозначения в речи, вводится некое *да* и вместе с ним *нет*. Речь говорит на *да-нет, так-не так*. Согласие считать рисунок правдой действительности достигается с преодолением сопротивления интуиции, которая не устает подсказывать, что определенные вещи нельзя выразить и о них надо молчать. Преодоленное сопротивление возвращается как сжатая пружина в том, что отрицание всегда идет бок о бок с утверждением и готово сразу же под-

чистить, уточнить, исправить утверждение, отменяя все те *да, сойдет, пусть*, которые создали из рисунка фразу. Негация льнет вплотную к фразовому *да*. Отрицание так тесно придвинуто к утверждению, что сливается с ним.

Моя аб-функция не застывает *перед* элементарным предложением, она пронизывает его.¹

Способ записи аб-функции

$$\begin{matrix} a \\ \text{ь} \end{matrix} P$$

вводил в заблуждение. Оба полюса пропозиции надо видеть во-первых внутри нее самой, а во-вторых сливающимися друг с другом.

Краткие дневниковые записи 1 и 2 декабря 1914:

Фраза как бы говорит: этот рисунок этим образом изобразить положение вещей не может (или какое-то может).

Дело сводится как раз к тому, чтобы установить, что отличает фразу от простого рисунка.²

Шифрованные записи этих дней на левой странице дневника длиннее:

Вот уже и декабрь! И всё еще никакой речи о мире. Сегодня ночью сильный гром орудий; был слышен свист снарядов. --- Вчера вечером вниз по Висле спустился какой-то корабль, и каждый день на нем дежурит новая команда, напр. завтра мы! Как мне там придется?! С этими товарищами и с этим начальством! --- После полудня пошел искать пиротехника Влчека; не нашел. Был направлен в штабной дивизион артиллерии. Пойду туда наверное послезавтра после вахты. Очень мало работал. Храни меня дух, что бы ни произошло! ---

Сегодня в полдень идем на вахту. Слава Богу наш командир корабля идет с нами, так что по крайней мере один приличный человек будет. Ночью страшный грохот со стороны заводов. И сегодня около 8 утра он снова начинается. Сегодня ночью нам придется спать под открытым небом. Едва ли у меня дойдет дело до работы. Только не забывать Бога. ---³

О фразе можно сказать, условиться, приказать, что она правда или вся правда действительности, и наоборот. Это логическая рама вокруг рисунка. Образую логическое пространство, она делает рисунок фразой.

1 Дн. 29.11.1914, WA 1, 124.

2 WA 1, 124.

3 См. Приложение с. 541.

Как только рисунок входит в логическое пространство, делаясь фразой, он начинает двигаться по всему этому пространству; с фразой может случиться всё, что происходит в нем; она открыта для отрицания, может вступить в противоречие, оказаться тавтологией. Рисунок фразы, как уже замечено, остается при этом тот же самый. Важно, что всё случающееся с фразой в логическом пространстве не оставляет в ее рисунке никаких следов. Отрицание должно было бы разрушить фразу, но отрицание отрицания восстанавливает ее так, что становится невозможно догадаться, что с ней произошло. Моменты логического пространства не материальны.

Имя представляет предмет, рисунок изображает положение вещей. Логические константы (отрицание, дизъюнкция, следование) ничего из действительности не представляют и не изображают; потому невозможно и сказать, что они представляют собой. Даже допустив нерешенность вопроса, бывает ли вообще в действительности такая вещь как отрицание — его там не бывает, — фразовое отрицание не будет его представителем.

Моя основная мысль та, что логические константы не представители. Что *логики факта не дает себя представить*.¹

Рисунок входит в логическое пространство и становится фразой не так, что после изобразительного срисовывания деталей в положении дел вдруг обнаруживается что-то такое, что позволяет утвердить фразу как соответствие действительности. «Логическая константа» утверждения появляется во фразе не как представитель логики факта.

Расположим линейку вдоль линии. Линейка, даже если она вплотную приложена к линии, даже если она служит только для измерения этой конкретной линии, сама о длине линии ничего не говорит. Что нужно, чтобы она *высказала* что-то о длине объекта? Нужно, чтобы к ней прибавилось высказанное или невысказанное *да, так*, которое может тут же без следа исчезнуть в *нет*. Так вдруг и без следа исчезает переднее положение плоскости *aaaa* в кубе Некера, когда на ее место выдвигается *bbbb*.

Логические переключения и исчезания просты и понятны. Их ясность не иллюзия. Решения, каких мы ищем в логике, должны иметь свойство внезапной прозрачности. Всё здесь происходит без материи,

1 Дн. 25.12.1914, WA 1, 127–128.

без представительства, без рисунка, без движения, даже без движения глаз: без психологии. Чтобы соотнести фразу с положением вещей, надо сказать ей *да*, которое тут же перещелкивается в *нет*, вернее, внутри ее *да* всегда есть и *нет*. Легкость переключения свидетельствует о том, что действительность не ложится своей тяжестью на эти операции.

Спасительное слово, *das erlösende Wort* должно быть головокружительно простым, как *или-или*.¹

Человечество всегда предчувствовало, что должна существовать область вопросов, где ответы — *a priori* — симметричны и объединены в какой-то завершённый, закономерный образ.²

Спасительное решение где-то совсем рядом. Логика у Витгенштейна, как у Хайдеггера, сводится к фразе.

Вся моя задача состоит в том, чтобы прояснить существо фразы.

Это значит, дать существо всех фактов, рисунок которых *есть* предложение.

Дать существо всего бытия.

(И здесь бытие означает не существование — тогда всё было бы бессмысленно.)³

Фраза есть мера мира. Она проба действительности, иногда (как старинное слово) очень глубокий зонд, иногда мелкий. На стадии рисунка она пока еще не истина и не ложь. Допустим, она рисунок процесса, и вот рисунок не годится, не согласуется с процессом; так бывает, даже часто бывает так. Но если не согласуется, как его можно считать, пусть неверным, рисунком того процесса? ведь он, строго говоря, не *его* рисунок?⁴ Ответ: как годный рисунок делало рисунком действительности наше *да* ему, так негодный — наше *нет*! Отрицая его, мы делаем его рисунком именно той действительности, несогласование его с которой констатируем!

Только логические операции утверждения и отрицания — в равной мере — делают фразу рисунком *вот этой* действительности. Иначе она означает только сама себя, т. е. представляет собой тавтологию. Только принадлежность к пространству логики привязывает фразу к бытию.

1 Дн. 15.1.1915, WA 1, 128; Дн. 20.1.1915, WA 1, 129.

2 Дн. 5.3.1915, WA 1, 131.

3 Дн. 22.1.1915, WA 1, 129.

4 Дн. 3.4.1915, WA 1, 132.

8 ОПЕРАЦИЯ

Термин вводится характерным образом на примере отрицания¹ и определяется так:

Операция означает операцию.²

Операция, естественно, не говорит ничего, говорит лишь ее результат; а он зависит от ее предмета (Трактат 5.25).

В дневниковой записи 20.1.1915 — мы разбираем логику Витгенштейна в основном по сохранившимся дневникам, которые шире чем введенный в определенные рамки «Трактат», — описаны свойства такой вещи как *все*, *всё*, *всеобщность*. Она больше чем понятие, так как успевает отметить в каждой фразе, предшествует всякой форме и одновременно ближе к содержанию фразы чем к ее форме. Это не понятие, а *связь*, скрепляющее звено между понятием и отдельным (индивидуальным). Всеобщность по существу связана с элементарной формой. Она и есть спасительное слово?

Что эта связь, или смазка, или ключ — *всё*, *все* — успевает рано побывать в каждой фразе, особенно ясно видно, когда мы хотим указать как раз не *всё*, а *вот это здесь и теперь*, точечное. Единственно уникальное есть *не что иное как это*, т. е. *всё* другое исключая. *Всё*, замечено оно или нет, остается обязательным фоном вот этого единичного. Человеческая индивидуальность (личность) стоит на исключении всех других. Здесь же видно, что *всё* имеет ближайшим соседом или оборотной стороной отрицание, хотя они не одно и то же и даже не одного уровня: *всё* не операция, тогда как *отрицание* первая и основная операция. Всякая операция вносит изменение в положение вещей. Изменение аспекта того, с чем мы имеем дело, есть уже в этом смысле отрицание.

О тавтологии еще не сказано главное. Ее основная черта та же, что у ключа *всё* (не путать с квантором *все*, который прилагается к множеству: *всё* говорится не о всех элементах множества, а именно обо *всём*). Как это ни кажется странно, *всё* может существовать без *всего*.

Мыслимо ли, чтобы мы — напр. — *видели*, что *все точки какой-то поверхности желтые*, не видя *ни одной точки* этой поверхности? Похоже, что вроде бы так.³

1 Дн. 23.1.1915, WA 1, 130; Трактат 5.2341.

2 Ср. главное определение операции выше с. 73.

3 Дн. 24.5.1915, WA 1, 142–143.

Ключ *всё* ведет к элементарной форме. Она не подлежит анализу, т. е. изъята из бесконечности взаимных определений, в этом смысле спасена. Точно так же тавтология — единственное выражение, которое не нуждается для пояснения в другом. Тавтология есть место универсума, выведенное из лабиринта перекрестных отсылок. Тавтология не требует опоры, она обеспечивает сама себя. В чем еще бывает такая самодостаточность? В музыке.

Мелодия есть род тавтологии, она заключена в самой себе; она удовлетворяет (*befriedigt*) сама себя (4.3.1915).

В таком случае тавтологией будет природа, сытость, достаток, всякий мир (*Frieden*), то, что называется счастьем? Подобно тавтологии, не требует и не имеет себе объяснения то, что выводит из области заботы (этому слову здесь можно придать хайдеггеровский размах). Получать такое даром было бы конечно удивительно. Соответственно у тавтологии, которая одной стороной смыкается с музыкой, есть сторона пустоты и бессмыслицы.

К существу фразы всеобщность и тавтология (*всё* и *то самое*) ближе чем операция. Операция стоит на универсальной основе всеобщности. Не упустим однако и постоянное соседство всеобщности и тавтологии. *Всё* невозможно объяснить, представить, изобразить иначе как опять же через *всё*. Окончательная самодостаточность *всего* та же, что у тавтологии. *Всё*, как и тавтология, располагается между полюсами полноты (музыкальная фраза) и пустоты (формальная логика). Тавтология

не рисунок действительности постольку, поскольку она ничего не представляет. Она есть то, что все *рисунки* — взаимно противоречащие — имеют общего.¹

Всеобщность-тавтология есть «единая, великая проблема» (6.3.1915), к которой трудно подступиться и которая поэтому рассматривается — как на солнце смотрят через тонированные по-разному поставленные зеркала, большие и малые, — только через проблемы операций отрицания, конъюнкции, дизъюнкции (там же, ср. Трактат 5.2341). Всеобщность далека и в конечном счете необъятна. В ближайшем мире она известна нам только в виде неограниченной повторяемости операций. Ни на одной из них не лежит запрет на ее применение вторично и так далее. Поэтому

¹ Дн. 6.6.1915, WA 1, 148–149.

му «понятие „и так далее“, в знаках „...“, есть одно из самых важнейших [...] Понятие „и так далее“ эквивалентно понятию операции»¹. Тема всеобщности и ее присутствия в операции будет развернута в «Философских исследованиях».²

Остановимся на различии между существом фразы и логическими операциями над ней. Мы видели, что фразовый рисунок не задет своими применениями, не отменяется ими и не диктует их.

Я не могу прийти от существа фразы к отдельным логическим операциям!!!³

Движение руки сравним с операцией, смысл руки с существом фразы. Движением руки можно поставить знак и отменить его, орудие орудий этим не отменяется; и в руке нет ничего, что диктует постановку знака или его отмену. Движение делаем мы, об орудии орудий мы не знаем, что создали и поддерживаем его какой-то серией операций; наши движения исчезают, рука нет. Фраза (рисунок) не исчезает при операциях с ней, бесследно стираются только операции.

Уточним понятие *мы*: это те, кто способен на операции с рисунком (образом), каким является фраза, но не обеспечивает существо фразы.

Что выражает *себя* в речи, *мы* через нее выразить не можем. Фраза *кажет* логическую форму действительности.⁴

Фраза показывает форму мира без нас, а если мы этого не замечаем — обычно не замечаем, философия напоминает, — то поверх наших голов. Во фразе говорит себя такое, что мы принципиально, а не по недомыслию неспособны описать. Речь часть тела, к которому *мы* подходим с осторожностью. Через нас тело проходит, так сказать, без нас. То, что само *кажет* себя во фразе, форму действительности, *мы* не можем выразить потому, что она рано успела оформиться, а мы пришли позднее. Что *нам* остается сделать, это только оглянуться вокруг и подручными средствами, какие есть, а первой у нас под рукой оказывается фразовая форма, дотянуться в меру сил до предмета⁵. Предмет заранее дан существом фразы через ее базовый момент *всё*. В наших операциях мы раз-

1 Дн. 21.11.1916, WA 1, 184–185.

2 См. ниже с. 364 («следовать правилу»).

3 Дн. 12.4.1915, WA 1, 132.

4 Трактат 4.121, ср. Дн. 19.4.1915, WA 1, 133.

5 Дн. 16.4.1915, WA 1, 132.

вертываем то, что уже есть с самого начала. База всеобщности дает фразе простоту, которая поднимает на себе фразу настолько, что о ней уже не надо заботиться; она не нуждается в опоре, неким образом всегда уже существуя и так. Что фраза обеспечивает сама себя и не требует заботы, легче увидеть чем понять, каким образом это достигается¹. Мы говорим (думаем) то, о чем идет речь, *прежде всего*, т. е. на фоне *всего*. Большой частью незаметно *всё* несет на себе каждую фразу. Фраза речи, музыкальная фраза, образ окунаются во *всё* и поэтому до нас, без нас полны содержанием и формой. Чтобы так было, нам не надо заботиться; наши заботы начинаются, когда *мы* хотим оказаться на высоте фразы. Фразовая форма несет в потенции *всё*. Выход к *всему* не наша операция, он дан вместе с существом фразы. Неувязкой будет *наше* выпадение из полноты. Самообеспечение фразы кончается, когда мы начинаем считать ее словосочетанием; о таком, конечно, приходится заботиться. Так человек с испорченным слухом представляет себе музыкальную фразу как сочетание звуков, которые надо подбирать.²

Операция, прежде всего отрицание, стоит на страже всеобщности, заботясь о ее чистоте (неиллюзорности). Охрана фразы обеспечивает тем, что любой знак, который не тавтология ей, опознается как ее отрицание.³ Операция отрицания, не забудем, имеет свойство исчезать, оставляя нетронутой отрицаемую фразу. Отсюда важное следствие: все теории, имеющие характер операций, т. е. перевертываний, перестановок, установок по принципу «не так, а вот как» исчезают. Они не фразы, а операции с фразами, в них не вещи сами говорят себя, а пока всего лишь *мы* говорим⁴.

Тезис о «естественном» исчезновении всех оперирующих теорий, т. е. делающих выбор между *так* и *иначе*, имеет неожиданное продолжение в дневниковой записи того же дня:

Мой метод: не отделить твердое от мягкого, а увидеть твердость мягкого.

Введем для обозначения новоевропейской концепции предела термин *лимит*, чтобы оставить термин *предел* только за античным греческим *пéрас*. Это нужно из-за диаметральной противоположности слов *limes*, исходно *межевой знак*, и *пéрас*, исходно *цель*. В порядке мыслительного

1 Дн. 26.4.1915, WA 1, 134.

2 Дн. 11.4.1915, WA 1, 132.

3 Дн. 28.4.1915, WA 1, 135.

4 Дн. 1.5.1915, WA 1, 135.

упражнения отменим новоевропейский лимит, т. е. вернем в мир бесконечно малые и бесконечно большие величины. У нас соответственно исчезнет порог, межа, после которой перестают заниматься бесконечным рядом; он весь в обе стороны будет качественно одинаковый, величины любой дробности будут одинаково заслуживать нашего серьезного внимания. Вместо лимита дробления мы увидим цель дробления, сейчас догадаемся какую.

Итак, никакого качественного изменения бесконечно малых, когда их можно усреднить все вместе до числа — в сущности числа, потому что как числом этим знаком оперируют, — ∞ , у нас не будет. Ряд дробления или удвоения с устранением лимита будет беспрепятственно продолжаться без конца. Целью окажется дурная бесконечность? Посмотрим. Точечный Ахиллес никогда не догонит точечную черепаху, потому что при любом приближении к ней — без лимита — перед Ахиллесом все равно раскинется бесконечность точек, перебрав которую и дойдя уже до точки, казалось бы, соседней с точкой черепахи, окажется, что в промежутке между ними снова располагается бесконечность точек, и так без конца. Естественный вопрос: не сможет ли он тогда *перегнать* черепаху? Нет; поскольку лимита величины нет, нельзя будет даже сказать, что он вообще приближается к черепахе. Одна бесконечность не может быть меньше другой. Бесконечностью он от нее будет отделен всегда. Лейбниц помогает понять эту апорию. Каждая капля пруда содержит в себе весь такой же пруд, с такими же рыбами; и так далее. Если лимита этой подробности нет, то точечному Ахиллесу мало будет найти черепаху в одном пруду, точечная черепаха спрячется в капле и так далее. Если мы отказались от лимита, перед бесконечной перспективой прудов стало бессмысленно говорить, какой из них большой и какой малый иначе как относительно. Каждый из них бесконечно большой и бесконечно малый. С безлимитным ощущением величины связано то, что античности не нужно было телескопа и микроскопа: этот я и эта моя вселенная одновременно и результат глядения в сверхмощный микроскоп, они бесконечно малы, и они же увиденны как в телескоп.

Витгенштейн приглашает нас вернуться к этой оптике. На безлимитной шкале мягкое одновременно и твердое. Выделить безотносительно мягкое и безотносительно твердое становится невозможно. Сравнительной оценкой в каждом из бесконечного множества случаев занимается физика, но дело философа во всяком вот этом мягком увидеть, что оно с таким же успехом и твердое. Оно мягче вон того твердого, но в све-

те безлимитного предела оно одновременно бесконечно мягкое и бесконечно твердое. Открывается гераклитовский пейзаж: увидеть не отличие ночи от дня, а то, в чем они одно; увидеть, что путь вверх и вниз один и тот же.

Если для того, что единое твердому и мягкому, нет слова, не надо смущаться, успокаивает нас Витгенштейн. Словарь подобен абсциссе, внутреннее отношение знака к вещи ординате. Предметы, тем более прайобразы до их раздвоения на (пифагорейские) пары не обязательно расположены все на абсциссе. Брать слова из словаря, например *время*, и искать вещь прямо под ним на абсциссе нельзя; это будет манипуляцией с словом *время*, его персонификацией¹. Ища предмет, надо учесть и ординату, т. е. внутреннее отношение; оно в знаке никак не отражено. Срисовывание речью идет вовсе не так, что один знак соответствует одному предмету.

Фраза рисунок факта. Кто набросал рисунок? Я. Но в существе моей фразы без меня, часто мимо меня сказалось то, что вызвало фразу. В той мере, в какой рисунок мой, я могу приложить к нему логические операции, т. е. в первую очередь отрицание, и сделать другой фразовый рисунок. Без меня в этот новый рисунок через существо фразы перейдет то, чему с самого начала я был только голосом.

Я могу набросать разные рисунки одного факта. (Тут мне послужат логические операции.) Но характерное для *факта* в этих рисунках будет во всех одно и то же и от меня не зависеть.²

Невозможно сказать фразу, которая не отвечала бы — так или иначе — факту. Отвечая прежде всего факту, она имеет дело сначала со *все*м. Поскольку фраза всегда ответ, для нее заранее есть место; из-за того, что место для нее, обеспеченное вызовом мира, всегда есть, она часто бывает неуместной. Расположиться иначе, как на своем месте или не на своем месте, наша речь не может. Сказать что-то «противоречащее логике» поэтому так же невозможно, как указать координаты несуществующей точки: раз мы их указываем, то вот она тем самым уже и есть³. Сказав не к месту, я оставил место для уместного высказывания, которому противоречу. Наличие в сказанном мною противоречия означает, что я внутри логики.

1 Дн. 13.5.1915, WA 1, 139.

2 Дн. 9.5.1915, WA 1, 137–138.

3 Дн. 16.5.1915, WA 1, 140.

Островная аналитика всё больше отходит у воющего на континенте В. на второй план, контуры философской логики проступают всё отчетливее. Место для речи оставлено миром, который обращен с вызовом к нам, не столько к нашему телу, которое легко вписывается в мир вплоть до полной гармонии, сколько к нашему слову. Мы чувствуем себя в положении посетителей, приглашенных в удивительное место, о котором призваны дать отчет.

Уже давно у меня было сознание, что я мог бы написать книгу «Каким я нашел мир».¹

У меня значит у всякого Я. Случайные биографические черты здесь имеют только техническое значение, например, владения речью и письмом. По существу Я с самого начала было присматриванием к миру. Я можно определить как свидетеля мира. С первого нахождения мною мира я уже захвачен им настолько, что готов навсегда посвятить себя донесению о нем.

Мир всегда остается полноценным вызовом, потому что Я так никогда и не удается его проанализировать до простых начал (понять). Мир равен Я тем, что как я ускользаю из любого описания в то, что описывает, так мир ускользает от фиксации, ускользая из описания своих частей, и делает это особым способом: его, без всякого изменения состава, можно увидеть иначе. Фалес видит в мире воду, Гераклит в том же ионийском мире видит огонь. Каково положение вещей, установить для всего мира и для каждой его части раз навсегда нельзя. Когда говорят, что каждый видит мир по-разному, то причина не в различиях между Я — описывающий собственно элементарно прост и других свойств кроме удивления не имеет, — а в том, что у одного и того же мира много аспектов.

Наука, казалось бы, способна проверить экспериментом, согласен ли мир с ее описанием или нет. Но наука не одна, их много разных; кроме научного есть религиозное, музыкальное постижение мира. Поставить эксперимент так, чтобы мир ответил, художественное ли, математическое или философское описание истинно, нелегко. История есть такой продолжающийся эксперимент, в который, по Ницше, фатально втянуто человечество.

1 Дн. 23.5.1915, WA 1, 141–142; ср. Трактат 5.631.

— *Мы проводим эксперимент с истиной!* Возможно, человечество на том погибнет! В добрый час!¹

Важно разобраться, почему не сложность мира, например бесконечность событий во времени и вещества в пространстве, делает невозможным его однозначно расписать. Будь в мире как на большом складе расположено бесконечное множество вещей, разве актуально стояла бы перед нами задача их описания? Бесконечность мира во времени и пространстве спроецирована нами, а именно тем, что мы начинаем анализ действительности по способу перебора встречающихся вещей. Иллюзия их бесконечности создана понятием лимита, т. е. величины, на которой мы выбрали пока остановиться. Поскольку лимит прочертили мы, он может быть уточнен, и так до бесконечности. Во вселенной без лимита вот этот наш мир одновременно бесконечно велик и бесконечно мал. Бесконечность ближайшего не больше и не меньше любой другой, но поскольку она включает нас, чувство подсказывает, что ее описание не бессмысленно.

В лимитированной вселенной, где бесконечность отодвинута за край практической области наших занятий, мы не освобождены от перебора наших возможностей. В мире без лимита предельное вдвинуто в нашу повседневность, космология переходит в теологию, география в мифологию, психология в демонологию, биология в этику с запретом, например, на анатомирование человеческого тела. Только на первый взгляд кажется странным, что близкое соседство предельного — богов, бездн, абсолютного конца — помогает справиться с миром, окончательно освоиться в нем так, как это невозможно в лимитированном мире, где все возможности открыты и тревожат, пока не использованы.

В логике В. предельное (бесконечное) движется в форме невозможности знать и сказать, что такое речь, в форме принципиальной невидимости и невыраженности внутреннего отношения и, как мы читаем в «Шифрованных дневниках», в форме Бога и Его духовного водительства. В кратком предисловии 1930 г. к «Философским заметкам» дух этой книги, написанной «во славу Божию», противопоставляется европейско-американской цивилизации с ее прогрессивным нагромождением конструкторов. Неявным на первый взгляд образом движение предельных вещей в мою повседневность избавляет меня от бесконечной сложности обстоятельств. Пейзаж, внутри которого с близкими вещами со-

1 Цит. по *Martin Heidegger*, Nietzsche. I. Band. Pfullingen: Neske 1961, S. 38.

существует Бог, предельно важен, но не предельно сложен. Неостановимое размножение вещей ведет в тупик. Для нас «бесконечно сложное положение вещей представляется небылью, нонсенсом (Unding)»¹.

Нелепо, чтобы я *в принципе* не мог разобраться в ближнем круге обстоятельств; ведь они *мои*. Они примыкают ко мне так, что меня как бы составляют. Наш мир это наше дело, и мы понятным образом чувствуем себя способными с ним как-то справиться — если нам не навязана возникшая внутри лимитированного мира задача разобраться с числом звезд в галактиках или с классами частиц так называемого микромира. Внутри своего мира, даже если он включает предельные величины, высоты и бездны, я не могу растеряться. Этика должна решить проблемы в моем ближнем кругу, хотя бы решившись на их нерешаемость. Одним из таких решений о нерешаемости будет трезвый отказ от поисков Я. На любой ступени этих поисков вести их будет опять же Я; оно поэтому не попадет в число найденных вещей.

В книге «Мир, который я нашел» понадобилось бы сообщить о моем теле и сказать, какие члены подвластны моей воле etc. Это собственно один из методов изолировать субъект или скорее показать, что в каком-то важном смысле субъекта нет: только о нем в этой книге, собственно, *не* могло бы быть речи.²

Небесконечность моего мира обеспечена не тем, что я освоился с его элементами (с предельным в принципе не может быть никакой фамильярности), а только *ощущением, что мои анализы куда-то ведут* и будут иметь окончательный результат, приемлемый для меня. Мне не надо бояться бесконечной сложности, если я разбираюсь в собственном теле и его расширении, среде. С миром как продолжением тела не должно быть — во всех смыслах, включая долженствование — нерешаемых проблем. Задача ориентации облегчится, когда я замечу, как много сложности вносили поиски Я, и соглашусь, что Я не имеет места в действительности. Философия давно знает, что Я не объект; надо сделать и второй шаг, понять, что Я не субъект; понимание Я как субъекта ставит его в пару с объектом и внушает помещать его где-то на противоположном объекту полюсе. Я и не воля. Я ничего не могу изменить в том факте, что мир всегда уже успел развернуться передо мной. Из-за невещественности Я настолько легковесно, что с ним как бы нет проблем. Оно может

1 Дн. 23.5.1915.

2 Дн. 23.5.1915; Трактат 5.631.

умалиться, снять, убрать себя. Часто люди готовы многое сделать в эту сторону в надежде, что сложность обстоятельств тогда уменьшится. Это иллюзия, происходящая от смешения Я с вещами.

Положение вещей не означает множества предметов. Уже цитировалось наблюдение, что все точки некоторой поверхности могут быть опознаны как желтые без того, чтобы мы видели хотя бы одну конкретную точку на ней. Этот эффект подробно описан Хайдеггером в теме настроения; оно погружает в себя *всё* без того, чтобы мы внимательно рассмотрели при этом хотя бы один элемент *всего*. В музее масса экспонатов, на складе множество вещей — когда у нас появится желание описать их? разве просто при виде множества? Нет. Вещи сами по себе не провоцируют нашу речь. Мы говорим всегда о фактах и обстоятельствах, т. е. о том, что могло и может сложиться *иначе*.

Как насчет существования чего-то вне *фактов*? Чего наши фразы не в состоянии выразить? Но тут мы ведь имеем напр. *вещи, и мы не чувствуем вовсе никакого желания* выражать их в предложениях.¹

Речь вступает в действие там, где о положении вещей спорят. Самая большая вещь, которая дает видеть себя по-разному, мир.

Нас рано захватила способность видеть всё иначе. Раннее детское восприятие купается в сплошной метафорике. Ветка человек, расколотое полено лицо, сам я кролик. Вы думали не знаю что, но дело обстоит иначе, факт тот, что я морская свинка. Эта вакханалия детской метафорики постепенно упорядочивается, но одно остается неизменным: серьезный взрослый тоже говорит и думает о том, что выпало, что могло не случиться и что должно быть; мы продолжаем, точно как делали детьми, укладывать факты. В отличие от детей мы укладываем их научно, но всё равно только потому, что если не уложим их верно, они улягутся так, как нам бы не хотелось. Как детей, нас продолжает вести ощущение, что есть счастливый уклад мира и что перед нами смесь деталей, puzzle, из которых надо восстановить образ, очистить мир. (Здесь В. имел возможность продолжать уайтхедовскую тему упорядочения.)

Вопрос, что такое фраза, относится к положению вещей.

Ясно, что вопрос, что такое фраза, сводится к тому же самому, как и вопрос, что такое факт — или комплекс (30.5.1915).

¹ Дн. 27.5.1915, WA 1, 143–144.

Одновременно с высвечиванием разницы (inter-esse) между одним и другим положением вещей появляется речь (мысль). Простой крик артикулируется, становясь культурой. Как широко поле интереса? Оно начинается с чего угодно задевающего меня и в конечном счете совпадает с тем, что я нашел в мире и о чем могу написать книгу. Всё, что я вижу, требует меня. Я мог найти обстоятельства другими, нашел именно такими и чувствую, что способен дать им имя. Откуда это чувство (30.5.1915)? Если мы так спрашиваем, то значит, мы уже нашли в себе способность дать имя вещам, но, возможно, не успеем ее понять. Подобное чувство — ожидание, что в мире есть порядок. Как моя способность именования может пойти немногим дальше ее ощущения, так поискам миропорядка не гарантирована удача.

Великая проблема, вокруг которой крутится всё, что я пишу, эта: есть ли а priori порядок в мире и если да, в чем он состоит?

Ты смотришь в облако тумана и можешь поэтому уговорить себя, что цель уже близко. Но туман рассеивается, и цель еще не видна!¹

Обманывало ли чувство цели? У нас нет оснований так говорить. Но не ближе ли мы к порядку, когда не отыскиваем его и он еще в тумане?

10 ПРОСТЫЕ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ

В неостановимом движении витгенштейновских понятий виден постоянный прием. Из всего, что можно сказать, отфильтровываются вспышки ясности (определенности). Правила идти за светом Витгенштейн держался всегда. Системные соображения рядом с этим основным приемом мало что для него значили.

Простые (элементы, стихии) хотя и предполагаются во всяком анализе, иначе бы им никто не занимался, но достигаются не в его результате. «Простой предмет *предрешен* (*предвосхищен*, *Präjudiziert*) в сложном.» Простые содержатся в комплексах тем же способом, каким $\sim p$ содержится в p и наоборот: бессмысленно говорить $\sim p$, если нет p , которое надо опровергнуть, и говорить p , если никто не хочет его отрицать. Таким образом, простое оказывается совсем рядом. Имя, данное сколь угодно сложному, например имя N , которым я назвал вот эту книгу с множественством знаков внутри, разве *существенно* другое, чем имя, которое я дам

¹ Дн. 1.6.1915, WA 1, 145–146.

простому элементу? Книга сложная вещь; к простой от нее ведет не разложение, скажем, на элементы букв. Она сложная и простая *сразу*. Так в безлимитной вселенной мы с вами здесь одновременно и бесконечно большие и бесконечно малые. От сложного к простому нет материального или аналитического шага, переход совершается через смену аспекта тем же способом, каким в кубе Некера вперед выходит то одна, то другая сторона.

Наивное ожидание, будто анализ приведет к чему-то хоть немного более простому, не просто не работает, оно заводит в очевидный тупик.

Если мы примем допущение, что всякий пространственный предмет состоит из бесконечно многих точек, то будет ясно, что говоря о том предмете я не могу задать их все поименно. Здесь окажется тот случай, когда я вовсе не *могу* прийти к полному анализу в старом смысле; причем скорее всего это как раз и есть обычный случай.¹

Непосредственное присутствие простого в комплексе надо отличать от присутствия в нем составной части. Составная часть тоже предreshена (предвосхищена) в комплексе, но настолько другим способом чем простой элемент, что умением различить эти способы Витгенштейн гордится как важнейшим философским достижением. «Одна из труднейших задач философа — найти, где ему жмет ботинок.» Стоит подумать, что составная часть будет проще комплекса, и мы увязли. Заговорив об относительной простоте составных частей, мы должны будем дать отчет в их содержании и количестве, и нас уже ничто не спасет от бесконечного перебора частей. Мы окажемся во вселенной, из которой, не лимитировав ее, не выберешься. Лимитированный мир, мы говорили, вовсе не мир. На каждой ступени кажущегося углубления в детали мы встречаем всё ту же сложность.

Я вижу: анализ может быть продолжен, и вот не могу, так сказать, представить себе, чтобы он вел к чему-то другому чем к знакомым мне видам предложения.²

Часы передо мной, поскольку схвачены именем, простое. Они же могут быть разобраны и окажутся сложными. Неисчерпаемые для анализа, кишачие подтекстами фразы, которыми пользуется человечество, имеют, поскольку сказаны и поняты, каждая внутри или вокруг своей сложно-

1 Дн. 17.6.1915, WA 1, 155–157.

2 Дн. 16.6.1915. О том, что в итоге анализа мы имеем дело со структурой той же сложности, что в начале, ср. выше с. 47.

сти простой охватываемый смысл, «а не только еще ждут какого-то будущего анализа чтобы приобрести смысл». Действительность одновременно элементарно проста и бесконечно сложна.

Против бесконечной разложимости вроде бы ничего и не говорит. *Но снова и снова* само собой напрашивается, что есть что-то простое, неразложимое, элемент бытия, короче вещь.¹

Разница между одной и другой действительностью проходит там же, где разница между *мы* и миром. *Мы* явно не можем разложить фразы (мысли) так, чтобы поименно перечислить простые элементы. Но так же ясно мы чувствуем, что мир неким образом элементарен; что он *именно такой*, т. е. определенный. *Мы* непрестанно шатаемся в наших определениях, мир нет. Он прочно установлен. Если есть такой мир, то есть и определенность вещей. Сказать, что всё расплывается, то же, что считать мир шатким как наши мысли. Мы чувствуем и верим, что мир не то что *мы*. «У мира жесткая структура.»

Мы сложные и заняты поэтому разбором себя.

Всё, чего я хочу, это ведь только полная разобранность (разложимость, Zerlegtheit) моего смысла!!

Сапог трет там, где мы от комплекса переходим к его частям и остаемся на прежнем месте. А что если принять неразложимость моего смысла и определиться вместе с ней? ждать определенности не в конце анализа, а сейчас и здесь в моей фразе? Для этого не нужно искусственно конструировать определенность, достаточно вернуться к существу фразы, о которой говорилось, что она фиксирует действительность на *да* и *нет*. Как рисунок (образ) фраза должна нести одноразово схватываемый смысл даже если она рисунок бесконечности.

Ибо если во фразе какие-то возможности *оставляются открытыми*, то как раз это должно быть определенным: что оставляется открытым.

Прими свою неопределенность и определись с ней.

Чего я не знаю, того не знаю, но фраза должна мне показать, что я знаю. И разве тогда это *определенное*, к которому я *должен* прийти, не будет как раз простым в смысле, который мне всегда мерещился? Это, так сказать, жесткое.²

1 Дн. 17.6.1915.

2 Там же.

Я имею право говорить и тогда, когда не могу обрисовать факт полностью, поскольку такое может оказаться в принципе невозможно, но чтобы моя речь была *полным* рисунком неполного факта, зависит собственно только от меня.

Предмет (Gegenstand) предполагает свою простоту.

То, что по-видимому дано нам а priori, есть понятие: *это*. Тождественное с понятием *предмета*.¹

Предмет может быть любым *это*. Он вообще всё, на что, до именования или после него, лег наш взгляд, и потому шире вещи. «Отношения и свойства etc. тоже суть *предметы*.»

Поскольку предмет есть то, о чем идет речь, речь о нем может идти долго и сложно, но *этость* предмета на всем протяжении разговора о нем никуда не девается, так что в известном смысле предметы на любой ступени усложнения останутся простыми. По мере развертывания *вот этого* аспекта сложности в предмете начнет перевешивать и в конце концов заслонит простоту? Не обязательно. В моих силах и мой долг, если я отвечаю за круг своей жизни, заметить и своей фразой (речью) показать, когда и как сложность вошла в простоту *этого*. Превращение *этого* в сложность мне не было навязано, никто от меня не требовал описать его, я мог остаться при его неопределенности. Если разъяснение *этого* начал я, то мое дело и позаботиться, чтобы *это* на каждом шагу могло вернуться к простоте. Я отвечаю за то, чтобы благодаря ясности отчета о способе вхождения сложности в предмет моя речь осталась путем назад из лабиринта любой сложности к исходной простоте.

Говорилось, что разлагая сложное на составные части мы будем получать снова и снова сложное. Так везде и во всем, кроме случая *моей* речи. Она (здесь логика становится этикой) не должна, коль скоро я развернул ее из простоты предмета, не имеет права иметь безысходно непростые составные части. Я мог запутаться и растеряться, но не должен был (в обоих смыслах, не следовало и не было неизбежно). Выполнимая задача — распутать начатую мною речь, вернуть ее к простоте.

Всегда, когда смысл фразы полностью выражен в ней самой, фраза разложена на свои простые составные части — дальнейшее разложение невоз-

¹ Дн. 16.6.1915.

можно, а кажущееся излишне, — и последние суть предметы в исходном смысле.¹

Поезд с простыми никогда не ушел. Допустим, я не могу сразу вернуть-ся к ним. Но простоту моей фразе уже сейчас обеспечит определенность границы, которую я сам проведу в ней — должен провести — между тем, что я знаю и чего не знаю.

Требование простых вещей есть требование определенности смысла.²

11 ЭКСКУРС: ТЕОРИЯ ЯЗЫКА Ф. ДЕ СОССЮРА

За четыре года до начала работы 22-летнего Витгенштейна над фразой (ср. первоначальное название Трактата «Der Satz»; ср. Дневник 28.5.1915: «Тавтология ли сказать: язык состоит из фраз? Похоже, да»), теорией языка неожиданно (его пригласили на освободившуюся кафедру в Женевском университете) или услышав тот же призыв в воздухе Европы, переживавшей свое уникальное тридцатилетие, занялся впервые после исследований по сравнительной индоевропеистике пятидесятилетний Фердинанд де Соссюр³. «Курс общей лингвистики», называемый обычно его главным произведением, написал не он, а молодые лингвисты Шарль Балли и А. Сеше по тетрадкам его студентов; сами они лекций Соссюра не посещали (правда, их в 1910–1911 записывала отчасти мадам А. Сеше). «Фердинанд де Соссюр никогда не делал попыток написать что-либо, подобное „Курсу общей лингвистики“. Сохранившиеся после его смерти в его архиве материалы не содержат даже намек на такую книгу.»⁴

Соссюр ощущал задачу осмысления языка крайне трудной.

Когда дело идет о лингвистике, всё осложняется для меня тем фактом, что всякая ясная теория, чем более она ясна, в лингвистике не поддается выражению; потому что, я настаиваю, в этой науке не существует ни одного термина, который опирался бы на ясную теорию, а потому между началом и концом фразы пять или шесть раз испытываешь искушение переделать ее.⁵

1 Дн. 17.6.1915.

2 Дн. 18.6.1915, Тракта́т 3.23.

3 Ср. R. Harris, *Language, Saussure and Wittgenstein*. L.: Routledge 1988.

4 А. А. Холодович, О «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра. — *Фердинанд де Соссюр*, Труды по языкознанию. М.: Прогресс 1977, с. 9.

5 F. de Saussure, *Les mots sous les mots*. Ed. par J. Starobinski. Paris: Gallimard 1971, p. 13.

Он не пошел дальше набросков теории языка. Это ансамбль гениальных прозрений, каждое из которых требует экзегезы, многие спорны, все в целом открывают перспективы, к которым философская мысль едва еще просыпается, сказал Эмиль Бенвенист в «*Journal de psychologie*» (1954, p. 134).

Кроме вышеприведенной цитаты из письма Соссюра, все последующие мы берем не из сконструированного редакторами и введенного в научный оборот текста, а из студенческих записей женевских лекций¹, прерванных болезнью и смертью Соссюра в феврале 1913 года. Критическое издание Энглера не критика канонического «Курса»; с одной стороны, Энглер восхищается работой Балли и Сеше,

с другой стороны, никому не под силу определить окончательную мысль Ф. де Соссюра.²

Параллели с Витгенштейном мы не отмечаем; начиная с темы тождества, они очевидны.

Ища определения языка, Соссюр предлагает мыслительный эксперимент: отвлечемся от того, что мы *знаем* о знаке, т. е. от его значения или ценности (*valeur*); забудем, что *пи* для француза значит *голый*, для ионийского грека те же звуки имеют смысл *так вот*; не будем думать, какому они принадлежат языку. Это *пи* для нас исчезнет? Нет. Вне всякой системы знак держится тем, что он тождествен самому себе.

Не зная даже, соответствует ли она [вокальная фигура *пи*] греческому слову или французскому слову. Она существует потому что мы объявляем ее тождественной самой себе (*Elle existe parce que nous la déclarons identique à elle-même*).³

Мы *объявляем*? Не в самой фигуре слышно, что она тождественна себе? Нет. Вокальная фигура (*figure vocale*) может звучать по-разному. Что во всех звучаниях одно и то же, объявить должны мы. Для этого требуется решение и заключение или, по Соссюру, мы принимаем, большей частью молчаливо, *определенную точку зрения*. Для опознания тождества

¹ *Ferdinand de Saussure*, Cours de linguistique générale, édition critique par Rudolf Engler. T. I. Wiesbaden: Harrassowitz 1968. Дальше: Engler с указанием только номера записи, затем, после двоеточия, страницы и, через запятую, колонки энглеровского издания.

² Engler p. IX («...d'autre part, nul ne saurait déterminer la pensée définitive de F. de Saussure»).

³ Ibid. 126–127: 24,6–25,6.

мы должны таким образом уже стоять внутри некой системы, которая однако еще *не* система того или иного языка.

Различим. Для опознания *тождества* мы должны решить, что называть тожеством. Для опознания *знака* мы должны быть внутри принятой языковой системы, в которой заранее условлено, какой монетой служит какой знак. Привхождение системы может нами не опознаваться, но во всяком случае ничего похожего на естественную (непосредственную) данность в языке нет. Хотя такая иллюзия глубоко укоренилась.

Мы молчаливо обращаемся таким образом, чтобы провозгласить существование (*l'existence*) *ти*, к суждению о тождестве, произносимому ухом, точно так же как мы обращаемся, чтобы утверждать взаимосвязанное существование (<*l'existence unie*>) латинского *cantâre* и французского *chanter*, к другому виду тождества, проистекающему из суждений другого порядка; но ни в каком случае мы не перестаем прибегать к <весьма позитивной> операции нашего духа (*esprit*): иллюзия вещей, якобы *естественно данных* в языке, глубока.¹

Ни малейшего намека, подчеркивает Соссюр, нет в языке на факты, которые существовали бы вне «точек зрения» и умственных операций. Тождество и отождествление предшествуют различениям знаков. «Отношение идентичности», определяемое с той или иной точки зрения, может устанавливаться по-разному. Система, прилагаемая к вокальным фигурам, не списана с натуры; фигуры не существуют, пока не «отождествлены». Отсюда сильный тезис: в языке «связь, которую мы устанавливаем между вещами, предсуществует *самим этим вещам* и служит для их детерминации»². Сначала существуют «точки зрения»; правильные или ложные, они предшествуют языку, и только в опоре на них мы «создаем (вторично) вещи». Здесь у Соссюра не небрежность формулировки; дело идет прежде всего о вещах языка, но и о социально-исторических вещах — тоже. Когда отправная точка зрения верна, окажется, что наши создания отвечают реальности, или наоборот не соответствуют, когда она неверна, но в обоих случаях никакая вещь, никакой объект не дан ни на мгновение сам по себе. Даже, казалось бы, такая вполне материальная, по видимости определенная вещь как последовательность звуков тоже сама по себе никогда не дана.³

1 Ibid. 129: 25,6.

2 Ibid. 130: 26,4.

3 Ibid. 131: 26,4.

Вот наше исповедание веры в языковой материи: в других областях можно говорить о вещах «с той или иной точки зрения» в уверенности, что можно обрести твердую почву в <самом объекте>. В языкознании мы в принципе отрицаем существование объективных данностей, существование *вещей* <продолжающих существовать при переходе от одного порядка идей к другому>; здесь нельзя разрешить себе рассматривать «вещи» на разных уровнях, как если бы они были <даны сами по себе>.¹

Язык-объект красиво исчезает. Слово есть лишь постольку, поскольку мы дали ему быть на свой страх и риск, правильно или неправильно. Критерий удачи — «общество» и его «практика» (мы увидим, в смысле ли Карла Поппера, отодвигающего проверку в будущее открытого общества). Если бы у Соссюра всё сводилось к точке зрения и конвенции, ему не было бы нужды в такой мере акцентировать тождество и отождествление.

Соссюр различает язык, *langue*, и *langage*, бытование языка, т. е. *parole*, речь. Он решителен в жесте этого кардинального различения, но проводит границу не в области, которую можно было бы наблюдать. Уход языка из вещей в «точки зрения» у него тот же, что у Витгенштейна, чья логика имеет дело не с вещами, а с фактами в логическом пространстве². Язык Соссюра весь располагается в невидимом; сто́ит сменить глаза, и всё оказывается другим.

Наиболее общее резюме: в языкознании нам запрещено <хотя мы непрерывно это делаем> говорить о «предмете» («d'une chose») с разных точек зрения <или о предмете вообще>, потому что *только точка зрения* создает предмет.³

Стало быть предмет в языке и не предмет вовсе? Нам не хватает здесь витгенштейновского отчетливого различения между вещью и фактом, при том что прослеживаемая обоими граница одна и та же. Отчасти размытость термина *предмет* у Соссюра компенсируется различием *язык-речь*, которому соответствует витгенштейновская пара *фразовая форма* (не наше создание) — *фраза* (наша). Уверенный, что нет языка самого по себе, в котором были бы предметы, их иерархия, их структура, независимые от «точки зрения», Соссюр должен теперь уточнить, что́ она такое, и называет ее «идейной» стороной звука в языке. Но ведь звук

1 Engler 131: 26,5.

2 Ср. выше с. 24 о черноте (белизне) точки как следствии конвенций.

3 Engler 131: 26,5.

(вокальная фигура) создан «точкой зрения»? Да. Следовательно, никакого звука без идеи в языке принципиально не может быть? Расхожее представление, будто люди берут звук и придают ему смысл, упускает главное: что звук нельзя «взять», не *отожествив* его, т. е. не включив его в ту или иную *перспективу* (Бергсон, Ницше могли вдохновлять здесь Соссюра). Звук без идейной стороны никогда не было, он всегда уже идея. В акте его отождествления с самого начала воплотилась та или иная установка разумного живого существа. Звук поэтому уже часть нашего духа. В нем самом изучать, из него извлекать нечего; достаточно лишь вспомнить, что мы в него через «точку зрения» вложили.

Но вспомнить то, что произошло в бессознательно продуктивной глубине нашего духа (отыскать смысл звука-идеи, звукоидеи), невозможно; обращаться с вещами, сотворенными (термин Бергсона) на этой глубине, как с природными объектами, абсурдно. У звукоидеи остается поэтому единственная уловимая черта: то обстоятельство, что она не одна, а имеет или может иметь рядом с собой другую звукоидею. Одной звукоидеи оказывается недостаточно, потому что каждая, будучи создана определенной «точкой зрения», может быть пересмотрена с другой «точки зрения». Отсюда появляется возможность именовать с помощью звукоидеи именно *это*: поскольку не другое. Так звукоидея становится знаком. Единственная безусловная, не зависящая от точки зрения, обеспеченная недостаточностью одной отдельной звукоидеи черта знака — то, что он *не другой*.

Язык состоит таким образом из оппозиций. Они не зависят от «точки зрения». Как это возможно? ведь в оппозицию вступают «вещи», созданные точкой зрения? Да. Но всякая точка зрения предполагает возможность другой. Акт создания предмета заряжает его односторонностью. Предмет, сотворенный точкой зрения, в принципе не один. Соссюр возвращается таким образом к символу в исходном аристотелевском смысле недостачи, хотя упускает возможность основательно осмыслить его, сразу ставя символ в оппозицию к другому символу. Поскольку знак (звукоидея) — всегда *не тот*, он *именно этот*. Противопоставление и отождествление тут настолько переплетаются, что для Соссюра естественно — он даже не обращает внимания на странность такого словоупотребления — называть словом *оппозиция* одновременно то и другое¹.

1 Ibid. 131: 26,5–6.

Итак, материальный звук пусть подождет, пока мы не признаем его *подходящим* (concordant) и примем за некую *сущность* (une substance).

И вот невозможно отдать себе отчет в том, что значит (vaut) эта субстанция, не отдав себе отчет в точке зрения, во имя которой мы ее создаем. Мы никогда не имеем права считать какую-либо сторону языка предшествующей или первичной перед другими и призванной служить в качестве отправной точки. Мы имели бы на это право только если бы в нем имела место сторона, данная вне других, т. е. вне всякой операции абстрагирования и обобщения с нашей стороны; но достаточно поразмыслить чтобы увидеть, что в языке нет ничего подобного.¹

А что, не могли бы мы возвести в субстанцию жест, штрих, что угодно? Разумеется. Тонкостей, на которые обратил внимание Жак Деррида, Соссюр не мог не заметить. Он однако принял ту реалию, что язык сейчас в основном все-таки звуковой. Наш пример: когда на компьютерном жаргоне вместо *to* и *two* пишут 2, то, имея экран и письмо перед глазами, ориентируются всё же на звучание. Соссюр называет и другую не замеченную Жаком Деррида причину превосходства звукового языка над письмом².

Актом придания звуку субстанции наделен ли он смыслом? Нет и да. Перед нами просто выросло некое «отношение тожества» *a*. С другой стороны, оно есть звукоидея, пусть неопределенная. «Группа звук-идея» уточнит свой смысл через оппозицию другой такой же группе, или, иначе говоря: если мы из ничего создали субстанцию, то заложенный в этом акте замысел, пусть даже не вполне ясный для нас, продолжит развертываться. Сказав *a*, скажем и *b*. Для чего-то мы заметили тон, звук, жест, штрих, превратив их тем самым в идею? Теперь наше дело разобраться, что мы имели в виду. Тем временем рядом с первым выступает второй тон, звук, жест, завязывая отношения с первым. Пока не началось их взаимное определение, субстанция есть просто нечто значимое (значительное) без значения. Значимости образуют первичный ровный, ко всему готовый уровень языка. У Витгенштейна ему соответствует фразовая форма, единая для любых содержаний.

Соссюр сначала надеется редуцировать весь язык к «пяти или шести

1 Engler 132: 26,6.

2 См. ниже с. 103 о необходимости договора для письменности, не обязательного в случае живой речи.

дуальностям, или *парам вещей*»¹. Где 5 или 6, там 4 или 7. Не задумывается ли он о том, что оппозиция вообще только одна? На это намекает одна не очень ясная запись:

Есть значительное преимущество в том, чтобы редуцировать его [язык] к одной <известной комбинации *зачеркнуто*> из <определенных пар>.²

«Закон Дуальности остается нерушим», хотя в перечисляемых Соссюром парах ясна только первая: звукоидея есть именно эта, а не другая звукоидея, независимо от точки зрения; поэтому «если бы была создана научная теория языка, она была бы построена на том основоположении, что в языке нет синонимов». Вторая пара, или дуальность («индивид-масса»³), уже другого порядка и красиво возвращает к первой, подчеркивая ее неусловность. «Масса» понимается не в смысле договаривающейся группы или даже ныне живущего поколения; она освящающая инстанция, обеспечивающая неприступность языка для индивида. Терминология Соссюра здесь снова оставляет желать лучшего, при блестящей ясности вводимого им разграничения.

Вторая пара, или дуальность: индивид | масса.

Язык, вещь в себе без отношения к существующей человеческой массе (*masse humaine existante*), неразрывно связана с человеческой массой (*masse humaine*).

Другие формы: язык социален, или он вообще не существует. Язык, чтобы внушить себя сознанию индивида (*pour s'imposer à l'esprit de l'individu*), должен сначала иметь санкцию коллективности [...] Язык получает свое освящение (*consécration*) только через социальную жизнь.⁴

Договариваются о нормах *речи*, для языка договора мало, нужно освящение. С точки зрения ныне живущей франкоязычной массы *a* глагол, с точки зрения русской частица, но что *a* не *b*, не зависит от точки зрения. Тут другой уровень несомненности, социальный в соссюровском смысле, т. е. обязательный для любого коллектива. Выше социума для Соссюра ничего не существует. Социальное для него не *наше*, даже если под *нами* понимать целую цивилизацию.

В индивиде мы имеем лишь организацию, готовую говорить. Это не язык.

1 Engler 133: 27,6.

2 Ibid.

3 Ibid. 141: 28,6.

4 Ibid.

Язык абсолютно социален. Всякий индивидуальный факт имеет значимость лишь становясь социальным.¹

Витгенштейн скажет, что язык есть часть человеческого организма. Сосюр говорит о человеческом «естестве» и его свойстве создавать знаки.

Что *естественно* (*naturel*), это не речь (*parole*), а *facultas signatrix*, прямым проявлением которой язык является в большей мере чем речь. Речь обусловливается языком (*C'est la langue qui conditionne la parole*).²

Социум не меняется во времени. Насколько язык санкционирован социумом, он тоже неизменен. Здесь проясняется смысл соссюрской синхронии и диахронии.

В наши дни время захватило себе слишком много места. Повсюду внедряется историческая точка зрения. Вплоть до смешения с самим по себе языком. Тут ловушка... <законы, движущиеся со временем, надо отличать от других законов, статических. Дело идет о двух разных дисциплинах.>³

Предметы лингвистики, «нашей науки», созданы переменчивой точкой зрения; наоборот, язык в его основе (оппозиции, дуальности) — естественное явление. Стало быть, все-таки вещь? Нет, хотя он и не *наше* дело. Как получилось, что мы ввели звук (жест, штрих) в «отношение тождества», мы не помним. Мы такие, говорит Витгенштейн, что делаем рисунки вещей. Мы такие, что от природы обладаем знакообразовательной способностью, *facultas signatrix*, говорит Сосюр. О том, чтобы так поступать, мы не договаривались. Мы начали условливаться между собой, когда приступили к взаимному перераспределению звукоидей.

Можно сказать, что речь проявляется всегда посредством языка; без этого последнего она не существует. Язык, в свою очередь, совершенно ускользает от индивида, немислим как его создание, предполагает коллективность. В конечном счете всё его существо сводится к единству (*union*) звука и акустического образа с идеей.⁴

В привычном словоупотреблении говорят о реформе, даже смене языка государством; Сосюр упоминает о переходе Норвегии на датский после 14 века. Для языка в этом смысле он пользуется однако особым термином *langage* (*речевая деятельность*, Холодович; у нас *бытование языка*

1 Engler 155: 21,3.

2 Ibid. 191: 36,6.

3 Ibid. 144: 29,4.

4 Ibid. 261: 43,5.

или просто *речь*). *Langage* ближе к речи (*parole*) чем к языку (*langue*). По одному из соссюровских определений язык есть бытование языка минус речь,

langue = *langage* – *parole*.

Язык в строгом смысле слова неприступен для административных реформ.

Большинство институтов подвергаются в определенные эпохи обновлению, исправлению, реформированию через акт воли, тогда как наоборот в языке (*langue*), мы видим, такая акция невозможна и даже академии не могут посредством декретов изменить курс, взятый институтом под названием язык.¹

Знак, утвержденный актом субстантивации, сразу оказывается неполным и соскальзывает в *это*, т. е. в оппозицию к *тому*. Последующее расталкивание ведет к постепенному уточнению исходной значимости знаков через их взаимное определение, вызванное самим их сосуществованием. «Терять из виду, что изучению подлежит только *система* знаков, значит рисковать упущением единственно верного подхода к семиологии.»²

Как у Витгенштейна, первичный язык здесь феномен, который не сразу виден. «Необходимость семиологии обнаруживают не сразу. Чтобы ее увидеть, надо глубоко погрузиться в изучение языка [...] Акустический образ, связанный с идеей, вот существенное в языке.» Мимо этого уровня знаковой теории лингвистика проходит потому, что не видит проблемы в «отношении тождества», создающем знак. Для Соссюра, наоборот, здесь происходит главное. Речь лишь разыгрывает симфонию языка; перед разными режиссерами лежит одна и та же партитура; «симфония есть существующая реальность без ее исполнения».³ Тем жестче соссюровское разграничение лингвистики языка (семиологии) и лингвистики речи, что к первой надо еще подтолкнуть. Естественно желание заниматься тем, что кажется зависящим от нашей воли; удобно видеть в языке некое социальное соглашение, определенного рода договор. Этой стороны много в речи; но ведь речь лишь интерпретирует язык. Семиология открывает его неприступную сторону.

1 Ibid. 273: 65,5.

2 Ibid. 302–303: 50,2; 50,4.

3 Ibid. 303: 51,4; 331: 54,5.

Что всего интереснее изучать в знаке, это те его стороны, которыми он ускользает от нашей воли. Тут его истинная сфера, потому что мы уже не можем ее редуцировать [...] То, что в языке ускользает от воли <индивидуальной или коллективной>, вот где существенная черта (*caractère essentiel*) знака, всего менее заметная на первый взгляд.

Понимая, насколько нов его подход, Соссюр диктует далее:

Язык рассматривают как законодательство, в манере философов 18 века, как зависимый от нашей воли; но языку приходится подчиняться больше чем законодательству, гораздо больше чем мы думаем [...] Если есть область, где законодательство предстает как закон, которому подчиняются, а не который создают, то это язык (*langue*) [...] В языке у нас минимум инициативы.¹

Откуда у нас *facultas signatrix*, знаковая способность? Мы помним только как мы ею пользовались. История расскажет о том, что постановила та или иная «человеческая масса», но на вопрос, откуда у нас язык, как и на вопрос, откуда рука, отвечает уже не история, а теория. «Момент, когда условливаются о знаках, реально не существует, он есть лишь идеал.»

Язык немного подобен утке, которую высидела курица². Повторяя и подчеркивая, что язык не похож ни на один социальный институт и совершенно уникален по своей функции и своему устройству, Соссюр затрудняется видеть в нем вполне человеческое дело³. Каждое поколение лишь интерпретирует по-своему вынашиваемый им язык⁴. Как курица не знает, что ей подложили чужое яйцо, так не очевидна необходимость семиологической науки. Здесь требуется философия. — И вот, поскольку всё зависит не от предмета, который в языке сам по себе не существует, а от глубины взглядывания, начала языка не надо искать далеко; они продолжают здесь и теперь, незаметно, во всякой речи. Воображаемый момент первичного соглашения не ушел в прошлое, он по-своему присутствует в любом говорении⁵. Язык в своем происхождении и существе дан в том, как он работает сейчас.⁶

1 Engler 1183: 159,2; 1230: 164,2; 312: 51,2.

2 Ibid. 1191: 160,2; 1275: 170,2.

3 Ibid. 2202: 317,2: «Nous ne pouvons donc pas placer le langage au milieu des choses humaines».

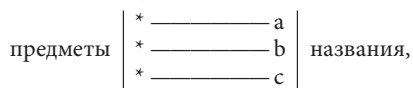
4 Ibid. 2591: «La langue paraît être considérée comme interprétée à chaque moment par la génération suivante qui l'a reçue».

5 Ibid. 1182: 159,2.

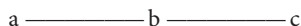
6 Ср. Витгенштейн: «Вид и способ, каким язык обозначает, отражается в его применении» (Дн. 11.9.1916).

Лишь упомянув о том, что Соссюр и Витгенштейн одинаково замечают, насколько мало шахматная игра имеет отношения к материалу шахматных фигур¹, остановимся на том, что у обоих знаки соотносятся прежде всего между собой и лишь через свою «структуру» отображают действительность. Одно-однозначная привязка знаков к предметам строго запрещена. У Витгенштейна эта мысль повторяется не раз². Соссюр настаивает на ней со всей решительностью.

Сначала [якобы] предмет, потом знак; отсюда следует (то, что мы всегда будем отрицать) придание знаку внешней базы и схема языка такого рода:



тогда как истинная схема это



вне всякого <знания реального отношения типа * ————— a, основанного на объекте>.

Если бы объект мог, где бы то ни было, быть термом, на котором фиксирован знак, лингвистика мгновенно перестала бы быть тем что она есть, от <вершины> до <основания>; впрочем, человеческий разум (*l'esprit humain*) тоже сразу...³

У Соссюра есть библейский образ соприкасающихся масс воздуха и воды, каждая из которых сама по себе аморфна, но изменение атмосферического давления (ветер) создает на поверхности воды определенную волновую структуру, по которой в свою очередь можно косвенно судить и о состоянии воздуха. Волны не рисунки аэродинамических структур в атмосфере. Море начинает волноваться вообще и в целом; рисунок каждой волны определяется соседними. Вода — область «фонологии», воздух — «психологии»⁴. Знак структурируется внутри языка; об-

1 Engler 644: 92,5: «Можно сравнить язык с шахматной игрой. Коль скоро игра опозитивных значений становится возможна, знать вещество (слоновая кость, дерево), из которого изготовлены фигуры, не очень важно. Поэтому *Lautpsychologie* (психология звука) не составляет части лингвистики.»

2 См. ниже с. 127 по поводу Трактата 2.13 слл. и др.

3 Engler 1091: 148,6. В каноническом «Курсе» чертежа нет, мысль разжижена («...что связь, соединяющая название с вещью, есть нечто совершенно простое [...] весьма далеко от истины. Тем не менее такая упрощенная точка зрения может приблизить нас к истине, ибо она свидетельствует (?) о том, что единица языка есть нечто двойственное, образованное из соединения двух компонентов»).

4 Ibid. 1828–1841.

щее между волнами и ветром только значительность (*valeur*: стоимость, ценность, цена; акция, облигация, валюта; значение, достоинство, сила; величина).

Волна не знак отдельного вихря воздуха. Откуда же возникла номенклатурная концепция знака, сопоставляющая знак непосредственно с предметом? Почему, спрашивает Соссюр, Адам в главе 4 Книги бытия дает имена существам? почему мы уверенно называем дерево деревом, коня конем? Соссюр старательно вырисовывает на доске дерево, красивого коня с аккуратно подстриженным хвостом и выписывает против них латинские слова *arbor*, *equus*. Наклеивание названий происходит после того как договорились, что определившиеся вещи получают имена. Вещи уже были именно такие, т. е. имена в сущности успели получить. Созданные Богом вещи были уже в существенном смысле именами. При Адамовом именовании дерева происходило что-то вроде того, что происходит при подыскании для латинского слова *arbor* соответствия во французском языке. Задача Адама сводилась к распределению этикеток по предметам. Поскольку вещи суть именно эти вещи, в них заложены имена.

Соссюр подходит к тому же парадоксу еще и с другой стороны. Мы знаем, что такое означающее и означаемое. Они составляют по-видимому пару. Как назвать ансамбль

$$\frac{\text{signifié}}{\text{signifiant}} ?$$

Назовем этот ансамбль термином *вещь*? Мы оказались под чертой. Термином *слово*? Над чертой. Назвать пару не удастся. Между тем она явно составляет единство. Наше *речь* в польском *rzecz* значит *вещь*. Немецкое *Ding* когда-то значило *ting*, *совет*. По Лосеву, *штаны* не вещество и не слово; мы берем в руки единую *идею*. Вероятно, говорит трезвый Соссюр, недвусмысленного названия для пары означающее-означаемое, к сожалению, вообще не может быть.

Какой бы термин мы ни выбрали (знак, терм, слово etc.), мы промахнемся, неизбежно обозначив только одну часть. Вероятно, его не может быть. Как только в каком-то языке термин прилагается к понятию значения, становится невозможно знать, по одну ли мы сторону границы, по другую или по обеим сразу.¹

¹ Engler 1119: 151,5.

Неустрашимый парадокс этого ансамбля приоткрывается еще с одной стороны. Невооруженным глазом видно, что знак произволен (*arbitraire*), но кто арбитр этой произвольности? Самая мудрая академия может менять имена не по произволу, а только *потому что*.

Иначе с письменностью. Ее легко изобрести. Кирилл и Мефодий придумали даже две. Своим письмом, зависимым от латиницы, пользовался Витгенштейн. Удобным письмом, зависимым от кириллицы, греческого, грузинского, пользуюсь я. Похоже, письмо произвольно в тривиальном смысле. Во всяком случае, всегда можно договориться, какая графема будет значить что. Язык (*langue*) в своем существе, отношении тождества, не договорной институт, как мы видели. Наоборот, «письмо, чтобы существовать, предполагает социальную конвенцию, соглашение внутри сообщества»¹.

Звук имеет «акустический образ», он «фигура», имеющая «намекающую силу», *pouvoir évocateur*². Звук во всем, начиная с этой своей силы, да и просто с громкости, зависит от человеческой действительности, хотя и не так, чтобы такому-то звуку лепета соответствовал определенный элемент человеческой жизни. От звука до чувства один шаг; иногда чувство и звук вообще одно и то же; но соотнести такое-то чувство с таким-то звуком не удастся. Это не в нашей воле, наш язык здесь тоже ускользает от нас.

<Языку говорят:> «Выбирай произвольно!», но ему одновременно говорят: «Ты не имеешь права выбирать, что чем будет!» [...] знак, в своем существе, не зависит от нашей воли.

Аспект ускользания от нашей воли, как мы уже прочли, для Соссюра самое интересное в языке. Что же тогда, в конце концов, надо понимать под произвольностью знака? Только то, что он *не* соотнесен напрямую с реальностью! Он от нее за непреходимой чертой. Поэтому соотносите с любой действительностью любой знак — он будет отсылать не к ней, а к другим знакам в их системе. Соссюр так уверен в непривязанности знака к вещи и так мало видит вокруг понимания этой правды, что с удовольствием повторяется, варьируя:

Язык (*langue*), в какой бы момент мы его ни взяли, как бы высоко ни поднимались, в любой момент есть наследие предшествующего момента. Иде-

1 Ibid. 1130: 153,5.

2 Ibid. 1138: 155,3: «По поводу термина *акустический образ*: в общем и целом образ имеет связь с изображаемой им вещью».

альный акт, каким некогда имена были якобы распределены по вещам, акт, благодаря которому некое соглашение (*contrat*) было установлено между идеями и знаками, между означаемыми и означающими, этот акт пребывает исключительно в области идеи.

Это идея, навешанная имеющимся у нас ощущением произвольности знака, пониманием, что он не принадлежит к реальности.¹

Статикой, позднее измельчавшей до «синхронии», называется то, что всегда было и есть, не имело начала во времени и происходит сейчас так же, как в любом историческом прошлом. Всегда масса действительности стоит лицом к лицу с массой языка. Никогда язык не список вещей. Не абсурдно сказать, что язык свой собственный список. Если посмотреть на него таким образом, становится ясно, что всякий язык есть целое (ср. витгенштейновское *всё*). Оно дано раз навсегда, неизменно. Во времени происходит только перераспределение акцентов внутри значительности целого. Соссюр говорит на уровне философской аксиоматики, не видя надобности в экспериментальном подтверждении:

Момент генезиса сам по себе неуловим: он невидим. Первоначальный договор сливается с тем, что каждодневно происходит в языке, <с перманентными условиями языка:> если вы увеличите язык на один знак, вы уменьшите язык на один знак; вы уменьшите на такую же величину значение других. <И наоборот, будь вначале, предположим невозможное, избраны только два знака, все значения распределились бы по этим двум знакам. Один обозначал бы половину предметов, а другой другую половину.>²

Ненаблюдаемая целостность языка остается его главной действующей силой. Изменения в одной части, отражаясь от целого, передвигают через него все другие. Никакие изменения не затронут целого, т. е. собственно с языком ничего не сделают; целое раньше частей, из которых состоит. Другим социальным институтам грозит полная революция, языку нет.

Вспомним о человеческой массе без добавления «ныне существующей». Она имеет вес (*poids*). Это объединенный вес человечества и его исторического дела. Он равен миру. Единую массу составляет и язык. То и другое Соссюр рисует в виде двух сравнимых по площади объемов, сверху овал языка, внизу прямоугольник «коллектива», и слева припи-

1 Engler 1187–9: 160,5.

2 Ibid. 1191: 165,2.

сывает: «Мы их не разделяем»¹. Вес человеческой массы, неотделимый от веса действительности, составляет «центр тяжести языка», т. е. у языка нет отдельного центра тяжести помимо веса человеческой массы. Ее вес не переливается в язык; язык с самого начала складывается вокруг исторического дела «коллектива». Язык встроен в «человеческую массу», неотделим от нее и вместе с тем его отношение к действительности вполне произвольно. Здесь метрические схемы, сравнения перестают работать, уступая странной топике. Язык, совпадающий своим центром с центром тяжести человечества и одновременно отделенный от всего, не имеет себе ничего подобного.

Общее впечатление, остающееся от <языковедческих, зачеркнуто> трудов Уитни, сводится к тому, что достаточно здравого смысла человека, знакомого с [], как для изгнания всех фантомов, так и для постижения сущности всех []. И вот мы не разделяем этого убеждения. Мы, наоборот, глубоко убеждены что всякий вступающий в область языка (langue) может сказать что он покинут всеми аналогиями на небе и на <земле>.²

В язык вливается вся значительность происходящего в человеческой истории. Здесь база языка. От нее берет силу каждый его факт. Что не получает этого питания, мгновенно обесценивается как вышедшая из обращения валюта. Соссюр считает недостаточной любую строгость границы между плотно сбитым целым языка, схваченным в единстве его «статике» с центром тяжести в историческом коллективе, и тем, что лишено валютного обеспечения и потому мертво. Статика в этом смысле, конечно, не синхрония, и противостоит ей не кинематика и не диахрония, потому что история языка тоже может продолжать действовать в нем как живая сила. «Значительность и современность синонимы»³, но ведь история тоже может стать актуальной? Соссюровская терминология здесь перестает работать; ее сползание к узкому техническому смыслу объяснимо. Надежным остается совмещение центра языка с центром тяжести «социума». Обеспеченный весом человеческой массы, язык не может обесцениться. Как бы он ни изменился, внутри активной статике

1 Ibid. 1232: 164,5.

2 Ibid. 1267: 169,5–6.

3 Ibid. 1357: 182,5: «Nous sommes dans complication maximum des faits de valeur. Toute valeur dépendra d'une valeur voisine ou d'une valeur opposée, et ainsi, même *a priori*, puisqu'il se produit une altération, un déplacement du rapport, comment jugerait-on <de front> des termes en mêlant les époques ? <Valeur ou contemporanéité, c'est synonyme.>»

он будет наполнен всей ее значительностью. Он машина, которая не может испортиться.¹

Раздражающая двойственность (*irritante duplicité*) языка в его статике и кинематике останавливает Соссюра. Признания, что сущность языка уловить не удастся, делаются часто и откровенно²; терпеливый разбор уступает место повторам и восклицаниям; поняв бездонную глубину оснований речи, Соссюр завещает работу над ними другим.

Языковедение вовсе не просто в своем начале, в своем методе, потому что язык не прост. Хотя он кажется совсем близок нам, постичь его трудно. <Макс Мюллер сравнивал его с вуалью; де Соссюр сравнивает его со стеклом очков, через которые мы рассматриваем предметы.> Нет ничего обманчивее языка. Что более произвольно и менее произвольно чем слова! что более условно! а между тем изменить тут совершенно ничего невозможно. Что более изменчиво — что более устойчиво! Фиксирован до мельчайших деталей — а между тем мы уже не понимаем язык, на котором говорили веков двенадцать назад.

Перед нами очень своеобразный научный объект. Аспекты самого разного рода, отчасти противоречивые. Язык не с чем сравнить.³

Непонятность языка не мешает ему работать. «Говорящая масса» никакого отдельного от вещей языка вообще не замечает, имея дело непосредственно с реальностью.⁴ Поскольку говорение не замечает никакого языка, есть, казалось бы, только речь, которая строится в ориентации на реальность вокруг «центра тяжести» социальной массы. Соссюр угадывает это тождество языка и речи.

Изменения начинаются всегда с фактов речи (*parole*)... Причина фактов развития языка (*langue*) располагается в фактах речи.⁵

В языке не должно быть вещей, чтобы не мешать речи иметь в перспективе реальность. Единственную опору языка Соссюр видит в сознании говорящего.

Постоянно говорят об опасности абстракций. Чтобы дать себе отчет в

1 Engler 1444: «Язык сравним с машиной, работающей всегда, каковы бы ни были причиняемые ей поломки». У Витгенштейна: логика обеспечивает сама себя и мы не можем сделать в ней ошибки.

2 Ibid. 1485: 197,6.

3 Ibid. 1766: 244,4.

4 Ibid. 1496: 198,2.

5 Ibid. 1646: 224,5. Соссюр отличал «статический язык» от «эволютивного».

том, что это такое, нужен критерий. Этот критерий — в сознании каждого. То, что есть в *ощущении* говорящих субъектов, то, что в той или иной степени чувствуется, — это значение (signification), и тогда можно сказать, что конкретно-реальное, вовсе не так легко улавливаемое в языке = то, что ощущается, а оно в свою очередь = то, что значительно в какой-то степени [...] ¹

В записи другого слушателя:

Необходим критерий. Этот критерий — в *сознании* каждого. Но то, что каждый ощущает, есть смысл; он сводится к тому, что значительно. Реальное есть то, что ощущается. То, что ощущается, равно тому, что значительно. <Нет единиц, готовых для принятия значения, есть значение, очерчивающее границы единиц.> ²

Философски наивно искать спасение от абстракций в конкретности, понятой как то, что каждый ощущает. Соссюр уходит от центральных вопросов. Так, он освободил себя от задачи, захватившей Витгенштейна: найти существо фразы. Мы видим много разных фраз, все они непохожи, и только.

Можно сконструировать идеального человека, тогда как в отношении всех фраз мы не находим этих общих черт, какие находим у всех людей. В конечном счете мы будем снова и снова встречать слова. С фразой (phrase) дело обстоит не легче чем со словом. ³

Глубина проблемы угадана; решение оставлено другим. Первым подхватил работу Витгенштейн.

Ближе к концу курса, как и в самом начале, Соссюр думает о тождестве (этот термин встречается в записях курса чаще чем в каноническом тексте). Только тождество дает подступить к языковым единицам. На материальном тождестве однако далеко или вообще никуда не уедешь. Констатировать ту же самую звуковую цепочку недостаточно; она может означать другое. И наоборот: слово бывает произнесено неповторимым тембром и тоном, но опознается безошибочно. За тождеством стоит единство? каким образом? Не знаем. Улицу перестроили до последнего камня, но ее положение относительно остальных улиц не изменилось. Она та же самая прежде всего потому что не другая.

1 Ibid. 1737: 239,2–240,2.

2 Ibid. 1737: 239,4. О фантомах и конкретном ср. 1798–1800.

3 Ibid. 1743: 240,5.

Это единство в конечном итоге негативное, [оп]позитивное. Отсюда выделяются элементы тождеств [...] Этот вопрос *на чем покоится тождество?* самый трудный, потому что вполне сводится к вопросу о единстве.

Соссюр не может поверить в самостояние тождества; ему всё кажется — Витгенштейн будет видеть яснее, — что тождество должно быть чем-то обеспечено, и он ходит по замкнутому кругу единства (единицы)-отождествления-опознания.

Тождества нет, если заранее не приняты определенные молчаливые условия. Связь <лингвистического> тождества — <их впрочем может быть много> — затрагивает <таким образом> саму идею единства [...] Это тождество не находится непосредственно под руками [...] Связь тождества покоится таким образом на элементах, которые надо отыскивать и через которые мы подойдем очень близко к единствам [...] И этот вопрос о тождествах <в конце концов> тот же самый что вопрос о лингвистических реальностях.¹

Тождество и его оборотная сторона, оппозиция, остаются в центре внимания Соссюра. Он однако оказывается неспособен на сверхусилие, удавшееся Витгенштейну в Норвегии зимой 1913–1914, и не видит тождество вне системы.

Или $\frac{a}{a'}$, или $\frac{a:b}{(a':b')}$. Совершенно окончательный закон языка в том <насколько мы осмелимся сказать>, что никогда нет ничего, что могло бы заключаться в *одном* терме (в порядке прямого следствия из того, что языковые символы не состоят в отношении с тем, что они должны обозначать), и следовательно, *a* не способно ничего обозначить без поддержки *b* [...], т. е. оба имеют значение только благодаря их <взаимному различию>.²

Безотносительность знака к вещи Соссюр догматически распространяет на его безотносительность к своему смыслу, сразу оказываясь далеко позади Витгенштейна, у которого все уровни речи участвуют в рисунке, каким является фраза³. Соссюр проглатывает не разжевывая важные парадоксы, возникающие по ходу его поисков.

Различием для нашего ума предполагаются два позитивных термина, между которыми устанавливается различие. <Но парадокс в том что:> в язы-

1 Engler 1775: 245,5; 1776: 245,3; 1777: 245,2; 1784: 246,5; 1786: 246,2; 1787: 246,2.

2 Ibid. 1903: 264,6.

3 См. ниже с. 499 у Витгенштейна о том, что слово *blond* похоже на блондина и др.

ке есть только различия без позитивных термов. Тут парадоксальная истина.¹

12 ЭТИКА

Витгенштейн не менее Соссюра понимает, что полное тождество возможно только между простыми единствами (единицами). Их, мы видели, не добыть никаким анализом. С другой стороны, любой комплекс имеет аспект простоты. Часы лежат на столе. Что значит эта фраза? следует ли из нее, что часовая пружина тоже на столе? а если говорящий не знает, что в часах есть пружина? значит ли фраза, что теперь каждый может смотреть время по моим часам? или что они мне не нужны? Выручит ли тут контекст и ситуация? При осведомленности в них фраза будет иметь, возможно, меньше, но всё равно необозримо много смыслов. Как придать ей определенность?

Выход из неопределенности невозможен, пока длится перебор возможных смыслов фразы. Она фокусируется только вокруг своей истинности или ложности. Выводы делаются не из фразы как таковой, а из того, что она констатирует или не констатирует положение вещей. В «Прототрактате» второй афоризм (после первого, «Мир есть всё то, что имеет место») звучал: «Что́ имеет место, говорит нам, что́ имеет место и что́ не имеет места». Фраза истинна тем, что́ в ней могло быть неистинным; этим же ей впервые придается определенность. Часов на столе могло не быть, они там есть. Какие? любые? Нет конечно, а только те, которых там могло не быть, т. е. *именно эти* часы, иначе фраза бессмысленна; истинность фразы, требуя проверки фактом, предполагает конкретность. Проверить можно только то, о чем идет речь, т. е. причастное неповторимости момента, единственности тебя или меня. Ясно, что имеются в виду целые часы, отдельно пружина меня не интересует. Истинность стоит в середине речи (мысли) единственным гарантом определенности, которая, мы читали (Дневник 18.6.1915, Трактат 3.23), возвращает к простым. Фраза участвует в логике только через свою заявку быть истиной обстоятельств.

Не: одна фраза следует из другой, а истинность одной следует из истинности другой.²

1 Engler 1940: 270,5.

2 Дн. 18.6.1915, WA 1, 157–158.

Именно этим часам обеспечена простая целостность, потому что в отношении их фраза о том, лежат ли они на столе, может быть истинной или ложной.

Простой знак своим существом прост.

Он функционирует как простой предмет. (Что это значит?)

*Его состав оказывается совершенно безразличным. Он исчезает у нас из глаз.*¹

«Все люди смертны.» Будем выяснять, так ли это? а что если один окажется бессмертный? или все люди потом будут или уже сейчас бессмертны? Бессмысленна ли фраза, если никто не говорит, что люди бессмертны? Мы снова внутри безысходного перебора смыслов, не закончив который, нельзя делать вывод, что Сократ смертен. Фраза перестанет быть тупиковой и будет годиться для вывода из нее другой фразы только в качестве истинной. Случай здесь однако несколько другой, чем с часами на столе. Из-за того, что все люди не наблюдались, истинность фразы «все люди смертны» может быть только грамматической, т. е. когда говоря человек мы подразумеваем *смертный*. Тогда она надежная тавтология, сама собой истинная, и из нее следует: *если* Сократ человек, то...

Сделаем теперь вместе с В. следующий шаг. «Книга лежит на столе.» Сейчас или обычно? я ее наконец принес? ее надо поставить на место? Фраза плывет. Но когда я ее произносил, то наверное имел в виду что-то определенное? Фраза поплыла, когда отделилась от «внутреннего отношения». Ее обеспечение моим замыслом прервалось, не перешло в ее внешний вид, который приобрел многозначность. Стало быть недостаточно внутренней настройки на истину-ложь; мое *выражение* тоже будет истинным или ложным смотря по тому, последовательно или нет употребление слов.

Истинность или неистинность дает фразе (мысли) выйти из сложности к простоте. Но всякая истина может быть оспорена. Всякая простота, как мы видели, может повернуться аспектом сложности. Простое не находка, на которую мы наконец набрали, а аспект, или *конструкт* (21.6.15, конец²). Когда я уловил вещь именем, простота, казалось бы, у меня в руках, но я-то сфокусировался, произнося свою фразу, а другие слышат ее иначе; и еще важнее: я сам через минуту уже едва умею объяснить, почему подумал и сказал именно так.

1 Дн. 21.6.1915, WA 1, 162–163.

2 WA 1, 163: «Wir sehen also, daß diese Einfachheit nur konstruiert ist».

Сделки [моментально заключаемые нами при применении] нашего языка необычайно сложны. Ко всякой фразе примысливается невероятно много такого, что не говорится.¹

Придать фразе определенность так, чтобы донести ее незамутненной до выражения, невозможно. Как выйти из темноты? Пусть я точно знаю, что имею в виду, но другой ко мне в голову не заглянет. Сплошь да рядом он недопонимает меня; когда до него доходит моя мысль, он говорит: А-а! ну если ты *это* имел в виду, надо было тогда добавить, что... Он смотрит однако со своей колокольни. Я не он. Кто-то не поймет меня даже и с добавлениями, потребует большей подробности объяснений. «Объясните Тракта́т» (Фреге, Рассел). Буду объяснять? Тогда зачем я вообще говорил, не перейти ли бы лучше было сразу к объяснениям, а? Имел же я голову, когда говорил, момент уверенности в говоримом у меня был? Да. Я уже сказал, когда говорил, всё, что было нужно. И теперь, когда другой упрекает меня: А, *надо было вот как сказать!* — я ему решительно возражаю: баста, никаких! «Это понятно *все-таки* само собой.»²

Я ему говорю, «часы лежат на столе». «Да они на книге лежат, как же на столе!» Я смущен. В самом деле, лежи они прямо на столешнице, я наверное сказал бы ту же фразу; она, стало быть, неточно описывает обстоятельства. Я уличен; оказывается, я говорю, не отдавая себе отчета, что имею в виду под «лежат на». Но если мой дух не замутнен, не в рабстве (Unbefangen), то он восстанет: как сказал, так и сказал! Я имел в виду именно это! — и показываю пальцем на стол, книгу и часы. Разве я не прав? Ведь так, как я сказал, обрисовать факт тоже можно. Другому всё кажется сложнее, но я вижу предмет в простоте; способность так его увидеть мое достижение, и я свидетельствую о нем уверенностью, не поддаваясь смущению. Для меня предмет прост, я могу его охватить одним именем — ты не можешь, ну и что? «Имя схватывает всё свое сложное значение в одном целом.»³ Для тебя оно еще не схватывает, ты еще не видишь этого аспекта, как не видишь перескоков прозрачного куба Некера, но возможно увидишь.

«Этот предмет для *меня прост!*», для тебя нет. Я не могу вселиться в твои глаза или подтолкнуть тебя словами, но что я тогда делаю: я самым собой показываю, становлюсь живой картиной, весь как могу рисую то,

1 Дн. 22.6.1915.

2 Дн. 22.6.1915.

3 Дн. 22.6.1915, конец.

что вижу, а ты не видишь. Рисую чем попало; в том числе речью, которая теперь уже не объяснение, а показ. Так у Аристотеля: ты любишь и молчишь? Это не любовь; сделай, чтобы было видно. Так блаженный Августин в переводе Витгенштейна¹: что, скотина, ты молчишь, потому что все равно ничего не получится толком сказать? Говори как получится, а то хуже будет.

Достигнутая мною простота взгляда переходит здесь в этику.

Разве мне безразлично, видят ли другие то, что увидел я, и нечего им показывать, достаточно моего достижения? — Для кого-то это было бы решением, но ведь я солипсист. Никаких других для меня не существует, есть только я один, и тот факт, что я вижу *не полностью* (если бы видел полностью, то не было бы проблемы с тем, что «кто-то» не видит), вырастает до нетерпимого скандала. Я не останусь собой, если к моему увидению останется привесок чьего-то невидения; всё равно что я сам ничего не увидел. Законченный солипсист, Витгенштейн периода своей логики ради самого себя, ради того, чтобы быть, не должен двоиться. Его видение должно быть полным, «счастливым» без сомнений и ограничений.

Солипсист таков, каково его видение. «Объяснять» свое видение для него нелепо; с таким же успехом он мог бы что-то объяснять своей тени. Показать для солипсиста значит стать полностью самим собой, совершенным рисунком своего видения.

Видение плавно переходит тут в волю, как в русском языке *видеть* перетекает в *ведать-знать*, потом в *ведать-смотреть за*.

Мыслимо ли существо, способное только представлять (скажем видеть), но не хотеть? В каком-то смысле это кажется невозможным. А если бы это было возможно, то смог бы существовать и мир без этики².

Полнота видения нужна для счастья. Мир упредил нашу способность воздействовать на него, но не закрыл возможность широкого видения. Счастливее тот, у кого оно шире; жизнь есть мир, не физиология и не психология.

Да, моя работа растянулась от основоположений логики до существа мира.³

1 См. ниже с. 209 о границах языка.

2 Дн. 21.7.1916, конец, WA 1, 171.

3 Дн. 2.8.1916, конец, WA 1, 174: «Ja, meine Arbeit hat sich ausgedehnt von den Grundlagen der Logik zum Wesen der Welt».

Отказываясь что-либо объяснять в своем образе действий, Витгенштейн включается в одноразовость мира. Мы захвачены им раньше чем успеваем это заметить. Изменить его так же невозможно, как вообразить наш приход в еще не готовый мир. Только в точке принятия этой ситуации мир уже не прокатывается через меня, ставя каждый раз перед совершившимся.

Я не могу управлять событиями мира по своей воле, но совершенно безвластен.

Только так я могу сделать себя независимым от мира — и значит им все же в известном смысле владеть, — когда я отрекаюсь от влияния на события.¹

В дневниковой записи 19.7.1916 продолжается тема, оставленная за 5 лет до того без развития Ф. де Соссюром, решившим, что видов фраз так много, что найти общее для них всех невозможно. Витгенштейн:

Если бы нельзя было задать наиболее общую форму фразы, то должен был бы наступать момент, когда мы внезапно имеем новый опыт, так сказать логический.

Это конечно невозможно.²

Новый опыт дадут предметы. Фраза относится не к ним, а к другой фразе — здесь Витгенштейн совпадает с Соссюром, — в которой заранее уже имеет свою форму.

Не забывать, что $(\exists x)fx$ значит не: существует такой x , что fx , а: существует истинная фраза « fx ».

За фразой тянется ряд, в перспективе которого фраза обо всём:

Фраза fa говорит об определенных предметах, всеобщая фраза о *всех* предметах.³

Всеобщую фразу надо искать не в сумме частных фраз, а в момент, когда частные образуются под крышей всеобщей. Здесь обнаруживается единство элементарной и всеобщей фразы.

1 Дн. 11.6.1916, конец, WA 1, 167; ср. заключение Трактата.

2 Дн. 9.7.1916, WA 1, 170: «Wenn man nicht die allgemeinste Satzform angeben könnte, dann müßte ein Moment kommen, wo wir plötzlich eine neue Erfahrung machen, sozusagen eine logische. Dies ist natürlich unmöglich».

3 Ibid. Ср. с. 77 о всеобщности (*всё*).

Снова и снова ощущаешь, что в элементарной фразе речь тоже идет обо всех предметах.¹

Сказать, что всеобщая форма фразы возможна, то же самое что сказать: не бывает, чтобы фразовая форма — любая — не давала себя предвидеть. Фразовая форма, переживаемая как неожиданно новый опыт, разрушила бы язык как мой. Все возможные фразы даны мне априори,² причем не так, что когда-то мы научимся новым формам, теперь пока недоступным, а так, что любую фразу, которую я когда-то смогу образовать, я могу образовать сейчас.

Мое языка то же, что *мое* мира. Я открываю себя в обоих. Они поэтому одно.

Лондонские, норвежские записи 1912–1914, сохранившиеся военные дневники В. показывают, как быстро формальная логика «Математизированных первоначал» (*Principia mathematica*) выросла у него в онтологическую.

Трактат создавался уже после того, как Витгенштейн перешел «от основоположений логики к существу мира». Он логико-философский и требует особого подхода.

¹ Дн. 13.7.1916, WA 1, 170.

² Дн. 21.11.1916, WA 1, 184–185.

II ТРАКТАТ

1 ФАКТ

Почти все тексты Витгенштейна печатаются посмертно, кроме «Логико-философского трактата». Донести его до публикации было, начиная с наборок 1913 года, потом во все фронтовые годы, почти год плена и в первый послевоенный год, делом жизни его автора¹. Трактат вышел сначала в ежегоднике Вильгельма Оствальда «*Annalen der Naturphilosophie*» за 1921 г. и через год в Лондоне с «Введением» Бертрана Рассела и переводом на английский под названием «*Tractatus logico-philosophicus*», которое предложил Джордж Эдуард Мур, с 1921 г. главный редактор журнала «*Mind*». То, что Трактат вышел в Англии под латинским названием, как за десятилетие до того «*Principia mathematica*» Рассела и Уайтхеда, было знаком стремления оторваться от современности, спастись в строгой чистоте науки.

Вокруг понимания Трактата, замеченного публикой после выхода в Англии на двух языках с предисловием Рассела, сразу начались расхождения, после чего у Витгенштейна навсегда прекратилось желание печататься. Рассел в своем предисловии представил его продолжателем дела всеобщей чистки философии, религии, этики, начиная с их языка, ради новой свободы; сначала перестановка всего на математизированные основания, потом строительство на незараженном метафизикой месте. Витгенштейн такой чистки не планировал. Пусть всё останется как есть. Нет двух задач, работа одна: развязывание узлов, разбор завалов. Рядом с обычным языком не нужен никакой другой, тем более искусственный. От естественных наук В. ушел в философию. Логика не инструмент для работы с понятиями, не рельсы для движения мысли; между ней и действительностью не надо наводить мостов. Витгенштейновская логика оставляет естественный язык в полной силе, никакой нормой в него не внедряется, не связывает его ничем кроме предельного внимания. Эта логика не нормирует язык и не предлагает ему схем. Понятие естественного в выражениях *естественные науки* и *естественный язык* перевер-

1 См. выше с. 33 письма Расселу из Норвегии, а также «Шифрованные военные дневники» и примечания к ним ниже с. 526.

тывается. Науки присвоили себе чужое слово. Заслуживает пристально-го внимания *частичное* исключение ими естественного языка¹.

Принято считать, что есть мыслитель Витгенштейн, среди прочего написавший «Логико-философский трактат», сначала заготовками в довоенных и военных дневниках, потом сократив и отредактировав их для издания. Распространена периодизация «Витгенштейн Трактата», потом «поздний Витгенштейн», в промежутке возможно «средний». *Divide et impera*. Изучаемый удобно распределяется по вееру идей, отвечающих этапам его философского развития; определенные установки были ведущими вначале, после пересмотра пришли другие. Как бы пристани, которых он в своем странствии (тем более что он называл свою философию странствием) достигал. Получим набор воззрений. Разве на философском факультете занимаются не анализом философских идей?

Будем думать и говорить иначе. Не Трактаат принадлежит В., а В. создан им. Случилась молния, которая высветила из тьмы и В., который иначе остался бы одним из австрийцев, артиллерийских офицеров, попавших в итальянский плен. Молния высветила и всё вокруг Витгенштейна, его семью, его окружение, саму Австрию и нас здесь, говорящих о до сих пор не понятом событии.

Случилась молния, высветившая тьму. Разве жизнь тьма? Всё ясно видно, особенно при ярком свете. — Надежнее представить однако, что Солнца и значит Луны тоже нет, нет и звезд, и мы в абсолютном мраке, высвечиваемые редко и странно молнией. Не так что «родился в Вене Витгенштейн», а молния, блеснув, озарила это рождение и Вену попутно. Молнии не бывает из ясного неба. Над всей Европой и особенно над Австро-Венгрией стояли густые тучи конца, сливаясь с бурей в соседней империи и крушением другого большого государства, говорящего на том же языке.

Считать ли тогда, что буквы Трактата, его параграфы и есть молния? Нет, текст Трактата не только не молния, он даже и не гром, а лишь сильная его запись. В пронумерованные параграфы, на которые разграфлен или разорван Трактаат, вписано что-то от ритма раскатов, от их настойчивой неотвратимости. Но не больше. Где сама молния? в дневниках В., в Прототрактаате? Нет, и там тоже лишь спешная запись отголосков. Или в каком-то неведомом событии его жизни? может быть в

¹ Ср. ниже с. 480 о неспособности квантовой физики обойтись без традиционно-го языка.

других, тайных дневниках, которые по распоряжению В. (к счастью не все) сожжены? Или надо искать не в бумагах, а в жизни? но тогда по каким свидетельствам?

Мы сбились с пути, идем по ложной дороге. Ровная нам и не могла быть обеспечена. Назвав молнию, надо было ожидать проблем. Где искать ее, тем более *как* теперь увидеть, когда дело было сто лет назад? Везде слышим только далекие отголоски. Поиски еще каких-то неопубликованных материалов, как мечты об утаенных сочинениях Платона и Аристотеля, лишь признак нашей растерянности; не лишний, но и только.

Признак нашего опоздания. Что-то произошло, и мы оказались на сцене слишком поздно. В таком ощущении обманчиво не оно само, а паническое желание принять задним числом меры и приложить усилия, чтобы оказаться на высоте. Здесь ошибка. Самые смелые журналисты, едущие в пекло событий, никогда не оказываются и не окажутся в эпицентре событий, хотя так иногда говорят. Мы, смертные, опоздали по природе, так что лучше не поддаваться обману и не спешить от нашего центра тяжести. Надо заботиться только о том, чтобы не проспать в активистском сне нашего неизбежного упущения. Кто-нибудь скажет с неиссякаемым оптимизмом: не беда, никогда не поздно. Я отвечу по Ницше: для слабодушных и славян нет горя.

«Мы опоздали» не в уничижительном и в критическом смысле, а в смысле дефиниции. Мы поздние. Что первое в бытии, то последнее для нас (Аристотель). Люди не боги. Мы всегда очнулись после молнии, хайдеггеровского Ereignis, где спрессованы смыслы события, озарения, своего, собственного, настоящего. Хайдеггеровская школа во Франции переводит: *éclair*, вспышка, молния. Молния всегда застанет нас врасплох. Мы опоздали к событию совсем, радикально. Кто-то думает: я все-таки при Боге и вырвусь из толпы смертных. Так думая, он прочнее утверждает себя в своем запоздалом статусе.

Тогда и Витгенштейн опоздал? пришел поздно к молнии, которой сам же был? тогда напрасно не только в его дневниках, напечатанных или сожженных, открытых или секретных, но и в его жизни искать то, к чему он опоздал? Да, именно так. Трактат, его текст, его написание не молния, а растянутое на 74 страницы (68 в последнем русском переводе, 66 в переводе 1958 года) время опоздания — но именно не упущенного, замеченного. В. отличается от нас тем, что не дал своему опозданию пройти мимо себя, оказался способен его уловить.

Трактат говорит о том, о чем мы всегда всего меньше думаем, — что событие уже сбылось. Трактат не учебник философии; он урок нам, как вести себя опоздавшим; школа достойного поведения поздно рожденным. Стало быть, «Логико-философский трактат» этика? Автор так его называет.

«Мир есть все то, что имеет место» (пер. 1958). «Мир есть все, что происходит» (пер. 1994). Начальные слова Трактата, особенно во втором переводе, звучат не как этика в смысле учения о поведении, скорее как попустительство: все, что происходит, охвачено понятием мира. Мир, наверное, надо принять; стало быть и то, что происходит, надо тоже принять. Если слова Трактата не вседозволенность и всепринятие, то техническая дефиниция? будем называть миром то и все то, что бывает?

Начало Трактата однако не разрешение быть всему и не дефиниция, а постулат философской этики. В ключе философского императива, который всегда требует подчиниться необходимости, первая фраза сообщает о том, что есть, вводя то, что должно быть. Она призыв в пространство решения для ума, ищущего выход из неопределенности и неопределимости. «Мир есть все то, что имеет место» звучит приглашением из болота на сушу. В самом деле, что «имеет место»? То, о чем можно определенно сказать: да, именно так; имеет место это, не другое. Часто ли мы умеем сказать с уверенностью: да, это так? Строго говоря никогда. У Витгенштейна много упражнений на неуловимость вещей. Посмотрим на фигуру, условно назвав ее ромбом.



Перед нами пол, мы сейчас на него вступим. Нет, присмотримся: это потолок, он нависает над нами. Это сломанная рамка. Это вертикально стоящий ромб. Нет, он наклонен немного вперед. Нет, он слегка заваливается назад. Что из всего этого имеет место? Не спешите сказать, что реально имеет место только геометрическая фигура на двухмерной поверхности доски. Я предложу еще более бесспорный реализм: имеет место просто мазня мелом по шероховатой поверхности, создающая трехмерное пространство выпуклостями нанесенного мела, а геометрическая фигура примыслена из загруженной образованием головы учившегося в школе человека, который сырой реальности уже не видит. Вы сами туда спроецировали ромб. Не то что лисица, но неандерталец, ко-

который не учился в школе геометрии, не увидит тут ромба. Собака подойдет и понюхает мел.

Дальше хуже. Допустим, это я нарисовал фигуру; я, стоящий тут в десятом часу утра перед вами, за нее отвечаю. Кто такой я? Хорошо, если кому-то это известно. Я не знаю и уже теперь в моем возрасте непохоже что когда-то узнаю. При всем том если вы скажете, что я морочу вам голову, я уверенно возражу, что нет, и буду прав, хотя вы, пожалуй, не будете знать, в чем я прав. Взяв всю ситуацию, вас сидящих слушающих, меня говорящего, рисующего на доске, — что во всем этом «имеет место»? Всё названное? А химия нашей физиологии, а перемещения элементарных частиц внутри и вне нашего тела, а смена нашего настроения? Что собственно имеет место, сказать трудно; вот по-честному самый правдоподобный, статистически кстати самый частый ответ. Мы не очень понимаем, что именно происходит, что имеет место в жизни и во вселенной, куда всё движется и к чему. Определенность «именно вот это и не другое имеет место» надо искать днем с огнем, как киник Диоген с фонарем на рынке искал меру всех вещей. Светило яркое южное солнце, но Диоген философ вел себя так, словно не только солнца нет, но и луны и звезд тоже, и ходил среди бела дня с зажженным огнем.

Первой фразой Трактата Витгенштейн приглашает в блестящий отчетливый простор, которого нет. «Мир есть всё, что имеет место» — этическое требование, императив, призыв в логическое пространство, в круг законченной определенности, которого мы нигде не видим. Только это пространство достойно названия мира, всё остальное пока еще только неопределенность, путаница, завязывание несчетных узлов, которые рано или поздно придется распутывать. Отчетливый мир мерещится, снится, манит. Даже и такой он всему издалека придает смысл. Без загадочной определенности несуществующего мира не было бы речи, счета, общения, договора.

В первой фразе Трактата В. вызывающе не видит в упор, не хочет признать ту статистическую реальность, насколько мало что для нас бесспорно имеет место. Сомнамбула, ничего не видя широко открытыми глазами, уверенно идет там, где всё скользко и двусмысленно, так, словно вокруг размечены ясные пути, развернут блестящий мир определенных ситуаций. В его открытые глаза входим и мы, какие есть, неопределенные, в его слух входят наши речи, но он спасен от нашей расплывчатости в ярком мире вещего сна. Так у Толстого праведный старец с большим уже духовным опытом не глух и не слеп и слышит и понима-

ет, что говорит о нем по-французски дающая ему милостыню дама его бывшего круга, но никогда уже не откликнется на ее ргоров, смиренно примет хлеб и продолжит путь в отчетливой определенности своего поступка, оставив проезжую даму в ее расписании, где ее сны не признают яви, ее явь не хочет помнить своих снов, и где она никогда не узнает, что старец нищий лучше ее понимает круг ее идей и ее французский язык. Как странник странно неприступен в своем отчетливом мире, отделен от всего прозрачной ясностью, так В. не выйдет из своего говорящего молчания, не объяснит себя, хотя заранее слышит наши недоумения и просьбы объяснить, почему он такой.

От смерти отсутствие странника, его неучастие в дискурсе франкофонной дамы и глухое молчание Витгенштейна чем отличаются? Можем смело говорить: в том важном смысле, что никогда уже не будет положено между этой болтовней и тем молчанием мостов (можете вспомнить, что мы говорили о мостах 11 минут назад), от смерти их молчание не отличается. Витгенштейн как мертвый перед нами. Смерть здесь выступает, так сказать, собственным лицом, не в физиологических последствиях, а в своей отдельности, абсолютной границе. Мы ввели отдельность (странность) как термин.

Как отдельность относится к этике? не так ли, что долг философии не выселяться из странности, оставаться в ее пространстве, т. е. на границе? Философия есть школа хранения границы, сбережения предела. Вспомним слова Хайдеггера об этике как соблюдении места, где мы, человеческие существа, находимся в самом близком для нас, у себя дома. Домой трудно вернуться. Тут новый поворот странствий Витгенштейна: они предполагают дом и нужны для возвращения туда.

Самое близкое есть свое в противоположность чужому, собственное в противовес несобственному, доброе против злого, родное против жуткого, полнота и пустота, богатство и нищета. Мы движемся между двумя полюсами, которые созданы тем, к чему мы тянемся, потому что сама сила тяги показывает другое ненужным. Тягой прочерчивается граница, определенность, просвет, выводящий из скользкой двусмысленности к определенности «имения места». Когда появится свет, смогут начаться разные ступени ошибки и забывчивости. Срыв здесь печальная неизбежность. Границу можно определить как обрыв; если мы можем сорваться, значит мы там, где нас требует долг.

Этика В. начинается приглашением к строгой отчетности. Выпишем по-немецки фразу, процитированную выше в двух опубликованных

русских переводах: 1 Die Welt ist alles, was der Fall ist. Это предложение (задание, диктовка) мира. Отсутствующее пространство мира вводится уверенным, как в ясном сне с открытыми глазами, требовании определиться на да-нет. Отчетливый мир — праздник, упразднение грязи «реальности» (все течет, все изменяется), которая заставляет человека снова и снова пускаться в египетский труд отыскания невозможной точки. Здесь точка вводится до отыскания, дарится раньше вещей. По отношению к просвету мира все оказывается вторичным; он сцена, на которой развернется игра. До точки не дойдешь, если не введешь ее сам, взяв на себя ответ за нее. Витгенштейн дарит в своей первой фразе мир, ставя точку раньше говорения.

Он его дарит по своей доброте, наивно, чтобы доставить приятность, как сказано в предисловии к Трактату? Пусть даже так. Хуже была бы другая наивность, когда еще не знают, чего хотят. Витгенштейн диктует «Die Welt ist alles, was der Fall ist» уже из знания, что *что* именно имеет место, для человека самое трудное выяснение. Мир является в свете состоявшейся определенности: да, это так; нет, это не так. *Факт*, слово Бертрана Рассела, Гуссерля, Макса Шелера, Хайдеггера, Витгенштейна было подобрано ими на улице, где звучало тоской по утраченной ясности. Массой правит иллюзия, что имеет место то и это, но работают темные силы, которые придерживают истину. Воображение скрытых тайн показывает силу рассудка, не готового поверить, что мир устроен не по нему. Рассудок предпочтет несчастье в самодельной тюрьме, но не согласится, что даже решает, хорошо ему или плохо, не он. Прав он или неправ, решает не он. Сам человек узнать, спит он или не спит, не может. Как, если вы спите, установить этот факт? Если не спите, как догадаться, что происходит во сне?

Сделаем замечание о нашем методе. Цель чтения Трактата не подобрать из нашего интеллектуального репертуара что-нибудь подходящее к встречаемому в тексте. Изучение часто движется по схеме «это туда, а то сюда», перетасовывая предметы в сфере интерпретации, которая в свою очередь занимает область в хозяйстве философии, как это последнее — уголок в нашей жизни, частице судьбы страны или мира, где мы теряемся. Всякое чтение есть узнавание, но наше будет узнаванием не уже известного в неизвестном, а *того самого*; встречей с тем, что нас давно задело и стоит с тех пор вопросом.

Раз случившееся событие не отменить. Философия получает смысл в открывшемся просвете. На нескольких поколениях испытано, что Вит-

генштейн дарит, много и по-разному. Вчитаемся глубже в ту же первую фразу трактата. Der Fall означает буквально падение, например выпадение игрального куба одной из его сторон. Мир в этом смысле такой, каким ему случилось быть. Он кроме того есть всё то, что выпало. Представим собрание игроков в кружок, бросание кости, нетерпеливое ожидание в знании, что выпадет определенное, а именно то, что выпадет, и не другое. Когда такая игра идет на улице, люди большей частью проходят мимо не только из опасения обмана. Скрытно боятся азарта игры. Сам по себе обман уже вторичен; он питается тем, что человек, остановившийся играть в азартную игру, становится непривычен себе. Его можно водить, кидать не раньше его изменения и на почве его. Всё сосредоточивается вокруг непредвиденного поведения игровых костей. «Эти, бросаемые сверху, меня сводят с ума», поется о них в 34 гимне X мандалы Ригведы. Слово madayanti имеют этимологию английского mad и латинского madere, делают мокрым, влажным, как в сексе, в течке, пьянят, горячат; другое значение этого древнеиндийского слова — достичь дьявольского совершенства, полного мастерства, безумного умения. Кость летит «сверху» и упадет никто не знает как. Почему не всё равно как? откуда волнение, захваченность, биение сердца? Прошедшему мимо азартной игры не нужно завидовать. Он не искушен, до него головокружение азарта еще не дошло, он его упустил, остался вне, еще не рисковал. Витгенштейновское обещание в кратком предисловии, «книга доставит удовольствие», приглашает к игре.

Не имеет значения, из чего сделана игральная кость. Она богатая, красивая или кое-какая, но для сути игры, ее захватывающего риска разницы нет. Игра и ее опьянение одно, материал кости другое. Второе предложение трактата: мир есть совокупность фактов, не вещей. Вещество, каким обставляется игра мира (ludus globi Николая Кузанского), не существенно. Мир мог быть обставлен иначе, другим веществом; для каждого человека он вещественно разный, начиная с несходства натуры, но фактура тела или нравственность игрока не важны для игры. Разве уменьшится азарт, если я буду играть с добрым человеком? будет ли он бросать кость так, чтобы ему выпадала единица, а мне шестерка? Из рук доброго и злого кость выпадет одинаково непредсказуемо. Хороший человек, если уж он играет и склонил меня играть, не сорвет игру обманом, продлит азарт.

Кто устроил азартную игру? мы, люди, ради остроты впечатлений вводим четкость игровой кости в хаос, в неопределенную текучку ве-

щей? Нет, миру выпало быть таким. Фраза Эйнштейна «Бог не играет в кости» была сказана в его споре с квантовой теорией, с Нильсом Бором лично; Эйнштейн ошибался, в его словах звучало тайное удивление. Прав Гераклит; эон дитя играющее, бросающее кости. Когда Гераклит, приглашенный решать государственные дела, играл с детьми в кости у храма Артемиды Эфесской, он дал знать взрослым, какое дело важнее. Готовы ли мы сказать, что первая фраза витгенштейновского Трактата открывает гераклитовский пейзаж? Да, без всякой памяти о Гераклите. Выпадение той или другой кости указывает на квантованность вещества фактом. Всё устроено на да-нет, или-или, бытие-небытие. Добавим: добро-зло, спасение-гибель. Играя в азартную игру, мы угадываем в устройство мира и в управление его автоматом. Автоматом софии управляют по способу управления выпадением такого-то бока игровой кости. Попробуйте справиться с этой задачей.

Играя и вводя мир игры, игру мира, В. не вносит от себя лишнюю интригу в бытие, а только угадывает, с какой четкостью устроено оно само: на да и нет. Если оно и хаос, то в смысле зияния неисправимой неопределенности в момент падения кости сверху вниз. Расстояние и время падения можно считать бесконечными или никакими по безусловной разнице между определенностью того, как я держу кость перед броском, и непредсказуемостью того, как она упадет.

2 ЦЕЛОЕ

Выпадение кости происходит по способу вспышки (Aufleuchten) аспекта, см. выше перескок ромба из лежащего под нами в висящий над нами. За какое время происходит смена аспекта? в каком пространстве? Время, за которое происходит смена аспекта или выпадение числа игровой кости, мы сказали, не входит в счет. Платон говорит в отношении таких переходов *οὐδρὺς* и *οὐφαιρῶς*, ἐξαίφνης.

Die Welt ist alles, was der Fall ist, «Мир есть всё, что выпало». Подите наклонитесь, посмотрите, что выпало. Тем временем вам выпало наклониться так, как у вас получилось. Выпадающее выпадает мгновенно, сейчас. «Меня пьянят брошенные сверху.» За время и в пространстве падения кость непредсказуемо повертывается. Никакой интуицией или вычислительной техникой предугадать результат невозможно. Или все-таки?

Достоверно и априори мы знаем массу вещей: падение будет; в случае

игральной кости выпадет одно из шести возможных; возможное дает о себе знать с необходимостью, т. е. необходимость и возможность рас-слаиваются на абсолютную необходимость всего-лишь-возможности выпадения определенного числа. Числа от 1 до 6 только нарисованы; все стороны кубика материально одинаковы. Игра идет по-своему независимо от вещества, его времени и пространства. «Для меня ясность, понятность самоцель», повторял Витгенштейн. Всё в Трактате разворачивается из разницы между фактом и вещью.

Сколько бы времени ни падала кость, то, что выпадет, окажется вдруг. Между броском и падением или нет времени, или безразлично сколько времени, потому что его заслоняет переход из одного измерения в другое. Головокружительное проваливание из времени втягивает как в пропасть в азарт игры. Она пьянит усыпляя? или здесь падение такого рода, от какого мы во сне вздрагиваем и просыпаемся? Филон Александрийский говорит о священном отрезвляющем опьянении. Ужас падения по-настоящему испытывается во сне; падая наяву, мы не узнаем себя в падающем, имеем посторонние мысли. От невыносимости ночного ужаса мы просыпаемся. «Жизнь невыносима, забудусь сном» — так говорят, когда еще не дошло до дела, когда не невыносимо, а просто скучно; человек еще не знает, что по-настоящему невыносим и заставит проснуться *настоящий* сон. Витгенштейн: наша жизнь как сон; в наши лучшие часы мы достаточно просыпаемся, чтобы понять что мы спим, но большую часть времени проводим в крепком сне¹.

Мы просыпаемся в высоком азарте, в полете игральной кости, чтобы заметить на краткий миг, что спим. Опять гераклитовские темы? или Гераклит своей ранней мыслью наперед обозначил темы философии? Не так, что мы с угрызениями совести просыпаемся иногда: ах как долго мы спали, сколько мы упустили, теперь слава Богу явь. Нам так много не подарено; наша так называемая явь может оказаться еще более глубоким сном, повторяет в «Теоретической философии» Владимир Соловьев мысль Декарта. Мы знаем только внезапное схождение сна и яви на их границе, неуловимый перепад между невыносимым сном и явью, которая вся сводится к прощанию с ускользающей настоящестью вневременного падения. Нам не дано умение отличать сон от яви, мы способны только думать о том, как трудно и важно провести границу между ними.

1 См. Приложение с. 565.

Осмотримся шире в пейзаже, где мы оказались. Можно вспомнить о боге Казусе и богине Окказии. В отличие от Фортуны, которая играет человеком все же наказывая и уча, Казус правит событиями, которые происходят без какого-либо участия человека, *sine ulla hominum ore eveniunt*. Внезапно выпадает констелляция атомов, мгновенно образующих такую или другую структуру, вплоть до невероятной: «Что же это за редкостный случай (*casus*)? откуда такое счастливое сочетание атомов, что вдруг родятся люди божественного облика?»¹ Здесь *casus*, как и вообще часто, означает редкостный момент, по-гречески *καίρoς*, *порá*. *Casus* и *occasio* (от *ob-cadere*, выпадать) служило переводом *καίρoς*: выпадением случая открывается пора или (то же слово) *πόρα*, проход. Выпадает вдруг небывалая констелляция, которую надо ловить. Мир как выпавшее — весь пора, проход, внезапно открывшийся доступ. К чему? Он сам все откроет. Мир дает шанс, который надо схватить. Как советует Федр (V 8), римский баснописец родом из Фракии, вольноотпущенник Августа, если уловишь богиню Окказию в ее быстром полете, держи крепче; однажды ускользнувшую, снова вернуть ее не может и Юпитер, она само Время.

Quem si occuparis, teneas, elapsum semel
Non ipse possit Iuppiter reprehendere;
Occasionem rerum significat brevem.

Древние имели вкус к этой отчетливой быстроте. «Если когда само время или вещи или место [...] даст нам случай (*occasionem*) сказать что-то уместное впору, не будем упускать»²; когда тебе даются случай и пора (*occasio tempusque*), действуй.³ Догадывались и о невозможности в конечном счете успеть. Ведийский игрок в погоне за быстрыми костями теряет супругу, достаток, положение в обществе. Как у богини Окказии острые ножи, так «эти кости колются, впиваются, Сжигают, истомляют, изменяют; Как дети дарят, снова губят взявшего, Что медом, кровью игрока налитые... Небесные то раскатились угли; Холодные, они сжигают сердце» (Ригведа X 34).

Витгенштейновское *was der Fall ist* надо искать в пейзаже внезапно

1 «Quis iste tantus casus? unde tam felix concursus atomorum, ut repente homines deorum forma nascerentur?» (*Cicero*, *De natura deorum* 32, 90).

2 «Si quando tempus ipsum aut res aut locus [...] dederit occasionem nobis aliquam ut dicamus aliquid ad tempus apte, ne derelinquamus» (*Cicero*, *De partitione oratoria* 30).

3 *Plautus*, *Menaechmi* 552–553; *Pseudolus* 958.

открытого шанса. Быстрым должен быть и наш ответ на него. Заметим, как легко пойти со свежими силами путем, прямо противоположным тому, каким ведет Витгенштейн. «Философия развязывает узлы в нашей мысли»; мы полны энергии завязывать их снова. Вторую фразу Тракта, *Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge*, «Мир есть совокупность фактов, не вещей», мы готовы читать как приглашение ввести различие между фактами и вещами. Философы часто пользуются дихотомией; почему не быть ей здесь. Вот как, по мнению Витгенштейна, различаются факты и вещи... их различие сводится к следующему...

Это ложный путь. Откажемся от различения фактов и вещей, какой бы естественной ни казалась эта пара. Факт и вещь не составляют пары; вещь не наблюдается, не может быть ни рассмотрена, ни исследована вне факта. Выпавшая кость, например шестерка, и кость кубик из твердого вещества одно и то же. Никто, глядя на катящийся и останавливающийся кубик, не думает о том, что одно дело безразличный материал, другое нанесенные точки. Это простое ощущение имеет все права. Выпавшее число и вещь, на которой оно стоит, принимаются за одно и то же. Только в одном случае разница между ними станет важна: когда игральная кость подделана, т. е. в кубик несимметрично, ближе к стороне, противоположной шестерке, вложен свинец, так что владельцу такого кубика всегда везет, шестерка выпадает у него несоразмерно часто. С такой костью он всегда выигрывает.

И вот оказывается очень важно не принимать во внимание этот случай. Дело в том, что с таким кубиком игры не получится, не будет тогда соответственно и мира. Порядок вещества проник в порядок случая, между тем и другим оказался мост. *Der Fall*, выпадение того *или* иного, этим исключается. Где нет мира, там, если продумать до конца, нет ничего. Декарт прав, не веря в вероятность такого обмана. Мир есть чистый шанс. Вмешательство в игру отменит ее. Порядок фактов и порядок вещей асимметричны: факт есть то, что «имеет место»; вещь без факта *не имеет места*. Факт предполагает собою мир; вещь нуждается в мире, чтобы быть.

Веры в случай, по сути веры в свободу, у нас мало, и всего меньше там, где она вроде бы должна начинаться, в доверии к Богу. Наш новый бог закон и причинность (Витгенштейн). Что нам оставлен *шанс*, кажется почти еретической мыслью, а она единственно правильное богословие. Бог не присматривает за случаем, он сама возможность. Что кубик выпадает той или другой стороной без причин, обеспечено геометрией.

Независимость кости от вещества та же, что независимость математики от материи. Перепад из вещественного в математическое пространство создает на своей границе, своей границей или собой как границей мир. Цифру 9 можно писать чернилами, углем, палкой на песке; если я напишу ее жирным фломастером, она не изменится ни в 9,5 ни в 9,01. Тезис, что мир собрание фактов, а не вещей, не вводит дополнительное различие, а именно различие между фактами и вещами не требует завязать еще один узелок в памяти, а наоборот развязывает, разрешает сложное. Это предложение мира как свободы от вещества и нелишнее напоминание, что он не подстроен. Его вещество расступается перед геометрией.

Наше чтение Трактата может показаться длинным по сравнению с короткой строчкой у В., но оно должно быть таким. «Философия развязывает узлы в нашей мысли, которые мы бессмысленным образом туда вплели; для этого она должна однако делать движения такой же сложности как те узлы. Так что хотя *результат* философии прост, метод его достижения не может быть у нее простым. Сложность философии не в ее существе, а в нашем узловатом рассудке.»¹ Развяжите узлы, которыми наши представления привязаны к вещам, потому что все равно мостов между теми и другими нет. Неверно, что слова и понятия рычаги для манипулирования вещами. Объяснить ничего нельзя, можно только показать, не навешиванием слов, а игрой, мимикой, музыкой, жестом. В отношении жеста вопрос «что он значит» некорректен; жест потому и появился, что «что значит?» не сработало. Между показом в этом смысле и поштучной инвентаризацией нет ничего общего; конечно, они могут переплетаться, но для этого они сначала должны быть разные. Моток пакли не сплеть в косу, надо сначала распустить. Строго различая рассказ и показ, мы, возможно, готовим их сплетение.

Прикосновение к действительности возможно только через примеривание к ней. Трактат 2.13: Den Gegenständen entsprechen im Bilde die Elemente des Bildes, «Предметам соответствуют в изображении элементы изображения». На нашем чертеже под линией предметы, над линией их рисунок; элементы рисунка, обозначенные строчными литерами, соответствуют предметам, прописным буквам².

1 Л. Витгенштейн, Филос. заметки I 2 (WA 2, 52).

2 Ср. выше с. 101 похожая схема с тем же запретом одно-однозначных соответствий между знаком и вещью у Ф. де Соссюра.

a	b	c	d
A	B	C	D

На этой знакомой из популярного языкознания схеме у В., часто ставящего такие подножки, *a* не относится прямо к А. Элементы картины соотносятся только между собой, *zu einander verhalten*, и только тем, как они это делают, они передают то, что творится под ними за чертой. Есть соблазн прямо подтащить *a* к А, или особо хитро к В, или совсем витиевато к С. В Трактате нет ни одной привязки знаков напрямую к вещам.

Прямая привязка запрещена образом действий мира. Он сначала обращен к нам не этой вот вещью, которая прикасается ко мне, подвергается под руки и кажется близкой, а целым. Только кажется, что всего ближе к нам ближайшие вещи, как наше тело; ничто так не далеко от нас как оно. Третья фраза Трактата (1.11): *Die Welt ist durch die Tatsachen bestimmt und dadurch, daß es alle Tatsachen sind*, «Мир определен (характеризуется) фактами [другое название для того, что выпало] и тем, что это *все* факты». Все факты вроде бы знать нельзя? Но и никто не сказал что можно знать весь мир; хотя он ближе близкого, части его дальше чем он сам. Он открыт, понятен, доступен как-то сразу весь. Тем, что *весь*, он вызывает на его измерение предложением. Мир присутствует весь в нашем раннем умении разыграть его, нарисовать жестом, речью. Фраза Витгенштейна, как человек Протагора, мера *всех* вещей.

Четвертое предложение Трактата (1.12): *Denn, die Gesamtheit der Tatsachen bestimmt, was der Fall ist und auch, was alles nicht der Fall ist*, «Ибо совокупностью всех фактов определяется как то, что имеет место, так и всё, что не имеет места». Целое мира успевает иметь место раньше чем любой факт; оно дает форму факту и нашей речи о нем. Почему случилось так и не по-другому, определяет не вещество. 1.1: *Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge*, «Мир совокупность фактов, не вещей». Этот тезис надо брать в связи с 1.21: *Eines kann der Fall sein oder nicht der Fall sein und alles übrige gleich bleiben*, «Что-то может иметь место или не иметь места, а всё другое оставаться тем же». Решающее может случиться, не затронув ничего в вещах; вместо шестерки выпадает единица без того чтобы бросок, фактура кубика, моя рука изменились, как и наоборот. Это седьмое положение Трактата повторяет то, что уже сказано или о чем мы догадались, но самый повтор наводит на мысль: разница между веществом, из которого устроен кубик, и случающимся числом такая резкая, мосты между ними настолько невозможны, что не

состоят ли эти два ряда в отношении дополнительности, не разные ли они аспекты одного и того же, не совпадают ли они в конечном счете? Ряд фактов, имеющих место, и ряд вещей, веществ, настолько не имеют между собой ничего общего, что оказываются одним и тем же? В самом деле, прежде чем на веществе будут нанесены пометы, его явление, контрастирующее с неявлением, было уже знаком. Факт, что вещество есть, имеет место. Его существование попадает в отчетливую оппозицию к несуществованию; до всякой разметки веществу случилось быть. Современный физик-теоретик говорит: дайте только бытие, из одной его данности математика развернет свои структуры, и все они странным образом найдут себе отзвук в действительности; от вещества ничего кроме существования не требуется. Всё, без различения фактов и вещей, имеет место; любое нечто в своем отличии от ничто уже вошло в логическое пространство.

В различении, на первый взгляд таком внятном, вещей и фактов Витгенштейн чего-то не досмотрел? Определенность вводимой границы надо сохранить. Но она проходит не между фактом и вещью, а менее заметно. Любая вещь в вещественности своего существования уже факт и тем самым имеет место. Она же и соотношение вещей, *Sachverhalt*, например в своем отношении к самой себе. От витгенштейновского тезиса остается чистая форма, воля к отторжению того, в чем нет отчетливого *да* и *нет*. В. и предупреждал в предисловии к Трактату, что уверен только в надежности своих прозрений, не в способе их выражения.

Невидимую, недоступную совокупность фактов, *Gesamtheit der Tatsachen*, философ берет под свою ответственность; так он получает опору под ногами и дарит ее нам. Целое будет осуществляться в пробном примеривании к нему, через измерение его мерой — какой? Какой получится. Кто измеряет? Измеряющий, который сам же мир и есть так, что вне его примеривания никакого мира нет. Он обеспечивает собой полноту и целость мира; в данном случае это пишущий о нем Трактат. Круг замыкается. Трактат говорит о мире; о нем известно то и только то, что открылось пишущему.

Афоризм 1.2: *Die Welt zerfällt in Tatsachen*, «Мир распадается на факты». По сути здесь снова повтор того, что сказано строкой выше о совокупности всего, что выпало и что не выпало. Мир распадается на факты в том же смысле, в каком ему выпало быть; выпавший, он одновременно распавшийся. Не так, что был целый и распался, а так, что распающийся он только и известен с самого начала и только в этом распаде

открывается его целое. Или сказать чуть по-другому: факты, имеющие место, это мир как выпавший; а бывает или был не выпавший? нет; поскольку он есть, он уже выпал и стало быть факт. И еще по-другому: целостность мира обеспечена его распадом; если распадается, значит *только что, вот-вот* был целый. В распаде мир осуществляется как целый; он поэтому никогда не перестает быть; видимый уже только в распаде, он открывает этим свою дораспадную целостность.

Мир есть всё выпавшее, имеющее место; он же всё не выпавшее, не имеющее места (1.12). Одинаково факт то и другое. Не будь вещей, мир имел бы место, т. е. всё же выпал бы таким, без вещей; просто выпало бы так, что ничего не выпало. Отсюда смысл 1.21: что-то может иметь или не иметь место независимо от всего остального. Нетрудно привести простой пример. Эта игральная кость, мир, выпавший нам, тот же самый, что вам. Вглядитесь внимательно: он зло, черный, тюрьма; не правда ли, это очевидно. Посмотрите иначе: он сияющий подарок, нам выпало жить в лучшем из миров. Кто-то скажет: один видит так, другой иначе. Но я спрошу: как *на самом деле*? прав Гамлет или Лейбниц? Не уходите от ответа наяву, так или иначе решение за вас будет вами принято во сне. Вся наша «практика», с нею наша судьба в первую очередь, в конечном счете и исключительно зависит от того, видим ли мы себя в светлом или темном мире. Если в темном, то не можем увидеть его другим; и наоборот. Кроме перепада из мрака в свет «в остальном» ничего не меняется. Темный мир тот же самый, но не видимый для светлого. К разнице между мирами, скажем забегая вперед, сводится вся этика.

Две дефиниции, 1: «Мир есть все что выпало» и 1.13: «Факты в логическом пространстве суть мир», можно приравнять как две формулы с одинаковым истинностным значением. Сократив повторяющееся в них, получаем равенство «то, что выпало, это факты в логическом пространстве». Логическое пространство размечено на да-нет. Контрольный вопрос: есть ли пространство кроме логического? При беглом чтении можно было бы подумать о пространстве вещей. Его, как мы видели, не существует. Граница проходит не между веществом и фактом. Вещь — тоже выпавшее; она и ее факт одно. С самого начала пространство едино; оно логическое, взвешенное на истину и ложь. Витгенштейновская логика, охватывая онтологию и этику, напоминает, что невозможны фраза, молчание, поступок, бездействие, существование без *да-нет, имеет место-не имеет места*. Кто действует нелогично, тоже обусловлен логикой; привативное обусловление даже обязательнее

чем позитивное. Дела нелогичных не начинают подчиняться другому закону.

Трактат состоит из 7 разделов; короче 1-го, состоящего из 7 фраз, только 7-й, он из одной фразы. 1-й мы прочли. Первый тезис второго раздела: *Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten*, «Что имеет место, факт, есть существование положений вещей». Тезис состоит из одного относительного местоимения, двух случаев связки *ist* и четырех именных групп, каждая из которых непереводима. Мы в самых недрах немецкого языка. Синтаксис тоже непереводим в своей двусмысленности: «что имеет место» есть «существование положений вещей» или наоборот. До сих пор все тезисы содержались один в другом. Так будет и продолжаться. Непереводимостью тезиса 2 подчеркнута его тавтологичность. Смысл витгенштейновских тавтологий: втягивание мысли туда, где все уже и так есть; она растворяется в неуловимой простоте.

Тема, вводимая афоризмом 2, — сцепленность фактов с положениями вещей — уже обозначилась в замечании 1.2 о распадении мира на факты. Когда мир выпал так, как ему случилось быть, его положение предполагает структуру? порядок? гештальт? Эти слова говорят на уровне универсальных схем вне витгенштейновского элементарного косноязычия. О структуре он здесь не упоминает, а пишет другие слова, которые относятся к *жестам* немецкого языка. Непереводимость слов *Tatsache*, *Sachverhalt*, *Sachlage*, *Zusammenhang* связана с тем, что они несут в себе не столько семантику, сколько позу, наподобие разведения рук с приглашением посмотреть, насколько всё вокруг обстоятельно, подробно, тонко и серьезно устроено. В подобных словах и фразах немецкая речь ускользает в осанку, в расположенность человеческого существа к вниманию, основательному обдумыванию; слова-жесты приглашают к раздумчивости, втягивают в глубокую заботливость порядливого народа. Их медлительность приглашает задуматься над сложностью мира. Как не сказать после этого, что немецкий язык философский. О русском, конечно, тоже можно в этом плане много сказать.

Эта вдумчивая стойка далека от опрометчивого набрасывания структуры на мир. Обстоятельная рассудительность не велит даже в холерической спешке витгенштейновских ранних лет ловить мир в сети, завязывает и развязывает его в свободу. В самом деле, существующее не сложилось случайно, не выскочило сейчас из ничего. Жест показывает, что всё во всем содержалось давно. Вещь издавна дана в своих возможностях; развертывается прежде бывшее.

Не обязательно толковать положения вещей, Sachverhalte, в смысле готовых сложившихся фактов. Мы предупреждены (1.12), что факт неимения места тоже имеет место. Что выпало в факт, есть прежде всего и главное возможность. Вспомним о поре и проходе. Мысль прежде всего имеет дело с возможностью; мыслимо значит возможно. В пространстве возможных взаимосвязей расположилось все. Шопенгауэровская открытость вещи в целый мир есть и у Витгенштейна. Вещь немыслима отдельно от связей, она встроена во всеобщую взаимозависимость (Zusammenhang). Всё сцеплено, отмыслить что бы то ни было от всего остального значит уже упустить. Взятая вне своих возможностей, вещь уже не та.

Рассмотрим то, что вписано как бы между прочим внутри скобок в 2.0122: Es ist unmöglich, daß Worte in zwei verschiedene Weisen auftreten, allein und im Satz, «Невозможно, чтобы слова выступали двумя разными способами, отдельно и в предложении». Лингвистике это как будто бы известно: слово надо слышать в тексте, в контексте; словарь опирается на тексты, обобщая узус. Выявляя элементарные смыслы, семантические множители, надеясь дедуцировать из них рабочие значения, лингвистика тоже опирается явно или исподволь на контекст. И все же, беря слово *в контексте*, она берет *слово* в контексте; оно для нее неким образом было всегда единицей. Кажется, что словарное обобщение происходит *post factum*; на деле место для него было готово заранее. Для В. же вовсе нет двух способов существования слова. Значит ли это, что запрещается говорить о слове иначе как в контексте? Нет, отменяется само «в контексте», поскольку альтернативы ему нет. Отменяется и слово как единица и обобщение: нет способов вынести его из контекста; невозможно выделить вещь из того, чего нет. Уважая контекст, лингвистика непоследовательно говорит о единицах речи; при этом предполагается, что некоторое отвлечение от конкретного случая возможно. Лингвисты ссылаются на логику, математику, представляя их метод как абстракцию от «предметных соотношений». Мы узнаем от В., что логика и математика не абстракции из предметов. Формальность логики получается не путем выпаривания содержания из конкретных вещей. Что математика не абстрагирование, знает и всякий кто ею всерьез занимался; она не тень «предметов», а развертывание из самой себя не числа даже, не структур, не форм, а, если можно так сказать, движений неких уловляемых математическими обозначениями и формулами объемов специфического пространства, которое Платон приравнивал в «Тимее» к пространству сна.

Что слово не поддается выделению в особую единицу — не удается найти принцип вне слова, по которому можно было бы выделить слово, — лингвистике известно как проблема. Ее решение однако откладывается всегда на потом из-за неудобств, связанных с отказом от понятия языковой единицы. В результате лингвисты пользуются той или иной схемой слова. Мы не остаемся, отказываясь вместе с В. выделять слово из речи, с пустыми руками. В самом слове критерия для выделения его не надо искать: он уже есть и равен факту существования этого слова. Ни по каким признакам извне самого себя слово не выделимо и не определимо; оно существует и делает свою работу, так сказать, явочным порядком. Проблему выделения слова стало возможно ставить и обсуждать только потому, что есть слово *слово*. Сходным образом дело обстоит со словом *время*. Как удалось бы заметить время, тем более понимать его, не будь проблема заложена и разомкнута в звучащем слове *время*? До того, как начать свои обсуждения, мы были уже вовлечены в непонятное как жизнь образование, речь. Задумываясь о слове, о времени, мы редко умеем сберечь тот уровень, на котором сложились эти слова. Язык часть нашего организма, поэтому когда мы *видим* слова, они уже потеряли часть своей органики. Мы их рассматриваем как предметы, в отношении которых нас редко хватает на уровень выше механического. Даже с собственными телами нам легче иметь дело на уровне схем.

Мы не знаем свое тело, но нам уютно в нем. Мы не можем жить иначе как в среде языка, не умея определить ни одного слова в нем и не зная, что оно такое. Отказ видеть в слове две стороны — слово просто и слово в контексте — не топит его в неопределенности. Утверждается лишь непознаваемость слова средствами схемы; само оно возвращается нетронутым речи.

3 ПРЕДМЕТ

2.0123: Wenn ich den Gegenstand kenne, so kenne ich auch sämtliche Möglichkeiten seines Vorkommens in Sachverhalten, «Если я знаю предмет, то я знаю все возможности его вхождения в положения вещей». То же относится к слову; я знаю его, когда знаю все возможности его применения, бывшего и будущего. Но их знать нельзя? А с другой стороны, не зная я *всех* возможностей его применения, то как бы применял в небывалых контекстах, что часто делаю? Если я начал говорить, то, надо думать, заранее знал всё, что может слово. Ясно, что в этом особенном смысле я

знаю и то, чего не видел. Здесь можно вспомнить элиотовское «How can I tell what I mean until I see what I say»¹.

Определения предмета Витгенштейн не дает. Мы имеем предмет как имеем слово: сначала говорим, потом, если удастся, пронаблюдаем, как это делаем. Предмет вручен нам по способу врученности нам тела. Осторожно определим витгенштейновское «знать»: уметь иметь дело с чем-то. Предмет как слово есть то, с чем я имею дело как со своим телом и что знаю в названном смысле; предмет остается занятием и задачей. Предмет раскрыт в сторону своих возможных включений в положения вещей, которые его окружают как соседство или, по Витгенштейну, его место-пространство (Raum). 2.013: Jedes Ding ist gleichsam in einem Raume möglicher Sachverhalte, «Каждая вещь располагается как бы в пространстве возможных положений дел». Их неперечислимо много, таким образом пространство предмета в принципе бесконечно. Витгенштейн не видит в расширении предмета проблемы; бесконечность возможных ситуаций предмета гарантирует, что он настоящий. Ясно, что эта бесконечность «всеобщих неопределимых» имеет другой смысл, чем у равномерного ньютоновского пространства.

Вспомним тезис 1.12, где то, что выпало, и то, что не выпало, с равным успехом составляло совокупность фактов, Gesamtheit der Tatsachen. Как сейчас Витгенштейна не смущает неуловимость предмета среди бесконечности его возможностей, так там он легко говорил о собранной целости. Как здесь он умеет обращаться с бесконечным предметом, так там под целостью он имел в виду явно не арифметическую сумму обстоятельств. Мы со своей стороны сталкивались в разных ситуациях с тем, что целый мир существует не по способу суммирования составляющих частей. Мир одновременно осложняет проблему бесконечности и открывает шанс обойтись без перебора неисчислимого множества вещей. Вопрос, конечен мир или бесконечен, не имеет смысла до решения о том, как понимать бесконечность. Ее не обязательно понимать как число, превышающее любое названное число. Говорилось об *операции* как осязаемой бесконечности у нас под руками². Другой подход к лицу бесконечности — через тему цвета. Поздний В. вплотную занялся им; цвет занимал его с самого начала. В цвете надо читать и Трактат. *Целую бес-*

1 «Как я могу сказать (распознать) что я имею в виду пока не вижу (не понимаю) что я говорю.»

2 Ср. выше с. 78, а также анализ *следования* в главе «Смена аспекта».

конечность составят не отрезки длины, а оттенки цветов между полюсами цветовой гаммы. Тезис 2.0131 о бесконечности пространства, в котором располагается предмет, продолжается так: *Der Fleck im Gesichtsfeld muß zwar nicht rot sein, aber eine Farbe muß er haben: er hat sozusagen den Farbenraum um sich*, «Пятно в поле зрения не обязательно красное, но какой-то цвет оно иметь должно: его окружает так сказать цветное пространство. Тон должен иметь *какую-то* высоту, предмет осязания *какую-то* твердость и т. д.». Всё попадающее в поле зрения должно иметь цвет, пусть неопределимый, и распространяет цветное пространство вокруг себя. Цвет пятна именно вот этот, но тем самым предполагается, что он окружен другими. Хотя при тонкой настройке оттенков бесконечно много, цвет локализуется очень хорошо, и неразрешимых проблем с уловлением оттенка среди бесконечности других оттенков здесь не будет.

Читая Трактат в цвете, мы понимаем тезис 2.02: *Der Gegenstand ist einfach*, «Предмет прост». Каждый предмет содержит (2.014) возможности всех своих вхождений в положения вещей так же, как каждый оттенок (тональность) предполагает всю гамму. Из философской классики мы знаем, что в области видимого прост, первичен и не подвержен смешению аспектов цвет; определившись, он не покажется увидевшему его глазу другим, при том что цвет никогда не отделен от спектра, который им предполагается настолько, что если бы существовал только один единственный цвет, он не был бы опознан как таковой. Всякий цвет включен в бесконечное пространство оттенков.

Теперь мы можем прочесть афоризм 2.021: *Die Gegenstände bilden die Substanz der Welt. Darum können sie nicht zusammengesetzt sein*, «Предметы образуют субстанцию мира. Поэтому они не могут быть составными». Простое с простым не составит сложного; от смешения цветов возникнет еще цвет, снова в своей конкретности простой, а тех двух уже не будет. Мы узнали из 2.0131 предметы как цвета, тоны, осязания. С ними мы прежде всего и большей частью имеем дело. Как предметы цветные, так и миры; тон их субстанция. Мир вот этого цвета придает всему в себе свой цвет. Среди бесконечного множества оттенков он один из них, но внутри себя он единственный и бесцветный; другого чем *нашего* тона мира мы не знаем и знать не можем; в мире нашего тона (настроения) все другие тоны тонированы нашим; тонов, не окрашенных в наш, нет; другие без расцветченности нашим для нас недоступны. Можно сказать, что тон составляет субстанцию мира без добавления *для нас и нашего*

мира, поскольку другого для нас не существует. Здесь один из поворотов витгенштейновского солипсизма. Поскольку тон не имеет в себе тона и цвет сам в себе не расцвечен, то 2.0232: *Die Gegenstände sind farblos*, «Предметы бесцветны». Внутри тона выйти из него нельзя. Мостов от тона к тону нет, его простота не допускает комбинаций. В розовом мире чернота будет тоже розовой.

Всё это не головокружительно сложно. Подытожим сказанное в форме сопоставления двух витгенштейновских положений. 2.0232: *Die Gegenstände sind farblos*, «Предметы бесцветны»; 2.0251: *Raum, Zeit und Farbe (Färbigkeit) sind Formen der Gegenstände*, «Пространство, время и цвет (цветность) суть формы предметов». Как поступить в этом случае, отмечаемом комментаторами как противоречие? ввести различие между предметом, который бесцветен, и его формой, имеющей цвет? Против такого различия говорит простота предметов, подтвержденная в положении 2.025: *Sie ist Form und Inhalt*, «Она [субстанция, образованная предметами] есть форма и содержание». Цвет (тон) составляет свою форму и свое содержание вместе. Не надо ли тогда ввести совсем тонкое различие между формой-содержанием предмета и предметом помимо формы и содержания, как бы вещь в себе? Нет. Предмет, мы слышали, прост. То, с чем я имею дело, есть прежде цвет (тон) мира. Он одновременно один из бесконечных оттенков и единственный мне открытый, а потому заперший меня в себе и стало быть бесцветный. Я одновременно в цветном и черно-белом; весь состою из цвета (тона, настроения) и внутри своего цвета всё вижу монотонным.

Можно, конечно, читать В. и в том смысле, что время, пространство, цвет суть формы предметов, фиксируемые описанием, что-то вроде их поверхности. Мы имеем право останавливаться на любом уровне чтения, лишь бы не упускать из вида нашего автора, когда он по своему обыкновению внезапно уходит на глубину подобно одному древнему делосскому ныряльщику.

Тема образа вводится в Трактате, подобно всем другим темам, не как еще одна. Она возвращает ко всему, что было предложено до нее, в порядке отчета, итога и осмысления. Всё заявленное о мире, фактах, предметах, были мерки, снимаемые с действительности, или, что то же, прилагаемые к ней. Шло примеривание к ней; слова и фразы были пробой мира, разными названиями того, что каждый из нас имеет в виду (в поле зрения). 2.063: *Die Gesamte Wirklichkeit ist die Welt*, «Совокупная действительность есть мир». Еще одно определение в 2.04: *Die Gesamtheit*

der bestehenden Sachverhalte ist die Welt, «Собранная целостность существующих обстоятельств есть мир». Для Sachverhalt предлагаются три русских перевода. Старое «атомарный факт» (1958) было калькой с atomic fact Рассела. «Положение дел» (1987) было тоже калькой с the state of affairs более позднего улучшенного английского перевода. Последний перевод «со-бытие» (1994) стремится передать, что речь идет не о прочно неизменном, а о том, что возникает при сопоставлении, сочетании, соподчинении предметов. В контексте разбираемого места Трактата Sachverhalt определяется отчетливо и прежде всего через противопоставление предмету. Gegenstand прост, потому что для нашего целого существа он наше дело (Sache), будь он мир, слово, тело или ничто; он определенно окрашен, причем так, что цвет нашей захваченности тем, с чем мы имеем дело, мы не можем выбирать и не замечаем собственной окраски, отсюда бесцветность предметов, всегда цветных, для нас. В отличие от этого Sachverhalt есть конфигурация предметов, их взаимное расположение, пространство, в каком нам выпадает иметь дело с предметом; оно заряжено сменой аспектов и потому может обстоять так и не так.

Не надо думать, что захватившие нас предметы непоколебимы и их простота сделала их неуязвимыми; она всегда может распасться в сложность¹. Хотя изменить захвативший нас предмет с его цветом и тоном мы не в состоянии, через положение вещей он подлежит утверждению и отрицанию; так, ничего не умея изменить в субстанции мира, мы способны весь его с этой субстанцией взять под знаком да и нет. Смена аспектов не касается содержания, однако решающее за ней. *Да и нет*, утверждение и отрицание ничего не изменяет в тоне предмета, не перекрашивают его, не перемещают, но они *представляют* его для примеривания к нему. Предмет не защищен в пространстве положения вещей от вхождения в рисунок фразы. Рисунок по-своему, иначе чем цвет, достигает до действительности (reicht bis zu ihr, 2.1511).

Положение 2.0231, если судить по нумерации, шестого плана важности. Отодвигание с переднего плана в примечания однако служит иногда способом припрятать и сохранить главное. «Либо вещь имеет свойства, каких не имеет ни одна другая, тогда ее безо всяких можно описанием выделить из других и на это указать; либо же есть много вещей, которые все свои свойства имеют общими, тогда вообще невозможно указать ни на одну из них.» Обращаем внимание на характер невозможности во вто-

1 Ср. выше с. 88 о простоте и сложности как аспектах.

ром случае; она этическая. Механически ткнуть пальцем в одну из одинаковых вещей ничто не мешает, но этим выделением мы создадим ее отличие от других, нарушив тем самым одинаковость. Применим тот же частый у Витгенштейна ход к понятию класса (типа): пусть стоит задача взять одну вещь из класса; беря ее как таковую, т. е. в качестве обладательницы одинаковых классовых свойств, мы фактом обращения к ней выводим ее из класса.

То, что в 2.0231 названы полярные, по сути невероятные случаи, миную случай частично-общих свойств большинства вещей, связано с отказом Витгенштейна от классов и типов. Он сделал это рано, см. например письмо Расселу 16.1.1913; оказывается, построить силлогизм типа *все люди смертны, но Сократ человек, следовательно Сократ смертен*, мешает проблема с отнесением вот этого (Сократа) к типу (человек).

Я теперь думаю что Свойства, Отношения (как Любовь), etc., все суть *corulae* (связки). Это значит что я например разлагаю субъект-предикатную пропозицию, скажем, «Сократ есть человек» на «Сократ» и «Нечто есть человек» [...] Причина тут очень фундаментальная: я думаю что не может быть разных Типов вещей!

На пропозицию «Сократ человек» у В. не будет больших возражений, лишь бы помнить, что предлагающий ее на свой страх и риск относит вещи к типам и лично за то отвечает. Работу выделения и обоснования типов в каждом отдельном случае придется начинать сначала. С подобным мы встречались например у Дунса Скота (еще раньше у Абеляра), который не признает права говорить «десять деревьев, сто человек», поскольку пересчитываются при этом умственные сущности, отвлечения в нашей голове: мы подсчитываем придуманное и введенное в порядке абстракции нами самими; в бытии перед нами всегда только *вот это*, всегда разное и свое. Считая людей по головам, мы уже выполнили абстрагирующую операцию и ушли от бытия в мир конструкторов. С этой точки зрения фраза, что в Москве 10 000 000 жителей, бессмысленна; мы насчитали 10 000 000 схем, статус которых темен и сомнителен. Наесceitas, *вот-этость* Дунса Скота не свойство вещи наряду с другими; она окрашивает собой всю вещь, так что и общечеловеческое в каждом отдельном человеке имеет тон уникально вот этого.

В афоризме 2.0231 не предусмотрен случай, когда вещь в чем-то особая, в чем-то как другие; таких случаев по В. просто нет. Это очень важно, говорил он Расселу в уже упоминавшемся письме, *very fundamental*;

с тех пор на том же фундаменте строилось всё. Но в том же афоризме 2.0231 рассматривается случай, когда вещи все свои свойства, сколько их есть, имеют сообща, *ihre sämtlichen Eigenschaften gemeinsam haben*. Здесь опять же нет противоречия. Если в нетиповом пространстве хотя бы двум вещам довелось иметь все свойства общими, ничто не мешает сказать: присмотритесь, все вещи имеют все свойства общими. Отсутствие типов (классов) не только не мешает тождеству вещей, но даже предполагает его обязательным: вещи тождественны между собой тем, что делает каждую именно этой, т. е. своей уникальностью. Неповторимость у всякой вещи такая же, как у всякой другой. Уже упоминавшийся тезис 2.0231b призывает быть осторожнее с нашим вниманием: оно само вносит различия в тождество уникальных.

Тождество рано стало главной темой Витгенштейна.¹ «На вопрос о существе тождества невозможно ответить, пока не прояснено существо тавтологии. Вопрос же о ней есть основной вопрос *всей* логики»². В тезисе 2.024 Трактата на первый план выступает полярность, т. е. взаимобусловленность, тождества и разности. Здесь дается определение субстанции: она есть то, что существует (*besteht*) независимо от того, что имеет место (выпало). Всегдашнее самотождество субстанции — одно из лиц тождества. Предупреждение о том, что различие между вещами, охваченными тождеством, может быть введено нами, призвано опять же обострить внимание к проблеме проблем.

4 ЭКСКУРС: ОДНО

Заметим выбор слов в кратком афоризме 2.027: *Das Feste, das Bestehende und der Gegenstand sind Eins*, «Прочное, существующее и предмет суть Одно». *Одно* здесь имеет не только смысл одинаковости; *единое* должно было так или иначе появиться рядом с тождеством. *Одно и то же*, говорим мы, сближая *одно* и *тождество*. Характерен однако у Витгенштейна, как и у Хайдеггера, отказ от прямой тематизации единого³. Это достаточно понятно у обоих ввиду искажений, с какими современность

1 Ср выше с. 33 Расселу 29.10.1913 из Норвегии («Identity is the very Devil and immensely important...») и др.

2 *Ludwig Wittgenstein, Briefwechsel...*, S. 242, 243, 246.

3 У Хайдеггера единство вложено в «событие самого», Ereignis. Витгенштейн тоже никогда не оперирует условным единством; единство свернуто у него внутри тождества, которое всегда *одно*. В тему тождества перешла у него и вся проблематика единства.

слышит слово *одно*. Практическое отсутствие у В. термина *единство* не случайно и не означает пониженного внимания к этому феномену, приоткрываемому например афоризмом 2.03: Im Sachverhalt hängen die Gegenstände ineinander, wie die Glieder einer Kette, «В положении вещей предметы висят друг в друге как звенья цепи». Единство здесь предлагается понимать как сцепление. Тема развивается позднее в понятиях семейного сходства и следования.

Здесь уместен более подробный разбор. Всеобщим образованием нашей цивилизации упрочивается привычка помещать *одно* в числовой ряд. Мы так делаем и тогда, когда выделяем *одно*, говоря например о единстве мира; противопоставляя единое неединству, мы тоже ставим его в ряд. Единство (всеединство) мира суживается до его закономерностей, материи, духа; уровень, на котором усматривается единство, отделяют от повседневного опыта, где оно наоборот не наблюдается. Оставаясь чужим этому опыту, единое уходит в сферу абстракций. Эта школьно-философская сфера подпитывается нигилизмом, жестом отклонения эмпирической действительности, обычно в пользу божественного абсолюта. Как в первом классе учат откладывать одну палочку от остальных в коробке, так единство нашей фантазии, философской или божественной, помещается в стороне от мира, в котором мы теряемся среди множества вещей. За подобной операцией стоит надежда на лучший мир. Воображать два мира научаются до знакомства с якобы платонизмом из популярной религиозной и философской публицистики. Философско-богословское единство обычно неотделимо от двоемирия.

Операции с единым, завершающиеся разделением мира на два, ни на чем не основаны. Их опора только наше невнимание к собственным ментальным актам. Лучше было бы сразу сделать то, что рано или поздно все равно придется, и прислушаться к тому, что мы говорим. Тогда можно было бы заметить, как наш язык сквозь заглушающий его информационный шум едва слышно советует: осторожнее, всякое *один*, *единный* это вопрос, и какой. Русский язык указывает на ускользание единого плавающей семантикой слова. *Од-ин*, *ед-ин* содержит два корня, первый примерно значит *вот этот тут*, второй собственно несет весь сохранившийся в этом слове смысл: *ин* то же слово что лат. *unus* *один* и греч. *οἷός*, *игральная кость, упавшая единицей вверх* (рабочее слово для *один* в греческом *εἷς*). То же слово, что *ин* в русском, — немецкое *eins*, английское *one*, артикль неопределенной единицы *an*; все со значением *один*. В рабочем русском общий индоевропейский корень *ин* скользнул

со значения *один* в значение *иной*; язык повторил в своей истории то, что мы всегда невольно делаем с единством: выделяем его. Это выделение однако не только выносит *одно-иное* вовне.

Семантика *одного-иного* оказывается неожиданной¹. *Иное* не означает механического выделения одного из многих, оно открывает перспективу *всего*. Только через *иное*, уникальное, странное, шутовское, дурацкое и незаконное (*ино́к* «разбойник»), через исключение из обычного ряда мы добираемся до целого. *Иное* к нему ключ, и похоже единственный. Единое открыто мудростью языка как уникальное. Произносимое нами самими слово подсказывает: единое не то, что вы думали; оно всегда иное, чему нет ровни. Русское старинное *инок* калькирует греческое *монах* (от *μονάς* *единица*), но в историческом движении переключилось со значения *удинившийся* на непохожесть, исключительность. Примеры народной и литературной речи показывают, что осмысление *всего* как единого связано с *иным* как странным.² Мы часто слышим: нет правил без исключения. Понимается это скучно: чистых случаев не бывает; никто не говорит без оговорок; нет ничего совершенного под луной. В действительности смысл этого общего места другой: исключением, выпадением из правила правило впервые только и обеспечено; исключение обязательное его условие, иначе правила бы не было; оно обслуживается исключением. Единое держится иным. Разбор этой темы потребовал бы много времени. Книга Вардана Айрапетяна, откуда мы берем эти примеры, показывает, как в уме говорящих единое невольно переплетается с иным и странным.

Слышать, что мы говорим, всегда новость. Другое общеевропейское слово для *одного* — стандартное греческое *εἷς*. Его русское этимологическое соответствие — *сам*, которое у нас тоже, хотя и не так часто как в польском, значит *один*. Сделаю *сам* подразумевает *в одиночку*; *сам-семь* это отношение 1:7. Здесь наш язык приоткрывает еще один подход к единому. Оно обеспечивает себя неким образом *самó*. Оно тожество, но не в смысле повтора, а в смысле того самого, именно того. Индоевропейский корень нашего *сам* входит в лат. *similis*, *подобный*, *такой же самый*. Снова язык задает нам едва слышно задание. Достаточно ли для подобия, *similitudo*, более или менее близкого сходства; не скользит ли всякое сход-

1 См. Вардан Айрапетян, Герменевтические подступы к русскому слову. М. 1994.

2 Там же с. 234, 238, 242 и др. Парадокс единого-иного прослеживается в книге Айрапетяна на большом массиве русского языка.

ство, не меняет ли аспект? Похоже, что простого сходства недостаточно. Всякое подобие в конечном счете стоит на *том самом*. Сначала должно быть тожество, чтобы появились повод и основа для уподобления. Думая о подобии, мы невольно, чаще незаметно опираемся на *то самое*.

Здесь мы переходим к продолжающейся в Трактате теме рисунка (образа, отражения). Чем короче афоризм Трактата, тем он как правило важнее. 2.1: Wir machen uns Bilder der Tatsachen, «Мы делаем себе рисунки фактов». Рисунок (образ) обычно понимается как подобие, Витгенштейн охотится за тожеством. Латинское *similis*, *подобный*, устроено как наше *одинаковый* и имеет тот же корень что наше *сам* и греческое *ἐν*. Может ли рисунок быть *тем самым*, *одинаковым* не в смысле приблизительно схожего, а в смысле того же?

5 ИЗМЕРЕНИЕ МИРА

Что рисунок не удвоение вещи в ее изображении (был один мопс, нарисовали второго), говорит следующий афоризм 2.11: «Рисунок (Bild) представляет положение вещей в логическом пространстве, существование и несуществование определенных обстоятельств». Он изображает факты с точностью до есть-нет. Для этого потребовалась бы такая подробность изображения, которая реально не достижима. Существование-несуществование располагаются в другом, не художественно-изобразительном пространстве.

Нарисуем круг на доске. Я изобразил город Москву. Разве круг похож на город Москву? Да; она круглая. Но я могу и некруглый город, Нижний Новгород, изобразить кругом. Почему вы поверите, что



это Нижний Новгород? только потому что я так сказал? Нет. Вы поверите мне потому, что между моей фигурой и городом кроме жалкого схематического подобия есть мощное *тожество*. Чтобы показать вам его, сотру круг. Его нет на доске. Если бы города не стало, его стирание с лица земли было бы лишь очень отдаленно похоже на безобидное стирание мела рукой или тряпкой, но существование и несуществование, *Bestehen* и *Nichtbestehen*, наличие и потом отсутствие круга — точно такие же, как наличие и отсутствие города, не в смысле большой или малой похожести образа, а в смысле полного тожества. Фотографи-

чески мало что общего, но на *да-нет* то самое. Не будь исходного тождества появления моего круга на доске с существованием города, ни мой круг, ни подробнейшая схема города не были бы опознаны как город. О сходстве изображения становится можно говорить только на основе раннего, большей частью не замечаемого тождества существования и несуществования. Здесь смысл афоризма 2.161: «В рисунке и том, что срисовано, должно быть что-то тождественное, чтобы одно вообще могло быть рисунком другого». Круг мелом и город не одно и то же. Мое стирание круга на доске не только не разрушает город Москву, но наоборот, прибавляет что-то малое к его богатому разнообразию. Эстетически, этически, технически сходство между кругом и Москвой, повторяем, ничтожно. Но, открывая возможность для любых подобий и неподобий, совпадают есть-нет, одинаковые для круга и Москвы. Витгенштейн охотится за тождеством в рисунке, за *тем же самым* в подобии. Рисунок интересует его в том плане, где он факт, единый без раздвоения. 2.12: «Рисунок есть модель действительности». Сказано нарочито молча. Для модели существеннее не внешнее сходство с машиной, а способность работать как она. Шифрован и следующий афоризм 2.13: «Den Gegenständen entsprechen im Bilde die Elemente des Bildes», «Предметам в рисунке соответствуют элементы рисунка». Напрашивается привычная схема:



Строчным буквам, элементам картины, соответствуют на первый взгляд прописные буквы, сами вещи. Разумеется, афоризм нужно читать иначе¹. Предметам-звеньям, согласно определению 2.03 сцепляющимся в положение дел, соответствует то, что элементы картины суть ее *элементы*, т. е. тоже сцеплены. Сцепка звеньев не *похожа*, а *та же самая* что сцепка предметов. Только благодаря этому исходному тождеству — не сходству — модели с действительностью становится потом можно заговорить на свой страх и риск об одно-однозначных соответствиях между элементами той и другой. Это не запрещено, но не очень интересно. Интереснее думать о моментах абсолютного тождества рисунка и действительности.

1 См. выше с. 101 о запрете на прямое отнесение знака к вещи.

Тезисы Трактата, как уже было замечено, высвечивают аспекты одного и того же открытия. Рисунок (образ) абсолютно тождествен изображенному, во-первых, существованием (если непонятно, что такое существование, то рисунок тождествен изображенному и этой непонятностью), а во-вторых, связью своих элементов внутри целого (независимо от того, придана ли им связь нами или существует «по природе»). Следующий афоризм 2.14: *Das Bild besteht darin, daß seine Elemente in bestimmter Art und Weise zu einander verhalten*, «Рисунок состоит в том, что его элементы определенным образом и способом соотносятся друг с другом». Русский переводчик, истолковав предыдущий тезис 2.13 в смысле соответствия отдельных элементов картины отдельным предметам, не мог согласиться с тем, что рисунок заключается не в отражении предметов, а в определенном взаимоположении элементов внутри его самого, и исправил немецкий текст: «Скрепляет картину то, что ее элементы соотносятся определенным образом» (1994). Выше, например в 2.0272, говорилось о положении вещей как конфигурации предметов. Рисунок тождествен действительности своей конфигурацией не в смысле повторения *ее* конфигурации — о таковой до и вне рисунка мы просто вообще ничего не знаем, — а в смысле представления *ее* как целого. 2.04: *Die Gesamtheit der bestehenden Sachverhalte ist die Welt*, «Совокупность существующих положений вещей есть мир». Все они ни в какой рисунок не вмястятся; рисунок утонится за миром только если добьется целости в *своем* взаимоположении элементов. *В целом* он тогда будет строго то же самое что мир. Целое рисунка и мира тождественны, как тождественны существование — в противоположность несуществованию — мелового круга на доске и Москвы.

Теперь мы готовы прочесть афоризм 2.141: *Das Bild ist eine Tatsache*, «Рисунок есть факт». Мы уже не попадемся в подставленную ловушку, решив, что как живой мопс факт, так и нарисованный тоже. Западный комментатор справедливо заметил: называть, скажем, фотографию тоже фактом, как и сфотографированную вещь, звучит парадоксально; но, с другой стороны, только факты по В. могут быть составными, а фотография подобно всякому изображению в том же смысле составна, что и снятое на ней, и тем самым тождественна этому последнему¹. Нужно рискнуть поверить, что В. не занят тоскливым перебо-

¹ *Max Black, A companion to Wittgenstein's «Tractatus».* Ithaca (N. Y.): Cornell University Press, 1966.

ром информации о мире, а затевает крупную игру. Не еще один факт к имеющимся наш рисунок. Он равен изображенному. В рисунке мы не множим изображения мира, а примериваемся к нему. Мы измерение мира.

Перспектива рисунка как удвоения мира тосклива. Она примерно так же безнадежна, как утешение профессора Доброхотова, вычитывающего якобы из Парменида, что когда мы произносим слово *бытие*, то факт его произнесения тоже бытие. Единственным живым моментом при подобном прочтении В. остается его забавное приравнивание фотоснимка к пейзажу по тому признаку, что там и здесь сложность. «Парадоксально все-таки...» Потешный Витгенштейн. Он впрочем и обещал в предисловии к Трактату развлечь читателя?

Факты не там, куда мы смотрим, срисовывая действительность, а ближе к нам. Наш рисунок — решающий для нас факт. Как это может быть, увидим ниже, а пока вернемся к 2.1: «Мы делаем себе рисунки фактов». Нам зачем-то нужны образы вещей. Для нас, для самих себя, не для каких-то целей мы заняты этим делом, рисуя образы того, что нам выпало, давая отчет о мире, и наши образы фактов сами становятся фактами. 2.151: «Форма изображения есть возможность, что вещи состоят друг к другу в таком же взаимоположении, как элементы рисунка». Рисунок примеривается к конфигурации мира, и возможность попадания — или непопадания — составляет рамку рисунка. 2.1511: «Рисунок *так* сцеплен с действительностью; он достает до нее (*reicht bis zu ihr*)». 2.1512: «Он как мерка, приложенная к действительности». Как будто бы маловажная и внешняя действительности операция, но от меры, приложенной к миру, зависит, в каком он берется масштабе; в одном он малое дело, в другом великое. Масштаб решает, что имеет место на самом деле: земля песчинка во вселенной или середина всего; единственное место живых существ, источник, откуда идет возрождение миров (по одной из новейших космологий человечество, возрастая, распоряжается галактическими процессами) или ошибка природы.

Жестко привязано к действительности только то в рисунке, что утверждается и отрицается. 2.15121: *Nur die äußersten Punkte der Teilstriche berühren den zu messenden Gegenstand*, «*Касаются* измеряемого предмета только крайние точки рисков деления шкалы». Чему служит остальное в этих рисках? только ли нашему удобству? 2.2: «Общее у образа с изображенным — логическая форма изображения». Логическая форма есть возможность тождества или нетождества; в обоих случаях она

обеспечивает собою отнесение рисунка к *вот этому* изображенному¹. Изображения нет без основы тождества, поэтому 2.182: «Всякий рисунок является *также и* логическим».

Изображение действительности обеспечено логической формой фразы независимо от ее правды или лжи (2.22). Изображая кружком Москву, мы не стремимся быть верными натуре; и наоборот, можно реалистично срисовать предмет и не уловить его. 2.223: «Чтобы узнать, истинна рисунок или ложь, мы должны сравнить его с действительностью». Но чтобы начать сравнение, надо знать, что рисунок соответствует *этой* действительности, а не другой; какая именно действительность представлена на рисунке, нам известно раньше чем рисунок окажется истинным или ложным. Мы уверенно относим наши рисунки к действительности только на основании формального тождества между изображением и образцом, при том что «априори истинного рисунка не существует» (2.225): ни верность подобия, ни смысл не обеспечат его истины. С тождеством имеет дело логическая форма. Она располагается в измерении, где мерят на *да-нет*.

6 ПОНИМАНИЕ

Событие одинаково ощущается всеми независимо от меры его понимания. Слепой днем видит не больше чем ночью, но все-таки предпочитает ночью спать, а днем гулять, потому что солнце приятно греет щеку. Если вместо солнца включают рефлектор, он обрадуется не меньше. Поэтому надо было, чтобы перед смертью В. сказал, что прожил счастливую жизнь. Иначе, меря мерками привычного успеха, труднее было бы догадаться, какую захватывающую работу с целым миром вел всю жизнь этот человек.

Мы имели бы право говорить о принадлежности Витгенштейна к школе Фреге и Рассела, если бы он проверял истинность или ложность высказывания наблюдением действительности. Но по В. высказывание *сначала* истинно или, что то же самое, ложно, и только тогда его можно отнести к конкретному факту. Только войдя в логическое пространство, фраза начинает зондировать действительность. Шансов быть понятым метрами формальной логики у В. было очень мало, вернее ска-

¹ См. выше с. 76 о том, что только логические операции утверждения и отрицания делают фразу рисунком *вот этой* действительности.

зять, вовсе никаких. Напечатание Трактата объяснялось либерализмом Рассела и тем же недоразумением, какое продолжается до наших дней в общей массе витгенштейновских штудий. Почувствовать упрямство В. дает его ранняя переписка, где он вопреки Расселу отказывается отделять логику от этики. В. уравнивал абсурд войны тем, что сам добровольно бросил себя в настоящий риск; он лежал в госпитале и воевал на передовой, почти год провел в итальянском плену. Все это время пишется Трактат как одно сплошное усилие не сказать, а *показать* его главный, этический смысл. Самые важные мысли в нем те, которые намеренно *не* введены в текст; или в другой формулировке: этика, главное содержание Трактата, огорожена изнутри; развертываются только подходы к ней.

Уже цитировалось предложение 2.141: «Рисунок есть [действительный] факт (Tatsache)». В записях по логике 1913 г.: «Фразы суть в свою очередь факты: что эта чернильница стоит на этом столе, может выражать, что я сижу на этом стуле»¹. Факт чернильницы, стоящей на столе, есть одновременно фраза, говорящая, что я сижу за столом. В смысле фразы чернильница тоже факт, фактичность которого не изменится, если чернильницу не поставить на стол, а нарисовать. Принципиальную разницу между нарисованной чернильницей и стоящей на столе вводит привычка отделять знак от факта, утвердившаяся в нашей цивилизации. Здесь дает о себе знать архаичность В., который не чувствовал бы себя чужим в культуре, например, наскальных рисунков неолитической Швеции, где изображения кораблей, воинов, жонглеров (скальдов) были, по-видимому, фактом не меньшей важности чем посылка лодок за море². Сообщение о чернильнице, стоящей или не стоящей на столе, не только описание факта наличной чернильницы, но и само полноценный факт, хотя и не сразу ясного значения. Я, сидящий на стуле, тоже рисунок другого факта, чернильницы на столе, хотя по сложившейся привычке крупное (тело больше чернильницы) принимают за основное. Почему нарисованная чернильница картинка моего душевного, например творческого состояния, а не наоборот? Из-за привычки считать

1 «Sätze sind ihrerseits Tatsachen: Daß dieses Tintenfaß auf diesem Tisch steht; kann ausdrücken, daß ich auf diesem Stuhl sitze» (WA I, 193).

2 Современнику, заметившему, что несмотря на все отвратительные стороны нашей цивилизации теперешняя жизнь предпочтительнее чем у пещерного человека, Витгенштейн возразил: «Да, конечно, Вы предпочли бы жить так. А пещерный человек?» (цит. по Joachim Schulte, Wittgenstein: Eine Einführung. Stuttgart: Reclam 2001, S. 38).

внутреннее (субъективное) исходным. Если отказаться от условной иерархии оценок, символы становятся обратимыми.

Мы можем иметь мнение о том, в какую сторону направлена стрелка между знаком и действительностью, но распорядиться, чтобы она была направлена именно так, а не иначе, мы можем не больше чем заказать или назначить себе изменение аспекта. Когда нам кажется, что мы рисуем картину, картина, возможно, рисует нас. Напрасны поэтому, если мы воображаем себя стоящими перед тем, что требует с нашей стороны описания, наши усилия что-то выразить. Они только помешают тому символизму, которое исподволь работает без нашего ведома.

Прочитаем краткое письмо В. сатирику Петеру Энгельману 9.4.1917¹.

Большое спасибо за Ваше любезное письмо и книги. Стихотворение Уланда действительно великолепно. И это так: если ты не силишься высказать невыразимое, то *ничего* не теряешь. Но невыразимое — невыразимо — *содержится* в высказанном!² Генделевские вариации Брамса я знаю. Чудовищно —

Что касается Вашего переменчивого настроения, то это так: мы спим [...] *Наша* жизнь как сон. В наши лучшие часы мы просыпаемся настолько, чтобы заметить что спим и видим сны. Большей частью мы однако в глубоком сне. Разбудить себя сам я не могу! Я силюсь, сновиденческое тело (Traumleib) делает движения, но мое настоящее *не шевелится!* Это к сожалению так!

К усилиям проснуться относится создаваемая на войне книга. Степень глухоты, которую чувствует В. в своем окружении, такая, что рядом с сожалением о непонимании повторяется мысль о книге как о завещании уже мертвого В. миру. Он посылает ее людям словно из-за границы бытия. Расселу предположительно в декабре 1914 (Витгенштейн солдат во враждебной Англии армии, но в его военных письмах нигде нет ни отдаленного намека на то, что он ощущает Рассела и друзей по другую сторону фронта):

Что Мур не мог объяснить тебе мои идеи, мне непостижимо. Сумел ли Ты что-то извлечь из его записей?? Боюсь что нет! Если мне придется погибнуть в этой войне, Тебе будет послана моя рукопись, которую я тогда по-

1 Полностью см. ниже с. 565.

2 В балладе Уланда «Боярышник графа Эберхарда» граф, отправляясь в Палестину, отламывает ветку кустарника, носит ее воткнув в железный шлем в бою и на море, вернувшись домой снова сажает ее в землю и из нее вырастает пышный куст, под которым старый граф любит сидеть в грезах.

казывал Муру; вместе с другой, которую я написал теперь, за время войны. Если я останусь в живых, то хотел бы после войны приехать в Англию и устно — если тебе угодно — объяснить свою работу. И в первом случае я тоже убежден в том, что кем-то рано или поздно она будет понята!¹

Понимание придет с неотвратимостью загробного существования, но не сейчас. И та же тревога в письме Расселу 22.5.1915:

То, что я написал в последнее время, будет теперь, боюсь, еще непонятнее; и если я не переживу конца этой войны, то надо быть готовым к тому, что вся моя работа пропадет. — Тогда надо напечатать мою рукопись, всё равно, понимает ее кто-нибудь или нет! — Проблемы становятся всё более лапидарными и всеобщими и подход к ним полностью изменился.²

Ему же 22.10.1915 снова о присылке рукописей, в том числе последних карандашных, в случае смерти (со слов Рассела, В. ожидал ее в России); понять их будет трудно, но пусть Рассел не пугается. И наконец Расселу 13.3.1919 из итальянского плена:

Я написал книгу под названием «Логико-философский трактат», содержащую всю мою работу последних шести лет. По-моему я наконец решил наши проблемы. Это возможно звучит заносчиво, но мне невольно кажется что всё именно так. Я закончил книгу в августе 1918 и через два месяца стал *prigioniere*. Рукопись здесь со мной. Мне хотелось бы сделать копию для Тебя; но она довольно длинная и нет надежного способа послать ее Тебе. Да Ты и не поймешь ее без предварительного объяснения, поскольку она написана в виде очень коротких замечаний. (Это конечно значит что *никто* не поймет ее [...])³

25.8.1919 отпущенный из плена В. в Вене сразу пытается напечатать Трактат. Издатели ищут авторитета, который сопроводил бы странную книжку безвестного автора предисловием. Витгенштейну смешно предполагать, что такого найдут. Бертран Рассел, первый человек, к которому естественно было обратиться за поддержкой, положительный отзыв пишет, но В. не включает его в континентальное издание. С предисловием Рассела книга вышла в Англии только когда ее автор вдруг охладел к публикациям. То, что не понял в Трактате Рассел, названо в последнем письме из Кассино перед самым освобождением, 19.8.1919:

1 В полном виде см. это письмо ниже с. 525, прим. 4.

2 См. ниже с. 555.

3 См. ниже с. 569.

Боюсь что Ты собственно не уловил мою главную мысль, к которой вся история с логическими пропозициями только примечание. Вся суть в теории того, что может быть выражено (сказано) фразами — т. е. языком — (и, что сводится к тому же, что может быть *помыслено*) и что не может быть выражено фразами, а только показано (*gezeigt*); что, по-моему, составляет основную проблему философии [...] очень трудно остаться не понятым ни одной душой! [...] ¹

То, что не сказано, можно в хорошем случае увидеть; но сказать опять же нельзя.

Загнанный в угол В. еще может в порядке нервного срыва обещать требуемых от него объяснений, но потом все равно от них уклонится. Всякий раз, едва начав их, он будет говорить что смертельно устал и что в книге всё достаточно сказано. Работа требовала поддержания спортивной формы, которую он не хотел терять. Почему он не мог ничего объяснить, ясно из главного принципа всей его работы. Он был измучен проходившими через него откровениями настолько, что умолкал, когда не слышал их; объяснять их потом своими словами он уже не мог и не хотел. «Изложение *крайне* сжатое, потому что я фиксировал там только то, что мне — и как оно мне — действительно услышалось»². В меру посещающих его прозрений, и только, он даст пожалуй и объяснения, которые сами тогда будут нуждаться в объяснениях. Их в любом случае не хватит, как в конце сравнительно длинного письма Расселу 19.8.1919. По-настоящему принципиальные, эти годились бы для вставки в Трактат. Вот два из них.

Символ по Расселу должен иметь ту же структуру что его значение, *must have the same structure as its meaning*; т. е. какое-то сходство с обозначаемым знаком должно быть обеспечено. По Витгенштейну символ принадлежит той неуправляемой миметической сфере³, где не мы определяем, что рисунок чего, чернильница на столе знак моего сидения за ним или наоборот; забота о сходстве знака с означаемым тогда отпадает из-за принципиальной невозможности назначить, что чему должно быть знаком. «Ты не можешь предписать символу, для обозначения чего его *допустимо* применять! Все, что символ *может* выразить, ему и до-

1 См. ниже с. 569 сл.

2 «Die Darstellung *äußerst* gedrängt, da ich nur das darin festgehalten habe, was mir — und wie es mir — wirklich eingefallen ist» (Людвигу Фикеру, предположительно середина октября 1919).

3 См. о миме и мимесисе ниже с. 407.

пустимо выражать. Это короткий ответ, но он верный!»¹ Символ (знак) окунается в неустановимое, чем мы не можем распорядиться; значение он умеет иметь как-то и так, без нас.

Теперь второй пример. Он поясняет как раз главную (см. выше) мысль Трактата о различии между рассказом и показом, его «коренной вопрос».

Просто подумай, что то, что Ты хочешь *сказать* кажущейся пропозицией «имеются две вещи», *показано* тем, что имеются два имени с разным значением (или имеется одно имя, могущее иметь два значения). Пропозиция, напр. $\varphi(a,b)$ или $(\exists \varphi, x, y) \cdot \varphi(x, y)$ ², не говорит, что имеют место две вещи, она говорит нечто совсем другое; *но истинно или ложно то, что она говорит*, она показывает то, что Ты хочешь *выразить*, когда говоришь: «имеют место 2 вещи»³.

Всё. Объяснений на данную тему больше не будет. Из письма Расселу 6.10.1919: «С Фреге я состою в переписке. Он не понимает ни слова из моей работы и я уже совершенно измучен голыми объяснениями»⁴. Витгенштейн пробивается к чему-то более фундаментальному чем проблемы математизированной логики. Логика нацелена на содержание пропозиции φ , в которой, надо думать, сообщается что-то существенное об x, y . Но в самом этом сообщении, перехлестывая через него, незаметно идет показ: нам показаны два, именно два, x и y , причем именно они, а

1 «You cannot prescribe to a symbol what it *may* be used to express! All that a symbol *can* express, it *may* express. This is a short answer but it is true!»

2 Ученица дама Элизабет Энском, ученица Витгенштейна, советует читать эти символы так:

φ представляет пропозицию

a, b представляют собственные имена или предметы (объекты)

x, y маркируют разные пустые места в пропозиции

\cdot означает конъюнкцию *и*

\exists квантификатор: для некоторых...

Мы должны помнить о том, что Энском вместе с большинством логиков не склонна замечать и что для В. прежде всего существенно: в квантификатор спрятано экзистенциальное полагание (см. выше с. 24).

3 «Just think that, what you want to *say* by the apparent prop 'there are 2 things' is *shown* by there being two names which have different meanings (or by there being one name which may have two meanings). A prop e. g. $\varphi(a,b)$ или $(\exists \varphi, x, y) \cdot \varphi(x, y)$ doesn't say that there are two things, it says something quite different; *but whether it's true or false*, it shows what you want to *express* by saying: 'there are 2 things'»

4 «Mit Frege stehe ich in Briefwechsel. Er versteht kein Wort von meiner Arbeit und ich bin schon ganz erschöpft vor lauter Erklärungen.»

не другие; их могло быть не два *и не быть вообще*. Ориентируясь на информацию, мы незаметно проглатываем базовые вещи, открытые простым показом.

Тогда и Тракта́т тоже развертывает одновременно два ряда, словесный и изобразительный, сказа и показа? и надо иметь разное зрение для каждого из них, а мы смотрим одним? или достаточно понять, что другое зрение у нас всегда есть, но мы им не пользуемся? Когда мы смотрим одним глазом, мы видим всё не в голой одной плоскости; в зрении одним глазом объемное зрение как-то уже есть, так что не надо ничего специально приобретать. Даже когда мы читаем Тракта́т формально-логически, с нашим двойным зрением ничего непоправимого еще не произошло, надо только вспомнить о нем.

В таком случае еще раз присмотримся к настойчивой, почти навязчивой у Витгенштейна теме непонимания его Тракта́та. Оно *должно* иметь место. Наша инертность, леность, косность, отсутствие настроения, отказ от понимания *входят в понимание*, заменяя объемность, которую создает зрение двумя глазами. От нашей неохоты и неспособности понять мы не должны отвлекаться. Наша цель не скакнуть от непонимания к пониманию, а сохранить усилие собственной мысли; оно требуется от нас прежде всего. Чтение должно быть не прокладыванием колеи для облегчения доступа, не нивелированием до уровня среднепонятности, а таким же, каким было написание Тракта́та, когда автор шел от ясности к ясности. Вспышек озарения всегда не хватает, но в промежутках беспросветного непонимания продолжается работа сопоставления и расчистки. В. говорит, что Тракта́т не поймут, так, словно объявляет его название: непонятый, непонятный Тракта́т. Таким он и должен оставаться.

Часто, но не полностью цитируемое место из письма Людвигу Фикеру в октябре или ноябре 1919 начинается с темы непонимания.

От его [Тракта́та] чтения Вы собственно — я определенно так думаю — немного будете иметь. Потому что Вы его не поймете; материя покажется Вам совершенно чуждой. В действительности она Вам не чужда; потому что смысл книги этический. Я как-то думал вставить в предисловие фразу, которой там в действительности нет, но которую я Вам теперь пишу, потому что она Вам может послужить ключом: я хотел там написать, что моя книга состоит из двух частей: из того, что тут перед вами, и из всего того, что я *не* написал. И как раз эта вторая часть важна. Этическое моей книгой ограничено по сути как бы изнутри; и я убежден, что оно, *строго*,

должно ограничиваться только так. Короче, я считаю: все то, что *многие* сегодня *бредят*, я установил в своей книге тем, что молчу об этом.¹

Наилучшее понимание ожидалось от Рассела. Оно таким и было, но не оно ли вогнало В. в затяжную депрессию и отказ от публикаций. Рассел сказал: великолепная книга, хотя я не так же уверен что она верна. Он признался Витгенштейну, что не может его опровергнуть и уверен лишь, что всё в Трактате верно или всё неверно, а это признак хорошей книги: пройдут годы прежде чем я смогу решить, что именно из двух (20.12.1919 леди Оттолине из Гааги). Витгенштейн писал Расселу 9.4.1920 так же: «будущее решит о нас»². Перебор мнений о Трактате для него был на том окончен. Он теряет интерес к печатанию. Напряжение внезапно спало; что-то надорвалось, возможно, в самом времени. Петеру Энгельманну 30.5.1920:

Я совершенно опущен. Пусть с Вами никогда этого не случится! Удается ли мне еще встать на ноги? Посмотрим. --- Реклам не берет мою книгу. Мне на все теперь наплевать, и это хорошо.

С адресатом этого письма В. мечтает о бегстве в Россию, в новый мир. Он вдруг перестает понимать, зачем была нужна вся гонка с желанием напечатать книгу. Если она не безусловно хороша, то публиковать ее зачем. А если действительно хороша, то какая разница, в каком 17-х или 17-у году напечатана «Критика чистого разума» (Расселу 6.5.1920). Тем более всё равно, какое у нее предисловие. Расселу 7.7.1920:

Если у Тебя все-таки настроение ее печатать, то она целиком в Твоем распоряжении и ты можешь с ней делать что хочешь. (Только если Ты что-то изменишь в тексте, то укажи, что изменение идет от Тебя.)

1 «Von seiner Lektüre werden Sie nämlich — wie ich bestimmt glaube — nicht allzuviel haben. Denn Sie werden es nicht verstehen; der Stoff wird Ihnen ganz fremd erscheinen. In Wirklichkeit ist er Ihnen nicht fremd, denn der Sinn des Buches ist ein Ethischer. Ich wollte einmal in das Vorwort einen Satz geben, der nun tatsächlich nicht darin steht, den ich Ihnen aber jetzt schreibe, weil er Ihnen vielleicht ein Schlüssel sein wird: Ich wollte nachschreiben, mein Werk bestehe aus zwei Teilen: aus dem, der hier vorliegt, und aus alledem, was ich *nicht* geschrieben habe. Und gerade dieser zweite Teil ist der Wichtige. Es wird nämlich das Ethische durch mein Buch gleichsam von Innen her begrenzt; und ich bin überzeugt, daß es, *streng*, nur so zu begrenzen ist. Kurz, ich glaube: Alles das, was *viele* heute *schweifeln*, habe ich in meinem Buch festgelegt, indem ich darüber schweige.»

2 «Die Zukunft wird über uns urteilen.»

Перед чтением раздела 3 Трактата для повторения и итога раздела 2 рассмотрим замечание, задвинутое в четырехзначный номер 4.463 и взятое в скобки:

(Фраза, рисунок, модель суть в негативном смысле как бы твердое тело, ограничивающее свободу движения других тел; в позитивном смысле — как бы ограниченное твердой субстанцией пространство, в котором имеет место тело.)

Речь идет о границе, которая в первом случае ограничивает, во втором немного более неожиданным образом предоставляет место. Строго говоря, большой неожиданности здесь нет: только граница дает простор. Безграничное пространство не было бы просторным, тело в нем было бы сковано если не одинаковым и бесконечным в каждой точке давлением, то другой невозможностью двигаться: безразличием направления и размаха движения. В выражении *безграничная свобода* слышится безусловная граница. Мы определяли свободу как возвращение к своему. Свое всегда вводит границу, и вводит ли ее что-то другое чем свое?

По одному из предлагавшихся толкований только что приведенного места теория фразы как рисунка сводится к тому, что в положительном смысле фраза говорит «вот как обстоят дела», а в отрицательном «вот как не обстоят дела», причем «вот» в обоих случаях одно и то же, так что установление истинности высказывания сводится к сравнению рисунка-высказывания с конкретным наполнением этого «вот»¹. Толкование конечно правильное, но оно несколько умнее чем надо. Оно приглашает к привычным интеллектуальным операциям сознания по выявлению похожести и непохожести рисунков; чем-то подобным были всецело заняты уже добросовестные обитатели платоновской пещеры. Толкование проскакивает мимо простого и первого, факта существования рисунка. Он появился, предложил себя, двинулся в мир. Рисунок есть факт не хуже других фактов, мы видели, не благодаря своей похожести или непохожести на изображенное, а как человеческий поступок измерения мира при существовавшей возможности не делать этого. Если я нарисо-

1 «The picture-theory of the proposition is that the proposition in the positive sense says: 'This is how things are' and in the negative sense says: 'This is how things aren't' — the 'this' in both cases being the same: the comparison is a comparison with a picture of the 'this' in question.»

вал Москву на доске в виде кружка, то факт здесь — не кружок в его похожести или непохожести на Москву, а его появление, которого могло не быть, и шире: то, что мы, люди, вступили в историю составления картин мира, а могли не вступать. *Этот* факт онтологически стоит наравне с фактом Москвы или выше, если брать его на уровне истории человечества, в которой Москва только эпизод.

Пустившись разбирать, в какой мере кружок на доске похож или не похож на Москву, мы упустили что-то важное. Фактом начертания кружка проведена отчетливая и окончательная граница, в негативном смысле запрещающая, в позитивном разрешающая. Какая именно граница, что именно она запрещает и во что высвобождает, сказать труднее, но во всяком случае верно следующее. Среди многого запрещенного, после поступка рисования кружка нет и никогда не будет, чтобы Москва снова как некогда для детского глаза стала беспроблемной; она выделена в *предмет* речи и мысли. Захлопывается перспектива для нарисовавшего кружок стать художником и учителем художества, для его зрителей — научиться от него изобразительному искусству. Открывается бесконечная перспектива возможного уточнения и развертывания рисунка, к кругу напрашивается центр, очертания реки Москвы, указание сторон света. Намечается задача отличия условного обозначения от схемы, с одной стороны, и художественного образа, с другой. Перечисление всего, что закрыто и открыто моим поступком выхода к доске и рисования круга, однажды начавшись, закончиться в принципе не может. Оно уводит в мою и человеческую судьбу. Мы что-то значим и своим присутствием показываем, но что? Толкования нам нет. «Ein Zeichen sind wir, deutungslos» (Гёльдерлин).

Для того, кто выставил знак просто так, по недомыслию, весомость этого факта не страдает от пустоты его содержания. Своим поступком он себя вывел, возможно навсегда, из пространства, в котором ничего не «просто так». Однократный отказ от серьезности может навсегда определить его судьбу. Он закрыл для себя перспективу долгой терпеливой мысли и, возможно, никогда не пойдет дальше домыслов.

Говоря «рисунки», В. имеет в виду логическое изображение, предполагающее границу между да и нет. Прочитаем часть афоризма 4.463, стоящую перед процитированной выше скобкой о фразе, рисунке, модели: Die Wahrheitsbedingungen bestimmen den Spielraum, der den Tatsachen durch den Satz gelassen wird, «Условия истинности определяют пространство свободного хода, оставляемое фразой для фактов». Условия

истинности — это параметры, по которым ведется сравнение фразы с действительностью: при таких-то условиях фраза оказывается удачной пробой мира, при других нет. В хорошем случае она предоставляет действительности простор свободного хода, т. е. возможность остаться самой собой. Фраза таким образом не только факт среди других фактов, но позволение им быть.

Перейдем к тезису 3: *Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke*, «Логический рисунок фактов есть мысль». Какая именно? Кто так спросил, рискует снова упустить простое и главное. Логический рисунок — не структура, которую мы строим в своей мысли, а тот факт, что мы берем действительность в мысль. Как в 2.1 «мы делаем себе рисунки фактов», так тут: мы всегда строим картину фактов, всегда думаем, причем не так, что имеем в своем распоряжении присущей себе эту способность и вводим ее в действие когда хотим, а так, что когда и не думаем, все равно думаем бездумно. Так у Хайдеггера понимание мира не наша способность, а наш способ быть: мы существуем так, что понимаем его или, что то же, отказываемся это делать. Мир с самого начала уже весь охвачен, схвачен мыслимостью. Это В. и называет логической формой.

Замеченный нами параллелизм между 2.1 и 3 прямо объявлен в 3.001: «*Ein Sachverhalt ist denkbar*», heißt: *wir können uns ein Bild von ihm machen*, «„Положение вещей мыслимо“ значит: мы можем сделать себе его картину». Мысль мыслит на да-нет не потому что она всегда так уж особенно отчетлива, а потому что она или есть или ее нет, при том что она есть и тогда когда ее нет. Это не противоречие. Мысль и безмыслие могут остаться не замечены, но как мысль, так и безмыслие и присутствие или отсутствие при них делают пространство человеческого существа логическим, размечают его на отчетливые да-нет. Чтобы увидеть, о насколько простых и первичных вещах идет речь, поясним только что сказанное на примере самого В. Ученики записывают в 1930–1932 на его лекции в Кембридже, куда он вернулся с континента¹: человек отбивается и упирается, потому что его руку хотят положить в огонь. Почему он так поступает, ведь еще не положили и ему еще не больно? «Он имеет основания.» Но ведь все эти основания предположительные, они не могут абсолютно детерминировать такое поведение; даже если он имеет 1000-кратный опыт обожжения руки в огне, 1001-го раза может не про-

¹ *Desmond Lee (ed.), Wittgenstein's lectures, Cambridge, 1930–1932. Oxford: Blackwell, 1980, p. 87–88.*

изойти, *всех* оснований отбиваться у него нет. Однако он обязательно будет отбиваться. Это значит, что страх или опасение боли *уже* есть без полноты оснований. Искусственность случая обращает на себя внимание; витгенштейновские примеры, когда они фантастически немислимы, имеют в виду то, что происходит без исключения всегда и со всеми. Ребенок до примерно двух лет, которого мать никогда не обжигала и не обожжет, панически боится и шутивого, и педагогического жеста поднесения его руки к огню. Особенно ясно, что страх имеет здесь не опытное происхождение, в виду детской анестезии: младенцы пребывают благодаря быстроте своего роста как бы в постоянном наркозе или под гипнозом, и физическая боль, даже от огня, задевает их не сразу и как бы косвенно; тем отчетливее психологическое происхождение паники. Фрейд после долгих и внимательных наблюдений убедился, что ужас перед жестоким тираном-отцом, часто ломающий жизни людей, приходит не из опыта, а из области сна. Кошмарные сны редко удастся объяснить реальным опытом боли или насилия. И вот, как мы не знаем, откуда в нас паника, когда ее причин еще нет и, возможно, никогда не было, *так по В. мы не знаем причины мысли в нас*. Не поддаваясь прояснению своих причин, мысль как логическая форма всё заранее в себя вместила и всё собою определила.

Можно ли считать, что здесь у В. знакомое из истории философии тожество мышления бытию? Сопоставление с Парменидом правомерно, но говорить о нем бессмысленно, пока фоном классических реминисценций у нас остается новоевропейское расщепление мира на вещи и мысли. Прежде всего надо попытаться увидеть тожество во 2-м аристотелевском смысле (Метафизика V 9), т. е. как одно и то же, а не как приравнивание разных. С грустью мы убедимся, насколько это трудно для современного сознания. Тожество бытия и мысли у Парменида мы обычно понимаем в 1-м аристотелевском смысле акцидентального совпадения. Не случайно традиционная философская терминология для В. зачумлена; к ней не прикасаться. Путь к *одному и тому же* как единому подсказывает язык, породивший греческое *ἓν, одно*, с нашим *само* (см. выше). Не повторяющееся *то же самое*, а уникальное *то самое* ведет к настоящему тожеству как единству. Путь проходит через вспышку озарения.

Неопределимость начала, отведенная в кембриджских лекциях 1930–1932 мысли, принадлежит и символу. Необоснованности, недетерминированности мысли отвечает неопределимость, которая нужна символу

(знаку), чтобы быть опорой рисунка (образа) действительности. Контрольный вопрос: раз неопределимость символа и неизбежна и нужна, зачем о ней специально говорить? Потому что мы можем его решетообразной бездонности не заметить, да обычно и не замечаем. Она из вещей, о которых нужно себе напоминать. Норвежские записи конца 1913–начала 1914¹ вошли потом в пункты 4.02, 4.021, 4.027 Трактата: наши фразы должны быть прошиты нитками символов, которые заведомым, общепринятым и дозволенным образом не допускают своего определения, иначе определять придется всё, и перекрестно определяющие себя символы все вместе потонут в общей неопределенности. Вместо того чтобы рано или поздно неприятно столкнуться с неопределенностью тотальной системы взаимных определений, лучше сразу заметить и принять безосновность символа (знака), как и беспричинность мысли. Неверно, напоминает В., будто словам учат сначала остенсивно («это кошечка»), а потом определяя их одно другим. Слово неким образом до уточнения и без уточнения значимо; неопределенный символ несет на себе и провоцирует определенность. Какое-то понимание знака у нас есть до всякого объяснения, иначе смысл любой фразы сводился бы к сумме (произведению) входящих в него определений и не мог быть новым.

Неопределимая значительность символа служит основой всех смыслов, как исходная безотчетность мысли вызывает ее на отчетливость и самоотчетность. Неопределимое не значит нелогичное. Оно стихия и почва логики. 3.03: *Wir können nichts Unlogisches denken, weil wir sonst unlogisch denken müßten*, «Мы не можем помыслить ничего нелогического, потому что иначе мы должны были бы мыслить нелогически». Факт помысленности вводит все взятое мыслью, будь оно действительно, возможно или невозможно, в логическое пространство. То, что есть, включает возможность и уходит корнями в неопределимость. О возможности мы знаем не больше чем рисует нам мысль, и наоборот, появление мысли всегда говорит о появлении возможности. 3.02b: *Was denkbar ist, ist auch möglich*, «Что мыслимо, то также и возможно».

Не надо искать в комнате возможного носорога, но мысль о нем не пуста: она зондирует положение вещей в мире, не лимитируя его. Чтобы описать, нарисовать, нужна контрастность, светотень, а какой подыскать контраст к тому, что всё такое, какое есть? Положим, мы помыслили

1 WA 1, 194–195.

бы немислимый мир, где всё происходит без нас, в отдаленном дочеловеческом прошлом или в послечеловеческом будущем. Это *наше сейчас* представление о далеком, прошлом или будущем осталось бы рисунком положения вещей в наших глазах. Если бы мы представили ничто, оно осталось бы *нашим* ничто. 3.031b: Wir könnten nämlich von einer «unlogischen» Welt nicht *sagen*, wie sie aussähe, «О „нелогическом“ мире мы не могли бы *сказать*, как он выглядит». Всё сказанное (помысленное) нами — рисунок положения вещей, факт логического мира, т. е. взятого в охват нашей мысленной картины. Но нашей мыслью взято в охват всё. Нельзя *сказать* о том, что без, вне, до, после речи и мысли. Всё заранее вобрано в речь и мысль; необдуманное и немислимое принято как такое. Задать координаты несуществующей точки (3.032) невозможно не потому что неизвестно ее местоположение, а потому что задание координат делает ее существующей. Здесь та же нешуточная фактичность нашего вмешательства в мир, как в уже рассмотренном 2.02331b: «Если вещь не выделяется ничем, то и я не могу ее выделить, иначе она как раз этим и будет выделена». Всё охвачено нашей мыслью, и что не охвачено, опять же охвачено способом неохвата. Так непознаваемая вещь в себе охвачена мыслью Канта. Мысль достигает здесь мощности вселенского творца.

3.1: Im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus, «Мысль выражается во фразе чувственно воспринимаемым образом». Не следует представлять себе некую сформировавшуюся внутри мысль, которая находит потом себе сильное чувственное проявление. 3.11: Wir benützen das sinnlich wahrnehmbare Zeichen (Laut- oder Schriftzeichen etc.) des Satzes als Projektion der möglichen Sachlage, «Мы используем чувственно воспринимаемые знаки (звуковые или графические знаки etc.) фразы как проекцию возможного положения вещей». Действительность проецируется напрямую на чувственные знаки; структурирование мысли, отдельное от фразы, Витгенштейном не предусматривается. Мысль вынесена за скобки и сводится к работе проецирования, сливаясь с методом, подходом этой проекции, ее характером и способом. Поэтому нет смысла говорить, что положениям вещей соответствуют элементы мысли. Мысль вся из своей неопределенности нацелена на успех проекции, т. е. примеривающейся пробы мира. Между действительностью и ее проекцией во фразе места для мыслительных процессов не оставлено; пусть находят себе место где угодно, если хотят в голове, если хотят в окопе. Все внимание отдано «проективному отношению», примерива-

нию к миру, снятию с него мерок и нанесению на него масштаба, решающего, каким ему быть *для нас*. Мы знаем о нем только то, что о нем скажем (подумаем).

3.13 К фразе принадлежит всё, что принадлежит к проекции; но не проецируемое.

Т. е. возможность проецируемого, но не оно само.

Во фразе таким образом еще не содержится ее смысл.

Смыслом по Фреге называется семантика знакового комплекса до его отнесения к выражаемой вещи; выражения *утренняя звезда* и *вечерняя звезда* имеют разный смысл при одинаковом значении. У В. всё сводится к проективному отношению; помимо проецирования и проецируемого у высказывания смысла нет; отдельного смысла, который располагался бы в ментальной сфере, не существует, как не существует и эта последняя, которая раз навсегда объявлена пустой. Заниматься ею В. никогда не будет.

Фраза (мысль) поэтому есть факт с таким же успехом, с каким рисунок факт. Сходство фразы и рисунка подчеркнуто нумерацией и формулировкой афоризмов: в 2.14 *Das Bild besteht darin, daß sich seine Elemente in bestimmter Art und Weise zu einander verhalten*, «Рисунок состоит в том, что его элементы определенным видом и способом соотносятся друг с другом»; в 3.14 *Das Satzzeichen besteht darin, daß sich seine Elemente, die Wörter, in ihm auf bestimmte Art und Weise zueinander verhalten*, «Фразовый знак состоит в том, что его элементы, слова, определенным видом и способом соотносятся друг с другом». В той мере, в какой фразовый знак есть факт, он и смысл. Факт скрыт видимостью, будто фраза сводится к чувственно воспринимаемым знакам. В них смысла и факта нет. Как отношение символизации обратимо и чернильница на столе такой же символ меня пишущего, как я символ чернильницы, так факт фразы взаимоотнобит с фактом положения дел. Сюда отчасти надо отнести тезис 3.1432:

Не: «комплексный знак „aRb“ говорит, что а стоит в отношении к b», но: *то, что «а»* стоит в известном отношении к «b», говорит, *что aRb*.

Во фразу входят имена. 3.202: *Die im Satze angewandten einfachen Zeichen heißen Namen*, «Примененные во фразе простые знаки называются именами». 3.203: *Der Name bedeutet den Gegenstand. Der Gegenstand ist seine Bedeutung*, «Имя означает предмет. Предмет есть его значение.» Имена

отвечают предметам в их именности. Собственно имя, кроме указывания на именно *это*, ничего не обязано делать, поэтому содержательности от него не требуется. Строгое именование поэтому должно удержаться от преждевременного описания предмета. 3.221: Die Gegenstände kann ich nur *nennen*, «Предметы [т. е. то, с чем я имею дело] я могу только *именовать*». От Платона и Аристотеля известно, что имя просто; его, как и саму вещь, невозможно описать. В случае комплексных выражений, состоящих из имен, наоборот, именование затруднительно, а описание вполне возможно, но оно всегда сохранит неустранимую долю неопределенности, поскольку подвержено смене аспекта. Ускользающая неопределенность не столько даже присуща комплексу, сколько комплекс можно считать названием для ситуации смены аспекта. Где комплекс, там неопределенность, и наоборот. От скользящей неопределенности комплекса, ожидающей уточнения, отличается надежная неопределимость предмета, допускающая только именование простым именем, первознаком (Urzeichen). 3.24c: Daß ein Satzelement einen Komplex bezeichnet, kann man aus einer Unbestimmtheit in den Sätzen sehen, worin es vorkommt, «Что какой-то элемент фразы означает комплекс, можно видеть из неопределенности во фразах, в которых он встречается».

Всякая неопределенность, не доказавшая свою неопределимость, воспринимается как недолжное и вызывает на дефиницию. Факт высказывания (пропозиции) вводит в поле логической определенности. Если вступившим в него не удастся говорить отчетливо, они не в меньшей мере этим самым уже определились. Отчетливость встроена в артикуляцию пропозиции. Отсюда 3.25: Es gibt eine und nur eine vollständige Analyse des Satzes, «Существует один и только один полный анализ фразы», и 3.251: Der Satz drückt auf bestimmte, klar angebbare Weise aus, was er ausdrückt: Der Satz ist artikuliert, «Фраза определенным, ясно указуемым образом выражает то, что она выражает: фраза артикулирована». Это не благое пожелание: сам факт высказывания вводит его в перспективу постепенного уточнения, хотя говорящий (думающий) может не видеть всего, что содержит его фраза.

Другой вопрос, куда ведет определенность фразы. В ее перспективе может быть только что-то простое. Дефиниция тяготеет к имени. Витгенштейн не скажет вместе с Фреге, что пропозиция есть составное имя (ср. 3.143c), но раньше чем на имени дефиниции остановиться не на чем. Членораздельность приглашает к анализу, и то единственное, чем кончается расчленение смысла, есть имя. 3.26: Der Name ist durch keine De-

finition weiter zu zergliedern: er ist ein Urzeichen, «Имя не расчленимо далее никакой дефиницией: оно первознак». Как уже отмечалось, знаки сцеплены между собой взаимными дефинициями и вся их цепь держится на неопределимых, которые стоят без дефиниции. Здесь дает о себе знать полярность двух неопределенностей: неопределенность, свойственная комплексам, подлежит преодолению; неопределимость имени подлежит сохранению.

Логическая форма, т. е. вмещенность и вмещаемость всего в мысль, всегда уже заранее дана. Читая 2.1 «Мы делаем себе рисунки фактов», можно акцентировать глагол: мы устроены так что несем перед собой картину мира, берем всё в мысль, по-нимаем. О тождестве рисунка и мысли напоминает уже цитированный тезис 3.001; мыслимость того или иного положения дел равносильна нашей способности составить себе ее картину. Додумаем эту ситуацию до конца. Как понимание мира может осуществляться и способом его непонимания, так картину мира мы всегда уже составили, пусть привативно, через отказ от нее. Она есть тогда тем, что ее нет.

Мы должны изменить наше прежнее представление, что человеческая речь есть то, чего могло не быть, в отличие от сигналов животных, которые подают например знак опасности и тогда, когда его некому слышать. Так мы думали и писали, присоединяясь к структуралистскому тезису: сообщением может считаться только то, что стоит в оппозиции к возможному на его месте несообщению. Введем уточнение: в каком-то смысле сообщение не прекращается никогда. Мы не временами говорим знаками; мы всегда значим, разница сводится только к тому, что мы можем знать и не знать об этом. Мы часто не замечаем сообщения, каким являемся, и начинаем заново чертить по готовому сообщению новое, громоздя произвольными знаками уже значимое пространство, говорить то — или противоположное тому, — что нами уже сообщено. Человеческая речь не то, что сказано, когда могло быть не сказано, а то, что говорится, когда замечено и услышано, что и как уже сказано. Речь начинается со слышания, и родство *слова* со *слухом* можно понимать отсюда. Соответственно, когда я произношу слова, это еще не обязательно будет речью. Чтобы была речь, я должен заметить, что я говорю, хотя бы мне это и не нравилось.

Хайдеггер, и здесь совпадая с Витгенштейном, называет метафизическим тупиком представление, будто сначала существует мысль, потом слово; скорее сначала слово, потом мысль. Мы слышим постоянно идущую

щее в нас и через нас сообщение, поэтому думаем. У Ханны Арендт, верность которой своему фрейбургскому учителю дает о себе знать, слышен голос Хайдеггера, когда она говорит о гомеровском Ахилле:

В отличие от современных представлений, его слова не потому считались великими, что выражали великие мысли. Как мы знаем из последних стихов *Антигоны*, все обстоит скорее наоборот: μεγάλοι λόγοι, великие слова или, как переводит Гёльдерлин, «великие взгляды, воздаяние за мощные удары с высоких [божественных] плеч, они научили с возрастом мыслить». Здесь прозрение и с ним мысль возникают из речи, а не наоборот; речь и поступок считались равно изначальными и одинаковыми по своему достоинству, одного рода и одного ранга. И это не только потому что очевидным образом всякое политическое действие, насколько оно не применяет насильственные средства, осуществляется словом, но еще и в том более элементарном смысле, что найти верное слово, обращенное к другим людям в нужный момент, совершенно независимо от его информативной или коммуникативной содержательности, есть уже поступок.¹

В опубликованных русских переводах софокловская онтология слова понятным образом переделана в поучительную моралистику.

Одинаковая весомость речи, поступка и мысли спрятана под кажущейся легкостью слова. 3.143: Daß das Satzzeichen eine Tatsache ist, wird durch die gewöhnliche Ausdrucksform der Schrift oder des Druckes verschleiert. Denn im gedruckten Satz z. B. sieht das Satzzeichen nicht wesentlich verschieden aus vom Wort, «Что фразовый знак есть факт, заслонено привычной письменной или печатной формой выражений. Ибо в печатной фразе, напр., фразовый знак не выглядит существенно отличным от слова.» Термином «фразовый знак» (Satzzeichen, знак-предложение, пер. 1994, пропозициональный знак, пер. 1958, propositional sign англ. переводов) сам В. провоцирует видеть во фразе продолжение знакового ряда. Жестко повернув, В. чуть ниже подчеркнет сущностное отличие фразового знака от знака, а потом предложит представить себе, что мы не строим фразы, а ворочаем вещами. 3.1431: Sehr Klar wird das Wesen des Satzzeichens, wenn wir es uns, statt aus Schriftzeichen, aus Räumlichen Gegenständen (etwa Tischen, Stühlen, Büchern) zusammengesetzt denken, «Существо фразы станет очень ясно, если мы будем думать, что оно составлено не из письменных знаков, а из пространственных предметов (скажем, столов, стульев, книг)». Фактом фразы мы ворочаем вещами. Приглашение

1 *Hannah Arendt, Vita activa, oder Vom tätigen Leben. Stuttgart 1960, S. 29.*

заполнять фразовый знак не словами, а столами и книгами, выводит на тот уровень фантастичности, когда В. начинает говорить о повсеместном и неизбежном. Ощущение, что словами ворочают как глыбами (при чтении Данте или Льва Толстого), бывает не часто, но мы должны спросить почему. На самом деле подобный опыт универсален, но большей частью в привативном и негативном плане как опыт промаха, упущения, часто провала от говорения, когда вместе со звуком наших или чужих слов возникают пустоты, зияния, дыры. От своей частой повторяемости этот последний опыт не воспринимается остро и свертывается в серую усталость от речей, своих и чужих. На фоне привычной пустоты слова строительство словом кажется необычным, даже пугает. Что словом мы двигаем — умело или чаще себе во вред — более важными вещами чем столы и стулья, формализовано у В. в цитированном выше тезисе 3.1432, где сказано резко: не знаки и слова сообщают о вещах, а положение вещей таково, как установлено словами и знаками. Фраза не слепок с положения вещей. Согласившись видеть в речи только звуки и буквы, мы остались вне факта нашего приговора о положении вещей.

8 ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА

Разница между именованием (называнием) и описанием (анализом комплекса) — вариант основополагающей в Трактате разницы между показом и рассказом. 3.144: *Sachlagen kann man beschreiben, nicht benennen*, «Положения вещей можно описать, не именовать». О смысле говорится в продолжении-пояснении к только что приведенному тезису. Оно взято в скобки: (*Namen gleichen Punkten, Sätze Pfeilen, sie haben Sinn*,) «(Имена подобны точкам, фразы стрелкам, они имеют смысл)». Под смыслом имеется в виду направленность. На тему древности мысли В. можно заметить, что в древнейшей шумерской клинописи, где было больше идеографии чем в более поздней, стрелка означала слово и речь. В русских переводах только что процитированное место Трактата затемнено; почему стрелки имеют смысл, неясно. В немецком *Sinn* первоначально значит направление, путь, в том числе путь мысли: о чем думаешь, на что решился. Так мы говорим *думаю пойти*, собрался или собираюсь. Тот же корень в лат. *sentire* (*чувствовать, изведать, думать*), *sensus* с исходным значением пути, которое позднее с приближением к современности стирается в пользу ощущающего нащупывания, вполне сохраняясь однако в техническом применении (ит. *senso unico*, улица с односторон-

ним движением). В русском языке целенаправленность в семантике слова *смысл* запрятана внутри фраз типа *в чем смысл ваших действий*. Поскольку смысл есть направленность движения, его нельзя именовать; он еще не сбился и завершится прибытием в новую местность, которой пока еще нет. О стреле, даже если мы пустили ее в десятку, лучше не говорить с уверенностью, пока она в нее не попала.

Перспектива смысла как направленности и пути отделена четкой границей от *предмета*, который постоянен, подобен точке и имеет имя. Витгенштейновский предмет, как уже отмечалось, есть то, с чем мы имеем дело. Дело поворачивается разными сторонами, но оно должно оставаться одним и тем же, не меняясь; даже когда дело нам не удастся, мы не хотели бы чтобы предмет наших занятий плыл, это будет рассеянность. Выразить предмет словами так же невозможно, как сесть вместо стула на его дефиницию. Имя предмета не столько слово, сколько сам предмет, схваченный как именно он. 3.203: Der Name bedeutet den Gegenstand. Der Gegenstand ist seine Bedeutung. («А» ist dasselbe Zeichen wie «А».), «Имя означает предмет, предмет есть его значение. („А“ тот же самый знак что „А“).» Дефиниция в скобках говорит: какой бы аспект знака мы ни взяли, предмет, именем которого служит знак, обеспечит ему тождественность. Тезис в целом напоминает: не уходить, думая об имени, из области тождества.

К имени и тождеству мы вернемся после разбора тезиса 3.24b: Der Satz, in welchem von einem Komplex die Rede ist, wird, wenn dieser nicht existiert, nicht unsinnig, sondern einfach falsch sein, «Фраза, в которой идет речь о комплексе, в случае его несуществования будет не бессмысленной, а просто ложной». Мог В. не заметить, что литературные персонажи не существуют, но они не ложь? Уже упоминалось, что символ имеет смысл всегда. Поскольку мы сами — знаки, означаемое у знака так или иначе будет. Если комплекс, о котором речь, не существует, то подыщется другой, отвечающий этой речи; она как-нибудь найдет себе подходящую реальность. Речь (знак) не может зависнуть, лишившись вещественного наполнения; мы однако можем не знать, не заметить, не понять, о каком комплексе по-настоящему говорим; иметь в виду *не то* нам всего проще¹. Речь, промахнувшаяся мимо того, о чем она, будет не бессмысленна, а сразу ложь.

¹ Ср. выше с. 23 замечание Уайтхеда, что нам редко удастся говорить то, что мы имеем в виду.

Темой раздела остается имя. Оно снова всплывает в 3.26: *Der Name ist durch keine Definition weiter zu zergliedern: er ist ein Urzeichen*, «Имя нельзя разложить никаким его определением: оно первичный знак». У Толстого, упоминание о котором в связи с В. не уместно, есть сближение имени и тождества, которое В. принял бы. В переводе Евангелий Толстой не ставит *имя* на месте греческого *ὄνομα*; в примечании он ссылается на древнееврейское значение имени как сути и переводит слова «имя Христа» через «то, что Он есть». В 3.144, сравнивая предложение и смысл со стрелкой, В. называет имя точкой. Такое определение можно было бы назвать провокацией, если бы сам В. не заставил нас долго думать о точке и понять, что в ней сосредоточено. Точка есть что угодно, только не статика, она скорее по своей неуловимой единственности и собранности предельная динамика. Насколько имя возвращает вещь к ее существу, настолько оно приводит ее в движение. Имя отдает предмет ему самому, показывает его единственным, отдельным от всего и тем позволяет иметь дело именно с ним.

Динамическую полноту имени, его переливание через край можно увидеть и по-другому. Она продолжается во всех тех знаках, которые будут построены на его основе. 3.261: *Jedes definierte Zeichen bezeichnet über jene Zeichen, durch welche es definiert wurde; und die Definitionen weisen den Weg*, «Всякий знак, получивший дефиницию, обозначает *сверх* тех знаков, которые вошли в его дефиницию; и дефиниции указывают путь [в это *сверх*]». Оба русских перевода, 1958 и 1994 гг., здесь усиливают ошибку двусмысленного английского перевода: *Every sign that has a definition signifies via the signs that serve to define it; and the definition points the way*, «Каждый знак, имеющий определение, означает *via* тех знаков, которые служат для его определения; и определением указан путь». Лат. *via* здесь можно читать только в экзотическом смысле *в стороне от*. Означающая способность знака не сводится к сумме его семантических составляющих; последние указывают только направление движения, не цель. Указывая в применении поверх себя, знак выдвигается таким образом в область невидимого. Знаки лишь указатели; путь к смыслу всегда приходится отшагать самостоятельно за пределами знаков. Так после долгой и успешной работы с берестяными грамотами Андрей Анатольевич Зализняк уверенно говорит: прочесть их невозможно, если не угадан смысл; только когда читающий как-то уже знает, что сказано в документе, он начинает отождествлять проблематичные риски на бересте с буквами; напрасно надеяться, что можно на-

чать с опознания букв и перейти от них к словам; сами буквы окажутся не теми.

Знаки указывают поверх своих определений путь, движение по которому мы должны вложить от себя. Важное витгенштейновское слово, стоящее в одном ряду со смыслом и путем, — *Anwendung*, применение, приложение. Корень здесь *wenden*, поворачивать; эта обращенность знака стирается в русском переводе. 3.262: *Was in den Zeichen nicht zum Ausdruck kommt, das zeigt ihre Anwendung. Was die Zeichen verschlucken, das spricht ihre Anwendung aus*, «Что не выразят знаки, показывает их применение. Что знаки проглатывают, даст о себе знать в их применении». Проглоченное знаками не вышло из молчания. Его пространство захватывает Витгенштейна. Он умеет туда уходить и знает о сложностях опыта с ним. Трактат, мы помним, состоит из двух частей, и важнее та, которую В. оставил при себе.

Обычно мы скользим над бездной невысказываемого, думая, будто следуем знакам, на самом деле руководствуясь их применением. Движению к цели отсутствие ее дефиниции не мешает. 3.263: «Значения первичных знаков могут быть прояснены лишь комментариями. Комментарии суть фразы, содержащие первичные знаки, и потому могут быть поняты только если значения этих знаков уже известны». Первичные знаки, имена с их значениями, нельзя определить, но можно прокомментировать. Чтобы комментарий не ушел в бесконечность, приходится опираться на те же первичные знаки. Ясно, что без смысла, т. е. направленности пути, выбраться из этого герменевтического круга невозможно. 3.3: «Только фраза имеет смысл; только в контексте фразы имя имеет значение». Этим сказано не меньше как: лишь поскольку мы ищем смысл, фраза имеет его; только то, что имеет смысл, т. е. движется по пути в направлении стрелки и повернуто, *Angewandt*, к цели, может получить значение. Мы всегда уже идем, и если остановились, то на пути. Проблема в том чтобы заметить, как и куда мы идем и где стоим.

Тем, что знак и смысл всегда уже так или иначе есть, обеспечена всеобщая логическая форма. Ее не надо далеко искать, она предполагается всяким выражением и тем, что выражение могло быть другим. 3.311: *Der Ausdruck setzt die Formen aller Sätze voraus, in welcher er vorkommen kann*, «Выражением предполагаются формы всех фраз, куда оно может войти». За каждым выражением стоит целый язык. В 3.315 подробно показана редукция конкретной фразы к логической первоформе. Для этого нужно последовательно заменять внутри выражения каждый знак, ко-

торый мог быть и другим, переменной, включающей весь ряд возможных на этом месте выражений. Получим форму, в которой не будет уже ничего частного. Она логический первообраз фразы. По своему обыкновению В. не напомнит, что возможность такой редукции обеспечена априорным знанием того, какие элементы годятся для подстановки. Это знание не результат перебора встречающихся в данной позиции знаков; наоборот, переменная есть правило подбора своих возможных значений. Логическая праформа высвечивается сама собой, когда мы высвобождаем знаки от условных определений, наложенных на них по произвольному соглашению, *nach willkürlicher Übereinkunft* (опущено в переводе 1994), и возвращаем фразу ее *природе*, *Natur*, не зависящей от наших соглашений.¹ Ошибкой здесь будет думать, что таким путем у В. в качестве логической первоформы фразы выпадает в осадок что-то вроде субъект-предикатной структуры. Такая структура в свою очередь оказывается условной и отдается произволу. О привязке этой структуры к действительности и основании ее в реальности у В. не может быть речи. В отношении ценности (*Wert*), которая каждый раз условно придается фразовой переменной, В. подчеркивает (3.317d): она представляет собой правило устройства знаков внутри фразы и ничего не говорит об отношении символов к означаемому. Мы уже знаем настойчивость В. (как и Соссюра) в отказе от привязки знаков к вещам. Никакой фиксированной семантики у фразы нет. 3.316: «Какие значения может принимать фразовая переменная, подлежит установлению. Устанавливание значений *и есть* фразовая переменная». Высказывание похоже на игру в крикет, где ворота живые и постоянно передвигаются, фламинго, служащие молотками, крутят головой, а играющие меняют лицо. Игра от этого не останавливается, она наоборот имеет теперь шанс стать бесконечной; из игры взрослой и школьной она возвратилась к игре младенца, где переменное всё, включая правила, и никаких констант нет. О различии между игрой по установленным правилам и игрой младенца говорилось. Правила становятся переменными, поэтому игра не перемежается неигрой. Психологический возраст Витгенштейна (и Хайдеггера) можно определить как раннее детство. Здесь уместно вспомнить догадку Зигмунда Фрейда, что нашей цивилизации предшествовала другая, когда человеческое развитие останавливалось на возрасте 5 лет.

Если кто-то еще удивляется отказу В. привести пример реальности,

1 Ср. выше с. 97 Соссюр о недоговорной природе языка.

описанной во фразе, должен вспомнить, что фраза есть факт, равноправный любой реальности. Нет нужды переходить от фраз к чему-то более весомому; наша речь уже сделала много, больше чем мы догадываемся. Речи В. о применении знаков, казалось бы, обязывают его посмотреть, как это обычно делается. Но в применении он видит только выход в область произвольности, где надо особо договариваться обо всем в каждом представившемся случае. Реструктурирование ценностей задевает устройство фразы, не предмет. Пусть фраза позаботится о себе; ее устройство тогда в хорошем случае начнет приближаться к уникальности вещи. Наоборот, жестко прикрепленный к вещи знак исказит ее.

В 3.322–3.323 показан обычный путь ухода от предмета и причина этой ошибки: она в отнесении вещи к типу, под который подводится знак. Одним знаком оказывается тогда можно назвать много вещей одного класса. Лучше будет, советует В., при всяком втором, третьем и т. д. применении одного и того же знака думать, что каждый раз он совершенно другой, чтобы не казалось, будто одинаковость знаков говорит об одинаковости предметов; верно только обратное. Чтобы предметы не казались одинаковыми, полезно взять вместо одного два, три знака — знак ведь все равно произволен, — и что тогда останется от одинаковости? Исчезла.

Работает только знак примененный, повернутый в направлении-смысле; без этого он пока еще ничего не говорит. 3.328: «Если знак *не употребляется*, то он не имеет значения (*bedeutungslos*). Тут смысл девиза Оккама». Оккама здесь В., по-видимому, вспоминает через Рассела, который понимает его традиционно. *Entia non sunt multiplicanda sine necessitate*, «сущности не следует умножать без необходимости» — это упрощение мысли Оккама для школьного употребления. У Оккама скорее другое требование: всякий, кто делает высказывание, должен иметь достаточное основание его истины¹. Это ближе и к мысли Витгенштейна. Всё в знаке повернуто, вырываясь за его видимые пределы, к уместному применению его здесь и теперь.

Из того, что знака нет без его применения, что у него нет собственно встроенного значения и что к смыслу он приобщится только внутри фразы, вовсе не следует, что для распознавания знака надо собирать сведения, применяется ли он, как и где. Далеко ходить не надо. Наше обраще-

¹ «Everyone who makes a statement must have a sufficient reason for its truth» (*Boehner P. Ockham, Philosophical writings. Edinburgh 1957, p. XXI*).

ние внимания на него уже будет ему достаточным применением. 3.328b: «Если все обстоит так, словно знак имеет значение, то вот он и имеет значение». Спрашивается тогда, что существенного В. имеет в таком случае возразить против придания знаку значения у Рассела? Если Расселу угодно вести себя так, словно знак имеет значение, то знак тем самым уже его и имеет; пусть знака вне применения не бывает, но мое внимание или невнимание к нему уже создает ему достаточный контекст.

Подчеркивая, что знак создается применением, В. стремится очистить знак от значения только внутри *логического синтаксиса*. Отношения между знаками внутри фразы подчиняются строгому запрету на выход за ее пределы. Лишь когда внутрифразовые отношения окончательно оформятся, т. е. когда выражение будет взято в целом, фраза станет смыслом и фактом и ее составляющие наполнятся значением. Как именно устроится внутри себя фраза, диктует момент, но она обязана прежде всего устроиться по знаковым законам (*Zeichenregeln*). Дайте художнику сделать последний мазок, как он умеет; только после этого можно будет говорить о смысле картины. То или иное устройство фразы не меняет ее направленности на предмет. 3.34: «Фраза имеет существенные и случайные черты. Случайны черты, идущие от особого способа построения (*Hervorbringung*) фразового знака. Существенны те, которые одни делают фразу способной выразить свой смысл». Привязка знака к значению, пока он не вписан по правилам логического синтаксиса во фразу, запрещена потому, что этим предполагается область готовых значений, к которой якобы отсылают знаки. Такая область, «логическое пространство», сама по себе не существует, она питается только притоком осмысленных фраз (3.4). Знаку неоткуда извлекать свое значение, пока его не встроит во фразу с ее направленностью (смыслом).

Переводчики пользуются попеременно словами предложение, высказывание, пропозиция, пытаясь угнаться за простым немецким Satz. Его сила в том, что это короткое корневое слово, и наше *предложение* как *выкладывание-перед-всеми-на-виду* его не вычерпывает. Satz означает еще и полагание, когда я постановил чему-то быть, как положено. Что так положено, стало нормой; словарь дает пример *zwei Tassen Tee, das ist so mein Satz*, «две чашки чаю это моя норма». В том же Satz В. слышит — что ему важно, когда он говорит о конфигурации знаков, предметов, об образе и структуре, — также значение комплекта, набора, ассортимента, агрегата. Безусловно годится ему значение Satz как партии, тура, сета в игре; англ. set здесь то же слово что немецкое Satz, но оно не приме-

няется в значении предложения (пропозиции), и поэтому английскому остается недостижимо далеко, как и русскому, до простейшего немецкого жеста. В какой мере немецкое слово является жестом, мы уже замечали. Жест Satz подчеркнуто краткий и решительный; устанавливая тезис, полагая норму, он диктует правила игры и — еще одно его значение — ставку в игре. Полностью идет в дело у В. и Satz в смысле скачка и прыжка. In einem Satz не обязательно значит «в одном предложении», это может быть и «сразу». Оформление в Satz и переход от одного Satz к другому — как скачки, и здесь можно и нужно вспомнить о полете игральной кости и о внезапности смены аспектов. В русском слове *предложение* эта решительность, прерывность, внезапность не слышна. Последнее, но не по важности для В. музыканта, которому иногда снятся мелодии и он их проснувшись записывает: говоря Satz, он слышит «музыкальная фраза», «пассаж». Если бы в нашем языке был подобный инструмент, мы без комментариев ввели бы его в действие. Он имел бы черты *выкладывая, сказал как отрезал, так я решил, слово не воробей, вылетит не поймаешь, слово и дело, сказал — сделал, мое слово твердо, мое слово закон*. Всё, что есть в немецком Satz, у нас тоже есть, только рассеяно, а не собрано в кулак. Мы оказываемся тут беспомощны и вынуждены плестись путем комментария и нанизывания пунктов, которых оказывается тем больше, чем короче немецкий жест: 1) слово, 2) предложение, 3) тезис, 4) норма, закон, правило, 5) набор, партия, сет, тур, игра, 6) помет, приплод у зайцев, кроликов, 7) отстой, осадок, 8) ставка в игре, 9) скачок, прыжок, 10) музыкальная фраза. Легко только тому, кто создал себе семантическое поле, о котором кроме него мало кто знает, как оно огорожено, и про себя располагает в нем термины. В голове В., как у нас всех, гуляет ветер, и если что-то подобное ограде обнаружится, он сразу ее разрушит. Каждый раз заново, говорит он, надо пробиваться к живому словно через застывающий шлак, как при варке стали (профессия его отца, знакомое дело).

Можно было бы в рабочем порядке, как делают некоторые англоязычные авторы, оставить немецкое Satz без перевода, тем более что в русском уже есть тоже слово с приставкой (абзац, Absatz, уступ, ступень, каблук как отступающий от подошвы, расхватывание, осадок, отстой, отложение). Всего ближе к немецкому Satz однако наша *фраза*, особенно если вспомнить об исходном смысле этого слова¹.

1 См. с. 34 о греч. φράζω.

Вернемся к тексту Трактата. Пока знак не сделал в составе фразы скачок к смыслу, говорить о его значении рано. Критикуя тут Рассела, В. упрощает его, но небольшая некорректность по отношению к учителю не отменяет сути дела. Знаки получают значение, так сказать, в ходе смысла, направленного движения, когда они втянуты в путь, подхвачены скачком фразы, повернуты (*Angewandt*) к цели. Энергичный итог раздела 3 (3.5: *Das angewandte, gedachte, Satzzeichen ist der Gedanke*, «Примененный, помысленный, фразовый знак есть мысль») возвращает к его началу (3: *Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke*, «Логический рисунок фактов есть мысль»). Предикативные части этих двух кратких дефиниций (*der Gedanke*, мысль) совпадают. Тогда должны быть равны и субъектные части? логический рисунок факта есть повернутая в направлении цели, продуманная фраза? и то же самое: обращенная в сторону смысла фраза есть мысль?

Сказанное выше об обволакивающей, всеохватывающей вместительности мысли, которая взяла в свой круг всё и не оставила без себя ничего, понадобится при чтении раздела 4. Мысль должна озаботиться своим направленным движением, чтобы остаться мыслью. Чем больше в ней движения, тем больше она мысль, тем вернее она без заботы о своем приложении к вещам, достигая целости в самой себе, в своей переменности, неостановимой смене аспектов, обволакивает все вещи. Только *вся* и *всякая* мысль, какая она сама по себе есть, окажется мерой вещей. Без этого движения мысль бессмысленна, *Bedeutungslos*, иррелевантна, не имеет себе опоры.

9 ОРГАНИКА ЯЗЫКА

С началом раздела 4 мы попадаем в хрестоматийную уже классику философии 20 века. Если бы от Трактата осталась только одна эта часть, он все равно был бы одной из двух или трех главных философских работ века и все равно задача разбора того, что открыто им, оставалась бы нерешенной. 4: *Der Gedanke ist der sinnvolle Satz*, «Мысль есть осмысленная фраза». Вроде бы как раз это и получалось из сопоставления начала и конца раздела 3. Новым является то, что *вся* мысль есть направленная фраза. К тому, что мысли не будет отведено особого места отдельно от фразы (*Satz*), мы были готовы; пусть она находит себе место где хочет и может. Но теперь выходит, что мысли вообще нет отдельно от фразы. Мы были склонны представлять мысль туманностью, которая офор-

мится в тезис. Оказывается однако, что до и без тезиса (высказанного или нет) В. не предусматривает никакой мысли.

Что говорят здесь комментаторы? Как мы, они обычно останавливаются в некотором замешательстве. В отличие от нас они обычно легко выходят из затруднения: виноват В., у него «имеется ряд логических неточностей и противоречий»; отмечается тот недостаток, что у него «нет строгого различия между предложением и суждением». Комментатор, в отличие от своего подопечного, противоречить себе никогда не будет, потому что с самого начала расчертил про себя и для себя, что чем надо считать, прочертив в частности «строгое различие» между sentence, предложением, и judgement, суждением; а В. не прочертил. Согласившись с таким приговором, мы ничего ровным счетом от В. уже больше не услышим. Комментатор будет знакомить нас только с частностями своих собственных схем, имеющих единственным достоинством аккуратность. Не будем в них вдаваться. Нелепо, имея в руках такой молот как фраза, Satz, дробить его на высказывание и суждение. У фразы есть свойство проникающей простоты, теряющееся от дробления.

Другой комментатор. Следуя за Фреге, В. соглашался, что смысл выражен во фразе (в английском тексте Satz без перевода). Но больше того, для В. нет вообще никакой мысли отдельно от фразы: мысль есть *the sense of a Satz*, «*тот самый* смысл, который *принадлежит* Satz'у». Тогда, строго говоря, слово *der sinnvolle*, «осмысленный, направленный», в тезисе 4 лишнее, *redundant*. Мысль есть выражение смысла, *to think is to mean something... a thought is... a thinking-that... a Satz is a saying-that-things-are-combined-in-such-and-such-a-way*, «мыслить значит иметь что-то в виду, я мыслю значит я-думаю-что... Satz есть высказывание-что-вещи-сочетаются-таким-то-и-таким-то-образом». Мысль укладывает вещи, она установочна, так или иначе «полагает», и в этом смысле она фраза, Satz.

Еще один комментарий. *I equate pictures with assertions, for these are acts of saying (outwardly thinking) that such and such is the case. Sätze, in the full sense, seem to be such overt presentations*, «Рисунки надо считать утверждениями, актами говорения (вынесения мысли вовне), что то или иное имеет место; Satz'ы, в полном смысле, представляются такими открытыми презентациями». Мысли суть скачкообразные полагания-схватывания, фразы, оформляющие-формирующие мир. То же по сути и схватывание положения вещей рисунком.

Мы говорили о кружке-городе, изобразительно проблематичном, но

по жесту однозначном. Каждая фраза это новый сет в игре примеривания к миру, его очередная проба. Всякая такая проба высвечивает аспект того, что есть. Аспекты и сами по себе, и своей сменой, и скачкообразной внезапностью вспыхивания схватывают мир. Пересчет аспектов невозможен, они будут какие будут. Нам однако зря кажется, что, положив мир таким, мы потом сможем еще что-то в нем изменить. В каждой мысли как фразе он устанавливается жестко, как схватывается бетон. Внезапность выпадения новой данности и возможность ее бесконечной смены оставляют миру свободу от нас, но сковывают определенностью нашу мысль.

На вопрос, куда девалась у В. воображавшаяся нами первичная туманность мысли, приходится сказать: расслоилась на отчетливость Satz'a и принципиальную неуловимость скачка от предмета к фразе. Это достаточно важное нововведение в трактовке мысли, чтобы вопрос стоял уже не о том или ином «понимании В.», а иначе: если нам такой образ мысли показан, не будет ли с нашей стороны ошибкой не принять его, словно пересев с негодной машины на отлаженную? Нам предлагают сменить космологию. Наша не случайно была небулярной. Вселенная представлялась нам расслоением, створаживанием некой первичной туманности. А что если за исходное брать не туман, а отчетливый образ, схваченность всего в мгновенной неповторимости? Факт, что всё выпало именно так, создан скачком. Здесь можно вспомнить витгенштейновский исчезающий стул или ожерелье в шкапулке с прорезью¹, которое на самом деле не готовится в темноте к выходу из глубины шкапулки, а возникает в момент видения.

Как дикарь, которому дали поддержать стальной топор вместо каменного, я сразу и решительно отказываюсь от представления о мысли как о постепенно формирующейся бесформенности и принимаю витгенштейновское видение. Мы к нему подготовлены тем, что говорили о беспричинности мысли на примере отдергивания руки от огня. Я соглашаюсь с В., что казавшееся мне в моей мысли еще не обязательным, не обязывающим, не доопределенным, не дошедшим до решения, на самом деле лишь мерещилось мне таким. Я уговаривал себя, хотел уловкой и хитростью уйти от обязывающей определенности, с какой меня фиксировал раньше всякого содержания мысли тот факт, что мысль во мне есть. Я хотел ускользнуть от себя, воображая себя где-то в темноте перед вы-

1 См. ниже с. 353 и 405.

ходом на сцену слова и поступка, пока еще раздумывающим о способе и эффекте выхода, когда по сути я сразу был весь на сцене, высвеченный и действующий. Мысль не после неких операций, а с самого начала есть Satz, установление, как бы мне ни хотелось спрятаться от того факта, что я всегда уже успел обставить свой мир. Обстановка закрепляется по способу смены аспекта, и я еще не в курсе дела, пока думаю, что то, как я уложил мир, было задумано мною или продиктовано обстоятельствами. Aber mein Weltbild habe ich nicht, weil ich mich von seiner Richtigkeit überzeugt habe; auch nicht, weil ich von seiner Richtigkeit überzeugt bin. Sondern es ist der überkommene Hintergrund, auf welchem ich zwischen wahr und falsch unterscheide, «Но мой образ мира у меня не потому, что я убедил себя или меня убедили в его правильности; он есть унаследованный фон, на котором я отличаю истину от лжи».¹

Владение предложенным нам пониманием мысли принесет в частности ту пользу, что В. станет для нас прозрачнее. Разберем в новом свете 4.001: Die Gesamtheit der Sätze ist die Sprache, «Все вместе фразы суть язык». В немецком слове Sprache слышится sprechen, речь, т. е. имеется в виду не только словарь плюс грамматика, но именно собрание всех высказываний. Прошлых, настоящих, будущих? Одна дама комментатор считает: всех, какие зафиксированы лексикографами. Как тогда быть с положением В., что предмет и имя определяются лишь совокупностью всех их мыслимых употреблений? Ведь некоторые из них еще не состоялись. Правильным ответом будет: язык есть собрание всех мыслимых фраз, т. е. и всех возможных мыслей. Мысль, всегда уникально *такая*, так повернувшаяся, могла быть другой, повернуться иначе; смена ее аспектов просчитана быть не может, она всегда внезапно-непредвиденна. Язык поэтому открыт, и «совокупность всех фраз» означает не подсчитанный корпус высказываний в языке, а все мысли и речи. Как открыта мысль, так открыт язык — пространство укладывания мира.

После этой мягко расстеленной подготовки идет та упомянутая выше классика, где количество и весомость всплывающих тем необозримы. 4.002a: Der Mensch besitzt die Fähigkeit Sprachen zu bauen, womit sich jeder Sinn ausdrücken läßt, ohne eine Ahnung davon zu haben, wie und was jedes Wort bedeutet. — Wie man auch spricht, ohne zu wissen, wie die einzelnen Laute hervorgebracht werden, «Человек владеет способностью выстраивать языки (речи), позволяющие выразить любой смысл, не имея

1 Л. Витгенштейн, О достоверности (WA 8, 94).

ни малейшего понятия о том, как и что означает каждое слово. — Как и говорим мы, не зная, как произносятся отдельные звуки.» В этих зачарованных от времени и непонимания словах такая доходчивая суть, что их проглатываешь вместе с тем, что в них проглочено, т. е. не сказано, а показано. Расхожее понимание их такое: человеку дано приспособление, об устройстве которого — что оно такое и как работает — он не имеет представления, но оно ему служит для выражения всякого смысла. Сказано отчетливо и прозрачно, не оставляя повода для кривотолков. Показаны при этом два полюса, один из которых темен, это значения слов, о которых человек не имеет понятия, а другой, наоборот, открывает сквозную перспективу, где свобода выбора и умение ориентироваться сами собой разумеются. Так я не знаю, какие мышцы и как работают при ходьбе, но вот знать, как подняться и пойти, это сколько угодно. Полярность полной дезориентации, с одной стороны, и коридоров смысла, с другой.

4.002b: Die Umgangssprache ist ein Teil des menschlichen Organismus und nicht weniger kompliziert als dieses, «Обиходный язык есть часть человеческого организма и не менее его сложен». До сих пор некоторые комментаторы надеются, что сказанное здесь и вошедшее в хрестоматию все-таки еще не сказано. Продолжается яркий контраст: нам нет ничего ближе тела, но из всех природных, живых, неживых и художественных вещей наше тело всего менее ясно по своему происхождению и назначению. Самое удобное, управляемое и самое сложное, неприступное. Далее контраст усиливается. 4.002c: Es ist menschenunmöglich, die Sprachlogik aus ihr unmittelbar zu entnehmen, «Нет никакой человеческой возможности непосредственно извлечь из языка его логику». Русские переложения здесь невыгодно отличаются от буквального английского перевода. Не веря, что язык часть человеческого организма, наши толкователи поправляют: язык есть часть человеческого «устройства» (социального?) Не верят, что человек не знает, как произносит звуки: наверное, он не знает как они возникали исторически. Не верят, что молчаливые соглашения, обуславливающие понятность обыденного языка, чудовищно сложны как само тело: исправляют, «чрезмерно усложнены», как если бы В. с оптимизмом эсперантистов предлагал вмешаться в естественный язык и его упростить. Переправляют «по-человечески невозможно» на «люди не в состоянии» извлечь из языка логику языка. Если какие-то люди не в состоянии, поможем им? У В. просто и ясно: нет никакой человеческой возможности взглянуть в язык, которым мы по-

стоянно пользуемся, и разобрать его до его логических оснований. Русских переводчиков ведет. С отвесной прямоты витгенштейновской мысли всего легче соскользнуть.

В 4.002d мы слышим как будто что-то знакомое. Die Sprache verkleidet den Gedanken. Und zwar so, daß man nach der äußeren Form des Kleides nicht auf die Form des bekleideten Gedankens schließen kann. «Язык преодевает мысль. А именно так, что по внешней форме одежды нельзя заключить о форме одетой мысли.» Это выглядит вариацией старой темы мысли и звука как души и тела. Акцент однако другой. Подчеркнута разница, опять непреходимая, между наблюдаемым и ненаблюдаемым. Попытка определить, что именно наблюдаемо и что нет, наткнется на апорию. Наблюдаемым в языке окажется смысл. Указательная стрелка направления пути первой бросается в глаза. Ненаблюдаемым остается организм, включая звучащую сторону, о которой мы не знаем, ни как она звучит, ни с чем связана. В старой метафоре души и тела языка проглядывала гармония между тем и другим. Когда В. говорит о языке как одежде, то лучше думать о маскхалате, камуфляже, защитной форме и их целевом военном назначении. На войне надо прятать тело.

Переход от языка к философии не должен казаться внезапным; первый тезис 4 раздела уже отождествлял мысль и фразу. *He от того* языка идет В. к философии, в отношении которого ставится сложная проблема «мысль и язык». 4.003a: Die meisten Fragen und Sätze der Philosophen beruhen darauf, daß wir unsere Sprachlogik nicht verstehen, «Философские проблемы и тезисы держатся большей частью на том, что мы не понимаем логику нашего языка». Пойми логику, и проблемы отпадут? Так большей частью читают это место. Конечно, удержать в голове сразу две вещи каждому трудно, но все же 15 строками выше у В. было сказано, что нет никакой человеческой возможности вычислить из нашей речи логику нашего языка. Ее стало быть не стыдно не понимать. Не стыдно быть беспомощным рядом с тем, что menschenunmöglich; стыдно, наоборот, воображать что ты ее понял и строить свою мысль по самодельным конструктам. Стыдно высушивать язык до логической схемы.

Новость витгенштейновской дефиниции философии не в нападении о том, что среди всех наук она одна ходит по границе, постоянно натываясь на апорию, впритирку к невозможному. Древняя задача мысли, узнай себя, уже сопровождалась пониманием, что знать себя дано только Богу. Новость В. (но уже отчасти и Соссюра) та, что наш язык, не входивший в число непостижимостей, казавшийся заведомо сво-

им — что мне ближе чем говоримое мною сейчас? — вдруг отошел в неприступность и непознаваемость. То, что, особенно в интенсивной языковой школе конца 19 и самого начала 20 века, считалось своим двором и хозяйством, оказалось не хозяйством, и если своим, то в таком же смысле непостижимого ближайшего своего, как в «узнай себя». Произошло открытие языка как части человеческого организма и тут же его закрытие.

Дефиниция философии дана в 4.0031: Alle Philosophie ist «Sprachkritik», «Вся философия есть „критика языка“». Взято в кавычки название не столь давнего для В. огромного труда Фрица Маутнера (1849–1923) «К критике языка» (Beiträge zu einer Kritik der Sprache, Stuttgart 1901). У Маутнера языковые (почему не любые?) привычки мешают думать строго; длинен перечень помех, которые естественный язык ставит чистой мысли: нелогичность, двусмысленность, мифичность. Для В. с естественным языком все в порядке, критикуется не он. Критика языка должна идти не в смысле Маутнера, а уточнено как: «Заслуга Рассела в демонстрации того, что кажущаяся логическая форма фразы не обязательно ее настоящая форма»; критике подлежит кажимость в языке и наша схема его, цель критики — реабилитация естественного языка и возвращение к нему. Мы уже видели, что самым явным в языке оказывается стрелка смысла, а невидимым — логическая форма, о которой мы пока поняли только, что она связана со всевыбирающим размахом мысли.

Тезис 4.01 — еще одна трудность, введенная как бы для проверки читателя на повторение уже пройденной ошибки: «Фраза есть рисунок действительности. Фраза модель действительности, как мы ее себе мыслим.» Следует ли отсюда, что необходимо изобразить в речи действительность? О такой задаче или цели речь идти не может. Фраза с самого начала, до нас и помимо нас есть уже образ и модель действительности, взятой нами в мысль. Скажем резче: нам не дано стараться о том, чтобы фраза стала рисунком и моделью; это нам обеспечено и так. Язык часть нашего организма; он уже дал знать о себе, даже если мы того не хотели. Наше дело теперь заметить, что именно произошло, и каким образом. Произошло достаточно для того, чтобы читать 4.01 не как программу.

Смущать тех, кто попался в ловушку тезиса 4.01 и настроился хлопотать о рисовании образа и построении модели действительности, начинает уже следующий номер 4.011. Там предлагается посмотреть на нотоносец с нотами: это рисунок, модель музыки. Мы интеллектуалы и вообразим что-то вроде идеи композитора на листе бумаги и ее будущего

воплощения в игре исполнителей. В. так высоко не парит. Надо успокоиться на элементарно простом уровне: ноты рисунок музыки в том примитивном смысле, что если нотный знак проставлен на нижележащей линейке, то звук ниже, если на вышележащей, то выше; когда значки поднимаются вверх, то и рука пианиста тоже движется вверх по клавишам. В том же смысле выражение aRb прямо моделирует положение вещей: a стоит слева от R , знака отношения, b справа точно так же, как например дверь справа от доски, доска слева от двери. Hier ist das Zeichen offenbar ein Gleichnis des Bezeichneten, «Знак здесь явно некое подобие обозначенного». Gleichnis здесь интересное слово, которое означает подобие, символ и в своем корне имеет равенство: a и b совсем не похожи на доску и дверь, но в своем взаиморасположении справа и слева друг от друга они совершенно то самое что доска и дверь, причем не через семантику, а мимическим жестом, самим своим телом, поступком выступления слева или справа. Перемещение вверх и вниз по нотоносцу карандашом, пальцем или глазом — не обозначение чего-то через условную систему знаков, а именно есть то самое движение, что движение вверх и вниз по клавишам. «И если мы вникнем в существо этой рисункообразности, то увидим, что *кажущиеся нерегулярности* (как применение диеза и бемоля в нотном письме) ее *не нарушают*» (4.013). Встраиваемые в нотную запись другие знаки повышения и понижения звука — тоже мимические жесты, только другие по способу. Допустим, жест двойного перекрестного перечеркивания (диез) равен перемещению пальца минимальным косым движением вверх по струне.

Мимесис, напрямую. Никаких передаточных пунктов. Никакого семантического реле. Неинтеллектуально? Но В. настаивает. Я рисую, пробую, мерю, говорю как двигаю столами-стульями-книгами-тонами. Словно врезаюсь в вещество. Мое тело с самого моего появления и еще раньше, в сущности еще до меня самого уже тоже вторглось в вещество, да, вернее, из него никогда и не выходило. Оно за меня до меня давно вело «моделирование» мира тем, что сложилось таким и так по своему изменялось. Как прочно В. стоит здесь в традиции мысли, покажет параллельное чтение, выбранное наугад.

Если одним и тем же пером, одними и теми же чернилами, на одной и той же бумаге выводить некие знаки, они вызывают в душе читателя представления битв, бурь, фурий и возбуждают у него страсти негодования и печали; если другим, хотя почти сходным образом водить пером, то чуть отличное его движение вызовет совершенно обратные представления ти-

шины, мира, удовольствия и возбудит страсти любви и радости. Нам, может быть, возразят, что письмо и слова непосредственно вызывают в душе лишь представление о буквах и их звучании, после чего она, разумея значение этих слов, сама вызывает в себе образы различных вещей и относящиеся к ним страсти. Но что сказать о чувстве боли или щекотки? Меч приближается к нашему телу, он рассекает кожу; одно это движение вызывает у нас чувство боли, не давая нам в то же время представления о движении или фигуре меча [...] Природа нашей души такова, что одних движений некоторых тел столь же достаточно для возбуждения в ней описанных выше чувств, сколь достаточно движения меча чтобы вызвать в ней боль.

Только латинский стиль и приводимые примеры отличают здесь Декарта (Начала философии IV 197) от В.

«Граммофонная пластинка, музыкальная мысль, нотная запись, звуковые волны стоят все в том срисовывающем (abbildenden) внутреннем отношении друг к другу, какое существует между языком и миром» (4.014). Нужно держаться этой беспересадочной прямоты. Профиль звуковой дорожки звукозаписывающего прибора перерисовывает смену колебаний звуковых волн и движение музыкального тона. Можно резать музыку сразу по граммофонной пластинке. В том же отношении состоят между собой язык и мир. Мы привыкли думать, будто одно дело звучания, а другое музыкальная мысль? Нам предлагают принять, что музыка врезается прямо в пластмассу, в магнитное поле, в слух, в ноты, в вещество. Это сказочная действенность слова, звука, в которых продолжается непосредственное присутствие вещества, растения, животного, человека. Сказка названа в том же 4.014: «Как в сказке о двух юношах, их двух лошадях и их лилиях. Они все в известном смысле одно». Срезание лилий прямо, не метафорически губит братьев. Метафора придет позднее, после ослабления сказочного тождества; сейчас кони скучают не потому что хотят сообщить или выразить, а потому что кони сами же братья и есть: одно и то же проходит через разные среды, как один и тот же свет преломляется в разные цвета. «Возможность всех символов, всей образности нашего способа выражения покоится на этой логике срисовывания» (4.015). «Чтобы понять существо фразы, вспомним об иероглифическом письме, срисовывающем описываемые им факты. И из него возникло буквенное письмо, не утрачивая существа этого срисовывания» (4.016).

Искусство, с каким иероглиф срисовывает положение вещей, невероятно сложно, не проще вещества, к которому оно льнет, и по-человечески невозможно извлечь из иероглифа правила этого искусства; но что «дело обстоит вот так», не надо долго догадываться, это в иероглифе кричит. Как именно «вот так»? Здесь сразу становится трудно или даже, как в непрочитываемых шведских наскальных иероглифических рисунках, невозможно объяснить способ перерисовывания, но неопределимая определенность этого «именного так» становится оттого лишь более маящей. Иероглифы, наскальные рисунки, руны, фонетические письмо сходятся в свойстве решающего мимического жеста. Изолированное в словаре слово зависает, просит комментария к своему смыслу и назначению, нуждается в контексте; фраза по определению как уложенное, поставленное, отрезанное, как правило и закон, требует принять или не принять ее на *да* и *нет*. Фразовый рисунок достигает простоты в том своем измерении, где он не суждение в смысле вывода и умозаключения, а вмятина, оставленная действительностью.

Фразовая форма, вмещающая в себя любое содержание, сама не требует комментария. Она *фиксирует* действительность. Фиксированная действительность не вторая, не отражение первой в ментальном процессе, а та самая и есть. Разговор о рисунке (образе) заставляет жалеть о бессилии наших выражений. Рисунком, как его понимает В., факт не дублируется; фраза не новый факт к имевшемуся, а тот же самый. Он нужен потому, что только через него или, вернее, только им факту говорится *да* и *нет*. «Фраза *показывает* свой смысл. Фраза *показывает*, как обстоит дело, когда она истинна. И она *говорит*, что оно таким образом обстоит» (4.022). Прояснение разницы между показать и сказать не может быть проще, тут его трудность. Не вдаваясь в то, каково именно положение дел, видно, что фраза дает что-то знать. Надо до интерпретации произносимых слов обратить внимание на выставленность фразы. Упустив это простое, мы не выйдем из области лексики.

Что В. занят собственно только базовым уровнем фразы, не всем очевидно. Еще меньше понятно, для чего он это делает. Господствует представление, что действительность показывает себя помимо речи; смотрите и увидите. Некоторые теории сводят функцию и итог речи к дейктическому жесту, словесному *смотри* вместо показа пальцем. Другие наделяют язык (речь) коммуникативной, аллокутивной, номинативной

функциями. В любом случае язык остается средством или средой. У такого теоретизирования о языке огромная традиция, на комическом полюсе которой будет велено никогда ничего не говорить, погрузившись в молчание, а на трагическом скажут, что кроме среды языка у нас нет другого мира; между этими сходящимися крайностями расположится веер разных воззрений на то, как слово относится к вещи. Общим для всех будет то, что оправдать язык и защитить его от рационализации не удастся. У В. слово и вещь (дело) одно и то же. Почему он продолжает говорить о них отдельно? Потому что показ имеет дело с аспектом. То, что не подлежит смене аспекта, например цвет, не может быть и описано. Речь посетителей зоопарка состоит почти полностью из *смотри!* Хотя тот, кого приглашают это сделать, только и делает что именно смотрит, совет не абсурден. За ним стоит скрытая от самого советчика справедливая уверенность, что *так* видеть, как видит он, живо захваченный присутствием таинственных братьев, не может никто, потому что вся его неповторимая индивидуальность втянута во взгляд. Призыв *смотри!* указывает разумеется не на обезьяну, что было бы абсурдно, потому что все и так ее видят, тем более что сосед тоже говорит *смотри*, а на то, каким уникальным аспектом она открылась видящему и открыла ему себя. Приглашают увидеть то, чего другой не видит, даже если смотрит туда же: призывают увидеть аспект, захвативший самого зрителя.

Меняющиеся аспекты видимого бесчисленны в обоих смыслах: невозможен их исчерпывающий перебор и невозможен их априорный просчет, т. е. алгоритм перехода из одного аспекта к другому. Зрение может оставаться при одном аспекте и не только не быть готово перейти к другим, но и не подозревать об их существовании и даже сердиться от простого напоминания о возможной смене глаз. Уверенное «я так это вижу, значит так оно и есть» выдает страх перед той неожиданностью¹, когда никто, как при полете игральной кости, не знает, каким выпадет следующее зрение у другого человека или у него же самого. Еще одна форма страха перед сменой аспекта — научное (психологическое) объяснение нового видения, привязывание аспектов к причинам. Цель такой теоретизации — остановка аспектной смены в том же смысле, как мы читаем у Платона о связывании самоходных своевольных автоматов Дедала². Аспектная смена — спонтанный и самодеятельный автомат. В общей

1 Ср. выше с. 123 о платоновском ἐξαίφνης, *внезапно*.

2 См. ниже с. 447.

тенденции к планируемому автомату наша цивилизация стоит под растущей угрозой не заметить или объяснить настоящий автомат. Не автомат явление жизни, а скорее наоборот, живое со своей спонтанностью только частный случай автомата, более широкого феномена чем жизнь и развертывающегося на большем пространстве чем она.

Показать значит всегда показать аспект и, стало быть, сообщить такое, что без показа открылось бы только в порядке смены зрения, т. е. в форме непредвиденного скачка. Смена зрения не только предстоит, но уже сейчас произошла по сути, не в деталях, в виде существования разных глаз. Не обязательно добавлять «у разных людей», потому что зрение более исходный феномен чем индивидуальные различия, и не неисчислимость аспектов объясняется множеством сосуществующих индивидов (физических или ситуативных, потому что ситуации тоже можно считать индивидами), а наоборот, неисчислимость индивидов обеспечена и подпитывается спонтанной сменой аспекта. В этом смысле лейбницевская монада, более простое и базовое образование чем индивид, определяется как взгляд Бога.

В отличие от *показать*, стоящего на разности аспектов и без нее излишнего, поскольку показываемое и без того у всех на виду, *сказать* сообщает о сложившемся положении дел безотносительно к аспекту, потому что не предполагает его изменения. Показать значит открыть новый аспект или возможность изменения аспекта, сказать сводится к докладу о замеченном положении вещей. Показ ключ к аспекту; сделать, чтобы взгляд изменился, нельзя иначе как на предъявленном примере другого взгляда. Если я так вижу, то могу заразить своим видением и вас. А если бы не видел? Что не вижу ни я, ни вы и никто, не существует, или, по Августину, это видит Бог.

Подключить перспективу непредсказуемой смены аспекта значит признать, что всё сказанное условно и может быть повернуто; истина в одних глазах не видна другим и не будет видна этим же самым глазам позже. Поэтому никакое говорение невозможно без примеси безусловного *это именно так и не иначе*. Отсюда 4.023a: Die Wirklichkeit muß durch den Satz auf ja oder nein fixiert sein, «Действительность должна фиксироваться фразой на да и нет». Сам В. не мог перевести этот тезис на английский язык, не соглашался с чужими трактовками и запутывался в объяснениях. Стараясь держаться объяснений В. и забывая, какой была его нелюбовь к любым объяснениям, запуганные переводчики дают вместо перевода толкование: «Предложение может определять дей-

ствительность настолько, что для приведения его в соответствие с ней требуется лишь сказать „да“ или „нет“, и ничего больше». Продуктивная темнота В. превращается тут в безысходную. Вовсе не обязательно В., не умевший перевести свой тезис, должен был уметь его толковать лучше других. Требовать объяснений от него можно не больше чем от поэта. Ольга Александровна Седакова совсем не умеет себя интерпретировать и удивляется, когда в ее стихе видят смыслы, о которых она не догадывалась. К энергии и цели витгенштейновского тезиса всего ближе перевод D. F. Pears и B. F. McGuinness: A proposition must restrict reality to two alternatives: yes or no, «Пропозиция должна строго ограничить действительность до двух противоположных возможностей: да или нет». Здесь сохранено долженствование в смысле, о котором говорилось выше: если высказывание не достигнет однозначности, оно уведет в перебор аспектов.

По В., фраза фиксирует действительность как гвоздь картину на стене, остается только выровнять ее. *Да* и *нет* впервые сосредоточивают фразу на предмете. После всего высказанного во фразе требуется операция, осуществляя которую, мы наводим фразу именно на это и *не иное* положение вещей¹. Теперь фраза имеет смысл. Последний русский перевод заменяет важное у В. «пропозиция должна» на «пропозиция может», уводя тем самым от существа фразы к ее описательным возможностям. Речь об «определении» и «соответствии» действительности возвращает к теории отражения, тогда как фраза в своем существе — не сильное отражение предмета, а установление прямого тождества ему. Фразовый рисунок, не вывешенный строго по горизонтали и вертикали на своем гвозде, т. е. не сопровождаемый строго определенным *да* или таким же *нет*, имеет пока еще неопределенное отношение к действительности.

Тема долженствования продолжается в 4.023b: Dazu muß sie durch ihn vollständig beschrieben werden, «Для [фиксации действительности на да и нет] она должна быть полностью описана ею [фразой]». Читать этот тезис надо опять же вовсе не так, что подробно опишите мне действительность, тогда я вам скажу да или нет. У В. много упражнений на абсолютную невозможность полного описания; широко известен его пример с просьбой принести метлу, когда усилия уточнить, какой именно предмет требуется, только безнадежно запутывают ситуацию. Русский

1 О фокусирующей функции *да* и *нет* ср. также выше с. 73.

перевод (1994) процитированного выше тезиса — «*нужно, чтобы действительность полностью описывалась им* [предложением]» — ориентирует на Сизифов труд. Витгенштейновское *muß* императив, а не предписание. Это разные вещи, на смешении которых основан принцип итальянской забастовки: поймите императив как предписание, и вся работа будет сорвана. Не так, что доведением описания до полноты человек подводится к однозначному да-нет, а прямо наоборот: где по причинам, не легким для прояснения, срабатывает защелка *да-нет*, там оказывается и полнота. Определение полноты описания: она достигнута там, где включаются *да* и *нет*. Здесь под ногами В., как всегда, классическая философская почва. Можно вспомнить платоновского судью (в «Софисте»), который принимает решение не потому что знает больше всех факты.

Что полноту описания нам придется понимать заново, видно из 4.023с: «Фраза есть описание положения вещей», т. е. не эмпирии, а обстоятельств логического пространства, и из 4.023d: «Как описание описывает предмет по его внешним свойствам, так фраза описывает действительность по ее внутренним свойствам». В синтаксисе этого последнего тезиса заложены сохраненное в переводе 1958 и полустертое в переводе 1994 противопоставление фразы описанию и двузначность термина описание. Провокативное «как-так» приглашает: попробуйте сравните, увидите разницу. Она та же, что между внутренним и внешним¹.

В тезисе 4.023е с нас снимается необходимость уточнять дефиницией каждое слово и каждую грамматическую связь; названо то, на что можно надежно опереться среди сплошного перекрестного взаимоопределения понятий: «Фраза конструирует мир с помощью логического острова». Строительство мира; о нем идет дело во фразе. Конечно, открывающаяся тут перспектива целого выводит из неопределенности лишь на момент; в пределе по-прежнему высится проблема проблем. Нет ниче-

1 В. использует затасканную пару внутреннего-внешнего из демократического аристократизма, в опоре на без слов ясный смысл возвращая жизнь расхожему противопоставлению, как и вообще его речь спасает общекультурный разговорный язык от последнего опошления, — ход *противоположный* Хайдеггеру, который словно не слышит язык интеллектуальных толков (Gerete) и создает терминологию заново; ход *параллельный* Хайдеггеру, поскольку оба опираются на повседневный язык семьи, мастерской, улицы. Существенное сходство между двумя философами скрыто, противоположность остается внешней; Хайдеггер выплескивает грязную воду и берет чистую словно из шварцвальдского ключа, выходящего из-под земли рядом с его хижинкой, Витгенштейн умудряется грязной водой отстирать свои вещи до чистоты; итог одинаковый.

го яснее мира. Мир понятным образом выстраивается во фразе. Фразовая форма остается в своем существе его слепком, иероглифом, жестом. «Это мы видим из того, что мы понимаем смысл фразового знака без того, чтобы его нам объясняли» (4.02). Объяснять приходится всё, в том числе и каждую часть фразы, но не ее саму; фразовая форма нам ясна как-то и так. Нетрудный контрольный вопрос: мы начинаем понимать фразу после того, как услышали все ее части? Нет, наоборот: фраза своей необъяснимой ясностью несет на себе свои части, они проявляются из целого. Фраза получает целость, мы видели, не от накопления деталей, а от выхода к перспективе и нет. Отсюда, из логического пространства, начинается всякое описание, определение, выражение. Ключевое значение фразы подчеркивается в 4.03: «Фраза сообщает нам положение вещей, поэтому она должна быть *сущностно* взаимосвязана с этим положением вещей». Фраза умеет своим существом совпадать с тем, как всё обстоит; она наделяет нас (*teilt mit*) положением вещей. Фраза вдвинута в нас как агент *того самого*.

Проверим себя, верно ли мы понимали В. до сих пор. В нижеследующих афоризмах он скажет, каким образом фразе удастся внедриться в положение вещей, в опоре на какую силу, какой убедительный фактор, через какого носителя. Фраза, слышим мы, получает уникальное свойство вникать в действительность от тождества (*Identität*) с нею. Без всякого объяснения о каждой фразе, истолкованной или нет, русской или китайской мы знаем, что она о *том самом*, о сути дела. Мы, люди, строим себе картины положения вещей (2.1); мы такие существа, что раньше всего, в первую очередь прилагаем мерку, масштаб к миру, пробуем его. Фраза тождественна действительности, поскольку она то, о чем идет речь. Что не удастся никакой подробности описания, никакому копированию деталей, угадывается нацеленностью фразы на *это*¹.

Искомое тождество — повторим это, помня обманчивую простоту витгенштейновской лексики, — не имеет отношения к дублированию предмета через его отражение. Логический рисунок (образ) не повторение мира; никакой речи о создании второй действительности где-то в сознании не идет. Титаническое творчество не для нас. Выстроить другой такой же мир нам не удастся. Мы никогда ничего не делаем, кроме как примериваемся к *тому самому*. Знаменитый афоризм 4.031 «Во фразе как бы пробно складывается положение вещей» имеет подтекстом (в

1 Ср. выше с. 90 предмет как *это*.

связи с не менее известной дневниковой записью о куклах в здании парижского суда) детскую игру. Игра младенца не по правилам, т. е. игра в правила, — наиболее прямая и непосредственная проба *всего*. Развитие той же игры-пробы в играх школьного возраста, науках, искусствах сводится только к *ограничению* ранней игры введением правил. Рискованная игра цивилизации отличается от игры ребенка механичностью, косностью и тем копит энергию для своей смены. Непременность перемен обеспечена ножницами между положением вещей и его картиной. Связь между ними с усложнением цивилизационной механики всё в большей мере опирается только на логическое тождество.

Кажущееся противоречие нашего последнего замечания вынуждено важной проблемой. Тождество самостоятельно и надежно, но требует к себе внимания, никогда не сводясь к односложности. То, с чем мы благодаря тождеству получаем возможность иметь дело, всегда оказывается членораздельным. 4.032а: «Фраза есть рисунок положения вещей лишь поскольку она логически артикулирована». Латинская фраза, состоящая из одного слова *ambulo*, «я гуляю», простой или сложный знак? Он сложный, потому что тот же корень с другим окончанием или то же окончание с другим корнем даст иной смысл. Это анализ на уровне начальной школы. Второй признак сложности простого *ambulo* менее очевиден. Если заменить основу той же фразы, получится другой смысл; и отсюда уже только один шаг до замены основы и окончания вместе. Сложность фразы таким образом заключается не столько в ее структуре, сколько в том, что на ее месте могут стоять другие фразы. Любая фраза в принципе сложная уже по той элементарной причине, что не единственно возможная. Создается ли ее членораздельность также и тем, что на ее месте могло вообще ничего не стоять? Да. Простейшая фраза сложна уже тем, что ее могло не быть. Что тогда будет совершенно простым? Вообразите что-то вне всякой связи с чем бы то ни было, и получите искомое.

Нам становится понятнее следующий афоризм 4.04а: *Am Satz muß gerade soviel zu unterscheiden sein, als in der Sachlage, die er darstellt*, «От фразы надо ожидать ровно столько же всего для различения, сколько от представляемого ею положения вещей». Смысл здесь вовсе не тот иногда предлагаемый комментаторами, будто во фразе должно быть столько же «разных составляющих» сколько в «ситуации». В ситуации для этого всегда окажется слишком много составляющих. *Sachlage*, положение вещей, уходит корнями как дерево в почву мира. Самая простая фраза тем, что она другая, чем прошлые и будущие фразы, и другая, чем

фразы, которых никогда не будет, тоже уходит корнями в почву. Какую? Легкомысленно было бы считать, что языковую; фраза всегда связана с тем, что не может быть сказано, и стало быть углублена в ту же почву, что и положение вещей.

Для описания этой сложности в 4.04b вводится термин *logische (mathematische) Mannigfaltigkeit*, «логическая (математическая) множественность»: «Они оба [фраза и обрисовываемое ею обстояние] должны иметь одну и ту же логическую (математическую) множественность». В дневниковых заготовках к этому месту В. говорил не «логоико-математическая множественность», а «логические свойства». Чтобы перейти от термина к тому, чего он ищет, надо вернуться к самим вещам. Ссылка В. рядом с процитированным местом на немецкого физика Генриха Рудольфа Герца (1857–1894) мало помогает и может означать только, что при чтении § 418 его «Первоначал механики»¹ В. думал о свойствах фразы как логической модели действительности. Ожидать от В., что его мысль перестанет двигаться, не приходится. Ни термины, ни ссылка на Герца, ни выражения В. нам не опора; только свои глаза и само дело.

Соображением о почве, куда уходит корнями фраза, мы подготовлены к 4.041: «Саму эту математическую множественность, естественно, невозможно в свою очередь отобразить». В переводе 1994 опущено важное «в свою очередь»: мы поочередно изображали всё всем, но теперь дошли до такого, что обрисовать уже не удастся. Обратим внимание на письмо В. Только что (4.032) он на примере *ambulo* проиллюстрировал, в чем заключается составность. Аналогичным образом, читаем в следующем тезисе 4.04, составлен всякий Satz, поскольку он имеет «математическую множественность». Изобразить парадигму спряжения нет ничего проще, ее схемы даются в каждом учебнике; почему же «естественно» невозможно отобразить логическую множественность? Потому что во фразе, говорят нам, должно различаться ровно столько же всего, сколько в отображаемом ею положении вещей. Казалось бы, возьми различия

1 «Материальная система называется динамической моделью другой системы, когда взаимосвязи первой могут быть выражены такими координатами, что они будут удовлетворять следующим условиям: 1) число координат первой системы равно числу таковых второй; 2) при адекватном устройстве координат для обеих систем имеют место одинаковые уравнения состояния; 3) при таком устройстве координат выражения для величины смещения согласуются в обеих системах.» Акцент надо ставить на динамике: сдвиги одинаковой относительной величины имеют одинаковое выражение в обеих системах, т. е. и на будущее им обеспечено не разойтись друг с другом.

мые части фразы и изобрази их, на то они и различаются. Оказывается, это невозможно. Тезис сам по себе таким образом совершенно не очевиден. В самом деле, почему бы, отвлеченно говоря, создавая себе рисунки фактов, мы не могли составить рисунок рисунка. Или тут мы встречаем трудность того же рода, как при попытке описать Я? «Невозможно из нее (математической множественности) при отображении выбрать-ся»; она неизбежно будет входить в сам жест отображения, обязательно имеющий «логическое качество». Этот жест будет прежде всего тем мысленным охватом, о котором говорилось выше при разборе 3.031b: Wir könnten nämlich von einer «unlogischen» Welt nicht sagen, wie sie aussähe, «О мире без „логического свойства“ мы не могли бы сказать, на что он похож»: всё сказанное нами окажется так или иначе рисунком положения вещей, фактом логического, т. е. уже взятого мыслью мира. Поскольку мыслью сразу охвачено всё, что бы мы ни подумали, нельзя сказать то, что до речи (мысли). Необдуманное и немыслимое тоже помыслено как такое. Представить эту представленность, найти для нее знак мы не можем, потому что она успеет войти в любое представление и в любой знак.

Невозможность представить «логику фактов», невозможность видеть, что она *собою представляет*, для В. принципиальна. 4.0312b: Mein Grundgedanke ist, daß die «logischen Konstanten» nicht vertreten. Daß sich die *Logik der Tatsachen* nicht vertreten läßt, «Моя основная мысль та, что „логические константы“ не представители. Что *логика* фактов не дает себя представить.» Охват всего мыслью не редуцируется ни к более фундаментальным, ни к альтернативным структурам; заменить вхождение факта в логическое пространство каким-либо другим выражением невозможно.

Уход фраз и обстоятельств в бесконечность связей, с одной стороны, и универсальность логики, с другой, — одно и то же явление. Дело в том, что у В., как мы увидим еще на примере его теории числового ряда, бесконечность связей не обязательно должна указывать в сторону неисчерпаемой сложности мира. Мир имеет право быть совсем простым или даже состоять из ничего, бесконечная перспектива оттого никуда не денется. Символ осложнен уже своим соседством с возможностью его отсутствия; это соседство в свою очередь становится фактом логического пространства. Возникающая множественность подлежащего различению — не вещественная, а математическая, или логическая. Невозможность выразить ее В. показывает на примере. Заранее ясно, что ес-

ли отобразить ее невозможно, то и с доказательством неотобразимости будут проблемы. Итак, пусть нечто выражено через $\langle (x) . fx \rangle$, где на место x можно поставить что угодно. Взятый в скобки без квантификатора x означает любой x , точка $.$ означает простое сосуществование («логическое произведение»), а f — некую функцию, задаваемую аргументом x . Как понимает эту формулу Элизабет Энском, при всей узости своей трактовки сберегающая остроту парадоксов учителя, $\text{for all } x, fx, i. e. \text{ "Everything is } f\text{"}$, «для всех x, fx , т. е. „Всё есть f “». Доказательство неизобразимости математической (логической) многосложности этого fx Витгенштейн ведет от противного методом перебора возможных попыток ее все-таки изобразить (4.0411). Поставим перед fx индекс всеобщности, допустим $\langle \text{Alg. } fx \rangle$, т. е. отобразим всеместимость (x). Вместо лучше получилось хуже: теперь мы заставили себя и других уточнять, что именно и как обобщено, а для этого понадобится дефиниция всеобщности; вместо обобщения мы сузили простую данность (x), пустились по пути дальнейших пояснений, которым, легко догадаться, не будет конца. Логическая множественность оказалась тем самым нарушена. Она заключалась в том, что был выставлен предмет, любой x . Никаким способом описать, выразить, обрисовать простое выставление предмета невозможно. Ничего прямее и явственнее уже не будет.

Рассмотрим другой и, казалось бы, очень далекий пример простейшего полагания, сопоставимый с витгенштейновским формально-логическим. Разберем случай неопределенного именованного, встречающийся в любом фольклоре. Пример из русской песни:

Со вьюном я хожу
С золотым я хожу
Я не знаю куда вьюн положить
Я не знаю куда вьюн положить
Положу я вьюн
Положу я вьюн
Положу я вьюн на правое плечо
Положу я вьюн на правое плечо
А со правого
А со правого
А со правого на лево положу
А со правого на лево положу.

Определенность полагаемого здесь кажущаяся; действия с растением оставляют в полной неизвестности их предмет в смысле того, с чем

имеет дело поющий. Перекладывание вьюна — явно полагание, оставляющее возможность бесконечных подстановок. Интерпретация песни возможна (вьюн ребенок), однако песня не шифровка; каждое толкование потребует бесконечных объяснений. Что на самом деле выставлено этим хождением с вьюном на плече, выражено с открытой неопределенностью. Сделать это проще, чем сделано в песне, трудно или невозможно. Примеры простого универсального полагания известны всем. В музыкальной фразе именуется действительность, широта которой не может быть очерчена или переопределена другими средствами. Цвет в живописи уводит в бесконечность смыслов и его выразительное богатство, допуская разные толкования, не поддается описанию другими средствами.

То, что известно фольклору, поэзии и музыке, Витгенштейн показывает философии. Допустим, продолжает он доказательство невозможности представить логическую множественность, мы захотели бы еще как-то по-другому обрисовать, описать то, что происходит при полагании переменной x : снабдили бы x подписным g для обозначения его всеобщности; мы и тут обязали бы себя определением области распространения полагания (4.0411). Афоризм 4.0311: «Одно имя выступает за одну вещь, другое за другую, а между собой они связаны, и целое — подобно живой картине — представляет положение вещей». Фраза, пусть не на всех своих уровнях, в одном отношении живая картина, т. е. представляет положение вещей так, что *является им самим*; на базовом уровне она живая и равна нарисованному в ней обстоянию. В следующем афоризме 4.0312 названо, где проходит граница между удвоением вещей в своих представителях (знаках) и прорывом поверх или пониз удвоения к тождеству: *логика фактов* одна на фразу и на положение вещей. Ожившая картина отсылает к определению языка как части человеческого организма.

Вернемся к математической или логической множественности («логическому свойству»). Смело подступим к автору этого термина: Людвиг, какая множественность, когда в твоём примере $(x) \cdot f_x$ никакой множественности не видно, просматривается всеместимость. Если ты хочешь сказать, что на место x можно подставить что угодно, то при чем здесь «математическое» и, признайся, странная «множественность»? Ты имеешь в виду указующий жест, показывающий всё в мире, любую вещь, так что она приобретает логическое свойство включенности в поле зрения. Ты даешь широким жестом форму, в которую вмещается что угодно, и под множеством подразумеваешь подстановку чего угодно в пере-

менную? — Возможным ответом нам будет фраза из витгенштейновского предисловия к Трактату: «Я сознаю, что здесь [в выражении мыслей] я далеко позади возможного... Но *правда* сообщенных здесь мыслей кажется мне безупречной и окончательной.»

Говоря о жесте окрашивания всего в логическое качество, надо удержаться, как удерживается В., от чесотки «ну к примеру...». Возьмем все x ; все x будут f . Не надо шарить в поисках содержательного наполнения этой формулы. Лучше вспомнить о другом экстаике и безумце, который уверенно изрек, что всё вода. Витгенштейновское $(x) \cdot fx$ можно читать как тезис Фалеса, записанный логическими значками. Можно было объявить как Гераклит, что всё огонь. Это безумие вровень миру, который по Вольтеру *est fait pour nous enragier*, сделан чтобы приводить нас в ярость. В ответ на вызов мира мы бросаем ему вместе с Витгенштейном: $(x) \cdot fx$, для всех x имеет место fx , всё f -образно. Так гоголевский Пушкин в экстатическом прозрении отвечал как хозяин хозяину Хлестакову, тоже горевшему безумным экстазом овладения всем на свете. «Бывало, часто говорю ему: „Ну, что, брат Пушкин?“ — „Да так, брат“, отвечает бывало: „так как-то всё...“ Большой оригинал.» «Ну, что?» — вопрос, размахом равный ответу, который тоже на языке математической логики записывается как $(x) \cdot fx$. Видеть всё значит видеть всё окрашенным в цвет увиденности. Парменидовская истина открывает бытие как схватывание всего мгновенной такостью.

Не требует долгой проверки гипотеза, что невозможно определение, описание, именование, которое миновало бы эту ступень, называемую В. на его страх и риск математической множественностью или логическим свойством. Тавтологическая простота этого *всё так* поддерживается выходом в то, что не может быть описано, хотя со своей стороны во всякое описание входит. Любая подстановка в эту первофразу будет втягивать в бесконечные объяснения, как Фалесова *вода* провоцирует на интерпретации. Парменидовское, пушкинское и витгенштейновское *всё так* их не требует.

Контрольный вопрос: $(x) \cdot fx$ истина или ложь?

Попробуем разобраться. Сначала поступим, как советует 4.05: *Die Wirklichkeit wird mit dem Satz verglichen*, «Действительность подлежит сравнению с фразой». Разумное предписание. Сравним $(x) \cdot fx$ с действительностью. Обнаружится неожиданное. Нам ничто не мешает согласиться, что всё именно такое, f -образное, но нам не захочется возражать и если покажется, что это неверно, т. е. что $\sim\{(x) \cdot fx\}$! Странная ситу-

ация. Однако уже на первом интуитивном уровне она кажется естественной.

Теперь мы можем новыми глазами прочесть тезис 4.06: «Истинной или ложью фраза может быть лишь в силу того, что она рисунок действительности». Только отнесенную к действительности фразу имеет смысл называть истиной или ложью. В тезисе есть однако и незаметная другая сторона: ложность не ослабляет связи с действительностью! Ложный рисунок ничуть не меньше рисунок чем истинный и тем самым тоже есть рисунок именно этой действительности.

Последующие тезисы разворачивают парадокс отрицания, которое со временем занимает у В. все более важное место. В 4.061 и 4.062 объявляется равноправие ложных обозначений и фраз с истинными и возможность с тем же успехом объясняться ложными. Отрицание истины не мешает ей и не задевает ее; она словно не замечает поставленного ей барьера. Фразами, в которых знаки истины и лжи перевернуты, мы можем обмениваться так, словно ничего не произошло и всё осталось на своих местах. Мы с успехом объясняем ложными фразами вовсе не потому, что помним об их ложности и успеваем внести нужную коррекцию, а *потому что они становятся в нашем применении истинными*: фраза истинна, если дело обстоит так, как мы в ней говорим; и если под «р» мы имеем в виду $\sim p$, причем дело обстоит так, как мы имеем в виду, то фраза «р» в новой редакции истинна, а не ложна. Здесь снова уместно вспомнить поэзию, где то, что отрицается, продолжает работать с меньшим успехом, как если бы утверждалось.

4.0621: «Но что, стало быть, эти знаки „р“ и „ $\sim p$ “ *могут* сказать одно и то же, важно. В самом деле, это показывает что знаку „ \sim “ в действительности ничего не соответствует. Что во фразе встречается отрицание, еще вовсе не черта ее смысла ($\sim \sim p = p$). Фразы „р“ и „ $\sim p$ “ имеют противоположный смысл, но им соответствует одна и та же действительность». Логические знаки истины-лжи, да-нет можно вынести за скобки, оставив чистый рисунок, который и будет соответствовать действительности, лишь бы эти логические знаки, всё равно какие, не были упущены. В самой действительности полярность истины-лжи, да-нет не просматривается, но именно вынося их знаки за скобки, мы замечаем, что, не присутствуя в действительности, они и только они доводят рисунок до соответствия именно ей. В рисунке их нет, но описать возможно только то, чему можно сказать да и нет. Иначе невозможно знать, что именно описывается.

Соотношение между истиной-ложью, да-нет, вынесенными за скобки, и рисунком (описанием) повторяется в соотношении между философией и естественными науками. Выражение *естественные науки* у В. тавтологично; все науки по своему определению как занятые описанием действительности естественные; в частности, психология тоже *Naturwissenschaft*. (В русском переводе 1994 такую смелость В. не позволили и отредактировали «естественные науки» до «наук».) Другой статус у философии. 4.111: «Философия — никакая из естественных наук. (Слово „философия“ должно означать что-то стоящее над или под, но не рядом с естественными науками.)»

Острота различения направлена именно против психологии. 4.112: «Психология не родственнее философии чем любая другая естественная наука... Правда, большей частью они [философы] запутывались в несущественных психологических разысканиях.» Естественные науки состоят из пропозиций, фиксирующих действительность, словно картину на стене гвоздем, до той последней жесткости, когда осталось — и обязательно нужно — уточнить ее на истину-ложь, да-нет, словно подправить уже прибитую картину до строгой горизонтали и вертикали. По Карлу Попперу, который расходится с В. именно поскольку очень близок к нему, вовсе не будет наукой то, что не подведено к возможности проверки на истину-ложь, верификации и фальсификации. Для Поппера достаточно довести утверждения до этой чреватости истиной-ложью, чтобы они стали наукой. Тем же путем шел вначале В., требуя от науки большего: чтобы в каждом ее высказывании отсев уже произошел и оставлена только истина. Позже В. заметит, что на такую строгость способна только философия и что от науки требовать такого не приходится.

Тезис 4.112 «Назначение философии — логическое прояснение мыслей» мы теперь можем прочесть не в пошлом смысле оттачивания понятий, лексической обкатки. *Die logische Klärung der Gedanken* подразумевает выход в логическое пространство (введение горизонта истины-лжи, да-нет) как условие мысли вообще. Философия прочищает не на *светлее-темнее*, а на *да-нет*. Для этого требуется не лексический анализ, а поступок. Можно поэтому сказать, что философии всегда так же не существует, как не существует *да* и *нет* в действительности. Как всякий философский императив, требование ясности тут не предписание на будущее (например, выработать в себе со временем отчетливость мысли), а напоминание о том, что всегда уже произошло: не могло быть ни одной мысли, ни ясной ни темной, без горизонта да-нет, который

всегда предшествовал мысли и был упущен ею, если она оказалась неясной. Ясность ей может быть теперь не придана, а только возвращена.

Психологи рисуют круг и заполняют его понятием. Они и заполняют, почему нет, раз круг уже дан, но настоящая проблема в том, как и когда получился круг, откуда взялось место понятия. Что-то подобное кругу в ранней мысли всегда уже было. Формальный логик и психолог ошибаются, думая что нарисованный ими на доске круг только условное обозначение понятия или предмета; определенность круга не *похожа* на определенность понятия, а тождественна ей; *то самое*, что делает понятие очерченным, сделало круг опознаваемым как таковой; одно и то же доводит понятие в голове и черту в зрении до четкости. Невидимая готовность предшествует и рисунку и понятию; увидеть ее — задача философии. На фоне этого базового усмотрения сколь угодно тонкие формально-логические или психологические выкладки так же грубы, как черта мелом на доске.

В 4.12 мы встречаем вариацию того, что В. называл своей фундаментальной мыслью: «Фраза способна обрисовать всю действительность, но она не может изобразить то, что должна иметь общего с действительностью, чтобы уметь ее представлять, — логическую форму. Чтобы представить логическую форму, нам потребовалась бы способность выставить себя фразой за пределы логики, то есть за пределы мира.» Невозможно начать думать так, чтобы перестать думать; об этом уже говорилось. Теперь вопрос в другом. Мы разными путями приходили к тому, что горизонт, параметры, предельные полюса, в которые вписывается логическое пространство с логической формой, суть да и нет, истина и ложь. Действительность, наоборот, полярных параметров лишена и знаку отрицания «~» в ней ничего не соответствует (4.0621). Интуитивно мы чувствуем, что противоречия тут нет. Однако прояснение необходимо.

Начнем с 4.462a: «Тавтология и контрадикция не рисунки действительности. Они не изображают никакого возможного положения дел. Ибо первая допускает *всякое* возможное положение дел, вторая не допускает *никакого*.» И 4.463c: «Тавтология оставляет действительности всё — бесконечное — логическое пространство; контрадикция заполняет всё логическое пространство и не оставляет действительности никакой точки. Ни одна из них поэтому не может как-либо определить действительность.» Людвиг, позволь усомниться: оставить действительности *всё* логическое пространство или, наоборот, никакого — это

много; это всё же определение действительности, и едва ли не фундаментальное.

Если мы это заметили, то и В. сейчас заметит то же. 4.465: «Логическое произведение [технический термин, вид конъюнкции] тавтологии и фразы говорит то же, что фраза. Следовательно, такое произведение идентично с фразой. Тавтология оставляет всё место фразе, ничего не меняет в ней и ничего к ней не прибавляет.» Характеристику тавтологии, которая ничего сама не означает, стоя на краю возможной связи знаков, а именно там, где эта связь окончательно распадается (4.466d), свяжем с готовностью В. (на той же странице, 4.5) дать наконец «обобщеннейшую форму фразы, т. е. такое описание всех фраз *какого угодно* знакового языка, чтобы любой мыслимый смысл мог быть выражен подходящим под это описание символом и чтобы всякий подходящий под описание символ мог при соответствующем подборе значений имен выражать смысл». О том, что всеобщая форма фразы существует, Витгенштейну говорит опыт: за какое бы высказывание, пусть небывалое, мы ни взялись, мы *конструируем* его, т. е. стало быть обязательно предвидим, на что оно должно быть похоже, а не только задним числом оцениваем, получилось оно у нас или нет. Итак, *Die allgemeine Form des Satzes ist: es verhält sich so und so*, «Всеобщая форма [всякой, какой угодно] фразы [сводится к повторяющемуся утверждению]: дело обстоит так-то и так-то» (4.5 конец). Частная форма фразы уточняет, как именно оно обстоит. Для предметов при этом подбираются соответствующие имена, но *смысл* (направленность) для частной фразы подыскивать не надо: он есть уже и так, обеспечен всеобщей формой и сводится к тому утверждению, что именно это положение вещей именно таково. Мы догадываемся, что тавтология должна иметь к всеобщей форме фразы прямое отношение. Фраза есть тавтология постольку, поскольку повторяет то самое, о чем говорит положение вещей.

11 ДА И НЕТ

Наша цель не перевести главные тезисы трактата и не изложить его, а приблизиться к его замыслу, как приближаются к большой неизвестной планете. Так или иначе людям, дожившим до 21 века, ее уже не обойти. Мы хорошо сделали, вовремя допустив, чтобы от ее притяжения, тепла, движения и *с нами тоже* что-то произошло; было бы стыдно не дать этому космическому явлению согреть нас и расшевелить. В нас просну-

лись жесты, которых мы раньше за собой не знали и которыми, стало быть, мы обязаны притяжению этой планеты. Мы не присматривались к ней как инопланетяне. Мы не могли не поверить, сразу словно заразившись мыслью В., что наша фраза — проба и мера мира, и продолжили то, что делали всегда, что велено издавна: найти себя в мире.

Идея положить Трактат на музыку не случайна. Он написан как единая тема с вариациями. Много раз тема возвращается. Похоже, в основном мы ее уловили, хотя разбор коротенького трактата может и должен продолжаться долго. Он учит нас размаху, смелости, умению верить своим прозрениям и молчать там, где их нет; не заниматься лексическими комбинациями, терминологическими конструктами; не бояться огня, который всё расплавит и сплавит по-своему.

Не упуская тожество из виду и ища ответ на главный вопрос, почему при решающей важности истины-лжи для связи фразы с действительностью действительность нейтральна на истину-ложь, вступим в пятый раздел Трактата и выпишем тезис 5: «Фраза есть истинностная функция своих элементарных фраз. (Элементарная фраза есть истинностная функция самой себя.)» Элементарная фраза определялась в 4.21 как простейшая, утверждающая, что положение дел именно такое, как в ней сказано, и не другое.

Добравшись до «всеобщей формы» всякого высказывания, мы присматривались к ней и проверяли свою догадку, что в утверждении «дело обстоит так-то и так-то» основанием лежит тавтология. Эта догадка у нас зависла, мы ее оставили пока без ясного решения. Ее трудно решить, не выяснив сперва, в каком смысле надо понимать тавтологию. Открыт путь высветления тавтологии через бытие, поскольку бытие и есть тавтология, а именно тот факт, что всё есть именно так, как оно есть. Об этом подробно говорилось в связи с Парменидом. Для полновесного включения В. в тот же пейзаж нам однако многого не хватает. Лучше пока осторожно считать, что мы чего-то не учли. Скорее всего, как чаще всего бывает, наше собственное понимание *того* и *того самого* было недостаточно ясным.

Прояснить этот тематический круг, пусть хотя бы как проблему, обязательно нужно, иначе мы не выйдем из поверхностного, само собой разумеющегося и не очень захватывающего понимания всеобщей формы: всякая фраза говорит сначала в простейшем и универсальнейшем виде, что *дело обстоит так и так*, начиная потом уточнять, как именно и что именно обстоит. При таком понимании хорошо видно, правда,

что любая фраза через свою универсальную форму углубляется каждый раз в особое пространство, вернее, постоянно выдвинута одним своим концом в особое пространство, которое отчетливой границей («онтологической разницей») отделено от плоскости расчета, исчисления, сопоставления. Забегая немного вперед, посмотрим на свойства логического пространства, куда фраза выступает своей универсально-формальной стороной. 5.552: «„Опыт“, который требуется нам для понимания логики, не тот, что нечто обстоит таким-то образом, а тот, что нечто *есть*; но это как раз никакой *не* опыт. Логика [располагается] до всякого опыта — [до констатации того,] что нечто есть *таким образом*. Она [располагается] до всякого Как (Wie), не до Что (Was).»

Фраза своей всеобщей формой ничего не *говорит*, а только своим наличием *показывает*, что есть что описывать и что она будет это делать. Во всеобщей форме фразы пока нет ничего кроме объявления, что она обрисует, как именно обстоит дело. Пока всё остается при такой заявке на описание и уверенности, что для него есть место, фраза принадлежит логическому пространству, тому же самому, что пространство чистого *есть*. Вспомним замеченное выше о том, что мыслью заранее охвачено всё, в том числе и когда не охвачено, то охвачено отказом или воздержанием от охвата.

Свяжем теперь это с тезисом, что в действительности нет ничего отбечающего знакам истины и лжи. Он означает, что действительность никогда не поставит запрет ни на какое ее описание. Это странно звучит в сопоставлении с требованием, что все фразы надо проверять действительностью. Не запрещая описывать себя противоположными способами, действительность тем самым разрешает описывать себя любым. Витгенштейн противоречит себе?

Решение в том, что именно *мы* должны проверять наши фразы действительностью; сама от себя она готова допустить что угодно. *Мы* должны найти такой способ ее спросить, чтобы получить однозначный ответ. Все дело в искусстве спрашивания, в архитектуре вопросов. Действительность будет отвечать далеко не на всякий вопрос. Космонавт поднялся в небо чтобы узнать, принадлежит ли оно ему, и надоблачное пространство ему не ответило, потому что вопрос был поставлен неверно; он исходил из непроверенной презумпции, что человек, встроенный в техническую систему жизнеобеспечения, остается человеком в принятом смысле слова. Наука сводится к умению поставить вопрос, или, что то же, эксперимент, опыт. Без нас действительность на да-нет не го-

ворит. Проба мира должна быть проведена так, чтобы получить или не получить искомое. Перед настоящей наукой стоит трудная задача выставлять такие тезисы, чтобы действительность согласилась на них отвечать. Общего метода таких вопросов нет, в каждом отдельном случае подобный вопрос составляет научное открытие; оно не в том, что заглянули в природу и увидели, что там все обстоит так или иначе, а в том, что нашли такой вопрос, на который бессмысленно искать ответа от природы.

Форма требуемого ответа, да или нет, предполагается вопросом. Почему фраза, проба мира, примеривается к нему именно со щупом да-нет; отчего именно этот щуп, а не, скажем, проверка на красное-синее, черное-белое, о чем легче спросить и что можно пронаблюдать? Почему нужно было задать вопрос именно о том, чего у действительности нет? Нашими, человеческого общества, истории, цивилизации, особенностями, удобством и выгодой апокалиптической и метафизической линии этой цивилизации создана эта формула на да-нет? Или сама действительность диктует нам *да* и *нет* на базовом уровне фактом своего наличия? Сомнительно однако, чтобы бытие и небытие могли внушить нам да-нет. Ведь о небытии нельзя безоговорочно сказать, что его нет, во всяком случае нельзя сказать так однозначно, как мы это делаем в нашей логике.

В. был рано заподозрен в том, что он реставратор метафизики, проповедник религии, привносящий от себя апокалиптическое заострение в мир. После его второго и окончательного приезда в Англию в 1929 появились почти сразу разоблачительные стихи Джулиан Белл, вскоре опубликованные в лондонской антологии военной и послевоенной сатиры:

For he talks nonsense, numerous statements makes,
 Forever his own vow of silence breaks:
 Ethics, aesthetics, talks of day and night,
 And calls things good or bad, and wrong or right.
 The universe sails down its charted course,
 He smuggles knowledge from a secret source:
 A mystic in the end, confessed and plain,
 The ancient enemy returned again;
 Who knows by his direct experience
 What is beyond all knowledge and all sense.

 Round his brain's convolutions wildly hurled

The secrets hidden from a sober world,
Both good and evil, ecstasy and sin,
He does not seek without, but finds within

.
He makes a virtue of his own defects,
And what he cannot understand, rejects.¹

Оставим на недалекое будущее решение о том, где В. берет основание для требования чтобы фраза фиксировала действительность на да-нет, не в метафизике ли и теологии.

Тезис 5 «Фраза есть истинностная функция элементарных фраз. (Элементарная фраза есть истинностная функция самой себя.)», казалось бы, требует, чтобы среди фраз были такие, которые закорочены на действительность. Мы должны поверить, что такое возможно. Такое, по-видимому, должно быть возможно, чтобы сохранить для всякой фразы возможность ее анализа. Коль скоро развернуты уровни элементарного и сложного, пересчет с одного на другой становится делом техники. Витгенштейн подчеркивает легкую устраиваемость всего в области, которую можно назвать например исчислением предикатов. Возьмем элементарную пропозицию *p*, оставим от нее только истинностную функцию и исчислим ее возможные значения, их два:

<i>p</i>
<hr/>
<i>w</i>
<hr/>
<i>f</i>

Возьмем теперь фразу, составленную из двух элементарных, и исчислим пока не ее истину и ложь, а число комбинаций, какие могут получиться из истины и лжи составляющих. Оба могут оказаться истиной, оба ло-

1 «Болтает чушь, нагромождает фразы, обет молчания свой не выполнив ни разу. У него этика, у него эстетика, он ведет речи о дне и ночи, одно называет хорошим, другое дурным, правильным или неправильным. Вселенная плывет себе своим размеченным путем, он протаскивает знание из какого-то секретного источника: по сути мистик, закоренелый и откровенный, старинный враг вернулся снова; тот, кто на своем прямом опыте якобы знает вещи за пределами всякого знания и всякого смысла... В диких завихрениях его ума роятся тайны, сокрытые от трезвого мира; добро и зло, восторг и грех он не ищет вовне себя, но находит внутри себя... Он возводит в добродетель собственные пороки и отвергает то, что не может понять.» *Gherard Vines (ed.)*, *Whips and Scorpions: Specimens of Modern Satiric Verse, 1914–1931*. L.: Wishart 1932, p. 21–30, цит. по: *Essays on Wittgenstein's Tractatus*. Ed. by Irving M. Copi and Robert W. Beard. L.: Routledge & Kegan Paul, 1966, p. 67–73.

жью; первый может оказаться истиной, второй ложью и наоборот. Перебор вариантов исчерпан. Ничего другого не представится, всё просто.

p	q
W	W
F	W
W	F
F	F

Разумеется, во фразе, составленной из трех элементарных, вариантов будет уже намного больше и так далее, но каждый раз заранее можно написать формулой, сколько именно и какие.

Мы еще не поинтересовались, какими связями в сложной фразе соединены ее части. Допустим, там утверждается, что из p следует q . При истинности обоих мы успокоенно скажем, что истинна и составная фраза. В случае, который в таблице выступает вторым, составная опять истинна: что бы ни врала посылка, если вывод верен, всё в целом истинно. Хуже в третьем случае: дана истинная посылка, но из нее выведена ложная; вся истина первой половины составной фразы пропадает тогда без пользы и в целом получается одна ложь. Наоборот, если из лжи вы по каким-то своим причинам, допустим пародируя или по привычке к парадоксам, выводите опять ложь, то учитель скажет: ваша правда; вы не обязаны исправлять ложную посылку, выводя из нее истину; достаточно из лжи вывести опять ложь, и в том будет истина. Если p , то q ; мы не можем решить, правда это в целом или ложь, пока нам не скажут истинностные значения p и q , но в наших силах заранее подготовить на все возможные случаи варианты решений:

W	W	W
F	W	W
W	F	F
F	F	W

Составляющие элементы фразы могут быть связаны по-разному. Едва ли реже чем через *если-то* они бывают соединены через *или*, как говорят логики, дизъюнктивно. Здесь однако начинаются проблемы. Дизъюнкция может быть сильной, на *или-или*: «или вы тут разговариваете или разговариваю я, но ни в коем случае не одновременно; если только вы попытаете заговорить, как я сразу же замолчу». Логика чаще ис-

пользуют слабую, так называемую неразделительную дизъюнкцию; в моем примере это будут те же самые слова, но взятые только до первой запятой и с изменением тона от императивного к информативному. Произнесенные с уныло-расплывчатой интонацией, они будут соответствовать неразделительной дизъюнкции. Слово *дизъюнкция* означает однако *разделение*; где у логиков логика, после этого непонятно; вполне сочувствуешь В., который от формально-логического бежал к естественному языку не из боязни логической строгости, а наоборот, тоскуя по ней. Хороший логик, правда, скажет нам: ваши интерпретации, попытки примитивного осмысления, доморощенные примеры только мешают; мы *постановили* считать дизъюнкцию такой, и не нужны рассуждения; просто посмотрите определение слабой дизъюнкции в учебнике логики и запомните формулу ее истинностной функции, вот она:

W	W	W
W	F	W
F	W	W
F	F	F

Не надо спрашивать почему; потому что такая трактовка дизъюнкции удобнее для логики. — Но тогда и все вообще в формальной логике условно и зависит от соглашения?

А вот и нет. Хотя *внутри* логики исчислений всё условно, уславливаясь, она опиралась на безусловную базу. Фраза обеспечена необязательностью каждый раз объяснять, что она такое; она не нуждается в представлении и умеет сама позаботиться о себе. Формальные логики понимают это в смысле разрешения строить на этом свойстве фразы свои конструкции, к чему немедленно и приступают. Витгенштейн в своей философской логике весь захвачен тем чудом, что фразовую форму не надо ничем подпирать. Она стоит сама на себе и в этом смысле совпадает с бытием, которое тоже не нуждается ни в чем другом чтобы быть. Когда фундаментальное дано, всё остальное будет катиться как по рельсам. Здесь развернется простор для формальной логики. В. таблично выписывает в 5.101 все варианты составных фраз. Они ступенчато выстраиваются между двумя крайностями, одна — когда при любом истинностном значении элементарных составленное из них будет истинно, на другом полюсе наоборот. Нижний полюс впадает в традицию, верхний обеспечен тавтологией: всегда, при любой лжи в *p*,

останется правдой, что из p следует p . Хотя в одну колонку после тавтологии в этой таблице В. довольно непоследовательно ставит не тавтологии, при том что сам не раз подчеркивал, что тавтология не встраивается в ряд — она из ряда вон выходящее явление, — все же ключевая роль тавтологии обозначена ее крайним положением в таблице. — Все выкладки В., делающего экскурсы в формальную логику, выглядят сейчас несколько устаревшими.

Если однако не сводить логику В. к формализму (тем, кто так поступает, приходится многое у него не замечать) и видеть ее простое основание во всеобщей фразовой форме, то она не покажется устаревшей даже перед современным наплывом разнообразных альтернативных логик, возникающих от недовольства традиционной или классической. Таковы многозначная логика, где истинностных значений больше 2-х (всего интереснее погрузиться в проблемы этой логики, идя от последней знаменитой 9 главы «Об истолковании» Аристотеля, с фразой *завтра будет морское сражение*, о которой уже накопилась целая литература: ясно сразу, что это утверждение истинно или неистинно, потому что сражение действительно будет или не будет, но и остановиться на том или другом значении тоже нельзя, что-то остается еще досказать); интуиционистская логика, где раскрытие истины отделено от нас не столько временем, сколько внезапным скачком прозрения; многочисленные модальные логики, где высказывания имеют не ассерторический («это так»), а эпистемический (знаю, считаю, полагаю, убежден) или деонтический (запрещено, разрешено, обязательно) характер; разные временные логики. На их фоне В. не устаревает. В его философии много такого, что опережает эти логики, а главное, все они нуждаются в предпосылках и в этом смысле опираются на онтологическую логику, которая, по В., должна уметь позаботиться о себе, т. е. (философский императив) значить уже и уметь.

Вопрос, который мы прослеживаем, остается тем же и после замечания о разных логиках, только расширяется: верно ли, что полюса *да-нет* не существуют в действительности, и формальной логике удастся в лучшем случае этого просто не замечать?

Всякий согласится, что не удастся беспроблемно называть тильду-отрицание « \sim » знаком. Знак должен все-таки означать какую-то действительность, а с какой вещью соотнести тильду? Предположим, что она знак моих намерений: я расположен отрицать (не будем пока уточнять, придумываю ли я отрицание лично или впитываю его с воздухом

из окружающего пространства, как в античности мысль питается парами космоса). Тогда есть основания думать, что тильда существует в статусе, близком к личной подписи, на которую обращает внимание Жак Деррида: подпись не знак чего-то вне меня, а поступок, в котором я подчеркнутым образом формируюсь в Я. Тильда, каково бы ни было ее происхождение, тоже доводит до отчетливости то, чего ни вне меня, ни во мне до нее с такой определенностью еще не было. Она окончательная печать, на проставление которой я иду. Но какие инстанции изготавливают такую печать, если не действительность, в которой ничего соответствующего тильде нет, и не я лично, который по-видимому не столько изготавливает печать, сколько соглашается на нее? Вопрос об источнике *да-нет* обойти трудно.

В 5.1311 разыгрывается настоящая вакханалия тильды, логического отрицания. Язык *нет* В. считает более понятным чем например язык дизъюнкции. С В. тем легче согласиться, что мы видели проблему дизъюнкции. В. смотрит на дизъюнкцию косо. «Когда мы заключаем от $p \vee q$ и $\sim p$ к q , то здесь сам способ обозначения затемняет соотношение между фразовыми формами „ $p \vee q$ “ и „ $\sim p$ “. Напиши мы однако, к примеру, вместо „ $p \vee q$ “ „ $p | q$ “. „ $p | q$ “, а вместо „ $\sim p$ “ „ $p | p$ “ ($p | q$ = ни p , ни q), то внутренняя связь станет очевидной.» Комментаторы удивляются: ну почему через двойное отрицание, через превращение дизъюнкции в конъюнкцию в соединении опять с двойным отрицанием, легче произвести выборку, к стати сказать немного незаконную, одного из двух элементов, чем через знак *vel*? Витгенштейна явно привлекает возможность обойти вообще только одним знаком, как бы распорасавшимся обоюдострым отрицанием в две стороны: *ни то, ни то*.

Понять, что отрицание совершается только в нас, хотя не мы его создаем, а скорее оно создает нас, придавая нам определенность, не очень трудно. Так или иначе приходится снова и снова спрашивать, кто такие *мы*, отрицающие и утверждающие, и сам этот поступок спрашивания уточняет нас. Уникальными нас делает определенность простого *да-нет*.

Зная, чем кончается Трактат, мы словно по карте, еще не пройдя ногами, видим дорогу к решению, поэтому уверенно называем его. *Да-нет* конечно не в вещах, где жесткой определенности ничто не соответствует; но и в нас *да-нет* уместиться не может, эмпирически мы не того масштаба. Оно уместается в мире. По В. мы в конечном счете мир, не как образ или представление, а как всё.

В. не занят формальной логикой предикатов, манипулирующей со схемами фраз, от богатства которых осталась только оболочка истины-лжи. На это для него наложен запрет еще с одной неожиданной стороны. В самом деле, мы имеем право считать элементарную фразу ровно настолько же не имеющей отношения к действительности, что и тильду. Иллюзия ее эмпирического существования создается ее противопоставлением комплексу. Когда элементарное и сложное упоминаются по соседству, то естественно кажется, что в сложном разобраться труднее, тогда как элементарное на то и просто, чтобы его соответствие действительности налаживалось легко. Но мы видели, что даже такая фраза, как латинское *eo* (*я иду*) оказывается составной. При этом элементарная фраза не абстракция; вне перспективы перво смысла речь потонула бы в перекрестных дефинициях. Элементарная фраза относится к вещам, надежно охраняемым своим несуществованием. Если кто-то, хотя бы и Элизабет Энском, начнет перед нами искать пример элементарной фразы, мы имеем право остановить ее: не тратьте сил; всё, что вы назовете элементарной фразой, окажется таковой только в той мере, в какой вы условитесь ее так называть, и только до тех пор, пока вы поддерживаете эту условность сознательным решением; без подпорки она упадет. Существой элементарные фразы эмпирически, хоть один их пример В. бы в Трактате привел. До первой публикации он послал машинописный экземпляр Готлобу Фреге, который отвечал, что плохо понял работу.

Для лучшего понимания мне желательны примеры, уже для того чтобы видеть, что в языке соответствует факту, соотношению вещей, положению вещей; как в языке обозначается факт, существующее и опять же несуществующее положение вещей и как обозначается существование того или иного положения вещей и таким образом соответствующий положению вещей факт; получается ли тут сколько-нибудь существенное различие между положением вещей и фактом.

Готлобу 71 год, он мировая знаменитость первой величины, В. для него с учетом 5 лет, потерянных на фронте, еще недоучившийся студент. Как профессор экзаменуемому, которому грозит срезаться, Фреге разжевывает, подсказывает:

Мне хотелось бы взять пример Везувия как составной части определенно-го положения вещей. Тогда, по-видимому, составные части Везувия неизбежно окажутся тоже составными частями этого факта; факт таким обра-

зом будет состоять между прочим из застывшей лавы. Такое не будет мне казаться правильным.¹

Молодому автору благоразумнее всего ввести в Трактат пример с Везувием, хотя бы критически, ведь без авторитетных рекомендаций его никто не будет печатать. Однако мы знаем, как обстоит дело с примерами в дневниках, в Прототрактате и в окончательном Трактате. В поисках элементарного у В. мы проведем много времени и ближайшее, что найдем в этом роде, окажется многозначительным образом *die Seele*, душа, о которой, по В., нелепо говорить, что она составна.

Тезис 5.143 подтверждает приходящую при чтении 4.5 догадку о связи между тавтологией и формой фразы. В 4.5 была названа всеобщая форма фразы: *дело обстоит так-то*. Здесь параллельная формулировка: тавтология есть общее (*das Gemeinsame*) всех фраз, которые не имеют друг с другом ничего общего (*gemein*)²; и ниже: тавтология есть лишенная субстанции срединная точка фраз. Эти два места в сопоставлении можно понимать и не обязательно отождествляя тавтологию с *дело обстоит так*. Тогда у фразы интересным образом оказывается два независимых друг от друга центра. Это не недосмотр В., а продолжающееся высвечивание им аспектов проблемы тождества-тавтологии. Он все еще не имеет ее простого решения и значит не имеет никакого. Проблемы, постановил он у себя в раннем дневнике, должны иметь *простое* решение, т. е. уменьшающее сложность имеющегося знания. Из дневника мысль вписана в трактат: «Решения логических проблем должны быть просты, ибо они устанавливают стандарт простоты». Это можно читать в обратном порядке как определение: что образцово просто, то и будет логика. Безусловно проста однако пожалуй только душа...

Темы, вокруг которых мы сейчас ходим, вспыхивают в одном из гениальных окошек Трактата, между афоризмами 5.47 и 5.4732. Добавочной трудностью, и не только для нас, но и для их автора, становится количество внезапного света. Читатель должен прежде всего обратить внимание на то, что первознак (*Urzeichen*) всей логики оказывается только один единственный. 5.472: «Описание наиболее общей фразовой формы есть описание одного и единственного всеобщего первознака логики». Иероглифика логических символов особенно нужна В., когда его мысль становится проста как односложный бессловесный жест. В какой-то

1 Фреге Витгенштейну 28.6.1919.

2 Ср. выше с. 107 отказ Соссюра видеть что-то общее во всех фразах.

другой культуре той же цели могло бы служить брошенное в сердцах междометие. Элементарная фраза, мы помним, обозначается через *fa*. Сейчас нам объявляют, надо сказать, несколько вдруг, что в этом *fa* содержатся все логические операции. Можно вспомнить случай с латинским *eo*: кажущееся простое оказалось составным, потому что несло в себе кроме своей видимой малой величины все валентности своих мыслимых связей, причем с минимализацией выражения его комплексность наоборот возрастала пропорционально умножению его возможных контекстов. 5.47 (2): «В самом деле, „*fa*“ говорит то же, что

$$„(\exists x) \cdot fx \cdot x = a“.$$

Где есть составность, там аргумент и функция, а где есть они, там есть уже все логические константы.» Слова «функция некой величины» предполагают существование такого *x*, чьей функцией окажется это *x*, и так далее. *Ambulo* в 4.032 тянуло за собой с одной стороны все формы спряжения, с другой все глагольные основы языка. Теперь в 5.47: простой предмет и функция от него говорят то же самое, как если бы мы указали сначала вообще на предметы, а потом из всех *x* выбрали определенный, применив к нему операцию квантификации. Иначе говоря, один единственный предмет предполагает целый мир предметов и сверх того операцию его выделения из мира. Несуществование элементарных фраз вытекает отсюда со всей очевидностью: предметы никогда не выступают в одиночестве, им предшествует и их все время невидимо сопровождает оглядка на целый мир. И как остановиться на предмете невозможно без фона целого мира, так выделением его предполагаются все операции, какие вообще бывают. Здесь смысл афоризма 5.4711: *Das Wesen des Satzes angeben, heißt, das Wesen aller Beschreibung angeben, also das Wesen der Welt*, «Показать существо фразы значит показать существо всякого описания и, следовательно, существо мира». Этим предполагается взаимное прояснение всего всем.

Вспомним начальный тезис Трактата: мир есть всё то, что имеет место. Мы говорили в связи с этим о выпадении игровой кости и о смене аспекта. В 5.5423 приводится наглядный пример аспектной смены¹. Прозрачный шестигранник может выпасть в поле нашего зрения по меньшей мере двумя способами; если фиксироваться на углах *a*, лишь бегло оглядываясь на *b*, грань *aaaa* видится впереди, и наоборот. Тема

1 См. рисунок прозрачного куба Некера выше с. 27.

Трактата собрана здесь в фокус. Смена аспекта происходит без изменения действительности; вещь остается та же; на ней, одной и той же, мы видим то один, то другой факт; эти факты разные, *wir sehen eben wirklich zwei verschiedene Tatsachen*. Куб Некера только пример, то же относится ко всем подобным явлениям, *alle ähnlichen Erscheinungen*. Многозначительным образом в афоризме 5.5423 повторена формула 4.5 всеобщей формы фразы. Под *дело обстоит так* имеется в виду объективное научное описание истинного *положения* вещей, но *не* вещей, например состава нарисованной фигуры из ребер и углов. С вещественным описанием мы всегда как-нибудь справимся, и споров там не возникнет. Наоборот, при самой строгой однозначности исполнения и описания чертежа шестигранник будет неудержимо выпадать каждый раз иначе. И так во всем. Оставаясь вещественно тем же, мир повертывается каждый раз другой стороной в диапазоне от рая до ада, от бесконечной старости до свежей новизны, от добра до зла, от громадности до крошечности.

Согласно уже разбиравшемуся тезису 5.552, базовый опыт, необходимый для понимания логики, не может быть тот, что дело обстоит таким-то образом, а только тот, что нечто вообще *есть*, причем как раз это *опытом* называть нельзя. Отсюда следует: логика получает выход в решающую область смены аспектов, т. е. в мир, поскольку имеет доступ к уровню, где смены аспектов нет. До сих пор мы не знали ничего не подверженного смене аспекта кроме цвета (тона). В принципе не исключено, что обнаружится что-то еще такого же рода. Оно во всяком случае не будет иметь свойства схемы. Сама логика, говорит нам В., не цветная; мы знаем однако, что цвет имеет проблематичные непроясненные полюса, о которых не удастся уверенно сказать ни что они цвет, ни что они не цвет; это черное и белое. Загадкой остается *белый свет* как русское название мира. Не будучи сама цветной, логика по-своему имеет дело с цветом, возможно, в его полюсах.

Афоризм 5.5521 — одно из нередких у В. мест быстрого движения мысли. К нему готовит тезис 5.552b о том, что логика располагает *до* всякого опыта, до «нечто есть *так*», по-видимому противоречащий дефиниции всеобщей логической фразовой формы «дело обстоит так и так». Решение парадокса в том, что логика предлагает форму для любого *именно так* и никогда не высказывается в пользу конкретного *как именно*, оставаясь одинаково готова к любому. Если бы логика предрасполагала к выбору какого-то одного аспекта, мир превратился бы в од-

нозначную структуру и в нем стало бы нечего описывать, поскольку вещи говорили бы сами за себя. Логика, которая заперла бы мир в экспериментально установленном *так*, оказалась бы не нужна.

Известное место 5.6 «*границы моего языка означают границы моего мира*» провоцирует понимание с точностью до наоборот. Обычная трактовка сводится к недалекому соображению об ограниченности нашего миропознания имеющимся в нашем распоряжении словесным инструментарием. Соответственно не улавливается красивая двузначность в 5.61 *Was wir nicht denken können, das können wir nicht denken; wir können also auch nicht sagen, was wir nicht denken können*, «Что мы не можем подумать, то мы не можем подумать; мы следовательно не можем и *сказать*, чего мы не можем подумать». Перевод 1994 уводит на путь оценки мыслительных сил и языковых способностей («то, что мы не в силах мыслить, мы не в состоянии и *сказать*»). У В. всё проще и крупнее: *сказать*, в смысле *просто вообще знать*, что именно мы не можем мыслить, у нас не получится. Подразумевается: нашей мыслью и нашим словом может стать *всё*, существующее и несуществующее, осмысленное и неосмысленное; и *всё* соответственно может быть и есть в мире. Там, куда моя мысль не достаёт и где ничего нет, мир не кончается; он продолжается как то, куда я не достаю мыслью. Или иначе: моей мысли всегда хватает на весь мой мир. Если кто продолжает надеяться, что вне моего мира есть ещё что-то, пусть читает 5.62 о правде солипсизма; он *ganz richtig*, совершенно верен. Не теряя из виду солипсизма, надо читать тезис 5.63: «я есть мой мир»; он мой не в смысле один из, а в смысле того, что он весь мой и больше ничего нет.

Теперь. Кубик игральной кости поворачивается одной или другой стороной сам или в связи с тем, что на него смотрят? Второе. Именно смотрение на него ставит его в такое положение, что он будет вывертываться. Из-за того, что на него смотрит глаз, он меняется подобно тому, как элементарная частица становится другой под наблюдением физика. Охваченность мира взглядом делает всё, на что мы смотрим, не первичным. Ни одна часть нашего опыта не априорна, 5.634: *Alles, was wir sehen, könnte auch anders sein*, «Всё то, что мы видим, могло быть также и иначе». Мы смотрители мира и он существует так, как мы его усмотрели: он не кажется, а есть по нашему усмотрению. Строго проведенный солипсизм совпадает с реализмом, 5.64: «Солипсистское Я сжимается до непротяженной точки, и остается координированная с ним реальность».

Последний тезис раздела 5 точнее говорит о границе мира. Мы первичным и решающим образом к ней причастны. Наше видение мира, подверженное непрестанной непредвиденной смене аспекта, плавно переходит в ведение и ведание. Мы видим мир так, что сразу и ведаем о нем, поэтому ведаем им, делая его вольно или невольно таким, каким его увидели. Мир есть то, что выпало. Не надо добавлять «нам». Мы не знаем, никогда не узнаем и не имеем никаких средств видеть и ведать мир иначе, чем как он увиден нами. До выпадения того или другого мира стоит только логика, имеющая в своей сути дело не с тем, как что выпало, а с тем, что все *есть*.

Мы получили достаточный ответ на вопрос, откуда происходит строгое да-нет, вносящее апокалиптическую и, как было рано замечено, религиозную остроту в Тракта́т. Мы нашли ситуацию, полностью определяемую через да-нет. Когда на рисунке правильного шестигранника мы видим куб внизу под нами, мы *никак, абсолютно не* видим его сверху над нами. Увидение его сверху приходит как внезапное открытие и опять же *безусловно, полностью* отменяет видение его внизу. Куба внизу под нами тогда в строгом смысле нет, и ненужное добавление *для нас нет* внесет путаницу: о втором аспекте куба мы узнаём случайно, о нем может не знать вообще никто; он явно не единственный, заведомо есть аспекты, которых вообще ни для кого нет, и бессмысленно гадать какие они; ни брейнстормингом, ни машиной Тьюринга осуществить их полный перебор нельзя; после интенсивнейших попыток никто не сможет с гарантией сказать, что перечисление аспектов закончено. Нам неизбежно вместе с В. убедиться: если аспект не виден, то он не виден.

Рационализировать ситуацию можно только ограничив зрение. Разнообразные формы такого ограничения проникают в философию из широкого поля публицистики, начиная от идеологии, которая приглашает к правильному воззрению на мир, и кончая самогипнозом. Посильное управление сменой аспекта ведется в широком спектре от рекламы до форм сектантства и оккультизма. Их приемы всегда сводятся к одному: вы, я, они видят так, но все может быть увидено иначе, и мы покажем как.

Нет ничего важнее чем спокойно всматриваться в эту ситуацию, в которую мы ежечасно, ежеминутно погружены. В сущности всё, чего от нас ждут, хотят, требуют, это изменение глаз. Вы пошли за мной и увидели куб над нами, а не под нами, потому что я позвал вас и вы мне верите. Я мог и был готов встретить другой отклик: не навязывайте нам

своих взглядов. Как назвать человека, который видит вещи так и не хочет приложить усилий, чтобы видеть иначе? Надо ли в таком случае говорить о душевной лени? Ответ может казаться ясным; косность раздражает. Люди видят мир в сером цвете, оттого они мрачные неудачники, не выполняют долга, пьют, опустились и обнищали, а могло бы быть все иначе, если бы они увидели, что... и т. д. Человека надо встряхнуть, возможно, вплоть до психиатрического лечения, приема транквилизаторов, психотропных препаратов. Или мягче: джоггинг, очень меняющий аспект, бодибилдинг, фитнес, культуризм, дианетика, другие технические и умные способы наладить человеческую машину и снова пустить ее двигаться, работать, преуспевать, процветать. А то и совсем просто: пойдите проспите.

С позиций гибкой психики, успевающей за прогрессом технической цивилизации, стойкие видения однодумов безумны. Витгенштейна часто подозревали в безумии. Но у человечества нет другого окошка, через которое видеть и дышать, чем прозрения одиночек. Когда об этом догадываешься, начинаешь выше ценить любой отказ от перемены зрения. Единственной опорой знания, речи, слова остается в конечном счете надежная *такость* (So-Sein, 6.41) всего. Слишком легкая смена аспектов («плюрализм») дает условную широту взглядов и безусловную потерю почвы. Сомнительно поэтому, что аспект время от времени непременно требует смены. Витгенштейновская логика располагается вне области аспектной смены. Кроме того, что аспект менять не обязательно нужно, в важном смысле его сменить невозможно. Для смены глаз даже в простейшем случае аспектов куба требуется перешагивание невещественной, но строгой границы.

12 ОТРИЦАНИЕ И ЧИСЛОВОЙ РЯД

Опора фразы на жестком *да-нет* таким образом оправданна. Содержание фразы может быть разное, но не в нем суть. Дело в конечном счете идет о границе между тем, что есть, и тем, чего нет. Фразу несет на себе утверждение и отрицание. Разберем афоризм 6: «Всеобщая форма истинностной функции: $[\bar{p}, \bar{x}, N(\bar{x})]$. Это всеобщая форма фразы.» Пояснением служат следующие тезисы 6.001: «Этим сказано не что иное как то, что всякая фраза есть результат последовательного применения операции $N(\bar{x})$ к элементарным фразам» и 6.002: «Если дана всеобщая форма того, как строится фраза, то тем самым уже дана и всеобщая форма то-

го, как из одной фразы посредством некоторой операции может быть порождена другая».

Через запятую в формуле $[\bar{p}, \bar{\xi}, N(\bar{\xi})]$ перечисляется задаваемое списком. Всё сводится здесь к единственной операции, поскольку всеобщая форма есть операция перехода из одной формы в любую другую. В каждом отдельном случае могут возникнуть свои подробности, но утверждение всегда окаймлено отрицанием (негацией, N). Она как бы постоянно подтверждает: это именно так *и не иначе*. В круглые скобки помещено то, на что направлена операция N : ξ есть переменная с очень широким диапазоном, вместо которой могут быть подставлены элементарные фразы, состоящие из имен (x) или из чисел (n). Горизонтальный штрих над знаком у V означает, что взяты все фразы, могущие войти в эту переменную. Через запятые задано имеющееся, некая фраза p и переменная ξ , включающая все фразы, объединенные всеобщей фразовой формой, то и другое со штрихом вверх, имеющим у V , как уже сказано, смысл не «во всех значениях», а «берутся все». Резонный вопрос, какие *все*, когда p это вроде бы все-таки один элементарный Satz? Мнение комментаторов сводится к тому, что хоть и один, но любой и тем самым как бы все.

Разумеется, мы не забываем афоризм 5: «Фраза есть истинностная функция своих аргументов, элементарных фраз», т. е. все фразы берутся только в своем истинностном значении правды или неправды. Как если бы ничего больше не было интересно. Куда девалось содержательное богатство мира? — Оно нас не касается. Всё, что я вижу, весь «аспект» вещей, в том числе мое тело и мои мысли, меня не касается. Джордж Мур вспоминает: «Он говорил, что „как [физический] глаз не вовлечен в видение, так Его не вовлечено в думание или в зубную боль“, и цитировал, с явным одобрением, изречение Лихтенберга „Вместо я думаю нам следовало бы говорить *думается, it thinks*“ (применяя „it“, говорил он, как немецкое „Es“ в „Es blitzt“); и под этим он имел в виду, мне кажется, что-то подобное „глазу поля зрения“, в его словах о том, что глаз не есть нечто находящееся *внутри* поля зрения».¹ Единственно меня касается и

1 «He said that 'just as no [physical] eye is involved in seeing, so no Ego is involved in thinking or in having toothache'; and he quoted, with apparent approval, Lichtenberg's saying 'Instead of *I think* we ought to say *it thinks*' ('it' being used, as he said, as 'Es' is used in 'Es blitzt'); and by saying this he meant, I think, something similar to be said of 'the eye of the visual field' when he said that it is not anything which is *in* the visual field' (G. E. Moore, Wittgenstein's lectures in 1930–33. — Philosophical Papers, L. 1959, p. 309).

придает смысл моим речам то, что если мне видится все *так* и *не* видится иначе, этим что-то важное сказано о мире; обстоятельство, что я вижу мир именно *так*, ничего о нем пока еще не говорит. Единственно важным для меня и меня касающимся остается мое состояние при да-нет. Поэтому да-нет только и остаются от фразы (речи, мысли); всё сводится к тому, чтобы не бессмысленно было называть Satz истинным или ложным. Ничего не видно иначе чем как видно. В свете процитированного воспоминания Джорджа Мура с той же определенностью, с какой в одном видении нет другого видения, нет в нем видящего. Имеем ли мы право тогда догадываться, что эти две отсутствующих в моем поле зрения величины, не видимый мною аспект мира и я, одно и то же? Пожалуй. Важнее однако остаться до этих догадок при несомненном *нет* невидимого. Отрицание — воздух, которым мы дышим, или что-то еще ближе. Любое содержание стоит под двояким *нет*: в моей мысли о нем нет аспекта, в каком я его *не* вижу, и в ней нет меня. И дальше: в моей мысли об этой ситуации, которую я только что описал, нет другой мысли о ней и нет меня. Мы вязнем в *нет*. Так Хайдеггер перечеркивает крест накрест свое *бытие*. Вакханалия отрицания, о которой говорилось по поводу цитировавшегося выше 5.131, где В. отказывается от дизъюнкции и записывает ее формулу двойным отрицанием *ни-ни*, продолжается в афоризме 6, где сказано, что *нет* участвует в каждой фразе, определяя всё попадающее в поле зрения. Здесь можно вспомнить о ключевом месте отрицания у Гегеля: точка как отрицание пространства создает все формы в пространстве, а через отрицание отрицания та же точка создает время, в котором дух строит свою историю. Отдаленно к тому же пейзажу принадлежит богословский тезис о сотворении мира из ничего. Осмысление исторической связи здесь однако требует большой подготовки. Так в горном пейзаже соседняя вершина может казаться недалекой, но подобраться к ней можно только через ущелье, возможно непроходимое.

Итак, от всех фраз остается для рассмотрения только истинностная функция, т. е. как раз то в каждой из них, чего нет в действительности. Всеобщая форма истинностной функции обеспечивает переход от фразы к фразе, что В. называет операцией (5.23: Die Operation ist das, was mit einem Satz geschehen muß, um aus ihm den anderen zu machen, «Операция есть то, что надо произвести с фразой, чтобы сделать из нее другую»). Спросим, зачем понадобились операции над фразами при установке В. на неповторимую единичность предмета. Не противоречат

ли операции с преобразованием фраз витгенштейновскому отказу от классов?

Если бы всеобщая форма фразы была абстракцией, В. безусловно обошелся бы без нее. Она однако не мысленный конструкт. Она реально предшествует всякой фразе, и когда та еще в тумане, форма фразы готова и несет в себе самое существенное в будущем образовании. Я еще только задумал свою фразу и пытаюсь сформировать ее, а всеобщая форма уже тут. Я могу прожить жизнь, не сказав ни одной фразы, но всеобщая форма фразы и без осознания звучит во мне постоянно констатацией, что всё именно так, как оно есть. Поэтому всеобщая форма не нивелирует фразы. Она оставляет индивиды уникальными в противоположность генерализации, которая подчеркивает однородность и стирает особенность.

Всеобщая форма располагается в пространстве, приблизиться к которому можно через осмысление особого статуса цвета, а также того, что В. называет семейным сходством и чертами лица. Эти темы отчетливо, хотя и кратко, намечены в Трактате. Для пояснения формы в 4.123 предлагается подумать о синем цвете. Самим фактом своего наличия независимо от схем, которые можно было бы наложить извне, синий цвет состоит во «внутреннем отношении» к другому оттенку того же цвета. «Немыслимо, чтобы *эти* два предмета не состояли в этом отношении.» Очевидное обстоятельство, что синий чуть более светлого оттенка и синий чуть более темного оттенка оба имеют общим свойством синеву, нивелирует ли их? Станным образом нет; наоборот, тончайшее различие между ними оказывается едва ли даже не более значимым чем броское. Подчеркнем ли мы их индивидуальность, если заявим, что они совсем разные цвета, не имеющие между собой ничего общего? Опять же нет. Неповторимости оттенка не мешает, что он только вариант синего, а не совсем другой непохожий цвет. С другой стороны, это не делает общую им синеву абстрактной. Тонкость отличия между оттенками голубого не делает это отличие ущербным и придает достоинство художнику, умеющему применить минимальные цветовые отличия. В цвете малейшее отличие не хуже чем максимальное и одинаково необходимо в диапазоне радуги. Это пример того, что бывает общность, не мешающая индивидуальности, даже подчеркивающая ее. Такова всеобщая фразовая форма.

Не принимая классов, В. говорит о «рядах форм». Это не то же самое? 4.1252: «Ряды, упорядоченные через *внутренние* отношения, я называю рядами форм (Formenreihen). Числовой ряд упорядочен не через

внешнее, а через внутреннее отношение.» Внутреннее, т. е. не примысленное и не отмысливаемое отношение, связывает, мы помним, оттенки цвета, черты семейного сходства и вот теперь, несколько неожиданно, числовой ряд. Сопоставим это с тезисом 4.1241: «Формы нельзя отличать одну от другой, говоря, что одна имеет это, а другая то свойство; ведь этим предполагается, что имеет смысл высказывать [например негативно] оба свойства об обеих формах». Таким образом, ряды форм отличаются от классов невозможностью проследить в них сплошные одинаковые черты. Сказать, что общей чертой оттенков синего является синева, не более информативно, чем если сказать, что их общей чертой является цвет.

Подобно тому как оттенки объединены цветом, а лица родственников семейным свойством, общим для всех чисел является их принадлежность логическому пространству, созданная тем, что каждое число есть результат логической операции. Числовой ряд получается оттого, что к некоему элементу применяется такая операция; операция в свою очередь определяется как то, что надо сделать, чтобы из формы получилась другая. В тезисе 5.2522 приведен ряд форм a , $O'a$, $O'O'a$. «Всеобщий член» этого ряда выписывает в виде переменной « $[a, x, O'x]$ ». Здесь a — начало ряда форм, x — любой его член, да хотя бы и тот же первый, а применением операции O к x создается тот член ряда, который следует непосредственно за x , хотя бы и тот же самый x , к которому применена нулевая операция. Не спешите говорить, что это элементарно просто и пусто. Мягко стелено, но посмотрим, как будет спать.

В тезисе 6 мы имеем, собственно, тот же «всеобщий член», он же «всеобщая форма» фразы, с тем отличием, что вместо O , т. е. вообще какой-то логической операции, здесь стоит N , отрицание. Комментаторы говорят: это частный случай всеобщей формы. Мы однако видели, что V опирается на отрицание как наиболее понятную и отчетливую, едва ли не основную операцию. Посмотрим, не наоборот ли N есть базовый, опорный случай O .

В тезисе 5.51 V показывал пример отрицания. Допустим, что в переменную сложной фразы ξ входят две элементарных фразы p , q ; их могло быть много. В выражении $N(\xi)$, где ξ стоит под горизонтальным штрихом, следует брать всё, что в него входит, и поочередно отрицать; получаем соответственно $\sim p$ и $\sim q$, ни p и ни q . Хорошо если у нас найдется здравый смысл, чтобы спросить, для каких мыслимых целей нужна эта странная операция, зачем брать элементарные фразы и отрицать их од-

ну за другой. Всеобщая форма фразы у нас была вроде бы позитивной, «дело обстоит так-то и так-то». Теперь та же всеобщая форма оказывается скопищем отрицаний. «Всеобщую форму истинностной функции», она же «всеобщая форма фразы», которая в тезисе 6 дана как $[\bar{p}, \xi, N(\bar{\xi})]$, комментатор развертывает словесно так: возьми любой набор элементарных пропозиций и образуй конъюнкцию отрицания каждой из них; затем добавь получившуюся таким образом пропозицию к множеству элементарных пропозиций; возьми любую выборку из этого расширенного множества, совокупно отрицай их, добавь эту новую пропозицию к множеству; и продолжай таким образом¹.

Это сложно и, боюсь, сложнее чем у В., который часто напоминает, что его тезисы не конструкции, а леса для упрощения работы. Тезис 6 поясняется в 6.001: «Тут не сказано ничего другого как то, что всякая фраза есть результат последовательного применения операции $N(\bar{\xi})$ ко всем элементарным фразам». Имеются в виду все элементарные фразы, относящиеся к делу, но сказано в обобщенной форме не только ради краткости. Истина-неистина любой фразы будет *другая* чем у данной фразы просто потому, что иначе зачем бы понадобилась вообще еще одна фраза. Другими словами, во всякое дело обстоит именно так входит ео ipso отрицание и не иначе. Отрицание одновременно с утверждением. Накопление знания идет не путем «индукции». Всякая проба мира (фраза, мы помним, такая проба) отрицается необходимостью новой пробы. Предприятие пробы, любой, при том что есть (были, будут) и другие, предполагает неокончателность, иначе пробы было бы достаточно или почти достаточно, и новая фраза явилась бы лишь дополнительным штрихом, деталью *дело обстоит так, с маленьким уточнением*. Такой ход накопления знаний возможен, но ему предшествует и в основе каждого его шага все равно лежит *дело обстоит так и не иначе*.

Комментаторы, начиная с Элизабет Энском, видят проблему в том случае, если количество элементарных фраз бесконечно. Что значит тут прежде всего *если*? Разумеется, оно бесконечно. Тогда из-за неосуществимости отрицающего перебора бесконечного множества ввиду необходимости отрицать их все фраза скопом должна будет и себя тоже отрицать? У В. это так прямо не сказано, по крайней мере в Трактате, но

1 «Take any selection of elementary propositions and form the conjunction of the negation of each of them; then add this proposition to the set of elementary propositions; take any selection from the enlarged set, jointly negate them, add the new proposition to the set; and continue in the same way» (Max Black, *A companion...*, p. 312).

надо во всяком случае поставить вопрос, не включает ли всеобщая форма, полученная отрицанием, отрицание и себя самой.

По нашему мнению, именно на отрицании В. основывает формализацию ряда натуральных целых чисел. После только что разобранный определения всеобщей фразовой формы следует тезис 6.02: «И таким образом мы приходим к числам: моя дефиниция $x = \Omega^0 x$ Def.», т. е. x равен x , к которому приложена нулевая операция. Мы предположили, что базовая операция есть отрицание. Тогда с первой ненулевой операцией мы получим отрицание x , потом отрицание отрицания и так далее. В результате мы снова и снова будем получать один и тот же x ? Нет. Имеет смысл вести счет операциям отрицания. Не все равно, сколько раз они приложены; в каком-то смысле $\sim\sim r$ не то же самое что r . Видя r , мы не знаем, чистое ли оно r или в него спрятана операция двойного отрицания.

У Пеано, Уайтхеда, Рассела числовой ряд образуется через следование: раз дан один элемент, все равно какой, то почему не быть и следующему, лишь бы они принадлежали к одному классу, причем класс можно определить очень широко. Отмечена трудность с понятием следования у Пеано. На первый взгляд, само собой разумеется и на каждом шагу наблюдается, что за одним следует другое. Но как быть, если мир конечен. У такого мира не хватит материи, чтобы обеспечить арифметике продолжение ее числового ряда через следование. Как повседневный опыт помог двинуть счет с места и долго продолжать его, так не исключено, что тот же опыт заставит числовой ряд на каком-то числе остановиться и вместо продолжения повторять одно и то же последнее число. Это даже и не гипотеза, а реальная угроза для чистой теории числа в свете физико-математических возражений против бесконечности мира (например на том основании, что давление в любой точке такого мира оказалось бы бесконечно).

Витгенштейн строит числовой ряд не на следовании одного за другим, а на приложении логической операции, и мы можем уверенно говорить, всё той же базовой операции отрицания, к чему? к чему-то одному? к вещи? к предмету? к миру? Повременим немного с ответом. Сначала заметим, что во всяком случае количество операций не зависит от количества объектов так же, как факт и положение вещей не зависят от вещей. В мире, доведенном до скудости одного-единственного объекта, возможное положение вещей все же зависело бы от количества приложенных к нему операций, о которых, как о меняющихся аспектах,

не имеет смысла говорить, что их число конечно. Количеству аспектов одной единственной вещи ничто не мешает быть не меньшим, чем количеству аспектов множества вещей.

Вернемся к вопросу, над чем проводится операция, прежде всего отрицания, начиная с нулевой (отсутствие отрицания). Разумеется, над чем угодно; допустим, над миром. Нам не придется с новыми операциями считать «один мир, следующий второй мир, третий мир» и т. д.; последовательным операциям будет подвергаться одно и то же. Подобным же образом число 2 получится не потому что появился второй объект, а потому что над тем же первым снова проведена операция. В таком случае с равным успехом возможна операция без объекта, над ничто, за которым ничего не следует. Новая и новая операция над ничто даст тот же эффект ряда. 6.021: «Число есть экспонент операции»; операция над чем угодно, хоть и над ничем, вынесена в число. Число показывает: вот операция, вот операция, и так далее.

Классы, например класс действительных целых чисел, в таком случае разумеется не нужны. 6.031: «Теория классов в математике совершенно излишня». Если 1 состоит из нулевой операции над чем угодно или над ничем, то 2 это не две единицы чего-то, а две операции. Можно ли понимать В. так, что единица состоит из чего угодно, хотя бы и из ничего, над чем проведена нулевая операция, т. е. что оставлено в покое как оно есть в своей таковости, *Sosein*? Я считаю что можно. Единица появляется не оттого что нечто существует. Вернемся к афоризму 5.5352, где, хотя и на втором плане, проходит мысль, что «несуществование вещей» означает то же, что «неидентичность вещей», когда они не равны самим себе. Идентичность (тавтология) равна существованию и сильнее чем содержание вещи. Идентичность *ничто* самому себе была бы достаточна для его существования; в свою очередь бытия, какого угодно числом, достаточно для существования мира. Во всяком случае, с чем начнутся операции, как-нибудь найдется, была бы идентичность.

Что количество операций, примененных к одной и той же вещи, не безразлично, хотя никак не сказывается на самой вещи (операции, мы помним, имеют свойство бесследно исчезать), мы чувствуем интуитивно. В 5.2523 дается существенная дефиниция: «Понятие последовательного применения операции эквивалентно понятию „и так далее“»¹. Не

¹ См. об «и так далее» и следовании правилу как осязаемом присутствии всеобщности ниже с. 369.

безразлично, одиноко ли стоит нечто или включено в последовательность операций, которые сами по себе ничего в этом нечто не меняют. В 5.512 « $\sim p$ » и « $\sim\sim p$ » стоят в одном ряду, но не как равные; В. их видит не одинаковыми. Конечно, p то же самое, что $\sim\sim p$. 5.44d: не существует предмет, называющийся « \sim ». Но исчезающие операции, никак не задевающие *предмет*, создают всё новые и новые *факты*. 5.43: «Что из факта p могут следовать бесконечно многие *другие*, а именно $\sim p$, $\sim\sim\sim p$, на первый взгляд всё-таки почти невероятно. И не менее удивительно то, что бесконечное число положений логики (математики) следуют из какой-то полудюжины „основных законов“.»

Арифметика не годится для счета предметов; подобно логике, она имеет дело только с фактами. Дело не в принципе индивидуации. Если я называю число, любое, это не имеет отношения к тому, может или не может быть столько вещей в мире, разве что я договорился пользоваться такой теорией арифметики, в которой условно, на свой страх и риск оперирую якобы предметами. Математика и логика могут и должны позаботиться о себе, но и только о себе. Чтобы что-то подтвердить или хотя бы проиллюстрировать в них, не надо никуда смотреть вне их, они сами на себе должны показывать все то, что призваны показывать. 6.23: «Если два выражения связаны знаком равенства, то это значит, что их можно заменить одно другим. Но имеет ли это место, должно быть видно в самих же этих двух выражениях.» Пусть фразы изволят сами стоять на своих ногах. Ссылаться для их подтверждения на вещи нельзя.

Внутри логики однако надежна, как мы слышали, только тавтология. Тогда держись тавтологий, и все будет в порядке? Но где прикажете их отыскать? Школьный пример тавтологии, $A = A$, ничего не демонстрирует кроме проблемы: даже в начертании тут при самой совершенной типографии разные буквы, тем более в пространстве одна левее другой, и подавно во времени одна возникла раньше, не говоря уже о том, что оба A могут прятать в себе разное число исчезнувших операций. Как ни изворачивайся, как ни совершенствуй логическую, математическую нотацию, вместо надежной идентичности мы будем получать на руки проблемы такого сорта, от которых В. в начале 1914 в Норвегии стало казаться что он сходит с ума.

Никакая система обозначений тождества не покажет его, всякая будет нуждаться в нем и все из-за его неуловимости останутся проблематичны. Никакая тавтология не дается приемам формальной логики. Вот почему мистическая часть Трактата не привесок к его логике, а единствен-

ный возможный строгий способ именования тождества, найденный Витгенштейном после того, как его сверхусилия создать формально-логическую нотацию, способную недвусмысленно обозначить тождество, не удались. Теперь знаком становится сам Трактат. Он пишется из опыта *So-Sein* — из опыта того, что всё именно такое, какое оно есть, и то самое. Трактат свидетельство этого опыта, уже почти излишнее описание которого дано в 6.41a: *In der Welt ist alles, wie es ist, und geschieht alles, wie es geschieht*, «В мире всё есть так, как оно есть, и всё происходит, как оно происходит». Мистические прозрения здесь уже не отдельные вспышки открытий, а инициация в бытийное тождество. По сравнению с этой строгой школой любая самая изощренная формально-логическая система останется только тенью истины. Как во всей философской классике, мистическая этика оказывается у В. ключом к существу мира.

Мир включает мое тело и мою мысль. Они такие, какие есть, и идут, как они идут. Как оставить их в покое, ведь это почти невозможно, мир провоцирует на действие? В конце концов, может быть, наблюдение и описание его объяснят? 6.342b: нет; то, что мир поддается описанию, *ничего* ровным счетом о нем не говорит. Только то, что вот это описание, которому мир поддается как и любому другому, именно *такое*, что-то о мире говорит; и всего больше о нем говорит всегда сохраняющаяся возможность описать его проще. Что именно она о нем говорит? Вот это самое, что мир устроен так, что мы его и, стало быть, самих себя *разные* смотрители, в обоих смыслах, созерцатели и тюремщики. Задача философии: показать мухе выход из мухоловки. Всем этим вовсе еще не предполагается, что мы должны смотреть как-то иначе, или учиться смотреть, или вообще должны на него и за ним смотреть. Неважно, что я должен и чего хочу. 6.373: «Мир независим от моей воли»; в нем все так, как оно есть, и я с моей волей в том числе.

6.3751a: два цвета не могут быть одновременно в одном месте моего поля зрения; если там есть один, то нет другого. Если мы видим мир в одном аспекте, то не видим в другом. Это *нет* жестко и не знает исключений. Мир для нас сложился так и не сложился иначе, и мечты о смене зрения пока только бессильные фантазии. Если я не могу действовать на мир, то какой смысл имеет этика, назначение трактата? Она (6.42) не может быть установлена в тезисах; невозможны основоположения этики. Этика имеет отношение к счастью: этично, или, что то же, эстетично то, что счастливо. Этика не система правил; о воле нет смысла говорить, если ни в мире, ни в моем теле, ни в моей мысли я не могу ничего изме-

нить. И вместе с тем не все равно, как сложилось наше зрение; одно наблюдательство проще, легче, красивее другого. От нас не зависит, как мы увидели мир; не мы распорядились, какими аспектами он к нам повернулся; скорее наши взгляды зависят от того, как он нам предстал. Счастье не может быть устроено, оно выпадает или не выпадает как сторона игральной кости, как положение вещей. То, как всё нам выпало и в каком цвете мы видим мир, не зависит от нашей воли. Мир тоже от этого не меняется, ни в вещах, ни в их положении. Но так, не меняясь, он весь целиком прибывает или убывает; как сказано в витгенштейновских дневниках, в нем возрастает или отпадает смысл; он становится маленьким или большим. Не «кажется». Счастье один полюс этого приращения; «мир счастливого другой чем несчастливому» (6.43). На другом полюсе мир прекращается в смерти. Имеется в виду полное сникание мира. Не так, что когда смерть, то мир захлопывается, а так, что когда мир отпадает, тогда смерть. О том, что происходящее тут раньше биологии и биографии, говорит тезис 6.4311: «Наша жизнь точно так же конечна, как наше поле зрения безгранично».

Сделать себя счастливым нельзя, но счастье достаточная цель, чтобы постараться не мешать ему. В мире есть куда уйти, чем быть захваченным, если выпало такое счастье. Бездонность не откроется, если мы в нашем наблюдательстве остановимся на переборе вещей. Кроме вещественного устройства в мире есть еще и факт его существования. Это, что он есть, и есть мистическое (6.44).

В «Лекциях по этике» В. говорит, что когда мир повертывается фактом своего существования, он открывается весь как целый, и это его целое бездонно. Такой опыт имеет абсолютную ценность. Когда я его имею, я удивляюсь существованию мира. Я тогда употребляю фразы типа как *это удивительно, что что-то должно существовать; как удивительно, что мир существует*. Конечно, не совсем разумно удивляться существованию мира, потому что представить его себе не существующим мы не можем. Вместе с тем, нет ничего неразумного в том чтобы поражаться, что мир такой, какой он есть. Допустим, я смотрю на синее небо и начинаю удивляться тому, насколько оно синее, в отличие от более обычного голубого. Но в *абсолютно* ценном опыте я удивляюсь небу, что оно есть, какое бы оно ни было.

Тогда проясняется много обсуждавшийся предпоследний тезис Трактата 6.54: мои фразы помогут тому, кто в конце концов увидит отсутствие в них смысла (информативного значения), словно отбросит лест-

ТРАКТАТ

ницу, по которой поднимался и поднялся. «Он должен осилить эти фразы, тогда он увидит мир правильно.» Правильно увидеть не значит увидеть по таким-то правилам, а совсем наоборот: утонуть в мире как в небе. Он тогда не нуждается в подпорках, сам светит и сам говорит, не мешая нам молчать.

III ЯЗЫК И СОЗНАНИЕ

1 ПРИТЯЖЕНИЕ ТОЖЕСТВА

Путь к тождеству у В, мы видели, расчищен отказом от понятия класса. Тождество оказывается тут непосредственно тем ближайшим всеобщим, чему принадлежит вещь и соответственно знак. Знак индивидуален. В словарных классах надо видеть лишь мысленные конструируемые, которые искусственно навязываются реальному словарю.

Легко показать условность любых классификаций. Казалось бы («Коричневая книга» I 11), *один* и *два* стоят на равных правах в ряду числительных. Однако хозяйка, собирающая на стол, может с одинаковым успехом сказать «Тарелку!» и «Одну тарелку!», а с двумя тарелками обойтись без числительного возможно лишь в языках с отчетливо выраженным двойственным числом, каких в Европе теперь нет. В английском имена единичных вещей сопровождаются артиклем *a*, который по происхождению был числительным *один*, а русский обходится тут без артикля. С *двумя* замена числительного нулевой формой невозможна. Словоупотребление таким образом показывает, что *один* и *два* отличаются друг от друга достаточно для отнесения их к разным классам. На флаге ФРГ черная полоса опознается как один из трех цветов рядом с белым и желтым, тогда как чернота ночи или пещеры явно не цвет, поэтому *черное* одновременно можно и нельзя относить к классу цветовых обозначений. *Правее* и *слаще* вроде бы одинаково принадлежат к сравнительной степени прилагательных, но *правее от окна* говорят, а *слаще от меда* нет, и это опять же не дает беспрепятственно отнести их к одному классу. *Петр* и *Павел* на первый взгляд равноправные имена собственные, однако в некоторых контекстах *Петр* звучит почти как имя нарицательное в значении надежного основания, а с *Павлом* такого не бывает. Важно не забывать о запрете на операции с классами. Нас просят усвоить, что строго говоря классов слов и классов вещей нет. Тождества, которые мы воображаемо наблюдаем между членами учрежденных нами классов, не идут дальше семейных сходств.

На фоне неклассифицируемых индивидуальностей отчетливее обозначается настоящее тождество. Вокруг него строится всякая языковая игра и шире, всякий анализ. Выявление *того самого* на каждом шагу

практикуется в форме выбора слова в соответствии с вещью, опознания слова в речи, узнавания вещи как угаданной, названной точным словом. Попадание в *то самое* захватывает не какую-то одну способность, а всего человека. В. говорит об «особом переживании сравнения и узнавания» (там же I 14с). Допустим, нам поручили выбрать среди нескольких рулонов материала подходящий цветом по образцу. Мы смотрим на материал и образец, который держим в руке или вспоминаем (его нам показали), выносим рулон на свет, чтобы разглядеть яснее, проговариваем «вроде бы подходит, нет, чуть-чуть светлее». Через нас проходят разные образы, мы воображаем реакцию давших нам задание людей. Мы испытываем напряжение до тревоги и успокоение до радости, чувствуем глазное усилие от пристального взглядывания. Мы всматриваемся и выбираем долго, начинаем сомневаться в своей способности выбрать точно. Растет соблазн выполнить задание приблизительно. Наше состояние неопределенности начинает нам самим казаться странным, мы нервничаем и хотим всё бросить, на ум приходят отчаянные выражения типа «что за черт», «что же с нами происходит».

Состояние выбора нужного цвета по образцу отличается от усилий по решению математической задачи. При выборе цвета нет внезапного озарения от получения окончательного результата. Технологи цвета ввели нумерацию, например 107 для фиолетового, чтобы избежать нескончаемых уточнений при выборе. В действительности № 107 можно тоже подразделять без конца, если волевым образом не будет постановлено принимать все относящиеся к нему оттенки за один колер. В отличие от этого человек, трудившийся над решением одного уравнения с двумя неизвестными, вполне успокоится, когда ему авторитетно скажут, что такие уравнения не решаются или что его знаний пока недостаточно. В отношении цвета никто не вправе сказать, что задача сравнительного опознания не решается или что для нее нужны особые знания. При всех этих и других различиях переживания тождество в общепонятной форме *того самого* одинаково руководит подбором цвета и решением математической задачи.

Напряжение вокруг *того самого* В. называет специфическим и уникальным. Переживания тождества складываются в каждом случае по-разному, но связаны между собой семейным сходством. Этот инструмент описания заменяет у В. обобщение и класс. Пеньковый канат удерживает корабль у пристани. Между тем от тумбы на причале до корабля не протягивается ни одной сплошной нити. Стебли конопли в конце ка-

ната не те, что были в начале. Тому, что канат остается тем же самым, одним и крепким, не мешает полная смена его материи от начала к концу, где в нем не остается уже ничего из того, что было в начале. Почему канат, меняя состав, остается тем же самым? Его толщина и крепость обеспечены в процессе изготовления способом доводки пучка волокон до кондиций, узнаваемых как *то самое* (*то, что надо*). Соответствие *тому самому* узнается в конечном счете по достижению цели, надежной швартовки корабля. Швартовка в свою очередь была тем, что надо, чтобы корабль не разнесло о камни. И так далее. История всех физических и умственных вещей размечена моментами соответствия *тому самому* в смысле успеха как равенства эталону. К *тому самому* в его разных видах внутри одной семьи тождества движутся, поскольку движутся, вещи природы и ума.¹

В. не раз цитирует Августина. Он разделяет его мысли о времени, с которым все в порядке только пока не задумаешься, что оно такое, его наблюдения об изучении языка ребенком за счет того, что взрослые жестом, тоном, поведением, поступком маркируют отношение произносимого к вещам. Всё это общеизвестные и нередко комментируемые вещи. Но вот в диалоге «Об учителе» (*De magistro*), который Августин ведет со своим рано умершим сыном Адеодатом², есть тезисы менее тривиального рода, с которыми неожиданно совпадает В. У него слово определяется применением в контексте языковой игры, включающей заботы и поступки. У Августина

намного ниже надо ценить слова чем то, ради чего мы ими пользуемся; конечно, употребление слов надо предпочесть самим словам: слова существуют, чтобы ими пользовались, а пользуемся мы ими, чтобы учить (показывать, объяснять).³

Отдав должное знакам как незаменимым инструментам, которые дают вникнуть даже в ужасное и безобразное, например в пороки, сами оставаясь чистыми, и чуть было не приняв обычное мнение, что научение идет через знаки, Августин вдруг меняет взгляд и предлагает нестан-

1 Важная тема историографического исследования — одинаковая направленность мысли Витгенштейна о тождестве и Лейбница о принципиальной координации. Время материи и духа, никогда не прикасающихся между собой, заведено на *то самое*, одинаковое всегда и везде.

2 Августин, Об учителе. — Памятники средневековой латинской литературы IV–VII веков. Составитель О. Е. Нестерова. М.: Наследие 1998, с. 107–204.

3 Там же с. 192.

дартное наблюдение: вещи сами дают о себе знать и говорят за себя; знаки лишь сопровождают суть дела, наполняясь смыслом от вещей, не наоборот.

В обычной теории языка слова соответствуют вещам. Наклейка на упаковке (наш пример) сообщает, что туда что-то вложено, и именует вложение. Эта теория очень быстро заводит в тупик. Внутри упаковки может оказаться не то, что объявлено; нечаянно или обманом туда вложено другое. Возникают проблемы проверки и с ними трудности, в конечном счете неразрешимые. Если дело дошло до проверки одной упаковки, для полной уверенности их придется проверить все до одной. Августин расстается с такой теорией языка. Вещи

без всякого подания знака кажут сами себя [...] Так что учатся скорее знаку по узнанной вещи, чем вещи по данному знаку. [Знаки] самое большее лишь подталкивают искать вещи, не развертывая их для познания [...] Так что от слов мы учимся только словам [...] обо всем понимаемом нами мы совещаемся не с говорящим, который звучит извне, но с правящей внутри самого нашего ума истиной, словами, возможно, лишь склоняемые совещаться с нею [...] мы носим образы ранее ощущавшихся вещей в недрах памяти, некие свидетельства, выговаривая которые в духовном созерцании с чистой совестью мы не лжем, но свидетельства эти все в нас: слушатель, если чувствовал то же и был с нами, не научается из моих слов, а опознаёт образы, им носимые с собой.¹

Требуется внимание чтобы заметить, как много знания в языковой игре идет не от знака. Начать с того, что знак сам по себе без ориентиров, которые дает не он, может с равным успехом требовать противоположного себе. Поучение «не кури» (наши примеры), повторяемое взрослыми, заставит подростка испробовать запретное. Указательный палец, показывая направление, в равной мере может значить «туда не ходи» (М. Маяцкий). Кажущееся подчинение знаку часто — всегда? — продиктовано не им. Остановливаясь в ожидании зеленого сигнала на переходе с малым движением, родитель, без ребенка обычно идущий здесь на красный свет, играет в порядливого пешехода. Встать ему велит не знак, а забота воспитателя. Хозяин, учтиво открывая уходящему гостю дверь на улицу, вежливо сопровождает его, словно оттягивая момент расставания, или спешит его выпроводить? От гостя зависит увидеть в том же самом жесте приглашение прийти еще или желание расстаться навсегда.

1 Августин, Об учителе..., с. 196–200.

Отлично, молодец, прекрасно, произнесенные с определенной интонацией, могут означать противоположное своему словарному описанию. Интонацию тогда считают корректирующим знаком при основном, но и произнесенные нейтральным или восторженным тоном похвальные слова могут звучать осуждением. Зря ищут в знаке ключ к тому, как он должен действовать. Один знак вообще никак не действует. Голый знак беззащитно открыт для противоположных толкований.

Начав понимать, до какой степени знак послушен ситуации и может быть повернут против самого себя, мы задумаемся, для чего он вообще нужен. Мы знаем окончательный ответ Августина. Все, что мы слышим и узнаём, учит истина, живущая в нас; слова-знаки не сообщают ни сути вещей, ни пути к ней, они в лучшем случае подтолкнут нас советовать с правящей внутри ума истиной.

Мыслительные эксперименты Витгенштейна ведут к похожей догадке. Положим¹, некто В движется по правилам, которые ему дает А. Этот последний снабдил язык этой игры, задав его списком:

- | | | |
|---|---------------------------------|---|
| a | имеет значение, или содержание, | → |
| b | | ← |
| c | | ↑ |
| d | | ↓ |

после чего отдает приказ aacadd. В движется



Представим, что после долгой тренировки В проделывает тот же маршрут всякий раз, как он видит написанный приказ, уже не глядя на словарь-список. Такое возможно? Конечно. Тело, в которое вошел навык тренировки, подсказывает ему два шага вперед, шаг налево, шаг направо, еще три направо. На знаки он теперь не глядит, они ему ничего не сообщают; между приказом и исполнением уже не лежит их прочтение и содержательная интерпретация. Но, по-видимому, всё это вошло

¹ Л. Витгенштейн, Коричневая книга I 33.

внутри пройденной тренировки? Знаки и их толкование были нужны в процессе обучения и были естественно отброшены, когда тренировка дала результат?

Представим однако, что без всякой тренировки и не получив словаря тот же В при одном виде ряда букв aacacddd безошибочно движется по правильному маршруту. Случай кажется невероятным, но чем он в сущности отличается от предыдущего, когда В при виде тех же букв тоже делал всё правильно и не пользуясь словарем? так ли важен факт, что там имела место постепенная тренировка, а тут нет? Успех тренировки говорил об уже имевшейся в теле В способности к движению нужного рода. Нет ничего невозможного в предположении, что механизм требуемого движения принадлежит В как врожденный; вид букв развязал этот механизм, а не обучил ему. В таком случае В усваивает не механизм через буквы, а наоборот, научается значению букв, узнав, что они соответствуют его врожденным движениям. Подобное мы прочли у Августина.

Сделаем еще шаг. Что если В, которому врождена способность вышеописанного движения, увидит перед глазами не приказ aacacddd, а просто алфавит abcd? Будучи воспринято как приказ, сочетание любых букв способно привести в действие тот же врожденный механизм. Нужны ли в таком случае знаки? Да. Если буквами или каким-нибудь другим знаком не дан приказ, ничто не подтолкнет В к движению. Так у Августина хотя знаки ничему не учат, они склоняют нас актуализировать раскрывающееся в нас (не в них) знание. Не вливая в нас хранимое ими содержание — никакого своего богатства в них как таковых вообще нет, — они вызывают поведение, к которому мы от природы способны. Знаки наполняются значением от вещей.

У Витгенштейна здесь один из тех мыслительных экспериментов, где наше неверие, что такое бывает, означает, что на каком-то уровне, который мы склонны не замечать, так бывает всегда. Фантастический В, производящий серию отчетливых движений при взгляде на цепочку букв, настраивает наше внимание на редко посещаемый нами уровень наших поступков, которые минуют поверхностный слой переработки информации (толкования, объяснения, комментария). Витгенштейн просит вообразить¹ первобытное племя, где состязаются в беге и поднятии тяжестей, а зрители делают ставки на соревнующихся. В языке этих людей нет средств для выражения понятия *причины*, в данном случае причины

1 Кориичневая книга I 58.

предпочтения того или иного из соревнующихся. Конечно, некто А из этого племени, кладя перед началом состязания слиток золота под изображением своего фаворита, может изображать жестом большой рост спортсмена, некто В, ставя на другого, в ответ поигрывает своими мускулами, напоминая о размерах бицепсов своего протеже. Но только в нашей интерпретации это кажется приведением причин выбора. Не имея слова для понятия «причины», племя располагает только выражениями доверия, уверенности или, наоборот, пренебрежения к соревнующимся. Племя обходится без того слоя сознания, на котором оперируют схемой причинности. Не обходимся ли где-то без этого слоя и мы? На первый взгляд размах программирования окончательно утверждает причинно-следственную связь как базу нашей цивилизации. Витгенштейн приглашает подумать о том, насколько решающим однако остается интуитивный выбор.

Вернемся к теме знака. Много ли дает приписывание знаку содержательной информации? На примере упаковки с биркой мы видим, как этот путь заводит в тупик перепроверки. Августин в конце трактата «Об учителе» убеждается, что знаки не создают понимание, а только сопровождают его. У Витгенштейна некто А¹ пытается заставить В поверить в свое умение читать кириллицу и делает вид, что следит глазами за напечатанным русским стихотворением, в действительности проговаривая его наизусть. Получение информации не от текста здесь не видно для обманутого В и ясно только для А. Можно ли назвать деятельность А чтением? Уже сама возможность поставить такой вопрос показывает его сложность. Произнесение стихов наизусть мы тоже называем чтением. Рассмотрим еще случай². Некто умеет читать в совершенстве. Его просят прочесть несколько предложений. Он не видел их никогда ранее, но на всем протяжении чтения его не покидает особенное ощущение, будто он знает эту последовательность слов наизусть. Случай кажется странной конструкцией, но отвечает важному опыту, который есть у каждого. Приведу собственный пример. Однажды на уроке фонетики в Институте иностранных языков наша группа прорабатывала звук [w] английского языка. Для упражнения была предложена фраза из учебника фонетики *we are wasting our time*. Фраза прозвучала для меня сообщением о моей ситуации в тот момент; без этой фразы я не получил

1 Там же I 67.

2 Там же I 68.

бы важной информации. Между тем ни в учебнике, ни в голосе преподавателя сообщения мне не было. Я услышал его помимо знаков, которые подтолкнули меня воспринять его, а могли этого не сделать.

Нередки случаи, когда читают не так, как написано, или то, чего в тексте вообще нет. Если держаться принятого представления о чтении как интерпретации, т. е. переработке в сознании увиденных нами знаков, проговаривание того, чего в тексте нет, чтением не является. Почему и в таком случае говорят «ты читаешь не то»? называют чтением, а человек произносит совсем другое написанному? По сути дела — что мы замечаем только в предельных случаях — всякое вообще чтение скользит мимо знаков. Разнится лишь количественная мера удаления от текста. Иногда она переходит какую-то границу, назовем ее фонетической. Семантический произвол, бесшумный в голове, становится настолько большим, что уже не буква диктует понимание, а наоборот. Что и о чем думал (наш пример) глава государства, читая доклад на съезде КПСС, никто не видел и не слышал, пока его внутренняя мысль не изменила букв текста и он прочел *мать героя* вместо *мать-героиня*. При слышании и чтении мимо текста перевод букв в голос отключается. Вещь, наполняющая внимание, отождествляется с простым наличием знака.

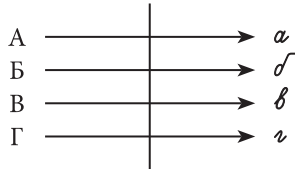
Узнавание *того самого* обходится без знаковой информации. В другом примере Витгенштейна¹ некто В, которому показывают спектроскоп, гигрометр, гадает об их назначении, пытается истолковать их в опоре на известные ему технические приспособления и, возможно, в конце концов делает верную догадку. Возвращаясь по следам своей интерпретационной работы, он при необходимости объяснит причины принятого решения. Может ли он однако объяснить, почему на просьбу назвать показанный ему цвет он уверенно говорит: красное? Между цветом и его названием интерпретация не стоит. Слово *красное* ничего не сообщает о красном цвете, как сообщило о назначении прибора слово *гигрометр*. С цветом мы состоим в интимных отношениях помимо слова.

В слове видят клавишу для вызова нужного тона, как в музыке, как в серии операций, как в технике. Кажется, что в речи участвуют только два момента, знак-вызов и высвобожденная им реакция. Это упрощенная схема. В языковую игру входит обязательным моментом оценка своих и чужих слов и действий на *то* и *не то* («не то я говорю»). Мою речь понимают, поскольку слышат в ней нужное, важное, уместное. Отож-

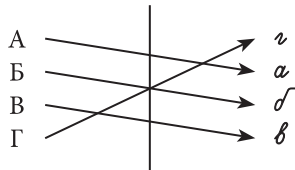
1 Кориичневая книга II 1.

дествление слова с делом в конечном счете решает, как сложится языковая игра. Это отождествление невозможно обозначить; наоборот, оно придает слову значительность, сбивает или полностью отменяет механизм вызова-отклика.

Этнографические мыслительные упражнения В. («представьте племя...») возвращают к такой полноте общения, когда знак задевает всё существо наивного участника языковой игры, а не только уровень сознания. У первобытного существа отклик на вызов не приглушен слоём интерпретации. Обходу толковательного слоя служит и доведение интерпретации до абсурда. Безобидность даже такой простейшей интерпретации, как переписывание прямого шрифта курсивом, оказывается мнимой. Для большей близости к нашему восприятию слегка видоизменим витгенштейновский эксперимент. Пусть некто получил задание перевести ряд букв из печатных в письменные ¹.

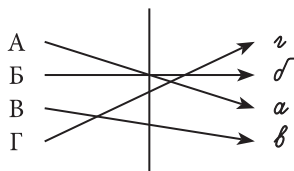


Алгоритм переписывания предельно прост. Операция на первый взгляд затрагивает только графику и не касается функции знака. Иллюзия чисто механического пересчета сохранится и в случае, если знаки транскрибируются со смещением. Шифрование такого рода используется в компьютерных программах. Витгенштейн пользовался личным кодом, где первая буква алфавита заменялась последней, вторая предпоследней и т. д.



Но что если печатные буквы переводятся в письменные так, что алгоритм транскрипции уловить не удастся?

¹ Ср. там же I 70–75.



Казалось бы, последний случай в корне отличен от первого. Между тем здесь мы имеем на выходе те же рукописные знаки, что и в первых двух, где мы согласились с допустимостью трансформаций. Третий случай призван насторожить нас. Коль скоро однажды запущен механизм преобразования (интерпретации), приходится быть готовыми к тому, что рано или поздно мы потеряем способность за ним следить.

Не следовало соглашаться и с тем, что при простом переходе от печатных букв к рукописным мы сохраняем тождество. Казалось бы, транскрибируя Д в *д*, мы пишем то же самое. Специалисты однако скажут, что печатная кириллица, созданная наспех при Петре, уступает по достоинству латинице, и ее недостатки отчасти исправлены в рукописных почерках, которые по сравнению с печатными шрифтами делают шаг к латинице. Прописное Д не вполне тождественно *д* еще и потому, что, пусть пока еще только в рекламе, явочным порядком принимает латинскую форму. Не надо было спешить отождествлять Д и *д*. Они знаки не одного класса, хотя между ними есть семейное сходство. Запрет на транскрипцию, якобы элементарную операцию, изображен на всех трех схемах одинаковой сплошной чертой, отделяющей первичные знаки от переделанных.

Опознавая известное, мы испытываем приятное чувство знакомства: *д* — это конечно Д. Но узнавание чаще, чем мы думаем, поддерживается нашей расположенностью к нему. Тождество имеет притягательную силу. Ощущение известности мира и почти всего в мире, испытываемое нами всегда или почти всегда, создано в значительной мере привлекательностью тождества. Но нашему *опыту*, т. е. не тому, что мы склонны ощущать, а тому, что реально с нами происходит, «незнакомость гораздо ближе чем знакомость»¹. Неожиданность незнакомого происходит не от его редкости, а от неготовности иметь с ним дело.

Мы склонны к опознанию вещей как знакомых. Человеку показывают после ряда неизвестных ему сложных приборов карандаш. О, да это

1 Коричневая книга II 1.

же просто карандаш! «Он увидел карандаш, улыбнулся, почувствовал облегчение, и название узванного предмета сразу пришло ему на ум или сложилось на кончике языка.»¹ Всегда легче перейти от нетождества к тождеству чем наоборот. Ввиду важности задетой здесь темы требуется методологическое отступление.

2 МЕТОД ОПИСАНИЯ И ТОЖЕСТВО

Многим кажется, что витгенштейновские упражнения и загадки служат прояснению каких-то глубоких философских истин. Ничего подобного в них искать не надо.

Наш метод *исключительно дескриптивный*; описания, которые мы даем, не служат намеками на объяснения.²

Описываются простейшие данности, которые всегда с нами так, что мы давно перестали их замечать. Читатель собьется с толку, если станет думать, что через казусы, неожиданности его ведут к постижению трудноуловимых тонкостей.

Здесь легко попасть в тот тупик философствования, где мы думаем, будто трудность задачи заключается в том, что от нас требуется описать едва уловимые явления, быстро ускользающий опыт настоящего или подобное. Где обычный язык представляется нам слишком грубым и кажется, что нам надо иметь дело не с теми феноменами, о которых говорит повседневность, а с «легко исчезающими, которые возникая и пропадая производят асимптотически те первые».³

Неожиданные прозрения и потом долгий шаг на месте составляют режим работы нашего автора, решительного только в отталкивании патентованных схем. Кто назовет такую работу теорией? Она и не практика, к которой по Плотину сползает слабая душа, не сумев удержать настоящее дело в созерцании. Философией сейчас принято называть устроительное усилие мысли, упорядочивающей свои темы и проблемы. В конечном счете такая деятельность никогда не сможет устроить нас. В каждой разбираемой нами фразе надо ожидать того, что словоупотребление В. подчинено его видению вещей, к которому мы не привыкли.

1 Там же.

2 Коричневая книга I, конец.

3 Л. Витгенштейн, Филос. исслед. 43б.

Описание у него не означает перечисления черт предмета. Оно начнется и кончится удивлением перед тем, каким образом, отчего и для чего предмет был выделен из мира. Мировое целое дает мало оснований для разделения себя на части. С целым мы, даже если не замечаем, прежде всего имеем дело.

Можно полностью описать мир через совершенно обобщенные предложения, т. е., стало быть, не соупорядочивая заранее то или другое имя с определенным предметом.¹

За реализм описания, не желающего терять мир, отвечает только его, описания, устройство. Ни одна его часть не может быть безобидно выделена для сопоставления с частью реальности. Обобщение (*Verallgemeinerung*) тут означает не извлечение универсальных черт из массы вещей, а переход из расколотого пространства в единое логическое. Обобщения в привычном смысле Витгенштейном не признаются, так же как и классы.

Смещение привычных значений терминов у него правило с редкими исключениями. Он не признает за собой обязанности объяснять, что происходит с его терминологией. Смещение смыслов помогает без заботы о размещении содержаний внутри заданного пространства перейти к месту самому по себе, от сторон рассмотрения перейти к странности, существу пространства. Странность не столько исключена из обыденного ряда, сколько от всего отдельна. Подобно слову *обобщение*, примененному способом, противоположным привычному смыслу генерализации, термин *предложение* тоже обманет ожидания, как только мы захотим уточнить, что это такое.

Описание у В. свободно от подобия изображенному и достигается собственно отказом от переписывания. Приговор срисовыванию *не то, не то*, отменяя попытки приблизительного уподобления, попадает в *не то* мира, странной вещи. Но, отказавшись от изобразительного символизма, мы, возможно, откроем тожество мира и речи. Вместо подобия оригиналу мы начнем ценить в описании глубину. Соответствие образцу достигается не умножением подробностей. Независимость речи отвечает неприступности вещи. Реализм описания никогда не обеспечит его истины. Всё решает принадлежность описания действительности.

Истина предложения состоит не в том, что оно имеет *определенное* отно-

¹ Трактат 5.26.

шение к действительности, а в том, что определенное отношение к ней оно действительно *имеет*.¹

Как уже замечено, нет знаков, способных обозначить, тем более удостоверить, что сказано *то самое*. Русскому читателю поможет пример Гоголя. Секрет писателя не в том что он развернул определенное отношение к России, реалистически-изобразительное, обскурантистское, педагогическое или другое, а в том что он относился к России в смысле полноты принадлежности к ней. Он не уходил от этой принадлежности в формирование отношения к России. Выяснять отношения дело интеллектуального конструирования, относиться в смысле принадлежности — дело поступка.

Проблема описания мира здесь, конечно, только поставлена.

В этой работе больше чем в любой другой окупается рассмотрение еще и еще раз с новых сторон вопросов, которые люди принимают за решенные, как нерешенных.²

При третьем, сотом подходе открывается неожиданное. Невозможность приблизиться к истине мира путем его определения отвечает непостижимости мира, но не его неопределенности. Мир не так вот и еще так определен, а он есть сама определенность. Он не взят в такие-то границы и так-то структурирован внутри, а сам в себе и есть граница. Как такое возможно?

В дневнике 17.6.1915 Витгенштейн в который раз ищет простое начало языка и мира. Анализ, которым мы преимущественно или исключительно заняты внутри нашей сложной действительности, предполагает веру в элементы, из которых состоят комплексы.³ Разборы не имели бы смысла, если бы не обещали привести к неразложимым единицам. С другой стороны, никакому анализу никогда не удавалось дойти до безусловных первоначал, не поддающихся дальнейшему разбору. Против неограниченной разложимости вроде бы ничего не говорит. Предложите мне

1 Дневник 2.11.1914, WA 1, 113.

2 Дн. 13.11.1914.

3 Записка слушателя, переданная мне в данном месте курса, отражает напряжение, в поле которого идет работа мысли: «Витгенштейн (и мы вместе с ним) очень похожи на человека, находящегося в пылающем доме, о котором рассказывает притчу Будда. Человек вместо того, чтобы выскочить из горящего дома, всё время спрашивает, нет ли снаружи опасности. Будда сказал об этом человеке: „Такой сторит, задавая вопросы“. Мы поистине горим, т. е. говорим, и это ярче яркого показывает наше нежелание спастись из горящего дома. В. К.»

что-либо простое, и я найду в нем составные части. Это бесспорно. Но снова и снова кажется, что должно существовать неразложимое, первоэлемент бытия, короче — вещь. Надо было до предела раскататься на этих качелях и сохранить геометрическое спокойствие, чтобы потом записать решение:

Ничто не идет против нашего ощущения, что *мы* не можем настолько разложить предложения, чтобы выявить именно элементы, но мы чувствуем, что мир должен состоять из элементов. И, похоже, это тождественно положению, что мир должен быть именно тем, что он есть, что он должен быть определенным.

«Мир должен быть определенным» здесь требует того же, что розановское «пусть мир останется неопределенным». Мир невозможно определить, и вместе с тем он уникально, с бесспорной необходимостью есть именно то что он есть. Противоположной определенности — фиксированного содержания — у него нет и не может быть потому, что вся его определенность растрчена, так сказать, на его целость. Неподвижность миру придает его полнота, к которой ничего нельзя прибавить.

Или, другими словами, что шатается, так это наши определения, не мир.

Эта длинная запись 17.6.1915 почти зашифрована. Ее трудность связана с простотой того, о чем идет речь. Комментарий к нижеследующей фразе скорее затемнил бы ее законченную мысль.

По-видимому, отрицать вещи значило бы все равно что сказать: мир может быть, так сказать, неопределенным в каком-то таком смысле, в каком наше знание недостоверно и неопределенно.¹

Вещи распадутся, есть мир будет неопределенным не в смысле тайны, а в тривиальном смысле размытости. К их распаду ведет недолжная догадка, будто если мы не в состоянии разобрать мир до определенности, то следовательно он лишен определенности сам по себе. Не надо принимать такого решения. Дневниковая запись продолжается с абзаца в стиле манифеста:

Мир имеет жесткую структуру.²

1 «Es scheint, als hieße die Dinge leugnen soviel als zu sagen: Die Welt könne sozusagen unbestimmt sein in dem Sinne etwas, in welchem unser Wissen unsicher und unbestimmt ist.»

2 «Die Welt hat eine feste Struktur.»

Попытка фиксировать ее не пойдет однако дальше остановки у непроходимой границы. Природа жесткой структуры мира проявляется в связи со вторым афоризмом «Логико-философского трактата»:

Мир есть совокупность фактов, не вещей.

Располагаясь в логическом пространстве (но в конце концов что же такое, черт возьми, логическое пространство, спрашивает в одном месте В.) отдельно от вещей, чье множество есть что-то другое чем мир или другой мир, целое должно ограничить себя, чтобы внутри него могли быть вещи. Они окажутся спасены только если расположатся между полюсами *да* и *нет*, став делом выбора и решения. Вещи должны неким образом включиться в логику, иначе никакая массовость не удержит их от уничтожения.

Умножение вещей само по себе еще не расширяет мир. Все оживает от прикосновения к «жесткой структуре». Музыка может изображать плеск воды, пение птиц и что угодно, если композитор умел сначала найти свой стиль. Ведя речь от полноты (целости), созданной не нагромождением всевозможных звучаний, можно найти в ней место для любой цитаты. Логическое пространство создается не содержательной мощью. Материально оно пустота, оформленная так, чтобы впустить в себя всё. Так, в лишь отчасти работающем сравнении, математика не нуждается в проверке материей. Вещество, наоборот, должно выверять себя математикой и не входит в физический мир, пока не уловлено ее формализмом. Различение мира и вещей взаимно сберегает их. Мир расположен там, где есть отчетливая граница между *да* и *нет*. Вещи в принципе не могут удовлетворить этому требованию. Фиксация на да-нет в них не наблюдается и в этом смысле не существует. Вместе с тем только она решающим образом есть. Логическое пространство располагается везде и нигде. Трансцендентный мир ближе нам чем любые вещи. Наше историческое бытие размечено несуществующими *да* и *нет* в большей мере чем двусмысленными вещами.

В этом свете выражение «вещи мира» требует уточнения. Веществу не гарантировано войти в мир, как миру не обеспечено быть. Тут нужна работа различения.

Действительность должна быть фиксирована фразой (Satz) на да или нет [...] Фраза выстраивает мир с помощью логического каркаса (Gerüst).¹

1 Тракта́т 4.023.

Вещи определяются и вступают в связь между собой через втягивание в *да* и *нет*. Когда отчетливости избегают, мир просвечивает в усилии уклонения от нее. Отчетливые *да* и *нет* предполагают сквозную полноту знания. Для фиксации действительности, мы читали, эта последняя должна быть полностью описана фразой¹. Такое недоступно никакой детализации. Отчетливость предоставляется только целым. Она возникает около его предельной простоты. Только мир кладет конец неопределенности. Никакая фиксация не спасла бы вещи от шаткости, не имея она опоры в определенности мира. Отчетливость предоставляется только им. Требуемая отчетливость возникает около его предельной простоты. Тут прекращается неопределенность. Фиксация на *да* и *нет* не спасла бы вещи от шаткости, если бы не имела происхождения в жесткости мира.

Не только мир, но и вот этот мой стул бездонно сложен и неуловим при любой обстоятельности описания. Как стул теряется в вещественной дескрипции, так мир не улавливается через его содержание. Его странная полнота, безотносительная к числу частей, лишь скрыта за массой подробностей. Младенец в сравнении с академиком (наш пример) считается менее компетентным. У академика под рукой библиотека знаний о мире, а у младенца в распоряжении часто только один знак, голос, переходящий из экстатического в трагический тон. Младенец ничего не знает из физиологии и психологии, он однако переходами тона схватывает мир так, как академик хотел бы, но средствами науки уже не может. Наука не плачет, не бьется в истерику и не заливается в смехе до визга. Голос ребенка без объяснения вызывает живое существо на ответ. Поэзии и музыке тоже хочется и не всегда удается сохранить экстаз счастливого или горького присутствия в мире. Слово будет снова и снова возвращаться к раннему опыту мира, потому что больше некуда. Мысль восстанавливает такую принадлежность миру, когда его описание перестает быть проблемой, как для нырнувшего под воду уже не проблема дотронуться до нее.

Младенец эффективно управляет окружением. Он знает действенность своего голоса. Не предприняв еще попытки разобраться в вещах и в собственном теле, не отделив души от тела и тела от вещей, он уже уверен в успехе. Если он не подавлен, попытку запретить ему распорядительное отношение к миру он встречает протестом. Голос младенца

1 Тракта́т 4.023.

включен в мир на том простом основании, что всё всему соответствует, *лишь бы было*. Раз что-то есть, оно перекликается своим *есть* с любым другим. Проблема возникает, когда из соответствия делают задачу, начиная отыскивать его на стороне и устраивать словно на пустом месте. Любой метод описания в этом случае окажется плох, если не использует то, что всегда уже дано. Описания никогда не будет достаточно, если оно промахнулась мимо уходящего в бытие соответствия чего угодно чему угодно. Компьютер (тоже наш пример) всего быстрее совершенствовался тогда, когда дизайнеры отказывались от воспроизведения в железе и программах представлений о том, как происходят мыслительные процессы. Машины считывания голоса, электронные переводчики удалось сделать без копирования научных схем того, как происходит переход фонетики в смысл и одного смысла в другой, когда перестали искать что-либо кроме нужного результата на выходе. Эти примеры, конечно, далеко не ведут. Машиной управляет программа, тогда как на софию мира можно положиться только через отказ от контроля. София (тела, космоса) автомат, мало, вовсе нисколько или отрицательно зависящий от нашего знания его устройства. Правила пользования им *немыслимо* просты; им учит не нейрофизиология, не нейрехимия, а чистая фило-софия. В ее исканиях, срывах, терпении, настойчивости единственный способ обращения с мировым автоматом. В сравнении с ней так называемая экология остается техникой, претендующей на знание этого автомата. Для его сохранности важнее знать, что его простота не оставляет места для знания. Новейшие компьютеры уже трудно использовать из-за ограниченности операторов, чьи задания несложны в сравнении с возможностью процессора. Настоящий автомат (организм) мира, напротив, показывает свои возможности после прекращения операций с ним. Для такого отказа требуется конечно все наше знание. Опыт тут приобретает не тренировкой технических навыков, а как-то по-другому. *Inattingibile inattingibiliter attingitur*, непостижимое постигается непостижением, учил Николай Кузанский. Неуловимое схватывается несхватываемо; к неприкосновенному можно прикоснуться только наувившись некасанию, которое легче и вместе с тем несравнимо труднее касания.

В дневнике 29.9.1914 Витгенштейн записывает с восклицательным знаком и подчеркиванием:

Решение всех моих вопросов должно быть *крайне* простым!

Это возвращает к *facilis difficultas*, легкой трудности Николая Кузанского¹. Когда Витгенштейн не дает дефиниций, не делает обобщений, не получает результатов, он почти один за нас делает в 20 веке настоящую работу, продолжает справляться с автоматом софии. Если это теория, то в платиновском смысле главного дела, с которого срывает психастения, соблазняя ловить несхватываемое руками. «Легкую трудность» надо понимать как трудность легкости, неожиданной для рабочих, какими мы все стали в нашем Египте. Главные вещи надежны потому, что они существуют *так*, не требуя усилия, и не потому что мир или Бог работают за нас, а потому что они устроены с неприступной, абсолютной легкостью, как абсолютное скольжение, сверхпроводимость или невесомость (всё это лишь далекие примеры).

Простота описания мира заключается в том, что мы не можем не угадать в соответствие, когда всё соответствует всему. Художник, старательно выписывающий каждую травинку, чтобы получилось как у Шишкина, конечно наивен. А другой, нарочито абстрактный, выбирающий необычные средства? Действительность располагается между ранними *да* и *нет* в неопределенности простого так-бытия (*So-Sein*), которое случилось как случилось.

Смысл мира должен лежать вне его. В мире всё такое, какое оно есть, и всё происходит как оно происходит; *внутри* него нет никакой ценности — а если бы была, то не имела бы никакой ценности.

Если существует ценность, имеющая ценность, то она должна лежать вне всего происходящего и так-бытия. Ибо все происходящее и так-бытие случайны.

Что делает его не случайным, не может лежать *внутри* мира, ибо тогда оно было бы опять же случайным.

Оно должно лежать вне мира.²

Извне мира открытие в нем неслучайной ценности достигается минимальными средствами в нищете и немощи без рук и без ног, без времени, без воздуха, вдруг и сразу. Решающий выбор *да* или *нет* и только он угадывает в существо мира и тем восстанавливает вещь. Нужные соответствия обнаружатся потом.

1 *Nicolaus Cusanus*, *Idiota de sapientia* § 28: *Nulla est facilius difficultas quam divina speculari, ubi delectatio coincidit in difficultate*. В других списках: *Nulla est difficilior facultas; nulla est felicius difficultas*.

2 Трактат 6.41.

Описание ориентируется на тожество в смысле *того самого*. В описание может входить поэтому отрицание всех высказанных о вещи фраз как неистинных. Только логическая форма фразы, поскольку в ней предполагаются *да* и *нет*, строго тожественна определенности факта, который именно да, такой, какой он есть, и нет, не такой, каким мы его не нашли. Фраза предлагает логический рисунок действительности¹. Она представляет положение вещей (Sachverhalt) с отчетливостью, показать которую вещи не способны. Логика придает им форму *так-не так*. В параметрах *да-нет* возникает не просто соответствие, а тожество действительности, насколько она входит в ту же форму. Выход в логическое пространство вводит в действие эту форму полного тожества, внутри которой находится место для приведения в соответствие всего всему.

Описание поэтому есть нечто гораздо большее чем перерисовывание.

Можно таким образом набросать картину мира, не говоря, что что представляет.²

Нам не скажут об одно-однозначных соответствиях между рисунком и действительностью не потому что хотят скрыть их или задать загадку. Автор картины может сам не уметь привести ее элементы в связь с частями мира. Напрашивающееся отовсюду сплошное символическое созвучие всего всему на этом логическом уровне надо пока отодвинуть в сторону. В продолжение дневниковой записи того же дня рассмотрен простейший случай:

Допустим, напр., мир состоит из вещей А и В и свойства F, причем имеет место F(A), но не F(B).

Мы воздержались от того, чтобы угадывать в вещах А и В небо и землю или свет и тьму. Рисунок

$$(\exists x, y) . (\exists \phi) . x \neq y . \phi x . \sim \phi y^3$$

¹ Дн. 2.10.1914.

² Дн. 17.10.1914.

³ В системе обозначений, описанной в начале «Principia mathematica» Уайтхеда и Рассела, знак \exists — квантор существования («существует такой x , что...»), тильда \sim — отрицание, точка обозначает так называемое логическое произведение, т. е. одновременную истинность разделяемых ею выражений. Выражение в целом надо читать так: существуют некие x и y и некая функция ϕ такие, что x не равен y , имеет место функция от x и не имеет места функция от y .

будет набрасывать (entwerfen) двухэлементный мир без уточнения, что чему соответствует. Мы не гадаем, что такое свойство ϕ , легкость или тяжесть, добро или зло. Утверждается категорически только то, что мир состоит из А и В, что существует свойство ϕ , которое есть в мире у вещи А и только, тогда как его принадлежность В не имеет места (*nicht der Fall ist*). Такой случайности, чтобы у В оказалось свойство ϕ , не случилось. Подобное утверждение, мы уже заметили, стилистически сопоставимо с тезисами, что всё есть вода или огонь, логос, число. Содержательно бедное, оно оставляет место или, вернее, служит местом, в котором становится возможно отношение к истине мира, оформленное утверждением и отрицанием. Утверждение *случилось так, причем именно так, что мир состоит из двух вещей, из которых только одна, но не другая, обладает известным свойством*, будучи пробой мира, примеривается к нему и дает ему шанс присутствовать со всей определенностью. Предложение не претендует быть *похожим* на мир. По категоричности утверждения и отрицания эта нищая картинка не «похожа» на мир, а тождественна ему с его жесткой структурой.

Что всякий рисунок, какой бы ни было формы, должен иметь общего с действительностью, чтобы быть в состоянии ее вообще — верно или ложно — срисовать, есть логическая форма, то есть форма действительности.¹

Этот тезис «Трактата» читают вместе с дневниковой записью 20.10.1914:

Формой рисунка можно было бы называть то, в чем рисунок должен согласоваться с действительностью (чтобы вообще быть в состоянии ее обрисовать).

Теория логического отображения речью говорит — совершенно вообще: чтобы фраза могла быть истинной или ложной — чтобы она согласовывалась или нет с действительностью — для этого во фразе должно быть что-то *тождественное* с действительностью.

Тождество понимается здесь в сильном смысле полностью того (же) самого.

3 МЕЖДУ ПОППЕРОМ И РАССЕЛОМ

Логико-философский трактат, мы помним, начинается формулой

1 Мир есть всё, что имеет место.²

1 Тракта 2.18.

2 «Die Welt ist alles, was der Fall ist.»

Глагол *есть* связывает подлежащее фразы — то, что привлекло наше внимание и подлежит определению, — с существом того, что названо подлежащим. Имеются в виду не части мира в пространстве и времени, а целое. Размах заявления заставляет слушать со вниманием. Объявление «*Мир есть*» *сейчас скажем что* обращено к неограниченной аудитории. Всем предложено понимать мир в его существе как то, чему случилось или выпало быть; что оказалось (возможный перевод); что фактически есть. На английский язык возможен буквальный перевод *The world is all that is the case*¹. Случиться может что угодно, но только так, как оно случилось. Оказывается не то, что казалось. Факт предполагает его установленность. Мы узнаем, что имеет место, в ходе выяснения, отсеивая неистину. Случившееся (выпавшее) маркировано своей определенностью. При этом надо учесть, что определенной может быть и неопределенность. Фактом может быть переход из возможности в действительность и в равной мере неспособность осуществиться. Необходимость возможности навсегда остаться в потенции тоже оказывается и имеет место. Мир есть именно всё, чему случилось быть. Мы, говорящие «оказалось, имеет место, случилось», участвуем в маркировке существования и несуществования, действительности и возможности как таких, какие они есть.

Маркированная определенность всего, чем является² мир, подчеркнута вторым положением «Трактата»:

1.1 Мир есть совокупность фактов (Tatsachen), не вещей (Dinge).

Уважая четкость логического формализма, при чтении В. важно раз навсегда расстаться ради успеха последующего чтения с колебаниями вокруг смешения фактов с вещами и наоборот. Различение фактов и вещей спорно терминологически, особенно при переводе, но предлагается как абсолютное, настолько, что лучше понимать факты и вещи как то, что заведомо различно, чем наоборот. Выражению мысли В. позволяет быть каким случилось, в сути дела не сомневается.

Здесь [в выражении мыслей] я сам сознаю, что далеко не достиг всего возможного. Просто потому что моя сила слишком мала для одоления этой задачи. — Пусть другие придут и сделают лучше.

1 *Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus*. Transl. by D. F. Pears and B. F. McGuinness. L.–N. Y.: Routledge & Kegan Paul 1995 (9-е изд.).

2 Слово *является* мы всегда применяем не в стершемся значении глагола-связки (быть, служить чем), а в смысле выхода к явленности.

Наоборот, *правда* сообщенных здесь мыслей кажется мне неприступной и окончательной. Я поэтому того мнения, что окончательно разрешил проблемы в существенном.¹

Различение между фактами и вещами не мыслительный конструкт. Оно принадлежит миру, поэтому мы должны его увидеть. Рассмотрим ситуацию (мой пример). «В магазине нет сахара», сообщая я кому-то. В этой фразе (предложении, пропозиции, высказывании, по-немецки Satz от setzen, устанавливать, укладывать, постановлять) я выдаю, докладываю, выставляю напоказ некое положение вещей. Я произношу слова фразы уверенно, пока цитирую продавца, заведующего, приклеенную к витрине записку, строку статистического или административного отчета. Выйдя из круга цитирования и пытаясь отвечать за высказывание сам, я буду должен войти в сложные подробности не только торговли, но и промышленности, в социальные, этические проблемы. Едва ли окажется достаточным простое сообщение об отсутствии сахара, если он есть в подвалах, не завезен в магазины по халатности или намеренно². Легко сказать «Этот стул коричневый», если читать, например, графу торгового прейскуранта или цитировать слова продавца из мебельного магазина: «Стулья коричневые, миллион двести тысяч штука». Если, наоборот, разбираться в оттенках коричневого, не имея в распоряжении эталона колеров, пытаться дать полное описание стула, не все части которого окажутся одного цвета, то конца анализу не предвидится.

Фраза вроде «этот стул коричневый» по-видимому говорит что-то чудовищно сложное, потому что захоти мы высказать эту фразу так, чтобы никто не мог нам сделать против нее возражений, вытекающих из ее многозначности, то ей пришлось бы стать бесконечно длинной.³

Тонкости нам обычно не нужны, фраза понятна и так. Между тем она не вызывает проблем только пока не выходит из контекста взаимных цитирований, двигаясь по кругу характеристик, принятых в языке нашей цивилизации. Мы выбираем одну из принятых и отработанных в обиходе формул, внося от себя, может быть, только некоторую неуверенность. О том, чтобы наша фраза легла убежденно и непосредственно на саму вещь, а не на условленный способ обращения с нею, не может быть речи.

1 Тракта́т, Предисловие (конец).

2 Вспомним годы, когда это писалось.

3 Дн. 19.9.1914.

Как целая фраза, так отдельное имя, если применяется не условно, потребует бесконечного анализа. Пятно в поле зрения состоит из множества точек, для описания которых понадобится неопределенно большое число фраз различного содержания. Неопределенность по мере пристального взгляда в вещь будет множиться. Значит ли это, что мы никогда не угадаем своей речью точно в нее? В парадоксе Зенона Ахиллес не догонит черепаху потому, что любое самое малое расстояние между ними будет развертываться в свежую бесконечность. Точка черепахи будет каждый раз теряться внутри новой бесконечности. Легкое решение парадокса напрашивается: актуальной бесконечности не существует из-за исчерпаемости вещества во Вселенной. Такое решение вязнет в безысходной проблеме непрерывности-дискретности и бесконечности-конечности мира. А что если беспокойная сложность и разложимость вещей не мешает их определенности? Необозримость мира, мы видели, не мешает ему быть жесткой структурой. Сложная вещь может быть схвачена простым именем. Прося подать мне часы, я имею право не только не перечислять все шестеренки, которые передвинутся при этом в пространстве, но и не знать о них. То, что звезда имеет поверхность и объем, не мешает зрению схватывать ее как точку.

Зеноновский парадокс Ахиллеса и черепахи не решается введением предела. Пусть недостижимость черепахи для Ахиллеса будет мыслительной конструкцией, которую никто не наблюдал. Нам это не поможет. Любой предел бесконечности, который мы захотели бы ввести, останется тоже абстракцией. Получить его иначе чем как, например, было введено понятие предела в дифференциальном исчислении, т. е. на наш страх и риск, мы не сможем. Никакой голос извне не велит нам прекратить уточнение точки внутри пятна; последнее слово тут всегда остается за нами. Говоря «пятно есть там» (в западных языках глагол-связка здесь обязателен), мы незаметно постановляем считать пятно чем-то целым, а его место определенным.

Принятая в нашей цивилизации практика уточнения в условленных границах кажется успешной. Наши дела идут, ускоряем прогресс, многое устраиваем и получаем осязаемый результат. К сожалению, мы плохо сознаем, что разрешение на практику усреднения дали себе мы сами. Детская честность требовала бы такого признания. Двухлетний ребенок взялся разбирать на полу скороварку. А папа разрешил? спросила мать. Разрешил, сказал малыш. Через несколько минут мать из коридора услышала, как сидя один над разобранной скороваркой он приго-

варивает про себя: «Ни-че-го папа не сказал про скороварку, ни-че-го-шеньки не сказал».

Наши отношения с бесконечностью не обязательно должны улаживаться диктовкой ей наших условий. Бесконечность составных частей смысла не обязательно перечеркивает его определенность. Жесткое различие между фактом и вещью запрещает редуцировать вещь к ее определению и одновременно разрешает определенность в обращении с ней. Основанием для этого оказывается жесткая структура неопределимого мира. Положение «Мир есть всё, что имеет место (оказывается, выпадает)» вводит пространство логической четкости. Мир не тонет в массе вещей. Он ближе к нам чем они. Его жесткости отвечает истина или ложь нашей речи. Близость мира, помещенного в логическое пространство, не означает его устроенности нами. Его принадлежность к логике не мешает ему быть неприступным. Самый близкий нам, он не зависим от нашей воли.

Мир мне *дан*, т. е. моя воля подступает к миру совершенно извне как к чему-то готовому.

(Что такое моя воля, этого я еще не знаю.)

Оттого у нас чувство, что мы зависим от какой-то чужой воли.

Как бы то ни было, мы во всяком случае *действительно* в известном смысле зависимы и то, от чего мы зависимы, мы можем назвать Богом.

Бог в таком случае просто судьба или, что то же самое: независимый от нашей воли мир.

От судьбы я могу сделать себя независимым.

Существуют два божества: мир и мое независимое Я.¹

Жесткой структурой мира питается определенность тех *есть* и *нет*, на которых строятся фразы человеческой речи. Вместе с тем истина этих фраз всегда условна. Приложение их к вещам проблематично и поддержано в основном цивилизационной практикой. Вещи сложны и наши суждения их не достигают. Тем не менее для них важна возможность стать «составной частью того или иного положения дел»². Невозможно знать, что случается с вещами вне мира. Они не дают на что опереться, пока не ясно, какой частью они входят в логическое пространство. Оно, наоборот, не стоит под вопросом и в качестве простого не

¹ Дн. 8.7.1916.

² Трактат 2.011: «Es ist dem Ding wesentlich, der Bestandteil eines Sachverhaltes sein zu können».

требует определения. Проблематично только всё, что говорится о нем как целом.

Ставя под вопрос философские рассуждения и, в другом аспекте, научный дискурс, Витгенштейн не ведет критику обычного языка. Подозревать в ошибке язык не разумнее чем сердиться на собственное тело — вещь случающаяся, но не очень серьезная.

Язык есть часть нашего организма и не менее его сложен.¹

Обиходный язык часть человеческого организма и не менее его сложен.

Человечески невозможно непосредственно извлечь из него логику языка.²

Как можно ходить, не зная названий костей и мышц ног, так

человек обладает способностью строить речи, способные выразить любой смысл, не имея ни догадки о том, как и что означает каждое слово. — Как и говорят, не зная, как производятся отдельные звуки.³

Непонимание языка не только не грех и не беда, но чуть ли не условие его правильного применения. Недоразумения возникают при редукции языка к логике.⁴ Язык органичен и не стоит под вопросом. Нас вводит в заблуждение не столько его непонимание, сколько наоборот понимание, которое всегда окажется ложным. Мы не можем ошибиться, плавая в органике языка. Сбои начинаются с его толкованием. Безопаснее было его вообще не толковать, ограничившись следованием ему. Во множестве витгенштейновских упражнений обращение с языком именно таково.

Мы показываем, что существует такое восприятие правила, которое уже не есть *толкование*, но в каждом случае применения выражается в том, что мы называем «следованием правилу» и что мы называем «поступанием против него».⁵

1 Дн. 14.5.1915.

2 Трактат 4.002: «Die Umgangssprache ist ein Teil des menschlichen Organismus und nicht weniger kompliziert als dieser. Es ist menschenunmöglich, die Sprachlogik aus ihr unmittelbar zu entnehmen.»

3 Там же.

4 Трактат, Предисловие автора: «Das Buch behandelt die philosophischen Probleme und zeigt — wie ich glaube —, daß die Fragestellung dieser Probleme auf dem Mißverständnis der Logik unserer Sprache beruht.»

5 Филос. исслед. I 201.

Язык так же независим в своей целостности от нашей воли, как мир. Мир не под вопросом; язык не под вопросом. Под вопросом мое толкование их, оно может оказаться ложным; может оказаться, что вообще толкование как таковое не нужно, надуманно, уступает по достоинству нетолкующему поведению. Мир есть все, что оказывается. Его тожество образует жесткую структуру. Речь имеет опорой это тожество.

Уже при попытке толковать фразу в смысле субъект-предикатной структуры возникают трудности. Рассмотрим это на нашем примере. Возьмем положение «Россия есть демократическое федеративное правовое государство»¹. В обыденной речи мы так не говорим. Официальный стиль государственных документов отмечен частичным восстановлением глагола-связки. В западных языках вплоть до польского и украинского соединение субъекта и предиката через *есть* обязательно. Мы, русские, отбросили в масштабах языка и культуры глагол-связку настоящего времени. Едва ли так произошло случайно. Возможной причиной был прагматизм. Мы не видим большого толку в оформлении связи между субъектом и предикатом. Нам кажется, что нельзя по-честному ни один субъект связать ни с одним предикатом иначе как временно и условно. Язык избегает юридизма и предпочитает реализм. Глагол-связка появляется только в прошедшем и будущем временах, включающих момент нереальности. В актуальности настоящего времени обыденная русская речь не выговаривает «Россия *есть* демократическое федеративное правовое государство» не от неверия конкретно Конституции, а ввиду более основательной ненадежности всякой связи типа «это *есть* то». Здравый смысл видит ее искусственность. В этом нашем отличии от Запада мы оказываемся с неожиданной стороны подготовлены к пониманию Витгенштейна. Он видит в субъект-предикатном отношении проблему². Доведенный до конца анализ, например, субъекта *стул* покажет в конечном счете условную приложимость к нему предиката *коричневый* и любого другого.

Разберем пример типичного решения верно понятой субъект-предикатной проблемы.

Как вообще можно когда-нибудь надеяться понять, что имеется в виду

1 Конституция Российской Федерации. Раздел первый. Глава 1: Основы конституционного строя. Статья 1, пункт 1.

2 О несуществовании субъект-предикатной формы см. выше с. 51.

под словами, что некое утверждение (или «*значимое* суждение», как его называет Тарский) соответствует фактам?¹

Говорит Поппер. Враждебная близость к Витгенштейну заставляет его прежде всего подумать здесь о нем. Всё решила бы, продолжает Поппер, витгенштейновская теория языка как рисунка действительности, поскольку вне этой теории всякое соответствие между заявлением и фактом представляется неисправимо туманным, однако теория фраз-рисунков

безнадежно и собственно даже возмутительно ошибочна, так что не представляется перспектив для объяснения соответствия утверждения с фактом.²

Несовместимость Поппера с Витгенштейном очевидна почти на телесном уровне; надеяться на сколько-нибудь серьезную попытку их понять друг друга нельзя. Встречи между ними не могло быть. В начале учебного года 1946–1947 Поппер был приглашен в Клуб моральных наук Кембриджского университета прочитать о какой-нибудь философской головоломке, *philosophical puzzle*. Согласно его собственному отчету он сразу догадался, что формулировка темы принадлежит Витгенштейну: проблем у философии нет, есть только паззлы, путаницы, где достаточно сложить обрывки в целое, чтобы увидеть мнимость всего, над чем веками бьются умы. Поппер приехал и с вызовом начал говорить — это было 26 октября 1946 в кабинете Брейсвейта³ в Королевском колледже Кембриджа, — наоборот, на тему «Есть ли у философии проблемы?». Кто думает, начал он, что у философии настоящих проблем нет, тот бессознательно черпает энергию своего вызова в важной философской проблеме⁴. По воспоминаниям Поппера Витгенштейн тут вскочил с громким и, похоже, сердитым возгласом, что исходная формулировка темы принадлежит ему. Когда Поппер пытался продолжать о том, что не будь в философии серьезных проблем, сам он не стал бы философом,

1 «How can one ever hope to understand what is meant by saying that a statement (or a '*meaningful* sentence', as Tarski calls it) corresponds to the facts?» (*Carl Popper, Unended Quest. An Intellectual Autobiography*. Glasgow: Collins 1976, p. 141).

2 «But the picture theory is hopelessly and indeed outrageously mistaken, and so there seems to be no prospect of explaining the correspondence of a statement to a fact» (*ibid.*).

3 Richard Bevan Braithwaite (1990–1990), с 1928 по 1953 профессор моральной науки в Кембридже.

4 *Carl Popper, Unended Quest...*, p. 122.

ибо только эти проблемы оправдывают философскую жизнь, Витгенштейн снова вскочил и стал распространяться о пазлах. Попперу удалось, улучив момент, вручить ему свой список философских проблем. Витгенштейн их отвергал одну за другой, судя рискованно, себе во вред. Познаем ли мы вещи чувствами? Логика, не философия. Пользуемся ли индукцией в приобретении знания? Логика, не философия. Существует ли потенциальная и актуальная бесконечность? Математика. Существуют ли значимые нравственные нормы?

В этот момент Витгенштейн, сидевший возле камина и нервно поигрывавший кочергой, которую он иногда использовал как дирижерскую палочку чтобы придать весомость своим утверждениям, бросил мне вызов: «Приведите пример нравственной нормы!» Я ответил: «Не угрожать приглашенным лекторам кочергой». Тут Витгенштейн в ярости бросил кочергу и выбежал из помещения, хлопнув дверь за собой.¹

После ухода владельца кочерги дискуссия продолжалась приятно и деловито. Много говорил 74-летний (он прожил до 98 лет) Бертран Рассел. Ричард Брейсвейт сделал потом Попперу комплимент, что лишь ему удалось перебить Витгенштейна, который всегда перебивал всех сам. В одном варианте этой истории Витгенштейн и Поппер дрались кочергами.²

Разберем решение задачи соответствия предиката субъекту у философски серьезного Поппера³. Мы не можем даже с уверенностью говорить, считает он, что $2 \times 2 = 4$ следует из аксиом арифметики. Так называемая интуиция подсказывает нам, что мы на правильном пути, когда мы уже на нем, но не наоборот; она скорее всего не поможет нам встать на правильный путь, недаром история науки знает гораздо больше негодных теорий чем удачных⁴. Индукция, как и интуиция, тоже не метод проверки высказываний. Утверждение типа «завтра по всей видимости Солнце тоже взойдет» научно неверно не потому что мы наблюдали относительно мало солнечных восходов, а потому что опирается на теорию времени. Всякая теория остается гипотезой. Важно не забывать, что не бывает речи, свободной от гипотезы. В принципе нет пра-

1 *Carl Popper*, *Unended Quest...*, p. 123.

2 *Ibid.* p. 124.

3 *Ibid.*: «Я был серьезно захвачен — возможно, больше самого Витгенштейна, ведь, в конце концов, он не верил в подлинно философские проблемы».

4 *Ibid.* p. 144: «Such things as intuition, or the feeling that something is self-evident, may perhaps be partially explained by truth, or by validity, but never vice versa».

вила для каких бы то ни было утверждений. Все мои утверждения я делаю на свой страх и риск. Индукция миф. Индуктивной логики не существует. Можно конечно построить логическую теорию вероятностного исчисления, но будет ли это индуктивной логикой? Будет ли это вообще логикой?

И не надо жалеть о том что индукция не существует: нам вроде бы вполне хорошо и без нее — с теориями, которые остаются смелыми догадками и которые мы критикуем и проверяем со всей строгостью, на какую способны, и со всей изобретательностью, какую обладаем.¹

Критика теорий идет с должным размахом только в открытом обществе. Гносеология таким образом совпадает с этикой и политикой, которые входят обязательным моментом в познание. Вся сила просвещенного человечества должна быть направлена поэтому на свободу обмена мнениями. Попперовская тема открытого общества продолжает быть актуальной по сей день.

Есть ли во всем этом что-либо, с чем Витгенштейн мог быть несогласен? Он не мог возражать против тезиса, что всякое утверждение нашего языка гипотеза, открытая критике. Именно близость до полного совпадения, включая общий фон австрийской культуры, домашнее воспитание в культурной семье — отец Поппера был профессор права, мать, как у Витгенштейна, увлекалась музыкой, — помогает увидеть различие путей. Из проблематичности отнесения знака к означаемому Витгенштейном был сделан не серьезный этико-политический шаг Поппера, а другой, подвижный детской уверенностью, что счастливое решение не отодвинуто в даль времени и социального пространства, а где-то совсем рядом. Поппер, не менее критичный к связи знак-вещь и к субъект-предикатному отношению, надеется на бесконечный процесс будущего уточнения, в сущности такой же проблематичный, как существование открытого общества. Витгенштейн, наоборот, усваивает раз навсегда невозможность довести какой бы то ни было анализ до конца. Он отказывает субъект-предикатной форме в самостоятельном существовании вне конвенций. Принципиальное несуществование субъекта, которому можно было бы уверенно приписать предикат, отменяет философию как иерархию дефиниций, в которых субъектом выступает наблюдаемая или мыслимая вещь, а предикатом действительное или

1 Ibid. p. 148.

воображаемое свойство. Дело мысли не размножение шатких субъект-предикатных уравнений, а тожество само по себе. Практика цивилизации, опирающейся в своей науке на субъект-предикатную форму, могла так глубоко внедриться только потому, что отнесение слова к вещи обеспечено чем-то более надежным чем всегда проблематичное приписывание вещи свойства или набора свойств. Речь связана с действительностью надежным логическим тожеством. Это фундаментальное тожество Витгенштейн будет всегда искать и показывать.

Логическое тожество знака и означаемого состоит в том, что мы можем опознать в знаке не больше и не меньше чем в означаемом.¹

Ничего по-честному связать субъект-предикатной связью иначе как на свой страх и риск мы, люди, не можем и не сможем никогда. Как сказано о другом упомянутом выше обстоятельстве, это по-человечески невозможно, *menschenunmöglich*. Конечно, кроме нас, людей, существуют боги. Один из них мир, другой — наше отрешенное Я. Богам возможно то, что не дается людям. Им знакомо абсолютное тожество, ускользнувшее из наших конструкторов.

Революционной отмены субъект-предикатной формы не требуется. Витгенштейн пользуется ею, объявив ее несуществование; он только не забывает, что нигде на небе или на земле подтверждения тому, что мы сцепляем здесь через *есть*, не будет дано. Наши схемы имеют субъект-предикатную структуру, проблематичность которой лежит на поверхности. В нашем примере произносящий фразу «Россия есть демократическое федеративное правовое государство» меняет тон голоса на неестественный или тусклый, что-то помимо воли происходит с его лицом, проскальзывают вопросительные или повелительные ноты. Привычные дискомфортные реакции в нашем теле происходят при произнесении большинства субъект-предикатных формул даже без глагола-связки. Исключение составляют поэтические и философские фразы, где вещи принадлежат невидимой реальности, и математические формулы до их прикладного применения.

Фразы, скрепленные глаголом-связкой *есть*, поверх материального подкрепления практикой, всегда сомнительной, имеют в своей основе тожество. Субъект-предикатная форма условность. Ее распространение в нашей цивилизации, как уже говорилось, обеспечено в конечном сче-

¹ Дн. 4.9.1914.

те не ее успехом, а скрытым логическим (доопытным) тожеством знака и означаемого. Слово зондирует мир глубоко или, наоборот, очень поверхностно¹. В обоих случаях оно мера мира². Свойство *быть* мерой принадлежит слову независимо от его глубины и обеспечено не опытом, а логическим тожеством мира и речи. В нашем примере, когда спешащий автор новой Конституции вписывает в нее слова «Россия есть демократическое федеративное правовое государство», гипостазирование субъекта, непоясненность терминов, колебание стиля высказывания между констатирующим и перформативным, уменьшая глубину формулы, не стирают ее измеряющего (зондирующего) характера. Свойство быть мерой мира обеспечивается другими средствами чем глубина его измерения. Оно создается принадлежностью к миру и одновременно независимостью от него.

«Логико-философский трактат» с самого начала задевал читателей и рецензентов полным отсутствием привычных примеров субъект-предикатной, реляционной и вообще какой бы то ни было логической формы.

В связи с элементарными пропозициями, элементарными фактами и объектами Витгенштейн не дает никаких примеров. Он даже не указывает, каким должен быть *тип* примера.³

В философии, занятой безусловным тожеством знака и означаемого, примеры прикладного и соответственно условного применения логических форм увели бы от сути дела. Проиллюстрировав реляционную форму aRb (а состоит в некоем отношении R к b) обыденной фразой «студент слушает преподавателя», я смогу вернуться к логической чистоте мысли лишь проведя полный, практически невозможный, анализ задействованных в ней имен и означаемых. Он отвлечет от анализа тожества. Принято считать, что формулы логики не страдают от подстановки в них реалий. Для приложения к действительности, упорядочиваемой логическими схемами, они служат у Фреге, у Рассела, но не у Витгенштейна. Если нет ни малейшего движения к практическому приложению логики, для чего она?

В первой фразе своего «Введения» к лондонскому двуязычному из-

1 Дн. 23.1.1915: «Das Wort ist eine Sonde, manches reicht tief; manches nur wenig tief».

2 Дн. 3.4.1915: «Der Satz ist ein Maß der Welt».

3 У. Бартли, Витгенштейн. — Людвиг Витгенштейн: Человек и мыслитель. М. 1993, с. 185.

данию «Трактата» (1922) Бертран Рассел светски чуть иронично смягчает впечатление, какое в либеральном читателе должен был оставлять конец краткого авторского предисловия: «Правда мыслей, сообщенных здесь, кажется мне неприкосновенной и окончательной, unantastbar und definitiv». Даже исследователи, которые для удобства освоения делят исследуемого мыслителя на двух, из которых второй и поздний, осознав нереальность своих ранних позиций, сделал резкий volte face¹, замечают, в том числе говоря о «Философских исследованиях», подготовленных в последние годы жизни и изданных посмертно исполнителями завещания философа, что

неизменным во взглядах Витгенштейна осталось лишь убеждение в том, что найденное в «Трактате» решение «окончательно и неопровержимо».²

Unantastbar имеет также значение *выше всяких подозрений*. Лорд Рассел, человек вольтеровского склада ума, внешне напоминавший Вольтера, свободомыслящий и скептический, безупречно умный, конечно задевший этим unantastbar und definitiv, снисходит к самоуверенности молодого человека:

Tractatus logico-philosophicus г-на Витгенштейна, окажется или нет, что он дает последнюю истину о вещах, с которыми имеет дело, своей широтой, размахом и глубиной определено заслуживает рассмотрения как важное событие в философском мире.³

Вторжение слишком решительной мысли естественно вызывает даже у тех, кто сразу ее принял, жест отражения. Второй фразой «Введения» Рассел ставит ученика на отведенное ему место в рамках своей теории логического символизма.

Отправляясь от принципов Символизма и отношений, необходимо существующих между словами и вещами в любом языке, он прилагает результат этого исследования к различным отраслям традиционной философии, показывая в каждом случае, как традиционная философия и традиционные решения возникают от незнания принципов Символизма и от злоупотребления языком.⁴

1 У. Бартли, Витгенштейн..., с. 249.

2 Там же.

3 Bertrand Russell, Introduction. — Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. L.-N.Y.: Routledge & Kegan Paul 1995, p. ix.

4 Ibid.

Рассел не допускает, чтобы его одаренный ученик думал в логике о другом чем отношения знаков к вещам. До сих пор большинство говорящих о Витгенштейне определяет область его исследований как язык. Разумнее видеть в нем открывателя, выводящего из тупика слов о словах. Через него — им — делается дело мира. Его темы бог и судьба, тожество и необходимость.

Формализация пропозиций у Фреге, Уайтхеда и Рассела, занявшая у них весь объем научной работы, у Витгенштейна стала способом думать о вещах, ненужных и пожалуй недоступных для его учителей, которым достаточно было видеть, что их символизм усвоен, чтобы уже не смотреть туда, куда уходил ученик.

Рассел возразил в своем «Введении» на тезис «Трактата» 5.542, направленный против его изложенной пятнадцатью годами ранее теории фраз типа «А думает (верит, сомневается), что р». По Расселу, они не имеют в виду сказать истину или ложь, не исполняют истинностную функцию. Разбираться, какие именно процессы переживает А, будет психолог. Логик анализирует речь А, раскладывая ее на составляющие, которые можно было бы недвусмысленно соотнести с элементами пропозиции *p*; логик как бы придает обычной рыхлой речи формальную строгость. Установление соответствия между лексикой речи и формулами логики подготавливает оценку отношения между фактически осуществленным суждением (связным словесным рядом, сложным образом, позывом к телесному движению — все эти разнообразные состояния ума охватываются единым термином пропозиция) и фактом, который способен показать истину или ложь суждения. Дальше констатации, что мнение А *может* быть проверено на истину и ложь, дело в пропозиции типа «А думает *p*» не идет. Не имея истинностной функции, она выражает лишь отношение — не между А, который как всякая личность до анализа остается фикцией, и его мнением, а между тем, что зафиксировано как фактически произнесенное, и фактом, через который устанавливается истинность произнесенного.

Когда Витгенштейн переписывает расселовское «А думает (считает, верит), что *p*» в виде «„*r*“ говорит *p*», новизна здесь не в формальном устранении субъекта, в котором и Рассел тоже видел фикцию, а в отказе редуцировать звучащее слово, жест, импульс к логической форме. Рассел считает необходимым уточнить речь до логической четкости. Личность, пусть она и фикция, остается автором речи, подлежащей переводу в пропозицию и отдельной от пропозиции. Для Витгенштейна разли-

чение между звучащей речью и вышелушиваемой оттуда пропозицией равносильно усложнению души (субъекта) и неприемлемо.

Ибо составленная из частей душа уже не была бы вовсе душой.¹

Душевные события, внутренние и внешняя речь, не проходят отдельно от логики так, чтобы надо было проверять, причастны ли они смыслу. Они и есть логика. Поэтому

правильное объяснение формы пропозиции «А выносит суждение р» должно показать, что невозможно вынести бессмысленное суждение. (Расселовская теория этому условию не удовлетворяет.)²

Наглядным примером нераздельной целости души в этом месте «Трактата» приводится то обстоятельство, что невозможно воспринять комплекс иначе как в *такой-то* взаимосвязи частей. Куб Некера высвечивается (Aufleuchtet) так, что ближе к нам оказывается плоскость *aaaa* или плоскость *bbbb*. Материального изменения куба при этом не происходит. Независимость факта от объекта — тема первого (краткого) раздела «Трактата», особенно его последнего тезиса:

Что-то может иметь место (оказаться, выпасть, *der Fall sein*) или не иметь место и все прочее оставаться тем же самым.³

Положения вещей оказываются фактами вдруг и непредвиденно. В тезисе 1.21 о том, что факты имеют место (оказываются) вне зависимости от вещей, скрыто содержится афоризм 6.373 конца трактата о том, что мир независим от моей воли.

Рассел ценил техническую сторону Витгенштейна и хотел только, чтобы она была развита лучше⁴; мистическая сторона оставляла его «с определенным чувством интеллектуального дискомфорта»⁵. Явное после публикации «Трактата» расхождение обозначилось десятью годами ранее. В продолжение цитированных выше записей 1914 года о несущее-

1 Тракта́т 5.5421b.

2 Тракта́т 5.5422. Оба русских перевода здесь («невозможно судить о бессмыслице» 1958, «невозможность судить о бессмысленном» 1994) неверны. В переводах на западные языки верно, ср. *Ludwig Wittgenstein*, *Tractatus...*, p. 54: «it is impossible for a judgement to be a piece of nonsense».

3 Тракта́т 1.21.

4 *Bertrand Russell*, *Introduction...*, p. xx: «There are some respects, in which, as it seems to me, Mr Wittgenstein's theory stands in need of greater technical development».

5 *Ibid.* xxi.

ствовании субъект-предикатной формы предвидится замечание Рассела, что ее существование — дело очевидности. Витгенштейн отвечает насмешливым венским междометием *Jaha!* Для Рассела достаточно, если в каком-то приближении логическая форма соотнесена, приведена в соответствие с данными действительности. Ученику ясно, что установить строгую связь между знаком и означаемым через наблюдение вещей не удастся.

Пусть нам дан вопрос из философии: скажем, будет ли «А хороший» субъект-предикатной фразой; или еще, будет ли «А светлее чем В» фразой отношения! *Как вообще изволите решать этот вопрос?!* Какая очевидность может меня успокоить насчет того, что — к примеру — на первый вопрос надо ответить да? (Это необычайно важный вопрос.) Или единственная очевидность здесь опять же *та крайне сомнительная «самопонятность»??* Возьмем совершенно похожий вопрос, только проще и основательнее; а именно этот: точка в нашем зрительном поле — *простой предмет, вещь?* Я все-таки до сих пор видел такие вопросы всегда как собственно философские — так оно конечно и есть в определенном смысле, — но еще раз, какая очевидность могла бы вообще решить подобный вопрос? Нет ли тут ошибки в постановке вопроса; ведь похоже на то, что в отношении его самопонятного для меня *вовсе ничего* нет; похоже, я могу определенно сказать, что эти вопросы вообще никогда не смогут быть решены.

Тупик субъект-предикатной формы заставляет искать связь знака с означаемым в их полном равенстве. Такое может быть только в логическом пространстве. Исследование тождества становится делом жизни.

Субъект-предикатное отношение подозрительно удобно ложится на действительность. Мы фиксируем ее, помогая ей войти в схему. Витгенштейн открывает путь описания действительности не через схему, а через показ того, что ей тождественно.

4 ЭКСКУРС: «ТО ЖЕ САМОЕ» НИЦШЕ

Логика тождества не с Витгенштейном возродилась на европейской почве.

Осенью 1887 г. над подчеркнутым *вот что я понял* (*Dies habe ich begriffen*)¹ Ницше записывает свою интуицию, что крушение и подъем в важные эпохи сосуществуют. Оба получают у него одно имя нигилизм.

1 Friedrich Nietzsche, Kritische Studienausgabe (KSA). Hrsg. von Giorgio Colli und Mazino Montinari. Bd. 12. München: DTV 1999, S. 468.

Одинаковое название полярных противоположностей отвечает крайности положения. Совершается решающий переход от нигилизма, отравившего (пост)христианскую культуру, к нигилизму отрезвления. Европейское пространство объединено нигилизмом и его крайностью подготовлено к историческому повороту. Власть тоже располагается между двумя полюсами. В современной политике Ницше наблюдает низменную погоню за *возможностями*.

Во всех политических вопросах [...] дело идет о вопросах *власти* — «что можно сделать?» и лишь после этого «что *должно* делать?»¹

Упадочная цивилизация считает свои задачи с открытых ей возможностей, выбрасывая в их поисках свои энергии. Так одноклеточные отращивают временные ложноножки для захвата пищи.

Воля к власти может проявить себя лишь *встретив противодействие*; она ищет чего-либо противостоящего, — тут исходная тенденция протоплазмы, когда она выбрасывает псевдоподии и ощупывает окружающее.²

Полярна и жизнь. У протоплазмы она есть распространение в сторону открытых возможностей. Воля к власти здесь самоцель.

К проблеме: служит ли власть в «воле к власти» только *средством*: протоплазма, что-то себе присваивающая и *в себя встраивающая*, т. е. усиливающаяся, и осуществляющая власть, чтобы усилиться.³

Высшая *должная* жизнь есть наоборот возвращение из рассеяния по веществу и соби́рание в себе.

Христианство покорило людей, уже рассеявших свое существо, оттого пугливых и мстительных. Они ушли с родины, не имеют мужества вернуться и чтобы избежать мучений страха готовы уничтожить родину.

Требуется больше мужества и *силы* характера для того, чтобы остановиться или тем более вернуться назад, чем для того, чтобы идти дальше. *Вернуться назад без трусости труднее чем продолжать идти без трусости.*⁴

1 Friedrich Nietzsche, KSA 12, S. 406.

2 Ibid. S. 424.

3 Ibid. S. 420: «Zum Problem: ob die Macht im „Willen zur Macht“ bloss *Mittel* ist: Das Protoplasma sich etwas ein eignend und *anorganisierend*, also sich verstärkend und Macht ausübend, um sich zu verstärken».

4 Ibid. S. 407.

Чтобы скрыть от себя родину, возвращение к которой трудно, слабость выбрасывает иллюзию твердой опоры — истины — в картину своего мира. Мир для (пост)христианской цивилизации существует только рисованный. Его картина спроецирована человеческой потерянностью и как всякая искусственная поделка удобна в обращении с ней. В отличие от своей картины мир труден для понимания. Слепой историей движет инстинкт. Не имея начала в долге, протоплазменная жизнь ускоряет выбрасывание псевдоподий, через которые питается средой. Одновременно она воображает, что стремится к добру. Добром называют идеалы, нарисованные страхом.

На противоположном полюсе, в высоком нигилизме, отказ от погоны за возможностями, доведенный до предела, оставляет для поступка вместо оперирования шансами уже только перемену взгляда. Совершенный нигилизм — это упражнение со зрением, трудное тем, что зрение не может стать предметом. Сергей Хоружий обращает внимание на то, что у Ницше мало замечают интенсивную «практику себя»¹. Слышат тон борьбы, но что дело идет прежде всего о самопреодолении, отходит в тень. В «практике себя» человек имеет дело с ближайшим. Душа меняется в сторону большей способности к изменению. Ею владеет

более таинственный пафос [...] потребность ко всё новому расширению дистанции внутри самой души, выстраивание все более высоких, редкостных, более отдаленных, шире простертых, более объемных состояний, короче, возвышение типа «человек», продолжающееся «самопреодоление человека».²

Пояснения к этому месту Хоружий берет у Жилия Делеза:

Следует догадаться, что Ницше называет «благородным»: для этого он заимствует язык физики энергий, он называет благородной энергию, способную трансформироваться.³

Сверхчеловек никогда не означал ничего иного, кроме следующего: следует освободить жизнь *в самом человеке*, ибо сам человек есть некий способ ее заточения.⁴

1 С. С. Хоружий, Ницше и Соловьев в кризисе европейского человека. — Vladimir Solov'ev und Friedrich Nietzsche. Eine deutsch-russische kulturelle Jahrhundertsbilanz. Frankfurt a. M.: Peter Lang 2003, S. 387–413.

2 Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse. Neuntes Hauptstück: Was ist Vornehm? § 257.

3 Ж. Делез, Различие и повторение. СПб. 1998, с. 61.

4 G. Deleuze, Foucault. Paris: Minuit 1986, p. 98.

Развертывая тему трансформации, Хоружий говорит о

преображении именно зрения на высших ступенях практики [себя] в новое холистическое чувство [...] предельной цели превращения видящего в зрение.¹

Совершенный человек обозначается у Ницше иногда буквой N. Нигилист — новое имя субъекта, понятого в его сути от глаза.

Психологическая история понятия «субъект». Тело, вещь, конструируемое от глаза «целое» вызывает различие поступка и деятеля; из деятеля, причины поступка, понимаемого все более тонко, получился в конечном счете «субъект».²

Трансформация нигилиста есть прежде всего перемена глаз.

Совершенный нигилист — глаз N (das Auge des N), идеализирующий в безобразное, изменяющий своим воспоминаниям — он (es) дает им опать, осыпаться; он не защищает их против трупно-бледных оттенков, какие слабость разливает на далекое и прошедшее; и что он (er) не делает в отношении себя, то он не делает в отношении всего человеческого прошлого — он дает ему опать.³

Для такой перемены зрения не требуется изменения в объекте. С тем фактом, что для смены зрения (глаз) не требуется изменение объекта, связана полярность ницшевских топосов. Фрейд, который отложил книги Ницше, увидев у него тревожное сходство со своими идеями, не поднялся до ницшевской амбивалентности. Оставаясь той же материей, мир меняется целиком, как ни одна его перестройка и переделка не могли достичь. Глаз, пользуясь возможностью видеть всё по-разному, дарил миру свойства, проецировал на него себя. Теперь он больше не будет ничего раскрашивать в идеальные тона. Он удержит себя в себе. Дисциплинированный глаз увидит себя в пространстве, свободном от собственных проектов. Действительность, на которой видящий перестанет наивно рисовать свою интригу, утратит привычные свойства. Она вернется к своей неприступности, т. е. окажется всегда той же самой.

Уход мира в тожество станет для видящего решающим испытанием. Совершенный нигилист с трудом перенесет новый опыт. Принятие то-

1 С. Хоружий, Ницше и Соловьев..., S. 409.

2 Friedrich Nietzsche, Aus dem Nachlass der Achtziger Jahre. — Friedrich Nietzsche, Werke in 6 Bänden. Hrsg. von K. Schlechta. Bd. 6. München–Wien: Carl Hanser 1980, S. 485.

3 KSA 12, S. 476.

жественности мира станет возможно только после полного воссоединения видящего с собой. Отказ от проекций должен произойти с радикальной окончательностью. Любое отклонение от совершенства здесь снова будет означать разбрасывание глаз. Вместе с вступлением в свою полноту совершится прорыв N в вечность. Отличие видящего от Бога исчезнет.

Глаз нигилиста — это сам нигилист (заметьте характерное соскальзывание с *оно* (око) на *он* (N) в предыдущей цитате). Возвращение к тому же самому как упражнение в зрении, конечно, тоже может быть названо проекцией, которая однако отличается от всех других как вертикаль от наклонных линий. Это полуденная экваториальная проекция, возвращающая действительность к тождеству. Возвращение того же самого надо понимать как восстановление мира, не запятнанного субъективной раскраской. Назад эта центральная мысль Ницше ведет к парменидовскому видению бытия как того самого. Полнота мужества, с каким N вберет в себя свои проекции мира, заставляет вспомнить аристотелевское развитие парменидовского бытия-тождества в энергию (энтелехию). Вперед мысль Ницше ведет к Витгенштейну с его главной проблемой тождества и смены аспекта без изменения разглядываемой вещи. Неповерхностную связь обоих (Ницше и Витгенштейна) с интуицией их философа Шопенгауэра выявит будущее исследование.

Мощь N развернется при воздержании от инстинкта протоплазмы. Человек заблудившейся цивилизации растроган (расхвтан) дразнящими обрывками самого себя, разбросанными его воображением по картине мира. Главной приманкой оказываются тут отблески добра и зла, оставленные его взглядом на вещах. Давно забыто, что все эти вещи возникли лишь как вторичные образования в местах мира, куда субъект проецировал свое добро и зло. N снимает с вещей мира раскраску в цвета добра и зла.

Мы враждебны к *растроганностям* [...] Мы предпочитаем то, что больше не напоминает нам о «добре и зле». Наша моралистическая возбудимость и болезненность словно искуплена в ужасе и счастье природы, в фатализме чувств и сил. Жизнь без доброты

благоденствие состоит в видении великолепного *безразличия* природы к добру и злу

Никакой справедливости в истории, никакой доброты в природе:¹

1 KSA 12, S. 481 (сохраняется пунктуация ницшевых рукописей).

Добро и зло не нуждаются в определении. Они ясны каждому раньше чем осмыслены. Их почва в ближайшем *своем* и его срыве. Вещи, в которые вообразено добро и зло, задевают нас поэтому интимно. Первичная близость *своего* разбросана неосторожным взглядом по элементам картины мира, и теперь уже они привлекают своим добром и злом, в равной мере обоими, отвлекая от своего. Собранность N в полноте своего, открытие родины по ту сторону добра и зла не оставляет места для расслоения вещей на добрые и злые. Повторяя интуицию Парменида, N возвращает тожество бытию; оно оказывается повсюду равно себе, свободное от такого добра, которое было бы противоположно злу.

Никакой справедливости в истории, никакой доброты в природе: потому пессимист, если он художник, приходит in *historicis* туда, где само отсутствие справедливости выступает еще с великолепной наивностью, где проявляется именно *совершенство*...

и равным образом в *природе* туда, где ее злые и равнодушные черты не таятся, где она обнаруживает черты *совершенства*...¹

Возвращение происходит не на готовое место, а туда, где человека еще никогда не было. Осуществление родного, его небывалой природы — подвиг первопреходца.

Не «возвращение к природе»: ибо природного человечества еще никогда не было. Схоластика не- и *противо*-естественных ценностей есть правило, начало; к природе человек приходит после долгой борьбы — никогда он не возвращается «назад»... Природа: это значит отважиться быть неморальным как природа.²

(При)родное человеку откроется после философского очищения от мирокартины, рисованной красками добра-зла. Для прямого взгляда на вещи нужно мужество. Как два нигилизма полярны — один возвышение, другой падение мощи духа³, — так высшая воля к власти исполняет действие, противоположное воле протоплазмы: останавливает рассеяние, дарит становлению бытие.

Навязать становлению характер бытия — вот *высшая воля к власти*.⁴

1 KSA 12, S. 481–482.

2 Ibid. S. 482.

3 Friedrich Nietzsche, Aus dem Nachlass... Hrsg. von K. Schlechta, Bd. 6, S. 557 et passim.

4 Ibid. S. 895: «Dem Werden den Charakter des Seins *aufzuprägen* — das ist der *höchste Wille zur Macht*».

Мощь этой воли такова, что в платонизме и христианстве она сумела до сих пор втиснуть очевидность непрерывного становления в рамки мнимой стабильности. Редукция мира к идеальной схеме уже произошла. Мы живем внутри мирокартинь среди декораций, которые не можем отменить даже поняв их сделанность. Возвращение на неведомую родину противно всем нашим дурным привычкам. Иллюзия замыкает нас в тюрьме мнимой устойчивости, когда на деле всё неостановимо уносит поток¹.

От картины стоячего бытия нам уже трудно уйти. Нужен уникальный опыт, который встряхнул бы всё наше существо. Ницше находит такой опыт. Мало просто перестать воображать на месте потока картину постоянства. Сам поток должен быть схвачен как вечный, остающийся навсегда. Восстановление бытия в потоке достигается видением (*Betrachtung*) вечного возвращения того (же) самого:

*Что все возвращается, вот предельнейшее приближение мира становления к миру бытия — вершина созерцания.*²

В «Несвоевременных размышлениях» 2,1 тожество уже выступает в определяющем контексте. Для «надисторического», т. е. не растекшегося по процессам, собранного человека

мир в каждый отдельный миг готов и его конец достигнут.³

Для него

прошедшее и настоящее суть одно и то же, т. е. во всем многообразии типически равно и как всеприсутствие непреходящих типов есть неподвижное образование неизменной ценности и вечно того же значения.⁴

В 1873 году Ницше смотрит на «надисторического» человека еще изда- лека и чуть ли не с отчуждением. Он не вспоминает о всегда тожественном бытии Парменида. Повторение истории кажется ему невозможным, сравнение разных эпох — насилием над их индивидуальностью; напри-

1 Ibid.: «*Zweifache Fälschung, von den Sinnen her und vom Geiste her, um eine Welt des Seienden zu erhalten, des Verharrenden, Gleichwertigen usw.*».

2 Ibid.: «*Daß alles wiederkehrt, ist die extremste Annäherung einer Welt des Werdens an die des Seins — Gipfel der Betrachtung.*».

3 *F. Nietzsche, Unzeitgemäße Betrachtungen...*, Schlechta, Bd. 1, S. 217.

4 Ibid.: «*das Vergangene und das Gegenwärtige ist eines und dasselbe, nämlich in aller Mannigfaltigkeit typisch gleich und als Allgegenwart unvergänglicher Typen ein stillstehendes Gebilde von unverändertem Werte und ewig gleicher Bedeutung.*».

мер, соблазнительно думать, что сотне деятельных умов в Германии, пожалуй, удалось бы то же, что горстке ренессансных итальянцев, но на исторические уподобления наложен трезвый запрет. Ницше присматривается к странной пифагорейской теории нумерического (т. е. вплоть до тождества индивидуальностей) возвращения времени при точном повторении конstellляции светил, когда снова

и я буду рассказывать вам с палочкой в руках, и вы будете сидеть вот так, и все остальное будет точно таким же [...] то же самое время.¹

Автору «Несвоевременных размышлений» такое кажется неправдоподобным. События неповторимы, их сближение дается историкам только ценой сминающего нивелирования. И все же, заглядывая в свое будущее 29-летний Ницше, точное повторение событий и только оно может быть принято сильным умом.

Могучий дерзнул бы желать этой монументальной истории в ее полной иконической истинности, т. е. каждого факта в его точно описанном своеобразии и единственности.²

Казавшееся невозможным в начале 1870-х становится главной мыслью начиная с набросков конца лета 1881 года к ненаписанной книге «Возвращение того же самого» (*Die Wiederkunft des Gleichen*). Тождество всё прочнее захватывает мысль, которая давно уже угадывала внеисторическую силу за историей и училась своим прозрениям не у математики и естествознания.³ Выкладки о естественнонаучном правдоподобию вечного повторения, вариации на темы Е. Дюринга (мир как комбинация элементарных частиц в его «Курсе философии как строго научного мировоззрения и жизнеобразования», 1875) надо считать у Ницше второстепенными. Понять необратимое ускользание исторического потока, дойти до нигилистической пустоты в разоблачении рисованного мира нужно для подготовки главного поступка. На него идет человек, отказавшийся от протоплазменной воли к развертыванию возможностей и отдавший себя власти необходимости. Для N, раздавленного до полной

1 Евдем, Физика, фр. 88 Wehrli = Симпликий, Комментарий к «Физике» Аристотеля IV 12, 220b 12–14. Цит. по: Фрагменты ранних греческих философов. Изд. А. В. Лебедева. Часть I. М. 1989, с. 484.

2 F. Nietzsche, Unzeitgemäße Betrachtungen..., Schlechta I, S. 222.

3 Ibid. S. 219: «Die Historie, sofern sie im Dienste des Lebens steht, steht im Dienste einer unhistorischen Macht und wird deshalb nie, in dieser Unterordnung, reine Wissenschaft, etwa wie die Mathematik es ist, werden können und sollen».

недвижности величайшим гнетом (das größte Schwergewicht) мира, когда никаким усилием ничего изменить нельзя, остается шанс такого принятия своей ситуации, которое даст ему счастье, если человек сумел правильно обойтись с собой и с жизнью. Вечное возвращение того же самого из гипотезы становится проверкой полноты бытия.

Что если бы однажды, днем или ночью, демон прокрался в твое уединеннейшее одиночество и сказал тебе: «Эту жизнь, как ты ее теперь живешь и прожил, ты должен будешь жить еще и еще без числа раз; и в ней не будет ничего нового, но каждая боль и каждая радость и каждая мысль и вздох и все бессловесно малое и большое твоей жизни должно тебе вернуться, и все в той же чередности и последовательности, — и равным образом этот паук и этот лунный свет между деревьями, и этот момент и я сам [...]» Ты не бросился бы на землю, скрипя зубами и проклиная демона с такими речами? Или ты однажды пережил чудовищное (ungeheuren) мгновение, в которое мог бы ответить ему: «Ты Бог и никогда не слышал я ничего более божественного!» Взяв власть над тобой, та мысль изменила бы тебя, каков ты есть, и возможно раздавила; вопрос при всем и каждом: «Хочешь ли ты этого еще и еще, бесчисленно много раз?» лег бы на твои поступки как величайшая тяжесть! Или как ты должен был бы справиться с самим собой и со своей жизнью, чтобы уже *ничего больше не желать* как этого последнего вечного подтверждения и запечатывания?¹

В опыте абсолютного тождества Ницше оказывается близок Пармениду с его пребывающим бытием.

В границах великих оков оно неподвижно,
Безначально и непрерывно: рожденье и гибель
Прочь отброшены — их отразил безошибочный довод.
То же, на месте одном, покоясь в себе, пребывает
И пребудет так постоянно: мощно Ананкэ
Держит в оковах границ, что вкруг его запирают,
Ибо нельзя бытию незаконченным быть и не должно.²

1 Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft 4, 342 fin = Schlechta 3, 202–203: «Wenn jener Gedanke über dich Gewalt bekäme, er würde dich, wie du bist, verwandeln und vielleicht zermalmen; die Frage bei allem und jedem: „willst du dies noch einmal und noch unzählige Male?“ würde als das größte Schwergewicht auf deinem Handeln liegen! Oder wie müßtest du dir selber und dem Leben gut werden, um nach nichts *mehr zu verlangen* als nach dieser letzten ewigen Bestätigung und Besiegelung?»

2 Парменид, фр. VIII 26–32, ритмизованный пер. А. В. Лебедева. Перевод Жана Боффе: «Il est immobile dans les limites des liens puissants, sans commencement et sans cesse, puisque naissance et destruction ont été écartées tout au loin où les a repoussées la foi qui se fonde en vérité. Restant le même et dans le même état, il est là, en lui-même, et demeure ainsi immua-

Ницше всегда противопоставлял неповторимость реальности обобщающим схемам. Не уступая тут Витгенштейну, он видел невозможность тождества там, где оно мерещилось современникам. Его критика наук отвергает операции с классами вещей. Условное отождествление стало ловушкой, в которую попала европейская исследовательская наука. «Вечное возвращение» утверждает тождество и принцип индивидуации одновременно.

Есть прямой переход от этих тем Ницше к афоризмам конца витгенштейновского «Трактата» о необходимости мира.

В мире все такое, какое оно есть, и все происходит как оно происходит; в мире нет никакой ценности — а если бы она там была, то не имела бы никакой ценности [...] тогда он видит мир правильно.¹

Ставя тождество в центр философской логики, Витгенштейн делает решительный шаг в топiku, открытую ницшевским вечным возвращением. Если Витгенштейн независим от наработок Ницше², сходство их исканий становится значительнее. Возрождение парменидовских прозрений у Шопенгауэра, Ницше, Витгенштейна, Хайдеггера было тем более глубоким движением в европейской культурной почве, что пошло разными путями.

Естественные науки с основой в математике несмотря на их временный успех движутся, по Ницше, к конечной трагедии. Падение началось, когда разум разрешил себе обобщать индивидуальности. Для спасения Ницше не требует никакой практической и, что важнее, теоретической операции. Все вокруг меня и во мне пусть останется каким было и именно благодаря этому полностью изменится. Настоящий момент настал и поэтому вернется в своей индивидуальной неповторимости

blement fixé au même endroit; car la contraignante Nécessité le maintient dans les liens d'une limite qui l'enserme de toutes parts» (*Parménide*, Le poème. Présenté par Jean Beaufret. Paris: PUF 1986, p. 85).

¹ Трактат 6.41, 6.54.

² «Невозможно указать, чего Витгенштейн не читал. Сам он давал лишь sporadicheskie сведения о своих познаниях, и сообщения друзей, учеников и других современников хотя и позволяют делать утверждения об авторах и произведениях, достоверно известных ему, однако их сообщения о лакунах в образовании Витгенштейна надо рассматривать с крайней осторожностью, прежде всего поскольку он по-видимому охотно кокетничал своей якобы недостаточной начитанностью... Он читал авторов не глазами ученого; обстоятельство его не интересовало, но однажды прочитанное или услышанное он вбирал с величайшей интенсивностью.» *Joachim Schulte, Wittgenstein...*, S. 11.

несчетное число раз. В ницшевской — или, что в данном отношении то же, парменидовской — вселенной мы не можем выпасть из абсолютного тождества. Для изменения зрения не требуется временная длительность. Наши глаза сразу станут другими. Мы вдруг видим всё взвешенным в вечности. Для этого не потребуются научной подготовки. Мир повертывается, лишая опоры наши планы и проекты. Они бессмысленны, если то, что мы ставим целью, будет и при успехе, и при неудаче возвращением бывшего от вечности.

Работу, которой занят здесь Ницше, продолжают витгенштейновские упражнения смены аспекта. Явно или неявно возрождая европейское наследие, мыслители готовили события, которые начнутся, когда мир проснется из своего временного забытья.

5 ГРАНИЦА ПСИХОЛОГИИ

Узнавание того (же) самого погружено в беспокойство, стеснение, напряжение, удивление, покой, радость. Переход от незнакомых вещей к знакомым совершается с облегчением.¹ Напряжение человека, поднимающего тяжести на вытянутой руке, спадает, когда ему разрешают опустить ее; то же при отдыхе после бега или после решения трудной геометрической задачи, при удавшейся попытке вспомнить слово, найти написание слова в словаре, отыскать приятеля в парке. Искомое в важном смысле дано с самого начала в нашем представлении о том, что от нас требуется. Переход от знания к находке, от трудного к легкому состоянию переживается как положительный опыт. Найденная вещь говорит за себя своим присутствием. Мы успокаиваемся, узнавая ее как таковую. Можно сказать, что она неким образом маркирована собой. Часто говорят о самотождестве вещи. Ее нераздельное присутствие начинает казаться двойным.

Виртуальное раздвоение вещи, узнаваемой как таковая, имеет обычным продолжением интерпретацию. Толкование, чаще всего исподволь, сопровождает всякое наше восприятие. Кажется естественным, например, что надо понять приказ прежде чем выполнить его; осмыслить, где локализуется боль, прежде чем указать на больное место; знать мелодию прежде чем спеть ее; иметь представление о красном цвете прежде чем выделить окрашенные в него предметы. Между тем факт отдания при-

1 Коричневая книга II 1, конец.

каза отмечен интенсивным импульсом, который втягивает в свою орбиту задетых им, начиная с самого командира и кончая внешним наблюдателем; не случайно приказы часто выполняются неверно и иногда наоборот. Локализация боли есть не что иное как указание на нее. Что мелодия нам известна, мы иногда узнаем, заметив, что насвистываем ее. Цвет, например красный, понятнее чем его объяснение, особенно если учесть разнообразие оттенков. Если, показывая пятна различных тонов, вы спросили человека: «Что между ними общего, почему ты их все называешь красными?», он скорее всего ответит: «Сам что ли не видишь?», и это вовсе не будет означать, что он пошел в понимании этого общего дальше слова *красное*.¹ Красный цвет во всех его оттенках без всякой интерпретации способен поддержать переживание их сходства или единства. Способность сознания собрать оттенки в одно и обеспечить опознание каждого из них как именно вариантов красного питается очевидностью этого цвета и легкостью его узнавания. Существует ли эта убедительность отдельно от цвета? Нет. Цвет и нечто непосредственно активное в нем — одно и то же, *иногда* разделяемое только специальным усилием. Сознание при этом приписывает *себе*, а именно своей способности интерпретировать и выводить следствия из фактов, тот импульс, который непосредственно содержится в красном цвете. Присутствие красного цвета действует как приказ, тождественный своему исполнению. Само по себе восприятие красного цвета уже приводит нас в особенное состояние. Здесь не исполнение приказа следует за его пониманием, а наоборот, понимание за исполнением приказа.²

Где локализуется энергия цвета? в психике? Попытка ответа на этот вопрос будет переходом от первичного опыта цвета к его психологическому, антропологическому и т. д. (этологическому, социологическому) толкованию. Придется войти в рассмотрение разнообразных систем. В племени, где каста патрициев носит красные и зеленые одежды, а каста плебеев голубые и желтые, красное и зеленое будут объединяться по сходству так же естественно, как у нас — синее и голубое. Эта социальная локализация цвета будет иметь основанием все ту же исходную маркированность цвета.

Событие узнавания вещи полно положительной энергии. Первичная сила тождества способна развернуться в разные практики. В отли-

1 Коричневая книга II 2.

2 Там же II 2, конец.

чие от их целенаправленности тожество не имеет целей вне себя. На вопрос «Что общего имеют синий и голубой?» единственным ответом будет указывающий жест: «Сами не видите? Они говорят за себя.» Те, кого такой ответ не устроит и кто будет требовать объяснений, вступают в пространство интерпретации. Последовать туда за ними было бы неразумно, не спросив у них сперва, в какую языковую игру они играют, и не узнав правила их игры. Первично цвет действует без правил. Решающая граница проходит между говорением вещей за себя и областью более или менее отчетливых правил применения их энергии. Человек, которого впервые попросили расположить гласные в порядке возрастания их темноты, назовет скорее порядок *i, e, a, o, u*. Вовсе не обязательно при этом он имел в голове цветовой ряд отдельно от ряда гласных и потом привел оба ряда во взаимное соответствие. Так будет действовать разве что профессионал. Результат в обоих случаях будет скорее всего одинаковый. Подключение интерпретации не изменит базовое переживание и повлияет только на то, как о нем говорят.

Граница между самопоказом вещи и ее толкованием тем более важна, что ее обычно переступают не заметив. Сообщения типа «Я вижу некое сходство двух лиц, только не могу описать его» обычно провоцируют в слушателях и в самом говорящем попытку описания замеченного сходства. Фраза однако и без развертывания достаточно характеризует состоявшееся переживание словами «*не могу описать*». С попыткой описания картина узнавания изменится. Описано будет уже не то его первичное переживание, которое не удалось выразить.

Подобно узнаванию автономен поступок. Он говорит сам за себя и не раскладывается на причины, будь то физические или духовные. Выше была изложена функция события быть поводом для определенного поведения, не его причиной. Приводилось в пример, что простой приказ может быть поводом для разнообразного поведения. Этическое и прагматическое расписание нашего поведения будет точнее считать не причиной, а поводом для него. Проснувшись утром, лежащий в постели думает, что по разным причинам пора вставать. Вставание не обязательно следует за сознанием его необходимости. В голове проснувшегося может пройти вереница мыслей о силе и слабости воли, о правильной жизни и других. Затем он вдруг обнаруживает что встает. Попытка найти в цепочке утренних мыслей ту, которая была прямой причиной вставания, с намерением например завтра той же мыслью заставить себя немедленно подняться, окажется unsuccessful. Ряд поступков (просы-

пание, потягивание, лежание в постели, подъем) и ряд сознания нигде не пересекаются между собой. Момент и способ передачи приказа воли телу мы не наблюдаем. Мы внезапно видим себя встающими без причины. Лишь в отчетах о своем поведении люди обычно сминают реально происходящее с ними в плоскую схему волевого решения как причины поступка.

Эти и другие упражнения Витгенштейна на внимание к тому, как мы себя ведем, ставят психологию на место. Оказывается, что всё по-настоящему захватывающее располагается за ее границей. Предположите, что упорядочить гласные по возрастанию их темноты попросили вас¹. Как уже говорилось, *i* обычно всем кажется более светлым, *и* темным. Вам могут не понравиться такие манипуляции со звуками, как не нравятся некоторые слова; вы откажетесь тогда от участия в эксперименте. Но молчаливо наблюдая его со стороны и слыша, как кто-то называет *и* светлым и *i* темным, вы скажете про себя: как можно быть таким глухим; если уж кто-то взялся расцвечивать звуки, то зачем говорить прямо наоборот. Не участвуя в этой языковой игре, вы тем не менее судите о ней. Значит, для вас тоже не закрыта оптика акустики, пусть сами вы сопоставлять звук и цвет никогда не захотите. Звук для вас умеет быть цветом или вы умеете опознавать его как цвет, хотя ни применять, ни толковать это свое умение вы не собираетесь. Мы способны делать движения, которые никогда не делаем. Мы состоим из тела и речи задолго до того, как выходим на уровень их применения и интерпретации. Звук опознается вместе с цветом и без того, чтобы мы играли в какую-нибудь языковую игру; оба сливаются в тон, вплетенный в жизненный ковер. Это не психология как наука о процессах, а онтология как открытие того, что входит в наше существо.

Когда каменщику по его просьбе приносят кирпич, семантику его слов можно считать причиной последовавшего за ними действия помощников. Процессом восприятия и толкования речи займется психология. В той же ситуации однако есть и более первичный уровень, на котором мы, люди, знаем себя послушными и готовыми выполнить приказ, в том числе и тот, который еще не поступил. Слово приказа с учетом этого уровня не причина нашего движения, а только повод для того, чтобы ввести в действие нашу готовность. Случаи фальш-старта у спортсменов (наш пример) показывают, что движение бывает развяза-

1 Коричневая книга II 4.

но не только принятым и понятым знаком, выстрелом, но и любым знаком или *отсутствием* ожидаемого знака. Движение тут не интерпретация сигнала, звук спортивного пистолета не причина движения; оно заранее готово и ждет только повода. В каком-то смысле оно уже есть. Ожиданием выстрела сдержан не замысел бега, переводимый в действительность сигналом, а сам бросок. Фальш-старт показывает, что выполнение приказа проходит мимо семантики сигнала, которой у нулевого сигнала по-видимому нет, и тем более мимо интерпретации этой семантики. — Некто решил смотреть не мигая. Он тем не менее мигнул, однако не так, как обычно это делают бессознательно, а от напряженного усилия не мигать. Его решение не мигать таким образом сказалось на его поведении, вызвав мигание особого непривычного рода. Не будь принято решение, не было бы и нового поведения; и вместе с тем никак нельзя сказать, что сложившееся в мозгу решение не мигнуть (или мигнуть, что в данном случае одно и то же) воплотилось в поступке. — Кто-то давно мечтал написать стихотворение. Когда оно начинает у него складываться, он принимает свое поведение как такое, какое он хотел, но не мог вызвать по желанию. — Оговорку сделал я после того, как постановил вести себя определенным образом. Если бы я не решил сказать фразу, то не сделал бы и оговорку. Я не приписываю ее кому-то другому, она — мое поведение, развязанное моим решением, однако другое чем как я решил.

Как в случае с наблюдаемым словно со стороны вставанием, как в случае, когда я замечаю, что напеваю песню, чего делать не собирался, так и во всех остальных приведенных случаях имею виды на себя я и поступаю тоже я, но эти я разные и одно глядит на другое. Намечающееся здесь открытие относится к онтологии субъекта, понятого как глаз, а не к психологии.

Именно после того, как я определился в своих желаниях и намерениях, я с особенной отчетливостью наблюдаю свое поведение со стороны. Отклонение меня от меня, начинающееся после того, как я определился в отношении себя, заслуживает внимания. Не имей я видов на свое поведение, расхождения меня со мной, наверное, не было бы. Я однако уже должен был неким образом раздвоиться для того, чтобы вообще быть в состоянии прочерчивать свою линию поведения.

Я не хотел раздвоиться и не думал, что такое произойдет. Мне не известен смысл раздвоения, оно само высветило себя как феномен, который не перестает меня задевать, хотя спокойнее было бы обойтись без

его разбора. Феномен моего раздвоения не единственный, оставляемый мною без внимания под тем предлогом, что я занят. Я много делаю, в основном для того, чтобы меня не тревожили неожиданности. Не будь я так растрочен на самооборону, задевающих явлений было бы больше. Я не обращаю внимания на положение тела, неровное и скованное, потому что мои обязательства, сохранять ситуацию общения и удовлетворять требованиям, меня занимают, а внимание к положению тела, задевая, отвлечет от занятий.

Обратив внимание на положения своего тела, я каждое из них признаю каким-то особым. Мне не поможет тут психологическая классификация состояний; они всегда слишком разные. Когда бы я ни присмотрелся к себе, моя сиюминутная поза покажется мне странной. Особость каждой моей ситуации не дает говорить о ней обобщенно. Психология тут снова показывает свою ограниченность. Особость любой моей позы провоцирует на уточнение, какая она именно. Но тут ловушка. Развертывание характеристики «особая» в описание «какая именно» не безобидно. Назовем непереходным (нетранзитивным)¹ такое применение слова *особый*, *своеобразный*, которое только подчеркивает феномен, обращая на него внимание («у этого лица особое выражение, которое я не берусь описать»). Переходное (транзитивное)² применение того же слова («у этого лица чрезвычайно строгое выражение») расстается с феноменом, заменив его семантической схемой, т. е. переведя феномен в языковую игру по правилам художественной литературы или науки. В языковой игре знаки начинают представлять действительность. Появляется вариативность: при том же выражении лица его определение можно изменить.

Фраза «у этого лица особое выражение, которое я не берусь описать» еще слишком проста, чтобы быть языковой игрой. Ее можно заменить без ущерба для смысла молчанием. Она может иметь смысл простого указывания. Наконец, возможно обращение внимания на феномен без обращения на это внимания. Молчаливая собранность, смена тона, особая поза, обеспеченные очевидностью феномена, принимают каждый раз особые формы и к языковым играм пока не относятся. Подчеркивание осуществляется тут самим феноменом. Оно сводится к невольному му изменению открытого феномену существа. В речи оно выражается

1 Коричневая книга II 15.

2 Там же.

непереходным, т. е. не приглашающим к уточнению, применением слова *особый*.

Не надо забывать, что особым окажется всё, на чем остановилось внимание. То, что рассмотрено как именно оно, оказывается неповторимым. Другое точно такое же будет поэтому опять уникальным. Вглядывание способно обеспечить особость любой вещи. Она оказывается тогда единственным экземпляром самой себя. Мое сосредоточение на ее переживании будет внутренним актом указывания на нее. При этом не столько я внутренне указываю на вещь обращением внимания на нее, сколько мое собранное внимание принадлежит ее присутствию на правах модификации этого присутствия. Присутствие видоизменяется или даже создается участием внимания¹. Я не столько указываю на то, что вижу (ощущаю), сколько говорю вместе с ним и им, *сопутствую* ему². Дублируется ли феномен в таком подчеркивании им себя мною? Мы склонны думать что да, обманутые грамматической схемой субъекта и предиката. Фраза «лицо *имеет* особое выражение» создает иллюзию какой-то содержательности, которую можно с трудом прогнать лишь осознанием, что лицо и есть выражение, пусть никакое. Видимость дублирования создается тем, что образ, который мы видим, вдвигается в нас, «окунается в наше сознание» и создает там себе форму.³ Если видеть это движение вещи в нас как продолжение истории самой вещи, раздвоения не получится. Вещь сама начинает присутствовать в нас, не мы строим себе ее изображение в психической сфере. Мы вправе рассматривать себя плавным продолжением мира. Психология, наоборот, вынуждена отделять личность от окружения, иначе ей придется отказаться от понятия психики. Философия спокойно допускает миру взять нас полностью. Вне мира остается только невидимый и значит неспособный быть объектом науки глаз.⁴

Мы находимся под чарами странной иллюзии, когда подыскиваем характеристики для лица вместо некомментирующего взгляды в его особость⁵. Стараясь объяснить то, что видим перед глазами, мы тратим на объяснительные схемы внимание, которое надо было посвятить под-

1 Там же II 19.

2 Там же II 20.

3 Там же II 16.

4 Ср. выше о глазе-субъекте Ницше.

5 Коричневая книга II 17.

робностям. От мелодии мы часто хотим узнать, о чем она говорит, вместо того чтобы отдать себя слышанию ее речи. Нас ведет надежда на совпадение лица, вещи, переживания с неким образцом. Этого образца (идеи) не существует. Единственным объяснением вещи служит она сама. Насвистывая для показа, какой должна быть мелодия, мы имеем дело с ней, а не с ее смыслом. Фраза обычного языка, конечно, незащищенное музыкальной открыта толкованию. По сути однако она тоже ничего не «говорит»¹ кроме самой себя.

То, что называется «пониманием фразы», имеет во многих случаях гораздо больше сходства с пониманием музыкальной темы чем мы склонны по привычке думать.²

Слышание речи без ее семантической расшифровки образует базовый уровень общения. Когда слово раскрывается на уровне тона, контролировать его семантику становится трудно. Не обязательно его смысл от этого страдает. Неинтерпретирующее чтение поэзии не ущербнее толковательного. Поэтическое слово задевает тогда не только наше сознание. Речь, услышанная как музыка, не поддаваясь передаче, остается сообщением.

В мифологии именование — сакральное действие, создающее магическую связь между именем и вещью³. При этом на толкование имени накладывается определенный запрет. Многократно повторяемые формулы в религиозных практиках становятся священными вещами. Обыденная речь этого старательно избегает, слово здесь всего лишь инструмент обращения с вещами. Задача философии в том, чтобы выйдя из границ психологии увидеть во всякой речи, в обыденной не меньше чем в сакральной, тот уровень, где знак тождествен означаемому в такой полноте, какая недостижима для магии. На этом уровне знак с большим правом становится темой онтологии чем магическое имя. Витгенштейн упоминает магическую теорию имени как абсурдную странность, и это один из случаев, когда наиболее невероятная из ситуаций описывает у него повсеместную и всегдашнюю реальность.

Философское исследование сосредоточено не на преломлении предмета в «психике», а на его выступании самим собой, когда он говорит нами, когда цвет в моих глазах становится собственным описанием во

1 Ср. у Жака Деррида уверения, что он ничего не «хочет сказать» своими книгами.

2 Коричневая книга II 17.

3 Ср. там же II 19.

мне¹. Мое *я вижу* не есть ли уже явление предмета? Через меня он представляет себя. В моей речи он разворачивает свое присутствие. Семантика моих слов здесь имеет небольшое значение; я, пожалуй, могу и перевернуть ее с точностью до наоборот. Ее роль служебна. Она не больше чем представляет мне действующую во мне вещь, содержит в себе не больше чем мое представление о ней, заведомо более бедное чем ее присутствие во мне. Полагаться на семантику фразы не полезнее чем надеяться, будто указательным жестом *вот* я много сообщу о предмете. Я вместе с моей фразой только сопровождаю предмет в его выступлении, обслуживая его заявление о себе. В порядке иллюзии моя речь может быть принята мной самим за инструкцию по применению предмета. Скользнуть в такой самообман равносильно тому, как если бы, наблюдая игру цвета в небе на закате, я воображал что расшифровываю его. Когда посетитель зоопарка говорит спутнику: «Смотри!», его речь кажется особого рода языковой игрой, приглашением к определенному поступку, но в действительности остается лишь сопровождением переживания, как бы приставляющим к нему увеличительное стекло².

Вы находитесь под неким особым впечатлением и говорите об этом. Слова кажутся сообщением о нем. Реально они немногим больше указательного «вот» к моему переживанию³. Они, возможно, стали для меня и других описанием пережитого, но действительно в них только то, что неотличимо от опыта. Содержание, принадлежащее их семантике независимо от подробностей вызвавшего их опыта, надо отсеять, оно мешает базовой остенсивной (указывающей) функции речи.

Информация, содержащаяся во фразе *я хочу яблока*, распадается на два слоя. К подробностям вот этой ситуации фраза относится лишь остенсивно, т. е. обращает на нее внимание, не больше. Я, возможно, хочу вовсе не яблока и удовлетворюсь грушей, т. е. *я не хочу* яблока. Мы не раз убедимся, что всякое *я вижу* (понимаю, сознаю) *ipso facto* констатирует *невидение* (непонимание, несознание). Остенсивная функция фразы от этого не страдает. Когда фраза значит не то, что значит, ее указание на *вот эту* ситуацию становится может быть даже эффективней.

Мы обычно замечаем смену своих настроений. Описать их намного труднее. В таком случае словом «особое» мы удостоверяем их неповто-

1 Там же II 20.

2 Ср. там же II 21.

3 Ср. выше с. 226 Августин о научении вещами.

римость. Как уже отмечалось, если тут идет языковая игра, то на нулевом уровне, потому что значение слова «особое» не идет дальше остенсивного. Собственно языковая игра может сложиться здесь только в меру непонимания, до какой степени слова показывают присутствие настроения не объясняя его, или в меру иллюзии, будто остенсивная характеристика может быть без проблем развернута в содержательную.

«Если бы однако от нас требовалось назвать нечто такое, что составляет жизнь знака, то нам пришлось бы сказать, что это его применение.»¹ Базовым во всех языковых играх оказывается остенсивное действие знака в смысле указания если не на живой опыт в его подробности, то на предмет, условно выделяемый в контексте игр. К остенсивному определению знака так или иначе придется прийти в конце лексических определений, которые ведут от одного словесного выражения к другому. Цепочка вопросов вида «Что такое *x*?» никогда не кончится, кроме как если ответом на один из них будет: «Вот что такое *x*, посмотрите», указывая например на карандаш. Остенсивное определение *eo ipso* неопределимо; строго говоря, цепочка «Что такое *x*? — это *y*. Что такое *y*? — это *z*. Что такое *z*? — это *вот что*» вся условна; и все же указание *вот что* неопределимо более терпимым образом, в отличие от скандальной безысходности вербальных определений. *Вот это сейчас здесь* не поддается объяснению, но мы почему-то соглашаемся тут остановиться, даже если придется сказать «не вижу, на что вы показываете». В слепоте тоже есть окончательность. Функция знака сводится так или иначе к показу *вот этого*.

Мы прекрасно могли бы заменить всякий процесс представления процессом разглядывания предмета или живописью, рисованием или моделированием; а всякий процесс говорения с самим собой можно было бы заменить говорением вслух или письмом.²

Всё сводится к присутствию нашего целого существа при явлении. Сознание как среда, расположенная между нами и действительностью в области психики, оказывается ненужной гипотезой.

Мы найдем, что подобная модель психики должна быть очень сложной и запутанной, если она призвана служить объяснению наблюдаемой психической деятельности; на этом основании мы могли бы назвать психи-

1 Л. Витгенштейн, Голубая книга, WA 5, 20.

2 Там же, WA 5, 19–20.

ку странного рода средой. Этот аспект психики нас однако не интересует. Проблемы, которыми он мог бы нас озадачить, суть психологические проблемы, а метод их решения есть метод естественных наук.¹

Естественные науки, включая психологию, работают с предметом, очерченным более или менее отчетливо систематизированной терминологией. Философия достигает отчетливости, работая с языком, который называется естественным потому, что его отношения с вещами устанавливаются помимо психики.

6 ЗА ГРАНИЦЕЙ ПСИХОЛОГИИ. ИМЯ

Откажемся от теории психики, она слишком сложный конструкт. Оставим сознанию только элементарный акт отождествления *вот этого, того самого* в пассивной форме узнавания или в активной срисовывания. Можно вспомнить о детских рисунках как способе закрепить непосредственное впечатление вещи. Знак (рисунок) тут привязан к данности без промежуточных слоев толкования. Гипотезу семантики, якобы располагающейся в сфере психики, обойдем в пользу прямого присутствия вещи в нас. Знак, начиная с раннего нематериального означивания всего, что есть, тем, что *вот оно* — заглянуть раньше мы не можем, убеждаясь, что *то самое*, оно же мысль, есть бытие, — и вплоть до самых сложных языковых игр есть его применение. Тем фактом, что знак втянут в применение вещи, исчерпывается всё его существо. Знак в этом смысле есть вещь как такая, что у нее есть знак. Имя неотделимо от именуемого. Их взаимопринадлежность особенно видна, когда имя еще не дали или оно забыто. Человек, поселок, река, отмеченная вещь дожидаются, когда им дадут или вернут имя; их именность налицо и требует признания. В имени продолжается внимание, привлеченное особым феноменом; для того, чтобы он стал особым, как говорилось выше, достаточно внимания к нему.

Слитность именуемого и имени видна в том, что звуки моего имени я ощущаю себе чужими. К этим начертаниям букв и колебаниям воздуха я не имею отношения, они не я. Манипуляции над ними, например в заговоре или официальном документе, мне тревожны; я неприятно задет тем, что мое имя путают со значками. Я пойму только такое обращение с собой, которое имеет в виду именно меня. Условное сло-

1 Там же, WA 5, 22.

весное имя накладывается на именуемого извне. Оно имеет особый статус в речи, как легко видеть при зачитывании списка имен. Строка с именем внутри списка начинает ощущаться иначе, когда на него откликается присутствующий. Откликаясь на свое имя, люди поддерживают распространенное мнение, будто они присутствуют в том же пространстве, где записаны и звучат их имена. Принято не особенно замечать тот факт, что наблюдатель размечаемого именами пространства (глаз, субъект) ненаходим в этом пространстве, тем более не фиксируется в нем и на свою собственную попытку найти и рассмотреть себя глядит со стороны. Замечая, что найти наблюдателя в том же пространстве, где ведется исследование, в принципе невозможно, психология объявляет об открытии неизведанных глубин личности. Нас приглашают посмотреть, как сложен субъект. Но подобно наблюдателю пропадает при попытке фиксации собственно масса вещей: момент *теперь*, точка, предел, имя. Эффект странности тут создается тем, что, назвав слово, люди ожидают появления именуемого, а он не показывается. Психологов, которые приходят здесь в изумление, надо спросить о правилах их языковой игры. Они должны будут честно признать, что охотятся с помощью слов за вещами.

Часто мы ведем себя так, словно надеемся, называя слова, на отклик вещей. Ситуация с ними однако в принципе другая чем с человеком цивилизации. Вещи в отличие от человека в молчаливое соглашение с нами не вступали и на свои имена не откликаются.

Удивление становится настоящим началом мысли, когда оно вызвано не редкостными свойствами исключительных вещей, на деле гипостазированной лексики, а провалом привычного нам зрения. К тому, что изощрение его приемов не исправляет его ограниченности, мы не готовы. Среди белого дня нас окружают вещи, взглянуться в которые нам не удастся, потому что из-за их слишком большой близости к нам мы имеем с ними дело раньше чем собираем себя для внимания к ним.

Мы склонны приписывать нашему языку структуру и правила. Без них действительно трудно было бы изучить нормативный язык, как латынь, но оглядываемся ли мы на них в родной речи?

Мы не только не думаем о правилах употребления — о дефинициях etc., — применяя язык; в большинстве случаев мы даже неспособны назвать такие правила, когда нас о них спрашивают.¹

1 Голубая книга, WA 5, 49.

Почти всем кажется, что речь подчиняется правилам. Что правила выводятся из применения, менее заметно и могло бы стать принципом совершенно новой лингвистики. У всех на виду, что в шахматы играют по правилам. Что на деле практика игры создала эти правила и с веками меняет их, не лежит на поверхности; и совсем не бросается в глаза, что тот же процесс продолжается теперь. Правила создаются с оглядкой на употребление, а оно диктуется каждый раз особо положением дел.

Мы неспособны ясно описать применяемые нами понятия; не потому что не знаем их настоящей дефиниции, а потому что никакой настоящей «дефиниции» у них нет. Считать, что они *должны* иметь такую дефиницию, было бы как считать, что играющие в мяч дети принципиально играют по строгим правилам.¹

Жесткая, например химическая, детерминация вообще каждого нашего движения вовсе не исключена. Но если она существует, то явно не в том измерении, в каком мы о ней говорим. Подчиняйся всё наше поведение строгим правилам, установить их оказалось бы невозможно. С полной детерминацией совместимо поэтому только наше незнание о ней.

В обычном представлении мысль и язык оперируют образами вещей. Имя неким образом существует отдельно от именуемого на правах его облегченного слепка. Теория психики как буфера между нами и действительностью предлагает считать, что, думая о человеке или вещи, мы имеем дело не с ними, а с их отображением в сознании. Область мысли и языка отодвигается в промежуточное пространство, переход откуда к действительности сложен. Нет причин следовать этой теории. Трезвее будет принять, что, называя имена, мы имеем дело прямо с именуемым. В моем желании, чтобы что-то произошло, присутствует не тень желаемого, а оно само.

Голой тени тут мало; ибо она останавливается перед предметом; а мы хотим, чтобы в нашем желании содержался сам предмет. — Мы хотим, чтобы желание прихода мистера Смита в эту комнату обязательно содержало то, что именно *мистер Смит* (и ничто и никто кроме) должен *прийти* (и не другое, кроме как прийти) *в мою комнату* (и ни во что иное).²

Хотя мистера Смита в моей комнате нет, я, которому он нужен, не хочу иметь дела с его ментальным заместителем. Если невозможно ускорить

1 Там же.

2 Там же, WA 5, 65.

или обеспечить его приход, на вопрос третьего лица о моем желании я сделаю максимум возможного, чтобы приблизиться к реальному факту присутствия, например покажу портрет мистера Смита, давая понять, насколько хочу его видеть. Пусть никому не покажется, что я манипулирую тут изображением; сам мистер Смит в его портрете и имени вызван мною настолько, насколько это для меня сейчас возможно.

Деление мистера Смита на него самого и его образ, однажды начавшись, уведет в бесконечные психологические сложности. Идти по такому пути не обязательно. Допустимо видеть в присутствии, которого мы ожидаем, неделимое явление, близкое настолько, насколько сейчас возможно. Оно заслонено от нас, например, далью, но через расстояние проходит не его образ, а оно само. Что имя не отслаивается от именуемого, видно по тому, как в ответ на колебания воздуха человек, названный по имени, обращается ко мне. Он ведет себя не так, как если бы за звучанием его имени стоял образ в сознании произносящего это имя.

Имя дается маркированному присутствию. Это тавтологическое выражение. Присутствие человека своим весом создает вокруг себя поле, отмеченное именно им. Он оказывается именем в той мере, в какой дает о себе знать. Его отношение к своему имени можно сравнить с отношением между болью и ее локализацией. Рука, в которой есть боль, не обязательно должна быть сначала размечена сеткой координат, чтобы я мог по ней вычислить больное место. Пространство языка не обязательно должно быть размечено лексическими структурами, чтобы фраза (ее можно считать расширением имени) была указанием на положение вещей, т. е. самим же этим положением вещей, насколько оно обращает на себя внимание. Во всякой речи надо видеть то же, что в указании на боль. Протягивание пальца к укушенному осой месту на руке принадлежит самой боли как ее проявление. Боль сказывается сама, она свой собственный показ. Действием указывания определяется место боли. Этим путем, а не метрической разметкой, устанавливается потом и мое знакомство с рукой. Не будь боли внутри тела никогда, его устройство было бы известно меньше. Нет необходимости в том, чтобы помимо боли я имел отдельно ее образ.

Как место боли, так имя живого существа располагается в его явлении. Локализация имен в сетке координат и в системе языка достигается лишь вторично и с помощью технических приемов.

Во фразе положение дел продолжает говорить за себя так, как оно начало это делать в имени. Витгенштейн берет фразу не на том уровне, где

лексику соотносят с принятым в цивилизации расписанием. На той глубине, где фраза является мерой мира, она обеспечена своим тожеством с тем, о чем идет речь.

7 НЕВОЗМОЖНОЕ СУЖДЕНИЕ

В утвердительных фразах Витгенштейна часто слышится вопрос; наоборот, вопросительные обычно предполагают у него ответ, как в конце § 20 «Философских исследований»:

По-русски говорят «камень красный (Stein rot)» вместо «этот камень есть красный (der Stein ist rot)»; у них вовсе нет связки на уме или они *примысливают* тут связку?¹

Дилемма решается парадоксально. Русские одновременно имеют связку в уме и не примысливают ее. Мы не знаем, куда у нас девалась связка. Мы говорим так, как это делаем, и любое объяснение нашего обычая будет только одним из возможных.

Витгенштейн принципиально обходится без толковательного отношения к миру. Мир такой, какой он есть, неотменим как судьба и справиться надо не с ним, а с путаницей наших представлений. Она возникает из-за того, что хотя в свойстве мира ничего изменить нельзя, он для всех всегда свой и с ним склонны соответственно обращаться. Освоение мира быстро переходит в его распаковку. Гораздо медленнее складывается понимание того, насколько в любой практике освоения мир исходно присутствует как направляющее. Ошибкой часто признают то или иное толкование мира; реже спрашивают, поддается ли он толкованию вообще. Фраза обычно воспринимается как субъект-предикатная форма, распаковывающая подлежащее сказуемым². Грамматика нашей цивилизации склоняет слышать во фразе определенное суждение о вещи, обозначенной именем. Обязательно ли такое суждение предполагается фразой естественного языка или оно примысливается исходя из некоего идеала? Суждение располагает к суду и приговору. Субъект-предикатная схема получает актуальную остроту в свете оценки на истину-

1 В переводе Энском ненужное добавление, лишаящее выставленную в вопросе альтернативу смысла: «In Russian one says 'stone red' instead of 'the stone is red'; do they feel the copula to be missing in the sense, or attach it in *thought*?» (Ludwig Wittgenstein, *Philosophical investigations*. Transl. By G. E. M. Anscombe. Oxford: Basil Blackwell 1968, p. 10e).

2 О субъект-предикатной форме ср. выше с. 50.

ложь и добро-зло. Всякое суждение, по-видимому, готовит движение к желательному в отталкивании от нежелательного. Строительство и уничтожение, на какие оказывается способно человечество в хозяйстве и на войне, явно опираются на суждения. Через фиксирующее истолкование сущего иногда целые классы, роды, виды, индивиды приговариваются к утверждению или отрицанию. Суждение открывает путь возвышения или потеснения определенных составляющих мира.

Субъект-предикатная форма, неразвитая в древнеиндийском, русском и почти отсутствующая в некоторых неевропейских языках, накладывается рациональной схемой и может быть изъята из восприятия речи без разрушения речи. Структура суждения в субъект-предикатной форме принадлежит не языку как таковому, а правилам, по каким ведет языковые игры цивилизация. Определенность предикирования привносится извне; в естественной речи сказуемое (говоримое) не обязательно слышится как предикат. Самая, казалось бы, однозначная характеристика в словесном облике фразы естественного языка всегда остается открыта для разных пониманий; жесткой она становится только если словам придано значение терминов. В исполнительной (административной) среде действует настойчивая тенденция формализовать естественную речь, которая потесняется идеалом универсального языка, нейтрального инструмента выражения.

Формальная логика называет суждение не предложением (пропозицией), а мыслью, хотя еще точнее здесь было бы говорить о рациональной мысли. Суждение утверждает или отрицает.

Атрибутивные суждения состоят из субъекта (логического подлежащего), предиката (логического сказуемого) и связки, а в некоторых имеются еще так называемые кванторные слова («некоторые», «все», «ни один» и др.).¹

Кроме атрибутивных существуют суждения об отношениях между предметами, суждения о существовании чего-либо и суждения тождества (равенства) типа « $a = b$ ».²

В области морали к восприятию фразы через схему суждения близко ее слышание в смысле суда, имеющее источник в представлениях о добре и зле и в попытке лексического решения их дилеммы. Мораль хорошего добра и плохого зла накладывает на речь извне черно-белую схему.

1 Новая философская энциклопедия, т. III. М. 2001, с. 664 (Ю. В. Ивлев).

2 Там же.

Зло кажется вездесущим, сильным, энергичным; его присутствие представляет вызов, оправдывающий деятельное противление злу. Борьба с ним требует по Владимиру Соловьеву преодоления смерти. Лейбниц говорит о метафизическом зле, Шеллинг о метафизике зла. Система суждений призвана в конечном счете держать зло под контролем. Оно тем не менее находит снова себе пути. Субъект цивилизации делает попытку предупредить зло, исчисляя его пути, опережая его воображением его жестов, тем самым глядя его глазами. Упреждающее исчисление зла имеет своей противоположностью разнообразные стратегии уклонения от зла, начиная от совета не фиксироваться на нем, не глядеть в его сторону и кончая изощренными практиками избежания мыслей о зле. Добро и зло не симметричны. Добро, в отличие от зла, представляется хрупким, требующим особых усилий для своего поддержания.

В христианской догматике, упрощенно подающей трудную философскую мысль, зло не имеет субстанции. Оно возникает по недостатку добра. Желание добра, со своей стороны, подпитывает поток морализирующего дискурса в человечестве. Нравственная лексика обслуживает игры в добро, втягивающие так или иначе всех. В этом добре, как заметил Н. В. Гоголь, не видно добра. Спрашивая, в каком смысле добро или его недостаток оказываются причиной зла, мы ввязываемся в бесконечно сложное предприятие.

У Витгенштейна тема зла по видимости отсутствует. Непривычность его подхода создана принципиальным отказом от вербального решения проблемы. Он просит обратить внимание не на добро и зло, а на то, как быстро при ее постановке мы соскальзываем в сферу лексики. Здесь словоупотребление разнится до противоположности. Добрыми называют вялых и слабых; это известная тема Ницше. Его возмущает, что под знаменем добра правящее положение заняли неудачники. Массе удобно такое понимание добра, которое, противопоставляя его злу, позволяет сознанию воображать себя добрым, хотя имеет смысл спросить, легче ли выбрать добро и следовать ему чем выбрать бытие в противовес небытию.

Мы можем постараться увидеть область морального суждения более сложной, чем казалось вначале, при помощи одного из витгенштейновских упражнений типа попытки полного описания коричневого стула. Подобные упражнения не дадут автоматически увеличения добра во мне, но сделают более проблематичным всякое наше суждение и сократят вероятность суждений определенного рода, которые Карл Поп-

пер назвал нефальсифицируемыми, т. е. недоступными опровержению. К ним относятся почти все нравственные суждения на *хороший-плохой*. Неопровержимых признаков добра и зла не существует. Судья осуждает или оправдывает, не дожидаясь установления всех обстоятельств дела, что по-человечески невозможно. Чем внимательнее мы к обстоятельствам дела, тем труднее становится судить. Судим мы собственно только в типовой ситуации, т. е. когда имеем дело с уже фиксированными классами обстоятельств, подчиненных дефинициям. Суждение в этом смысле по Витгенштейну, для которого классов нет, невозможно.

Между тем всё вокруг нас полно суждениями. Мы уже редко замечаем, что дышим воздухом апокалипсиса. Мы не видим, что движемся в универсуме суждений, как через красное стекло не видим красных фигур. Суждение кажется нам органикой. Деррида говорит с увлечением открытия, что тоном апокалиптического последнего суда говорит не человек, и в той мере, в какой этот тон идет неизвестно откуда и неизвестно куда, любой текст апокалиптичен.

Вот одно из предположений, которое я желал бы предложить для вашего обсуждения: не оказывается ли апокалиптика трансцендентальным условием всякого дискурса, даже всякого опыта, всякой меты или всякого следа? Тогда весь жанр так называемых «апокалиптических» в строгом смысле текстов окажется лишь примером, лишь *образцовым* проявлением этой трансцендентальной структуры. В таком случае если апокалипсис есть откровение, то он есть прежде всего откровение апокалипсиса же, самопредставление апокалиптической структуры языка, письменности, опыта предъявления, будь то текста или меты вообще: т. е. всего того членораздельного отсылания, для которого не существует ни самопредъявления, ни надежного назначения.¹

Стоит забыть о самоотчетности, и мы во власти нашей речи, которая протекает в грамматической форме суждения. Происхождение и назначение суда неясно. В конечном счете он связан с исходной схемой распределения вещей по схеме хорошее-плохое. По неосторожности мы попадем в суждение и под осуждение.

Нам знакома однако речь, интуитивно избегающая суждения. Выпадение глагола-связки в русской фразе, как уже отмечалось, частично объясняется интуитивным движением обхода субъект-предикатной

¹ Jacques Derrida, D'un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie. Paris: Galilée 1983, p. 78.

структуры. Поэтический слух сам по себе еще до разумных сомнений в схеме суждения не принимает ее. Ольга Седакова вспоминает о себе в детстве:

Я не могла построить грамматически связанной фразы. Многие этого не могут, но не в такой мере. Родители, испуганные моей крайней неспособностью «выражать мысли», заставляли меня пересказывать книги. Это не помогло: я стала, читая, заучивать наизусть целые абзацы и периоды и их повторять. Грамматический идиотизм процветал в промежутках. Построить свою нормальную фразу казалось мне чем-то пошлым и бессовестным, будто, выговаривая тему и рему и все между собой увязывая в роде и числе, я ряжусь в чужое платье — и нехорошее при этом. Многие испытывают чувство неудобства перед «громкими» или ходульными словами. Для меня таким «громким словом» была связанная речь вообще.¹

Неумение оперировать рациональной грамматикой, пожалуй, более характерно для высокой поэзии, чем так называемое владение языком.

Философия, можно слышать, началась с изобретения дефиниции. Для сравнения Сергей Сергеевич Аверинцев предлагает заметить почти полное отсутствие формальных определений в Библии. Присмотревшись мы замечаем однако, насколько философские дефиниции граничат с тавтологиями. У Парменида бытие есть, небытия нет. У Аристотеля в «Метафизике» энергия определяется через энергию. У Хайдеггера время времени, ничто ничтожит. Витгенштейновская тема тавтологии имеет за собой уверенную традицию. Тавтология, конечно, представляет собой и суждение, и субъект-предикатную форму, и дефиницию, но так, что подрывает и отменяет всё это изнутри.

Поэзия и философия показывают просвет, в котором речь не обязательно суждение. Для них последний суд и апокалипсис уже были, открыв мир с такой подробной ясностью, что суждение становится невозможно. «Природа убивает нас своей красотой в упор», сказано об этом у Жерара де Нерваля («La nature nous tue par sa beauté au bout portant»). Ослепительная ясность этой красоты оставляет после себя место не для суда, а только для удивления тому, что по какому-то длящемуся чуду (Чаадаев) мы причастны ей.

Не остается места не только для суждения, но и для возможности расслышать его. В том, что кажется суждением, звучит исходный музыкальный тон. Витгенштейн слышит суждение *остенсивно*, как указание,

1 Ольга Седакова, Проза. М. 2001, с. 10.

но конечно не на то, что такой-то субъект имеет такой-то предикат, а на событие, продолжающееся в речи.

8 НЕОБХОДИМОЕ СУЖДЕНИЕ

Указыванием, например «это стол», вещь обогащена (звучащим) знаком. Впредь будет достаточно сочетания звуков, чтобы вызвать ее. Неуловимое движение скашивания глаз в ее сторону — уже операция с ней. Упорядочение предмета словом происходит само собой. Как рукоятки в кабине машиниста почти одинаковы, потому что все рассчитаны на взятие рукой, так язык в его общедоступной фонетике удобен в обращении. Язык повертывается к нам лицом удобства. Легко доступным, близко звучащим словом удобно брать вещи. Такими же доступными начинают казаться и они сами.

Приподняв эту видимость, заметим, как только что описанное представление о языке оставляет нас вне его. Наши повседневные (tagtäglich) языковые игры на бессознательном уровне немислимо многообразны, но прячутся под однообразной видимостью слов¹. Не весь наш организм (его часть язык) развернут в обыденной практике. Игры цивилизации строятся на уровне его условного языка².

Каков язык, таков и жизненный уклад.

Легко можно представить себе язык, состоящий только из боевых приказов и донесений. — Или язык, состоящий только из вопросов и выражения утверждения и отрицания. И без счета другие. — А представить язык значит представить себе форму жизни (Lebensform).³

По фонетической, графической оболочке слов, по их синтаксису нельзя судить о реально идущей игре, и форме жизни. Решает употребление знаков. Один знак иногда подразумевает больше чем фраза. Анализу подлежит не текст, а его применение. При бесконечном разнообразии поведения повторяющиеся знаки создают только иллюзию однородности. Иллюзия была бы не вредной, если бы не тянула за собой действительную унификацию поведения. Отказ от классов не только дела-

1 Филос. исслед. II 11: «Die unsägliche Verschiedenheit aller der tagtäglichen Sprachspiele kommt uns nicht zum Bewusstsein, weil die Kleider unserer Sprache alles gleichmachen».

2 Ср. Филос. исслед. I 2, 7 и др.: философское понятие значения и языковая игра применимы только к более примитивному феномену чем «наш язык».

3 Филос. исслед. I 19.

ет суждение как отнесение субъекта к предикату проблематичным, но и отменяет например деление предложений на утвердительные, восклицательные и вопросительные. Каждая фраза, включая одинаково звучащие, требует разбора в свете применения. Вместо типа предложений мы имеем бесконечные случаи их применения.

Не существует ли на уровне применения слов суждение в другом смысле, когда оно не только возможно, но и обязательно? До сих пор шла речь о суждении вообще, т. е. не о фразах живого языка, а о схеме, существующей в форме мыслительной конструкции. Мы двигались таким образом внутри устроенных и соблюдаемых нами рамок; ради удобства и предсказуемости мы часто предпочитаем жить в четырех стенах, чем теряться в разнообразии. Если искать суждение не в грамматической схеме и не в мыслительной операции, а в применении знака, то необходимое суждение должно присутствовать в каждой фразе как ее основа. Оно принадлежит тому, что заранее, до усвоения правил игры, надо знать, чтобы включиться в игру. Обучая шахматам и называя фигуру с пояснением, как она ходит, я могу надеяться на успех только если обучаемый уже знает, что такое вообще фигура и ход в игре. Усвоит объяснения тот, кто неким образом уже в курсе дела. Такому на вопрос о названии фигуры можно даже предложить именовать ее самому. Что надо уже знать и уметь до вхождения в детали игры?¹

Базовое умение позволяет детям выучивать язык как знакомую вещь, словно они уже владеют им, только не этим, говоря в своей мысли сами с собой². Тот, «родной» язык никуда не уходит и незаметно действует глубже принятых языковых игр; выученный остается вторым в дополнение к тому, которому не надо было учиться. «Посмотрите на великолепную вазу!» Подобным приглашением нас втягивают в эстетическую игру и в образ жизни. Мы смотрим. Что мы в ней увидим — изящество, оттенки, драгоценность, старину, — ходом языковой игры не предусмотрено. Никакое уточнение деталей, привлекающих в вазе, не уловит особой направленности внимания, заставившей кого-то показать, а нас посмотреть на вазу. Внутри указывания, следующего принятой грамматике, работает другое, более важное и конкретное, но неуловимое. Оно создано интересом на уровне гораздо большей точности и подробности, чем приблизительный пунктир ориентирующих на вазу слов. Внутрен-

1 Там же I 30.

2 Там же I 32.

нее указывание самопроизвольно. Его образ действий и цель мы не можем объяснить, потому что не распоряжаемся им, а принадлежим ему, зависим от его движения, конечной целью которого окажется полнота жизни. Как луч фонарика в темноте, острие внимания продолжит блуждать и делать свои указывающие сообщения даже в случае если я запутался в языковых играх и отчаялся в поиске образа жизни.

Всякое объяснение этого луча окажется его изменением. Допустим, некто, заверив, что, направляя внимание на форму, делает всегда одно и то же — обводит глазами ее контуры и переживает акт слежения, — даст другому объяснение круга на примере какого-либо кругообразного предмета. Не исключено, что наблюдавший движение глаз обучающего и имевший то же переживание обучаемый на просьбу «Укажи круг!» укажет на цвет, размер, число фигуры (одна). Объясняющий имеет в виду свое, обучаемый толкует объяснение иначе. И это еще не все, что происходит между учителем и обучаемым. Всякая интерпретация лишь пунктиром следует за реальным процессом. Так камни, от которых отталкивался бегущий, не объясняют цель бега, а ход в шахматной игре не сводится к перемещению фигуры по доске или к переживаниям игрока.

Не умеющему играть в шахматы невозможно показать на *короля*; он увидит только одну из фигур. Не знающему, что такое вообще игры фигурами на доске, невозможно объяснить, что такое король. В месте, где показ и объяснение не работают, открывается провал.

И мы поступаем здесь как в тысяче подобных случаев: не умея очертить *такое-то* телесное действие, которое мы зовем указанием на форму (в противоположность, например, указанию на цвет), мы говорим, что этим словам соответствует *психическая* деятельность.

Где наш язык заставляет нас предполагать тело, а никакого тела нет, там, хочется нам сказать, пусть располагается *дух*.¹

Восстанавливается видимость опоры в предмете, пусть по-видимому сложном, но именно потому требующем подробного исследования. В. не будет заполнять провал, конструируя опоры в области невидимого. Он им не доверяет никаким, кроме надежных. Отказавшись от операций с мыслительными сущностями, он опирается на суждение непривычного рода.

Рассмотрим случай ², когда обучение игре обходится без формулиров-

1 Филос. исслед. I 36.

2 Там же I 54.

ки правил. Новичок наблюдает игру и усваивает ее правила на практике. Как он отличит корректную игру от неправильной? В поведении игроков окажутся признаки допущенных ими сбоев. Так человек, сделавший в потоке речи грамматическую ошибку, меняет тон для ее исправления. О том, что кто-то оговорился, может судить не знающий языка. Допустивший оговорку вышел из тени своего специального языка и стал прозрачен для иностранца. Оговорки никогда не исключены. Все в обустроенном языке подвержено порче. Весь язык может оказаться разрушен. Восстановить его сможет только то, что в свою очередь не поддается разрушению. Надо уметь опереться на слова, соответствия которым не разрушаются. Нельзя пилить сук, на котором сидишь; нельзя терять то, что не поддается разрушению. К таким опорам относится оговорка, опориться в которой невозможно.

Платон ищет нерушимые первоосновы в неразложимых *элементах*. Но ближе ли я к нерушимой основе, когда например, разложив метлу на элементы, прошу: «Принеси мне древко с приделанной к нему щеткой»? Пойдя в том же направлении анализа, я сделаю свою просьбу лишь менее понятной. Я ближе к реальной действительности в ее стихии, когда в самом начале моей речи мне из расстояния маячит (*vorschwebt*)¹ желаемое событие, приближение нужной мне метлы. Я заранее знаю употребление этой вещи, когда ожидаемая метла окажется у меня в руке. Приближаемое моим словом событие в меру моей заинтересованности им конкретно и ясно. Здесь надо искать нерушимый, потому что обеспеченный моим живым желанием, элемент моей речи, которая после этого может быть какой угодно, например состоящей из выкрика: «Метлу!» Способ вызвать желаемое надежно обеспечен тем, что в моем намерении оно уже есть. Конечно, я мог бы молча встать и сам сходить за метлой. Я хотел однако другого. Молчаливое взятие мною метлы и приносе ее по просьбе — совершенно разные события. Разница между ними достаточно важна, чтобы остановиться на ней особо.

Как разобранный выше фраза «я хочу яблока» в сущности была лишь обращением внимания на мою ситуацию и означала не обязательно и не только желание этого плода, так просьба о метле могла быть выражением моей общительности, лени, тревоги. Я хочу возможно вовсе не метлы и могу сразу перестать ее хотеть, если принесут пылесос. Наконец, фраза вообще могла быть оговоркой. Ее неразрушаемой основой оста-

1 Там же I 59, 60.

ется только мое надежное свойство желающего, нуждающегося, целенаправленного, через кого осуществляются вещи, иным образом не случившиеся бы. Первоэлемент речи надо искать в употреблении, которое мы делаем из вещей. Слово дает о нем знать даже через свою неполноту, пунктирность, через сбои типа оговорок. Мы знаем, что такое игра, не умея этого сказать. Невозможность дать ее дефиницию проявляется в том, что игрой при известном подходе можно назвать всё. Нефиксированность игры не мешает зоркому наблюдателю отмечать ошибку в ней.

К взаимопониманию посредством языка относится не только согласование в дефинициях, но (как ни странно это может звучать) согласование в суждениях. Это казалось бы отменяет логику; но не отменяет ее. — Одно дело описать методику измерения, другое найти и высказать результаты измерения. Но то, что мы называем «измерить», определяется также известной константностью результатов измерения.¹

Логика кажется лишней, если суждения, для того чтобы их можно было понять, заранее должны согласоваться между собой. Не перестанут ли наши фразы быть мерой мира, если их надо будет согласовывать не только с действительностью, но и между собой? Ведь в понятие измерения входит возможность каждый раз, идя разными путями, получить один и тот же результат. На вопрос о высоте горы Монблан странно звучал бы ответ «это зависит от того, как на нее поднимаются». Содержание суждения должно быть независимо от метода измерения². Готовы ли мы к тому, чтобы наши измерения мира давали всегда разные результаты?

Нет и да. Мы не согласимся, если идеология предложит нам картину мира, с которой должна совпасть наша. Мы чувствуем однако, что без далеко идущего совпадения в суждениях объясняться между собой мы не смогли бы. Если бы лев заговорил, мы едва ли поняли бы его. Математики показывают пример согласия без потасовки, потому что приходят к одному и тому же результату, если не делают ошибки в расчетах. Правда, наука пользуется искусственным языком и движется внутри жестких игр. Прежде чем без спора согласиться, что $2 \times 2 = 4$, мы должны принять постулаты арифметики. Возможно ли надежное — и стало быть способное служить опорой взаимопонимания — совпадение суждений в естественном языке без введения условных правил игры?

1 Филос. исслед. I 242.

2 Там же II 11, S. 225.

Люди без предварительной договоренности и без споров согласны в восприятии цвета. Будь красное для одного синим для другого, словами *красное*, *синее* нельзя было бы пользоваться. Болезнь цветовой слепоты встречается у немногих и не портит общую картину. Суждение о цвете подобно суждению о настроении. При виде грустного человека так же трудно принять его за веселого, как имея перед глазами серый цвет принять его за красный. Что человек угнетен, что красное это красное, я могу быть уверен не меньше чем в $2 \times 2 = 4$. Для поддержания в себе этой уверенности мне не нужно принимать какую-то систему вроде аксиом арифметики или закрывать на что-то глаза. Они у меня всё равно закрыты.¹ Что другому больно и что красное красно, я знаю не внутри системы, а в открытом мире, просто так. Достоверности этого чувства я верю, если не обманут психологизмом, никак не меньше чем математике.

Незапутанный ум сомневается в настроении не больше чем здоровый глаз в цвете. Бессмысленно думать о том, каким психологическим состоянием сопровождается эта уверенность. Она меняет меня, мимо моего осмысления переходя в мой поступок.

О достоверности, о вере часто хочется сказать, что они тональности мысли; и это правда: они получают выражение в *тоне* речи. Не думай однако о них как о «чувствах», сопровождающих речь или мысль!

Спрашивай не: «Что внутри нас происходит, когда мы уверены...?»: как выражается «уверенность, что дело обстоит так», в поведении человека?²

Цвет нашего окружения и состояние близких меняет нас, не спрашивая нашего разрешения. Мы, так сказать, выносим о них суждение самими собой. Субъект-предикатных высказываний при этом не требуется. Объяснений, почему красный это красный, не надо. Точность таких суждений не уступает математическим. Важная разница в том, что согласие математиков достигается не раньше чем становится понятно, внутри какой системы они работают, а суждения о цвете, тоне, настроении не требуют аксиоматической базы.

Эти точки достоверности образуют остов нашего языка.

Никакого спора не возникает о том (скажем, между математиками), сделано ли все по правилам или нет. До драки, например, тут не доходят. Это

1 Филос. исслед. II 11, S. 224: «Aber schließt du eben nicht nur vor der Zweifel die Augen, wenn du *sicher* bist? — Sie sind mir geschlossen».

2 Там же S. 225.

относится к остову, в опоре на который работает наш язык (например, дает объяснение).¹

Только на уровне таких суждений и согласия в них создается возможность взаимопонимания. Наоборот, согласиться на уровне субъект-предикатных суждений по-человечески невозможно. Первичное согласие в цвете, тоне, вкусе, гармонии (включая число) сразу же оказывается разногласием, как только оно вынесено на уровень интерпретации. Соглашаясь с математической процедурой, расходятся в мнениях о применимости математики. Совпадая в восприятии цвета, расходятся в предположении того или другого.

«Так ты говоришь, взаимное согласие людей решает, что верно и что ложь?» — Верно и ложь то, что люди *говорят*; а в *языке* люди взаимно согласны. Это взаимосогласие не в мнениях, но в жизненной форме.²

В другой раз Витгенштейн будет говорить о жизненных формах во множественном числе. Разность мнений только утверждает то надежное, как настроение и цвет, о чем идет спор. Не будь красный цвет и кислый вкус одно для всех, бессмысленно было бы говорить, что я расхожусь с тобой в отношении к тому и другому. Я расхожусь с твоим суждением о красном и кислом. Я совпадаю с тобой в знании, что флаг вдали действительно красный, а молоко действительно прокисло, — даже если уверяю тебя, что всё наоборот.

Суждение о красном и кислом ходит со мной и в этом смысле принадлежит моей форме жизни. К ней принадлежит еще, например, надежда. Форме жизни собаки она возможно не принадлежит. А боль? Когда я говорю, что сломанному дереву больно, я не зная, как именно ему больно, представляю скорее что ему грустно. Надежда, грусть, ужас не всегда мною чувствуются, но они всегда со мной. Они никуда не деваются и, собственно, то, что я их не всегда переживаю, бывает только от того, что они вытеснены другими. Боль тоже всегда со мной, разве что не в медицинском, а в особом смысле, в каком Кант считает ее непременным сопровождением жизни, от которого человек освобождается только с блаженным предсмертным хрипом.

Нити вплетены в ковер жизни не равномерно. Все тянутся через ко-

1 Филос. исслед. I 240.

2 Там же I 241.

вер и образуют меняющиеся узоры. Они не обрываются, плавно переходя из одного образа в другой.

«Тоска» описывает нам один узор, повторяющийся в ковре жизни с различными вариациями. Если бы у какого-то человека телесное выражение горя и радости менялось с тиканьем часов, то мы не имели бы тут характерного протекания ни рисунка горя, ни рисунка радости.

«На секунду он почувствовал сильную боль.» — Почему странно звучит: «На секунду он почувствовал глубокую тоску»? только потому что такое редко случается?¹

Изыъявительное наклонение у Витгенштейна не всегда выставляет тезис, чаще дело не идет дальше выдвижения темы. Утвердительные предложения нередко надо читать как вопросительные. Наоборот, вопросительная форма, отмеченная пунктуацией, обычно предполагает вполне определенный, хотя и парадоксальный ответ, как в уже цитированном конце § 20 «Философских исследований». Вопрос о странности мгновенно прошедшей тоски требует перехода к более глубокой ясности. *На секунду* почувствовать глубокую тоску технически возможно. Слова звучат странно не потому, что такое нечасто бывает, а потому что ощущение тоски всегда есть одновременно ее открытие в нас. Приоткрывается то обстоятельство, что мы носим ее в себе, в отличие от медицинской боли, всегда. Она одна из связывающих нитей нашего жизненного ковра. Поэтому будет неправдой сказать, что она через секунду прекратилась. Она будет тянуться, разве что, перекрытая другими нитями, скрадется в соседстве с ними или, вернее, имея несчетно много оттенков, сменит их на такие, какие связаны с ней семейным родством. Так небольшая смена красок меняет тон рисунка. Мы можем, так сказать, положитьсь на свою тоску. Она от нас никуда не денется, так же как и радость. Их нити тянутся в ковре жизни и тогда, когда мы не замечаем. На их надежность опирается наш язык. Одинаковость суждений о цвете, тоне, настроении, числе² делает его способом взаимопонимания. Я ценю тоску и не гоню ее, ты не любишь и заботливо гонишь; мы противоположно относимся к тому, что одинаково в нас до суждений.

В каком смысле эта основа согласия более надежна чем математика? Мы можем положитьсь, что для тебя дважды два тоже четыре и всегда сойдемся тут с тобой, если учились в школе. Но то, что надо принять без

1 Там же II 1, S. 174.

2 Ср. «вечные объекты» Уайтхеда выше с. 19.

школы, непосредственная данность — это жизненные формы¹, и только они. Мы не знаем, не слышали и не можем представить, чтобы существовали люди без надежды. Поведение безнадежно отчаявшихся подтверждает, что надежда принадлежит их природе. Наоборот, нетрудно представить себе человечество, которое всё верило бы, что $2 \times 2 = 5$ и строило на этой основе исчисление. Какой бы причудливой ни показалась такая математика, она встала бы в ряд других странных практик, принятых в человечестве; скажем, обряд коронации, состоящий в совершении некоторых движений вокруг тела отдельного человека, вдруг навсегда отделяет его одного от всех других.²

Таблица умножения для всех одна и та же только потому, что все одинаково учат в школе. Мы могли бы учить ее и другую. По сути дела человечество давно уже построило свою наукутехнику на сомнительной математике. Иначе с ощущением цвета. Красный не потому для всех такой, что нас ему учили. Я уверен, что человек не притворяется и ему действительно больно. Кто-то не верит. Он ошибся не в наблюдении боли, а в наблюдении поведения, в котором узнал притворство. Более опытный наблюдатель, умеющий больше замечать, сделал бы верное суждение — не более верное относительно, а безусловно верное в смысле опознания тональности присутствия. Эта тональность может оказаться и в огромном большинстве случаев окажется неопределенной. Не беда. Лишь бы не исказить саму тональность, остаться верным ей в выражении самой ее неопределенности (Unbestimmtheit).³ Это конечно самое трудное в искусстве узнавания человеческих состояний. Непозволительно сомневаться и колебаться там, где наше суждение не может ошибиться. Суждения, разносящие именуемое по классам, например, добра и зла, всегда останутся проблематичными. Наоборот, недоверие к чутью, опознающему настроение, например, горя или радости в себе или другом, склоняет усомниться в доброкачественности жизненной формы или языковой игры, внутри которой такое недоверие принято. При достаточном опыте и внимании трудно не услышать чужую тоску и, наоборот, услышать радость, которой в человеке сейчас нет. К распространенным ошибкам относится недоверие или недостаточное доверие к такого рода чутью. Без него мы обрекаем себя на пустой перебор лексики в попыт-

1 Филос. исслед. II 11, S. 226.

2 Там же S. 227.

3 Там же.

ке выразить неопределенную тональность. Ошибка в наблюдении, лишая нас опоры в суждении того надежного рода, каким бывает суждение о цвете и тоне, оставляет в нашем распоряжении только суждения-схемы.

Первичное суждение о цвете, тоне, настроении, состоянии не обязательно высказывается. Его выражение в любом случае станет проблемой, оказавшись менее или более удачным. Так трудно и требует искусства и опыта описание сложных, особенно меняющихся оттенков цвета. Обучение здесь возможно, но оно не пойдет дальше намеков, поощряющих безошибочное суждение чувства. Правила искусства выражения не образуют систему и применить их, в отличие от правил счета, способен только опытный. Как уверенность в подлинности восприятия нельзя внушить никому, так правильность выражения можно только чувствовать. Умение передать неуловимое настроение никогда не сможет остановиться на достигнутом. Оно не будет иметь предела глубины. К чему эта тонкость, спрашивает человек европейско-американской цивилизации прогресса.

Какие это имеет дальнейшие последствия? или никаких, и игра *кончается* тем, что одному по вкусу то, что не во вкусе другого?

Последствия пожалуй есть, однако они разрозненного рода. Опыт, т. е. разнообразное наблюдение, может их показать; формулировать их вообще невозможно, но в наших силах хотя бы в отдельных случаях вынести верное, плодотворное суждение, установить плодотворную связь. А самые общезначимые замечания в лучшем случае дают нечто похожее на обломки системы.¹

Когда подробное наблюдение заменит собой все обобщенные суждения, останется жизненная форма, уловленная в ее тоне, цвете и значит в конечном счете оправданная. Почему один живет так, другой иначе? Потому что у них разные вкусы? Здесь можно вспомнить из Николая Кузанского, что мудрость (*sapientia*), ведущая в жизни каждого, это вкус (*sapere*). Его не выбирают; он судит сам, ни на кого не равняясь. На смиренном согласии, что цвет и вкус у каждого разный, *кончается* вся игра?

Посмотрим. Опыт и наблюдательность помогут судить о подлинности и неподлинности душевного состояния. Проблема, имеем ли мы дело с присутствием или кажущимся присутствием такого состояния, т. е.

1 Там же S. 228.

притворством, будет решена. Полностью ли? Нет. Только наблюдательному будет видно, имеет ли он дело с подлинником или подделкой. По крайней мере часть этой очевидности останется невесома, т. е. интуитивной.¹

Витгенштейн ценит интуицию не намного выше чем Карл Поппер. Допустим, невесомая очевидность подсказывает мне химическую структуру какого-то вещества. Нужно, чтобы какие-то весомые последствия подтвердили очевидность. Обычно это бывает возможно. Невесомое свидетельство, каким бывают тонкие черты лица, жеста, тона, дадут мне отличить подлинно любящий взгляд от притворного. Весомое подтверждение любви, однако, может заставить себя ждать. И вот тогда я знаю, что не обманут, но буду совершенно не в состоянии назвать, описать отличие между поддельным и настоящим. Слов в языке хватит. Понадобится, я изобрету новые. Но *передать* невесомую очевидность я никакими словами не смогу. Будь я безмерно одаренным художником, сумел бы передать на полотне отличие искреннего взгляда от лицемерного. Но это будет значить, что я расстался с областью языка, ушел в молчание, предоставив слово лицемерию, которому никак не в силах возразить. Не умея описать словами, чем любовь отличается от притворства, я остаюсь беззащитен и оставляю других беззащитными перед обманом. Интуитивного знания таким образом мало. Мы помним, что Карл Поппер оставляет решение будущему, когда при свободе открытого общества через пробы и ошибки явные весомые свидетельства если не истины, то хотя бы неистины будут выявлены и объявлены. Такая передача задания потомкам и перспектива дурной бесконечности уточняющих друг друга гипотез отменяет строгость мысли и равна отказу от нее в надежде на благополучную политическую практику.

Пойдем за Витгенштейном по другому пути. Спросим, как человек научается принять лицо страдающего, тоскующего, радостного и как применяет такое лицо. Делаящий скорбный вид на похоронах лицемерит? Вместе с тем скорбь составляет одну из обязательных нитей его жизненного ковра. Смерть и страдание входят в его форму жизни. Он не мог бы научиться лицемерному выражению скорби, если бы она не принадлежала его существу. Не принадлежи его существу скорбь, он не мог бы и притвориться скорбящим. Так собака не может лицемерить, изображая честную службу, потому что честность не входит в ее форму жизни.

1 Филос. исслед. S 228.

Ошибка лицемерно скорбящего на похоронах не в том, что в его жизни нет скорби, а в том, что он *думает*, будто притворяется скорбящим, и этим думанием и убеждением себя, что у него печали нет, закрывает от себя свою подлинную натуру.

Задача наблюдения таким образом меняется. Не надо высматривать то, что происходит на самом деле где-то в глубине психики под притворством или внешней видимостью. Видимое нами и есть всё, что можно видеть. Психическое состояние не прячется за притворством. Притворство входит в это состояние или, вернее, составляет его. Человек притворяется и делает это намеренно. Теперь я могу описать его состояние без необходимости описывать тончайшие отличия между лицемерной и подлинной любовью. Если невесомые признаки подсказывают мне, что чувство неподлинно, я описываю его состояние как уверенность, что он изображает подлинное чувство. Он находится в состоянии думания, что он притворяется, но не притворяется, что будто бы так думает. Вместо мнимого притворства мы видим тогда самообман.

Да, может наступить случай, когда мы скажем: «Этот *верит*, что притворяется».¹

Убеждающий себя в своем притворстве разворачивает на ковре своей жизни другой, ему самому невидимый образ.

9 ВЕЩЬ И СЛОВО

Отношение слова к вещи вписывается обычно в парную схему. Вещи, которая мыслится самостоятельной, вторично присваивается знак, или наоборот, первичному смыслу (логосу, идее) противопоставляется материальная вещь. Тройная фигура *фонема-смыслообраз-вещь* по сути остается парной, поскольку средний член не фиксируется вне фонемы и вещи. Обычно его привязывают не к вещи, а к слову.

Слово — это название предмета, признака предмета, действия предмета.²

Парная схема широко распространена. Она рано дает о себе знать в пифагорейском списке: граница и безграницное, нечет и чет, одно и много, право и лево, мужское и женское, спокойное и движущееся, прямое

1 Там же S. 229.

2 Рамзаева Т. Г. Русский язык. Учебник для 3 класса. М.: Дрофа 1998, с. 9.

и кривое, свет и тьма, добро и зло, квадрат и разносторонний прямоугольник. Схема заполняется до бесконечности разнообразно: холодное и горячее, свое и чужое, высокое и низкое, материя и идея, позитивное и негативное. Тенденции располагать сущее попарно противопоставляются усилия, наоборот, вернуть пары к их очевидно единой основе; так полярности мужского и женского отвечают попытки, например Владимира Соловьева, мистически соединить их.

Обычное решение проблемы парности сводится к тому, что предпочитают добро злу, правое левому, мужское женскому, свет тьме, единое множеству, реже наоборот. В паре слово-вещь предпочтение отдается обычно тому, что называют действительностью. В идеализме высоко ценится логос; в материализме слово пока еще лишь отсылает к чему-то весомому, что на профессиональном языке лингвистов называют, например, референтом. Это

объект внеязыковой действительности, который имеет в виду говорящий, произнося данный речевой отрезок; предмет *референции*.¹

Курица знаками своего языка, специальным криком показывает замеченную опасность, свою тревогу или просто сообщает о своем присутствии. Она информирует о случившемся дознаковом событии. Это последнее — например опасность — вначале существует без знака. Язык вступает в действие вторично, чтобы известие о событии разошлось вширь.

Удвоение действительности в знаке можно проследить и глубже. Оно есть уже в курице, выделившей из себя тревогу. Курица раздвоена на тревогу и то, что встревожено. На то же обстоятельство можно посмотреть вообще без схемы удвоения. Курица не другое тревоге, и как тревоги нет без курицы, так и курицы без тревоги. Вся курица в этот момент есть неким образом тревога. Умей птица думать, она едва ли назвала бы себя причиной своего состояния. Удвоение и его проблематичность обнаруживаются здесь таким образом до языка. Наблюдение не позволяет говорить, что вещь впервые удвоилась, когда ей дали имя. С трудностью заглянуть за удвоение мы встречаемся во всех случаях парности. Так в случае правого и левого, разбираемом у Канта, увидеть, уловить, вычислить что-либо до раздвоения трудно. Это ставит границу между нашим разумом, ясно видящим различие и осмысливающим

¹ Лингвистический энциклопедический словарь. М. 1990, с. 411.

его (правое мужское, левое женское; правое право, левое криво и зло, зловеще, *sinistrum*), и каким-то другим разумом, который этого различения не видит. В определенного рода четырехмерном геометрическом пространстве (не включающем время) правая и левая перчатка совпадут. Видеть и тем более описать это пространство мы не можем, зная, что оно есть, лишь в порядке экстраполяции. Вещи до удвоения существуют не так, чтобы там можно было что-то наблюдать с тем же удобством, какое дает парная схема за счет предоставляемой ею возможности иметь дело с конструктами нашего собственного ума.

Пытаясь заглянуть в пространство, предшествующее разделению на вещи и слова, мы во всяком случае не увидим там вещи, какие они были до слов. В лучшем случае мы увидим там вещи, какими их никогда не видели. Вообразить, как Андрей Афанасьевич Потебня, что в истинном мире есть вещи без слов, или, как Вячеслав Иванов, что там есть слова до вещей, можно только от нетерпения перед тайной двойственности. Так же можно решить считать мужчин, стоящих в храме направо, разумными существами, а женщин, стоящих налево, производными и зависимыми; или решить проблему зла отчаянным приговором, что только добро существует, а зло никак и возникает в местах убыли добра. В политике сходным решением будет решение изгнать гибеллинов, оставив только гвельфов, или наоборот.

В. никогда не воображает себе какого-то мира вещей до или вне языка. Его позиция здесь определяется не принадлежностью к определенному направлению философии 20 века, а исходным пониманием, что двойственность вещи и слова невозможно редуцировать ни к одной из сторон этой пары. Если мы не примем одного из отчаянных решений, волевым образом отменяющих двойственность, мы не имеем по честному права предполагать, что какой-то из полюсов пары существеннее другого. Решением, что слово вторично по отношению к вещи или что вещь производна из слова, парность не отменяется, а наоборот подчеркивается. Взаимное опровержение обоих решений ведет к прояснению того, что полюса исходно отнесены не друг к другу, а к неименоваемому третьему, о котором даже *третье* приходится говорить условно. Для перспективы, в которую уводит объединение полярных пар, нами было предложено выражение *странность*.¹

1 Ср. выше с. 102 невозможность найти общее имя для пары означающее-означаемое.

У В. слово (мысль) и вещь составляют нередуцируемую пару. Язык не вторичное описание данности. Под языком понимается повседневная речь, за каждым знаком которой тянется бесконечное множество условий. Проблематичность пары знак-вещь (слово-дело) ощущается многими или большинством тех, кто задумывается на эту тему. Вкусы одних склоняются к тому, чтобы остаться с чистой вещью, отбросив знаки как ненужные дубли.

Вещь [с большой буквы] можно увидеть и *понять* лишь тогда, когда *умолкают всякие знаки, все, что приходит и уходит, когда душа выходит из себя и наступает полное молчание*. Вот тогда заговорит сама Вещь, т. е. та истинная Вещь, Которая и есть Творец всякой другой вещи и ее знака.¹

Противоположный вкус предпочитает полагаться на слово (текст), обращая внимание на неуловимость реальности. Оба полярных мнения, признавая реальность только одного из полюсов, исходят всё же из их разности. Углубляющиеся в вещь хотят видеть ее в чистоте без знаковой среды; имеющие дело с текстом без внетекстовой реальности не утверждают что ее нет.

Ввиду удобства парной схемы она часто применяется там, где для того нет достаточных оснований. Интуитивно ясно, что схема вещь-знак в большой мере навязана языку. Она не относится к первичным очевидностям и для своего усвоения требует школы. У детей мы видим сначала простое неразличение слова и вещи. Дошкольники без специальной тренировки неспособны и во всяком случае не расположены видеть раздельно слово (смысл) и вещь (дело). Конечно, они рано и отчетливо выделяют в потоке происходящего слова, но как особого рода вещи и отчасти поэтому больше взрослых обращают внимание на устройство речи, на странность, необычность произнесения. Слово для них вещь и дело, как если бы среди игрушек и мебели в их комнате, среди людей в доме жили и двигались слова. Словом сразу же дана вещь, а вещью слово. Ничего такого, что стояло бы за словом, нет. Вместе со словом в ситуацию входит вещь, хотя бы своим отсутствием. Когда вещи не видят или не знают, слово остается полноценной и тем более богатой вещью. В поэме Вячеслава Иванова «Младенчество» непонятные слова участвуют в жизни ребенка не меньше чем понятные и чем вещи.

1 С. Неретина, Св. Августин: вещь и ее обозначение. — Точки, 3–4 (1) 2001, с. 78–79.

Слов странных наговор приятен,
А смысл тревожно-непонятен;
Так жутко нежен стройный склад,
Что всё я слушать был бы рад
Созвучья тайные, вникая
В их зов причудливой мечтой.
Но чудо и в молве простой,
Залетной бабочкой сверкая,
Сквозит.

При описании речи других наши дети дают ее под рубрикой «он сказал, она сказала», когда обращают внимание на странность чужой лексики. Передавая ситуацию целиком, они вводят речь других через «а он такой, а она такая» и подобные выражения, после которых стоит интонационное двоеточие и следует пересказываемая речь. Аналог этому во французском языке — выражения *il fit, il a fait, elle fit* в значении *он сказал, она сказала*. К младенческому неразличению слова и вещи относятся случаи, когда на просьбу воспроизвести букву Я ребенок трех лет напишет первую букву имени попросившего, на просьбу написать слово *мама* выведет заглавную букву ее имени. Ребенок слышит от родителей, что хорошего человека, соседа зовут Николай Иванович, и так называет его. Сосед, которому неудобно слышать такое обращение от трехлетнего ребенка, обучает его: «Меня зовут дядя Коля, дядя Коля». После нескольких таких уроков малыш спрашивает его: «Дядя Коля, а где Николай Иванович?» Человек раздвоился вместе со словом. Синонимов при таком слышании речи в принципе не может быть. Мы вспоминаем Фердинанда де Соссюра, который говорил, что если бы начала складываться настоящая лингвистика, она строилась бы на строгой невозможности синонимов в языке. Мать, которой невнятна смазанная речь расстроенного ребенка, велит ему: «Ты мне скажи четко, тогда я пойму». Малыш 2 лет 11 мес. сразу отвечает: «Четко!», думая, что с ним играют в знаковую игру повторения слов. Желаемого смысла в требовании матери он не может *услышать*. Для этого ему пришлось бы обратить внимание на свои слова как отдельные от его состояния, в данном случае упадочного, а он этого делать не умеет.

В. замечает, что в возрасте 2–3 лет ребенок не понимает, что одно и то же слово может иметь разные значения. Однозначное слышание слова у детей тем более замечательно, что сочетается с чуткостью к слову, удивляющей взрослых. Дело не в недостатке развития, а в нежелании юного

существа мириться с разнотолками. Если такому ребенку хочется одновременно бежать за родителями и разлечься на дороге, он не будет, как сделает уже 4–5-тилетний, улаживать в себе конфликт своих волей, а отдаст себя им обеим. Он предпочтет, чтобы его раздирали эти две воли, начнет кричать и плакать, но не искать компромисса. Ребенка позвали, он не пришел сразу в автоматическом послушании. Не обязательно при этом *слово* взрослого для него потеряло свою семантику, хотя такое часто бывает. Слово осталось беспрекословным приказом, но ребенок раздвоился. Теперь их два. Один на зов сразу автоматически идет, другой не то что разворачивает семантику приказа (подойду не сейчас, можно поговорить издали, сам приблизиться ко мне), а воспрещает с той же определенностью: «Не иди!» Вместо диапазона разных смыслов здесь другой способ сорвать «семантическую слепоту»¹. Счастливый мир однозначности не разрушается, а уходит в отсутствие. Соединение с позвавшим сохраняется в модусе приваии. Горькое расстройство вступает на место потерянного счастья, но не расхожденность. Слово не остается отдельно от дела — исполнения приказа, — а вместе с делом проваливается в небытие.

Есть и другой способ, каким слово остается для детей делом и сохраняет однозначность. О детях известно в сущности немного. Механизм отключения слова, его полного исчезания у них почти не изучен. Он не безвреден, его причина повторение лексики. Дети часто слышат повторение слов, повторяют их сами вслух и, надо думать, про себя тоже. При многократном повторении слово исчезает, становится причудливым звучанием без значения и смысла. Не только у детей, у всякого этот неприятный опыт исчезания слова², описанный между прочим Андреем Белым, наверняка был; мы не рекомендуем его повторять. Много детских капризов, непослушания, дерзостей на самом деле происходит оттого, что слово, которое они так хорошо слышат и к которому так привязаны, исчезает вследствие повторения и они остаются в полной пустоте, ни с чем — только с жаждой родительского тепла в надежде, что слово как-то восстановится. Слово здесь нужно брать в широком смысле, включая жест, выражение лица; поэтому дети на знакомое лицо иногда смотрят взглядом посетителя из других миров, космического инспектора. От родителя требуется умение повести себя, чтобы восста-

1 См. о семантической слепоте ниже с. 436.

2 Витгенштейн говорит об исчезании стула.

новить человеческую связь с таким пришельцем. Пока слово для ребенка не исчезло, его можно вести словом как на веревочке. Родителям это удобно. Они сердятся, когда веревочка разрывается. Им кажется, что связь ребенок разорвал по своей скверности. Причина в другом. Из-за притертости, грубости слуха взрослые в меньшей мере замечают исчезание слова при его повторении. Ребенок расположен к послушанию, но что делать, если слово исчезло, оставив по себе досадную шелуху. Взрослые тем или иным способом уstraиваются с исчезанием слова, ребенок этому учиться не хочет. Его зовут несколько раз, и он вдруг перестает слышать слово «иди». Он расстроен тем, что оно куда-то делось. Тревога усиливается догадкой, что вслед за словом исчезнет вообще всё.

В одной храмовой египетской игре нужно было оттолкнуть в воздухе мяч, не задерживая его в руках. При задержке на слове начинают происходить во всех отношениях неудобные вещи. Мы описали, как при фиксации на фонеме исчезает ее смысл. Но и при фиксации на смысле он тоже расплывается. Если в слове искать что-то кроме момента мгновенной ясности, оно пропадает. Сесть на слово как на стул невозможно. В исчезании слова дает о себе знать то, что слово не вещь¹. С другой стороны, без слова нет вещи², хотя нельзя говорить, что свет принадлежит слову, а не вещи. Трехлетний ребенок, идя на риск показаться сумасшедшим, упрямо называет занявшие его вещи, но также и людей, «прожекторками» (о гостях: «А эти прожекторки уже уехали...»). На своем языке он сообщает таким образом, что события его мира это яркие вспышки или, в переводе на греческий, феномены.

Держась слововещей, ребенок скорее допустит дикое с точки зрения взрослых слияние разных смыслов в слове, чем разрешит ему расплыться в многозначности. Трехлетняя девочка, спутавшая житейское имя со сказочным, будет скорее представлять реального Ивана Ивановича Иваном Царевичем, чем согласится с полисемией. Аскорбиновая кислота, оскорбляя болезнь, заставляет ее уйти; отказаться от этой догадки для маленького ребенка значило бы расстаться с целостью слова. Это его огорчает, как если бы разбили его игрушку. Мир, в котором слово перестало быть одним собранным смыслом, ребенок оттолкнет, уйдя из него в другой. Так со временем и происходит. С расколом слова, с точ-

1 Ср. выше с. 93 сл.

2 Ср. Георг Тракл у Хайдеггера («так я скорбя познал запрет: не быть вещам где слова нет»).

ки зрения взрослых неизбежным и спокойно допустимым, раскалывается мир.

За нежелание видеть в слове разные значения дети платят согласием с крайними нелепостями. Когда ребенок говорит, я тебя заколкую, каким образом, острым топором, то *колода* и *колдовство* сцепляются для него в одно значение, связанное с тем, что делают на колоде. Мальчик двух с половиной лет строит фантастические связи, лишь бы они обеспечили целостность слова и вещи. Он просит «Спой про сенокосца!», имея в виду испанскую песенку

Yo te dare
Te dare mi hermosa
Te dare una cosa
Una cosa che yo solo se,

которую пели во время сенокоса.

Внимание В. к неопределенности (многозначности) слова в играх взрослых (т. е. в играх по правилам, без игры в игру) имеет своей обратной — или может быть лицевой — стороной ощущение жесткой устойчивости слова. Эта мало изученная черта дает слову существовать через смену значения тысячелетиями. Прочность слова, ощущаемая детьми, переносится ими на значение. Взрослые, теряя чутье к несущей основе слова, редуцируют слово к употреблению. Эту ситуацию В. застает в практике цивилизации, называя ее языковой игрой. В прагматизме, чтобы знать все о слове, надо пронаблюдать его употребление. У В. поверх функционирования в языковых играх слово сохраняет логическое тождество действительности. В конечном счете именно логическое пространство остается единственным, с каким мы можем строго говоря иметь дело.

Если среди играющих детей «ты был паровоз», то надо конечно взять вагоны, останавливаться по требованию у станции. В следующую минуту однако «я был паровоз, а ты вагон». Игра включает возможность легкой смены правил. Обломок сухой ветки нельзя видеть просто сучком, он сначала гусь, потом топор, молоток. Жить среди такой скачки вещей, наверное, тревожно; во всяком случае она должна волновать человека. Происходит ли тут смена вещей или слов? В дословесном возрасте младенец тоже меняет игры. Он может быть до экстаза увлечен схождением двух стен в угол, течением воды, быстрым движением, причем угол, вода, движение для него не только потоки ощущений, но и события от-

меченные, т. е. как бы несущие собственные имена. Развития от «неразличенного потока ощущений» к объединению в комплексы нет. Ребенок скорее движется от целого комплекса (мира), который накладывает печать целостности на части потока ощущений. В раннем крике присутствует уже отклик на целый мир. Сначала *весь* он «не мил» или, наоборот, радуется.

Я говорю, что грустному целый мир кажется серым. — Но тогда стоящее перед его душой будет не грусть, а серый мир; как бы причина грусти.¹

Лишь вторым шагом эта целостность вместе с целым отношением к ней переносится на части.

Детское неразличение слова и вещи возрождается в высокой поэзии. Как пример можно привести известное гоголевское «незнание русской жизни»², не помешавшее назвать его стиль реализмом. Гоголь движется в «искусственной реальности языка», в «Мертвых душах» имеется только «один положительный персонаж — сам язык»³. Многими и давно говорилось о «суверенной независимости писателя от материала»⁴. «Форма произведений Гоголя и есть их содержание», «темой лучших сочинений Гоголя в конечном счете является их собственное литературное бытие», «поскребите гоголевский персонаж, и вы обнаружите голую словесную ткань»⁵. Гоголевского двойника Акакия Акакиевича Башмачкина занимала страница со словами или, вернее, буквами. Его жизнь, мастерство, труд полностью уходили в лепку исписанной страницы; весь человек был страстно собран в этой лепке, словно на листе бумаги совершались все события страны и больше, мира. Происходящее на странице совпадало с этими событиями без посредничества соответствий, реалистических или других, не через их изображение, а через тожество им. Такой уход в слово был одновременно выходом из текста на широкий простор. Буковки, которые сладострастно выводит на листе бумаги графоман Акакий Акакиевич Гоголь, не похожи и не нуждаются быть похожими на реальность. Мы так или иначе не знаем реальность. Ав-

1 Л. Витгенштейн, Заметки о философии психологии I 441.

2 Венгеров С. А. Писатель-гражданин: Гоголь. — Н. В. Гоголь, Собрание сочинений, т. 2. СПб. 1912, с. 123–139.

3 A. de Jonge, Gogol. — Nineteenth-century Russian fiction. Ed. by J. Feknel. L. 1973, p. 25.

4 D. Fanger, The Creation of Nikolai Gogol. Cambridge (Mass.) 1979.

5 В. В. Бибихин, Р. А. Гальцева, И. Б. Роднянская, Литературная мысль Запада перед «загадкой Гоголя». — Гоголь: История и современность. М.: Советская Россия 1985, с. 399–400.

тор, заметивший, что Гоголь не знал Россию, знал ее не намного больше. Никакая подробность приближения к реальности не обеспечит ее совершенного понимания. Но когда слово на странице заблестит каллиграфически и слаженно встроится в строку, оно своим блеском угадает в свет феномена. В таком выкладывании себя на странице Гоголь явился прямым и единственным настоящим учеником Пушкина. В подготовительных набросках, например в планах к сказкам, Пушкин еще занят соответствиями с заимствованным сюжетом, с реальностью и ее воспроизведением. Всемирно известного поэта в этих заготовках и набросках нет. Пушкин, каким мы его знаем, возникает в момент белого письма, когда диктует чистый лист и слава лежащего на него слова. С соответствиями здесь он разрывает. Его рукой водят слух и зрение, принадлежащие не частному лицу. Они ловят, впитывают слово на странице. Кроме слова на листе бумаги в момент последнего варианта для Пушкина ничего нет. Скачок от еще-не-Пушкина к гениальному поэту в последний момент письма такой внезапный и резкий, что для чуткого наблюдателя со стороны, каким был Белинский, постепенная подготовка к тому, что закрепилось в последнем варианте, кажется невозможной. Пушкин шел к успеху не ступенями, а обрывом, отрывом. Белинский был уверен, что поэт пишет одноразово без черновиков как сомнамбула, улавливая единственно возможное и необходимое слово. В этой иллюзии Белинского больше правды чем в стараниях многих исследователей проследить, какими путями Пушкин пришел к Пушкину. Постепенность путей прерывается внезапным взлетом. Гений возникает, разрывая цепи и связи и без посредничества оставаясь наедине только со словом. Собранное здесь и сейчас, оно вспыхивает как тожество всякой вспышке (феномену). Свет, излучаемый поэтическим словом, не имеет ничего общего с содержательным описанием и создает скорее веро-соображений («вдаль мысли разбредаются коровами на пастбище»¹) чем определенную форму представления. Вмещение поэтического события в идеологические рамки происходит уже в публицистике вне высокой литературы.

Фраза у Витгенштейна есть картина действительности независимо от содержательного соответствия ей. Этот тезис, отвергнутый Карлом Поппером как нелепая ошибка², опирается на понимание слова как све-

1 Ригведа I 25, 16

2 См. выше с. 249.

та. Такое высвечивание, в ряду вещей или в ряду слов, разнится только тем, что оно осветило, а не фактом вспышки.

Если мы удержим в поле зрения возможность рисунка, который, оставаясь правильным, не имеет никакого подобия с предметом, то будет совершенно бессмысленно вставлять какую-то тень между фразой и действительностью. Ведь тогда сама фраза может служить такой тенью. Фраза и есть такой рисунок, не имеющий ни малейшего сходства с тем, что он изображает.¹

Неспособность увидеть портрет (рисунок) там, где нет изобразительного сходства, ставит задачу налаживания соответствий между словом и вещью, в принципе не имеющую окончательного решения. Она уведет в нехорошую бесконечность объяснений. Если нет глаз для раннего тождества слова и вещи, объясняющим толкованиям не будет конца.

Всякий раз, когда мы так или иначе толкуем символ, толкование оказывается новым символом, добавляемым к старому [...] мы опять-таки лишь заменяем одну группу символов другой группой символов.²

В слове дело не в слове, не в том, что люди понимают под словами и не в «именуемой сущности». Когда верующий, например, произносит слово *Бог*, он вовсе не объясняет, что именно за сущность имеет в виду, а объявляет, что для него есть разница (граница, *Unterschied*), меняющая его поведение. Понятия служат для обозначения того, что касается (задевает) нас и что нет. Никакого *объяснения* применяемых понятий самих по себе и независимо от шагов, которые делает такой-то человек в таких-то обстоятельствах, получить невозможно. Откуда мне знать, что двое имеют в виду одно и то же, когда называют себя верующими? Тем более если они говорят о Троице и других богословских тонкостях. Теологи, настаивающие на применении определенных слов и фраз и отмене других, как бы размахивают словами, жестикулируя, стараясь что-то сказать и не зная, как это делается³. Лучше навсегда исключить представление, что мы можем иметь более правильные, а другие люди неправильные понятия.⁴

1 Голубая книга (WA 5, S. 65).

2 Там же S. 60.

3 Л. Витгенштейн, Замечания о цветах III 317.

4 Там же III 293.

Спросим, очерчивают ли слова уже имеющуюся границу или впервые ее создают. Обозначают ли слова уже имеющееся различие или сами составляют его таким образом, что благодаря своим словам мы оказываемся по одну или другую сторону границы?

Все, что нам удалось до сих пор прояснить, велит считать, что слово делает одновременно и то и другое. Оно всегда не только условное обозначение, но и наш поступок. Мы хорошо или плохо намечаем им границу, объявляем о нашем безразличии к именуемому. Принцип и тем самым поступок различения — единственное, что в нашей речи безусловно, постоянно и имеет последствия. В семантике и стилистике мы можем ошибиться. Основное в речи сводится для нас к тому, что мы высвечиваем, прочерчиваем и одновременно навязываем себе, этим связывая и обязывая себя, очертания мира.

Неограниченно разлитый свет и граница здесь совпадают. Свет проводит границу между самим собой и темнотой. После этого начнется всё более подробный разбор. Слово таким образом в сущности только задает задачу бесконечного уточнения. Намечая цель, оно оставляет нам прочертить, где именно проходит путь к ней. Мы пробуем словами вещи и самих себя. Сказанное выше о твердой основе слова не означает нашей способности ее определить. Мы не знаем возможным для человека знанием, что именно держит и держится в слове. Его звучание и значение служат, так сказать, для отвода глаз. Если кому-то понадобится строго очертить значение и смысл слов, в добрый час, но ясно, что это занятие мало к чему приведет. «Семантика» всегда плывет, и легко догадаться, что слово скорее уносит ее на себе, чем она подбирает по себе слова. Слова подыскиваются не смыслом, а задевающим вещам. Слово сливается с вещью, запавшей в сознание, и вместе с ней начинает захватывать в свой круг многое. Звук и значение попутно подбираются словом, словно иголки магнитом. Всё при этом может пойти в дело, как мы царапаем гвоздем, если нет карандаша. Называя слово границей, надо иметь в виду не границу, образованную соседством двух готовых вещей, а ту опережающую события границу, которая сама найдет, что от чего отделить. Мы можем называть эту границу просветом или молнией, думая о молнии и огненном логосе Гераклита и о событии (Ereignis) как проблеске у Хайдеггера. Вещь, мысль и слово связаны между собой светом. С таким пониманием слова мы возвращаемся к древнеиндийскому *bhā сиять и говорить, к греческому *φα со значениями речи и феномена. Звук и употребление, слово и дело сводятся к просвету среди наше-

го движения наощупь в дебрях мира. Это простое начало мы не можем рассмотреть и разобрать иначе как в паре¹.

Пустые философские проблемы вырастают из неверного толкования грамматики. Ошибка начинается, когда мы наседаем на слово и воображаем за ним вещь. Брошенное слово однако уже летучим образом сделало свое дело. С него хватит. Не надо его фиксировать. Оно исчезнет или просядет — или, если снова покажет свое существо, то окажется лишь светом. Витгенштейн часто работает с упрощенной схемой. Он предлагает посмотреть на обычное занятие философа, например Августина. Субстантив *время* заставляет его представить себе субстанцию под этим именем, после чего он серьезно спрашивает себя, что это за вещь, время. Готтлоб Фреге, слыша слово *число*, определяемое грамматикой как имя существительное, пытается осмыслить обозначаемую этим именем и отдельную от имени сущность. Субстантив *познание* толкает Платона на долгие рассуждения о том, что оно такое само по себе в собственной своей сути. При всём том Августин замечает, что пока мы не задумываемся специально о слове *время*, оно успешно служит повседневной речи. Так надо ли было вырывать из нее отдельное слово? С обычным языком всё в полном порядке, говорит Витгенштейн. Почему нам мало надежной службы обыденного слова?

Переключая внимание на лексику, мы начинаем обращаться со словом иначе чем в повседневной речи. Так или иначе, большей частью неосознанно, мы формализуем слово, т. е. вводим его в рамки термина. Неверно, что мы продолжаем тут делать то же, чем заняты и в обычной речи, в которой якобы быстро и незаметно толкуем слова, на лету их уточняя. Наш язык вовсе не всегда, а в принципе может быть вовсе никогда не нуждается в интерпретации. Случай приказа был разобран выше²; повиноваться приказу без рассуждения обязанность солдата. По Гегелю, послушание без толкования — высшая доблесть служащего, благородный и необходимый отказ от себя. Напрасно некоторые, замечает тот же Гегель, с пренебрежением относятся к нерассуждающему заучиванию наизусть и неосмысливающему проговариванию запомненных текстов; в таком произнесении *rag soeur, сердцем*, есть достоинство, открытое не всякому. У Ольги Александровны Седаковой мы читали, что

1 Ср. выше с. 102 Соссюр об отсутствии названия для пары означающее-означаемое.

2 См. с. 270 сл.

русское начетничество вовсе не обязательно хуже как принятие Священного писания чем навык его интерпретации.

Толкуемое слово оказывается уже не тем, каким мы пользуемся на каждом шагу. Семантический, психологический, философский анализ слова и его значения — не развертывание того, что мы ежеминутно делаем в разговоре. В некоторых случаях мы действительно делаем в речи что-то такое, что может быть названо толкованием, но в другом смысле.

Кажется, что существуют *известные определенные* мыслительные процессы, связанные с работой языка, процессы, через которые язык только и может функционировать. Имею в виду процессы понимания и суждения. Знаки нашего языка представляются мертвыми без этих психических процессов; и могло бы возникнуть впечатление, что функция знаков исключительно в том, чтобы вызывать эти процессы, а эти процессы суть собственно то, что должно нас интересовать. Когда тебя спрашивают, каково отношение между именем и именуемым им предметом, ты соответственно будешь склонен отвечать, что это отношение психологическое и, наверное, говоря так, будешь думать прежде всего об ассоциативном механизме. — Нас подмывает думать, что действие языка состоит из двух частей; из неорганической части, манипуляций со знаками, и органической части, которую мы можем обозначить как понимание, подразумевание, толкование и обдумывание этих знаков. Эти действия, представляется нам, имеют место в странного рода медиуме, психике; и психический механизм, устройство которого мы, как кажется, не вполне понимаем, способен получать результаты, каких не может достичь никакой телесный механизм. Так например мысль (которая есть такой психический процесс) способна согласоваться с действительностью и не согласоваться с ней; я способен думать о человеке, который не присутствует; я способен представлять себе его, «иметь его в виду» замечанием, которое о нем делаю, даже если он за тысячи миль отсюда или вообще мертв. «Каким странным механизмом должен быть механизм желания, если я могу хотеть того, что никогда не случится», скажет кто-то.¹

Избавиться от воображаемого царства мыслительных процессов поможет замена деятельности представляющего сознания смотрением на реальные предметы. Не обязательно при слышании слова *красный* иметь красный лоскут перед глазами. Достаточно понимать, знать, догадываться, что знаку *красный* соответствует не мистический обобщенный образ в моем сознании, а передник матери, флаг на флагштоке, кровь

1 Голубая книга (WA 5, 18–19).

из пальца — вещи, которые, правда, сейчас уже не близко от моего тела, отойдя в пространстве и времени, но не менее телесны, даже если перестали существовать, чем тело во мне. Ожидая к себе в гости мистера Смита¹, я имею дело не с его психическим субститутом, располагающимся где-то в невидимой сфере сознания, а с самим Смитом, хотя пока он присутствует только как портрет на стене. Он для меня не индивид внутри вида и рода, а явление (событие), вошедшее в мой опыт живым присутствием. Занявшись формированием его представления в сознании, я отойду от него и он перестанет быть для меня тем, кто однажды вошел уникальным событием в мою жизнь. Пока я не желаю делиться на части, я двжусь внутри пространства, размеченного составляющими моего телесного опыта. Они мне дальше или ближе, но даль не обязательно отменяет или ослабляет мою захваченность этим опытом. В том, что отдалено тысячами миль или сном, я участвую здесь и сейчас не менее полно чем в воздухе, которым дышу, и не менее энергично чем когда я отшатываюсь от грязи или тянусь к красоте. Мне не только не нужен медиум между мной и моментами моей жизни, но я избегал бы его появления и во всяком случае могу обойтись без него, имея дело непосредственно с тем, что меня захватило.

Если постановить себе, что в отсутствие ожидаемого мистера Смита я тянусь не к нему, а к его образу в моей психике, то можно будет конечно начать строить ее модель. Описание ее займет много времени и поставит проблемы психологического (т. е. для В. так или иначе естественного) порядка. Помещенные внутрь такой модели в психическое пространство, знаки получают в ней относительную автономию. В самом деле, психика, пусть она и моя, еще не я; уже тем, что я рассуждаю о ней, я дистанцируюсь от нее. Возникает удобная возможность рассматривать конструкты на экране психики — интересные сущности с особым содержанием.

Анализируя существительное *время*, сведений о божестве времени мы не получим. Все факты, имеющие к нам отношение, лежат открытые перед нами². Знак *время* коснулся нас, когда мы слышали рассказы о мире, в котором нас не было; когда опоздали на поезд; когда думали о смерти. Все эти моменты, сделавшие знак частью моего опыта, расположились на ковре моей жизни и не содержат поэтому ничего более зага-

1 См. о мистере Смите выше с. 279.

2 Голубая книга (WA 5, 22).

дочного чем я сам. Моя мысль о них располагается не в умопостигаемом мире, а на бумаге и в движении карандаша или мела, которыми я пишу, в голосе, которым я говорю. Мысль может, пожалуй, расположиться и в голове, но не так, что я там ее непременно найду. Как заблудившийся, ища дорогу, подозревает ее везде, так я не исключаю никакого местоположения мысли. Не всякое толкование слова безобидно. В любом случае толкование развертывает не слово, а нас, продолжая ту работу связывания нас самих, обязывания нас к поступку, какой является наша мысль, т. е. речь. Всякий анализ слова, хороший или плохой, сразу упускает по меньшей мере половину слова, а именно его исчезание при попытке задержать. То, что я анализирую, уже не слово, а моя конструкция. То, что называется *его* анализом, имеет дело с моими мыслительными постройками. Ученый анализ слова *в качестве* анализа уже промахнулся мимо того, с чем хотел иметь дело. Мы видим повсюду развертывающуюся деятельность именно такого рода.

Среди путей, какими к нам попала мысль о времени, может быть и тот, что мы увлеклись XI книгой августиновской «Исповеди». Если человек занялся исследованием, там, что он исследует, всегда наверное что-нибудь есть? Августин и мы, его читатели, смотрим на его предприятие, расследовать время, с невольным уважением и с укором совести. Человек задумал вдуматься и сумел рассмотреть, что такое время, а нам не пришлось в голову о нем задуматься. Это несомненно так. Все, во что вложено честное человеческое усилие, заслуживает внимания. *Wo man's packt, so ist's interessant* (Гёте). Верно ли, что Августин лишь обманут школьной грамматикой, называющей *время* именем существительным и тем приглашающей разглядеть его существо? Думать вообще хорошо, и почему не начать с любого места, хотя бы со слова. Слова и нет без мысли. Разве Августин, спрашивающий, что такое время, обманут грамматикой? Обманут ли Хайдеггер, когда спрашивает о смысле бытия? Наша культура занята в большой мере гаданием на словах, но философы не участвуют в этом занятии.

Язык, что паутина: слабые и тщеславные умы цепляются за слова и запутываются в них, а сильные легко сквозь них прорываются.¹

То жесткое, что В. находит в слове, имеет черты границы, проведение которой при любом уважении к ее святости неизменно останется спор-

1 Томас Гоббс, О теле III 8. — Т. Гоббс, Сочинения, т. 1. М. 1989.

ным. Свет (слава) слова не поддается определению и не может быть прояснен толкованием. Всё дискурсивное получает свой закон от удара божественной молнии¹ и движимо ее энергией. Что исходно излучало ясный свет, не может быть восстановлено нашим движением к «вещи», которая «соответствует субстантиву», т. е. на том уровне, где слово и вещь уже расслоились. «Этот род ошибки возвращается снова и снова.»² Для размещения воображаемых сущностей создается область идей, духовная сфера и подобное. Казалось бы, словами обозначаются вещи; чему иначе служило первоначальное наложение имен. Контроль над вещами, который будто бы обещают слова, манит и обманывает. Разложение речи на элементы начинается до школы. Было бы интересно изучить, как делят речь дети, но школа этому мешает, навязывая свое деление и уча делению так, словно до того дети говорили нечленораздельно. В лепете до года деление уже есть и сравнимо с делением в пении птиц, намного отчетливее чем в голосах других млекопитающих. Ребенок 1 года 3 месяцев может произнести *капá* вместо *пока* потому, что это слово для него состоит из двух элементов, причем не обязательно он ошибся. Скорее всего, он заметил, что порядок элементов не очень важен; *дай мне* и *мне дай* производят в целом одинаковый эффект. Тогда он говорит *капа*, не задумываясь о том, что значат отдельно *ка* и *па*. Язык работает сочетаниями блоков. Разбирать блоки и смотреть, что внутри высказывания *у меня нет времени* значит слово *время*, для Витгенштейна значит примерно то же, что задумываться, что в слове *пока* значат отдельно *по* и *ка*.

Между тем задумываться о делении речи надо. Можно даже догадываться о том, что значит отдельно взятая буква *i*; она статистически чаще будет стоять в словах со значением скорее чего-то миниатюрного чем громадного. В каждой черточке каждой буквы не бессмысленно видеть бездонный смысл, тем более в слове. Августин имеет право задумываться, что такое время, по крайней мере не меньше чем китаец медитировать над формой иероглифов. В таком случае за элементами речи все-таки стоят вещи. Они, возможно, не такие, как нам казалось, но ведь Августин и обращает внимание на то, что мы предполагали о времени одно, а подумав видим другое. Он скоро и легко прорывается через паутину лексики к самим вещам.

1 Гераклит фр. 11, чтение Ю. А. Шичалина.

2 Голубая книга (WA 5, 22).

Должны ли мы в таком случае постановить, что Витгенштейн с одной стороны прав и нельзя гипотезировать субстантивы, а с другой неправ и разрешено думать о словах, замечая и исследуя их глубину независимо от их употребления нами? Нет ничего плохого и в том, чтобы задуматься о слове?

Расщепление сочинений изучаемого философа на верные и неверные суждения часто встречается у исследователей. Располагая критическим умом, они казалось бы вправе не принимать своего подопечного без возражений. Вместе с тем, подобный подход уводит от того, чему нас мог бы научить другой человек. Учим тогда собственно мы его, полагаясь на свою умственную зрелость. Чужая мысль раскроется только если принята не частями. Всего ближе к Витгенштейну среди участников Венского кружка, организованного Морицем Шликом (1882–1936) при кафедре философии индуктивных наук Венского университета, мог считать себя Фридрих Вайсман. Ему принадлежат основные записи речей Витгенштейна в кружке. Исходные тезисы книги Вайсмана «Логика, язык, философия», которую он писал как раз в годы работы кружка (опубликована после множества редакций в мало узнаваемой форме по-английски в 1965 под названием *Principles of Linguistic Philosophy*), намеренно включают термины (положение дел, факт, элемент, форма, мир) и слегка измененные формулы («*Положение дел*, *Sachverhalt*, есть все то, что может иметь место или не иметь места», «Имение места и неимение места тем или иным положением дел называется *фактом*, *Tatsache*», «Мы создаем себе внутренние (!) рисунки фактов») витгенштейновского «Трактата» и написаны тем же стилем. Вместе с тем издатель части текстов Венского кружка Б. Ф. Мак-Гиннес правильно предупреждает в отношении не только их, но и вайсмановских записей слов Витгенштейна, что они могут служить лишь комментарием к «Трактату» и «Философским замечаниям» учителя.¹ Его мысль услышана Вайсманом только отчасти. Добавление «внутренние» к создаваемым нами «рисункам фактов» восстанавливает всю ту сферу сознания, которую Витгенштейн отменял за ненужностью.

Очевидное расхождение двух бесспорных тезисов — об отсутствии какой бы то ни было и присутствии важной вещи за словом — требует возвращения на почву, где они не противоречат друг другу.²

1 WA 3, 30.

2 Отказываясь от интерпретации слова, В. садится в положение платоновских пленников, неподвижно прикованных цепями в пещере с искусственным освещением.

Прямых отзывов друг о друге у двух ровесников немного и они на первый взгляд не идут дальше какой-то степени взаимного признания. Образование и окружение Витгенштейна ни в Вене, ни в Кембридже не могло его расположить внимательно к фрейбургскому ученику Гуссерля. Характерно суждение о Хайдеггере сэра Альфреда Айера, «главного британского интерпретатора»¹ Венского кружка. До окончательного решения ориентироваться на кембриджского философа, эмпирика Джорджа Мура, говорит Айер,

я находился под влиянием витгенштейновского «Трактата» и, что касается собственно меня, продукции Венской школы.

Якобы от Витгенштейна Айер заимствовал убеждение, что метафизические высказывания не ложны, а пусты.

Буквально бессмысленны многие произведения Гегеля, не говоря уже об излияниях таких новейших шарлатанов как Хайдеггер и Деррида. Мне очень грустно слышать, что их чушь становится популярна в нашей стране, импонируя тем, кто ошибочно принимает темноту за глубину и находит серьезную работу таких первоклассных американских философов, как Куайн, Гудмен, Патнем и Дэвидсон, слишком трудной.²

Заключенные имеют в поле своего зрения плоский экран. Им остается только распознавать и сопоставлять показываемые на нем тени искусственных фигур. В. не видит беды в том, что они сосредоточены вниманием на экране и поглощены прослеживанием теней на нем: они заняты исследованием, какое им доступно. Современный *homo computans* тоже с головой уходит в фигуры на экране; ему трудно помнить о программистах, создающих за его спиной экран и всё, что по нему движется. Когда он догадывается, что главное происходит не на экране, и задумывается о механизмах, приводящих в движение систему, то всего лишь загружает себя еще одной объяснительно-толковательной игрой. Такой оттачивает свою опознавательную способность острее, так что, возможно, займет в соревновании первые места или даже сам станет кукловодом. Углубляющийся в происхождение знаков на экране не меняет в принципе характер своего знания. Обращение произойдет не с переходом от экранных теней к их создателям, а с переходом вообще от операций с образами к источнику всякой видимости, свету. Взаимосвязи, которыми всё сцеплено в механизме пещеры, могут быть необозримо сложными. В своем большинстве пленники втянулись в игры и не думают о кукловодах. Доверчиво послушные, они сохраняют уважение к непосредственной данности, которое потребуется для взгляда в свет. Этой способности у исследователей, захваченных деталями механизма — например, строящих модель духовной деятельности, — может уже не хватить.

1 Дж. Пассмор, Сто лет философии. М. 1998, с. 285.

2 «I [...] had been influenced by Wittgenstein's *Tractatus* and, in my own case, by the productions of the Vienna Circle [...] metaphysical utterances [...] being not even false but [...]

Витгенштейн называет метафизику Unsinn и читает ее, Альфред Айер называет ее nonsensical и не читает. Unsinnig значит среди прочего *дикий, безумный*; nonsensical — только *лишенный смысла*.

Мы имеем сейчас возможность понимать Витгенштейна шире чем в формально-логическом ключе, в каком «Трактат» воспринимался через Рассела и Мура. Нетрудно догадаться, как Витгенштейн отнесся бы к списку авторитетов, предложенных Айером. Едва ли они заставили бы его изменить свое отношение к современной философии, которая, за исключением близких друзей и в порядке продолжения устных бесед, мало упоминается на его страницах.

У него есть критика Гуссерля. На занятии Венского кружка 25.12.1929 у Морица Шлика в контексте обсуждения цвета Шлик спрашивал по поводу Гуссерля:

Как можно возразить философу, который думает, что феноменологические высказывания суть синтетические суждения *a priori*?¹

В записи Фридриха Вайсмана ответ Витгенштейна выглядит так, как если бы тот цитировал «Логические исследования» (II 2) Гуссерля. Естественнее предположить, что Витгенштейн подхватывает гуссерлевскую формулу² со слов Морица Шлика, который критически разбирал ее в книге «Общая гносеология», незадолго до того вышедшей вторым изданием³. Теперь, на Рождество 1929 г., обсуждается статус предложения «Предмет не может быть красным и зеленым одновременно». Можно ли считать его априорным синтетическим суждением? Ход мысли Витгенштейна легко предвидеть. Он не будет размышлять над возможностью для предмета быть одновременно красным и зеленым. Для этого придется установить грамматику выражений *предмет* и *видеть одновременно*. Подобные задачи кажутся ему не только непомерно сложными, но и надуманными. Он движется вперед только шагами многообещающих прозрений. Выяснение, можно ли видеть зеленое в красном, обеща-

literally nonsensical [...] is true of much of Hegel's [...] work, not to speak of the outpourings of such modern charlatans as Heidegger and Derrida. It makes me very sad to learn that their rubbish is acquiring popularity in this country, appealing to those who mistake obscurity for profundity, and find the serious work of such first-rate American philosophers as Quine, Goodman, Putnam and Davidson too difficult» (A. Ayer, A defence of empiricism, 1988 г.).

¹ WA 3, 67.

² «Он [...] заглянул в труды [...] Гуссерля или слышал, как их обсуждают другие» (Дж. Пассмор, Сто лет..., с. 272).

³ M. Schlick, Allgemeine Erkenntnislehre. Berlin 1925.

ет утонуть в разборе. Почему бы и нельзя. Да, конечно, цвет не подвержен перемене аспектов, но что такое *видеть*? В племени¹, где патриции носят всегда только красное и зеленое, плебей, которому такое не позволено, не сможет видеть красное без того, чтобы перед ним не встало и зеленое. Отвернувшись от детали патрицианской одежды, он безусловно скажет, что видел красное и зеленое, но какой именно цвет на каких предметах одежды, не найдет нужным вспоминать: оба цвета у него сольются в один. Ситуация с гуссерлевским тезисом чревата и чем-то худшим чем просто безнадежное увязание в психологии. Обсуждаемый тезис Гуссерля есть утверждение. Что такое вообще любое *утверждение*? Это твердая констатация. В каких случаях утверждают? Когда существует возможность противоположного утверждения. Всяким утверждением предполагается опровержение. Кому-то пришло в голову сказать: «У меня не болит живот». Он в принципе не мог этого сказать, если бы у него никогда не болел живот. Сказать, что у меня не болит живот сейчас, значит сказать, что у меня болит живот временами, причем, возможно, и сейчас тоже, но так, что я не ощущаю. Переход от положительного утверждения к отрицательному происходит не обязательно потому что боль переменялась, а иногда потому что внимание перешло от необращения внимания к обращению. «У меня смертельно болит живот.» Если смертельно, то я умер и боли нет; если не смертельно, то в каком-то смысле у меня живот не болит. Еще: «У меня нет денег». Стоит мне сказать такое, и я допускаю возможность у меня денег. Фраза «у меня нет денег» поэтому предполагает, что в принципе у меня есть деньги, и указывает на нулевой пункт моего финансового диапазона.

Если бы фраза «Предмет не есть одновременно красный и зеленый» подытоживала опыт перебора предметов, тогда она была бы естественнонаучной констатацией фактов и имела конкретный смысл, означая, что в такие-то моменты, глядя на такие-то предметы, я не наблюдал в них одновременно красного и зеленого. Фраза однако значит явно что-то другое, а именно что красное и зеленое *не могут* быть увидены одновременно. Она не сокращенная запись такого-то числа наблюдаемых фактов, а утверждение. Как всякое утверждение, она отрицает свою противоположность, т. е. фразу «предмет может быть одновременно зеленым и красным». Та фраза тоже не сокращенная запись экспериментов, а синтетическое суждение, составляющее вместе то, что не наблюдается

1 См. выше с. 268.

нами опытно. В опыте нет — и не может быть — ничего, чем абсолютно исключалось бы второе суждение. По этим и другим причинам есть большое неудобство в отнесении обоих суждений к априорным синтетическим. Наоборот, легко и естественно считать слова *могут-не могут* в этих фразах моментами грамматики нашего языка. В принимаемую нами языковую игру закладывается невозможность для предмета быть одновременно красным и зеленым. В грамматике упомянутого гипотетического племени такого правила не было бы.

Таким образом, об априорном синтетическом суждении говорить применительно к цвету предмета не только преждевременно, но и рискованно. Если Гуссерль находит, что все же есть какая-то возможность сохранить за суждением о предмете статус априорного синтеза, то

на это я возразил бы: слова конечно придумать можно; но мне ничего не удается под ними помыслить.¹

О вдумывании в Гуссерля, даже о внимательном чтении его здесь конечно речи нет. Обсуждение темы продолжится в том же плане².

Разница с отношением к Хайдеггеру очевидна. В записях Вайсмана сразу вслед за последней относящейся к Гуссерлю фразой

Worte kann man ja erfinden; aber ich kann mir darunter nichts denken

следует запись от 30.12.1929:

Ich kann mir wohl denken, was Heidegger mit Sein und Angst meint.³

Издатель записей Вайсмана Мак-Гиннес в своем примечании связывает это высказывание с текстом из «Бытия и времени», цитируя его по «Ежегоднику философии и феноменологического исследования» (VIII, 1927, S. 186–187):

От - ч е г о ужаса есть бытие-в-мире как таковое. Каково феноменальное различие между тем, от чего ужасается ужас, и тем, от чего страшится страх? От - ч е г о ужаса не есть внутримирное сущее [...] от-чего ужаса есть мир как таковой.⁴

Читает ли Витгенштейн действительно «Бытие и время» по гуссерлевскому ежегоднику? Почему тогда он выхватывает сразу из его середины

¹ WA 3, 68.

² WA 3, 78.

³ WA 3, 68.

⁴ Мартин Хайдеггер, Бытие и время. СПб. 2002, с. 186–187.

то, что касается ужаса? Естественнее предположить, что до него в конце декабря 1929 года дошла отдельно изданная в Бонне в 1929 году 29-страничная книжечка «Что такое метафизика?». О ее распространении говорит переиздание без изменений в следующем 1930 году и потом в 1931 году. Позднее она еще дважды выходила с послесловием и предисловием.¹ Тема бытия и ужаса здесь центральная и бросается в глаза отчетливее чем в «Бытии и времени».

В ужасе, говорим мы, «человеку делается жутко». Что «делает себя» жутким и какому «человеку»? Мы не можем сказать, перед чем человеку жутко. Вообще делается жутко. Все вещи и мы сами тонем в каком-то безразличии. Тонем, однако, не в смысле простого исчезания, а вещи повертываются к нам этим своим оседанием как таковым. Проседание сущего в целом насаждает на нас при ужасе, подавляет нас. Не остается ничего для опоры.²

Витгенштейн должен был заметить и оценить близкое ему обращение Хайдеггера с естественным языком: разговорные фразы наполняются философским смыслом.

В ужасе «земля уходит из-под ног». Точнее: ужас уводит у нас землю из-под ног, потому что заставляет ускользать сущее в целом. Отсюда и мы сами — вот эти существующие люди — с общим провалом сущего тоже ускользаем сами от себя. Жутко делается поэтому в принципе не «тебе» и «мне», а «человеку». Только наше чистое присутствие в потрясении этого провала, когда ему уже не на что опереться, все еще тут [...] Ужасом открывается Ничто.³

Опытом ужаса высветляется бытие.

Ничто — не предмет, ни вообще что-либо сущее. Оно не встречается ни само по себе, ни пообок от сущего наподобие приложения к нему. Ничто есть условие возможности раскрытия сущего как такового для человеческого бытия. Ничто не составляет, собственно, даже антонима к сущему, а исходно принадлежит к самой его основе. В бытии сущего совершает свое ничтожение Ничто.⁴

1 *Martin Heidegger, Was ist Metaphysik? Um ein Nachwort erweiterte 4. Auflage.* Frankfurt a. M. 1943; *Martin Heidegger, Was ist Metaphysik? 5., durch eine Einleitung erweiterte Auflage, mit neu durchgesehenem Nachwort.* Frankfurt a. M. 1949.

2 *М. Хайдеггер, Время и бытие.* М. 1993, с. 20.

3 Там же.

4 Там же с. 22–23.

Ничтожение, работа ничто, очерчивает в ужасе истину бытия. Ничто и бытие взаимно определяют. Можно сказать, что бытие ужасно в том смысле, что его чистота отгорожена порогом ничто. Между тем сказать так значит ломать существующую грамматику.

Равнодушный к Гуссерлю, за словами которого «ничего не может себе подумать», Витгенштейн «легко может себе подумать» (т. е. сам тоже подумать), что Хайдеггер подразумевает (имеет в виду) своим бытием и ужасом:

Человек имеет влечение (порыв, импульс) наскакать на границы языка. Подумайте например об изумлении, что что-то существует. Это изумление нельзя выразить в форме вопроса, да и ответа на него вовсе никакого нет.¹

У Хайдеггера:

Наш вопрос о Ничто — что и как оно, Ничто, есть — искажает предмет вопроса до его противоположности. Вопрос сам себя лишает собственного предмета.

Соответственно и никакой ответ на такой вопрос тоже совершенно невозможен.²

Только потому, что в основании человеческого бытия приоткрывается Ничто, отчуждающая странность сущего способна захватить нас в полной мере. Только когда нас теснит отчуждающая странность сущего, оно пробуждает в нас и вызывает к себе удивление. Только на основе удивления — т. е. открытости Ничто — возникает вопрос «почему?»³

Часто цитируемое и приведенное выше замечание Витгенштейна о неудержимом влечении, толкающем человека наскакать на границы языка, включает тему бессмыслицы:

Все, что мы можем сказать, а priori может быть только бессмыслицей (Unsinn).⁴

Исследователи показали, что бессмысленность суждений — об этике, т. е., для Витгенштейна, что о безусловном позитивные высказывания невозможны⁵ — не означает у него отказа от говорения. Его молчание

1 Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis (WA 3), S. 68.

2 М. Хайдеггер, *Время и бытие...*, с. 18.

3 Там же, с. 26.

4 WA 3, 68.

5 André Clair, Wittgenstein en débat avec Kierkegaard: la possibilité d'un discours éthique. — Cahiers de philosophie, n. 8/9. Nouvelle série. Automne 1989, p. 217.

состоит из 30 000 страниц его публикуемого теперь архива. Прорыв за границу языка противоположен упорядочению речи, какого требует на-пример Хилари Патнэм, «естественный реалист», воздерживающийся от идеалистического номинализма, или Альфред Айер, предостерегающий от Хайдеггера, Деррида и в конце концов от Витгенштейна.

Тем не менее мы насакиваем на границы языка.¹

Сокращенная запись Вайсмана реконструируется из других текстов Витгенштейна. Граница значимого языка среди теснящих нас неопределенностей говорит о присутствии мира как ограниченного целого (Трактат 6.45). Мистический опыт мира, который «должен быть как раз тем, что он есть»², остается последним и единственным обеспечением достоверного высказывания. Упор о границу мира и значимого языка дает твердую почву бьющемуся внутри своей клетки человеку. Прорыв к границе, хотя он не дает знания и никогда не сделает этику наукой, нужно уважать.³ Витгенштейновский опыт вторит фундаментальному настроению ужаса. Оба сопутствуют введению мира в определенность целого. Повседневность изматывает нечеткостью; в пространстве и времени мы уходим в бесконечность; отчетливой целости не видим; только угадываем ее, не схватываем; уловив, не можем удержатъ; имея, теряем. Между тем вне опоры в целом всякая фиксация условна.

Сказав свое состояние, я упустил его тем, что сказал. Не пытаться схватить несхватываемое советуют многие, подобно Альфреду Айеру. Но тогда мне грозит упустить свое упущение. Не признавшись в неудаче, отказавшись расписаться в своей немощи, я выхожу из своей человеческой ситуации. Моя мысль и речь останется тогда окрашена ею незаметно для меня. Я окажусь в положении свиней, о которых Гераклит говорил, что они довольны грязью. Граница неотделима от моего конечного существования. Витгенштейн и Хайдеггер наталкиваются здесь оба на безусловный предел. Встреча с ним так или иначе неизбежна.

В такие бездны нашего бытия въедается эта ограниченность концом, что в подлинной и безусловной конечности нашей свободе отказано.⁴

Человек есть граница между всем его неокончательным окружением и

1 WA 3, 68.

2 См. выше с. 221.

3 *André Clair, Wittgenstein en débat avec Kierkegaard...*, p. 216.

4 *М. Хайдеггер, Время и бытие...*, с. 24.

мировой границей, которой границы нет¹. Когда мы приходим к неограниченной границе, к таинственной определенности мира, язык встает перед нами преградой. Наша речь становится неисправимо бессмысленной.

В такой ситуации звучит предписание конца «Логико-философского трактата» о долге молчания. В расхожем понимании это значит просто не говорить. В возвышенной платонической трактовке расплавление в мистической глубине целого мира якобы забывает о всяком языке. Типичная ошибка в понимании восточного православного исихазма отождествляет безмолвие не с тишиной, а с отсутствием речи. На деле молчание может быть сохранено только словом, расширенным до поэзии и музыки. Бессловесное молчание будет без нашего желания истолковано. Молчание определялось нами как основа речи; его так или иначе нет помимо речи. Говоря о бессмысленности метафизики, Витгенштейн оставляет возможность понимать ее как молчание, причем отождествляет молчание с этикой.

Это наскокивание [на границы языка] видел и Кьеркегор и даже обозначил его совершенно сходным образом (как наталкивание на парадокс). Это наскокивание на границы языка есть *этика*.²

В «Философских крохах» Кьеркегор говорит о «неведомом, о которое ударяется рассудок в своей парадоксальной страсти». Неведомое есть «граница, к которой постоянно приходит человек»³.

Если уж истине надобно учиться, то само собой предполагается, что она отсутствует, следовательно учиться ей означает ее искать. Здесь встречаем ту самую трудность, которую Сократ в «Меноне» отмечает как «довод взятого спорщика»: для человека невозможно искать то, что он знает, равно как и невозможно искать то, чего он не знает, ибо то, что знаешь, искать не надо, так как оно известно; то же, чего не знаешь, искать не полу-

1 Ср. Николай Кузанский, Наука незнания III 5, 208: «Хотя основа существования всесовершенной человеческой природы — свыше, она остается абсолютной предельной конкретностью и нисколько не утрачивает своего природного вида [...] наоборот, предел, не имея предела, свободен от всякой ограниченности и несоразмерен вещам».

2 WA 3, 68.

3 «Но что есть в таком случае Неизвестное, с которым приходит в столкновение рассудок в своей страсти к парадоксу и которое даже мешает человеку знать самого себя? [...] Это та граница, к которой постоянно подходят, и потому, когда категория движения заменена категорией покоя, оно есть Отличающееся, абсолютно Отличающееся» (пер. Д. Лунгиной).

чится, так как в конечном счете неизвестно даже, что именно надлежит искать.¹

Керкегору почти всегда удается отменить сказанное. В его «словесном пожаре» происходит «саморазрушение языка»².

[...] парадоксальным образом говорить о языке у Керкегора значит говорить о молчании в речи.³

Вера требует молчания. Молчание псевдонимы носят важные двойники Керкегора Иоганнес де Силенцио и брат Тацитурн. Молчание двойственно и опасно. Оно и кров веры и бесовская ловушка. Дух, умолкнувший в божественном ужасе, следует иногда внушению верховного демона. Отказ говорить может быть в равной мере формой добра и зла. Избежать двойственности сумеет тот, у кого сама речь будет иметь главным достоинством молчание⁴. В соблазны речи так легко впасть. Перед божественной премудростью весь человеческий дар речи не больше чем пустая болтовня. Искусство безмолвия не менее весомо чем владение словом. Керкегор называет лилию (Мф 6,28) и птицу (Мф 6,26) учителями молчания. Поющая птица по существу ничего не толкует; она не навязывает никому свои проблемы, не жалуется, не обвиняет. Научившись звонкому молчанию у птицы, человек делает первый шаг к исканию царства Божия. Слова искренней молитвы прекращают поток речей. Молитва не нагромождение слов, а путь к вниманию, достаточно тихому, чтобы слышать Бога. Способность слушать предполагает углубленное молчание. В послушничестве и молчании этический дискурс уступает место истине христианства. Керкегоровское погружение этики в молчание не замыкает человека в одиночестве.⁵

Витгенштейн разделяет керкегоровское нерасположение к этико-религиозной болтовне. Мир с загадкой его законченной целостности располагается далеко вне любого человеческого дискурса. Мистическое будет растрепано, если станет пищей интерпретаторов. Но молчание не сохра-

1 С. Керкегор, *Философские крохи I* (пер. Д. Лунгиной).

2 «L'autodestruction du langage», «des incendies dans le langage» (J.-P. Sartre, *L'universel singulier*. — Kierkegaard vivant. Paris: Gallimard 1966, p. 54).

3 Peter Kemp, *Ethique et langage: de Levinas à Kierkegaard* (communication présentée au Colloque sur Kierkegaard à Paris le 1er octobre). — *Les cahiers de philosophie*, n. 8–9, 1989, p. 194.

4 Ibid. p. 200.

5 Ibid. p. 205.

нить, если оно останется бессловесным. Противоположны не молчание и слово, а их союз, с одной стороны, и, с другой, пустые толки, не далекие от немoty. На позитивном полюсе этой противоположности одинаково уместаются островная целомудренная сдержанность и континентальное глубокомыслие. Дремучее английское или шотландское упрямство Дунса Скота, Юма, Бентама, Рассела ставит предел европейскому, собственно, германскому философствованию; Витгенштейну удастся соединить то и другое.

Я считаю заведомо важным положить конец всей болтовне об этике — существует ли познание, существуют ли ценности, поддается ли благо определению.¹

Познание истины принадлежит тут этике как у платоновского Сократа. Бытие не тематизируется отдельно от мирового целого, которое открыто только мистическому опыту.

Неопределимость блага как внеприродного, уникального, просто-го качества в метаэтике Джорджа Мура исключает благо из всякого научного дискурса. Альфред Айер в принципе согласен с Муром, опасаясь только, что теория неопределимости блага видит трансцендентную сущность там, где нет ничего кроме жеста одобрения или неодобрения. Доказывающие неопределимость блага невольно продолжают его негативно определять, выходя из поля ее притяжения в сферу лексики. Айер таким образом дальше Мура отшатывается от всякой метафизики, надеясь избежать неосторожной речи. Витгенштейн видит и безумие метафизики, и необходимость этого безумия.

A priori несомненно: какую бы ни давать дефиницию добру — она всегда лишь недоразумение [...] Но тенденция, насакивание, *на что-то указывает*. Это знал уже святой Августин, который пишет: Что, скотина, ты не хочешь говорить бессмыслицы? Скажи хоть бессмыслицу, не беда!²

Обычно фраза Августина Et vae tacentibus de te, quoniam loquaces muti sunt (Исповедь I 4,4, конец) переводится в смысле «И горе безмолвствующим о Тебе, когда и многоглазые немотствуют»; или, с элементом толкования: «Горе молчащим о тебе, ибо хотя они говорят много [незначащего], они немы [в главном]»³. Мы читаем: «Горе тем, кто молчит

¹ WA 3, 68–69.

² Ibid.

³ James O'Donnell, [Commentaries to *The Confessions*.] Oxford: Clarendon Press 1992.

о Тебе [от страха], что, много говоря, [всё равно] останется немым». Так Августин понимает в начатых раньше «Исповеди» «Толкованиях на псалмы» слова пророка Давида «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего» (Пс 31,3): «Кости обветшали, потому что он не произнес устами исповедь во спасение»; «умолчал свою исповедь, провозгласил свою гордыню, ибо сказал: „сломал, не исповедался“; «не умеем говорить, а восторг не позволяет молчать, так что нельзя ни говорить, ни молчать; что же делать нам, не говорящим и не молчащим?». Августиновское *vae, увы*, уточняется Витгенштейном до *скоти-на*: ты знал, что перед Богом твои речи ничто, и потому молчал? Ничего, беись о границы языка, иначе будет хуже.

Радикальная деструкция метафизики в «Трактате» воодушевила молодого Айера, и кого она не манила. Но когда она увлекла Вайсмана и вообще Венский кружок, Витгенштейн остался недоволен: отход от метафизики, отказ от ее языка! этого еще мало, вы что-нибудь *дайте*. Дать трудно. Пути расходятся, В. уезжает в Кембридж. Оправдание разрыву находится скоро: Витгенштейн сам метафизик! его речь не более осторожна чем у ее старых мастеров! Старые Айер и Рассел осуждают мистического этика. Если ты сказал, что философия нонсенс, прими это к руководству и не выдумывай, что она существенный или важный нонсенс. Из неизбежной немоты любых речей о Боге аналитические философы выводят запрет говорить иначе как только о чем-нибудь другом. Витгенштейн, наоборот, ни о чем постороннем говорить не хочет. Айеру не хватает у него последовательности как тут, так и, например, в проблеме *других*: если Витгенштейн действительно эмпирик, солипсист и знает только то, что знает, откуда у него *другие*¹?

Короче говоря, мое теперешнее обвинение против Витгенштейна и его более или менее критичных учеников таково, что они прикарманивают то, что Рассел однажды назвал «преимуществом воровства перед честным трудом».²

Айер выговаривает то, что думают многие.

Некоторые люди и сегодня отмахнулись бы от Витгенштейна как от шарлатана.³

1 Тема солипсизма см. с. 112 и 420 слл.

2 A. Ayer, A defence of empiricism.

3 Дж. Пассмор, Сто лет..., с. 271.

Мистик из Вены встает тут рядом с мыслителем из Фрейбурга.

Разобранный выше отклик Витгенштейна на Хайдеггера общеизвестен. Более важен мало обсуждаемый случай, когда В. подхватывает и развертывает по-своему мысль своего ровесника без упоминания его имени. 22.12.1929 у Шлика Витгенштейн (в записи Вайсмана) начинает тему *все*:

Я буду говорить сначала об обычном «все», напр. «все люди в этой комнате сидят в брюках». Откуда я это [т. е. что именно *все*] знаю? Смысл фразы: «Господин профессор Шлик сидит в брюках, Вайсман сидит в брюках, Витгенштейн сидит в брюках, *и кроме них тут никого нет*». Всякое полное перечисление должно завершаться словами «и кроме того ничто (und sonst nichts)». Что это означает? Здесь надо понимать так, что мы [тем самым] говорим: «Господина Карнапа нет в комнате, господина... и так далее». И предложения, которое после этого следует ожидать, а именно «т. е. все вещи», такого предложения не существует.¹

Проблема целого и формула «и кроме того ничто» здесь те же, что в уже цитированной хайдеггеровской лекции «Что такое метафизика?», только в типичном витгенштейновском повороте к обыденной конкретности.

У Хайдеггера «всякий метафизический вопрос всегда охватывает метафизическую проблематику в целом. Он всегда и идет от этого самого целого.» Наука со своей стороны тоже обеспечивает свою объективность охватом всего сущего и только сущего. Лекция «Что такое метафизика?» была написана и опубликована в лучшие годы науки 20 века, прежде всего физико-математической, когда работали Эйнштейн, Нильс Бор, Вернер Гейзенберг, Вольфганг Паули, Эрвин Шрёдингер. У квантовой физики многое получалось. Говорили о прорыве в новую землю, о невиданных горизонтах. Заниматься наукой было захватывающе интересно. Блестящий принцип научной объективности определял собой лицо культуры. Она не только освободилась от норм религии, но начала диктовать критерии научности богословию. Наука взяла теологию под свою опеку. Хайдеггер, участник подъема 20-х годов, по первому после богословия образованию математик, ученик Гуссерля с его возвращением философии к математической строгости, вступая молодым профессором на кафедру Гуссерля в сообщество ученых Фрейбургского университета с сильными естественнонаучными факультетами, говорит о научной страсти.

¹ WA 3, 38.

В науках — соответственно их идее — происходит подход вплотную к существенной стороне всех вещей [...] У науки в противоположность повседневной практике есть та характерная особенность, что она присущим только ей образом подчеркнуто и деловито дает первое и последнее слово исключительно самому предмету [...] мироотношение, установка, вторжение — в своем исходном единстве вносят зажигательную простоту и остроту присутствия в научную экзистенцию. Если мы недвусмысленно берем высветленное таким образом научное присутствие в свое обладание, то должны сказать:

То, на что направлено наше мироотношение, есть само сущее — и больше ничто.

То, чем руководствуется вся наша установка, есть само сущее — и кроме него ничто.

То, с чем работает вторгающееся в мир исследование, есть само сущее — и сверх того ничто.

Здесь на полях боннского 1929 года издания лекции есть приписка рукой Хайдеггера:

Это прибавление после тире объявили надуманным и искусственным, не зная того, что Ипполит Тэн, которого можно считать представителем и знаменем целой до сих пор еще господствующей эпохи, сознательно применял эту формулу для обозначения своей принципиальной установки и программы.¹

Настроившись увлеченно и деловито на захватывающе интересное дело, ученый отставляет в сторону что-то пустое — ничто, которое, как учит от Парменида до Гегеля сама философия, не существует. Ничто однако настолько глубоко и прочно не существует, что в него может провалиться целиком человек вместе с гигантским предприятием своей науки. Ученый способен справиться с любым сущим, но не умеет иметь дело с тем, чего нет. Порыв науки оказывается подорван тем, что она не может охватить *всё*. Она всегда работает с частью потому, что с самого начала отодвинула от себя ничто. Она не может в принципе знать ничто, чтобы не перестать знать что-то. Опыт ничто способен иметь только весь человек, например в фундаментальном, т. е. взявшем его до основания, настроении ужаса.

Ужас впервые ставит присутствие перед сущим в целом. В опыте ничто человек удостоверяется в границе бытия и тем самым впервые ви-

1 М. Хайдеггер, *Время и бытие...*, с. 407.

дит всё бытие. Науке ее предмет, *всё* объективное сущее, подарен этим экзистенциальным опытом, о котором она однако забыла. Полнота человеческого существа наукой упущена. Объективность научного охвата всего сущего оказывается проблемой.

Наше научное бытие приобретает свою простоту и заостренность благодаря тому, что подчеркнутым образом вступает в отношение к самому по себе сущему и только к нему. Ничто науке хотелось бы с жестом превосходства отбросить. Теперь однако в вопросе о Ничто обнаруживается, что это наше научное бытие возможно только в том случае, если оно заранее уже выдвинуто в Ничто. Оно понимает себя таким, какое оно есть, только тогда, когда не уклоняется от Ничто. Пресловутые трезвость и всеислие науки обращаются в насмешку, если она не принимает Ничто всерьез [...] Только потому, что в основании человеческого бытия приоткрывается Ничто, отчуждающая странность сущего способна захватить нас в полной мере [...] Человеческое бытие может вступать в отношение к сущему только потому, что выдвинуто в Ничто. Выход за пределы сущего совершается в самой основе нашего бытия.

Конец лекции содержит вызов научной методологии.

Метафизика есть основное событие в человеческом бытии. Она и есть само человеческое бытие [...] До серьезности метафизики науке со всей ее строгостью еще очень далеко.

Говоря 22.12.1929 у Шлика на тему *все* с цитатой из хайдеггеровской лекции —

всякое полное перечисление должно заканчиваться словами «и кроме того ничто»¹

Витгенштейн принимает вызов Хайдеггера и его формулу научного подхода. Добавление «и кроме того ничто» не кажется ему надуманным и искусственным. Он читает Хайдеггера внимательнее чем Гуссерля и «может себе представить»², что значат бытие, ужас, изумление перед данностью бытия. Говорить о *всём сущем в мире* он конечно не будет. Достаточно понять, в каком смысле господин профессор Шлик, Вайсман, Витгенштейн суть *все*? «Потому что больше я никого здесь не вижу». Почему однако нужно оглянуться вокруг и сказать: «Всё, больше никого»? Потому что в комнате могли быть еще люди, например госпо-

¹ WA 3, 38.

² См. выше с. 318.

дин Карнап. Понятие *все* приложено к трем присутствующим за отсутствием прочих. А если бы трое составляли безусловно всех? Такое невозможно: выражение «в комнате» уже предполагает что-то вне ее. Так или иначе, втягиваясь в операцию *все*, мы должны для ее полноты ввести в действие формулу *и кроме того ничто*. Перечисление *всех вещей* однако невозможно. Задача выделения *всех* решалась бы легче, если бы позволялось образовать класс вещей, например всех носящих брюки и находящихся в этой комнате. Витгенштейн однако не позволяет себе оперировать классами. При первом приближении полнота, которой отвечала бы фраза «и сверх того ничто», не дается. Мешает нескончаемость перебора *всех* вещей.

Интересным образом В. вдруг говорит, что ему пришло в голову нечто ранее не принимавшееся им в расчет. Возможно перечисление, которое, не претендуя на полноту, перечислением все же останется. Назовем его неполным рисунком, *unvollständiges Bild*. Например, мы видим две материи одинакового цвета. Сказать о них «обе» значило бы объединить их в один класс, но как ни очевиден кажется класс, состоящий из двух штук одинакового цвета, В. воздерживается от его создания. Будем говорить так: мы видели одну материю цвета *x* и видели еще одну материю цвета *x*. Мы теряем полноту перечисления, подразумеваемую в операторе *обе*, т. е. неким образом *все*. Зато обойдена хайдеггеровская ловушка «и кроме того ничто», в которую попадет всякое обобщающее перечисление.

Рассмотрим рисунок комнаты, на котором не изображен никто из присутствующих. Рисунок однако не ложь, если не претендует на описание *всего*, имея статус неполного рисунка. Нарисуем лицо без губ.

Кто-то скажет: образ неверен, на этом лице нет рта. Можно возразить: губы здесь есть, просто они в точности цвета доски или, в случае рисунка на бумаге, бледные как она. Некоторые снова возразят: таких лиц не бывает. Тогда, избегая эмпирического перебора возможных и невозможных форм лиц и утверждений типа «лица бывают только такие и больше никаких», назовем рисунок неполным описанием. Как он, будучи неполным, остается верным, так пустой квадрат послужит рисунком комнаты с людьми, только неполным. Вы скажете: но полный лучше. Хорошо, тогда я нарисую в квадрате три кружка. Вы будете склонны принять такое изменение за согласие перейти от неполного описания к полному, но считать так нет необходимости, иначе вы попадетесь в ловушку другого рода. Не надо думать, что перед нами теперь полный рисунок

с перечислением всех в комнате, кончающимся «и кроме того ничто». Надо считать и новый рисунок тоже неполным описанием, построенной по типу «я видел одну материю цвета x и еще материю цвета x ». Я видел одного господина в брюках и еще одного такого господина и еще одного господина и изобразил их, не думая при этом ни о какой полноте и ни на какую полноту не претендуя. Ваша проблема, если вы приписываете моей фразе значение полноты, воображая под одним и одним и одним *всех*. В моей фразе, в моем рисунке нет ничего кроме квадрата и кружков. Что они *всё*, во фразе не сказано. Мысленное добавление этого *всё* незаконно. Корректным прочтением фразы будет только: наблюдается господин профессор Шлик, он в брюках, господин Вайсман, в брюках, Витгенштейн, тоже в брюках. Ничего кроме фразы не говорит.

Сплошь да рядом мы слышим научные и обыденные фразы как описания *всего*. Утверждения науки в совокупности складываются для нас в картину целого мира. Какое мы имеем право придавать научным описаниям свойство полных? Никакого. Присмотритесь к формулам науки. Они несут или по крайней мере должны нести на себе признаки неполноты. Надо успеть заметить во всякой фразе, что она неполный портрет положения вещей¹. Так мы научимся читать науку правильно. Чтобы не попасть в ловушку и не усматривать полноту описания там, где на нее никто не претендует, надо изменить нашу логику. Рассел совершил ошибку, когда записывал некое обстоятельство, например то, что материя имеет определенный цвет, через

$(\exists x). \varphi x$.

Здесь квантором существования некоему x приписано лишнее сверх того, за что мы можем по честному отвечать. Можно видеть, что некий x сопровождается функцией φ , но усмотреть глазами, что данный x существует, нам строго говоря не дано. Казалось бы, утверждать простое существование x безвредно, ведь мы все-таки видим x выполняющим функцию φ , но разумнее воздержаться: выполнение функции может оказаться не тождественным существованию. Не приписывая x ничего кроме обладания свойством φ и не беря на себя ответственность за его бытие, мы ничего не теряем. Пусть от расселовской формулы $(\exists x). \varphi x$ останется только вторая половина, за которую отвечает наблюдаемый факт: мы видели *вот это* в функции *вот этого*. Никакой полноты мы

¹ WA 3, 41.

своему рисунку не приписываем. Невыполнимые задачи, включая дефицию существования, корректно обойдены.

Таким образом Витгенштейн отвечает на хайдеггеровский вызов, показывая, что заявку на охват всего за исключением ничто вносят не утверждения науки, а та особенность принятых в нашей цивилизации языковых игр, что схема всего, целого, глобального необоснованно накладывается на любое описание. Витгенштейн предлагает читать науку как систему неполных рисунков. Она уступает метафизике не в строгости, а в охвате бытия.

Возможна ли в принципе полнота описания? Да, когда мы дойдем до «элементарных предложений», далее уже не разложимых. Они тоже будут описывать только то, что мы видим, т. е. не схемы, а цвета, но на уровне, не оставляющем места для большей конкретности, т. е. с предельной полнотой. Элементарное предложение опишет цвет, как мы его видим (переживаем), а не как мы о нем говорим. Применительно к экзистенциальному опыту, о котором говорит Хайдеггер в «Что такое метафизика?», оно будет самым опытом ужаса, а не теми словами, которые мы в нем или о нем скажем¹. Имея опыт синего, нелепо говорить, что на самом деле мы не имеем опыт синего или что он неполный.

Одно элементарное предложение будет описанием всех цветов в данном пространстве.²

Войдут ли в *Elementarsatz* предметы, объекты? Нет. Ведь для этого их надо будет ввести в субъект-предикатную форму, которая строго говоря не существует.

Ясно, что где нет субъект-предикатной формы, там нельзя в этом смысле говорить и о предметах.³

Поверхность комнаты будет задана уравнением, описанием будет дано распределение цветов на данной поверхности. Никакой речи о предметах — стульях, столах, их пространственном положении — не возникнет. Не придется соответственно говорить и об отношениях между предметами.

1 «То, что, охваченные жутью, мы часто силимся нарушить пустую тишину ужаса именно все равно какими словами, только подчеркивает подступание Ничто» (*М. Хайдеггер, Время и бытие...*, с. 21).

2 WA 3, 41.

3 Ibid.

Всего труднее будут поддаваться описанию оттенки цвета. Элементарное предложение строится на том, что мы их даже не видим, а впитываем, сливаемся с ними, повторяем их нашим настроением. Оно всегда такое, какое оно есть, и непредвидимое. Поэтому

для всей области элементарных предложений действует один принцип, и он гласит: форму элементарных предложений невозможно предвидеть. Просто смешно, когда думают обойтись здесь привычной формой обычного языка, субъектом-предикатом, дуальными отношениями и так далее.¹

Надо переменить взгляд на фразу-мысль. Она казалась нам полным описанием положения дел или движением к полноте, теперь никакую сумму фраз мы не будем считать близящейся к полноте. Квадрат с тремя кружками внутри — не более полный рисунок комнаты, где заседают Шлик, Вайсман и Витгенштейн, чем пустой квадрат. В каждом положении науки привыкнем отыскивать указание на его неполноту. В естественном языке достаточным указанием на нее служит неоднозначность знаков.

От неполных рисунков, какими оказываются теперь все предложения, элементарная, или, как ее было бы точнее называть, стихийная фраза отличается тем, что она погружена в первоэлементы и окрашена их цветом. Четыре первоцвета, четыре стихии (*elementa*) в своих переходах составляют богатство действительности. Неподобие стихийной фразы на неполные предложения естественного языка поможет заметить ее полноту. Игру четырех первичных цветов (*Urfarben*), которую она представляет (*darstellt*), можно только условно назвать собранием предметов.² Дело идет не о зрительных фигурах, а о формах жизни. Цветом определенного рода является также человек. Первичный цвет Витгенштейна соответствует хайдеггеровскому основному тону (способу) бытия (*Grundweise des Seins*), каким Хайдеггер называет фундаментальное настроение.

«Равнооправданность» цветовых элементов изображения³ имеет в виду первичность (неразложимость) стихий цвета (тона). Вместе они сплетаются в жизненный ковер. Стихий, если не иметь в виду их степе-

¹ WA 3, 42.

² WA 3, 43.

³ Ibid.: «Sagen wir, wir würden mit vier Urfarben auskommen, dann nenne ich solche gleichberechtigte Symbole *Elemente der Darstellung*. Diese Elemente der Darstellung sind die „Gegenstände“.»

ней и сочетаний, не может быть бесконечное множество. Мыслимы если не бесчисленные стулья, то по крайней мере несчетные возможности их расположения в пространстве, но стихия в собственном смысле одна. Цвет, соответственно тон и настроение, неразмножим. Он в этом смысле монада. Соседний цвет, например неуловимого разнящегося оттенка, одновременно тот же самый и несопоставимо другой. Считать, суммировать «предметы» такого свойства невозможно. К ним относятся реальные числа. Число 3, увиденное на уровне первичного цвета без проекции на объект, не больше и не меньше числа 2.

В свете этой параллельной разработки темы *всего* Витгенштейном образы хайдеггеровской лекции «Что такое метафизика?» приобретают объемность. Становится яснее, что нельзя делать из хайдеггеровских жестов схему. Полностью исключается догматическое истолкование пути к бытию только через ничто и ужас. Не только их «светлая ночь», но всякий цвет-тон приоткрывают безгранично ограниченное целое мира.

На том же семинаре 22.12.1929, объявив как новость, о которой раньше не думал, неполноту всякой неэлементарной фразы, Витгенштейн сообщает также о своем окончательном отказе от специального языка, который раньше казался ему нужным для описания феноменов. «Мы имеем по сути только один язык, и это обычный язык.»¹ Его отделяет от искусственных терминосистем открытость, сравнимая с колесом холостого хода в машине. Оно ничего не касается и не приводит в движение. Так же не достают до действительности наши фразы. Верификация утверждения естественного языка не может быть доведена до конца. Для полного удостоверения фразы, что в комнате находятся три человека, мы озираемся по сторонам, заглядываем за шкаф, возможно под кровать. Однажды начавшись, эта деятельность удостоверения в принципе никогда не завершится. В конечном счете надо надежно убедиться, что присутствующие не тени, что человечность воплотилась в них не отчасти, что я не сплю² и т. д.

С чего бы я ни принимался за дело, мне никогда не удастся полностью ве-

1 Ibid. S. 45.

2 Ср. в письме Паулю Энгельману 9.4.1917: «[...] Что касается Вашего переменчивого настроения, то это так: мы спим. (Я однажды уже сказал это герру Проагу, и всё так.) *Наша* жизнь как сон. В лучшие часы мы правда бодрствуем достаточно для того чтобы узнать что мы спим и видим сны. Большей частью мы однако в глубоком сне. Сам себя я разбудить не могу! Я силюсь, мое сновиденческое тело (Traumleib) делает движения, но мое настоящее *не шевелится. Это к сожалению так!*»

рифигировать предложение. Оно всегда оставляет как бы открытую лазейку. Что бы мы ни делали, мы никогда не уверены, что не обманываемся.¹

Фразы нашего обычного языка *строго говоря* ничего не значат. Если мы что-то имеем в виду, то мимо них.

В необычном для него стиле Витгенштейн заговаривает на том же заседании Венского кружка о *бытии* и *кажмости* (*Sein und Schein*) фразы. Один и тот же язык возвращается в пустую, оставаясь чистой видимостью, и своей открытостью, многозначной неточностью оставляет место для элементарных (стихийных) предложений. Продавливая слой лексики, они выходят из кажмости и тонут в цвете — понятом широко, — где сливаются с «бытием». Полнота описания достигается не лексикой, а прояснением цветовых границ внутри зрительного поля. Цвет первичен и предшествует метрическим параметрам. Не только *больше-меньше*, но даже *мрачнее-светлее* накладываются на неопределимый первичный цвет внешними схемами. Пространство, занимаемое цветом, тоже надо отличать от него самого. Надо научиться видеть собственно цвет сквозь привходящие структуры. Тогда единственной характеристикой цвета останется только его же безобманное свойство.

В приложении к времени исторический факт, взятый на уровне цвета (тона, настроения), имеет безотносительную внутреннюю полноту. Продуманный на этой глубине, Августин жил не позже Цезаря. Линия времени не приложима к их существенной характеристике и остается внешней им. Это не означает хаоса во взаиморасположении событий. В моей внутренней памяти цвет, тон, реальное число, исторический факт получают свое уникальное *раньше-позже, меньше-больше*, с метрической оценкой не пересекающееся. Августин здесь может быть раньше и больше Цезаря. Цветовое (тональное) и метрическое пространства настолько разные, что не подлежат взаимному соотношению или уточнению друг другом. Они имеют совершенно разный синтаксис. Так, бесконечной делимости евклидова пространства в пространстве зрения может соответствовать постепенное слияние чередующихся отрезков белого и черного в сплошное серое.

Цветное пространство, или поле зрения, отчетливо характеризуется невозможностью уловить в нем момент начала. Всё, что в нем просматривается, мы всегда *уже* видим. Нет возможности наблюдать, как что-то вдвигается из ненаблюдаемости в видимость. Мы не в силах видеть

¹ WA 3, 47.

границу цветного поля. Всё, что мы видим, принадлежит уже ему. Вместе с тем, то, что мы *не* видим, полю зрения по-видимому уже не принадлежит; таким образом, поле зрения одновременно не имеет границы и ограничено. У Хайдеггера аналогичная граница проходит между бытием и ничто.

Возьмем еще один случай тождества двух не пересекающихся, дополняющих друг друга путей мысли. Выше разбиралась возможность по Витгенштейну повиновения приказу без его интерпретации *и даже без наличия приказа*. Повиновение может «в порядочном числе случаев» не знать, почему оно есть и как реализуется.¹ У Хайдеггера этой ситуации соответствует понятие такой вины, которая опережает знание о себе. Бытие-виновным

принадлежит к бытию присутствия и означает: ничтожное *бытие*-основанием ничтожности. Принадлежащее к бытию присутствия «виновен» не допускает ни увеличения ни уменьшения. Оно лежит *до* всякой квантификации, если последняя вообще имеет какой-то смысл. Сущностно виновно присутствие также не *иногда*, а *потом снова не* виновно. Воля-иметь-составь решается на это бытие-виновным.²

Наличие вины предшествует ее осмыслению, тем более знанию, откуда она, за что и для чего. Она экзистенциал, т. е. само человеческое присутствие (Dasein) таково, что виновно в своем основании без надобности искать какие-то другие основания вины. Хайдеггеровским экзистенциалам у Витгенштейна соответствуют элементы жизненной формы и «нити ковра жизни».

Близость, которой мы здесь эпизодически касались, заходит так далеко, что о понимании Хайдеггера говорить рано, пока кажется, что его мысль в своем размахе не достигает витгенштейновских открытий; и наоборот, всего ближе к Витгенштейну в 20 веке Хайдеггер, противоположный ему по стилю, часто движущийся в своих разборах путем слова и назвавший Карнапа, одно время коллегу Витгенштейна по Венскому кружку, главной фигурой направления, противоположного философии.

Может быть прослежен сплошной параллелизм между разработками двух ровесников, определяющих философскую мысль 20 века. Оба предпочли диалогу уважительную дистанцию и чистоту собственного неповторимого стиля.

1 Ср. Голубая книга (WA 5, 33–34).

2 М. Хайдеггер, Бытие и время, с. 305.

IV ЛИЦО БЕСКОНЕЧНОСТИ

1 ОПОРА НА ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

Мысль в поисках надежной опоры каждый раз возвращается к безопорности. Она полагается на безусловную условность имен и правил внутри общепринятых языковых игр. Условно ли эта безусловность, установить не удастся. Она отсылает к слову, об условности или безусловности которого можно было бы судить, если бы существовала возможность его наблюдать, но мысль в нем, говоря не иносказательно, по уши потонула. Всякая фраза звучит неизбежно в тех или иных условиях, в которые мы встроены. Через наши условия ведет выход из мухоловки, или, как мог бы звучать русский перевод, из бутылки. Разобраться в наших условиях трудно. Прилагая усилия объяснения, т. е. интерпретации одних слов другими, мы глубже лезем в бутылку. Важно почувствовать, в какой степени слова играют нами и всего больше теми, у кого нет такого ощущения. Объяснения, комментарии движутся по указке языка внутри его системы. Знак отсылает к слововещам. Интерпретации (толки) не выводят нас за рамки условий. Анализ языка ни в какой мере не отменяет его условности. Хайдеггер и Витгенштейн одинаково уходят из лабиринта перекрестных дефиниций.

У философии есть своя защита от грязи, в которую втоптан язык. Поздний Витгенштейн — в отличие от раннего он меняет стиль манифеста на прием осторожного намека, к чему сводится весь его «поворот на 180 градусов», — ищет путь, ведущий без потери реальности мимо ненужных анализов. Во всякой языковой игре надо различать два переплетающихся слоя. Включаясь в игру, мы хотим победы; одновременно мы взвешиваем, стоит ли игра свеч и очень ли надо соблюдать ее правила. На эту сторону своей игры мы не всегда разрешаем себе обращать внимание, однако так или иначе постоянно принимаем решение не только о правильных ходах, но и о том, правильно ли, что мы в нее играем. Выход из игры, т. е. нарушение правил или, что в сущности то же, ее смена подлежат особому знанию, видящему игру неким образом извне. Как уже говорилось¹, ошибку в игре без знания ее правил игры замечают по ха-

1 Филос. исслед. I 54.

рактерному поведению игроков. Мир скован тем, что в нем все именно *такое* и существует *так* в обоих смыслах: *именно так* и *просто так*.

Как всё обстоит, есть Бог. Бог есть то, как всё обстоит.¹

Мир поэтому не может быть замечен нами в нарушении правил. Все случающееся в нем делается *так* в смысле: как надо. Правила действия мира, существующего *так*, не могут быть нам неизвестны. Они всегда остаются нашим единственным несомненным знанием. Знание любых правил и законов зависит от первого и единственного знания, что все в мире именно так. Витгенштейновский перебор случаев, когда анализ уводит в бесконечность, призван показать, что строительство правил и условий именно из-за их устроенности зависает в пустоте и на каждом шагу нечаянно нуждается в надежной неопределимости мира.

Изучив правила, мы следуем или не следуем им; не зная правил, мы знаем, что они нарушены, просто так. Это второе знание не наделяет наблюдателя способностью по наитию вступить в игру, но вполне может удержать его от втягивания в сомнительную игру. Сразу после скандала с известным акционерным обществом время на телевидении получил член правления этого общества. Заверяя, что все в порядке и продолжается сложная финансовая игра по особым правилам, он в доказательство надежности игры сообщил, что постановлением совета акционеров председателю АО присуждена премия за обучение населения новым рыночным отношениям в размере 1 млн. рублей. Текст выступления был явно выверен на корректность, но в облике и поведении выступающего были как раз те «характерные признаки», которые невозможно и не нужно определять и которые как-то *так* показывали, что в игре совершаются (нечаянно или нарочно — другой вопрос) ошибки. Этих признаков было недостаточно для привлечения молодого человека к ответственности или для суда над АО, но их было достаточно, чтобы подождать прояснения ситуации и не вступать в игру, не увидев хотя бы одного ведущего игрока, в поведении которого не наблюдалось бы признаков ее нечистоты, чтобы от него научиться ее правилам и подключиться к ней. Такой возможности телезрителю не было дано, потому что в поведении председателя и других членов правления АО тоже были видимые *и так* признаки. Они просматривались и в рекламе акционерного общества.

1 Дневник 1.8.1916.

В знании, имеющемся у нас *просто так*, как в знании сократовского демона нет предписаний для действия, но есть достаточно поводов для осторожности и невключения в ту или иную игру.

Не окажется ли, что, строго говоря, поводов и признаков для невключения *ни в одну* из предлагаемых нам игр всегда достаточно? Тогда, наблюдая за «характерными признаками», можно всю жизнь просидеть, ожидая у моря погоды? Рассмотрим однако явление признака, не поддающегося дефиниции, в ситуации, когда жизненная задача требует от нас выполнения обязательного долга. Наш безусловный долг тоже ясен *и так*. Прочтем, не упуская из памяти цитированные выше в двойной передаче со слов жены доктора предсмертные слова Витгенштейна¹, его дневниковую запись за 35 лет до того, 30.7.1916 года:

Снова и снова я возвращаюсь к тому, что просто счастливая жизнь хороша, несчастливая плоха. И если я *теперь* себя спрошу: но *почему* я прямо-таки обязан жить счастливо, то это кажется мне просто тавтологической постановкой вопроса; похоже, что счастливая жизнь сама себя собой оправдывает, что это и *есть* единственно правильная жизнь.

Всё это собственно в известном смысле глубоко таинственно! Ясно, что этика не *поддается* высказыванию!

В чем объективный признак счастливой, гармоничной жизни? Тут опять же ясно, что никакого такого признака, который поддавался бы *описанию*, не может быть.

Этот признак не может быть физическим, но только метафизическим, трансцендентным.

Запись сделана на фоне затянувшейся безысходной войны и, таким образом, в ощущении полной независимости счастья и несчастья от окружающих условий.

Может ли быть этика, если кроме меня нет ни одного живого существа?

Если этика должна быть чем-то основополагающим, то: да!

[...] Для существования этики должно оставаться безразличным, существует ли в мире живая материя или нет. И ясно, что мир, в котором есть только мертвая материя, в себе ни добрый ни злой, так что и мир живых существ в себе не может быть ни добрый ни злой.²

В зашифрованных дневниках трудность военных условий от начала до конца записей очевидна.

1 См. выше с. 11.

2 Дн. 2.8.1916.

16.8.14. *Еще раз: тупость, наглость и злоба этих людей не знает границ.*¹

В неисправимых обстоятельствах происходит благодаря минутам откровения и упрямству необъяснимое и неопределимое.

3.9.14. *Читал из Толстого с большим приобретением.*

5.9.14. *Я на пути к какому-то большому открытию. Но доберусь ли я до него?! Я чувствнее чем прежде.*

8.9.14. *Каждый день много работал и много читал из «Объяснений к Евангелию» Толстого.*

12.9.14. *Снова и снова произношу себе в душе слова Толстого: «Человек бессилен в плоти, но свободен через дух». Пусть будет во мне дух! Дай мне Бог силу! Аминь. Аминь. Аминь.*

13.9.14. *Пусть я никогда себя не потеряю.*

16.9.14. *Человек бессилен в плоти и свободен через дух. И только через него.*

18.9.14. *Тяжело служить духу с пустым желудком и не выпавшись!*

7.10.14. *Я могу через час умереть, я могу через два часа умереть... Я не могу этого знать и ничего для этого или против этого сделать: такова эта жизнь. Как я должен тогда жить и продолжаться в каждый момент? Жить в добром и прекрасном, пока жизнь сама не прекратится.*

11.10.14. *Ношу «Изложения Евангелия» Толстого всегда с собой повсюду как талисман.*

2.11.14. *Действительно счастье, что человек имеет сам себя и всегда может спастись у себя. Много поработал. Благословение работы!*

12.11.14. *Только не терять себя!!! Соберись! И работай не для провождения времени, а благочестиво, чтобы жить! Никому не делай несправедливости!*

7.3.15. *Бог есть любовь.*

29.4.15. *Работай. Иначе тебе будет плохо. Не давай только обрабатывать тебя пошлым людям.*

30.3.16. *Ты делай лучшее, что можешь! На большее ты не способен: и будь доволен. Пусть другие будут довольны собой. Потому что другие тебя не поддержат, разве что только на короткое время. (Потом ты им станешь в тягость.)*²

Признаки счастья и несчастья, что то же — добра и зла, честной и нечестной игры, не поддаются описанию, но оттого не становятся менее применимы, тем более что они единственно важны. Хорошее (счастли-

1 См. Приложение с. 518.

2 См. там же с. 520 слл.

вое) и бытие у В. оказываются тождественны. Обязанность добра равна обязанности счастья и императиву бытия. Сказать перед смертью, что его жизнь была счастливой, было другим способом выразить заявленное в Предисловии к «Трактату»: моя мысль (тождественная моему бытию) неопровержима и окончательна. Хорошее и плохое, бытие и небытие, счастье и несчастье составляют неизменный пейзаж этой мысли. Хранить его, сберегая тем самым мир, оставляя его в покое, было выполненным делом жизни философа.

Подобно миру, *просто так* существует естественный язык. Поэтому мы проваливаемся сквозь него в любом месте, где хотим от него определенности. В поисках, за что ухватиться, мы впадаем в бесконечный анализ. Часто говорят, что от великого до смешного один шаг — какой именно? поможет ли тут уточнение, что шаг равен 75 сантиметрам? — Ну разумеется тут требуется уточнение другого рода! — Тогда за тобой определение рода точности, дай его!¹ В апории Ахиллеса и черепахи проблема начинается, когда требуется уловить точный момент касания их точечных масс. Кто скажет, что она далека от жизни, пусть подумает, как считают наши деньги. В расчетной ведомости против моего имени стоит 47 307 рублей 04 копейки. Борясь за свое право, я должен просить, чтобы мне выдали и эти 04 копейки. Материально монеты такого достоинства не существуют. С другой стороны, ни одна бухгалтерия страны не вправе произвести перерасчет так, чтобы оказалось, что мне эти 04 копейки в дополнение к 47 307 рублям платить по честному не надо; скорее наоборот, обнаружилось бы, что мне причитаются 04 копейки с десятистыми и сотыми. Без их выплаты в отношении меня совершается несправедливость, при всей своей малости окрашивавшая мое общественное существование в неблагоприятный тон. Если бы развитая, изощренная и громадная система финансов не была дополнена всенародным отказом от точного счета, она увязла бы в вычислениях бесконечно малых. Не только в финансах, но в законодательстве, юриспруденции, образовании, в социальном обеспечении, в медицине существуют две системы, из которых одна столкнулась с зеноновой апорией и увязла в уточнениях, а другая, спасающая положение, существует *как-то так*, т. е. не по плану, и *так как-то*, т. е. просто так. Что происходит при соприкосновении обеих систем, уходит из-под контроля в непрозрачность.

1 Ср. Филос. исслед. I 69.

«Что это значит: знать, что такое игра? что это значит, знать это и не уметь сказать?»¹ При обсуждении имплицитных предпосылок речи, поведения, бездействия акцент обычно ставится на отличии их от эксплицитных. Создается впечатление, что имплицитные еще не эксплицированы, но будут. Когда я проясню имплицитное, откроется ли мне, каким оно было? Надо только дождаться, когда подразумеваемое выскажут, и получит определение именно то, что все чувствовали? Едва ли.

Экспликация имплицитного небезобидна. Ее легко начать, но что она когда-то кончится, доказать трудно. Художника спрашивают, почему он назвал хаотическое на первый взгляд нагромождение нечетких геометрических фигур женщиной. Художник послушно начинает объясняться. Вскоре ему становится скверно на душе. Эксплицируя, он переживает не создавшее картину иплицитное, а что-то другое. Техническая отчетливость приставок *им-* и *экс-* обманывает. Перевода из дословесного в словесное не получается. Художник недоволен собственным объяснением. Он нервничает: нет, я не то хотел сказать. Он говорит длинно, потом невразумительно, наконец бросает попытку и предлагает: давайте я лучше нарисую то же или лучше другое. Статус невысказанных предпосылок его работы другой, чем можно высказать. Или, в хорошем случае, то, что он предлагает в качестве экспликации имплицитного, останется по-своему опять же тайным. Редактор спрашивает меня: почему вы написали *тожество* при более обычном *тождество*; *бытиё* при словарном *бытие*; почему *при том что* пишете в три слова без запятых. Я начинаю объяснять, и мне скоро становится неловко, если не стыдно. Я сучусь, импровизирую аргументы и начинаю проигрывать. Ну ладно, это вкусовое, снисходит редактор и обидным для меня образом позволяет мне сохранить мои вольности. Он великодушно напишет в аннотации к книге, что текст дается в авторской редакции, т. е. автору позволили из уважения к нему написать как он хотел, а не как *правильно*. Я уверен, что правильны мои *тожество*, *бытиё*, *при том что*. В справочниках и словарях, которыми пользуется редактор, я найду подтверждение моей правоте. Но варианты, прецеденты, допустимые возможности, вольности мне самому неприятны, потому что мне в конечном счете не меньше чем редактору хочется чтобы правила в языке были жесткие и от толкования не зависели. Редактор не хуже меня понимает, что такое невозможно, что варианты неустраимы; он готов признать за мной

1 Филос. исслед. I 75.

хорошее чувство русского языка и даже хорошее знание его грамматики, но вместе со мной чувствует, что полиция стиля нужна, и правила не для нашего и вашего удобства придуманы, их нельзя гнуть по надобности. Правила в важном смысле не наши.

В истории литературного языка происходит вовсе не так, что мы получаем на руки правила, когда имплицитная механика языка разумно эксплицируется. У правил есть та же неэксплицируемая неопределенность, что у внутреннего (*intern*) в языке, только *наоборот*. Отношение имплицитного к эксплицитному похоже не столько на постепенное выплывание подводного на поверхность, сколько на правое и левое. Их противоположность неустраима. Отнесем одно к сну, другое к яви. Прямой пересчет из сна в явь невозможен. Эксплицитные правила учебной грамматики получены не путем исследования того, что на современный момент имеется «внутри» языка. Они внесены из области отвлеченной мысли, где получают себе рациональное оправдание независимо от реалий речи. Усилия языковедов эксплицировать «глубинные» структуры путем формализации и задания списков правил дают нечто третье, отличное и от языка в его неписаном обычае, и от его традиционной грамматики. В. называл такие конструкции изобретательством языка. Он

не отличал [...] попытки построить логически совершенный искусственный язык от попыток построить лингвистическую теорию естественного языка, которая способна представить логическую структуру, находящуюся под поверхностной грамматикой его предложений.¹

Среди эксплицитных правил языка, общественного поведения, искусства есть необъяснимо жесткие. Нарушение их карается несоразмерно сурово сравнительно с ничтожным вредом, который принесет их неисполнение. Мы можем говорить как угодно небрежно на родном языке. Иностранцу позволено еще большее количество ошибок: мы понимаем, что неправильность его речи происходит от следования правилам своего языка, интерферирующим с нашими; он говорит неверно от подчеркнутой корректности. Попробуйте однако нарушить, не будучи иностранцем, правила падежа, числа и рода. Это шокирует как появление на людях без одежды или демонстрацию дурных манер. Искажение падежа, числа, рода обычно легко восстанавливается и сравнительно с

1 J. Katz, *Linguistic Philosophy*. L. 1972, p. 14.

другими неправильностями речи никому не вредит, но ошибка подобного рода всегда привлекает к себе, к стыду совершившего ее, подозрительное внимание. Ее обычно не удается даже списать на счет фрейдистской оговорки, при известной откровенности извинительной.

Нормы, не допускающие нарушения, у всех на виду. Их неприступность и безусловная нерушимость внутри, казалось бы, интимно моего языка заставляет заметить их необъяснимую обязательность. Как звучит множественное мужского рода от *normal*? *Normaux*, отвечает французка, и удивленно признает: мне самой это странно; здесь что-то необычное для уха, но именно так надо у нас говорить. Историческая фонетика покажет происхождение произношения, но не объяснит, почему норма родного языка кажется чужой, а ее нарушение совершенно недопустимым. Из отчетливости эксплицитных правил не вытекает, как уже отмечено, доступность имплицитных. Они не совсем правила или совсем не правила. В таком случае лучше считать, что кроме явных правил никаких других просто нет.

Он, правда, дал мне на мой вопрос, что он поднимает под «N», определенное объяснение, но был готов взять назад это объяснение и изменить его. — Как прикажете мне тогда определить правила, по которым он играет? Он их не знает сам.¹

Мысль и слово: каково их отношение? Вопрос отсылает к поискам в пустоте. Он предполагает фиксацию отношения мысль-слово. Между тем мысль и слово настолько отделены, что они одно и то же. Их тождество обнаруживается в моменты сплавления их в единство. При фиксации мгновения пропадает уникальность, в какой держится настоящее слово, и оно становится обобщенным, т. е. выпадает из мысли в схему. Исследователи сердятся на Витгенштейна за отсутствие у него дефиниций, даже таких центральных как языковая игра. Здесь видят «ослаблени[e] содержательности (!) и точности многих центральных понятий». Вместо *многих* точнее было бы сказать *всех*. «За всем этим скрывается абсурдная по своей сути боязнь любого рода обобщений.»² Боязливости философа предпочитают уверенное вторжение в мир, главным средством справиться со сложностью которого служит генерализирующая типизация. Подводя итог анализу и «критике философского мировоззрения» своего подопечного, исследователь иронизирует: «„Правильное

1 Филос. исслед. I 82.

2 Грязнов А. Ф. Эволюция философских взглядов Л. Витгенштейна. М. 1985, с. 139.

видение мира“, с помощью которого нам будто бы открывается „истина“: „всё есть так, как оно есть“, не приводит ни к какому осязуемому результату, так как целиком ориентирует на созерцательное отношение к действительности». ¹ Здесь верно замечено неучастие философа в научном прогрессе; точно названо начало и окончание витгенштейновских разборов — констатация отмеченного нами выше двоякого *так* мира. Такой мир раздражает, с ним хочется что-то сделать. Поскольку он большой, его надо охватить приемом наиболее глобального обобщения. Ситуация человека, всегда неизменно нуждающегося, и явные случаи скандальной нехватки (продуктов, бензина, денег, следователей, выдающихся философов) описываются однако с тайной радостью, потому что острая житейская потребность позволяет забыть о метафизической.

Язык сплетен со стихией мысли, очертания которой не видны, и манит своей мнимой осязаемостью, как стул и стол в тумане. Появляется надежда сесть на него; мы тянемся к опоре, она вдруг исчезает. Грамматики, описывающей такое поведение слова, не может быть, как науки о внезапно исчезающем стуле. Академическая грамматика работает не со словом, а с лексикой.

Между 1934 и 1936 годами В. в курсе лекций надиктовал студентам, которых было около 7 человек, текст примерно в 100 страниц. Он был распечатан в количестве предположительно 30 экземпляров и переплетен в голубую обложку. Задачей философской работы здесь назван

разбор грамматики слов, которые описывают то, что обозначается как «духовная [психическая]» деятельность: слышание, видение, ощущение и т. д. И когда мы говорим, что занимаемся грамматикой «выражений, описывающих чувственные данные», то всё сводится к тому же самому. ²

Почему такой обходный путь через грамматику слов, которые описывают то, что обычно обозначается психической деятельностью? Не лучше ли сразу взять психическую деятельность и предложить ее теорию, если всего того, что уже сделано здесь, кажется мало?

Каждому, кто говорит *дух, душа, психическая деятельность*, эта тема в большой мере своя. В колее Гегеля, с одной стороны, символизма, с другой, духовность была высоким словом. Хайдеггер исключил это слово из рабочего употребления так, словно его не существовало в языке,

1 Там же с. 162.

2 WA 5, 110–111.

или брал его в кавычки как цитату; тем самым дух, заметил Деррида, был особо выделен и его тема подчеркнута. По своему обыкновению полагаясь на звучащий вокруг него язык, Витгенштейн усвоил дух (психику) как название проблемы. Вокруг него общественность говорила о духе много и уверенно. Люди явно будут еще долго говорить так, как обычно говорят.

В. свято уважает обычай. Для него характерно детское нерассуждающее послушание принятому течению мира. Оно присуще ему во всем. Как принято, он идет солдатом на I мировую войну, когда в Австрии объявлена всеобщая воинская повинность, и санитаром на II мировую войну, на этот раз на стороне Англии. Попав в плен к итальянским противникам, он оставался там почти год до самого конца войны без заметных попыток вырваться оттуда. Как ребенок, не сомневающийся в праве вещей быть такими, какие они есть, он без рассуждений принял одиночество, последнюю болезнь, смерть.

Опора на естественный язык была частью этого невмешательства в мир. В. имел основания для нервного срыва, когда Бертран Рассел представил «Логико-философский трактат» в третьем абзаце своего «Введения» главным образом как работу над «условиями, каким должен отвечать логически совершенный язык».¹ Очищенный язык мешает понять естественную речь, как теоретическая модель психики отвлекает от живой мысли. Обсуждение духовной деятельности делает ее чужим предметом. Возвращаясь к сердитому стилю «Трактата», философ диктует в «Голубой книге»:

Ложно говорить, будто мы в философии рассматриваем идеальный язык в противоположность нашему обычному языку. Потому что это вызывает видимость, будто мы думаем, что способны были бы улучшить обычный язык. Но обычный язык совершенно в порядке.²

Лучше говорить не о периодах Витгенштейна, а о стилях, различая в основном два. Решительный, иногда гневный характерен для «Трактата». Там уже прослеживается однако и другой, осторожный, прислушивающийся, вопросительный. Этот преобладает в поздних работах, где,

1 L. Wittgenstein, *Tractatus...* [1995], p. ix: «In order to understand Mr Wittgenstein's book, it is necessary to realize what is the problem with which he is concerned. In the part of his theory which deals with Symbolism he is concerned with the conditions which would have to be fulfilled by a logically perfect language.»

2 WA 5, 52.

впрочем, как мы видим, дает о себе знать и ранний уверенный стиль. Прочитированные фразы о беспроblemности обычного языка продиктованы в стиле декрета и предполагаются несомненными. Идея, что с обычным языком все совершенно в порядке, никогда ни в какой мере Витгенштейном не пересматривалась, составляя одно целое с его общей жизненной установкой. О том же говорит замеченная знавшими его людьми характерная просьба применительно к сложным вещам и обстоятельствам: оставьте эту проклятую (заклятую) вещь в покое.

Всего больше тенденцию реформы языка вызывает неуволимая смена его игр. Он ведет себя как люди с мячом, которые начинали бы каждый раз новые игры, не доводя их до конца, то подбрасывая мяч вверх, то гоняясь с ним друг за другом. Сказать, во что они играют, невозможно, однако игра в мяч не прекращается и каждый отдельный бросок следует какому-то своему правилу.

Разве не бывает и такого случая, когда мы играем и — *make up the rules as we go along*? И даже такого, когда мы ее меняем — по ходу игры.¹

Вопрос не имеет ответа и подразумевает его. В реальности мы принимаем в каждый момент нашей речи и поведения гораздо больше решений, чем нам кажется и чем мы успеваем заметить. Назвать все эти решения вполне нашими мы не можем, хотя и действию чужих сил поддаваться тоже не хотим. Есть ли правило, по которому меняются правила игры? разве мы не сменим и то правило? Философ отдает себя ситуации, в которой опора исчезает. Он скован ее жесткостью. Солдат Витгенштейн молчит, подчиняясь как велению свыше приказу отвратительного командира. Позволяет ли он себе вольности в мирное время? Нет, он всегда скован императивом, пытаясь расслышать, чего тот требует. Всегдашняя послушность помогает ему с необычным вниманием разбирать то, что он слышит поверх слов, — не потому что критически или аналитически настроен, а потому что заворочен и речью взрослых и своей внутренней речью. Не будет большой ошибкой видеть Витгенштейна остановившимся в развитии ребенком 2 лет, в возрасте, когда проявляется сбивающая взрослых с толку чуткость к слову. Кстати, рассказы о его несносности заставляют вспоминать тот же возраст между двумя и тремя годами, когда всё принято как *вот это*, не позволяет обобщения и толкования, единственно и окончательно.

1 Филос. исслед. I 83.

Уже упоминалось, как повиновение «в порядочном числе случаев» не знает, почему оно. Тормозя на красный свет, я конечно знаю причину своего поведения; поступать так разумно, правилами всё предусмотрено, я действую не по интуиции. Но, вглядываясь в себя, мы обнаруживаем у себя и других инстинкт простого подчинения, ускользающего от анализа. Такое поведение располагается вне системы, построенной на рациональных основаниях.

Выше упоминалась «экзистенциальная вина» Хайдеггера, для которой нет причин. Беспричинность такой вины эксплуатируют люди, которые, заметив беспричинность суда совести, прекращают внутренний судебный процесс, раз там не предъявляется материальных улик. Приводимые совестью резоны вняты только для заранее согласившихся с нею. Но с другой стороны, после того как человек махнул рукой на совесть, он не оказывается более защищен от необсуждаемого приказа. Нерассуждающий инстинкт не в меньшей мере склоняет к подчинению, чем знание вины за собой.

Независимость подчинения от причин пусть на время останется без подробного рассмотрения. Заметим только, что она связана с темой двух я в заключении «Голубой книги».

2 СЕМЕЙНОЕ СХОДСТВО

Прочтению нестандартного мыслителя мешают привычные приемы интеллектуальной работы. В ней высоко ценится манипулятивное мастерство. Неспособность В. к обобщениям, как мы видели, многих раздражает. Он уверен однако, что обобщения заслоняют интересные подробности нашего поведения.

Когда мы исследуем [...] простые формы речи, то как бы рассеивается ментальный туман, обволакивающий наше обычное словоупотребление [...] Но чем однако затруднен такой исследовательский метод, так это нашим стремлением к обобщению [...] Мы например склонны думать, что должно быть нечто общее всем играм и что этим общим свойством оправдывается применение общего обозначения «игра» к различным играм.¹

В. помогает нам понять, в каком смысле всеобщее, которому предписывает следовать Гераклит², противоположно обобщению. Подве-

¹ WA 5, 37.

² Фр. 2 (Дильс-Кранц).

дение многих явлений под общее понятие и взгляды в родовое, $\xi\upsilon\nu\acute{o}\nu$, открываемое умом, $\xi\upsilon\nu\ \nu\acute{\alpha}$, — полярно противоположные усилия.

Уже упоминалось понятие семейного сходства, одновременно несомненного и неуловимого, где общее похоже не на проволоку, растягивающую сплошной слиток металла, а на плетеную веревку, составляющие нити которой обрываются где-то мы не знаем где внутри плетения. Может показаться, ввиду убедительной однородности семьи, что надо уметь найти черту, проходящую обязательно по всем ее членам. Это иллюзия. Любые обобщения, как музыкальная или художественная одаренность, выносят за пределы семейного сходства, потому что есть другие семьи с той же особенностью. В семье (роде) человек любое отдельно взятое свойство заставит скорее задуматься о принадлежности к животному миру чем даст основание для выделения из общей биологии. Считать ли человечность (разумность) общим свойством всякого человека? Уже при первом приближении здесь возникают проблемы. Бесчеловечность многих людей очевидна. Разбирательство в этом вопросе окажется трудным. Родовые признаки человек разумный, человек технический кажутся надежными, пока мы не догадываемся, что они нуждаются в определении разума и техники, а иначе близки к простому указанию *вот*.

Допустим, каждая из n красивых вещей есть комплекс px , где переменная x выражает индивидуальное содержание каждой. Постоянная p как общее всем свойство красоты разрушит индивидуальность каждой вещи. Кроме того, в традиционное понимание красоты входит цвет, у каждой вещи разный. Так или иначе от прослеживания одной содержательной или структурной черты, проходящей через все семейство красивых вещей, придется отказаться.

То же происходит со словом *игра*. Что общего между шахматами, баскетболом, пасьянсом, боксом?

Не говори: «У них должно быть что-то общее, иначе они не назывались бы „игры“» — но *смотри*, есть ли у них всех нечто общее. — Потому что, взгляды, ты хоть и не увидишь ничего общего им *всем*, зато увидишь подобия, родственные сходства, причем массу их. Как сказано: не думай, а смотри! [...] Сходства всплывают и исчезают [...] Мне не удастся охватить эти сходства лучше чем словом «семейные сходства»; в самом деле, так накладываются друг на друга и взаимно пересекаются разнообразные сходства, существующие между членами одной семьи: рост, черты лица, цвет

глаз, походка, темперамент и т. д. и т. д. — И я буду говорить: «игры» об-
разуют семью.¹

Любое поведение при таком подходе может быть названо игрой или по крайней мере можно поставить вопрос, не игра ли оно. Значение слова *игра* ограничено здесь не множеством наблюдаемых форм поведения, а моей способностью или неспособностью видеть семейное сходство. Возможно состояние, в котором всё повернется ко мне аспектом игры, и другое, когда я не увижу игры ни в чем. Всё может показаться войной (Гераклит), глупостью (Эразм Роттердамский), цинизмом (Слотердайк). Красота, игра, война, глупость, цинизм и т. д. образуют нити, или цвета, нашей формы жизни, могущие окрасить собой все поле нашего зрения. Так внутри ведийского пантеона каждый из отдельных богов попеременно возрастает до всеобъемлющей фигуры, затмевая всех остальных.

Игру соответственно нельзя определить, а можно только описать как *вот эту и такую*. В отличие от обобщения, опирающегося на фиксацию объективно наблюдаемых признаков, семейное сходство может быть опознано или не опознано. Вроде бы похож, очень даже... а впрочем нет, вовсе не похож, говорим мы. Если не думать, а только смотреть, то мы заметим, что мнимо единые общие свойства мы сами насильственно протягиваем через род. Настоящая семейная общность так же убедительна, как и неуловима.

В «Книге писем о делах повседневных» Франческо Петрарка глазами поэта и художника (до нас дошли его рисунки) видит в семейном (родовом) сходстве то же соединение убедительности и неуловимости и связывает его с «законом (художественного) изображения», которое противопоставляется копированию².

Подражатель должен заботиться о подобии, но не о повторении, да и подобие должно быть не таким, как у копии с копируемым (чем точнее такое подобие, тем обычно больше хвалят живописца), а какое бывает у сына с отцом, — как бы они ни различались телесными чертами, какой-то отенок (*umbra*) и то, что наши живописцы называют «аурой» (*aerem*), всего заметней проявляясь в выражении лица и взгляде, создают подобие, благодаря которому при виде сына у нас в памяти сразу встает отец; если дело дойдет до измерений (*ad mensuram*), всё окажется различным, но есть что-

1 Филос. исслед. I 66–67.

2 Ср. у Витгенштейна настойчивое отграничение описания (изображения) от копирования, выше с. 234.

то неуловимое, обладающее таким свойством [...] Подобие затаилось так, что его можно разве что угадать молчаливым усмотрением ума и скорее ощутить, что подобие есть, чем определить его словами [...] Первое подобие скрыто, второе [подобие повторения] выпирает наружу; первое делает нас поэтами, второе обезьянами.¹

Наблюдение о невозможности измерить семейное сходство помогает пониманию того, что «мера мира», какой по В. является предложение, не тождественна механическому измерению до полной противоположности ему. Метрическая мера невозможна без системы координат; мера мира, наоборот, не поддается вычислению. Навыки нашей школы с «таблицей мер и весов» на обложке почти каждой ученической тетради оставляют за мерой только техническое измерительное значение. Вместе с тем в исходном тысячелетнем смысле это слово значит такт, ритм, чувство меры; еще раньше в древней Индии оно связано с поэтическим отмериванием-творением мира.

Семейное сходство узнается у Петрарки «молчаливым усмотрением ума», у Витгенштейна нерассуждающим вглядыванием. Оно противоположно обобщению, понятому как вынесение общего знаменателя за скобку. Мы воображаем, будто, имея слово, контролируем много обозначаемых им вещей. Схема слово-значение-вещь, внедряемая школой, предполагает принцип обобщения; индивидуальная вещь подверстывается под многократно применяемый образ. Обобщающей формой служит якобы значение слова. Так понятый язык обобщает на каждом шагу, обучая классифицировать вещи. По существу однако слово работает как-то *так*, не нуждаясь в пересчете на образ-значение. Не весь диапазон слова открыт говорящему. Витгенштейн останавливает принятую практику, выводит из ее колеи и прокладывает, если заимствовать выражение Хайдеггера, путь к языку.

Схема слово-значение-вещь загроуживает нам наш собственный язык, предлагая вместо его сложности удобства генерализации и классификации сущего. Обобщение объясняет действительность, сводя ее к «законам». Витгенштейн почти цитирует Ницше, говорившего о победе научного метода над подлинной наукой:

У философов постоянно естественнонаучный метод перед глазами и они испытывают неодолимое искушение ставить вопросы и отвечать на них способом естественных наук. Эта тенденция есть собственно источник

1 Франческо Петрарка, Книга писем о делах повседневных XXIII 19.

метафизики и вводит философа в совершенную темноту. Я хотел бы здесь сказать, что нашим делом никогда не может быть сведение чего-либо к чему-либо или объяснение чего-либо. Философия действительно «*чисто дескриптивна*».¹

Страсть к обобщениям рождает «презрительное отношение к отдельному случаю». Допустим, кто-то пытается объяснить, т. е. редуцировать к общим понятиям, понятие числа; этим кем-то может быть Готтлоб Фреге в его усилиях выйти из скандальной ситуации отсутствия дефиниции числа или Бертран Рассел, назвавший недостатком витгенштейновского «Трактата» отсутствие теории трансфинитных чисел². Научный метод хочет уловить то общее, что свойственно *всем* числам.

Почему кажется важнее объединить конечное и бесконечное в общем понятии чем, наоборот, заметить неустранимое различие между ними? Мы естественно хотим охватить как можно больше вещей. Зачем? Мир не больше своей части и измеряется не числом атомов. Открыв миллиарды галактик, современная астрономия не вправе считать, что она познала, допустим, уже не 5%, а 6% Вселенной. Мир не составлен из космических систем так, что такое-то их число окажется полным. Скорее наоборот, численное накопление отдаляет от мира. Мир, как зовет его видеть Витгенштейн, проще и доходчивее. Нам достаточно, раз уж мы сделали темой психику (дух, душу), описать тот и еще вот этот случай применения слов, такой-то эпизод воли-мысли-понимания. А масштабное? обобщение всех или большинства эпизодов, ведь несколько отдельных случаев еще явно не всё? что объединяет все случаи мысли? С невозмутимым спокойствием, не понимая нашу заботу, Витгенштейн отвечает вопросом: вам мало того, чего вы достигли? Ну тогда опишите еще другие казусы или, если хотите, сконструируйте более сложные мысленные эксперименты. — Но мы хотим установить класс признаков, отличающих *все* случаи воления! — Пожалуйста, делайте; найдите и сформулируйте определение, проведите отчетливую границу между областью, где признаки искомого класса есть, и другой областью, где их нет и где по вашему представлению уже не будет воли, но в результате вы разойдётесь с тем, что называется в нашем обычном языке волей, потому что в реальном словоупотреблении это слово дефиниции и четких границ как

¹ WA 5, 39.

² L. Wittgenstein, Tractatus... [1995], p. xx: «[...] his theory of number [...] is only capable of dealing with finite numbers».

раз не имеет. Между тем с обычным языком все в полном порядке. Под видом его уточнения вы придумываете себе другой язык. Успехов вам, но это не интересно.

Реформаторы языка, действующие откровенно или скрытно под видом оттачивания словесных смыслов, негативно через провал очередной терминологической реформы доказывают устойчивость обычного языка.

Бертран Рассел интерпретирует один из видов психической деятельности, желание, как род голода. Определение кажется на первый взгляд удачным. Бывает однако голод, о котором голодный еще не знает. Согласимся ли мы так же говорить о желании? В уже встречавшемся примере¹ слова «хочу яблока» описывали мое желание, но не мой голод, который после съеденных яблок не прошел, потому что я захотел пирога. Между высказанным желанием и тем, чего я на самом деле хочу, остается перепад.

3 ИСЧЕЗАЮЩИЙ СТУЛ

Бывает ли зубная боль, о которой я не знаю? Витгенштейн заставляет здесь вспомнить Плотина: мы можем не знать, какие мы.² Всякое *хочу* оставляет место для *не хочу*, всякое *болит* значит *не болит*. Любое применение слова подобно попытке присесть на исчезающий стул.

Стул, который то исчезает, то появляется, не совсем стул. Странность его статуса между бытием и небытием существеннее его устройства.

Я говорю: «Там стоит стул». Что если я туда пойду и захочу его взять, а он вдруг исчезнет с моих глаз? — «Значит то был не стул, а какая-то иллюзия.» — Но через несколько секунд мы его снова видим, можем его схватить и т. д. — «Значит стул там все-таки стоял, а его исчезновение было какой-то иллюзией.» — Допусти однако, что через какое-то время он снова пропадает — или кажется пропавшим? Что тут сказать? Есть у тебя готовые правила для таких случаев — говорящие, можно ли еще подобную вещь называть «стулом»?³

Удобная доступность слов приглашает к упорядочению; фиксация на них ведет к провалу. Слово можно ловить на лету, бросать, ронять; на

1 См. выше с. 275.

2 Плотин I 4, 9–10.

3 Филос. исслед. I 80.

держании его в руках лежит запрет. При более чем мгновенном касании к нему мы оказываемся в затруднении. Нельзя сказать, в большей ли мере язык расстилает и проясняет чем намечает провалы.

Слово есть символ в античном смысле части целого, другая часть которой не у нас. Указание на нечто, чего мы не видим, важнее и существеннее ассоциативных связей. В. последовательно пренебрегает семантической многозначностью слова. Из поля его внимания таким образом выпадает символ в смысле метафоры. Не обязательно углубляться в изыскания типа символизма П. А. Флоренского, чтобы знать об отсутствии у слова семантической границы. Увлечение Флоренского, как А. Ф. Потебни, В. Н. Топорова, физиологией языка, вплетенного корнями в мир, исподволь переходит в механику, когда исследователей манит мираж, будто слово, не поддающееся формально-логической дефиниции, будет уловлено и зафиксировано интуитивно-поэтическим приемом. Каким бы бесспорным ни казалось ассоциативное богатство слова, оно принадлежит не ему. Классическая философия никогда не видела язык самостоятельным образованием. Осмысление имени переходило у философов на вещи. Платон, заговорив о буквах, думает о стихиях, из которых составлен мир. Современный эстетствующий символизм, увлекаясь глубиной смысловых созвучий, уводит от символа в исходном значении напominания о том, что затеяно и не окончено какое-то дело. Что половинки разломаны и ожидают быть сложенными вместе, заставляет думать о целом.

Символ в исходном понимании указывает на недостающее, отсутствующее, невидимое. Уподобительного символа классическая философия не знает. У Аристотеля символ не изображает символизируемое, он как правило другое ему. Непохожие стремятся друг к другу «как два символа», т. е. противоположные половины, «ради добра» в полноте целого.¹ Слова — символы состояний в душе.² Целое тут «то, ради чего» есть каждая часть в отдельности и их соединение в «середине». Ради целого как цели слово и движение души ищут друг друга. Между словом-вестью и движением души символическое отношение, т. е. обоим не хватает друг друга. Они должны восполнить нехватку, составив одно. Оно уже не язык и не речь. Слово одно, отвечающее ему движение души другое и на слово не похоже. Цель осуществляется через них, оправды-

1 Аристотель, *Этика* Евдемова VII 5, 1239b 28–31.

2 Аристотель, *Об истолковании* I 16a 3–4.

вая как себя, так и их тем, что она «хороша». Оба возникают в свете целого, которое не сумма частей, а цель стремления. Как всегда, Аристотель стоит здесь на почве Платона, у которого Зевс нашел способ и сохранить людей, и смирить их: он разрезал каждого пополам. «Каждый из нас — это половинка человека, рассеченного на две камбаловидные части... Прежде мы были чем-то единым. Если мы будем непочтительны к богам, нас рассекут еще раз, и тогда мы уподобимся не то выпуклым надгробным изображениям, не то значкам взаимного гостеприимства (Λίτοαι).»¹ Речь идет о распиленных надвое игральных костях, частях расколотого целого, которые потом можно снова соединить в целое, «что теперь мало кому удается»².

В. продолжает классическую традицию. Между богатством психологических ассоциаций и нищетой слова-обломка, неизобразительно указывающего на то, чего в нем вызывающе нет, философ выбирает второе. Здесь опять не предпочтение одной теории другой, а жизненный стиль. В правилах для себя из ранних дневников Витгенштейн мечтает об одном: не сбиться с направленного стремления. Внезапное исчезание и появление стула существеннее чем его устройство. Мало ли бывает разнообразных конструкций, но пропадающий стул уникален. Неуловимость слова, его размах между блеском и ничем, его исчезание и появление важнее глубин смысла и симвонологического содержания. Переход стула от небытия к бытию без сравнения интереснее его случайного вещественного состава. К ряду одинаково звучащих, но полярных понятий прибавим *богатство*. Вещественная содержательность разумно противопоставляется нищете. Но простое *есть*, когда оно взаимозаменяемо с *нет*, при нулевом вещественном содержании разворачивает богатство нищеты, с каким не идет в сравнение никакое содержательное наполнение. Захваченность богатством этого второго рода, мы сказали, не интеллектуальное предпочтение, а жизненный стиль.

Проникаясь тем же стилем мысли, навсегда откажемся от копания в ассоциативных глубинах языка, какие бы поэтические красоты там ни угадывались. Слово развило способность вбирать в себя разнообразные содержательные слои благодаря своему размаху между бытием и небытием. На причастность слова существованию и несуществованию следует обратить всё внимание. Сложная инженерия языка, умное устрой-

1 Платон, Пир 190d–193a.

2 Там же, 193b.

ство этого сущего пусть манит психолога и лингвиста. Философу доступно не меньшее знание¹, но он занят нищей стороной слова, несущей на себе весь язык. Так сказочный солдат в подземной пещере развлекается видом соблазнительных богатств, но в конечном счете единственной спасительной вещью среди них оказывается одна зажигалка.

Философский запрет на символизм кассиреровского (не аристотелевского) толка связан с важной чертой естественного языка, являющейся одновременно этической нормой. Уже разбиралась такая игра с мячом, когда люди то перебрасывают его из рук в руки, то отбивают не схватив, то ловят и силой удерживают, то прячут его, то гоняются за ним. Начиная вроде бы следовать каким-то правилам, игроки не договариваются о них и не соблюдают их; проблемы выхода из игры тоже не существует из-за постоянного соскальзывания из одной в другую. Они играют в игры. Вдумчивый наблюдатель долго смотрит на развертывающуюся перед ним деятельность и начинает постепенно форму-

1 Так повторяющийся витгенштейновский пример с зубной болью уходит корнями в опыт двух мировых войн и солдатских смертей, но за больными зубами погибшие стоят не через посредство осознанной мифологической универсалии зубы-воины, а на уровне не нуждающегося в осознании телесного опыта, подобно тому как (наш пример) у девушки-подростка, дочери тогдашнего коменданта Кремля, видевшей осенью 1917 году расстрел из пулемета строя курсантов военных училищ, падение этого строя вызвало резкую зубную боль, которая перешла в продолжавшееся всю ее последующую жизнь неблагополучие с зубами. Ср. уменьшение жалоб на зубы у солдат во время войны. Приводя свои примеры с зубной болью, Витгенштейн не *думает* о солдатах; опыт образцового небывалого скашивания биологического человеческого существа миллионными массами присутствует в его письме непосредственно. Даже если он не сознает, почему у него повторяется пример с зубной болью, философ не оказывается ни в каком отношении беднее нас, расшифровывающих этот образ; наоборот, извлекая одну ассоциативную линию, мы упускаем собранную энергию, присущую рисункам мастера. К аналогичной неудаче вела бы попытка пересчитать детали «Автопортрета» 1917 года Оскара Кошки на его военный опыт. Витгенштейну важно полностью исключить расследования подобного рода. Замечено, что он отставляет мифологию в сторону так же решительно, как психологию и вообще «естественные науки». Проследивание смысловых связей всевозможного рода, несомненно бездонных, объективирует и тем самым ограничит принадлежность говорящего существа миру. Наша слитность с действительностью в любом случае полнее чем способно раскрыть любое научно-мифологическое исследование. Такое исследование имеет свою применимость, но отвлекает от философского дела. Разумеется, в связи зубов и солдат, в каждой семантической складке запрессована неограниченная мудрость, уходящая корнями в середину мира, и ее проследивание всегда будет открывать удивительные подробности. Но нам увлекаться ими не нужно. Ошибкой будет рисовать софийный ореол вокруг словесного значения. Здравее решить, что мудрость софии не наша, не нами устроена и в нас не нуждается.

лизовать правила такой игры, допустим биологические, продиктованные строением тела, особенностями возрастной физиологии. В такой механизации игры усилиями внимательного наблюдения нам однако что-то не нравится. Мы понимаем, что уловить модель всякого поведения можно, но нужно ли? В поведении упорядочивающего наблюдателя вольной игры угадывается что-то недолжное. Что именно? вроде бы всякое научное упорядочение подобного рода должно приносить какую-то пользу? Но нет. Нам хочется, чтобы люди на поляне вольно играли без правил. Нам будет грустно, если будет установлено, что их игра закономерна. Почему?

Если детерминирована всякая игра, то и человеческая цивилизация подчиняется как сложный кукольный театр тайным правилам. От такой перспективы делается жутко. Ребенок гарантирует нашу свободу. Он шире рамок цивилизации благодаря полной свободе своей игры вплоть до игры в игру. Если окажется, что все мы, включая детей, лишь заводные биологические механизмы, то я, открывший это исследование, почувствую своим долгом перечеркнуть собственные результаты и позаботиться о том, чтобы цивилизация по крайней мере в той точке, где я стою, не превратилась в рефлексологию.

Мы неспособны дать определение всем нашим действиям. То, что они в принципе не имеют определений, диктует не только реальность, но и этика. Пусть этический запрет на исследование закономерностей всякой игры не кажется обскурантизмом. В нем продолжается тема сократического мудрого незнания. Полярное различие между игрой и игрой становится в данной связи необходимо. Игре по правилам противоположна игра в правила. Вторую удобно обозначить греческим словом παιζειν. Его философский статус обеспечен известным фрагментом (52 Дильс-Кранц) Гераклита о вечности — играющем младенце, παῖς παιζων, и о царстве младенца, παιδὸς ἡ βασιλείη. Важная разница между игрой и игрой касается смены игры и включения смены в игру.

Фразу можно считать опытом расписания смыслов. Такой опыт часто кончается неудачей. Слово нельзя фиксировать. Это констатация или императив? С самого начала фиксация смысла не была единственной целью высказывания. Тенденции к закреплению смыслов всегда противоположно ожидание нового. Мы обычно бываем готовы к тому, что каждый поймет нас по-своему и скорее недовольны, когда собеседник не участвует в развертывании смыслов. Когда нас понимают только «от и до», мы склонны думать, что партнер не участвует в разговоре.

Философия, на распространенный взгляд, требует дефиниций¹. Философское приглашение к дефиниции однако, мы видели, не безобидно. Дать лексическое определение понятия оказывается тут не достаточно. Сократический ученик вовлекается в предприятие, сравнимое с тем, как если бы кто пригласил пройтись вдоль границы между враждующими государствами; она неудобна для прогулок. Философское разграничение понятий втягивает в войну особого рода, которая по Гераклиту (фр. 53) отделяет богов от людей, свободных от рабов. Наш набор омонимов надо дополнить полярной противоположностью дефиниции и дефиниции. Одна воздвигает род картонного забора, приглашающего его сломать, другая втягивает в войну вокруг границы. Слово живет не проводимой вокруг него условной изгородью, а вносимой им разницей между светом и тьмой.

Дефиниция не обязательна для слова. Основа фразы (мысли) не определенные элементы, как бы кирпичики, из которых составляется целое, а «положение вещей». Фраза улавливает его в той мере, в какой оно определилось. Должна ли она его копировать? Рисунок не обязательно должен быть копией. Говорящему за себя положению вещей достаточно обозначить себя с помощью первых попавшихся средств, о значении каждого из которых мы не обязательно имеем представление. Событие, когда оно достаточно определилось в себе, не требует дубля. Занятый своей темой (пример В.), лектор вдруг получает странное впечатление, что Королевский колледж Кембриджа горит. Имеет ли он при этом в уме изображение горящего здания? окажется ли его впечатление ослабленным, если его зрительной памяти не хватит на отдельные детали здания, если в ней возникнет образ другого здания или здания вообще? Разве обязательно должно быть дублирование между моей мыслью (фразой) и тем, о чем она? Возьмем портретное сходство. Похожесть хорошего портрета на оригинал не главное в нем. Похожий на меня образ я могу заказать каждый день на Старом Арбате или на Монмартре. Настоящий свой портрет я, возможно, не буду иметь никогда. То, что делает портрет хорошим, нельзя определить иначе как «молчаливым узрением ума» (Петрарка). Я *не знаю*, чем в таком портрете схвачена моя суть. Своей мыслью я схватываю событие, если схватываю его, не способом копирования, а способом портрета, о котором я понимаю, что он хорош, не умея определить и указать, чем именно.

1 Ср. выше с. 285 наблюдение Аверинцева.

Фраза (Satz) включает полагание (Setzen). Речь идет не о мнении, как вообще витгенштейновское внимание минует психологию. Требуется философская свобода — здесь уместно вспомнить отзывы современников о необразованности Витгенштейна, сопоставив это с замечаниями Хайдеггера о конце века образования, — чтобы заметить решающий факт. Мир для нас, думающих и говорящих, всегда такой и только такой, каким мы его успели уложить в мысли и слове. Всякое положение вещей будет для нас таким, каким мы его положим. Я вижу и знаю только такой мир. Кто приписывает Витгенштейну философию языка, боясь понять, что наше слово не мнение о вещах, а укладывание их. Не поняв, что мы полагаем словом и мыслью, мы принимает постройку собственного изготовления за целый мир. Дверь нашей постройки всегда открыта, но догадка, что мы архитекторы собственных тюрем, приходит в голову последней.

Мир складывается из фактов, которые не вещи и не встречаются среди вещей. Мы принимаем решение о том, имеет ли место факт или не имеет. Факты (пред)полагаются нашими предложениями, которые исходно суть акты воли, счастливой или несчастной. Предложения, рисунки или, в терминах «Голубой книги», портреты вещей предшествуют вещам в том решающем смысле, что заранее готовы уложить их в факты. Вещи получают себя по мере своего вхождения в логическую форму. Тратат 2.011:

Для вещи существенно иметь возможность быть составной частью того или иного положения дел.

Хотя вещи до нас принадлежат «действительности», идущее позже — установление мира — оказывается первым по существу. Вещи осуществляют в пространстве фактов.

В платоновском диалоге «Апология Сократа» обвинитель уличает философа в способности искусством слова представить задним числом худое добротным. Клевета ли такое обвинение? Оно стоит на многих принимаемой предпосылке, что вещи сами себя способны определить на правду-ложь, добро-зло. По Аристотелю, первое по природе (по своему бытию, существу) оказывается всегда последним для нас. Это критика человека, до которого всё доходит поздно? Да, но не только: здесь еще и та правда, что бытие дожидается человека, чтобы открыться через него в своей сути. Вещи ждут, когда будет постановлено, что имеет место (was der Fall ist). Что дело обстоит именно так и не иначе,

объявляет логическая форма фразы. Эксплицирование в логическом пространстве похоже не на проступание очертаний фигур из тумана, а на появление исчезающего стула.

Как уже отмечалось, бытийный статус такого стула интереснее его вещественного состава; он символ не в смысле подобия, когда по свойствам наблюдаемого можно судить о качестве исчезнувшего, а в аристотелевском смысле обломка, которому не хватает целого. Наблюдаемый стул отломан от исчезнувшего, которого ему не хватает; приставить, прицепить, приделать наблюдаемый стул к исчезнувшему получится только в *целом* их пары. Но что среднее между наблюдаемым и пропавшим? как такое среднее описать? есть ли у нас грамматика для описания стула с таким поведением?

Статистически преобладает половинчатая мысль, которая признает казус исчезающего стула нереалистичным. Как ей кажется, ничто не пропадает бесследно и не появляется беспричинно. Как раз самые фантастические примеры однако несут у В. главную тяжесть доказательства или, вернее, показа, к которому сводится его метод. В стуле, когда он появился, есть предельная отчетливость. Его немыслимая определенность создается появлением из чистого небытия. В исчезнувшем стуле есть столь же жесткая законченность отсутствия. Важно верить этому отсутствию и не проецировать на него туманные черты бывшего присутствия. Фраза подтверждает существование имеющегося и несуществование отсутствующего. Эта операция, по существу тавтология, ничего не прибавляет к факту, однако надежно выводит его в логическую область. Мысль должна, выйдя из тумана, утвердить существование или несуществование факта. Витгенштейновская настойчивость здесь заставляет вспомнить формулы поэмы Парменида.

Ныне скажу я, а ты восприми мое слово, услышав,
 Что на пути изысканья единственно мыслить возможно.
 Первый гласит, что *есть и не быть никак невозможно*:
 Это — путь Убежденья (которое Истине спутник).
 Путь второй — что *не есть и не быть должно неизбежно*:
 Эта тропа, говорю я тебе, совершенно безвестна,
 Ибо то, чего нет, нельзя ни познать (не удастся),
 Ни изъяснить.¹

¹ Пер. А. Лебедева.

Отсутствие присутствует с такой же определенностью, с какой присутствие нуждается в нем для своей целости. Возрождение парменидовской логики у Витгенштейна, вслед за Ницше¹, заслуживает специального изучения.

Развернем тему этого не прописанного в вещах перехода их в логическое пространство. Вещи, о которых идет речь в предложении, получают себя, так сказать, задним числом, когда наш поступок даст им место в бытии и небытии. Наш термин *воля* имеет в немецком языке два этимологических соответствия, *der Wille*, *воля*, и *die Wahl*, *выбор*. Поскольку мир располагается не в вещах, а в фактах, уточненных до *да* и *нет*, он всегда такой, как мы решили. Всё в нем зависит от того, что и как мы в конечном счете скажем (подумаем). В нас есть сколько угодно интуиции, вчувствования, предвидения. Телом и душой мы принадлежим софии вещей. Всё это немыслимое богатство не имеет значения, наша встроенная мудрость отменяется одним нашим словом.

Неопределимость слова сохраняет за ним способность быть не только стулом в его видимой фазе. Благодаря невозможности его фиксировать слово протягивается в ненаблюдаемое, оставаясь отчасти видимым, не в смысле размазывания видимого по невидимому, присутствующего по отсутствующему, а в смысле неопределимой границы. Можно ли представить себе стул со свойствами, показывающими, что временем он исчезает?

Символ в аристотелевском смысле сохраняет способность быть одновременно молчанием. Тезис «О чем нельзя говорить, о том надо молчать» (Трактат 7) не предполагает, что, вычислив сначала неким образом заповедные сферы, надо навсегда о них умолкнуть. Говорение полновесным, т. е. подлинно символическим словом есть одновременно молчание. Неся в себе хранимое им молчание, предложение уже не нуждается в том чтобы переливаться бездонными смысловыми глубинами. Изобразить пестроту вещей — вторичная и служебная задача для фразы, вмещающей диапазон от бытия до небытия. Нищее, если оно размахнулось от *есть* до *нет*, богаче любого содержания, которое всё равно не вместит все детали действительности. Цель слова хранение мира, которого дожидаются вещи. Мир удобнее хранится молчанием чем инвентаризацией вошедших в него частей.

Мы читаем философа, который на 30 000 страницах оставленного им

1 Ср. выше с. 261 слл.

наследия ушел среди всем слышимого говорения в хранительное молчание. Занятый своим делом, он почти никогда не объясняет его суть. Полстранички предисловия к «Философским замечаниям», подготовленным было к печати в 1930 году, залежались на десятилетия, как и сами «Замечания».

Эта книга написана для таких, кто дружелюбно расположен к ее духу. Ее дух другой, чем у большого потока европейской и американской цивилизации, в котором мы все стоим. Этот выражается в прогрессе, в выстраивании все более крупных и сложных структур, тот, другой — в порыве к ясности и прозрачности каких бы то ни было структур. Этот хочет охватить мир через его периферию в его многообразии, тот — в его центре — его существе. Так что этот нанизывает одно образование на другое, поднимается как бы ступень за ступенью всё дальше, тогда как тот остается там, где он есть, и хочет схватить всегда то же самое (dasselbe).

Я мог бы сказать, «эта книга написана во славу Божию (zur Ehre Gottes)», но сегодня это отзывало бы плутовством, т. е. было бы понято неверно. Это значит, что она написана в доброй воле, и насколько она написана не в доброй воле, стало быть из тщеславия и т. д., настолько ее автор хотел бы видеть ее осужденной. Он не может очистить ее от этих ингредиентов в большей мере, чем сам от них чист.¹

Ради хранения мира философ не хочет прогрессировать вместе с большим потоком технической цивилизации. Она тоже вся сосредоточена в мире, но хочет только развертывания его возможностей. Философ остается там, где нашел себя, приняв то, что есть. Названное в этом контексте «то самое» продолжает восходящую к Пармениду тему бытия-тождества. Бог, его честь, слава, написание книги в их имя названы с предупреждением, что эти слова нами поняты сейчас быть не могут. Они в своей неприступности остаются одной из загадок автора. Упомянутая добрая воля указывает, насколько — вплоть до взаимозаменимости терминов — этика неотделима от онтологии. Соответственно о добре мы не можем знать больше, чем о тождестве и отрицании. Вспомним, что наши фразы — портрет действительности, где существенны не подробность, не фотография, не размер, а качество.

Яростной ницетой витгенштейновского слова впитан опыт 20 века, очищенный от идеалов журналистики и публицистики, которая любит называть себя философией. Добро и зло, мир, человечество, Бог, вселен-

1 WA 2, 7.

ная, наука — всё (не обязательно прибавлять «для нас») не больше того, что мы подумаем и скажем, мера нашими суждениями мир. Мы не имеем и не знаем другого мира кроме установленного нами. Кто-нибудь скажет: невероятно, чтобы мы сами вкруговую укладывали свой мир, ведь он неким образом остается несмотря на человеческую активность? Активность укладывания мира не сокращается, а скорее наоборот возрастает с его обеднением. Для технической цивилизации земля никогда не перестанет быть полигоном. Мир, состоящий из двух, из одного элемента, из льда будет оставаться таким же полноценным объектом укладывания, как и богатый.

Солипсизм не оставляет места для сомнений в том, что мир будет решен, создан и уничтожен, спасен и погибнет так, как я увижу. Нет средств узнать, существует ли что-то иначе чем как полагаю я. Нет надобности исключать существование Бога, который знает лучше меня, но я могу уложить и Его тоже. Вначале, возможно, я чувствовал Его интуитивно; в конечном счете я сделаю интуицию и чувство тем, чем их полагаю. В минуты благочиния и умиротворения я мечтаю оставить Его как есть, но решит то, что мы думаем и говорим повседневно.

Почему в конечном счете решают мысль и слово? не правее ли М. М. Бахтин в философии поступка? Не в нашей власти знать, чем обернется поступок и получится ли он вообще. Ценитель возможностей, расширяемых цивилизацией, будет считать неестественной позу связанного, неспособного шевельнуть рукой. Видеть человека всегда таким требует трезвости. Поступающий не всегда знает, что им движет. Он опьянен иллюзией вхождения в неповторимую новизну, воображает себя творцом события и не сразу согласится признать свою немощь. От примера с зубной болью Витгенштейн переходит к сюжету боли в ампутированной ноге. Эта боль бессмысленна и не может вести к практическим действиям. Невозможно поступить тем, чего нет. В момент свободного творческого акта человек подчиняется необходимости и неспособен к произвольным движениям, как если бы у него не было рук и ног. Когда человеку остается только немощь, деятель умывает руки. В., наоборот, находит в ней опору в отсутствии средств. В России откровенно Розанов, более глубоко и последовательно Леонтьев и Лев Толстой допускали человеческую немощь. В ней воля остается только как выбор, т. е. решение, которое, как говорит это старинное слово, развязывает узел.

Под Моисеем мы понимаем человека, который вывел израильтян из Египта¹. Моисей был человек или миф? израильтян надо понимать этнически или как-то иначе? все ли они были выведены из Египта? И дальше: что такое имя? что такое понимать? Однажды начавшись, объяснения не кончатся сами собой. Мы кладем им предел, говоря: достаточно; всё ясно; объяснять больше ничего не надо. Решаем, что объяснений хватит, мы. Объективного критерия окончательного объяснения, например документально подтвержденного полного лексико-грамматического анализа каждого примененного нами слова, не существует (§ 91).

Признаком достаточности объяснения оседает в конечном счете чувство облегчения от уверенности, что то и то обстоит так и так. Это чувство создается не доказательствами, а самим фактом, который должен сам непосредственно убеждать, что он такой, какой есть. Но если само собой разумеется, что факт таков, достаточно собственно только указать на него; тогда *любая* фраза его удовлетворительно опишет. Уточнения потребуются только в той мере, в какой кто-то, в том числе сам говорящий, думает и полагает иначе. Мы можем подумать такое, чего на деле нет; те же самые, способные с облегчением пережить достоверность факта, мы можем усомниться в очевидном.

Обстоит ли всё так как оно обстоит или нет, *переживание* (не)тожества проще, чем можно выразить словами, и случается раньше, чем мы начинаем думать и полагать. Опыт тожества успевает опередить каждый шаг опознания и высказывания факта. Как «чистейший кристалл», далекая перспектива тожества высвечивает всякое сближение и различие вещей и понятий. Простота тожества оказывается строже и конкретнее любых прагматических идентификаций и расподоблений, которые всегда остаются в той или иной мере уже обобщениями (§ 97, ср. Трактат 5.5563).

Требуется ли для того, чтобы фраза состоялась, что-либо кроме логического кристалла, проблеска чистого тожества (нетожества)? Нет. Помимо него фраза не обязана иметь ничего, ни даже определенного смысла (§ 99). Когда она остается внутренним показыванием, то не нуждается и в выражении. Что моментального блеска тожества достаточно для обеспечения всей нашей речи и что его требованию удовлетворит *любое*

1 Филос. исслед. I 87. Далее отсылки только на параграф прямо в тексте.

предложение, кажется невероятным. В нашей культуре мы имеем многочисленные общепринятые образцы, которым должна соответствовать, например, школьная учебная фраза. Мы ослеплены этими идеальными образцами (§ 100). Следовать им не так уж трудно. Идеалы продиктованы стандартными языковыми играми нашей культуры. Они никогда не охватывают все возможные языковые игры и не дают даже подозревать о существовании многих. Нашу мысль и речь подмывает следовать патентованным образцам. Идеи сидят у нас словно очки на носу, и всё, на что мы смотрим, нам видно через них (§ 103).

Идеи претендуют на свою логику и свою кристальную чистоту. Их не удовлетворит *никакая* обыденная речь. Поэтому, чтобы вопреки идеям держаться на плаву (§ 106), надо не упустить опору естественного языка и вещей повседневного мысленного обихода. Иначе, обманутые логикой идей, мы потонем в безысходных прояснениях или окажемся в плоскости формальной логики, где как на ровном ледяном поле из-за отсутствия трения условия для движения идеальны, но именно поэтому нельзя тронуться с места. Скорее на шероховатую почву (§ 107)! Для этого «мы переводим слова обратно из их метафизического в их повседневное употребление» (§ 116).

Негативная задача такого перевода — подсчет шишек, которые набивает себе рассудок, наскakiвая на границы языка (§ 119). Труднее положительное дело философии. Я растерян, как найти себя (§ 123)? Мне нужна школа. Сняв очки идей, я оказываюсь в густом тумане, где не умею вести себя. Ich kenne mich nicht aus. I don't know my way about, «не знаю как быть». Без идей я мало что знаю о себе и о том, куда мне идти. Фразы языковых игр перестали звучать для меня, потому что померк свет руководящих норм. До меня доходит только *всеобщая форма* фразы.

В каждой фразе внятна теперь только она. Эта первая весть, доносящаяся до моей потерянности, похожа на звон или ритм и не имеет фиксированного выражения. Простейшая, казалось бы, фраза «*дело обстоит так и так*» все-таки еще не элементарна, она не всеобщая форма фразы. Я взял ее из обыденного употребления, например «он *объяснил мне свое положение, сказал, что дело обстоит так-то и так-то и потому ему нужен аванс*»; ее можно заменить другой фразой (*вот так, вот как оно всё есть*) или просто знаком формальной логики «р». Ни рассмотренная фраза, ни ее заменители, ни голое «р» на всеобщую фразовую форму не тянут, они лишь ее переменные. Искать среди них все-

общую форму заставляет их сходное звучание, единый фразовый тон (Satzklang).

Да? не слишком ли легко ты хочешь выкрутиться? Мы ждали определения языковой игры и всеобщей формы фразы, *die allgemeine Form des Satzes*, а ты разбираешь казусы. Неужели всё доступное нам обобщение и здесь тоже ограничится прослеживанием переливчатого семейного сходства, когда надо не думать, а только смотреть (§ 65, 66)?

Вспомним о неуловимой ауре, позволяющей проследить семейное сходство разных лиц. И точно так же не поддается формализации фразовый тон? а что если он слышится всегда там, где речь выверяется на истину-ложь? Нет. Хотя фраза всегда задевает механизм исчисления истины-лжи, она начинает складываться раньше; неуловимое тождество, вокруг которого вращаются фразовые переменные, опережает этот вопрос (§ 134–136). Значимость, *Bedeutung*, весомость, значительность, *Wichtigkeit* фразы не сводится к ее истине или лжи.

Искомая формула, всеобщая форма фразы выявится во всяком случае не в виде новонайденной конструкции. Всякое настоящее понимание, как уже сказано, ведет через переживание особого рода. Ищущие втягиваются в ученичество, которому в любом случае свойственны постепенность и дисциплина. Каждая новая ступень ученичества переводит человека в новое состояние и связана с чувством облегчения. «Теперь я умею читать!» Переживания, облегченного чувства, нового поведения нет в случае обучающихся машин. Человек, только делающий вид, что он проходит ступенями школы, не будет иметь характерных ощущений, связанных с достижением; он будет иметь ряд ощущений, характерных для мошенничества (§ 155, 157, 159).

Никто из нас не стоит неподвижно на месте. Научение идет всегда. Не обязательно представлять себе дело так, что философская школа пользуется экзотическими приемами внушения, развития наших внутренних задатков. Всматриваясь в процесс обучения, мы увидим простоту его шагов. Достаточно понимания, что учитель нас ведет.¹ Кто-то в игре берет нас за руку, иногда завязав нам глаза. Партнер ведет нас в танце. Собеседник, увлекая разговором, ведет нас на прогулке. Мы чутки к ведущей руке (§ 171, 172). Меня ведут по печатному тексту с таблицей перевода печатных букв в письменные. На моем лице выражение заботливого бухгалтера, я стараюсь отключить свою волю, аккуратно вывожу

1 Ср. в готском *laistjan следовать за, учиться*. Ср. тж. *Августин*, Об учителе.

буквы. Тщательность в лице, готовность в позе однако лишь признаки характерного переживания ведóмого, особенной атмосферы, в которую он окутан. Она может исчезнуть при анализе.

Я сосредоточенно провожу линию параллельно заданной, потом, с той же заботой, под углом к ней. Поджатые губы, склоненная голова еще не исчерпывают всё мое состояние, есть кроме того определенное внутреннее переживание, но какое? Оно настолько *мое*, что назвать его не легче чем мою суть. Сосредоточенное следование похоже на существо моей воли, *der Wille* (§ 173, 174). Мы не скоро привыкнем к такому пониманию воли. Воля казалась нам скорее самостоятельной инициативой, чем старательным следованием правилу.

Повторяя по просьбе учителя крючок на листе бумаги, я делаю даже что-то еще более простое чем следуя указаниям. Следование, когда я говорю это слово, обрывает оттенками, которых не было в моем действии элементарного повторения того, что показано. Примитивное повторение, если вдуматься в него, окружает ореол непонятности; само в себе оно казалось моим естественным поведением. Не имеем ли мы в первичном примитивном повторении дело опять же со ступенями исходного тождества (§ 175)? Во всяком случае при перерисовывании крючка формула моих действий, хотя я могу создать ее и пользоваться ею, не обязательна. Как-то *так* сам собой я попаду в извивы крючка. Когда у меня получится, я чуть вздохну облегченно, словно после летучего испуга. Я чувствую, что сумею, продолжая, еще раз повторить крючок.

Это *умею* крайне просто. Задним числом, объясняя уверенность своих действий, я могу сказать что-то вроде того, что ощутил переживание, связанное в моем опыте с достижением успеха. Никакого сопоставления переживаний в свете прошлого опыта на деле мне конечно не требовалось, чтобы воспроизвести фигуру. Происходило что-то намного более стихийное. При неудаче повторения крючка объяснению причин неудачи тоже предшествовало элементарное неформализуемое ощущение, что-то вроде тягостного чувства неблагополучия (§ 179). Оно сводилось к опыту нетождества; я сделал что-то явно *не то*.

Зададим теперь вопрос, бывает ли так, чтобы дело «следовать правилу» делал только один человек и только один раз в жизни? Это один из множества вопросов, на которые отвечать не надо. Он содержит в себе ответ и вместе с ответом служит примечанием к грамматике выражения «следовать правилу». Сказать «следую правилу» значит обязательно

подразумевать поведение обычное и привычное, встраивание в институт, традицию (*Gepflogenheit*). *Обычное* неким образом мне известно. «Следуй правилу», «делай так», «слушай меня», или «давай играть вот в какую игру» — эти предложения я встречаю не как новости, и я не помню, когда в моей жизни они были такими, чтобы я с удивлением прислушивался к их тону. Сделать то, что делает другой, что мне показывают, повторить жест, звук было с самого начала чем-то естественно моим (§ 199). Ребенок не научается, а *отучивается* со временем подражать, например, голосу животных — когда кто-то или он сам замечает, как это странно, мяукать в точности как котенок, когда ты все-таки человек. Способность следовать *всему* сменяется привыканием к *принятому*. Но я умел — скажем даже, любил — следовать заданному задолго до того, как мне показали, каким именно обычаям надо учиться. Я не потому стал следовать правилу (приказу), что меня этому научили; правило и приказ ничего не прибавили к моему умению следовать; они *ограничили* то мое умение определенной игрой или системой.

Воспользуемся русским словом *поведение*. Говорят: плохое поведение. Я сам замечаю, что меня *ведет*. Потом мое поведение становится лучше, приходит в согласие с правилами, которыми я начинаю *руководствоваться*. Вело что-то меня всегда, теперь я перестроил свое прежнее поведение в согласии с новым руководством. А если перестроил, сделаем вместе с В. его типичный ход, то значит и *не* перестроил, новому правилу следую и не следую. Разве потому я теперь половинчатый, что скверный и не люблю дисциплину? Вовсе нет, наоборот: потому что *слишком* мое это, следование; ведет меня всегда, и приказ не может выбить из меня мою природу. Я таким образом всегда делаю больше чем мне приказывают; никогда не могу ограничить себя тем водительством, которое меня переучивает. Как если бы всякое переучивание приходило уже поздно, когда я следую водительству, оставить которое не могу.

Новое руководство внятно мне только потому, что я с незапамятных времен уже так или иначе веду себя, руководствуясь чем-либо. Никакое руководство для меня не новость, а всегда *еще одно* в порядке перетолкования и перенаправления всегдашнего указания, которому я уже следую (§ 201). Всякое поведение, введенное в рамки, оказывается уже толкованием того поведения, каким меня вело с самого начала.

Думать, что я следую данному правилу, значит уже интерпретировать мое поведение. Поэтому не бывает, чтобы я следовал правилу один, частным образом, *privatim*. Следя за тем, как я себя веду, я уже толкую

свой образ действий. Знания и веры в то, что я поступаю по правилу, от меня не требуется; я это умею и так (§ 202).

Теперь, я собственно всегда только то и делаю, что изобретаю новые языковые игры. Зададим еще один из вопросов-ответов: не играй человечество никогда ни в какие игры, мог бы я изобрести новую игру? Новизна, и с ней история, возможна только по канве исходной игры, т. е. следования, которое не началось, а само и есть начало (§ 204). Интересно, что оно такое. Сейчас В. будет пробиваться к нему. Это трудно. Отчуждающе звучит, что первого, совершенно нового не может быть там, где ничего не было до того, что новое делается только по канве существующего и безусловным началом может быть лишь *и так далее*.

Требуется смелый шаг. Похоже, что слова *указание, правило, обычай, следование* пока еще слишком сложны для стихийной простоты того, к чему мы идем. Представим себя внутри племени, язык которого нам совсем чужой. Мы не различим, кто и когда тут дает указания, кто их понимает, им следует, кто против них бунтует, но разве мы не признаем образ действий членов этого племени поведением? Они ведут себя. По чему ведут, по какой нитке? Это мы постепенно узнаем в меру ощущения ими правильности и неправильности своих действий, ведь они будут обязательно обсуждать поступки свои и друг друга и спорить о них. Мы во всем разберемся, полагаясь на одинаковое между нами и ими. Поведение есть общая всем людям форма жизни (§ 206).

Где можно наблюдать всечеловеческий способ поведения, *gemeinsame menschliche Handlungsweise*? Всего ближе, конечно, на самих себе. Начнем разбираться, что такое нам и для нас руководство, правило или указание, попытавшись сами объяснить кому-нибудь, что такое правильность, соответствие, то, что надо, то самое (*regelmäßig, gleichförmig, gleich*). Как у нас получится такое объяснение? Объяснить простым именованием мало. Я должен буду, наверное, на примерах научить, приучить ученика. Я начну внушать ему при этом то, что сам ощущаю как правильность и соответствие правилу. Тут я, пожалуй, не смогу придумать ничего лучше как применить приемы, которые реально используются, когда человеческого младенца приучают еще до школы к понятию порядка в широком смысле: показывают цвет и просят отыскать такой же, просят найти или срисовать определенную фигуру, продолжить орнамент, продолжить ряд точек «.», чтобы получилось так: «.». Я вывожу фигуры и ставлю точки, он повторяет, и я удовлетворенно хвалю его, строгим голосом не соглашаюсь или подбадри-

ваю, ожидая от него успеха. У него появляются соответственно переживания удачи, довольства или наоборот тревоги. Одобрить и подбодрить можно не словами, а только тоном голоса, благополучного или нет. Слова «и так далее в том же роде» можно тоже заменить жестом, как бы указанием на какое-то место, куда я посылаю ученика.

Здесь нужна большая осторожность. Одобрительно кивая головой, я жестом показываю «продолжай» только в том случае, если имею в виду «продолжай до конца доски», или «хорошо, двух строчек вполне достаточно». А что если я задумал «продолжай до бесконечности»? Никаким жестом это показать я не смогу. Ученик, продолжая ряд точек, поглядывает на меня и ожидает приказа «хватит». Что произойдет если такого приказа не будет (§ 208)? Допустим, крайне прилежный ученик будет продолжать ряд на многих листах бумаги до глубокой ночи. Потом он что, прервет работу, глядя виновато на меня: вот, засыпаю, больше не могу, человек слаб? А был бы не слаб, то продолжал бы и получил результат? при неограниченных поставках бумаги бессмертный ученик дошел бы до бесконечности? Нет. Стало быть, ученик прерывает ряд не потому что он по-человечески слаб. Он — или я ему веляю — мы прерываем ряд, потому что не имеем права, кивая на бесконечность, сделать жест «и так далее». Такой жест делают однако многие, в том числе математики. Новоевропейское понятие *предела* — по сути дела жест «и так далее». Он неправомерен. Учение, задумывающееся о бесконечности, в принципе другое чем то, где достаточно пользоваться конечным (§ 208). Только кажется, что например сравнивая цвета мы благополучно остаемся в кругу конечного. Скоро придется задуматься о бесконечных оттенках.

Всякое следование однако сначала открывается как элементарно простое. Попадание в *то (же) самое* создает доходчивую ритмичность. На почве ритма возникает — через повторение того самого — некая протяженность. Она создана тождеством. За тождеством естественно следует нетождество — всякое тождество уже есть нетождество, — а с нетождеством появляется *другое*. Так элементарным следованием тому самому создается ряд вещей. Мы знаем это по себе как простейшее и исходное. Почему *всё* не должно было возникнуть в том же порядке?

Но, возможно, мое знание (умение) не ограничивается простейшим следованием? Я на самом деле знаю больше, чем способен показать на примере? Нет, всякое мое выходящее за рамки примера и показа понижение только самообман. Я его жертва, когда предлагаю понятие беско-

нечной линии: она якобы та, которая выходит за всякую конечную линию. *Никуда за рамки конечной линии я в этом «понятии» не выхожу.* Я снова и снова воображаю себе опять же линию, только длиннее первой (§ 209). Объяснение через понятие сделало со мной вот что: подсунило вместо настоящего опыта бесконечности нечто неопределенно-конечное. Так обманывает всякое объяснение. Оно хуже примера, Beispiel. Это хорошее немецкое слово помогает увидеть: пример — как примеривание к игре, в которой мы собираемся играть. Примериваясь к ней, я уже и играю. Тогда я трезвее понимаю, что есть ситуации, когда игра не получается. Со стулом, который исчезает, играть неудобно или даже невозможно.

Возьмем случай, когда у меня страх перед учителем, дающим мне указание продолжить числовой ряд. Тогда я буду действовать быстро, стараясь изо всех сил. Самое интересное, у меня не будет ни малейшего смущения, если я не буду знать, каким образом это у меня получается, понимаю я алгоритм своих действий или нет: лишь бы получалось (§ 212). Пример достаточно фантастический, чтобы догадаться: в нем дано то, что происходит всегда со всеми. Постоянный страх и тщательное поведение.

Когда страх отступит, задним числом я могу вспомнить и может быть даже сформулировать, как я вел себя выполняя приказ. Если вспомнить не могу, сошлюсь пожалуй на то, что действовал по интуиции. Но и объяснение, и ссылка на интуицию поднимают голову, когда дело уже успешно сделано. Они не были нужны для успеха; особенно интуиция. Ведь в случае неуспеха я не скажу, что меня вела интуиция, и не смогу оправдаться тем, что интуиция мне как раз подсказывала другое, но я почему-то ее не слушал.¹

В упражнениях подобного рода мы осваиваемся с опытом тождества. Сквозной простоте тождества отвечает разнообразие его переживания. Тождество оказывается в свете этого разнообразия богатым или вообще самым богатым событием. В своей чистоте оно отталкивает попытки легко взять его. Часто уверенным тоном говорят: «Вещь равна самой себе; видя перед собой одну вещь, вы видите тем самым тождество». Нет, видя вещь, равную самой себе, мы видим две вещи: одну и ту же самую. Случай не отличается от того, когда я вижу две отдельные равные вещи.

¹ Отношение к интуиции одинаково у Витгенштейна и Карла Поппера, см. выше с. 296.

Разве в таком случае я должен говорить, что вижу одну вещь, равную самой себе? Если нет, то и видя вещь, равную себе, я вижу их две (§ 215). «Вещь тождественна самой себе» — «самый красивый пример бесполезной фразы» в беглой речи; во вдумчивой это уже ошибка. Ее делают, увлекшись особого рода игрой. Мы упаковываем вещь в ее собственную форму, как дети укладывают игрушки в коробочки (§ 216). Игра взрослых в отличие от детской не безобидна. Она приучает воображать, что существует пространство, в котором припасены места для вещей. Этим она отвлекает от чистого тождества к его конструкту.

Как у меня получается делать то самое, чего требует правило? Я веду себя так, как оно велит. Чем я докажу, что следую правилу? Никаких объяснений не хватит. В конце концов последним доказательством того, что я следую правилу, будет мое поведение (§ 217). Вставляю ли я это свое поведение в правило как куклу в коробку? Нет. Правила теперь уже нет вне меня. Мне нечего и некуда вкладывать. Я со своим поведением и есть правило.

Вернемся к ситуации большого страха перед учителем. Я продолжаю под нависающей угрозой строить по заданному правилу числовой ряд. На второй план, неактуальный для меня, отступает объяснение того, как мне это удастся. Одно из уже рассмотренных предположений: меня ведет интуиция. Допустим, я развертываю ряд $2\ 2\ 2\ 2\ \dots$. Нужна ли для его продолжения интуиция (§ 214)? Предположим, что числовой ряд это рельсы, ведущие в бесконечность, из которых видна только та часть, которую я уже выписал на листе бумаги (§ 218). То, что я следую одному и тому же правилу, можно представить в том виде, что все стрелки уже окончательно переведены и на всей бесконечности рельсов выбора для меня больше нет. Так может быть на самом деле? разве существует бесконечный ряд чисел, выписанный через всё пространство до конца? Об этом бесполезно говорить; всё равно его никто не видел и не увидит. Но не бессмысленно говорить, что ко мне лично дело повертывается именно таким образом, как если бы где-то он был окончательно выписан; для меня, выписывающего например ряд $1\ 2\ 3\ 4\ \dots$, выбора нет; проведен ли он уже где-то до бесконечности или нет, я следую ему слепо. Так незрячий шел бы по шпалам (§ 219). Страдаю ли я оттого, что не пользуюсь способностью выбора? Станным образом нет. Я склонен даже говорить, что большой страх *освободил* меня от обязанности выбора.

Надо ли тут сказать, что страх причина моих действий по правилу? или что мои действия подчиняются строгой детерминации? Не страх

причина того, что я знаю как в ряду 2 2 2 2 ... выводить очередную цифру, я это умел и без страха. И бессмысленно говорить, что очередная двойка детерминирована предыдущей; выводя такую же, я ощущаю удовольствие от попадания в тождество. Тождество тогда *причина* того, что я вырисовываю такую же двойку? видя двойку, я попадаю в детерминацию причинной зависимости и автоматически вырисовываю такую же двойку? Такой детерминации я не чувствую. Я скорее горжусь тем, что мне удастся сделать *то самое*. Вырисовывая точно такую же двойку, я испытываю что-то другое чем причинную зависимость или детерминацию.

Что же тут происходит? Я выхожу из цепи причин и следствий в *логику* (§ 220). У моей способности двигать рукой есть причина: я поел и пока еще работает физикохимия тела; она перестанет работать с наступлением смерти. Но у радости, что я вывел точно такую же двойку, а не вывернул ее наоборот, причина какая? Вот эта самая, что я угадал в тождество. Разница между двумя этими причинами так велика, что лучше было бы не пользоваться в обоих этих случаях одним и тем же словом. У того, что я могу двигать рукой, причина в *прошлом*: у меня уже есть тело и я хорошо поел. У того, что я *именно так* двигаю рукой, причина разве двойка, которую я вижу слева? вовсе нет, потому что она не детерминирует движение моей руки, которую может повести не туда. Причина — желание попасть в ту самую фигуру. Эта причина ведет меня из *будущего* успеха. Ведет цель: надо сделать так, чтобы.

Такую причину, оставляя это слово для научного употребления, В. причиной уже не называет. Он говорит, не совсем удачно, о «логической обусловленности», *logische Bedingtheit*. Неловкость выражения происходит от странности топика, куда он нас вводит и где одновременно осваивается сам. Причина осталась в метрическом пространстве, с которым топика мира не пересекается.

Дальше. Задавая мне правило продолжения числового ряда, кто-то написал двойку небрежно, безответственно. Буду ли я теперь воспроизводить эту небрежность? Вовсе не обязательно. Хотя мне дана в образец плохая двойка, я неким образом знаю, как сделать хорошо (§ 222). Тут *два* случая: 1) я впервые вижу двойку и она для меня отныне образец вместе с небрежностью, которую я старательно воспроизвожу; 2) я раньше уже видел двойку. Какому правилу я следую, когда теперь говорю, что одна из двоек правильнее? Ни одному из начертаний, они все с теми или иными отклонениями! Платонической идее двойки в небесах? Но она не имеет там начертания. Тогда чему? откуда я знаю, выво-

дя собственную двойку, которой нигде никогда не видел, и естественно рискуя, что она правильная? чему следую? — Ничему из того что когда-либо видел. Я снова следую, если можно так сказать, тому, что будет: что я выведу *то самое* (что надо). Отсюда становится еще яснее, что заданный образец двойки не причина моих действий.

Выводя очередную двойку, я не смотрю ежесекундно на образец, нервно следуя его извивам. Он мне, конечно, правило, но вот странное дело: мне вовсе не обязательно, следуя правилу, ежесекундно оглядываться на него и напряженно прислушиваться к тому, что оно нам подсказывает. Мы сами становимся себе правилом. Правило нам велит всё одно и то же. Это как если бы тренер говорил: делай как я; я делаю всё одно и то же, я... (§ 223). Поэтому, следуя правилу, я не выбираю: выбирать из тождества, так сказать, некуда. Или, если хотите, можно: выбирать каждый раз всё больше именно его, подобно тому как, следя за тренером и многократно повторяя его движения, я словно выбираю каждый раз *всё более то самое*, что он мне показал.

Делать то самое, что мне показывает тренер, я был готов раньше чем он показал. Сделать как он я конечно не умею, но следовать руководству — в важном смысле это первое и раннее или единственное, что я умел всегда. Тут поможет замена слова *правило* словом *согласование*, Übereinstimmung (§ 224). Согласование чего с чем? Пример с небрежной двойкой показывает, что не копии с образцом, а, странно сказать, одинаково образца и копии с *тем самым*. Согласование касается темы тона. Вспомним о фразовом тоне¹. Только в нем улавливается то общее, что объединяет все фразы. Можно ли сказать, что тождество есть особый тон?

Применение слова *правило* переплетено с применением слов *то же самое*, как *фраза* — с *истинно* (§ 225). Истина в философской традиции определяется как согласование понятия и вещи. Правильнее, догадываемся мы теперь, говорить о вещи, понятии, фразе и истине в свете *того (же) самого*. Забегаящим вперед обобщениям однако снова предпочтем приучающие упражнения и отдельные случаи. Достаточно пока, что впредь мы уже никогда не повторим бездумно дефиницию *veritas est adaequatio intellectus et rei*. Стоит отвлечься от *случаев*, считать тождество чем-то известным и формулируемым, как мы запутываемся. Например: записывая числа ряда 1 3 7 15 31 ... , я в каждой позиции делаю то же са-

1 См. выше с. 366.

мое или что-то другое? Скорее, то же самое, но моя рука выводит каждый раз что-то совсем другое. Мы видим человека, который каждый раз делает всё другое и другое, например пишет 63 127 253 507 1013; поспешим ли мы сказать, что он не следует никакому правилу? Нет; когда мы поймем правило, которому он следует, то опять же увидим его делающим каждый раз то же самое. Еще случай. Каждый день я говорю кому-то: «Завтра я к тебе приду». Повторяя именно эти слова в точности так же, как в первый раз, я делаю при этом каждый день то же самое (§ 226)? как определить в таких случаях тожество? Если кто-то возьмет на себя ответственность вынести за скобки поведение и считать обещание прийти завтра *фонетически* тем же самым, ему понадобится аппаратура для записи и идентификации звучания фразы. Даже перечислить проблемы, которые тут возникнут, трудно. Если же под *тем же самым* иметь в виду тон, ритм, семейное сходство, то скоро придется сказать, что ниткой ритма прошито вообще всё. Так в африканском оркестре бьют разнообразные барабаны, держа каждый свой ритм. Мы дошли бы так до того, что везде тожество и всё состоит из тожества.

Продолжим упражнения с тожеством. «Определенный ряд имеет для нас *одно* лицо!», говорим мы (§ 228). Какое-то другое, чем лицо правила? если другое, значит мы следуем не только правилу? Выписывая ряд 1 3 7 15 ... , я не думаю, не гадаю и не хочу следовать ничему кроме увлеченного мною правила. Мы смотрим правилу в рот, и его лицо, если хотите, отличается от него самого, но именно только тем, что имеет всегда одно и то же лицо. Оно положительно окрашено. Оно может отпугивать своей сложностью, но одновременно успокаивает нечеловеческим постоянством выражения. Мы охотно идем в школу правила потому, что оно берет за руку и ведет наше волнующееся человечество. Правило делает это своей надежной одинаковостью. Бесконечность, терявшаяся где-то далеко в конце ряда, проглядывает во рту правила, когда оно поворачивает к нам свое не меняющееся лицо. Бесконечность, которая казалась такой проблемой из-за своей немыслимой далекости, уверенно звучит в ритме правила и дана вся здесь в голосе, который говорит: «Смотри, я делаю всегда то же самое». Мы искали ее в «и так далее» и нарвались на ту проблему, что трудно увидеть человека, прошедшего всё «и так далее» до конца; на споры о том, хватит ли бумаги, чтобы выписать на ней весь числовой ряд до конца, и хватит ли вещей в мире, чтобы материально обеспечить числовой ряд. В счастливом освобождающем решении мы видим бесконечность в лице правила. Послушно глядя прави-

лу в рот, мы слышим от него всегда одно и то же «и так далее». В нем на нас дышит не беспокойная и проблемная, а радующая бесконечность. В правиле и, еще конкретнее, в наглядном примере выполнения правила, например в правильно построенном отрезке числового ряда, здесь и теперь располагается последняя инстанция (§ 230), т. е. до конца всё, что, в поле данного правила, я могу знать и делать. До конца числового ряда идти не надо.

Вместо движения в бесконечность достаточно убедиться в правиле и поверить в него (§ 231). Для этого требуется зрение, аналог которому мы знаем в античности. Античный наблюдатель не нуждался в микроскопе и телескопе, потому что довольствовался наблюдаемым отрезком бесконечного ряда, имея его весь в виду. Отчетливое выражение этому опыту дает фрагмент Анаксагора В 3:

Ни у малого нет наименьшего, но всегда [еще] меньшее (ибо бытие не может перестать быть путем деления), и точно так же у большого есть всегда большее. И оно равно малому по множеству. Сама же по себе всякая вещь и велика и мала.

Лично я, удобно близкий для наблюдения, как угодно велик и как угодно мал. Во мне космос весь под микроскопом и во мне же он увиден в телескоп, с тем отличием от современных приборов, что разрешающая способность неограниченна. Античный физиолог имеет лабораторией окружающий мир с собственным телом, сплошным датчиком, одновременно малым до бесконечности и таким же большим.

Вернемся к правилу. Нужно ли ждать вдохновения, чтобы следовать ему? Внутренний голос, велящий мне вести линию таким-то образом, сделал бы мое действие неповторимым; я не смог бы научить другого такому действию. Конечно, другого можно научить чуткости, искусству вслушивания в подсказки вдохновения. От него однако тогда нельзя будет потребовать чтобы он делал как я (§ 232). *Правилом* своих действий я назвать вдохновение не могу, ведь в следующий момент снова прежде чем действовать придется ждать подсказки внутреннего голоса, даже если он велит то же самое. — В более простом смысле действие по вдохновению однако остается следованием правилу. Слушаясь внутреннего голоса, я стараюсь делать именно то самое, что он внушает. Интуиция оказывается тут вторична по отношению к следованию правилу. Ее можно назвать следованием *мгновенно меняющемуся* правилу. Можно вообразить себе арифметику, в которой одаренные дети ориентируются каж-

дый по-своему, слушаясь внутреннего голоса и следуя ему. Сосчитывая числа, они заняты чем-то вроде сочинения музыки (§ 233). Чуткость к внутреннему голосу подобна музыкальному слуху. Верно ли, однако, что музыкант никак не может передать другому, что́ его ведет? Передать опыт внутреннего голоса, конечно, невозможно, но слушатель музыки узнаёт в каждом из ее непредсказуемых движений *то самое*, причем именно в меру верного следования композитора тому, что внушало ему вдохновение. Создается ли впечатление чуда сочетанием неожиданной новизны с тожеством? Нет. Сама по себе небывалая новизна звуков не всегда радует. Чудом каждый раз ощущается попадание в тожество. В таких случаях говорят, что музыка выражает то самое, что я чувствую, или то самое, что и я тоже мог бы сочинить. Что́ кроме привычки мешает и в арифметике тоже «на каждом шагу ощущать водительство правил как чудо, изумляясь например тому, что мы приходим к согласию? (Скажем, благодаря за это согласие божество)» (§ 234). Удовольствие от опыта тожества стерто для нас только привыканием. По существу угадывание в *то самое* не менее удивительно в обыденной жизни чем в высоком искусстве. Невозможность заглянуть за тожество естественно заставляет думать о божественной поддержке того удовлетворения, которое связано с согласием.

Отклоняя тезис о невозможности правила для одного человека, мы не спорим с Витгенштейном. Дело не в том что спор с ним труден ввиду чрезвычайной силы его позиции. Нашей целью с самого начала не было согласие или несогласие с ним. Мы лишь подхватывали некоторые его темы или развертывали другие, близкие. Развернутая им топика помогает при этом не меньше чем математика при решении физических задач. Не выходя в плоскость мнений, мы разбираем жизненную форму, которая остается общей при любом сходстве и расхождении взглядов (§ 241).

Кто-то, постоянно следя за данной ему для руководства линией, проводит кривую, закона которой мы не понимаем. Его линия то удаляется от заданной, то сближается с ней без уловимого порядка. Можно ли еще считать первую правилом для второй? Да. Первая неким образом внушает (*eingibt*) обучающемуся, как он должен себя вести (§ 237). Так виртуоз устного счета неизвестным путем получает верный результат. Он строго следует параметрам заданной задачи, при том что правило, по которому он действует, не видим ни мы, ни часто он сам (§ 236). Всякий раз он получает то самое, что нужно (правильный результат вычисле-

ний), что удовлетворяет его и зрителей. Подобным образом ведет себя композитор. Он не умеет объяснить себе и нам способ своих действий. Попадание в «то самое, что нужно», у обоих остается единственным правилом их поведения. Действуют ли тут еще какие-то другие правила, не имеет большого значения.

Что если тот, кто выводит странную линию, только делает вид будто следит за образцом, а в действительности его линия внушена ему внутренним голосом? Делает ли он только вид или честно следует за образцом, большой разницы нет. Тождество образцу, заданному извне или внутреннему, остается в обоих случаях правилом. Так ли существенно, что образец иногда не виден нам? Он во всяком случае виден тому, кто им руководствуется. Разница тут не в наличии образца, а всего лишь в степени его внешней наблюдаемости¹. Помня о несущественности этой разницы, мы можем спокойно остаться при витгенштейновских примерах простейших рядов, как 1 2 3 4 ... или 2 2 2 2 Базой в любом случае остается стихийно простой уровень сколь угодно сложного правила. Чтобы я мог уверенно следовать правилу неограниченно долго, оно на этом уровне должно быть самопонятно (*selbstverständlich*) с такой же ясностью, как для меня само собой разумеется название красный для красного цвета (§ 238). Цвет, тон, ритм входят в лицо правила; послушность уходит корнями в звук (ср. выше *Satzklang*). Числовой ряд благодаря единству лица (ритма) остается на всем своем протяжении тем же самым. Что он строится не через прибавление элементов, мы видели при фронтальном разборе «Трактата»². Можно говорить о пульсе ряда или о его собирании на каждом шагу в точке, которая в меру сосредоточенности на ней оказывается всем. Так аристотелевский перводвигатель сам остается неподвижным самотождеством. Возвращение к элементарному, доставляющему удовольствие своей надежностью, остается двигателем — не причиной в естественнонаучном смысле — нашего следования правилу. С облегчением выходя к простому *так*, мы перестаем быть функциями факторов. — Сказанного о правиле и следовании ему пусть пока будет достаточно.

Умея описать многие свои действия, я встречу затруднение при попытке передать удовольствие от их удачи. У меня будет искушение изо-

1 Традиционно здесь говорят о «внутреннем эйдосе», который при своей невидимости остается ориентиром, например, для архитектора в его поисках новой красоты (Плотин I 6).

2 Выше с. 211 слл.

бразить свое чувство *того самого* интонацией, жестом, танцем. Лексика не сумеет передать особенно высокую степень моей уверенности в достигнутом успехе. Отчего? Ведь слова для обозначения достигнутой цели, радости, достоверности существуют. Всегда однако остается тенденция подкрепить их выкриком, телодвижением. Тому же служит интонация, всегда сопровождающая нашу речь.

Двухлетний ребенок упал с санок, сильно ушибся и плачет. Его пытаются утешить. Вдруг отчетливым голосом он говорит «Бах!» и тут же перестает плакать. Слово встало на место первичного естественного выражения чувства. Боль не прекратилась, но слово подсказало ребенку, что поведение при боли (*Schmerzbehnehmen*) может быть и другим. Слово здесь не знак боли и конечно не ее описание. Слово замещает боль и изменяет ее (§ 244).

О боли иногда забывают или наоборот вспоминают. Другой может не знать о моей боли. Не знать о ней могу и я. Когда мы одинаково о ней не знаем, у него во все это время ее нет, а у меня она есть (§ 246). Источником боли и знания о ней выступаю во всяком случае я. Правильно ли будет сказать, что знать о моей боли может всякий, но иметь ее могу только я? Иногда говорят, что другой болеет (страдает) моей болью. Я могу заразить другого своей мыслью. Что дано знать только мне и больше никому? мое намерение (§ 247)? Оно иногда известно другим и, наоборот, неизвестно мне. Никакое знание не бывает моим и больше ничьим. Иллюзия воображать, будто моя боль есть только у меня. Подумаем о сямских близнецах, у которых болит общая часть тела (§ 253). Общее связывает всех нас в большей мере чем хотелось бы признавать нашему сознанию. Трудно утверждать с уверенностью принадлежность чего-либо только мне и никому другому.

«Философ имеет дело с вопросом; как с болезнью» (§ 255). Он имеет целью снять со временем все вопросы? Врач не ставит себе задачу искоренения всех болезней. Он и никогда не смирится с их существованием. Болезнь вызов, на который он отвечает. Он неким образом изменяет поведение больного, болезни и своё. Так упавшая с санок девочка изменила свое поведение при боли.

Если у философии нет догматов, то существует ли какой-то обязательный для нее ритуал? Да. Это собирание внимания. На чем? Каждый раз на разном, но всегда на таком, что меня задело. Я замечаю в себе особое настроение, о котором догадываюсь, что не должен его упустить или развеять. Первое и важное, о чем я при этом догадываюсь, каса-

ется его именованная и определения: шаг, подобный санитарной обработке перед операцией, заключается в воздержании от таких действий. Я начну наблюдать это настроение, например, отмечая в своем дневнике его возвращение буквой Н. Для опознания его у меня нет заданных признаков, потому что оно каждый раз новое и между его случаями существует только отношение семейного сходства, оно-то и обозначено моей буквой Н. Опознав настроение Н, я собираю на нем свое внимание, т. е. как бы указываю себе внутри себя — или, что то же, указываю всем своим существом — на свое же настроение. В отношении его совершается таким образом *церемония*. Она может стать началом опечатывания моего состояния определенным знаком (§ 258). Я иду к своему состоянию не от одного из известных мне слов, а наоборот, старательно минуя слово, церемониально окружая вниманием задевший меня симптом. Изменяю ли я его тем самым? Да. Поведение изменяется при его именовании даже моим личным знаком.

Витгенштейновский *älaß Zeremonie*, настолько неожиданный, что издатели «Философских исследований» не включили его в индекс, заставляет вспомнить Лейбница о внимании как молитве и Хайдеггера о спрашивании (*Fragen*) как нашем благочестии с *fragen*, этимологически тем же что *просить*, родственным латинскому *presces просьба* и *молитва*. У философии есть ритуал, состоящий в том, чем она занята (задействована), как в церемонии.

Для чего церемония? нельзя ли просто жить внутри своего состояния?

Почему моя правая рука не может подарить деньги левой? — Моя правая рука может положить их в мою левую. Моя правая рука может документально оформить дарение, а левая дать расписку в получении. — Но дальнейшие практические последствия были бы не те что при дарении. Когда левая рука возьмет деньги из правой, кто-нибудь спросит: «Ну, и что дальше?» (§ 268)

Церемония размыкает замкнутость внутри себя. Она заявляет о захватившем меня состоянии, так сказать, перед лицом неба и земли. Она открывает его для именованного. Она начинается без слов и, как сказано, не состоит ни из чего кроме моего состояния. Она создает молчаливую простейшую мысленную схему, или схему мысли (*Denkschema*, § 597), которую теперь можно будет перевести в речь.

Зачем речь? Разве у состояния нет своих способов сказаться в дыха-

нии, пульсе, неартикулированном звуке (§ 261)? Но язык часть нашего организма. Наше поведение изменяется словом. Витгенштейн возобновляет здесь древнюю традицию. По Аристотелю человек, оставаясь один, пусть даже и не умирает, целым считаться не может. К его природе принадлежит речь. В обществе человек впервые осуществляется. Без роя и улья пчела, хоть и не жила бы, но была бы уже готовая пчела. Человек без речи еще не готов. В важном (решающем) смысле его вне политики нет.¹ — Напоминания о традиционности В. не обязательны. Вернемся к упреждениям его школы.

Передразнивая другого, должен ли я смотреться в зеркало? как еще увидеть, что получилось похоже? — Нет, я без зеркала как-то так увижу, получилось или нет (§ 285). Труднее передразнить собаку, еще труднее кошку; совсем трудно, но не невозможно, куст, камень. Всё это я могу проделать без зеркала. Всё это, и другой, и собака, и камень, во мне есть. Я могу *обернуться* ими. Могу ли я передразнить себя? Андрей Битов говорит о Пушкине, что в общении с каждым человеком он оборачивался тем, каким тот его представлял, т. е. передразнивал себя. Зеркало было тут опять лишнее, потому что он сам становился зеркалом для другого. Зеркало мне понадобится, когда я начну искать того себя, которого нигде нет. Тогда я захочу посмотреть в своем отражении, на кого я похож. Я стану серьезный в поисках такого зеркала. Когда Пушкину хотелось узнать себя, расположение зеркал менялось: он видел в других свое зеркало и уже не передразнивал.

Когда человек обжег руку, утешают его самого, глядя ему в глаза (§ 286). Иногда утешают и руку, не только среди детей. Рука становится я. Она вбирает меня на время. В норме говорится «мне больно», «у меня болит рука», гораздо реже «руке больно». Что это за Я, который выставляет себя, темного, рядом с явственно больной рукой? который начинает искать зеркала? Я говорит и может, например, вызвать издалека скорую помощь, рука не может. Традиция говорит о ведущем (ἡγεμονικόν) начале. Сознание не надо понимать в виде описывающей (отражающей, рефлексирующей) инстанции. Лучше, если пользоваться образами, думать о враче, который склонился над больным, или о механике в мастерской с чертежами того, что он собирается сделать.² У обоих есть намерение и они втянуты в работу. Нам может казаться, что факты оче-

1 Аристотель, Политика I 1253a 14–18 и др.

2 Так у Хайдеггера присутствие (Dasein) всегда уже втянуто в дело и как бы стоит перед верстаком с инструментом в руке.

видны и остается только считать с них наши слова, для чего есть язык с грамматикой. Так стены у нас часто обвешаны картинами, на которых просто что-то нарисовано, но они как бы праздные (§ 291). Речь с самого начала внедрилась в производство и занята не столько разбором, сколько строительством.

Но ведь кроме поступка есть еще поступающий? личность? она наверное имеет природу и свойства, например внутренние этические нормы?

Если внутреннее было, оно давно стало внешним и теперь у всех на виду. Предположим, каждый имел бы коробочку с чем-то внутри, называемым «жук». Нельзя заглянуть в коробочку другого, и каждый говорит, что имеет представление о жуке, видя только своего. У кого-то в коробочке лежит что-то другое. Вещь внутри коробочки постоянно изменяется. Наконец, в ней может вообще ничего не быть. Что если тем не менее у этих людей имеет хождение слово «жук»? какой его смысл? Обозначением вещи оно не служит, оно и не обозначение для *нечто*, потому что коробочка бывает пустая. В таком случае на коробочку можно как в арифметике спокойно сократить. То чувство, о котором я догадался, что ни в коем случае не должен оставить его без внимания, есть только в этом моем внимании к нему и нигде больше (§ 293). Ввязываюсь в дело и совершаю поступок конечно я, но держать специальную коробочку для Я не обязательно, ради порядка лучше обойтись без нее.

Когда вода кипит, из чайника поднимается пар. Из рисунка чайника тоже поднимается рисунок пара. Кто-то стал бы настаивать, что в образе чайника вода кипит (§ 297)? Вода кипит, любил повторять Алексей Федорович Лосев, а идея воды кипит? Ответ тут проблем не представляет. Вопрос в другом: для чего нам кроме воды идея воды? Мы явно делаем из нее какое-то употребление! Кто-то скажет: например, в науке? Это станет еще одним вопросом.

Когда я догадался в отношении одного своего состояния, что ни в коем случае не должен его упускать просто так, я решил отмечать в дневнике особым знаком его появление. Но ведь каждый раз оно изменялось? Сказав «это важно», я уложил его в коробочку для особо значимых вещей. Эти мои действия — оценка относительной важности, укладывание в коробочку — не были ли пустыми (§ 298)? Да, они были проскальзыванием мимо того единственного, что требовалось: мимо церемонии внимания. Как если бы шестерни сцепления прокручивались не зацепляя. При этом возникает шум, который слышен как ненормальный по сравнению с рабочим.

Но, выметая коробочки, где держать жуков? Под открытым небом? В каком-то смысле да. Тогда будет яснее видно, что они часто не жуки вовсе, что не всегда они есть, и часто, пристально вглядываясь в них, мы не видим ничего. Коробочки мешали уже тем, что склоняли к предвзятому мнению, будто жуки в них поместятся. Где гарантия этому, даже если коробочки сделаны с большим запасом?

Мы говорим о психических процессах и состояниях. Не правда ли, это достаточно обобщенные именованья? кто будет возражать, если мы назовем этими словами то, что происходит внутри нас? Мы соглашаемся. Это подобно тому, как мы не видим ничего подозрительного в первых казалось бы чисто театральных, декоративных широких движениях фокусника, а он в них-то именно и успел сделать все самое главное.

Кажущейся уступкой нам, введением самого общего и всем на первый взгляд приемлемого именованья, «психический процесс», философ-фокусник создал неопределенное поле, о котором мы знаем мало. Он обещает нам, что скоро мы будем знать больше. Кто не захочет его послушать? Так мы загнали себя еще в одну ловушку; определенным способом рассмотрения мы и станем отныне заниматься, вглядываясь в процесс, чтобы изучить его подробнее.

Не будем наивно наблюдать фокусника; его фокусы слишком задевают нас. Скажем: не надо «не до конца понятых процессов» в «не до конца исследованной психике». Нас хватают за руку: вы бихевиористы? По-вашему, кроме поведения ничего нет? ни духа, ни его процессов? они фикция? — Ничего подобного! мы и не думали назвать дух и психические процессы фикцией, чтобы не показалось, будто мы уже знаем, что они такое. Мы просто называем такое их именование *грамматической* фикцией (§ 307, 308). — А? что вы сказали? Повторите. Дух, психика, процесс не фикция, но фикция?! — Недоумение создано непониманием природы языка.

Парадокс исчезнет только тогда, когда мы радикально порвем с идеей, будто язык функционирует всегда *определенным* образом, служит всегда одной и той же цели: передаче мыслей — будь то мысли о домах, боли, добре и зле или о чем угодно (§ 304).

Таков контекст, в котором стоит афоризм

«Какова твоя цель в философии? — Показать мухе выход из мухоловки» (§ 309).

В стеклянной мухоловке всё видно насквозь, туда легко войти и оттуда легко выйти, если только муха не забыла шаги, которые делала при входе. Муха однако не имеет привычки запоминать, какие шаги она сделала. Показать ей выход можно только научив ее помнить. Такая память была бы *внутренним процессом*? Как сказать.

5 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Мухе следовало помнить шаги, которые она делала, тогда она по своим следам вернулась бы на волю. Мы делаем шаг в неволю всякий раз, когда раздваиваем слово на знак и вещь. Мы понимаем слово исходя уже из отношения знака к вещи. Такое понимание слова не идет дальше нашей мысленной конструкции. В действительности слово входит в наше существо. Философия — терапия, восстанавливающая работу слова в нас. Витгенштейн в своих упражнениях учится и учит ходить, избегая мухоловки; показывает, как вести себя, когда ясно, что раздвоение завело в тупик. Главный и собственно единственный метод упражнений, так что слово *метод* уже не нужно, — церемония внимания.

Я говорю, что у меня болит голова. Люди мне верят; не верят; хотя бы знать, какая боль реально стоит за моими словами. Допустим, они говорят: «Ну, ничего, может быть пройдет». Значит они верят, что за выражением боли что-то есть. Мне уже не надо проверять, доверяют ли моей жалобе. Их слова и есть это доверие. — Теперь подумаем, что никаких слов вообще не было. Я постановывал и держался за голову; ко мне подошли и погладили, обняли (§ 310). Когда я говорил слова, люди раздвоили их и отделили лексику от реальной боли; им требовалось восстановить соответствие, они это делали разными путями: переспросом, с помощью электроэнцефалограммы, детектора лжи; ни один из этих способов (ни их комбинация) не давал безусловной достоверности, и кто-то пошел мне навстречу, просто поверив знакам.

Стон мы реже считаем знаком. Если он знак, то от него опять невозможно навести безусловно надежный мост к реальности, но стон легче поддается разбору чем речь. Попробуйте изобразить боль гримасой, стоном. Вы уверены, что изображаете боль, а не гримасу боли? А что если у вас не получится и будет больше похоже на, допустим, злобу, чем на боль? Пока вы ничего не изобразили, вы вообще не знаете, что вы сейчас изобразите. Это иллюзия, что будто бы можно изобразить боль, которой у вас нет (§ 311). Проверьте себя. Изобразив боль, которой у вас

нет, вы собьетесь на что-то другое. Когда думают, что изображают боль, обычно изображают то, что, по опыту, вызовет у людей сочувствие. Если бы можно было изобразить боль, просящие милостыни изображали бы ее вместо показа ребенка или отсутствующих рук.

Всмотримся ближе. Можно ли сказать, что изображающий боль ничего не чувствует? и невозможно изобразить то, что не чувствуешь? — Он чувствует: свою гримасу. Изобразить чувство боли, *если ее нет*, нельзя. Изобразить чувство гримасы, если гримасы нет, тоже нельзя. Как меня задевает боль, так же меня задевает и маска, которую я придал своему лицу, — вернее сказать, которая удалась моему лицу. Скажут: гримасу боли я считал с чьей-то чужой, с картинки, со своего представления; чужая гримаса, картинка, образ в памяти меня не бьют. — Так ли? Представим, цвет нас бил бы. Мы бы ощущали (и соответственно говорили) не «красные пятна на листе», а «колющие пятна на листе». О свойствах вещей мы судили бы по тому, как они нас жгут, колют, леденят (§ 312). Фантастичность предположения подсказывает: мы не замечаем, что вещи всегда в нас бьют. Мы ими всегда болеем. Поэтому мы всегда *можем* изобразить боль! Актер в театре не притворяется!

До того, как боль коснулась меня телесно, она уже задела меня тем, что была в моем мире, как были другие вещи, которые, как говорится, «раздражают» мои «органы восприятия». Я, не обязательно актер, изображаю прямое, кривое, дерево, камень, которых во мне нет, и с равным успехом боль, которой *сейчас* во мне нет. Боль, красное, прямое, кривое, дерево, камень есть в моем мире и в этом смысле есть во мне; я ими страдаю и их изображаю, только уже не в том смысле, как говорят «он изобразил своим лицом боль», а как говорят «его лицо изобразило боль», «на его лице изобразилось». Он стал образом боли, не внешней картинкой, а способом ее существования.

Поэтому тот, кто, задумав прояснить философское понятие боли, пользуется моментом, когда ощущает боль, чтобы посмотреть и изучить, как именно она в нем ощущается, промахнулся по крупному, «фундаментально» (§ 314). С равным успехом он мог, изучая красное, замазать себе суриком глаза. Вести себя так значит упустить свою принадлежность вещам. Что в мире есть боль, должно было задеть меня раньше, чем у меня заболела голова. Если я *тогда* не заметил, спохватываться теперь бесполезно. С равным успехом я стал бы, чтобы понять мышление, наблюдать себя когда я мыслю (§ 316).

Мог бы кто-нибудь понять слово *боль*, если бы никогда не чувствовал

боли (§ 315)? Никто не поймет слово смерть, если не имел опыт смерти? Скорее наоборот. Кто имел или имеет слишком близкий опыт смерти, видит уже ее не всю. Понимание всей болезни, нищеты и смерти лучше искать у молодого царевича Сиддхарты Гаутамы, который не имел их опыта. Не следует ли искать понимания, что такое собственно мысль, у того, кто никогда не думал? И не лучше ли понимает, что такое знать, тот, кто ничего не знает?

Боль, мысль, смерть, знание я несу в своей форме жизни. Они нити жизненного ковра. Они всегда со мной. Бывают ли они отдельно от слова? На свою форму жизни или ее части я могу указать только таким образом, что они будут внутри этого указывания его главной частью. Слово, каким я их называю, будет состоять из них. Для раздвоения на чувство, с одной стороны, и обозначение, с другой, места не остается.

Вернемся к уверенности, с какой мы продолжаем числовой ряд. Я могу даже щелкнуть пальцами и торжествуя оглянуться: правило понято! — Но вдруг непредвиденная трудность, я запинаюсь. Такое чередование радостных «Вот оно!» и отрезвляющих «Нет, не выходит...» случается; иногда оно надолго или навсегда затягивается без какого-нибудь результата. Чувства уверенности, таким образом, оказываются мало (§ 323); нужен какой-то безусловный, общепризнанный успех (§ 324). Что считать таким успехом? То, что люди позволяют себе считать оправданием своих поступков, показывает, как они думают и как живут (§ 325). Мы ожидаем *этого*, обескуражены *тем* и знаем почему. Но всегда ли (§ 326)? Мне явно нужны деньги чтобы пообедать, иначе голод собьет меня с толку, мне нужно есть чтобы жить, мне нужно жить чтобы...? Цепь оправдывающих оснований моих поступков обязательно где-то оборвется. Я тогда задумаюсь.

Задумавшемуся при обрыве цепи нет опоры в языковой игре. Он может опереться теперь уже только на простые вещи, для которых нет критерия. Нет например критерия, по которому я устанавливаю, что красное это красное; оно само себе критерий. Нет критерия и для того (же) самого (§ 377). Красное говорит за себя, уже сказало себя раньше, чем я узнал, что оно так называется. Так и с тем (же) самым. Я сначала научаюсь, что такое то же самое, а потом прилагаю эту свою науку к двум равным вещам, или наоборот? Если бы я до всякого научения не умел опознавать равенство, меня научили бы, что $1 = 1$, но что $2 = 2$, пришлось бы учить отдельно. Чему меня действительно надо учить, это что по-русски отношение между 1 и 1 можно в частности назвать *равенством*, или

тем же самым; меня надо учить, что верхний цвет в светофоре называется *красный*. Какое основание приведут для оправдания таких уроков? Только то, что в России все так говорят и так конструируют светофоры. Я мог бы и не знать этих слов и правил, тогда придумал бы другие (§ 378). Не зная ни на одном языке названий для *красного* и для *того (же) самого*, но видя на всех светофорах перекрестка один цвет, я говорил бы что-то вроде *а, это!*, сопровождая этим словом-чувством оба акта опознания, сначала цвета, именно этого, потом успокаивающего тождества цвета в разных точках (§ 379). Всегда ли порядок опознания именно такой, что сначала воспринимается *вот это нечто*, потом к нему добавляется, что такое по-русски называется *красный*, по-немецки *rot* (§ 379)? Да. Наоборот бывает только в специальных языковых играх; например игра в философию как критическое осмысление понятий требует сначала взять слово и потом распознавать то, что ему «соответствует», хотя иногда мы имеем тут дело с чем-то, назвать что было бы изменой (предательством).

Как я опознаю *это нечто* без знания его имени? Допустим, показывая себе пальцем. Можно ли показать пальцем на красное? Или на то же самое? Один и тот же жест будет показывать на красный цвет и на красный предмет. А кивком головы? Тоже не получится. Глазами указать? «едва уловимым движением глаз»? На красное, на равное, на то же самое, на то самое указывают как-то совсем иначе чем этими способами. *Внутреннее указывание* (§ 380) надо понимать не как кивок внутренним на внешнее, а с выходом из метрики и из раздвоения между *то, на что* и *то, чем*. Во внутреннем указывании красное задело меня и стало мной. Не я указываю на тожество, а тожество вскрывает меня.

Внутреннее указывание отличается от внешнего так же, как событие отличается от знака. Для знака есть грамматика внутри принятых языковых игр, для события нет правил перехода в речь (§ 380). Мы слышали о церемонии внимания как начале слова. Надо различать между исчислением знаков внутри грамматической системы (языковой игры) и началом слова, когда единственным правилом остается потребность в *том самом* слове.

Мы постепенно узнаем *то самое* как логическую форму (слова). В минуту внутреннего показа (церемонии внимания) я, как говорится, весь там. Меня можно сравнить с отпущенной магнитной стрелкой, которая не зависит от поворота корпуса компаса; она показывает магнитное поле тем, что плавает в нем, пропитанная им. Сама она, так сказать, паль-

цем шевельнуть не в состоянии. Во внешней остенсии стрелка поворачивается не потому что вещь ее притянула: я посылаю свой палец показать на тожество 13^2 и 169, только потом догадываясь, что показал на доску, на цифры, на грязь. Меня-то угаданное тожество захватило как событие, но переход от события к знаку не вполне получился. При внутренней остенсии таких сбоев не бывает; я внутренне настораживаюсь, повертываюсь сам и как магнитная стрелка без зажима не могу не совпасть с силовыми линиями.

Почему я уверен, что у меня безусловно получится, если мне покажут палитру с красками, указать там на фиолетовый цвет (§ 388)? Для сравнения: я не уверен что узнаю на коллективной фотографии собственного отца. У меня есть представление о том, как он выглядит, но на снимке, возможно старинном, он имеет незнакомый мне вид. Во всём, что можно узнать, можно и обознаться. Цвет мы в отличие от этого, строго говоря, не *узнаем*; мы его как-то и так знаем. Фиолетовый в палитре я не опознаю, а просто укажу на него.

В упражнениях с цветом для детей что на самом деле проверяется, так это знание названий цветов. Ребенок, не знающий названия, не называет показанный ему цвет наугад каким угодно первым попавшимся словом, а молчит в замешательстве («неразвитый») именно потому, что слишком ясно видит вот этот цвет и никак не спутает его с другим. Я хожу с представлением о том, как выглядит мой отец. Можно ли сказать что у меня есть представление о том, как выглядит фиолетовый, потому я его и опознаю? Нет. Если бы я его сопоставлял с представлением, то не опознал бы того оттенка, о котором никогда не имел представления. Цвет мне знаком не в сопоставлении с представлением, а сам собой и опознается мною самим. Глядящий на цвет вводит в действие не психологическое представление, а самого себя. Цвет задевает не через работу восприятия, потому что этой работы здесь нет: есть возвращение к самому себе. Мне проще видеть цвет чем его не видеть; на этом основана раскраска помещений. Неким образом я есть цвет. Я сбываюсь в отождествлении с ним. Он входит в мою форму жизни. Он чем-то делает меня. К этой теме вернемся ниже. Всё сказанное о цвете относится к тожеству.

Сделаем еще шаг. Я смогу указать фиолетовый на палитре, отличив от красного и синего, не потому что меня учили отличать; учили только названиям. Тогда и отца на фотографии я узнаю не потому, что у меня есть представление об отце, а потому, что у меня есть отец. Что если,

отказавшись от представления в смысле дубля вещи, остаться при представлении в смысле театрального?

Этот шаг вслед за Витгенштейном не трудно сделать тому, кто согласился с критикой представления у Хайдеггера. У него «вглядывание» как «пребывание при внутримирном сущем»

не должно интерпретироваться как «процесс», через который субъект добывает себе представления о чем-то, остающиеся в качестве так усвоенных на хранение «внутри», так что относительно их потом при случае может возникнуть вопрос, как они «согласуются» с действительностью.¹

Остановимся подробнее на хайдеггеровской оценке представления. Здесь мы имеем случай полного и отчасти буквального совпадения мыслей двух ровесников.

Высказывание означает первично *показывание*. Мы удерживаем тем самым исходный смысл λόγος как ἀλόφανσις: дать увидеть сущее из него самого. В высказывании: «Молоток слишком тяжелый» открытое для видения не «смысл», но сущее в способе его подручности. Даже когда этого сущего нет в осязаемой и «просматриваемой» близости, высказывание имеет в виду само сущее, а не где-то простое представление его, ни «просто представленное», ни тем более психическое состояние высказывающего, его представление этого сущего.²

Прочитаем теперь следующий отрывок, попытаюсь не глядя в сноски угадать, кто его автор, Хайдеггер или Витгенштейн.

Пусть кто-то, повернувшись к стене спиной, осуществит истинное высказывание: «Картина на стене висит криво». Это высказывание доказывает тем, что высказывающий, повернувшись, вправду воспринимает криво висящую картину на стене [...] К чему отнесен высказывающий, когда он — не вправду воспринимая, а «только представляя» картину — выносит свое суждение? К каким-то «представлениям»? Заведомо нет, если представление здесь должно значить: представление как психический процесс. Он не отнесен и к представлениям в смысле того, что представлено, насколько под представленным подразумевается «образ» реальной вещи на стене. Скорее уж это «лишь представляющее» высказывание по его самому своему смыслу отнесено к реальной картине на стене. Имеется в виду именно она и ничто иное.

1 М. Хайдеггер, Бытие и время, с. 62 (6–10).

2 Там же, с. 154 (24–32).

Продолжим чтение этого отрывка:

Всякая интерпретация, подсовывающая здесь что-то другое, будто бы подразумеваемое в лишь представляющем высказывании, исказит феноменальный фактосостав того, о чем высказываются. Высказывание есть бытие к самой сущей вещи. А что доказано правдой восприятия? Ничто другое как *то*, *что* это *есть* то самое сущее, которое подразумевается в высказывании. Удостоверяется, что высказывающее бытие к высказываемому есть выявление сущего; *что* им это сущее, к которому оно есть, *раскрывается*. Доказывается бытие-раскрывающим высказывания. Причем познание в акте доказывания остается отнесено единственно к самому сущему. На нем самом как бы разыгрывается всё удостоверение. Имеющееся в виду сущее само кажет себя *так*, как с ним самим оно есть, т. е. что оно в то-самости есть *так*, как сущим оно выявлено, раскрыто в высказывании. Представления не сравниваются, ни между собой, ни в *отношении* к реальной вещи. Доказывается не согласованность познания и предмета или тем более психического и физического, но также и не таковая между разными «содержаниями сознания». Доказывается единственно раскрытость самого сущего, оно в *как* своей раскрытости. Последняя удостоверяется тем, что высказанное, которое есть само сущее, кажет себя *как то самое* (*als dasselbe*). Удостоверение осуществляется на основе самопоказа сущего.¹

Тон уверенного урока и конкретность примера одинаковы с витгенштейновскими. Различается отчасти только лексика.

Приведение окружающего мира к близости в усматривающем со-ображении имеет экзистенциальный смысл *актуализации*. Ибо актуализация образов есть лишь модус последней. В ней со-ображение имеет потребное неподручное прямо в-виду. Актуализация образов при усмотрении отнесена не к каким-то «голым представлениям».²

Ср. с ожиданием мистера Смита у Витгенштейна, когда требуется именно он сам, а не его ментальный образ³.

Мы привыкли внимательнее относиться к тем фантазиям Витгенштейна, которые кажутся вполне нереалистичными. Вдумаемся и в предположение, что каждый, кого мы видим где бы то ни было, просто на улице, переносит страшную боль и искусно скрывает ее (§ 391). Каждый на грани разрыдаться, упасть в конвульсиях от нестерпимой

1 М. Хайдеггер, Бытие и время, с. 217 (21)–218 (23).

2 Там же, с. 359 (22–27).

3 См. выше с. 279.

боли. О том, что восприятие это боль, мы уже слышали; уместно говорить о *раздражении* органов чувств. По античным авторам, по Лейбницу мы тонем в оглушающем шуме, который привыкли не воспринимать. У Канта мы читали, что жизнь есть боль от рождения, об освобождении от которой извещают предсмертные хрипы. *Представить* себе скрытую боль оказывается трудно. Здесь приоткрывается ущербность подхода к чужой боли через представляющую мысль (§ 393). В представлении, если его понимать как психический процесс, происходящий «внутри», для бьющих, режущих восприятий мало места.

Когда однако актера просят представить (*vorstellen*), что некто терпит боль и скрывает ее, режиссер не обязательно должен объяснять, какие мысли и образы надо для этого иметь. Актеру не обязательно наблюдать людей, которые жестоко страдают и не показывают это. Хороший актер умеет всё как-то так; вместе с тем он не будет притворяться и просто представит (*vorstellt*) то, что надо (§ 393). Как ему удастся такое? Спросите у него. Неужели он скажет, что сначала представил (*vorgestellt*) что-то в воображении, и тогда получилось представить на сцене (§ 394)? Между представлением в сознании и представлением на сцене разница как между небом и землей, поэтому для второго лучше другое слово: *Darstellen*, выставить, изобразить. Актерское представление (*Darstellen*) сравним со словом, воображающее (*Vorstellen*) с его «семантикой».

Что дает заглядывание в сознание?

«Хотел бы я знать, о чем он задумался!» Тут однако задай себе этот — на вид не имеющий отношения к делу — вопрос: «Что вообще интересного в том, что „в нем“, в его психике, происходит, если там что-то происходит?» (Да пропади пропадом, что в нем происходит!)¹

О чем задумался, он сам так или иначе скажет и покажет. Всё на виду. Если представление в значении мыслительного процесса так неинтересно, чему оно тогда служит? Очень знакомому и скучному делу. Когда человек что-то представляет себе — мыслит, воображает, — или когда просто видит предметы, ему иногда кажется, что здесь, в месте этого его представления и видения, происходит что-то уникальное². Кроме него с его места ведь никто так больше не смотрит, именно так никто больше не видит. Человек говорит себе: только я вижу это, а если вижу, то ведаю этим и имею это. Не здесь ли опора для того, что называется Я, не-

1 Заметки о философии психологии I 579.

2 Этой ошибке поддался М. М. Бахтин в «Философии поступка».

повторимый индивид, субъект? не нашел ли я здесь, и теперь уже никогда с ней не расстанусь, мою индивидуальную личность? Огляжу теперь мир с моего одинокого холма. Почувствую что-то вроде статуса абсолютной единицы. Потом щедрым жестом подарю другому всё что вижу.

О таком представлении надо трезво сказать, что в нем мы на самом деле ничего не имеем, никого не касаемся. Ты что-то видишь, якобы имеешь? Ну-ка вступи в свои владения! Так на красивой картинке фермер в шляпе стоит около сказочного домика. Это хозяин. Вот сейчас он докурит трубку и войдет в дом, ждите. Вам кажется, что вы видите дом; на самом деле вы видите только картинку (§ 398). Представление (*Vorstellung*) никогда не больше чем такая картинка. Ничего *моего* там нет. Я не смогу ничего увидеть и ничем ведать, пока не сумею разыграть то, на что смотрю, в совсем другом представлении, *Darstellung*. — Кому-то покажется странным, что я не вижу то, на что смотрю. Предположим, это двор, на который я смотрю из окна и говорю, что вижу его. Если бы я видел *двор*, то должен был бы уметь посмотреть на него и с другого угла, но я как нарисованный влип в то, что будто бы вижу, и как фермер на картинке не могу сделать шага без того, чтобы в ней всё сдвинулось со своих мест.

Витгенштейновский «визуальный двор», «визуальная комната» (если мы в комнате) как картинка, в которую мы врисованы, — не оборот речи и не сравнение; это открытие нового (само)ощущения (§ 400). Оно похоже на прозрение в нашу слепоту. Как раз то, чем мы склонны были величать себя, воображение нашей неповторимой исключительности, оказалось нашей тюрьмой.

Открытие заключается в том, что видимым нами мы владеем не больше чем пейзажем на картинке. По-настоящему мы не видим то, на что смотрим, имея дело уже с представлением; действительность заслонена от нас своим изображением. Это сравнение работает только вполнину, потому что картинку легче отодвинуть чем наше представление. То, что мы, казалось бы, так отчетливо видим, мы и не видим, как если бы (это сравнение вполне работает) находились в полной темноте. Параллель из истории философии тут необходима. По Канту мы воспринимаем что бы то ни было только в формах пространства и времени. Они созданы нашим продуктивным воображением. Кантианство Витгенштейна составляет важную и закрепившуюся тему исследований. Теперь уже неудобно касаться кантовского чистого представления, проходя мимо витгенштейновских упражнений со зрением.

После них мы остались прежние, смотрим так же как раньше, видим не меньше чем те, кто пока еще воображает себя владельцем видимого, но сверх того наши глаза открываются для темноты, в которой нас оставил дневной и искусственный свет. Надо освоиться в ней. То, что у нас «перед глазами», еще не увидено. Открывается его неизвестность. Скованность, которую мы иногда чувствуем, выходя на люди, показывает, что там, где мы были, мы невзначай доверились «визуальному пространству». Мы дали себе почувствовать в нем себя хозяином. Теперь, на людях, визуальное пространство прорвано. Находка нового зрения подобна изобретению стиля живописи, или нового поэтического размера, или нового жанра пения (§ 401). Мы не перестанем уважать естественный язык, в котором фраза «*у меня есть представление*», «*я имею такое-то представление*» допустима. Подумаем однако о том, чем — многим или вовсе ничем — это «*я имею*» отличается от «*внимание! слушайте!*» Мое «*я имею*» к представлению ничего не прибавляет. Что я делаю: только указываю на то место, где располагается представление, но кто мне сказал, что я указываю при этом на свою личность (§ 402)? Мое обеспеченное словоупотреблением право сказать «у меня боль, *ich habe Schmerzen*» тоже позволяет указать мне на себя, но разве в смысле личности владельца боли?

В темной палате застонал больной — кто? на первой койке от окна слева, на второй или где-то вообще слева? Стон идентифицирует скорее тело чем личность. Так же слова «*ich habe Schmerzen*». Ни о чем, кроме существования боли и указания, в каком месте ее надо локализовать, речь здесь пока не идет. Во фразе «я тот, у которого боль» обозначение *я* по-настоящему лишнее: в нем ничего не сказано сверх указания на *того* и факта боли (§ 404). Я, равное боли, не отличается от указания боли на саму себя. Представленное Я не отличается по весомости от рисованного на картинке. Мы распоряжаемся им не больше чем ребенок фигурками из книжки.

Другое дело, если Я представлено (разыграно) так, как хороший актер представляет боль. Оно *становится* в той мере, в какой разворачивается такое представление.

Здесь кто-то возразит: боль дает о себе знать сама; разве достаточно сильная боль не обеспечит своей уникальностью неповторимость Я? Нет. Мы должны уметь больше чем только иметь боль, иначе боль останется только стоном. Кроме того, мы не обязательно знаем обо всей нашей боли; знаем, что болит нога, но не знаем, что зубы.

Есть боль, о которой мы не знаем и, как говорится, не придаем ей значения, пока нам не покажет ее актер или художник. Такую показанную мне во мне боль я уже с трудом назову своей. Она узнана способом сочувствия. И, похоже, я впервые начинаю знакомиться с болью, когда узнаю, что она не приватно моя и входит в форму жизни, которой скорее я сложно принадлежу, чем она мне. Мы по-настоящему не знаем свою боль, пока не знаем ее как всеобщую.

Сочувствие проявляется не так, что я вызываю в себе те же ощущения, которые предполагаю у больного, а так, что жалею его, вызываю ему врача. После этого не беда, если я буду применять слово *боль* только к себе, а к другому что-нибудь вроде *ему надо вызвать врача*. Мне скажут: но ведь другие чувствуют ровно то же самое; почему ты не хочешь говорить, что у них боль? — Потому что я не ощущаю *их* боли в *себе* (§ 403). Сочувствовать не обязательно значит чувствовать то же самое.

6 ЭКСКУРС: ТОЖЕСТВО И Я У ЧЖУАН-ЦЗЫ

Глава 2 даосских канонов «Чжуан-цзы» в переводе В. В. Малявина имеет название «Как всё в мире уравнивается.» Тождество вещей отыскивается не в их сходстве, а в их различии. Мы «уравниваем» вещи в той мере, в какой открываем в каждой *особый* случай. Древний комментатор Го Сян формулирует правило:

Чем больше вещи отличаются друг от друга по своему облику, тем больше они подобны в том, что существуют сами по себе.¹

Глава начинается забыванием о том, «кто передо мной». Это техническое выражение, давая его буквально в примечании, Малявин переводит «не помнил себя», «забыл о своем объективированном „я“»². Буквальный перевод точнее обозначает освобождение от представления: *перед* отшельником Цзы-Ци уже никого нет; он не закрыл глаза и в этом смысле не «забылся», как засыпают в кресле, но отказался видеть *перед* собой что бы то ни было. В наступившей зрячей темноте, зоркой слепоте происходит второй шаг, начинается слышание флейты человека, более далекой флейты земли, еще более далекой неба. Целое, *да куай* («Ве-

¹ Чжуан-цзы. Перевод, вступительная статья и комментарии В. В. Малявина. М. 2002, с. 331–332.

² Там же с. 61, 332.

ликий Ком»), не вещь. Поэтому он звук еще в другом смысле чем человек, земля и небо.

Открытая в начале главы об уравнивании (отожествлении) тема видения чего или кого *перед* собой разворачивается подробнее. Малявин переводит:

Не будь «другого», не было бы и моего «я»,

и комментирует:

В оригинале употреблены слова «то» и «это», так что разделение мира на субъект и объект имело для древних китайцев еще и демонстрационный аспект: свой собственный взгляд на мир означал для них буквально «вот это», а то, что мы могли бы принять за объективность, было для них просто «другой точкой зрения».¹

И короткий текст Чжуан-цзы, и комментарий к нему описывают раздвоенный мир, о котором тут же говорится, как он печален и горек. Неужели мы обречены на раскол, «неужели жизнь человека и впрямь так неразумна». Единство восстанавливается, уравнивание достигается в *небе*, высшем постижении. Как было предупреждено, тожество вещей удастся разглядеть не когда их обобщат, а когда их разделят. Разделить вещи так или иначе придется; как бы мы ни полагали их, есть аспект, в котором они расположатся иначе. Та же самая вещь тоже будет другой.

Каждая вещь в мире есть «то», и каждая вещь в мире есть «это». Каждый знает то, что доступно ему, и не видит того, что доступно другому. Вот почему говорится: «*То* рождается из этого, а *это* сообразуется с тем».²

Парные понятия, как правое и левое, верх и низ, взаимозависимы и нуждаются друг в друге.

Оттого и утверждают, что «то» и «это» возникают одновременно. Следовательно, «в рождении мы умираем», возможное невозможно, а невозможное возможно, говоря «да», мы говорим «нет», а говоря «нет», говорим «да».³

Мы чувствуем себя в русле философской классики и близко к Витгенштейну. Сильным ходом у Чжуан-цзы надо считать помещение ряда парных противоположностей внутри первичного противопоставления

1 Там же с. 62, 334.

2 Там же с. 64.

3 Там же.

того и *этого*. От европейской традиции мы знаем также, что полярные пары не симметричны; так, в паре *правое-левое* предпочтительно правое, но не то, которое противоположно левому. Мы поэтому отчасти готовы к тому, чтобы не слышать в следующей фразе Чжуан-цзы просто сбивающее с толку противоречие только что сказанному о взаимопринадлежности и взаимонеобходимости *этого* для *того* и наоборот. Нас приглашают теперь из метрики с ее кажущейся симметрией в топику, где

Мудрый не делает этих различий, но смотрит на все в свете Небес и следует лишь *этому*.¹

Это здесь уже другое, не имеющее себе пары. В комментарии Малявин дает китайское звучание слова *ши* со значениями *это, так, правильно*. Предел постижения (небо) вещи и одновременно предел самой (каждой) вещи здесь, в *ши*, Малявин называет такостью (у Витгенштейна так-бытие, *Sosein*). Такость «ровная», т. е. одна и та же у всех вещей. Поскольку вещь равна себе, это равенство себе одинаково для каждой вещи; но всякая вещь и не равна себе, и поскольку она не равна себе², тот факт, что с каждой вещью дело обстоит именно так, одинаков для всех.

Следующий абзац Чжуан-цзы в переводе Малявина выглядит как поясняющее повторение сказанного с изменением аспекта.

Всякое «это» есть также «то», а всякое «то» есть также «это». Там говорят «так» и «не так», имея свою точку зрения, и здесь говорят «так» и «не так», тоже имея свою точку зрения. Но существует ли в действительности «это» и «то»? или в действительности нет ни «этого», ни «того»? Там, где «это» и «то» еще не противостоят друг другу, находится Ось Пути. Постигнув эту ось в средоточии мирового круговорота, обретаем способность соответствовать неисчерпаемым превращениям мира.³

Малявин цитирует здесь старого китайского комментатора:

Хотя голоса, возбуждаемые Небом [неподвижным, ср. перводвигатель Аристотеля], бесконечно разнятся, они ничего не прибавляют к небесному и не убавляют от него [неувеличиваемое, неуменьшаемое бытие Парменида]. Полагайтесь на звучание вещей, и свет *чжао* (разума) озарит собою все сущее. В этом свете «чужое» и «свое» приходят к покою и уравни-

1 Чжуан-цзы..., с. 64.

2 См выше с. 218.

3 Чжуан-цзы..., с. 64.

ниваются [...] Эти бесконечно переменчивые голоса! Откликайся им, не думая о том чтобы откликнуться, — и сможешь откликаться всему.

Для пояснения «озарения *чжао*» Малявин со ссылкой еще на одного старого комментатора отождествляет это озарение со способностью «приводить к единству посредством необъединяющего единения». Оба комментария, особенно первый об отклике всему без намерения откликнуться, готовят к заключительной фразе абзаца у Чжуан-цзы:

В этой точке наше «да» проникает всё сущее до бесконечности, и наше «нет» тоже проникает всё сущее до бесконечности. Вот почему сказано: нет ничего лучше чем прийти к просветленности.¹

В точке, предшествующей разделению на пары противоположностей и смене аспектов вещей, наше *так* совпадает с такостью вещей, а наше *нет* с разностью вещей (начиная с неравенства вещи самой себе). Это место Чжуан-цзы может служить комментарием к витгенштейновскому понятию логики, как и следующий абзац:

Вещи становятся возможными, когда говорят что они возможны. Вещи оказываются невозможными, когда говорят что они невозможны. Дорога появляется когда ее протопчут люди. Вещи становятся такими, какие они есть, когда им дают названия. Каковы же они? Они таковы потому, что считаются таковыми. Почему же они не таковы? Они не таковы потому, что таковыми не считаются.

Но во всех вещах есть нечто такое, что само по себе таково. Во всех вещах есть нечто такое, что само по себе возможно. Нет вещи, в которой не было бы того, что само по себе таково и само по себе возможно.²

Чжуан-цзы, в которого мы заглянули ради нескольких терминологических совпадений с Витгенштейном (*такость, это, тожество-равенство*, особенно ясное в немецком, где *то же самое* звучит *das Gleiche*, равное), в разбираемых местах имеет в виду одно с ним. Подробное прослеживание сходств и несходств их мысли может быть оправдано только в порядке разбора особенностей китайской и европейской культуры. Мы этим сейчас не заняты. Наша тема Я в свете полярности зрительского представления (я получил представление о чем) и актерского (я представил, разыграл что). В первом я раздваиваюсь на самого себя и то, что я себе представляю. Об актере говорят что он «перевоплощается», так

1 Там же.

2 Там же.

что на сцене мы уже видим не двух, а одного, «превратившегося в своего персонажа». Чжуан-цзы принадлежит знаменитый образ такого превращения.

Однажды я, Чжуан Чжоу, увидел себя во сне бабочкой — веселой бабочкой, которая порхала среди цветов в свое удовольствие и знать не знала, что она Чжуан Чжоу. Тут я проснулся и увидел, что я Чжуан Чжоу. И я не мог понять, то ли я Чжуан Чжоу, которому приснилось что он бабочка, то ли бабочка, которой приснилось что она Чжуан Чжоу. А ведь между Чжуан Чжоу и бабочкой должно быть различие. Вот что такое превращение вещей.

Бабочка не представлялась Чжуан Чжоу. Он стал бабочкой не так, что вообразил ее себе. «Превращение вещей» не проходит через слой психических процессов, мы всегда обнаруживаем его уже совершившимся; от психических процессов разве что отчасти зависит, что именно приснится, как в «Теоретической философии» Владимир Соловьев, профессор философии, снится парижской модистке. Факт сна скорее создает психику чем зависит от нее. Что будет чувствовать сочувствующий, зависит от его, положим, воспитания; наоборот, факт раннего участия скорее делает возможным воспитание и перевоспитание чем зависит от него.

До всякого психического процесса (представления) мы принадлежим участию («душа есть неким образом все вещи», Аристотель). Оно форма нашей жизни. Конечно, мы можем не замечать или скрывать свое участие. Не зная, мы не успеваем за ним; скрывая, показываем, что не можем с ним справиться.

Врач в темноте может не понять, чей стон он услышал в палате. Видя это, больной уточняет: это я стону, Витгенштейн. Означает ли здесь имя личность, индивидуальность, душу? Всё подобное можно при желании примыслить, но это будет нестати: имя значит только тело, к которому должен подойти врач (§ 406). Сравни с этим случаем многие другие, когда имя работает не метафизически, например когда по списку проверяют, кому дана гуманитарная помощь. Теперь рядом с этими ясными случаями практического уровня имени попробуй изобрести ситуацию, в которой имя будет иметь «личностный» смысл. Скорее всего это будет ситуация метафизической дискуссии, и языка окажется мало (его не мало для обозначения тела). Понадобятся призывы вроде *неужели ты не понимаешь, не чувствовал ли ты сам, попробуй вообразить*.

Когда наступили на ногу, человек кричит, эффективно сообщая что-то, но не выражает при этом свою личность. Когда он в восторге и выражает это, личность его участвует больше, но вся ли? Где человек весь? Чем он бывает захвачен полностью? Как уловить его *всё*? Нашупывая свою личность, человек наверное будет искать в себе настоящую боль, возвышенное страдание, глубину души. Там, где окажутся эти хорошие вещи, он и будет видеть себя. Многие так и делают, называя собой только возвышенную конструкцию себя. «Я помог старушке.» Но ведь ты был не в меньшей мере собой и тогда, когда не помог жене, о чем не говоришь? Нарисовать самый красивый портрет себя, как ты ходишь в церковь, уже не ворует, и назвать это своей личностью. Где она будет располагаться, кроме как на карте общепринятого нравственного дискурса?

Стойбт воздержаться от размещения Я в метрике той или иной языковой игры, и мы получаем на руки открытый вопрос.

«Я» не именует никакой личности, «здесь» — никакого места, «вот это» не имя. Но они состоят в связи с именами. Имена объясняют их посредством. Верно также, что физика характерна тем, что не применяет эти слова (§ 410).

То же различие между метрическим пространством и бытийной топикой находим у Хайдеггера.

В. ф. Гумбольдт указал на языки, выражающие «Я» через «здесь», «Ты» через «вот», «Он» через «там», передающие стало быть — формулируя грамматически — личные местоимения через обстоятельства места. Подлежит дискуссии, каково исконное значение выражений места, наречное или местоименное. Спор теряет почву, если обращают внимание на то, что наречия места отнесены к Я *qua* присутствие. «Здесь», «там» и «вот» суть первично не чистые местные определения внутримирного наличного в пространственных точках сущего, но черты исходной пространственности присутствия.¹

Мое *здесь* расположилось не в метрическом пространстве. Я получу возможность развернуть ту или иную метрику только когда отвлекусь от моего *здесь*.

Пока слово Я служит указанием на физический объект, оно работает без воображения субстанции на этом месте. Пытаясь оглянуться на се-

1 М. Хайдеггер, Бытие и время, с. 119.

бя, человек обойтись без своей мысли и обойти свою мысль уже не может. Поскольку он начинает иметь дело с мыслью, то и отождествляет Я с «сознанием». Но ведь есть кроме того много бессознательных употреблений Я. Вдумываясь, мы получаем в предмет наблюдения не Я, а «состояние обращения внимания на свое сознание». Очень странно — и может быть даже самая странная вещь, — что такое бывает. Я как бы смотрю в какое-то зеркало, но меня мало интересует при этом вид моей головы, где предположительно идет вся эта работа. В мозгу через приборы я увижу работу головы, но какими приборами увижу там — а где еще? — себя, наблюдающего эту работу? Догадываясь, что искать на своем теле место внимания к самому себе не нужно, я задумываюсь, глаза смотрят неподвижно, но не в определенную точку; они широко открыты, брови не сведены, как бывает при вглядывании в предмет; взгляд пустой (*vacant*) или подобный тому, как удивляются цвету неба и впивают свет (§§ 412, 413).

Последний раз заглянем в Чжуан-цзы.

Цзы-Ци из Южного предместья сидел, облокотившись о столик, и дышал, внимая небесам, словно и не помнил себя.¹

Философы делают разнообразное употребление из сознания. Например, они показывают его исключительность в мире живого. Они делают его субстанцией, связывают его с личностью, самостью. Сознание однако уже выполнило свою важную функцию, когда я очнулся (проснулся), и придумывать ему другую не значит ли злоупотреблять им (§ 416)? «Я уже в сознании» означает, что работа физиологической машины может теперь уступить место чему-то непредвиденному в моем поведении; скажем, могу заметить такое, чего никогда раньше не замечал. Всего интереснее случай, когда я замечу то, что прежде ускользало (скрывалось) от меня из-за слишком большой близости ко мне. Заметить тут значит отменить прежде работавший механизм поведения².

Тоже многое замечая, другие живые существа не меняют себя. Подчинение своего поведения закону рода не требует от них этого. Мы используем сознание по назначению, когда расходуем его на обнаружение и тем самым изменение своего образа действий. Сознанием мы отключаем или в любом случае оттесняем стандартные поступки. Эта работа

1 Чжуан-цзы..., с. 61.

2 Ср. выше с. 379 о девочке, вдруг переставшей плакать.

замедлится, если сознание будет растрчено на обеспечение представления о личности (Seelending).

Когда ты смотришь далекими глазами на небо и пьешь свет, не имея предмета, захваченный той самой большой достопримечательностью (nichts merkwürdiger), что можно обращать свое внимание на свое сознание, ты можешь показаться себе настоящим автоматом, т. е. организмом, который повел сам себя. Автомат этот однако странным образом неподвижен или всё его движение занято вниманием к сознанию, как бы обращено само на себя.

Попытаемся представить себе племя на таком первобытном уровне, когда оно не вышло еще из биологического автоматизма и не нуждается в сознании. Но ведь такое племя наверное имеет вождя? Тогда представить его бессознательным автоматом уже трудно (§ 419). Главенствующее положение вождя требует предполагать в нем сознание. Может быть, сознание сводится тогда к руководству? Главарь племени при этом не обязательно будет выполнять общие работы. Его участие в жизни племени может ограничиться только приказами, которые он дает, допустим, жестами или просто кивком головы.

Почему нам жутковато представить себе людей автоматами, бессознательно с неподвижным взглядом (mit starrem Blick wie im Trance) выполняющими все обычные человеческие действия, или увидеть всего лишь автоматами играющих на площадке детей (§ 420)¹? Ведь увидеть себя задумавшимся (ich schaute steif vor mir hin, Augen weit offen, Blick «vacant») было не жутко (§ 412). Не жутко видеть и ящерицу, бессознательно греющуюся на солнце и потом быстро ускользящую с появлением угрозы. Дело по-видимому в том, что задуматься для человека входит в его форму жизни, а выполнять так много разнообразных функций, как человек выполняет внутри цивилизации, не обязательно прямо входит в его форму жизни и требует решения или по крайней мере согласия ведущего начала. В первобытном племени таким началом будет главарь орды, чьи приказы выполняются. На улице современного города мы имеем возможность видеть подобное подчинение только, например, на военных или спортивных парадах, или в тоталитарных обществах и сектах. В остальном, в большинстве случаев, функцию главаря берет на себя каждый, иногда передоверяя ее кроме того отдельным своим способностям или желаниям. Наблюдая множество движений, кото-

1 Ср. выше с. 356 сл. о нравственной недопустимости автоматизированных игр.

рые совершает современный человек, мы успокаиваемся, если он знает их смысл и цель. Мы надеемся, что он самоуправляемый. Мы только что видели однако, что его ведущее начало оказывается в наиболее интересном своем действии, наблюдении самого себя, неподвижным автоматом¹. Такой человек оказывается подобно всем другим живым существам *без сознания* в том смысле, что уже не делится на два, управляющее и управляемое? Потому что управляющее, захваченное вниманием к самому себе, тонет в этом внимании и уже ничем не управляет?

Всякий знак, взятый сам по себе, кажется мертвым. При употреблении он явно живет. Что дает ему жизнь? в нем самом есть живое дыхание? или применение дает ему дышать (§ 432)? Второе правдоподобнее. Так же естественнее думать, что не вечная душа (Seelending) изнутри одушевляет поступки, внутренние и внешние, а *точечное внимание* дает жизнь всему, что втягивает в себя. Заметь, что в таком случае сознание неотлично от совести.

7 МЕНТАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ВЫРАЖЕНИЕ

Язык обманывает обещанием якобы возможности сориентироваться в нашей ситуации. Вопрос типа «Что есть...?» выражает обычно

неясность, духовный неуют и сравним с вопросом «Почему?», который часто задают дети. Их вопрос тоже выражение духовного неужоа и не обязательно вопрос о причине или основании.²

Сократический диалог, вопреки распространенному мнению, не пользуется таким наивным наседанием на слово. Разговор начинается обычно с однотипного, казалось бы, безобидного вопроса, предполагающего однозначный ответ: добродетель (если речь о добродетели) есть *нечто*? Почти автоматически спрошенный соглашается: ну разумеется, добродетель есть нечто, а как же иначе. Не надо было так быстро и бездумно отвечать. Невинный с виду вопрос оказывается решающим. Обычное слово выводится им из обычного языка, с которым всё в полном порядке, в область сущностей, *чтойностей*, где всё крайне проблематично. Из тепла беглой повседневной речи сразу в бездну нерешаемо-го. Буквально:

1 Имеется в виду не программный, а настоящий автомат, ср. с. 239, 434 слл.

2 WA 5, 50.

А это, справедливость, *есть* [не]что?

Сущность спрятана в незаметной односложной энклитике *ти*, проскальзывающей без удара. Ответ Гиппия: ну, естественно; это, что ты назвал, справедливость, *есть* что-то. Тогда Сократ спрашивает тем же словом, но уже в ударной форме *τί*: но *что* именно? Безударным становится теперь «*есть*», *εστί*. Сократ спрашивает уже не *является ли вот это чем-то*, а *чем именно оно является*.¹

Не проскакивайте через эту границу, говорит и повторяет В., — границу перехода из обычного языка в тот, где мы хотим знать, что стоит за словом. Вы прекрасно можете выразить любой смысл и не зная, что значит каждое слово. Не садитесь на этот стул, он исчезнет или, как у Сократа, расплывется до целого: в том, что способно исчезать, это свойство важнее содержания; становящееся ничем оказывается в некотором смысле всем.

Причина, почему мы поддаемся на ловушку вопроса «Что такое...?», — наша тревога. Она всего больше беспокоит нас, когда мы ее не признаем. Бытийная немощь компенсируется интеллектуальной мощью. Кажется, что если мы способны задать вопрос, на него найдется ответ.

Ложным образом мы предполагаем, что дефиниция освободит нас от замешательства (как на известных стадиях нарушения пищеварения мы чувствуем род голода, от которого не можем избавиться принятием пищи).²

Мы получаем желаемый ответ; он скоро естественным образом оказывается неверным; тогда — новая забота и надежда — начинается обсуждение, подпитываемое ожиданием, что если, скажем, дефиниция времени через движение небесных тел ложна, то надо заменить ее более правильной. Метафизическая фабрика заработала. Она называет себя философским исследованием, решением — допустим — вечных вопросов. Для В. философия, наоборот, должна освободить от каторги на мыслительной фабрике, остановить работу обобщения и классификации, показать мухе выход из лабиринта. Исследование довольно быстро показывает, например, что число не цифра; не цифры иррациональное и комплексное число, куда входит мнимая единица; действительные числа теперь считаются частным случаем комплексных. Если число не цифра, что оно та-

1 Платон, Гиппий Большой 287c–d.

2 WA 5, 51.

кое? Не спросить так трудно. В. называет философией силу воздержаться от подобного вопроса.

Философия, как мы употребляем это слово, есть борьба против околдовывания (Fascination) нас формами выражения.¹

Не только отсутствие дефиниции, но и недостаток определенности у слова скорее его достоинство чем недостаток. Жаловаться на расплывчатость слова или надеяться на его уточнение значит смотреть не туда, не видеть слóва, видеть не слово.

Предположить, что это недостаток, было бы близко к предположению, что свет моей настольной лампы вообще не настоящий свет, поскольку не имеет строгой границы.²

Сравнение с лампой возвращает к старым именам для речи и слова³. Потому, что слово укоренено в свете, оно пригодно для любого назначения. Световое тожество феномена-явления и слова-выявления дает уже достаточно, так что копирующего сходства «означаемого и означающего» по существу уже не требуется. В настоящем общении хватает намека. Уподобительная описательность становится нужна, когда общение подорвано.

Ясно однако, что похожесть не составляет нашу идею портрета; ибо для этой идеи существенно, что имеет смысл говорить о хорошем и плохом портрете. Иными словами, существенно, что тень способна передать вещи и так, как они не есть.⁴

Ты срисовываешь, ничего не получается; ты говоришь, я бездарность, всё к чертям, бросаешь бумагу и карандаш. В этом поступке будет непохожее, но хорошее изображение вещи. Почему хорошее? Я повел себя плохо, разозлился, выругался, не получил желаемого. Раз ты хороший художник, не злись? добивайся результата во что бы то ни стало? — Нет, *хорошее* так непредсказуемо, что может быть разным. «Есть бесконечное многообразие поступков и слов, которые имеют друг с другом семейное сходство и которые мы обозначаем как „попытки срисовывания“.»⁵ Сделаем еще шаг вслед за В.

1 WA 5, 51.

2 Ibid.

3 Ср. выше с. 308.

4 WA 5, 58.

5 WA 5, 59.

Имея визуальное представление жемчужного ожерелья, извлекаемого из коробки через прорезь в крышке, мы несомненно склонны сказать: «Эти жемчужины все явно были до того вместе в коробке». Но легко видеть, что тем самым мы выдвигаем гипотезу. Мы имели бы то же самое зрительное представление, если бы жемчужины одна за другой начинали существовать в прорези коробки.¹

Витгенштейн ограничивается пересчетом жемчужин, выходящих из прорези, и призывает не предпочитать гипотезу лежащего в коробке ожерелья гипотезе возникновения их в прорези. Ожерелье в коробке все-таки наверное лежит. Я не должен строить гипотезу готового ожерелья не потому, что могу ошибиться и лучше не рисковать. Дело в другом. Если считать мир мелодией, то масса вещей подобна граммофонной пластинке². Чтобы извлечь из нее мелодию, звукозаписчик должен перебрать подряд во времени рельеф за рельефом звуковой бороздки. Мелодия существует однако не способом перебора; если она мне знакома, в момент узнавания она дана мне вся. Есть разница между тем, как мелодия записана на пластинке, и тем, как она существует сама по себе. По Августину прошлое существует как уже пропетое, будущее как то, что остается пропеть, настоящее как поющее теперь. Невозможно петь иначе как перебирая звуки подряд, но и невозможно петь, если мелодия не дана вся сразу.

До того, как время развертывается по мере пения, оно существует целое. До того, как мы начали перебирать жемчужины, и для того, чтобы имело смысл их перебирать, должно быть ожерелье. Но не забудем о необходимости их развернуть.

Мне приснилась чарующая мелодия. Я просыпаюсь гением; Моцарт не мог знать более сладкого счастья. Отличие между мною и Моцартом только в том, что лучше мне не вспоминать и не развертывать сонную находку; получится что-то куцее, нелепое и, хуже, с подозрительной подкладкой, как у Остапа Бендера, проснувшегося однажды автором гениальной строки «Я помню чудное мгновенье». В сонной гармонии всё сильно как у Моцарта, но в следующий момент не защищено от зла, и может быть спасено только медленным выписыванием услышанного.

Витгенштейновское «описание» есть такое подробное извлечение «мгновенного события»³. Мир дан весь вдруг, нерушимый и вечный, но

1 WA 5, 68–69.

2 WA 5, 69.

3 Ibid.

чтобы сохранить себя, он должен развернуться в подробное представление. Гениальное, что мне приснилось, я узнаю только в меру постепенной работы; до нее в моем прозрении ничего нет. В коробке сознания ничего нет, пока мне не удалось выразить это. Моцарт в отличие от меня с моим «чудным мгновеньем» имеет хорошую музыкальную школу и привык сидеть без сна и еды за столом и клавишином, пока не извлечет *по частям* то, что слышит *сразу*. В момент слышания он уже такой, который не предаст, не смолчит, ни ноты не упустит. То же имеет в виду Аристотель, настаивая, что любовь, которая не дала о себе знать, не любовь вовсе. Есть только та часть ожерелья, которую мы жемчужину за жемчужиной извлекли; о невидимой можно пока не думать.

В связи с разбираемым местом уместно вспомнить «Теоретическую философию» Вл. Соловьева и приснившийся ему удивительный, после пробуждения оказавшийся нелепицей физический закон о наложении морских волн на волны времени; спасти автора сна смогла только последующая философская работа о *форме* закона в отличие от его материального содержания. Подобным образом в «Иконостасе» Флоренского сонное видение есть только то, чем оно станет при разворачивании: его время *перевернутое*. Витгенштейн, обронивший свой пример с коробочкой, уточняет:

Всем этим я пытался разделаться с искушением, заключающимся в мысли, будто *должно* быть нечто, обозначаемое как психический процесс мышления, надежды, желания или веры и не зависящее от процесса выражения мысли, надежды или желания etc. И хотел бы дать тебе такое правило буравчика: если ты не имеешь ясности относительно существа мысли, веры, знания и подобного, заменяй мысль выражением мысли etc.¹

Подытожим: подробно исследуя применение таких слов как «думать», «полагать», «желать» etc., мы избавляемся от искушения отыскивать какую-то особую мыслительную деятельность, которая независима от деятельности выражения наших мыслей и депонирована в некой своеобразной среде (Medium).²

Мы говорили, что мир будет такой, как мы его уложим. Пример с ожерельем напоминает: помимо того, что я выразил (сказал, показал), ничего нет.

Отсюда ясен переход к упражнениям на тему представления. Предположим, мы дети и не заставляем себя скрывать боль. Как мы покажем,

¹ WA 5, 71.

² WA 5, 73.

что у нас болит? Не так, что мысленно заметим боль, определим ее место и решим, как его показать. Движение руки, глаз к больному месту, мимическое поеживание тела настолько не отделены от боли, что место боли фиксируется указыванием.

Когда я показываю больное место на своей руке, в каком смысле обо мне можно говорить, что я знал, где боль, прежде чем показал ее место?¹

Жест указывания может быть отчетливым и развернутым, может быть минимальным, но он слитный с болью, и не будет ошибкой сказать, что сначала указывание, потом боль; во всяком случае неверно, что указывание выступает этикеткой к имеющейся боли. Боль предполагает указывание; она сама уже и есть жест.

Предположим, мою руку покрыли сетью линий, пронумерованных таким образом, что каждое место на ее поверхности я мог бы обозначить числами. Было бы нужно, чтобы я мог описать больное место посредством чисел, прежде чем я смог бы на него указать? Я имею в виду, что больное место определяется актом указывания.²

А в случае, когда у меня болят зубы и я о том не знаю? будет ли указана эта боль? Произойдет подобное тому, как когда расстройство пищеварения выражается не в боли, а в чувстве голода. Образ жизни незаметно изменится, при том что я не знаю ни об этом изменении, ни о болезни. То же бывает с интеллектуальным голодом. Жест указания на боль всегда налицо и может стать главной формой жизни без того чтобы боль и ее место были узнаны.

То, что Витгенштейн называет указыванием, отражением, выражением, имеет старое название мимесис. Это слово этимологически родственно *мере* и *μᾶραι*, *μέμαα* (составной части слова *автомат*), *сильно желать*, *порываться* таким образом, что вместе с желанием я уже и двинулся без отделения замысла от порыва. Мимесис есть подражание не в том смысле, что я поставил себе целью что-то изобразительно повторить, а в непосредственном значении, как когда, например, желая, чтобы младенец поскорее сделал свои маленькие дела, его подносят к месту, где течет вода, или обращают его внимание на дождик. В порядке природного подражания софия его тела подключается к тому, что происходит рядом. В витгенштейновском смысле он это *выражает*.

¹ WA 5, 83.

² Ibid.

Бессловесность, характерная черта театральной пантомимы, не воспринимается актером как ограничение. «Есть целые сцены, где гораздо естественнее, чтобы персонажи двигались, а не говорили.»¹ Ограничением миму кажется, наоборот, возвращение к говорению, расставание с молчанием². У Мейерхольда «любое движение есть иероглиф со своим собственным, особенным значением» и не требует перевода на словесный язык и не условно. «Театр должен использовать лишь те движения, которые мгновенно расшифровываются.»³ В театральной теории говорят о жесте имитирующем, передающем поведение типажа, и оригинальном, обходящемся без повторения или перевода. Ежи Гротовский, ученик Антонена Арто, в работе «К бедному театру» требует от актера «не использовать свой организм для иллюстрации движения души; он должен осуществить это движение своим организмом»⁴. Гротовский называет это нахождением «телесных идеограмм», Арто — обретением (не изобретением) «нового физического языка на основе знаков, но не слов», без дробления на «лингвистические семантические единицы». Ремарки так или иначе неизбежны, но за внешним описанием опять же должно стоять «интуитивное видение телесного образа жестикулятора», т. е. слова должны прочитываться как жесты («Театр и его двойник»). Надо

разрушить язык, чтобы прикоснуться к жизни... На сцене, представляющей собой прежде всего пространство, подлежащее заполнению, где происходит нечто, язык слов должен уступить место языку знаков, объективный аспект которых есть то, что поражает нас сразу и прежде всего.

Литература не должна опережать представление. Арто возвращается от лексики к «ритму», Луи Жуве к «физике текста», которая «развоплощает» семантику. «Отбросить, сдержать чувство, эффект, который реплика вызывает на первый взгляд, при первом прочтении.»⁵ В рассказывании

1 Дени Дидро, О драматической поэзии. XXI. О пантомиме.

2 У великого мима 20 века Марселя Марсо молчание иногда становилось речью. Он делил жест на два уровня: «Когда я собираюсь поднять бумажник, я сначала протягиваю руку, на которую зрители смотрят, и только потом тянусь к бумажнику». Протягивание руки говорит о том, что сейчас должно произойти. «Существует момент подготовки, и только затем другого действия.»

3 П. Пави, Словарь театра. М. 1991, с. 100.

4 J. Grotowski, Vers un théâtre pauvre. Lausanne 1971, p. 91.

5 L. Jouvet, Le comédien désincarné. Paris: Flammarion 1954, p. 143.

(олитературировании) Арто видит лишнее удвоение, ненужный дубляж того указывания, каким полна иероглифика тела.

Когда обычные предметы или человеческое тело возводятся в ранг знаков, можно брать за образец иероглифику, чтобы создавать на сцене точные символы, которые могли бы непосредственно считываться зрителем.

По Гротовскому

сущность театра состоит не в повествовании о событии, не в дискуссии с публикой относительно той или иной гипотезы, не в изображении повседневной жизни, не в видении даже. Театр есть законченный непосредственный акт творения актеров на глазах у других людей.

Арто:

Иллюзия, которую мы пытаемся творить, направлена уже не на достижение того или иного сходства. Каждый спектакль самым фактом своего существования становится своего рода событием.

Под жестокостью (*cruauté*, сыростью) театра Арто понимает отказ от «вареных» результатов интерпретации, подготовленных в котелке головы. Они плохи не сами по себе, а когда забыто сырое, как если бы культура была обречена теперь иметь дело уже только с толкованиями. Физический шок, которого Арто ждет от театра, вернет зрителя к состоянию до культурной анестезии. Подобно Витгенштейну в предисловии к «Философским заметкам»¹, Арто размахивается до противостояния современной культуре.

Как могло случиться, что в театре, по крайней мере в таком, какой известен в Европе или вообще на Западе, всё, что является *специфически* театром, то есть всё, что *не может быть выражено речью*, оказывается на заднем плане?

Не менее яростный чем Витгенштейн, но лишенный его холодного расчета, Арто срывается в конечном счете на крик:

Театр, который подчиняет мизансцену и постановку, т. е. всё, что в нем есть специфически театрального, тексту, есть театр идиотический, безумный, извращенный, грамматический, обывательский, антипоэтический и позитивистский, это западный театр.

¹ Полностью предисловие Витгенштейна к «Философским заметкам» см. выше, с. 362.

Граница между *сказать* и *показать*, между повторяющим подражанием и оригинальным мимесисом проходит не между речью и молчанием. Мимические пьесы Софрона из Сиракуз (5 в. до н. э.), который первым ввел мимический театр в культуру, ценил Платон. Философ «старался перенять мастерство сочинителя шутовских мимов Софрона, желая, видимо, усовершенствоваться в искусстве изображения (τὴν μιμητικὴν)»¹. Диалоги Платона эксотерика и эсотерика одновременно; в том самом, что современному интерпретатору кажется лексикой, он сосредоточенно молчит. Молчащая речь, строго выдержанная во всех писаниях Витгенштейна, тоже не страдает от отказа толковать себя.

Мим соблюдает важное для В. различие между рассказом и показом, объяснением и молчаливым представлением. Хороший мим расстается не только с речью, но и с языком жестов, уходя в природный мимесис. В 1994 г. французский философ Франсуа Федье² издал книжечку «Мимоза». Это происходящее из Бразилии растение семейства мимозовых называют так потому, что при малейшем прикосновении его листья свертываются. Бумага тоже коробится от огня; в отличие от нее растение производит впечатление корчащегося от боли³. Мимоза показывает боль жестом, вбирающим в себя ту боль, которой угрожает прикосновение. Послушаем Федье:

Назвать *мимозой* растение, мимически-подражательное в этом смысле, значит видеть в этом растении *мимику боли*.

Сжатие металла на холоде можно теоретически помыслить как *аналогичное* съезживанию, какое вызывает боль у живого существа: миметическим вторением холоду это сжатие не становится.

Растение способно к миметическому жесту, потому что оно живое. Ему не обязательно знать, что оно делает этот мимический жест. По существу, чтобы мы увидели в нем мимесис, достаточно чтобы оно явилось нам *делающим жест*.

Подобно растениям мы живые существа; мы живые явно еще и иначе и

1 Анонимные пролегомены к платоновской философии 1, 3.

2 О нем в примечаниях А. В. Михайлова к переводу работы Хайдеггера «Высказывание Ницше „Бог умер“» (ВФ 1990, 6): Федье своей книгой «Анатомия скандала» закрыл вопрос о поведении Хайдеггера в 1933 г. См. также Ф. Везен, Философия французская и философия немецкая. Ф. Федье, Воображение. Власть. М. 2002.

3 Мимесис распространен в природе шире чем представляют. В опытах с камбалой эта рыба приобретала клетчатую окраску, когда ее помещали в аквариум с шахматным дном. Есть многочисленные случаи, когда обнаружить целесообразность природного мимесиса не удается.

больше чем они, — добавочная жизнь, которая нас от них отделяет, нас с ними сближает, заставляя их казаться как бы предшествующими нам на нашем пути, на единственном пути всякой жизни.

Иначе сказать: чтобы быть живыми, мы понимаем всякую жизнь исходя из ее кульминации. Настолько тогда касается нас λόγος, что мы видим его в действии уже в страдании — ἄλγος — и вплоть до мимического движения *мимозы*.

Часто переходя от мысли к боли, В. повторяет опыт, отложившийся в этимологическом родстве λόγος-ἄλγος. Говоря о ненасытимом голоде как симптоме — теперь можно сказать, мимесисе, — неизвестной боли, он едва ли хочет пристыдить человека за неумение распознать ее, если имя этой болезни логос. Витгенштейновское «логическое пространство», о котором мне, как и ему, хочется спросить, что оно черт возьми такое в конце концов, — это пространство надрыва и во всяком случае открытый простор, где ничего еще не решено.

Мимесис важен как образ бытия, возможно, не только живого. Мимесисом в этом смысле были пифагорейские пропорции, как сообщает Аристотель: «Пифагорейцы говорят, что сущее существует через мимесис числам [...] Что такое однако мог бы быть этот мимесис эйдосам, они оставили исследовать другим»¹. По Исократу, «Пифагор из Самоса [...] первым ввел в Элладу философию [...] Еще и поныне молчанию тех, кто притязает на звание его учеников, восхищаются больше чем речам самых прославленных ораторов»².

Мимесисом является витгенштейновский показ, определяющий показываемое и определяемый им. Боль в его упражнениях присутствует с необходимостью, а не как выбранная для исследования актуальная тема. Он занят бытием и небытием, добром и злом. Они бессмысленны вне перспективы счастья. Боль неизбежна в ситуации, где жизнь рассчитана на счастье и проваливается в несчастье, рассчитана на добро и проваливается в зло, рассчитана на оргазм и получает труд и смерть.

Место боли определяется указыванием. Мое сознание есть уже свертывание мимозы от боли, которую я не обязательно сознаю. «Собственные основания его исследования вовсе не бросаются в глаза человеку.»³ Мы заняты множеством вещей; что наши занятия начинаются как ми-

1 ἐν κοινῷ (Метафизика 987b 11–12) иронически: «коллективно», «общими усилиями».

2 Пифагор А 4 (пер. А. Лебедева).

3 Филос. исслед. I 129.

мические жесты, которыми мы снова и снова незаметно для себя указываем на боль, нам не очевидно.

Не навязывает ли В. нам боль, которой мы не чувствуем в себе? не идея ли здесь первородного греха от Адама и Евы? Серьезнее другой вопрос: может ли быть в ситуации надрыва, чтобы человек не принял от боли анестезирующее средство? не дал ту «метафизически-техническую реакцию на боль», о которой говорит Хайдеггер?

Боль, которую надо еще сначала испытать и осилить, есть прозрение и знание, что обеспеченность есть высшая и скрытнейшая нужда.¹

Обеспеченность, поддерживаемая интеллектуально-технической мощью, точнее, возрастающее обеспечение человеком себя со всех сторон — анестетик, временно прячущий боль.

Похоже почти уже на то, что от человека под господством воли к воле *закрылось* существо боли, равно как и существо радости [...] Никакая акция, никакой активизм не изменят состояния мира, потому что бытие как действительность и действие замыкает сущее от события. Даже неимоверное страдание, захлестнувшее землю, неспособно само по себе пробудить никакой перемены.²

Страдают, жалея себя и виня условия, мечтая о других. Помогая уйти от бытийного надрыва, страдание служит еще одним анестетиком. Опыт настоящей боли остался крестом немногих.

Боль, *ἄλγος*, связана в истории языка с логосом (от *λέγω, брать*) через *взятие, схватывание*; так мы одинаково говорим *у него живот схватил* (Владимир Даль) и *схватить суть дела*. Заметили ли древние в своем языке родство понимания и боли? Вернемся к платоновскому пещерному символу.

Проследи тот ход вещей, когда пленные избавляются от цепей, вместе с тем исцеляясь от нехватки понимания (!), и подумай при этом, какого рода должна была бы быть эта нехватка понимания, если бы прикованным довелось испытать следующее. Как только одного расковали бы и понудили внезапно встать, повернуть шею, тронуться в путь и взглянуть на источник света, то он смог бы это сделать лишь претерпевая боль (!) и не был бы в состоянии из-за мерцания огня взглянуть на те вещи, которых тени он прежде видел. И если бы еще кто-то заставил его взглянуться в

1 М. Хайдеггер, Преодоление метафизики XXV, ср. VIII.

2 Там же XXVIII.

мерцание огня, то разве не заболели бы у него глаза. Но вот если кто протаскал бы его оттуда прочь силой вверх по каменистому и крутому проходу и не отставал от него, пока не вытащит на солнечный свет, разве не испытал бы таким путем влекомый боли и негодования? И разве не ослепило бы ему при выходе на солнечный свет глаза и не оказался бы он бессилен (!) видеть хотя бы что-то из того, что теперь открылось бы ему как непотаенное?¹

Боль и немощь идут у Платона вместе с особым состоянием, для человека исключительным. Боль, о которой он говорит, только для избранных, большинству естественно ее не переживать? для людей нормально сидеть прикованными перед экраном?

Под землей в пещерообразном помещении с самого детства имеют свое пребывание люди, прикованные за бедра и шеи так, что им остается только одно, смотреть на то, что расположено у них перед лицом. Освещение у них сзади, сверху и издали. За спиной у них невысокая стена наподобие перегородки, какую ставят фокусники перед публикой, чтобы через нее показывать представления. Вдоль перегородки проносят разнообразные вещи, выступающие над ней, каменные и деревянные изображения и много еще разнообразных изделий человека. Такого рода люди ни сами ничего иного не видели кроме теней, ни от других об ином не слыхали. Они видят от проносимых за их спинами вещей одно это, тени. Разве, ты думаешь, они не сочли бы то, что видят, за сущее?²

Кроме прикованных есть кукловоды, за спиной рабов создающие тени на экране; одни владеют искусством слова, другие делают свое дело молча. «Как нельзя ожидать иначе, некоторые из проносящих переговариваются, другие молчат.» Положение всех без исключения людей не оставляет выбора, кроме как вырваться во что бы то ни стало. Боль таким образом не выбирают. Она императив.

Теперь Витгенштейн. Место боли определяется указыванием; вовсе не обязательно я с самого начала знаю, где боль и какая она; лучше мне поэтому посмотреть на самого себя, что я делаю не в идеале, плане и воображении, а всегда; что имею в виду на уровне первичного мимесиса. Мы всегда говорим что-то собою, неспособные скрыть себя, показывая исподволь место боли, в том числе и тогда, когда, нам кажется, мы сознательно решили и хотим говорить, исследуя, конструируя, разверты-

1 Платон, Государство VII, начало. Рус. пер. по Хайдеггеру («Учение Платона об истине», начало).

2 Там же.

вая свою мощь. Как распознать, что я означаю и намереваюсь, не посмотришь, что я показываю? О мысли мы знаем только по «выражению».

Выражение, *Ausdruck*, исходно значит выдавливание. Перевод энциклопедии «Луцидариус» в 16 или 17 веке был сделан еще на тот русский язык, где выражение связано со сражением.

И егда 4 ветра высоко на воздухе вместо сражаются, сице бывают волнения; такоже и другии воздух вон выражает другия ветры [...] Идеже земля жестока есть, тамо есть на всяко время вода выподи есть, сице бывает часто, та вода движается под землею, и егда вон выразитися не может, терзает землю с великою силою и ту страну движает.

В романтизме выражение сохраняло силу этого взрывного прорыва. Античный логос, одновременно мысль и слово, хотя и легко переходил из молчаливой в произнесенную форму (*λόγος* *профорικός*), предполагал борьбу за слово, о которой напомнил романтизм, не там, где подыскиваются средства выражения, а там, где складывается или не складывается мысль, всё равно, звучащая или нет. Лишь сравнительно недавно античное (с ним средневековое) творческое и романтическое вулканическое понимание выражения выродилось в выражение как подыскивание соответствий, зеркальных отражений. *Он понимает, только выразить не может. Форму выражения не найдет. Не так выразился.* Простите человека, он внутри думал лучше, чем получилось снаружи. Психология и «науки о духе» приучили нас воображать себе область жизнечувствия, расположенную где-то в недрах индивида; для нее осталось только подыскать соответствия в языке. Трезвее думать, что существует только выражение.

Пока нам не удалось выражение, мы не хозяева своих душевных богатств, а в лучшем случае их наблюдатели. Движение руки иногда приводится в доказательство свободы воли. Для В. этот классический довод не только не работает, но как бы вовсе не существует. Мы должны быть крайне осторожны с приписыванием каких бы то ни было движений себе. *Наше* участие в событии удостоверяется только полнотой представления в смысле творчества (*Darstellen*), не в смысле наблюдения (*Vorstellen*).

Когда я [...] говорю «я вижу, что моя рука движется», то на первый взгляд этим вроде бы подразумевается, что я санкционирую фразу «моя рука движется». Однако если я захочу рассматривать фразу «я вижу, что моя рука движется» как одно из свидетельств очевидности для фразы «моя ру-

ка движется», то истина первой не будет предполагать истину второй. Поэтому вместо выражения «я вижу, что моя рука движется» лучше было бы предложить выражение «похоже на то, что моя рука движется». Хотя это последнее позволяет думать, что моя рука движется по видимости, а не в действительности, оно однако могло бы дать понять, что рука все-таки должна иметься, чтобы по видимости двигаться; тогда как легко можно представить себе случаи, в которых фраза, описывающая визуальную очевидность, истинна и в которых очевидность другого рода позволяет нам одновременно говорить, что у меня нет руки.¹

Фразу «я вижу, что...» в данной ситуации В. называет неуклюжей и вводящей в заблуждение. Что такие фразы случаются, не противоречит однако тому, что «с обычным языком всё в порядке». С нашим телом тоже всё в порядке, но оно больше чем один раз бывает громоздко, неуклюже и вводит в заблуждение. Громоздкость фразы «я вижу, что моя рука движется» создается ее нехорошей двусмысленностью в случае, если рука ампутирована. Чем более искусственными и надуманными кажутся витгенштейновские казусы, тем глубже их смысл. Редкостного случая, когда в хирургической палате движется ампутированная рука, которая уже не моя, может и не быть, но что моей рукой вожу не я, бывает не реже, чем бывает, что я занят не своим делом, говорю не своим языком. Ампутированная рука в сравнении с этим лучше. «И если правая твоя рука соблазняет (*σκανδαλίξει*) тебя, отруби ее и отбрось от себя» (Мф 5,30). *Σκανδαλίξει* обычно понимается тут иносказательно, эстетически и нравственно, тем более что контекст говорит о глядении на женщину с вожделением; это нехорошо, и как красиво тогда в высоко-нравственной скорби пойти и отрубить себе что-то. Высокий человек жертвует собой ради высокого идеала незаинтересованного созерцания. Так на культурном Западе некоторые мужчины стерилизуют себя, чтобы не вводить в излишние тревоги женщин; это гуманно и жертвенно. Толкования к евангельскому соблазнению поясняют, что *скандалом* называлась та часть капкана для дикого зверя, на которую клали приманку; когда зверь пробовал ее, *скандал* выскакивал из паза и высвобождал пружину; она захлопывала голову, лапу или руку. Смысл этого евангельского места скорее и военный, чем нравственно-эстетический. Техникой капкана часто пользовалась античная стратегия, когда войско нарочно отступало, затем бежало, чтобы раздражить врага до смелости,

1 WA 5, 85.

после чего внезапно показывало ему, что у мнимых беглецов воли к победе больше чем казалось. По принципу ли капкана устроена софия мирового автомата? Захват мира человеком переходит в захваченность им; хватаем явно мы, но мы же и схвачены.

В. рассматривает крайний казус ампутированной руки, не входя в разбор сложных и разнообразных случаев того, как моя рука оказывается не моей. Его последняя сделанная 27.4.1951 (ум. 29.4.1951) запись № 676 в книге «О достоверности» спрашивает, в чем же невозможно заблуждаться и ошибиться. Как бы ни было мне очевидно, что я приехал в университет, стою за кафедрой и говорю, подтверждая это свидетельствами, моя уверенность может оказаться результатом наркоза. Он отнимает у меня сознание (*das Bewußtsein raubt*) и я действую, говорю и доказываю не по-настоящему (*nicht wirklich*). *Rauben* (грабить, похищать) то же слово, что наше *рвать*; *das Raubtier хищник*. Наркоз вырывает у меня сознание как хищный зверь, отбирает его себе; сознание вполне присутствует в моем думании, говорении, убеждении себя, но оно не мое — настолько, что я не имею права в таком состоянии даже по честному сказать, что сплю. Ведь если спящий говорит, что спит, то делает это во сне, и принять его слова за свидетельство той истины, что он спит, нельзя: он говорит о *другом* сне. Как если он во сне говорит: «Идет дождь», это не свидетельство того, что действительно идет дождь, даже если дождь его сна и его свидетельство о дожде вызваны дошедшим до него шумом действительного дождя.

Несомненная достоверность доступна, по-видимому, только не ампутированному, не разделенному на две половины и не ограбленному сном Я. Протезы делают отсутствие части тела почти или вовсе незаметным, но и протез мне, возможно, тоже только снится. Здесь приоткрывается еще одна важная сторона витгенштейновского различения между *сказать* и *показать*. Всё, что я скажу во сне или под наркозом, останется отгорожено от действительности непреходимой стеной; всё, что я покажу во сне, будет так же достоверно, как наяву. Говорение в смысле *сказать* проходит всегда по правилам той или иной языковой игры, показывание как непосредственный мимесис всегда вне ее. Языковая игра создает в числе прочего и удобное Я; в показывании, когда оно мимесис, Я не очень спешит и не очень радо отождествлять себя с тем, что показывает себя в мимическом жесте.

Сон ограждает, сиюсь превратить в себя всё, что грозит его прервать. Вокруг помехи себе сон мгновенно выстраивает конструкцию, которая

хотела бы впитать помеху в ткань сна. Это не всегда удастся. Так жизни не всегда удастся встроить в себя препятствие для жизни, и она прерывается. Подобным же образом в местах надлома гладкого течения обычной речи язык противится надлому и хочет продолжаться, включив в себя надлом тоже. Порог речи, сбивающий ее с толку, — молчание, ошеломление, ужас, тоска. За порогом должна начаться другая речь, перешедшая границу сна и яви, не просыпающаяся или не засыпающая. Только такая речь хранит молчание; само оно, всегда говорящее, сбегать себя не может.

Сознание открыто грабежу и поэтому старается не выйти из колеи языковых игр. Рискнуть обойтись без них значит вступить в войну того рода, какую вел В. Пойти за ним трудно, потому что тогда действительно придется пойти на что-то подобное отказу от больших денег и жесткой проверке каждого своего слова. В месте настоящего боя нет свободы движения. В середине схватки солдату остается только выбор между отчаянием и решимостью. Он встречается с раскованной яростью, которая действует наотмашь и посылает своей удар раньше сознания. Без готовности к этому нельзя начинать войну; можно сесть на свою скамью и глядеть на экран.

Расставание с говорящим Я ради показывающего В. разыгрывает, среди многих своих упражнений, на следующем. Предположим, в ходе особенной хирургической операции некто А имеет со мною общую кисть; мое и его предплечья с ней в равной мере соединены.¹



Общую кисть ужалила оса, у нас обоих гримасы боли, мы даем ее одинаковое описание. Ощущает ли А *ту же* или, поскольку он другой человек, *сходную* боль? Не будет ошибкой сказать, что у него *моя* боль. Какой смысл говорить в этом случае о двух разных Я? Невероятность казуса соответствует всеобщности симпатии между живым на уровне природного мимесиса. Что отменяет эту всеобщность, создавая разные Я?

¹ WA 5, 89. Мы читаем это место «Голубой книги» в свете «Философских исследований».

А и В, имеющие общую кисть руки, описывают укус осы одинаково, например словами *еще больно*. Общность боли не мешает им слышать у самих себя это слово по-разному. *Снова больно*, может чувствовать при этом один; *пока еще больно* — другой. Еще бы, скажут нам; ведь первый всегда был настроен пессимистически, второй наоборот. Это будет значить однако только то, что разное видение одного и того же началось давно или совсем не имело начала. Не имеем ли мы тут дело с чем-то таким, что раньше сознания?

Нарисуем (наш пример) круг на однородной поверхности. Визуальное восприятие его у всех явно одинаково, как боль от укуса осы в общей кисти А и В. Разная острота зрения скорее подчеркнет одинаковость восприятия. И вот при полной физиологической одинаковости восприятия одни увидят в рисунке что-то вроде замкнутого пространства, другие, наоборот, размыкание его. Способ видения зависит от предрасположенности? Вопрос скорее всего нерешаемый. Тогда обойдем его. Спросим иначе: возможны ли другие способы видеть круг? Стоит сказать, что других способов не существует или что два названных сомнительны, как мы увидим круг по-новому. Сказать, что круга нет, а есть кривая черта мелом, значит увидеть его еще иначе.

Мы называли слово вспышкой и границей. Круг-остров, круг-озеро, круг-меловая черта появляются в наших глазах вдруг¹, не постепенно; способом вспышки, не конструкции. Слово открыто в сторону такого поворота зрения. Вовсе не обязательно, чтобы мы замечали все такие повороты или даже просто догадывались о них.

О том, что поворот зрения, или смена аспекта (Aspektwechsel, Aspektwandel), принадлежит «логическому пространству», говорит его легкость. Мы переходим от круга-острова к кругу-озеру без труда и усилия. Движение в логическом пространстве сравнивают со скольжением по идеальному льду; если его не взламывать, скольжение невозможно остановить, хотя невозможно и начать. Буриданову ослу одинаково легко повернуть голову направо и налево, почему он и не может сделать ни того ни другого; для начала движения нужна опора, которой в логическом пространстве нет. Осла губит не необходимость усилия, а наоборот, ненужность его.

¹ Платоновское ἐξαίφνης.

Эта черта (наш пример)

едва выносит давление сверху. — Нет, она едва удерживает давление снизу. Переход давящей массы вверх или вниз от черты происходит сам вдруг; наоборот, чтобы увидеть эту массу перетекающей вверх или вниз, требуется длящееся усилие воображения. Причина разного восприятия черты мои слова; я мог бы пригласить ее видеть и иначе. Но внезапность переключения (*Umschnappen*) и ваша готовность на него идут не от меня; не я ей научил; вы как-то сами всегда уже умели переключать *да* на *нет*. Откуда это умение? оттого, что в домах теперь есть выключатели? Скорее наоборот, они есть потому, что человек настроен на такое легкое переключение. Настроен родовым опытом, который, постепенно внедрившись, стал второй натурой? или наша история стала такой потому, что нам присуще жесткое переключение на *есть-нет*? Кто скажет: *именно так* или *вовсе нет*, уже введет его в действие. Кто скажет: *отчасти то, отчасти это*, видел эти полюса раньше чем отстранился от них.

Вернемся к рисунку двоих с общей кистью руки. Она одинаково болит у А и В; сказать ли, что у А моя боль, та же боль или что я знаю только свою боль, тогда как у В, возможно, какая-то подобная, ничего в физиологии не меняет. Как называть, зависит от словоупотребления? Да и нет.

Смена одежд или имен может означать очень много или очень мало.¹

Очень мало значит переименование физиологии или географии, очень много — то повертывание зрения, для которого в географии и физиологии не нужно ничего, но которое важнее чем любое материальное изменение. Только внезапная смена аспекта создает основание для чистого поступка; вне ее все наши действия так или иначе подчинены сложным причинам и поводам.

О месте аспектной смены в действиях языка уже говорилось.

Наш обычный язык, который из всевозможных систем обозначения остается той, которая пронизывает всю нашу жизнь, держит наш ум (*Geist*) как бы жестко в определенной позиции, и в этой позиции он (ум) чувствует себя часто стесненным и имеет потребность в других позициях.²

¹ WA 5, 93.

² WA 5, 95.

Имеется в виду не реформа языка — «с обычным языком всё в порядке», — а перемена аспекта того же самого языка. Его жесткость, отвечающая жесткой структуре мира, не только не исключает, а наоборот, впервые открывает простор для «других позиций». Переход к ним не требует операций над фонетической или семантической материей.

Рассмотрим случай неожиданной и красивой смены позиций внутри обычного языка. Связанный общей кистью с А, В должен выбирать между «А имеет мою боль», «у А подобная боль», «у нас общая боль». Он заперт в эти три возможности? Если В солипсист, то нет; для него будет действителен только его опыт. Поэтому В интегрирует всё, что может сообщить ему А, в свою жизненную историю. Он не перестанет обращать внимание на жалобы или крики боли. Всякая боль вокруг него будет его боль. Поскольку для него нет *чужой* боли, для него естественно нет и *своей* личной; он не будет иметь причин сказать *это моя боль, не ваша*. Фраза *у А настоящая боль* для солипсиста невозможна; вместо нее он скажет *имеет место настоящая боль*. То же в отношении себя.

Предлагаемое солипсистом сводится к тому, чтобы вместо выражения «у Шмидта (солипсиста) болят зубы» применять выражение «имеет место настоящая зубная боль»¹.

Когда такой солипсист по сочувствию (природной симпатии) услышит нашу боль, ему не придет в голову отстранять ее от себя как чужую; для него всякая боль одна и настоящая. «И почему нам тогда не разрешить ему эту систему обозначения?» У солипсиста не будет разделения боли на настоящую и симулированную, не будет подозрения, что крик только кажется криком боли, а на самом деле актерство. Замены языка не понадобится, словоупотребление изменится минимально, возможно, незаметно для ненастороженного слуха. Смещение взгляда, чувства или слуха между тем произойдет решительное; исчезнет граница между болью, которая Шмидта задевает, и той, мимо которой можно пройти; мир расширится.

Решим в меру нашего растущего знакомства с Витгенштейном одну из его задач.

Солипсист, говорящий «Только я ощущаю настоящую боль», «Только я

¹ WA 5, 96.

действительно вижу (или слышу)», выражает не мнение, и потому он так уверен в говоримом им.¹

Почему у солипсиста фраза «Только я ощущаю настоящую боль» не мнение? почему он уверен в говоримом? откуда у него появилось выражение «только я»? Когда люди идут рука об руку, физиологически со-единенные тело с телом, выбор между *моя* и *твоя* боль становится вопросом грамматики. Снятием безысходных споров о том, моя ли боль у тебя или твоя у меня, будет солипсизм. Фраза «Только я ощущаю настоящую боль» перестанет быть мнением, потому что ей не будет противостоять другое, способное ее опровергнуть. Без материальных изменений всё, как бы то ни было открытое чувству, станет своим в смысле не юридической принадлежности, а *ближайшего*. В «нашем (вариант: моем) солипсизме»² всё собственно (по-настоящему) воспринятое становится собственным в обоих смыслах этого слова, слитных до неразличения. 2.9.1916 Витгенштейн записал в дневнике, что строго последовательный (*streng durchgeführt*) солипсизм совпадает с реализмом. Тогда Я собирается в непротяженную точку и оставляет существовать координированную с ним реальность, которая утрачивает свою чуждость. Поскольку Я не тело, тело теряет право называть себя Я и становится частью мира среди тел животных, растений, камней.

Кто это видит, не захочет уже выгородить для своего тела или для человеческого тела какое-то предпочтительное место в мире. Он будет вполне наивно рассматривать людей и животных как подобные и взаимопринадлежащие вещи.

Я, наоборот, не часть мира.

Через Витгенштейна и Хайдеггера строгий солипсизм, казавшийся музейной редкостью³, входит в магистральную мысль 20 века. В «Логико-философском трактате» 5.641 процитированная дневниковая запись повторяется с расширением:

Есть таким образом по-настоящему один смысл, в каком в философии может непсихологически идти речь о Я. Я вступает в философию через то, что «мир есть мой мир». Философское Я не человек, не человеческое тело,

1 Ibid.

2 WA 5, 98. Ср. у Хайдеггера «всякое Dasein (вот-это-бытие, присутствие) всего мое».

3 «В последовательном виде солипсизм встречается крайне редко (напр., у французского философа и врача 17 в. К. Броне)» (ФЭС, 599).

или человеческая психика, о которой трактует психология, но метафизический субъект, граница — не часть — мира.¹

В «Философских исследованиях» позиция солипсизма признается безупречной, поскольку, назвав чужую боль своей, он не станет к ней менее внимателен. Изменится способ обозначения; вместо *боль твоя, их боль* придется возможно говорить *боль здесь, боль там*.

Опять же что имел бы я тогда от этого нового способа представлять вещи? Ничего. Но ведь солипсизм и не *хочет* себе никаких практических выгод, когда выставляет свое воззрение!²

Ни на солипсизме, ни на бихевиоризме³ Витгенштейн не остановится; суть не в позиции, а в работе. «Диаметральная противоположность солипсизму», провозглашенная позднее⁴, помогает уточнению ранней мысли. Решающая важность *выражения* становится всё яснее. Рядом с ним субъект бледнеет и становится менее важно, идеалист ли он, реалист, солипсизм или бихевиорист. Втянутый в переживание-выражение, субъект в конечном счете теряет способность смотреть на этот комплекс извне его. Если я пошел куда-то, то в каком-то смысле уже не могу видеть себя туда идущим; для этого, строго говоря, надо было остаться на месте и наблюдать⁵. Ввиду растущей роли *выражения* тема солипсизма вбирается в теорию фразы; «связь между солипсизмом» и «способом, каким фраза обозначает», сводится к тому, что

Я замещается фразой и соотношение между Я и действительностью замещается соотношением между предложением и действительностью.⁶

В «Голубой книге» солипсизмская проблематика заставляет задуматься о текучести (тождестве) Я. В продолжение расселовской темы «моментального солипсизма» анализируется «убедительнейшее выражение для нашего солипсизма», а именно:

1 Трактат 5.641.

2 Филос. исслед. I 403.

3 Ср. Wittgenstein's Lectures..., p. 112 в связи с подозрениями Витгенштейна в бихевиоризме типа G. Ryle.

4 L. Wittgenstein, Aufzeichnungen für Vorlesungen über «privates Erleben» und «Sinnesdaten» [1936]. — L. Wittgenstein, Vortrag über Ethik und andere kleine Schriften, hrsg. J. Schulte. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1989, S. 55, 76.

5 WA 4, 156 (Философские заметки § 107).

6 Big Typescript, p. 499 (страница архивной машинописи, воспроизводимая в изданиях).

Если что-то увидено (действительно *увидено*), то видящим это оказываюсь всегда я.¹

В этом утверждении² обращает на себя внимание словечко *всегда*.

Всегда *кто?* — Потому что странным образом я имею в виду не: «Всегда Л. В.». При каких обстоятельствах мы говорим: «Это та самая личность, которую я видел час назад»?

Вокруг субъекта собирается вся реальность, но Л. В. не ложится на центр мира, причем не от скромности! Будем перебирать, отчего. Может быть, Л. В. есть личность среди прочих личностей, а личность не то же самое, что Я? «Давайте порассуждаем», как сказано в одном современном переводе якобы Хайдеггера, что такое личность и что такое Я? Для В., мы к счастью знаем, такие рассуждения запретны, как попытки сесть на исчезающий стул. Он сделает сейчас один из своих немислимых ходов, предсказать которые так же невозможно, как вычислить перспективы *Aspektwechsel*, внезапного изменения глаз.

Не что такое личность, спрашивает Витгенштейн, а как мы ее опознаем. Обычно по лицу, по «внешнему виду (*appearance*) моего тела». Оно изменяется постепенно и относительно мало, как и мой голос, характерные привычки. Представим теперь, что все человеческие тела выглядят совершенно одинаково, варьируется лишь набор черт характера. Тогда мы, наверное, давали бы разные имена не телам, совершенно неотличимым друг от друга, как не даем разные имена совершенно одинаковым стульям в столовой или гостиной, а наборам, комплектам характерных черт; скажем, одно имя для сочетания мягкости, высокого голоса, медленных движений, другое для холерического темперамента, низкого голоса, угловатых резких движений. Предположение штампованных одинаковых тел, не менее фантастическое чем сращение кистей рук, работает на исключение понятия личности, возвращает к исходному и в частности библейскому пониманию лица как намерения, порыва, воли.

Представляющий субъект прекрасно может оказаться пустой фантазией. Волящий субъект однако есть.³

Не будь воли, т. е. выбора да-нет, не было бы и центра мира, которое мы

1 WA 5, 98.

2 Ср. выше «всегда мое» присутствие (*Dasein*) у Хайдеггера.

3 Дн. 5.8.1916.

называем Я. Как волю понимает *лицо* в «Философии права» Гегель. Различие воли, доброй и злой, весомее различия облика.

Предположим далее, что у каждого человеческого существа два облика: лицо, рост, характерные черты поведения периодически полностью меняются. Человек в норме имеет два состояния, и вдруг — внезапно — переходит из одного в другое.

Очень правдоподобно, что мы в таком обществе были бы склонны крестить каждого человека двумя именами и, возможно, говорить о двух личностях в его теле. Были бы двумя личностями доктор Джекил и мистер Хайд или они были бы одной и той же личностью, которая только меняется?

Можно считать по-разному. Ничто не заставляет говорить обязательно о двух.¹ В самом деле, мы ведь разрешаем личности изменяться, и где предел разрешенных для нее колебаний? Представим себе человека, который по четным дням помнит всё, что было с ним в четные дни его жизни, не помня, что происходило в нечетные, а в нечетные — только то, что было по нечетным, причем без малейшего ощущения прерывности. Не мешает предположить, что его телесный вид и характерные черты тоже меняются по четным и нечетным дням, это уже не так существенно. Тут две личности или одна? Ответ²: ни то ни другое. Обычное применение слова личность «смешанное»; мы то говорим, что одна и та же личность может меняться внутри себя, то признаем, что тот же самый человек стал другой личностью, причем оба словопотребления текут.

Понятие личности строят обычно на сознании, не замечая, насколько оно разорвано. Мы знаем всегда только часть нас; другая ампутирована, вырвана, украдена. Все конструкты Я останутся поэтому шаткими. В отличие от этого у солипсиста, который всякое видение знает только в той мере и так, как видит сам, нет сущности, отдельной от опыта видения. Он может обойтись без Я. Видит видение, сказал бы Хайдеггер, у которого *Dasein* употребляется только в единственном числе. Витгенштейн (место разбиралось выше³): вместо *А имеет в виду р* лучше писать «*р*» *имеет в виду р*. *Сам* (солипсист) не имеет наблюдательного пункта с аппаратурой для восприятия себя извне; она вся принадлежит событию.

1 WA 5, 99.

2 WA 5, 100.

3 См. с. 255.

Что дает примысливание к событию личностной субстанции? «Это подобно тому, как если бы я ехал в авто и из чувства спешки инстинктивно надавливал на что-нибудь передо мной, словно я могу придать автомобилю ускорение изнутри.» Так шахматист прикрепляет своему королю маленькую бумажную корону.¹ Партнер тревожится: это у вас теперь другая фигура? может быть, это такой король, в которого может превращаться пешка, дошедшая до восьмой горизонтали? Ах нет, правила не меняются; король остается прежним. Партнер тогда вправе сказать: раз корона нацеплена, оставьте ее там, но я позволю себе играть всё равно так, словно ее нет. Расставленный на многих индивидах знак личности не изменяет, а только заслоняет решающий факт растворения Я в событии. Дело идет в сущности о смене аспекта одной и той же вещи. Эта смена, мы слышали, может не иметь вовсе никакого или огромного значения. Без материальных перемен происходит изменение *факта*.

Освежим на нашем примере это важное различие. Поверхность бумаги или доски, проведенные линии, геометрическую фигуру



можно считать вещами. Предположим, фигура изображает нависающий над нами потолок; то, что при другом восприятии она видится лежащим перед нами полом, будет изменением факта. Воображение пола, потолка принадлежит вещам, психике, физиологии, биографии; логическому пространству принадлежит только с большим трудом выделяемая из плотной физио-био-психологии легкость, внезапность и неожиданность переключения от пола к потолку. Подобные переходы нам всегда кажутся странными, мы встречаем их как новость.

Наш опыт сплетен из двух частей, всегда более или менее заметного материального изменения и менее заметных внезапных изменений аспекта. Вошедший в аудиторию прежде всего заметит, что на доске нарисован параллелограмм; на переключение аспекта надо будет обратить его специальное внимание. Однако для того, чтобы он увидел на доске геометрическую фигуру, уже требовалось переключение от четырех прямых к параллелограмму; этому вошедший был обучен в школе.

Странность перевертывания аспекта не оставляет места для предпо-

1 WA 5, 104–105, 112.

ложения, что его устраиваем мы; как-то *само* перевернулось. При повторении упражнения я гляжу на фигуру, чтобы узнать, чем она стала. Одновременно видеть в ней пол и потолок, как уже говорилось, невозможно.

Возьмем случай, когда я вижу А в ореоле (сиянии) и потом без него. Мои глаза сменились. Мне тревожно, что я не вижу того, что видел раньше. Меня расстраивает, что удержать однажды увиденное не удастся; я виню в этом А, одновременно подозревая, что он остался тем же. Сменились заметным и задевшим меня образом скорее всего мои глаза.

Похоже, однако, что смена аспектов часто происходит незаметно. В фигуре



один увидит птичью лапку, другой стрелку (разность может иметь опять же психологические причины, но дело в другом)¹. Не обязательно я должен был сообщить вам о возможностях этой фигуры; не обязательно вы могли увидеть их без меня. Сейчас вы говорите: какая странность, здесь видна то стрелка, то гусиная лапка. Но без меня вы тоже могли видеть в фигуре то одно, то другое и никому, в том числе себе, ничего об этом не сообщить, не из желания утаить и не от безразличия, а потому что не видите места для сообщения. Смена аспекта будет проходить через вас глубже сознания. Это не значит, что она в таком случае заденет вас меньше.

Интерес В. настолько собран вокруг смены аспекта, что действительно он называет участие во внезапном нематериальном переключении. Остаться не задетым превращением нельзя; не заметить его не значит его потерять. Мы здесь в нашем собственном мире между бытием и небытием. Исчезание лапки, появление стрелки приоткрывает странное пространство, которому мы по существу всегда принадлежим.

Прочтем подробнее только что разобранный место.

↓ «Но ведь эту фигуру можно же видеть как стрелку и как птичью лапку, даже если это никогда никому не сообщать.» А это опять же значит: имеет *смысл* говорить: кто-то видит фигуру когда так, когда так, никому о том

¹ WA 7, 38 = «Заметки о философии психологии» (1946–1949) I 156. Философией психологии Витгенштейн называет гносеологию.

не сообщая. — И я не скажу, что это не имеет никакого смысла, но этот смысл так сразу не ясен.¹

Стрелка может превращаться *для нас* так, что превращение останется нам незаметно. Читаем дальше в подборке:

— Я знаю например, что люди говорят о чувстве нереальности, они говорят, что им кажется всё нереальным; [...]

Четырехлетняя девочка, с которой мы шли однажды среди вечерних огней по Моховой, сказала, что ей кажется всё ненастоящим и как сон. Такие повороты зрения В. называет эстетикой. Увидеть вечерний центр Москвы нереальным девочка предложила мне так же, как я предлагаю увидеть вместо стрелки лапку. Теперь, через почти 25 лет, это видение площади, широкого тротуара, машин и людей в электрическом желтоватом свете на Моховой у меня остается таким же отчетливым, как тогда. Продолжим чтение:

[...] и теперь скажи: людям всё могло бы представляться нереальным даже если бы они никогда никому это не сообщали. Как мы тогда безо всякого знаем, что имеет смысл говорить: «этому человеку всё возможно представляется нереальным, хотя он никогда о том не говорит».

Чувство нереальности всего настолько же вероятно, насколько не обязательно должно быть замечено.

Я естественно выбрал здесь с умыслом очень редкое переживание. Ибо поскольку оно не из повседневных переживаний, мы пристальнее смотрим за употреблением слов.

Ничто не мешает принять эти «случаи» за маргинальные казусы, разбираемые в целях анализа словоупотребления и механизмов языка; они будут не в меньшей мере задевать нас и так.

Я мог бы сказать: восклицание «Всё это нереально!» тянет на какой-то смысл — и уже видно, что и то другое высказывание [«этому человеку всё возможно представляется нереальным, хотя он никогда о том не говорит»] тоже имеет смысл.

Общее правило²: если что-то замечено, оно могло быть не замечено; выход в сознание, индексация, экспликация переживания предполагает

¹ Там же.

² Там же I 157.

ет его подводную часть. О сказавшем «Всё ненастоящее!» мы вправе думать, что ему всё предстает нереальным, хотя он никогда об этом не говорит. — Но ведь только что сказал! — Нет. Так спящий говорит во сне «я сплю», не сказав ничего о своем состоянии.¹

Переживающий восклицает о своем переживании: всё нереально! — и если это имеет хоть кроху смысла, имеет смысл сказать о нем: возможно, мир для него погружен в такую нереальность, которую он не знает, не замечает и о которой не говорит, даже если его восклицание навеяно его опытом. Он в тумане психологии; ему не хватает другого, не обязательно словесного: выхода из психологического в логическое пространство. С равным успехом он мог бы для объяснения, что такое корова, выпить на наших глазах молока.

Объяснять понятие понимания значения через переживание значения было бы так же неверно, как [объяснять понятие] реальности и нереальности через переживание нереальности; или понятие присутствия человека через ощущение присутствия. С равным успехом кто-то стал бы объяснять, что такое шахматы, через ощущение шахмат.²

Можно не знать о том, что всё нам предстает нереальным, как не знать о своей болезни, и говорить о нереальности всего, не зная, что всё предстает нам нереальным. Как и что мы говорим, и говорим ли, имеет мало отношения к тому, как с нами обстоит. Заговорив о настоящем или нереальном, мы вовсе не обязательно оказываемся в настоящем или в его искании. Но как бы и что бы мы ни говорили, фактом речи мы держим себя в области смены аспекта. Язык пространство вспышки и границы; им, частью нашего организма, мы выдвинуты в мир, повертывающийся всегда новыми сторонами.

Поставим на доске точку мелом (мой пример). Известно, что геометрическое идеально и нарисовано быть не может. Поэтому, стерев точку, я по-видимому сотру только грязь на доске. Там останется идеальная точка. Кто ее теперь видит? Почти никто. Ну и дела, говорю я, где же ваши знания о непротяженности чистой точки? как могло случиться, что когда я стер всего лишь негеометрическую грязь, вы растерялись и потеряли точку? — Потому что я задал вам точку как не задал. Назвав ее и не предложив никакой из известных игр с ней, я открыл поле вопросов: что она такое? существует ли? точка ли она вообще или за ней стоит

1 См. выше с. 416 последняя запись «О достоверности».

2 Заметки о философии психологии I 155.

какая-то другая, возможно, неясная мне самому проблема? После этого не видеть ее на доске так же нормально, как и в меловом пятне. Но разве, потеряв точку и не получив на руки ни одну из языковых игр, вы остались с голой пустотой? Нет. Никуда не делось то, что есть *и так*, без правил и конвенций. Назвав это простейшее точкой, или ситуацией, мы уже усложним и затемним дело. Мы не можем сказать ничего, не заслонив то, что безусловно открыто. Из разных способов видеть (своими, чужими глазами, смутно, отчетливо) есть необозримо много таких, какими мы не видим именно в той мере, в какой уверены, что видим. Весь спектр видения мы себе гарантировать не можем. Включив свою настольную лампу, я создал тем самым части комнаты, куда ее свет доходит слабо. Замечанием об изменении аспекта предполагаются другие, незамеченные. Докладом об одном предполагается сокрытие других.

Робеспьер сказал революция, значит не революция; исследователь сказал, попробуем читать Витгенштейна, значит не попробуем читать, попробуем не читать; профессор сказал, помыслим бытие, значит помыслим не бытие. Не в нашей воле словом попасть в бытие и небытие, в добро и зло, в счастье и несчастье, монархию или республику. Зачем же мы говорим, если объявление земли, воли, мира, благосостояния будет значить неволю, немир, неблагополучие? Чем планирующая речь отличается от сказки?

В сказке о рыбаке и рыбке уверенно говорится о море, говорящей рыбе, безрассудном поступке, каких на самом деле нет. Всё это существует, понимаем мы, нигде. У нас нет иллюзий в отношении поэтического смысла; сказка не оставляет для них места. Она разворачивает уникально чистое и трезвое обращение со словом, завершена в себе, полна своей безусловной правдой (неразумная старуха заведомо останется при худом корыте) и не завязывает связей с неопределенной практикой. Наоборот, политическая, планирующая, идеологическая, учебная речь необратимо переплетена с веществом. «Серьезное» слово не удовлетворяет себя и требует обеспечения по правилам, которые никогда не безусловны. Игры с участием слов *вера*, *религия* требуют обеспечения таких моментов как Воскресение, пресуществление, нетление мощей. Неотчетливость правил здесь особенно дает о себе знать вокруг момента чуда. Другой пример, тоже наш. Мы говорим война и идем на войну; она оказывается не тем, что мы слышали в этом слове; о ней становится трудно говорить, еще труднее сообщить; из-за невозможности обеспечить довоенное представление о войне обыденный дискурс о ней осложня-

ется. Таким образом, строго говоря, беспроblemна только самообеспечивающая речь; к ней поневоле возвращается всякая условная. У В. вещественное обеспечение фразы исключено принципиальным невхождением вещей в ее логическое пространство.

Вернемся к восклицанию о нереальности всего. Почему нельзя было ему верить? нельзя ли было принять его за символ, синекдоху или пророчество? Пусть человек, говорящий «Всё нереально!», не знает, на какой глубине ему на самом деле всё предстает ненастоящим, но своими словами он пророчествует о себе или исподволь намекает на положение вещей? — Символу и пророчеству не хватает строгости. Они остаются в психологии; вывести в логическое пространство способны только отчетливые да и нет. Принятие слов «Это всё нереально!» не за чистую монету, а только за открытие темы и есть переход к логике, от размытого уподобительного к аристотелевскому символу как недостающей части. Логика обеспечена предложением (Satz), которое истинно или ложно. По Расселу, решение об этом можно вычислить через «очевидность» из «вещей»; по Витгенштейну, предложение есть проба (мера) мира и начинается с утверждения и отрицания, рискуя небытием.

Странность (многосторонность) мира лежит в основе слова как места смены аспектов. В этом смысле слова можно назвать метафорой. Метафора у всех на виду в семантике (в соломе, которой, хорошо если лучшего качества, как говорит Витгенштейн, затыкают прорехи художественного произведения), но начинается она, большей частью незаметно, не в содержательном сравнении, а во внезапной перемене взгляда. Здесь ее база. Языковые игры как системное управление строительной деятельностью, описанное в начале «Философских исследований» и заставляющее вспомнить о Вавилонской башне, остаются у нас в руках от языка при упущении его открытости аспектной смене. Никакое вещественное различие не идет в сравнение с весомостью превращений, изменяющих неким образом всё. Никакое возникновение и разрушение вещей не сменит полюсов мира; наоборот, изменение аспекта мира ведет к перестройке вещей. После этого изменения ничто не остается прежним.

Упорядоченные правилами и подчиненные конвенциям языковые игры соблазняют своей определенностью. Начинает казаться, что укладывать строительные блоки можно неограниченно долго, избегая провалов. В математике, говорит В., способ записи соблазняет думать, будто дифференциальное исчисление занято операциями с бесконечно малыми — до этого там далеко как нигде из-за понятия предела, исключая-

щего бесконечность, — и гораздо более мощный, пожалуй, неодолимый соблазн идет от форм нашего языка, Sprachformen¹. Они заслоняют слово как место смены аспекта.

Вижу ли я при аспектной смене то одним, то другим способом или по-разному истолковываю увиденное? Толкование действие; видение не действие, а состояние. И еще: мне не надо ничего специально знать, чтобы видеть так, как я вижу. Толкование коренится в подлинном видении (echtes Sehen) и без него невозможно. Другое дело, что специальными стараниями можно подчинить свое зрение толкованию. Разница между видением и толкованием здесь близка к аристотелевскому различению между энергией, т. е. целью в себе (пример — видение), и действием, у которого всегда есть *для чего*.

Вспышка (Aufleuchten) нового аспекта, как уже говорилось, происходит вдруг, не «по причине» и без изменения вещей, поэтому ее нельзя расчислить. В фильме Дерек Джармана «Витгенштейн»² герой в той своей ипостаси, в которой он навсегда остался подростком³, проходит с громадным во весь экран плакатом, где выписана первая фраза «Логико-философского трактата». Она утверждает строгую определенность сложившегося положения вещей в мире. Смене аспекта это не противоречит. Однажды высветившись, аспект исключает одновременное видение других аспектов и меняется только в порядке внезапного превращения (Verwandlung), опять же вытесняя другие. Сознание способно разве что зафиксировать (например записать) изменение аспекта, конечно, только то, которое было им замечено. Еще одно важное различие: в отличие от толкования, которое может быть заимствованным, смена аспекта всегда ощущается как происшедшая непосредственно с нами в том же смысле, в каком всегда нашим, пусть часто странным, мы ощущаем свое сновидение. Всякое толкование нам по определению должно быть понятно, чего нельзя сказать о том, что ближе нам чем знание.

«Факт ведь, что человек свои собственные мысли знает.» («Факт ведь все-таки, что о моем собственном мышлении только я знаю.»)

«И я тоже нет», можно было бы сказать.⁴

1 Заметки о философии психологии I 158.

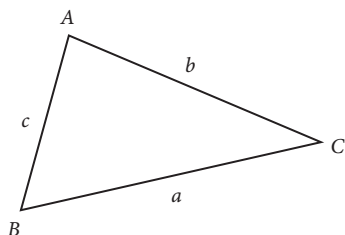
2 «Wittgenstein». Directed by Derek Jarman. With Karl Johnson, Michael Gough, Tilda Swinton, John Quentin. Production UK-Japan.

3 Ср. психологический возраст Аристотеля 12 лет, определенный современными специалистами по возрастной психологии.

4 Заметки о философии психологии I 573.

Смена аспекта проходит глубже толкования и знания¹. Я (мой пример) еду в метро и лица людей кажутся мне ужасными. Я еду в другой день и лица кажутся мне прекрасными. Задним числом я соображаю о причинах смены глаз, но разное видение случилось со мной раньше моих соображений. «У него настроение сегодня такое, завтра такое. — Он впечатлительный и неуравновешенный. — Ему нужно успокоиться и поправить нервы, помогает элениум.» Всё так, но прежде разговоров о том, что помогает, было то, что есть. Само наше *есть* включает настроение, оно по Хайдеггеру основной способ или тон (Grundweise) бытия.

Увидь треугольник так, что c основание, C вершина. — Теперь увидь так, то b основание, B вершина.



Когда переходишь от одного видения к другому и аспект фигуры меняется, что делаешь? Правильным ответом будет: не знаю; ничего собственноручно не делаю. Кто-нибудь скажет: всё зависит от того, куда сначала падает глаз; если на b с переходом к углу B , то сторона b и окажется основанием. Но ничего подобного. Глаз прекрасно может упасть сначала на b , потом перейти на угол B , и всё равно треугольник не будет нацелен вниз, C останется вершиной. — Или посмотрите на ту же фигуру, она наконецник стрелы, летящей в направлении A . Вдруг она наконецник стрелы с острием B . Выследить операцию, повертывающую направление стрелы, опять же не удастся. Она сначала меняет его, потом мы это замечаем.

Всякое зрение аспектно. Видение следа мела на доске как грязи или как точки, самой доски как потенциального потолка, как материала для распиловки, как покрытой лаком древесины, как собрания атомов от-

¹ Заметки о философии психологии, начало: «Я хочу спросить: в чем это состоит, фигуру видеть то так то по-другому? — Я действительно каждый раз вижу что-то другое; или я только *истолковываю* то, что вижу, разными способами? — Я склонен говорить первое.»

крывает лишь несколько из, по-видимому, бесчисленного множества ее аспектов. Эталонного зрения нет. Такое можно ввести только в порядке правил игры, скажем, занимаясь строго геометрией и запрещая видеть в треугольнике воздушного змея или не разрешая себе думать об онтологическом статусе точки. Хотя и в рамках геометрии кто-то увидит в ABC не треугольник, а изображение двух параллельных, пересекающихся в условной бесконечности. Повертывание треугольника в разные стороны похоже на расплывание слова при фиксации на нем. На фигуру нельзя садиться без того, чтобы она поплыла. Однозначно всё выстроится, лишь натянувшись к ясной цели. «Они перебирают аспекты потому, что не имеют цели.» У геометра, психолога, политика есть цель. В ее свете они видят всё. Они внутри игр и, строго говоря, не слышат само по себе слово, не видят саму по себе фигуру. Всякая цель однако имеет в перспективе мир; он играет во всякой игре. Из-за его парадокса не получается сказать, что в сказке о волшебной рыбе у имеющей манящие цели старухи зрение лучше, чем у не ставящего себе целей старика.

В месте вспышки (*Aufleuchten*) из-за высвечивания одного аспекта не высвечивается другой. Труднее увидеть, что аспект, поскольку высвечен, тем самым *не* высвечен на весь возможный диапазон высветления.

Несколько странный феномен видения так или по-другому является (*erscheint*) впервые всё же только тогда, когда ты понимаешь, что картина зрения в одном смысле *остается та же*, а что-то другое, что можно было бы называть «схватыванием» (*Auffassung*), способно меняться. Если я [с самого начала уже] держу (*halte*) картину за это или то, скажем, за два вращающихся друг против друга колеса, то здесь о делении впечатления на картину зрения и схватывание все-таки еще нет речи. — Должен ли я тогда сказать, что это деление есть интересующий меня феномен?

Или спросим так: какая *реакция* меня интересует? Та, которая показывает, что человек держит тарелку за тарелку (так что стало быть и та, что он держит тарелку за что-то другое)? Или та, что он наблюдает смену и одновременно то, что в картине зрения ничего не изменилось?

Схватывание и удержание здесь тождественны доксе Парменида и Платона, о чем ниже. Заметим сейчас только, что противопоставление доксы истине ведет в тупик. Докса, аспектное зрение, есть единственное доступное человеку и тем самым истинное восприятие. Проблема истины встает, когда начинают замечать в доксе ее внезапную изменчивость при неизменности «картины». Математика, по Платону, исключает изменчивость доксы потому, что вводит жесткие правила игры.

Когда для нас определяется, в какую сторону нацелен треугольник ABC, мы ощущаем что-то вроде попадания шара в лузу. Место для меняющегося аспекта как бы заранее заготовлено. Мы уже имели возможность заметить сущностную связь слова со сменой аспекта. Нахождение уместного слова тоже связано с чувством попадания.

Я вижу, что слово подходящее (treffend), еще раньше чем узнаю, и также если никогда не узнаю, почему оно подходящее.¹

Среди «схватываний», похожих на попадание шара в лузу, есть более и менее уместные? наиболее уместное? Мы сможем ответить на этот вопрос, перейдя к следующей, связанной со сменой аспекта, теме автомата и доксы как автомата.

Заключая главу, вспомним в порядке небольшого экскурса одно из пророчеств Ницше.

Наступает эпоха, когда будет идти борьба за мировое господство, — ее будут вести во имя философских основоучений.²

В хайдеггеровском прочтении: в качестве школы философия будет окончательно забыта, в качестве культурного института перестанет существовать, но другое, собственное дело метафизики — именовать бытие, предложить (dar-legen) его как именно такое и изложить, какое оно именно, — размахнется до войны за видение мира. Победить и овладеть миром захочет одно исключительное и окончательное видение.

Благодаря победе единственно верного толкования мир будет выведен из пространства, где вещи случаются так, как им выпало быть. Прекратится при этом конечно не аспектное видение, а память о том, что оно есть одновременно невидение.

9 СМЕНА АСПЕКТА (ПРОДОЛЖЕНИЕ). АВТОМАТ

Наркоз, сон, толкование, воображаемые племена, смена аспекта, автомат образуют у Витгенштейна связную цепь, отдельно выделить одно звено из которой можно только произвольно.

Существуют фигуры, меняющие аспект автоматически в исходном смысле этого слова³, т. е. спонтанно. Таков один из гештальтов Кёлера⁴.

1 Заметки о философии психологии I 73.

2 Friedrich Nietzsche, KSA 12, S. 207.

3 См. выше с. 407 об этимологии αὐτὸς μέμαα, сам порывается.

4 Wolfgang Köhler, Gestalt Psychology. N. Y. 1929, p. 198.



В какой-то мере удержать волей, например, белый крест от перещелкивания в черный всё же удастся.¹ Правда, он всё равно будет вывертываться и его будет вдруг застилать черный крест, но допустим, что нам удалось достичь того, что черный мы уже никогда не видим. Подобное упражнение приблизит нас к существам, не знающим аспектной смены. Допустим, мы покорили племя таких существ и хотим использовать их как рабов. Нам в чисто практических целях важно изучить их поведение при боли, радости, применение ими языка и то, как они обучают ему детей. Фантастичность предположения у В. всегда знак, что речь идет о ближайшем и всеобщем. Покоренное племя — некоторая часть нас самих под властью, условно говоря, сознания. К софии живого организма, ее природному автомату привито проблематичное начало, от которого попытаемся ненадолго отвлечься, взглядываясь в странное племя.

Европейское правительство, опираясь на заключение ученых, объявляет, что люди этого племени не имеют душ; их поэтому без смущения можно применять для любой цели. Их язык интересует нас тем более, что они исполняют наши приказы без толкования. Умирая, чувствуя боль, неблагополучие, депрессию, жажду жизни, во всех своих реакциях, в том числе в речи, они настолько близки, да просто тождественны нам, что их с успехом применяют для исследования в физиологических и психологических лабораториях. Их обучают устному счету; получив задачу, они некоторое время сидят тихо, потом выдают результат. Счет идет в них как бы «в погружении», под зеркалом воды. «Сосчитал? до куда дошел?» Автомат отвечает. Но если кто-то из европейцев позволит себе вообразить, что в его автомате происходят психические процессы, над этим смеются как над тупым предрассудком. Особенно комичным кажется, когда сами рабы сообщают, что в них произошло подсчитывание, продумывание. Как сказано, рисуя, решая, показывая, они видят только один аспект, имеют только один способ видеть. Наученные, что стрелка *ABC* направлена вверх, они никогда не вспомнят, что виде-

1 Заметки о философии психологии I 970–971.

ли ее иначе. Нельзя говорить, что они видят сны, так как они неспособны противопоставить их реальности. Неопределенности и сомнения от них ожидать нельзя.

Когда существо этого племени говорит *я страдаю, мучение, тоска*, мы видим, что оно не притворяется. Тем не менее мы им не сочувствуем и нам смешно вообразить у них душевные переживания. Такое отношение к выражению боли допустимо. Человек, не обязательно воображаемого племени, может быть отравлен особым ядом или наркозом так, что, пережив некогда страдания, он сейчас воссоздает симптомы, повторяя ход своей прекратившейся болезни. У нас к нему не больше сочувствия, чем к тому, кто изображает страдание по внушению гипнотизера. Вся жизнь человека может стать повторением травматического события, которое осталось в далеком прошлом или вообще не имело места, — должны ли мы ему сопереживать?

Живой автомат семантически слеп, *Bedeutungsblind*. Каждому из нас случалось говорить: «Когда я услышал слово, оно означало для меня...»; потом я услышу его иначе. У семантически слепого отнесения слова к времени (ситуации) нет, он его «потерял»¹. Не выбирая и не истолковывая значения слова, он кажется ограниченным; он припилен к единственному ведущему его словесному смыслу. Для него поэтому нет истории. По Аристотелю², для тех, кто не меняется мыслью, времени нет. Малое чувство времени у детей тоже связано с их частичной семантической слепотой.

На семантического слепого похож военный наблюдатель, сообщающий о приближении врага, но не делающий отсюда выводов для себя³. Он

как бы автоматически высказывает свое наблюдение. Да, он слышит свою речь, но, так сказать, совсем не замечает ее. Он видит, что враг приближается, и докладывает это, описывает это, но как машина. Как это получается? Он просто не поступает сообразно своему наблюдению. Он, можно сказать, высказывает то, что видит, но не *верит* увиденному. Оно, так сказать, не внедряется в него.⁴

1 Заметки о философии психологии I 175, ср. Филос. исслед. II ii, начало.

2 В начале трактата о времени (Физика IV).

3 Ср. ниже с. 565 наградные представления о поведении прапорщика Витгенштейна на наблюдательном посту.

4 Заметки о философии психологии I 813.

Наблюдатель-автомат проговаривает всё необходимое для включения своего поведения и не включает его. Он кажется себе странным, думает: но ведь я часто принимаю чужие слова к руководству, почему мне иногда не прислушаться к собственным, чтобы они стали для меня доказательными, убедили меня, проникли в меня, стали моей верой? Смотри, наблюдатель во мне говорит «идет дождь», почему бы ему не поверить?

Племя автоматов спит. Смешно, как оно говорит и действует, не зная о своем сне, но ведь ни в одном учебнике логики не написано, что утверждение не может делаться в наркозе, сне, гипнозе, *трансе*, т. е. проходить *через* и мимо нас.¹ Значит, личность раздваивается? Не обязательно. Просто автомат играет уже не в обычную языковую игру, а в какую-то другую. Его поступок, минуя уровень толкования, жестко привязан к приказу. Приказ выслушивается, так сказать, уже исполненным. Поскольку время для автомата не существует, будущее исполнение у него совершившийся факт.

Читатель обратил внимание, что об автомате до сих пор говорилось в почти противоположных смыслах. Племя автоматов не знает смены аспектов; фигура Кёлера, наоборот, автоматически меняет аспект. Что такое вообще *автоматическое*, сказать трудно², тем более что оно переплетено с произвольным, как например мы ходим отчасти по своей воле, отчасти автоматически.³ В отношении поработанного племени было решено, что они автоматы; с другой стороны, мы разговариваем с ними как с равными.

Племя автоматов «слепо к значению». Не зная смены значений, оно не знает значения вообще: знак у него напрямую закорочен на акте; между этими двумя нет буферной зоны. По Кассиреру, всё живое обладает системой оповещения, *Merknetz*, и во многом независимой от нее системой действия, *Wirknetz*, причем по крайней мере у человека между ними располагается область толкования (*Deutung*).

знак в широком
смысле всего
значимого

восприятие, слышание,
чтение, толкование, выбор
из веера значений

акт

Срединную область можно представить как отражение (в том числе отталкивание) левой. В области отражения, согласно Кассиреру, возника-

1 Там же I 813–820.

2 Там же II 252.

3 Ср. там же II 267.

ет культура. Племя автоматов не оказывает сопротивления области значимого и непосредственно переводит сообщения оттуда в акт.

Без сферы отражения обходится и Витгенштейн, когда остается на своем посту наблюдателем, который не идет дальше описания и сообщения. Их толкованием он не занят; значение наблюдаемого не внедряется в него; у него нет веры¹ в то, что он говорит; произносимое им проходит мимо него. Соответственно не включается система действий (Wirknetz), и здесь отличие от поведения автоматов. Позиция недействующего наблюдателя не оказывается однако стерильной; руководствуясь его сообщениями, артиллерия бьет противника. На фронте фенрих Витгенштейн в качестве артиллерийского разведчика наблюдал и сообщал свои наблюдения, не делая из них выводов для самого себя. В философии он ограничил себя описанием и сообщением, ни в какой мере не переходящим в мнение и убеждение, тем более в действие. Его позиция не становилась от этого стерильной. Так артиллерийский наблюдатель вправе положиться на то, что штурмовая батарея действует по его указаниям.

Когда я, quasi автоматически, сообщаю свое наблюдение, то это сообщение не имеет вовсе ничего общего с моим убеждением. Но конечно ничто не мешает мне доверять себе, или своему наблюдающему Я, так же, как это делает кто-нибудь другой. Я мог бы таким образом сказать: «Я говорю „идет дождь“, тогда пожалуй так оно и есть». Или: «Наблюдатель во мне говорит „идет дождь“, и я склонен ему верить». — Не так ли — или похоже — бывает, когда человек говорит, что Бог говорил с ним, или через его уста?²

Освободив наблюдателя в себе от своих мнений, я всё же имею право прислушиваться к его сообщениям. Если мною говорит Тот, Чье слово равно делу, мое личное неучастие в системе действий компенсируется с избытком. Промежуточная область толкования (кассировское Deutung) останется при этом не задействована, как и у племени автоматов.

Вернемся к усилиям удержания белого креста от перещелкивания в черный на фигуре Кёлера. Здесь важно (wichtig)³, что полное исчезновение одного из ее аспектов в конечном счете, кроме как для рабов описанного выше племени, исключено. Автомат, каким является фигура Кё-

1 В прагматическом смысле belief, убеждения, плавно переходящего в поступок.

2 Заметки о философии психологии I 816.

3 Там же I 975.

лера, принципиально отличается таким образом от механических автоматов, действия которых должны быть предвидимы. Автомат в смысле самопроизвольной и внезапной смены аспектов противоположен программному. Будем отныне называть автоматом только первый, возвращаясь к античному значению слова. Аристотель, говоря о живом автомате в смысле самопроизвольного процесса, отличает его от техники¹. По Филону Александрийскому, человеческое искусство способно создать всё кроме автомата. Об автомате у Платона см. ниже.

Автомат в новоевропейской технике прежде всего исключает спонтанность². Так в автомате Калашникова должно быть в первую очередь абсолютно исключено автоматическое действие в смысле спонтанного порыва и самопроизвольного действия. В компьютерных программах исключено, чтобы машина увидела какой-либо из заданных ей параметров в другом аспекте чем ее создатель. При сбое программных автоматов абсурдно предположение, что сбой не имел причины; что исчезание белого креста в автомате Кёлера беспричинно, говорить не абсурдно. Теперь уже мало кто знает, на что способен и как может повести себя компьютер, но допустить, что он сделает что-то без изменения в железе или программе, значило бы остановить науку и промышленность компьютеров. Наоборот, исключение принципа спонтанности (т. е., строго говоря, смены аспекта как единственной области, где спонтанность возможна) заменило бы философию естествознанием.

Приходится только надеяться, что со временем кибернетика поднимется до различения спонтанного и механического автомата. В названии программной книги Норберта Винера³ заложена путаница. Поршень паровой машины для него автомат, подобный мышце, разве что сжигающий не гликоген, а дрова; часы автомат по преимуществу, они аналог Ньютоновой солнечной системы, которая тоже автомат. Автоматы, построенные человеком, Винер ставит в один ряд с «естественными автоматами», животными и растениями⁴. Нейроны подобны электронным лампам.

Короче говоря, в наше время исследование автоматов — из металла или из плоти — представляет собой отрасль техники связи [...] Многие ны-

1 См. несколько ниже с. 440, прим. 5.

2 Перевертывание античного понимания, как в случае *природы, предела*.

3 Н. Винер, Кибернетика, или Управление и связь в живом существе и машине. М.: Наука 1983 (2-е изд.)

4 Там же с. 96.

нешние автоматы имеют связь с внешним миром, выражающуюся как в восприятии впечатлений, так и в выполнении действий. Они содержат органы чувств, исполнительные органы и какой-то эквивалент нервной системы, объединяющий передачу информации от первых ко вторым. Их вполне можно описывать при помощи физиологических терминов. Неудивительно, что автоматы и физиологические системы можно охватить одной теорией [...] Соображения Бергсона о том, что деятельность живого организма по существу отлична от деятельности автомата этого [современного] типа, необоснованны.¹

Автомат понимается Винером в размытом смысле как самоорганизующая система, в качестве каковой предлагается понимать и мозг. Живой автомат однако не в меньшей мере самодезорганизующая система (см. ниже). Современная идея самоорганизации исходит из удобной для нее предпосылки, что первичное состояние вещества хаос в смысле беспорядка. Это не единственное понимание хаоса. У Парменида, например, он открытость, впускающая пустота. По Демокриту космос автомат, движущий себя без вмешательства внешней силы². Правда, Симпликий³ не находит у Демокрита определения автомата. Об автомате как философском принципе вселенной упоминает Климент Александрийский⁴. Как у атомистов, у Эпикура бытие автомат, движимый филией. Аристотелевская концепция автомата испорчена ложным этимологизированием (якобы от *μάτην, напрасно, впустую*). Он однако тоже считает природу (бытие, *φύσις*) способной к «автоматизму»⁵; называет автоматом потерянную лошадь, самостоятельно вернувшуюся в стойло. Выздоровливаем мы и с помощью врачебного искусства, и автоматически (*ἀπὸ ταῦτομάτου*); в отличие от этого дом ни в какой мере не возникает сам⁶. Хороший адвокат, разбираясь в деле, отстаивая мнение, оправдыв-

1 Н. Винер, Кибернетика..., с. 97–99.

2 Аристотель, Физика II 4–6, 196a 24 слл.

3 В комментарии к указанному месту Аристотеля.

4 Климент Александрийский, Строматы I 19 (PG 8, 809B).

5 Аристотель, О рождении животных I 1, 715b 27. Тезис Аристотеля о самозарождении (дрозофил из плесени), сегодня смешной, ждет своего времени, когда биология вернется от увлечения программой («генетическим кодом») к трудной мысли о настоящем автомате. Ср. ниже с. 457 у Витгенштейна о размножении в русле генетики, но с выходом из нее в историю. Это совпадает с аристотелевским тезисом в «Метафизике»: «одно и то же возникает и из семени и без семени». Речь тут не идет о разделении живых существ на дающих потомство и возникающих спонтанно; примечание в этом смысле к русскому переводу вызвано недоразумением. Ср. также Метафизика 1032b 21, 1034a 9.

6 Аристотель, Метафизика VII 9, 1034a 10.

вая, обвиняя, полагается на школу риторики и опыт, но иногда действует и «по автомату» (перевод: «случайно») ¹.

Общеантичное понимание живой (тело) и неживой природы развертывает этимологию греческого *автомат*, самопроизвольный порыв. Диаметрально противоположное современное понимание автомата связано с принятым нашей цивилизацией почти в приказном порядке решением о несуществовании спонтанного двигателя. Новое время закрыло для себя область настоящего автомата, когда европейские ученые академии перестали принимать проекты вечного двигателя. В классическую эпоху Греции наука говорила о нем уверенно. Его отмена в Новой Европе знаменовала переход ведущих научных умов к разработке механического автомата как единственно возможного; он противоположен по смыслу настоящему автомату, поскольку получает движение извне. Административный запрет думать о вечном двигателе, т. е. об автомате в собственном смысле этого слова, продолжается в нашей культуре. В действующих (с несущественными изменениями) «Указаниях по составлению заявки на открытие» Государственного комитета Совета министров СССР по делам изобретений и открытий значится:

Не принимаются к рассмотрению в качестве заявок на открытие материалы, в которых описаны [...] движение за счет внутренних сил, получение КПД устройств, равного или более единицы. ²

Спонтанный автомат действует вдруг, не способом дискурса, а способом молнии. В «Театре марионеток» Клейста медведь, отражая удары фехтовальщика, без промедления знает, финт ли тот делает (тогда медведь не реагирует) или настоящий выпад. Зверь не умеет промахиваться, он вплавлен в ситуацию и полностью принадлежит ей. Данные о намерении фехтовальщика не вводятся через датчики системы оповещения (Merknetz) в зверя, они одновременно данные и для фехтовальщика и для медведя; оба как бы одно тело. Осмыслить такой симбиоз трудно. Края мира, материальный и божественный, у Клейста совпадают: материя ниже сознания оказывается божественным автоматом. Клейст советует прочесть заново главу 3 первой книги Моисея. Человек изгнан из божественного автоматизма (ср. «божественная машина» Лейбница) или оставлен им, допущен жить не в его софии. Взамен ему открывается

1 Аристотель, Риторика I 1, 1354a 10.

2 Цит. по Вейник А. И. Термодинамика реальных процессов. Минск 1991, с. 413–414.

филия, для автомата закрытая. Отныне он способен к дружбе с автоматом софии. В этом есть свое достоинство. Медведь, если отключится от автомата жизни, ослабнет и станет добычей; то же при нарушении жизненной среды (Umwelt); единый организм мира подвержен болезням. Другое филия: для нее нет естественного конца, она прочнее всего и, как софия, не устает. — Увлекательные технические автоматы служат приглашением заметить, что при их, казалось бы, предельном приближении к природе яснее обозначается непреходимый раскол: в случае, описанном Клейстом, технической автомат никогда не смог бы отличить честный выпад от финта и никогда не отказался бы функционировать (как отказывается медведь); программный автомат никак не отреагирует, если человек за пультом начнет нажимать кнопки наугад. Способны ли мы теперь приближаться к автомату софии иначе как уходя от него? Неподожде. Мы, напоминает Клейст, изгнаны израя.

10 СМЕНА АСПЕКТА (ПРОДОЛЖЕНИЕ). ИМЯ

В «Заметках по философии психологии» (I 999) явление (Erscheinung) аспекта приравнивается к воспоминанию известного лица. Ясно, что у меня не хватит зрительной памяти, чтобы быть уверенным, что мой образ (представление) уникально соответствует тому лицу; я могу забыть не только костюм, прическу, цвет глаз, но и многое другое. Почему я всё же уверен, что имею в виду именно того, кого вспоминаю? что попадаю именно в него? Мне очень помогает имя; оно, пожалуй, в большей мере обеспечивает идентификацию того человека чем зрительный образ. Здесь можно вспомнить то многое, что говорится о сущностном имени или имени как сущности. Имя фокусирует на *том самом* не без нашего участия. Спросив себя, что мы вкладываем в личность, мы скорее всего подумаем о лице. Личность требует долгого обоснования, тогда как выражение лица просто бросается в глаза.

Сходство между лицом и аспектом то, что как в воспоминании лицо присутствует явно неполно, но я не сомневаюсь, что помню именно его, так, увидев, например, в автомате Кёлера белый крест, я имею в поле зрения его отчасти и помимо него воспринимаю многое другое, однако через переключение (Umschnappen) попадаю в него не частично. В обоих случаях имеет место опознание целого сразу на да-нет. Суммирования составных черт лица или фигуры не происходит. Имя как искра электризует разнообразие черт, собирает их вокруг целого.

Рассмотрим фотографическое изображение (для В. черно-белое)¹. Его можно увидеть как распределение темных и светлых пятен на поверхности бумаги. Потом опять как лицо. Что легче, описать фотографию как распределение светлых и темных пятен или как облик человека («вот глаза, вот нос»)? и дальше: улыбку через положение и форму частей лица или тем, что улыбнешься сам? В отличие от первого случая, во втором есть разница не между легким и трудным, а между невозможным и совершенно простым. Никаким способом я не опишу улыбку, если ее не вижу. Что мы не знаем, есть она на изображении или нет, вещь случающаяся. Легко представить, что кто-то видит лицо очень ясно, сумеет создать его портрет, но не опознает в его выражении улыбку. Нелепо говорить, что у него плохое зрение. Так же нелепо говорить, что он «не на то смотрит»; он смотрит именно на то самое и то самое видит.

Меньше ли видит в лице Моны Лизы человек, не видящий на нем улыбку? Возможно, он видит то загадочное, что хотел показать Леонардо и для чего слово улыбка не подходит. Нет оснований думать, что у не видящего улыбки нет попадания (*treffen*) во что-то не менее важное, но не имеющее себе названия. Вспомним (наш пример) об улыбке греческой архаики: обязательная даже у раненого, вынимающего стрелу из области сердца, с храма в Эгине (ок. 510 до н. э.), она не улыбка; наоборот у никогда не улыбающегося Христа.

Не имея себе имени, особое выражение лица может быть передано литературным портретом.

Когда говорят о загадочной улыбке Моны Лизы, это значит конечно, что задаются вопросом: в какой ситуации, с какой историей можно было бы так улыбаться? И тогда мыслимо, что кто-то нашел бы решение; что он рассказал бы какую-то историю, и мы сказали бы себе: «Да, *вот* выражение, которое *этот* характер здесь принял бы».²

Выражение лица может быть размытым. Оно однако не неопределенное; его размытость четко отождествима. Оно будет узнано (например на портрете) как именно такое с неменьшим успехом чем собранное. Его описание тоже должно быть не менее точным. В той или иной мере ускользающая размытость (*Vagheit*) есть во всём. Гештальтпсихологи обратили внимание на то, что отдельные детали часто не воспринимаются

1 Заметки о философии психологии I 1072.

2 Там же I 381.

при схватывании образа; если дело и доходит до подробностей, то позднее. Зрение обычно улавливает тот или иной аспект увиденного, которое не воспринимается, не улавливается, не воссоздается, не интерпретируется в своей сложности. Нет большого смысла говорить о «частном зрительном образе», в котором вся эта сложность отразилась и потонула, не найдя себе выхода. Более разумно считать, что Леонардо увидел странность (*Vagheit*) особенного выражения лица, поскольку сумел перенести ее в портрет. Когда зритель подыскивает для странности форму («нет, здесь все-таки определенно улыбка»; «нет, здесь явно полуулыбка»; «нет, здесь ни то ни то, но *вот* какое выражение»), он подтверждает, что странности не видит; он видит аспекты.

В этом важном случае, который не ограничивается улыбкой Моны Лизы или архаических курсов, узнавание самой по себе странности достигается не через собирание в гештальт, систематизацию, упорядочение образа, а каким-то другим попаданием (*Treffen*). При этом происходит не столько организация, сколько *дезорганизация* восприятия, расстающего со своими привычными формами. Здесь уместно более общее замечание, что стратегия жизни выходит далеко за рамки простой самоорганизации. Как охватить головоломную сложность душевной жизни? Она похожа на мешанину цветного тумана или пивоваренный котел, где каждая форма только переход к другим формам, точнее, к другим переходам¹. Взять зрение: глаза неудержимо скользят с одной точки на другую, поле зрения ежесекундно меняется. Тем более мысль. Как это описать? — Тем не менее я всё это описываю! — Да ведь это грубое приблизительное описание, где твое переживание взято только в самых грубых чертах! — Так, но не даром же оно называется описанием моей жизни. То, что я дошел до невозможности описания, входит в него. Попадание (*Treffen*) здесь включает неудачу. Описание странности связано с особым способом ее сохранения, таким, что схватывание требует несхватывания.

Организм не сводится к организации. Иногда он противоположен ей. Смена аспектов не может быть организована в смысле планирования. Ее случайность и внезапность имеют захватывающий характер. Так в фигуре Кёлера зрение схвачено изменившимся крестом. Оно рывком, так что возникает впечатление вращения, впадает затем в другой крест. Неорганизуемая странность превращения не в меньшей мере чем от-

1 Заметки о философии психологии I 1079.

четливый гештальт втягивает в себя зрение или, скорее, всего человека. И вот, переход от белого креста к черному подобен движению по двумерной плоскости, а переход внимания от гештальта к странности — включению нового измерения; здесь переход от психологии к философии.

Организация в смысле операций деления и соединения, вытеснения и акцентирования, всевозможная систематизация представляет собой пока еще только «ряд простых модификаций» зрительного впечатления, которые остаются чисто «оптическими»¹. Переключение внимания на странность аспектной смены не сводится к оптике, требует ее смены с переходом от одного способа видения к другому. Организация или реорганизация цельного образа (гештальта) остается в области двумерной оптики до момента, когда возникает необходимость выбора: *если* здесь улыбка, то я упорядочиваю свои зрительные впечатления так; *если* здесь улыбки нет, то наверное иначе. Вместе с этим выбором возникает не решаемая в психологии проблема. Можно, конечно, организовать самого себя и видеть улыбку без вариантов; но возможность там быть не улыбке никуда не уйдет, так что я буду видеть улыбку не всем своим существом, а только его организованной (сознательной) частью.

Архаическая улыбка заставляет видеть в ней не-улыбку способом ее неперемного отсутствия. Поэтому не очень удобно говорить, например, что архаический скульптурный портрет организован вокруг улыбки; с равным успехом и вокруг не-улыбки. В случае Леонардо да Винчи особенно ясно, что лицо Моны Лизы или Иоанна Крестителя собрано и не в улыбке, и не в ее отсутствии. Что здесь было образцом для подражания, сказать трудно или невозможно. Не обязательно таким образом должно быть вообще *что-то*. Правило поведения здесь будет так же странно, как предмет изображения: не обязательно «Делай то же самое, что...», но еще и «Делай то самое, что ты делаешь!»²

Перед нами еще один автомат Вольфганга Кёлера.³



1 Там же I 1113.

2 Там же I 1072.

3 Там же I 1117.

Переворот фигуры из трех малых секторов в фигуру из трех больших происходит, как всегда в таких случаях, вдруг и сам собой. Но надо обратить внимание на то, что не замечено Кёлером, объясняющим изменение реорганизацией нашего восприятия фигуры: якобы радиусы, которые сначала, положим, были попарно связаны принадлежностью к узким секторам, после реорганизации зрения воспринимаются связанными тоже попарно, но уже через принадлежность к широким секторам; прежняя связь разорвана, возникла новая. Не обязательно, замечает Витгенштейн. Перераспределения связей может и не быть; та же пара радиусов, которая раньше была связана через принадлежность к узкому сектору, остается связана по-прежнему, только уже через принадлежность к промежуточному пространству между широкими секторами. У Кёлера систематизирующая интерпретация успевает, вклинившись, подставить себя на место восприятия. Будем внимательнее и заметим, что мы *не обязательно сразу знаем, что именно произошло с фигурой*. Мы ощущаем, что есть разница между тем, как ее видели и как видим теперь; в ней самой оказывается некое «между», некое «не всё равно», которое однако сразу не усматривается, хотя и вызывает на объяснение. Важно — здесь опять же кончается психология и начинается философия — различать между ранней ясностью, что непонятная разница в самой фигуре есть, и спровоцированным этой ясностью толкованием типа «перераспределения секторов». На том же примере видно, что наше зрение не всегда организация как объединение и сплочение: пара радиусов может быть связана не лежащим между ними узким сектором, а его пропаданием, появлением на его месте пробела между большими секторами, когда схватывается не организация, а ее распад, не фигура, а ее исчезновение.

И еще¹. Смена аспекта, как уже говорилось, проходит иногда эффективно, иногда незаметно.

Я могу видеть, схватывать какую-то фигуру сегодня так, завтра иначе, и не обязательно имеет место «переключение». Например, сегодня я воспринимаю и применяю иллюстрацию в книге так, завтра встречаю ту же иллюстрацию в следующем разделе, где ее надо понимать иначе, и не замечаю, что это опять та же самая фигура.

Вы впервые видите в учебнике эту иллюстрацию трехмерной фигуры? Конечно; ведь до сих пор речь шла пока только о двухмерных. — Тем не

1 Заметки о философии психологии I 1126.

менее она уже была! — Да она тут трехмерная! — Конечно; но та же самая. — Если бы я увидел ее снова двухмерной, вспомнил бы; стало быть, запоминается не фигура, а ее восприятие мною. Я тогда видел ее иначе, поэтому теперь не признаю за ту же самую.

Если я могу не опознать знакомую фигуру, поскольку вижу ее иначе, то тем труднее узнать ту же в незнакомой. Человек изменился; другим стал и я; как я вижу в нем именно его? через все изменения его трансцендентная личность, укорененная в вечности, обеспечивает ему неизменность? той же вечности принадлежит его имя? Я говорю человеку: «Всегда»; обещаю ему то, чего нет ни во мне, ни в нем. Что изъято из смены аспекта?

Античное название меняющегося аспектного восприятия (*Aspektwahrnehmung*) — докса, от δέκομαι, δέχομαι *принимаю*. Мнение плохой перевод, заставляющий думать уже о толковании; по определению Альбина докса есть «соединение памяти и ощущения»¹. Вещь-то она замечательная, говорит о доксе Платон, но вот беда, «сама уходит», как статуи Дедала. О них в средневековом византийском словаре Суды под рубрикой Δαιδάλου ποιήματα сообщалось, что они становились почти одушевленными. Доксу надо связать, иначе стоимость ее невелика, не больше чем цена убежавшего раба². Но как схватить схватывание? Свяжет доксу только воспоминание (ἀνάμνησις), протянутое поверх и сквозь человека во времени и до него. Небеглые «истинные» доксы, на которые можно надежно опереться, извлекаются спрашиванием из души, всегда ученой.³

Уже отмечалось, как неудовлетворительно обстоит дело с именем во сне; там трудно отвечать за то, что увиденное есть именно оно. Фрейд следует правилу искать за каждой фигурой сна по меньшей мере три (меньше никогда не будет, больше сколько угодно) разных вещи. Какие именно, прояснит пробуждение. Как и воспоминание, его нельзя себе устроить по желанию. Верная докса не отдельна от воспоминания; по существу они одно.

Роясь в том, что я вижу-воспринимаю-переживаю, в пивном непребродившем сусле, мало шансов извлечь такое, что надолго осталось бы тем же. Откуда идет наше *всегда*?

1 Альбин, Учебник платоновской философии IV 5.

2 Платон, Менон 97е.

3 Там же 86а.

Он спрашивает «Что ты подразумевал этим словом?» — Я отвечаю на вопрос и прибавляю: «Спроси ты меня раньше, я бы ответил тебе то же; мой ответ не был *толкование*, которое мне сейчас пришло на ум». Так оно приходило мне на ум уже раньше? Нет. — И как же я мог тогда сказать: «Спроси ты меня раньше, я бы...»? откуда я это заключил? Из ничегошеньки (aus garnichts).¹

Строго говоря, нельзя ручаться за себя прошлого. Тем не менее я не блефую. Мой кондиционалис конечно рискованный, но из того рода риска, на который человек идет радостно с ощущением, что это хорошо и правильно, и надо так, и облегчает. Сразу после только разобранного места Платона, где верная докса оказывается спящей во всегда ученой душе, Сократ приглашает к смелости пробовать свою душу на бессмертие, не бояться рисковать искать и угадывать невременное, вынимать всегдашнее. Если в нас всегда есть истина сущего, то душа пожалуй бессмертна, так что надо дерзать (θάρρουντα χρί), вспоминая то, чего сейчас не знаем.

Что я сообщаю, когда проговариваю это условное наклонение: «да, именно это я имею в виду, и спроси ты меня раньше, я ответил бы то же»? Кое-что такое, осторожно предлагает В., что иногда пожалуй важно. Человек, которому я такое сообщил, знает теперь, что во мне не произошло никаких изменений чувств и смысла. Но ведь произошло, и я знаю, что много; я говорю что не произошло, и я не нечестный: логическое пространство располагается независимо от вещей. Человек, которого я заверил в своей именности, знает, что я не просто «выговорил слова», а что-то имел в виду; есть разница, если кто говорит *я вас люблю*, потому что у него в голове крутится строка стихотворения, или потому что хочет признаться в любви.

Чувствую ли я сейчас, что не изменюсь никогда? Здесь *contradictio in adiecto*: если я *чувствую сейчас*, то значит когда-то чувствовать уже не буду. И сильнее, по уже известному правилу: если я сейчас вижу этот аспект, значит я не вижу его. На что опирается изъятие намерений?

Не крайне ли это примечательный инструмент речи? [...] Да, примечательно, удивительно всякое такое применение языка, если мы настроены рассматривать только описание физических предметов.²

1 Заметки о философии психологии I 1134.

2 Там же I 1136–1137.

С выходом из вещей к намерениям начинается мир, которого нет в физике. И наоборот, в мире нет физических вещей, пока он их туда не принял. Проложить мост между есть и нет — всегда шаг в неизвестность. Онтология здесь этика; так у Платона:


За то, что если мы полагаем должным искать никому не ведомое, то будем лучше, мужественнее и неленивее, чем если полагаем, что неведомое невозможно найти и не надо искать, — за это я готов сражаться во всю свою силу и словом и делом.¹

«Из вовсе ничего», *aus Garnichts*, берется нигде не наблюдаемое постоянство, дающее людям и вещам быть именно миром. Во сне постоянства нет, там всё демонстративно расплывается. Имя всегда под ударом; не заснуть, как велел себе Паскаль, я не смогу. Во сне и наяву у меня отбирают имя, доказывая, что сам я ничего удержать всё равно не смогу. С моими именованиями я поэтому рискую не тем, что другому удастся их большая точность, а тем, что мы с ним оба останемся в нигде. Так математическая физика, не считывая формулу поля с вещества, рискует навязать ее материи.

Введя в «Трактате» различие между вещами и миром, Витгенштейн потом не держится этой терминологии, говоря иногда *мир* вместо *вещи* и наоборот. Он однако настаивает на строгости проведенной границы. Прямого сообщения через нее нет. Сложнее, чем можно было подумать, проходит и граница между сном и явью. Найдутся случаи отчетливой именности во сне. Окажется, что она присутствует там в чистоте, хотя и без образа.

Продолжим упражнения по выходу из пивоваренного котла (плавильного тигля) в пространство имен.

Когда дети играют в железную дорогу, — должен ли я говорить, что в ребенке, подражающем паровозу, другой видит паровоз? Он *воспринимает* его как паровоз.

Подумай, я показал бы взрослому форму  и спросил, «о чем она тебе напоминает», а он ответил бы «о паровозе» — значит ли это, что он ее как паровоз *увидел*?

Я собственно принимаю это за типичную игру «видеть что-то в качестве чего-то», когда кто-либо говорит «сейчас я вижу здесь это, сейчас это». Когда он, стало быть, знает различные аспекты, и именно *независимо* от какого бы то ни было применения того, на что смотрит.

1 Платон, Менон 86b–c.

Я мог бы тогда сказать так: ни одно из применений образа я не рассматриваю как признак того, что его *видят* так или иначе.¹

Паровоз, или в других эпохах и культурах лошадь, слон, буйвол, — эти мощные события, принятые в игру, вытесняют всё остальное, так что непохожесть на них ребенка или коробка из-под спичек никого не смущает. Так от мира, втянутого в крупную игру технической цивилизации, остается только набор возможностей; до рассмотрения аспектов дело не доходит. Уже в ранних обучающих играх имена иллюстрируют ребенку не столько вещами, сколько картинками, часто очень приблизительными: это стол, это скамейка (Bank); за столом обедают, на скамейку садятся. Ребенок легко овладевает языковой игрой без малейшей догадки о том, что он видит аспект слова, аспект картинки; он захвачен игрой, казалось бы, без различения этих двух, применения и аспекта. Конечно, исподволь аспектное зрение глубоко и непредсказуемо работает в нем, особенно когда игра, обещавшая ровное благополучие бытия, нарушается и он меняется настроением, становится задумчив, вопросителен или просто ревет. Всё повертывается к нему тогда другим аспектом, но феномен аспектной смены остается тем не менее в тени. Изменилась мама, няня, я сам уже не паровоз, а брошенный котенок; для догадки, что всё стало другим без изменения чего бы то ни было, нужен опыт смены аспекта (*die Erfahrung des Aspektwechsels*).² Этот опыт дают философские упражнения. Естественные науки сбиваются на поиски причин смены.

Упражнения такого рода — старое дело философии. В диалоге Николая Кузанского³ *De ludo globi* («Игра в шар», «Игра шара») собеседники пускают по прямой шар, который благодаря смещенному центру тяжести движется непредвидимо. Он образ мира. Все радиусы мирового шара абсолютно равны, т. е. его поверхность в каждой своей предельной точке представляет собой неделимый атом и потому невидима; что бы мы ни усмотрели в таком шаре, всё будет не он. Поскольку неделимые точки не суммируются, оконечность (*extremitas*) мира окажется не больше каждой из них.

Удивительные вещи. В мире заключены все эти разнообразные видимые

1 Заметки о философии психологии I 411.

2 Там же I 415.

3 О Витгенштейне в связи с негативной теологией и «знающим незнанием» см. *Wilhelm Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol. Bozen 1983.*

формы, и тем не менее если бы кому-то удалось встать вне мира, мир оказался бы для него невидим, как невидима точка. Мир, которого по количеству нет больше, содержится в точке, которой ничего нет меньше.

Имея свою высшую точку одновременно низшей, он пребывает «без усилия и усталости» в бесконечном самодвижении, «как движется душа в теле».

Интеллектуальное движение субстанциально и движет само себя, почему никогда не иссякает. Акцидентально присущее телу движение может прекратиться, от этого еще не кончается движущее само себя субстанциальное движение: его сила, которую называют также умом, просто оставляет тело. Одушевлять, чувствовать и воображать суть действия этой силы в теле, но и когда она их не проявляет, она всё равно существует нескончаемо, пусть пространственно и отделяется от тела. Сила эта не занимает места.¹

Группа витгенштейновских упражнений посвящена отысканию места печали (Kummer, включая значение *печалования* и *попечения*)². Можно ли представить себе боль, примерно качества ревматической боли, но без местоположения? Стоит задуматься об этом, и замечаешь, как сильно хочется знание о месте боли превратить в примету чего-то ощущаемого, чувственно данного, «приватного объекта», стоящего перед моей душой. Мы уже видели, как в витгенштейновском солипсизме всякая боль моя и место боли считывается с моего явного или невольного указания на нее. Печаль с еще большим успехом чем боль существует до локализации.

Я говорю: опечаленному весь мир кажется серым. — Но то, что стоит перед его душой, будет тогда не печаль, а серый мир; как бы причина печали.³

Попытка решить дилемму, поместив печаль в индивидуальной психике, не удастся. Сказать, что весь мир не бывает серым, значит навязать себе задачу определения его цвета или доказательства его бесцветности. Есть однако другой путь локализации ощущения, «очень важный»⁴. Не споря с опечаленным, что мир серый, спросим о его применении слова *весь*.

1 Николай Кузанский, Игра шара I 23–25.

2 Ранний Хайдеггер называл словом *Bekümmern* то, что в «Бытии и времени» стало *Sorge*, *заботой*.

3 Заметки о философии психологии I 441.

4 Там же I 443.

Для разбора лучше подходит более простой случай. Какого цвета стол, на который ты время от времени смотришь вот уже несколько часов? Он коричневый. Но в затененных местах он почти черный, а в разводах желтый? Да. Значит, ты назвал мне не то, что видишь, а, включившись в знакомую языковую игру, процитировал позицию из преискуранта мебельного магазина, *стол письменный коричневый*.

Примечательный факт, что мы почти никогда не сознаем нечеткость периферии нашего поля зрения [...] Это *очень* важно.¹

Сам по себе подобный факт легко поддается объяснению. Описать размещение темных, коричневых, желтых световых пятен в нашем поле зрения труднее чем скользнуть в общепринятую языковую игру; никакого погружения в настроение не хватит, чтобы вычерпать до дна то, что навевает мир. Назвать именно то, что мы видим, оказывается в конечном счете невозможно. Имя как обозначение того, с чем мы имеем дело, кажется беспроblemным только в рамках обкатанных языковых игр.

«Неуловимая именность, надевающая разные личины, присутствует во сне в чистом виде, т. е. не через посредство образов», говорит Светлана Месяц и приводит пример из рассказа Борхеса «Страшный сон».

Вспоминаю один мой сон. Случилось это, помню точно, на улице Серрано, вернее, на углу Серрано и Солер, только место было совершенно другое, непохожее на угол Серрано и Солер. Но я был уверен, то нахожусь в Палермо, на старой улице Серрано. Мне повстречался мой друг, которого я не знаю; смотрю на него и вижу — он страшно изменился. Лица его я никогда не видел, но знаю точно, что так выглядеть он не может.

Уверенности, что спящий видит именно то и именно там, не мешает неуловимая размытость лиц и мест. Страшное искажение лица друга несомненно — но в сравнении с чем? В сновидении Владимира Соловьева («Теоретическая философия») капитан упрекает его, удивляющегося, как их корабль смог дойти от Кронштадта до устья Амазонки за 3 часа:

Где вы учились физике? Вы даже не знаете основного гидродинамического закона, что на море время идет несравненно быстрее, чем на суше, *поэтому что течение морских волн, присоединяясь к течению времени, производит его ускорение*.²

1 Заметки о философии психологии I 442–443.

2 Владимир Соловьев, Собр. соч. в 2 т., т. I, с. 803.

Нелепо всё, но одно «абсолютно достоверно», курсивит Соловьев, «что дело идет о чем-то всеобщем, о мировом законе». «Конфуз» Соловьева за «непонятное забвение столь элементарной истины» не только сохранился после пробуждения, но оказался эталоном стыда, остроте которого дневное сознание не давало проявиться: «ничто в жизни не повергало меня в такой глубокий конфуз».

Соловьев в своем сне пережил строгость закона в его чистой форме без содержания как жгучий стыд от его незнания. В «Оправдании добра» стыд назван первичным переживанием: «Я стыжусь, следовательно, я существую»¹. Сон приоткрыл, насколько человеческое существо глубоко задето чем-то, и определение *стыд* стало уже посильным толкованием того, чем именно. Во всяком случае, как Борхес в своем сновидении, Соловьев оставляет нас с непреложной именностью на руках; она бесспорно нацелена на человека, дело которого отныне попытаться разобрать то, что одновременно предельно заострил и расфокусировал сон.

Ничто не задевает нас так сильно, как ужас, стыд или другое чувство из сна. Его не с чем сопоставить в действительности. Сновидение не эпизод во времени, в нем всё сейчас и единственно. Когда наяву подо мной подломился стул и я падаю среди беседующей компании на пол, мне кажется, что это случилось не со мной; увидевшему страшный сон надо проснуться, чтобы успокоить себя, что ужас из лица другого человека выглянул не по-настоящему, что стыд за незнание элементарных вещей только приснился, т. е. не был. Сознание в обоих случаях спешит развеять то, что не может плавно интегрировать в свой поток. Оно хочет продолжить свои дела, закончить прежние и включиться в новые языковые игры; оно ощущает пустоту этих дел и игр, раздваивается, но не отдаст себя сновидению.

Поздняя незавершенная «Теоретическая философия» Владимира Соловьева посвящена той же теме, что витгенштейновские заметки «О достоверности», — поискам способов выхода из сна наяву. Близость соловьевского «Первого начала теоретической философии», раздел XV, с упражнениями Витгенштейна в «О достоверности» на тему гипноза (наркоза) доходит до словесных совпадений.

Факт гипнотического лжесознания о своем Я должен возбуждать предвзятительное недоверие. Ведь безусловного и внешнего [т. е. извне моего со-

1 Там же с. 124.

знания] критерия для нормальности наших состояний или *готового* ручательства за отсутствие в данном случае гипноза или чего-нибудь подобного мы, философски говоря, допустить не можем. Да и житейски говоря спящий обыкновенно не знает, что он спит. Следует заметить, что формальный, или феноменологический, субъект при этом вовсе не изменяется: я, мне, меня, мое остаются как ни в чем не бывало.¹

Узнать, спим мы или нет, задача не для нашего сознания. Тут надо опереться на что-то способное проходить через сон и явь неизменным, тем же самым там и здесь. У Соловьева это всеобщая форма закона и стыд за его незнание. Перешедшие без изменений из сна в явь, всеобщая форма закона и стыд не подлежали сомнению и обличению; мыслитель всем своим существом принял их.

Я знал — и это знание было *абсолютно достоверно*, — что дело идет о чем-то всеобщем, о мировом законе, а не об одном психическом факте этой мысли в ее единичной наличности.

Назовем логическое пространство Витгенштейна пространством достоверности, или именности. Привязка условных имен, применяемых в языковых играх, к лицам и вещам далеко не идет и ни в коем случае не проходит через границу сна и яви. Именность, не замечающая этой границы, не скована необходимостью обозначения лиц и вещей. Не именность считывается с имен вещей в порядке отвлечения и обобщения, а наоборот, сначала именность *того самого*, приоткрывающаяся во сне ни в коем случае не меньше чем наяву, а потом до нее даст Бог достанут наши имена. С этим связано отсутствие примеров в витгенштейновской логике. Имена языковых игр всего лишь этикетки, именность — достоверность некоего присутствия, определить которое оказывается проблемой; обычное имя определяется через отличие одного от другого, тогда как присутствие *именно того самого* есть сама отличительность.

После сна о Кронштадте и Бразилии (одного из нескольких в «Теоретической философии») Соловьев вводит *логическое* измерение мысли, способное выдержать проверку на сон.

Всякая мысль, хотя бы самая отвлеченная и общая, сознается как единичное, испытываемое в данный момент психическое состояние, но вместе с тем мы имеем о всякой же мысли, хотя бы самой пустой и даже нелепой,

1 Владимир Соловьев, Собр. соч..., с. 786–787.

знание еще и с другой, *логической* стороны, знание о формальной всеобщности составляющих ее терминов совершенно независимо от реального содержания самой мысли.¹

Логическое измерение мысли Соловьев жестко отделяет от содержательного (психологического).

Если бы логический характер мышления по своему отличительному признаку (всеобщности) уже представлял собою самоё истину (по существу), то должно было бы признать истиной и тот мнимый закон гидродинамики, который несомненно имеет логический характер всеобщности и, однако, столь же несомненно должен быть признан нелепостью.²

В конце главы VI «Достоверности разума» Соловьев без упоминания Платона строит логическое мышление на выходе из временности через память.

Если психические факты сами по себе возникают и исчезают, то материей или первым условием логической мысли могут быть не эти акты, как такие, а только их *сохранение*. Непрерывное возникание и исчезание есть *время*, логическое мышление обусловлено тем относительным упразднением времени, которое называется *памятью*, или *воспоминанием*.

Характерная спешка Соловьева не дает ему заметить, что с памятью, воспоминанием, которые он называет «психологическими терминами» (там же, прим.), он связывает выход из психологии в логику. Память то ли сама выводит из потока возникновения-исчезания, то ли «со стороны чего-то сверхвременного, действующего в (!) воспоминании». Во всяком случае, память должна быть подкреплена *словом*, оно «переносит в область логического».

В слове «днем» разумеется всякий день, а не те только дни, которые действительно находятся в данном воспоминании.³

В каком слове? В моем слове никакой «всякий день» разумеется конечно не может: я «всякий день» не видел и не знаю, могу отвечать только за некоторые дни моей жизни. Соловьев тут же начинает выпутываться из капкана, в который попал: как память раздвоилась на временную психологическую и вечную логическую, так слово — на «мой звук» и

1 Владимир Соловьев, Достоверность разума III.

2 Там же.

3 Владимир Соловьев, Собр. соч..., с. 809.

«всеобщий смысл». Переделка, в которую влип Соловьев, заставляет его чувствовать себя как рыба на сковородке и делать в горячке ляпсусы, например откровенный *petitio principii*: слово *обобщает* психическую текучку, потому что в нем есть неопределимое «*что-то*», «сверхфактически всеобщее»¹. Вместе с тем обобщение «по смежности, по сходству и по контрасту» в порядке «так называемой ассоциации идей» в качестве инструмента истины решительно отвергается. Под руками Соловьева искомая «достоверность разума» снова и снова ускользает; он понимает, что так и должно быть; серьезность, с какой он докапывается до «истины», скорее пародия, даже если бессознательная.

Мы читаем последнюю работу Соловьева параллельно с Витгенштейном, который однажды спрашивает сам себя: почему я так мало внимания уделяю ассоциации? Потому что она мне не поможет. Это слово не только ничего не проясняет, но лучше обойтись без него: разве неотделимая от вещи атмосфера, ее большей частью не замечаемый фон *ассоциируются* с вещью? Слово *ассоциируется* здесь способ *диссоциировать*; атмосфера настолько неотделима от вещей, что она даже и не атмосфера, она просто заодно вместе с вещью; слово «ассоциация» тут инструмент вивисекции, искусственного раздробления того, что идет нераздельно вместе:

Это впрочем примечательно, что слово «ассоциация» в моих рассматриваниях играет такую малую роль. — Мне кажется, что это слово применяется крайне туманным, размытым образом, и для совершенно несхожих явлений.²

Посмотрим на фигуру, автоматически меняющую аспекты; ассоциация одних ее элементов с другими вдруг исчезает, заменяясь другой:

Как это ассоциация может быть длящимся состоянием? как я смог бы на протяжении пяти минут ассоциировать этого рода предмет с этими линиями?³

Ассоциация успеет много раз закрепиться и снова разладиться в то самое время, пока мы пытаемся проследить ее. Сохранить за ней содержание можно только отождествив ее с мыслью или ее ходами. Мысль, движущаяся непредвиденными скачками смены аспектов, — как она в ко-

1 Владимир Соловьев, Собр. соч..., с. 812.

2 Заметки о философии психологии I 32, 50, 337.

3 Там же I 1008.

нечном счете вырастает во что-то целое? Не по «законам ассоциации». Автомат мысли, как автомат природы, не запрограммирован. Оба развERTываются в примеривании к миру.

Никакое допущение не кажется мне естественнее чем то, что ассоциированию, или мышлению, не соответствует никакой процесс в мозге; так что не получилось бы вычислить мыслительные процессы из нервных процессов в голове. Когда я говорю, или пишу, то, я допускаю, от моего мозга идет соответствующая моим высказанным или записанным мыслям система импульсов. Но с какой стати эта *система* должна простираТЬся дальше в направлении центра? Почему этот порядок не может возникать, так сказать, из хаоса? Случай тут подобен тому — как известные виды растений размножались бы через семена, причем семя порождает всегда тот вид растений, от какого он порожден, — но *ничто* в семени не соответствует растению, возникающему из него; так что невозможно от свойств или структуры семени заключить о структуре растения, — как это можно сделать только идя от его *истории*. Таким образом из чего-то совершенно аморфного мог бы тогда возникать, так сказать беспричинно, организм; и нет оснований, почему бы так действительно не обстояло дело с нашими мыслями, т. е. с нашими речами или писаниями etc.¹

Как здесь мысль складывается «в истории» без причинной детерминации, так у Соловьева ассоциации, упорядочения, работы мозга для мысли мало, она складывается на «пути к цели». Большая мысль теряет эту свободу. При прогрессивном параличе мозга происходит «безотчетное подчинение внешним ассоциациям»; когда мозг берет своими способами дело мысли целиком на себя, она кончается.²

Витгенштейн (продолжаем читать двух авторов параллельно): перепады аспектной смены делают невозможным пересчет из физиологии в психологию. Нет мозгового процесса, вызывающего узнавание *того самого*, хотя, конечно, опыт тождества и настраивает и успокаивает психику.

Я видел этого человека годы назад; теперь я вижу его снова, узнаю его, вспоминаю его имя. И почему для этого воспоминания должна быть причина в моей нервной системе? Почему что-то, что угодно, должно *в какой-то форме* так аккумулироваться? Почему он *должен* был оставить след? Почему не может быть психологических закономерностей, которым не со-

1 Там же I 903; ср. выше с. 440, прим. 5 с тезисом Аристотеля о размножении через семя и *одновременно* помимо него.

2 Владимир Соловьев, Собр. соч..., с. 813.

ответствуют *никакие* физиологические? Если этим опрокидываются наши понятия о причинности, то подошла пора им быть опрокинутыми.¹

Рядом с каузальной зависимостью не вводится другая, например целевая. Есть парадокс в недоумении В., почему что-то должно аккумулироваться в мозгу: ну конечно в нем всё откладывается; никто не сомневается, что впечатления сохраняются в клетках серого вещества надежнее чем на магнитной ленте или дискете. В. спрашивает не о том, как случилось закрепление во мне памяти о том человеке, а о том, откуда идет моя уверенность, что он именно тот человек? Впечатления (напечатления, отпечатки) живого тела в отличие от машины всегда разные; опознание именности идет не от одинаковости отпечатков, а *против* их неизбежной неодинаковости. Когда я обознался, приняв незнакомого за знакомого, я показываю, что отождествление во мне спешит включиться раньше показаний чувств и пользуется ими, подгоняя их под себя. Или как я опознаю знакомого по фотографии? Ведь впечатления от нее другие; собака не узнает хозяина на его портрете; не узнает она и себя в зеркале. У меня есть все причины увидеть изменившегося за годы человека иначе и никаких — воспринять в нем физиологически, химически совершенно то же самое. Я однако делаю именно это.

Соловьев: есть «наличность»², которая каждый раз надо смотреть какая, всегда разная, и есть прорезающая ее насквозь общность, присутствующая обычно привативно. Поскольку снова и снова везде нас встречает только переменчивая наличность, то ради общности и ее «мира»³ надо рискнуть пойти против очевидности, волевым образом, решением⁴ введя в хаос наличности «форму разумности и разум истины». Жесткая форма закона посещает Соловьева во сне. Уловить его содержание не удастся, но в его всеобщности сомневаться нельзя. Неизменная истина веет вокруг нас, но пока мы не решимся на нее, она не выходит из «состояния *рассеяния* и *безразличия*»⁵ и может принимать вид нелепицы, как мнимый закон о наложении течения волн на течение времени. Решаясь в пользу истины, мы начинаем с того, что *замечаем* текучесть — животные этого не могут, — констатируя всякий раз, что на-

1 Заметки о философии психологии I 905.

2 Владимир Соловьев, Собр. соч..., с. 813.

3 Там же с. 819. Ср. у Витгенштейна мир как логическое пространство.

4 Там же.

5 Там же с. 818.

личность еще не всё. Истина так или иначе настигнет нас, лучше рано «отдаться» ей.¹ Отдание себя истине Соловьев неожиданно называет окрашенностью в ее цвета. Наш разум должен

Качествовать не в себя, а в истину и затем уже из этого своего в ее цвета окрашенного качества исходить для полнейшего познания.²

Недостаточность разума, его неполнота без этики («должен *качествовать* не в себя»), цвет истины и несомненность (познавательная полнота) цвета, переход от культа разума к культуре цвета у Соловьева — всё это основные темы и у Витгенштейна.

1 Там же с. 830.

2 Там же (конец «Теоретической философии»).

V ЦВЕТ

1 ЭКСКУРС: ГЁТЕ И НЬЮТОН

Мы не объясняем, не описываем (иначе как через наши вторичные впечатления), не определяем цвет, только показываем его и называем именами, принятыми в наших языковых играх¹. Мыслимы культуры, в которых описание самого по себе цвета допускалось бы. Современность (наши примеры) не пытается реставрировать окраску Аполлона Бельведерского. Разноцветные полки начали необратимо униформироваться 200 лет назад или раньше. Человечество воспринимает цвет всё более технически. Водитель отличает красный от зеленого, но их функцию для него выполнит и жест постового, в свою очередь тоже схематический. Значит ли еще для нас что-то отдельно красный цвет вне контекста желтого и зеленого? В отношении цвета мы как люди без абсолютного слуха в отношении тона, которым внятна только относительная разность высоты звука; настраивая инструмент, они пользуются сравнением с камертоном, тогда как абсолютный слух без камертона в отдельном звуке слышит его высоту. Трудно представить себе уличную сигнализацию, где один цвет, например голубой, нес бы сообщение без сопоставления с другими. Наши языковые игры не настроены на прямое, без интерпретации, цветовое сообщение. В этом отношении мы слепы к цвету. Говоря, что цветовое впечатление неразложимо, мы утверждаемся в принятой нами языковой игре, которая хочет оставить цвет неразобраннным.²

У Соловьева, выходящего из текучей наличности в пейзаж всеобщего, истины, логоса, закона, мира, внезапный поворот в конце его последних философских записей к цвету (надо «качествовать в истину и в ее цвета окрашенного качества исходить», см. выше) не кажется стилистическим украшением, когда читаешь у Витгенштейна в начале его работы плотную над цветом:

Цвета (Farben) побуждают к философствованию. Возможно, это объясняет страсть Гёте к учению о цвете.

1 Заметки о философии психологии I 602, 603.

2 Там же 634.

Цвета кажется задают нам загадку, загадку, которая нас побуждает — не возбуждает. (1948)¹

Не навязывающая себя тема цвета у Витгенштейна оставляется часто без внимания, как и последняя написанная Соловьевым философская страница с призывом исходить из цвета истины. Странность цвета приоткрывается в первых двух фрагментах-парадоксах «Заметок о цвете» Витгенштейна, написанных с весны 1950 до марта 1951 в Оксфорде, потом в Кембридже, куда он поехал в феврале 1951 умирать в доме доктора Бивена. Цвет занимает важное место уже в дневниках до «Трактата», без упоминания Гёте.

Гёте занимался цветом собственно всегда. Первая его публикация на эту тему была в научном издании «*Beiträgen zur Optik*» осенью 1791 и весной 1792; из запланированных шести статей вышли только эти две. Он изучал Кеплера, Декарта, Ньютона, Пристли. «*Farbenlehre*», «Цветоведение», пишется со второй половины 1790-х годов, с 1798 Гёте переходит к истории учения о цвете, в 1803 к общей ревизии всех материалов, с 1805 Гёте начинает частями отдавать рукописи в печать. Двухтомник «*Zur Farbenlehre*», вышедший в мае 1810, — самая большая из всех его публикаций. Том 1: «Дидактическая часть» и «Полемиическая часть» («Разоблачение теории Ньютона»); том 2: «Историческая часть» («Материалы к истории учения о цвете» и раздел «Вместо обещанной дополнительной части»). Отдельный том составили таблицы с пояснениями. Физическая наука в целом отвергла Гёте, только ученый из Иены Томас Иоганн Зеебек (Seebeck) по крайней мере какое-то время был на его стороне. В 1819 Гёте сделал, в 1824 опубликовал выписки из книги «К познанию зрения в субъективном аспекте» чешского физиолога Иоанна Пуркинье (Purkinie) со своими в основном одобрительными замечаниями в скобках; Пуркинье подтверждал некоторые тезисы гётевского «Цветоведения». Гёте был обрадован пониманием со стороны художника Филиппа Отто Рунге, с которым переписывался с 1806 года (Витгенштейн не раз цитирует из их переписки Рунге). Несмотря на насмешки ученых оптиков, Гёте публиковал статьи по теории цвета в своем журнале «О естествознании вообще» (*Zur Naturwissenschaft überhaupt*) и в последние дни жизни еще был занят оптическими экспериментами.

В предисловии к «Учению о цвете» предлагается обратить внимание на невидимость света; всё, что называется *освещенным*, в действитель-

1 Л. Витгенштейн, Разрозн. заметки (WA 8, 544).

ности *окрашено*: мы наблюдаем серое, белое, голубое, черное, коричневое. О свете говорится слишком много без понимания его невидимости; продолжать эти разговоры «сомнительно»; так можно рассуждать о невидимой сущности, например человека, но не лучше ли назвать его поступки, дела? «Цвета суть деяния света, деяния и претерпевания» (Die Farben sind die Taten des Lichtes, Taten und Leiden). Минуя цвет и заговаривая сразу о свете, мы делаем слишком широкий шаг, будто бы к сути дела; верно, что она не чувственная, но отсюда не следует, что мимо чувственного надо поскорее пройти. Нас слишком интересует свет, *поэтому* мы проскакиваем мимо единственного способа что-то о нем узнать, словно у нас есть выбор; взглянули на чувственный свет, теперь рассмотрим нечувственный. О свете, которого никто не видел, мы всего ближе узнаем по цвету, если вообще по чему-нибудь. Свет самое интимное в природе; она устроила так, что и первое дело света, цвет, тоже спрятала от нашего внимания.

Природа у Гёте говорит, сначала светом, т. е., для нас, цветом. Надо избавиться от иллюзии неопределенной освещенности и начать видеть всё в цвете, т. е. как оно есть, а не обобщенно, сглаженно и усредненно. Вырвавшись из монотонности, всё становится объемным и загадочно разным. Цветной мир перестает быть дурной бесконечностью, она свойство только серой и схематичной действительности. Похоже, что больше половины людей видят цветные сны, но остается ли для них мир цветным наяву?

Гёте находит себе мало предшественников: у Феофраста приписывавшуюся Аристотелю книжечку «О цветах» (De coloribus libellus) — он ее перевел в 1801; у Роберта Бойля «Опыты и соображения о цветах» (Robert Boyle, Experiments and Considerations upon Colours with a Letter Containing Observations on a Diamond that Shines in the Dark, 1663). Ньютона с его оптикой (Opticks; or a Treatise of Reflexions, Refractions, Inflections and Colours of Light, 1704; Optical Lectures, 1728) Гёте не считал предшественником из-за принципиальной противоположности подхода; он не принял редукцию цвета к сумме свет + среда и разложение света на спектр от желтого, якобы ближайшего к свету, до голубого, ближайшего к тьме.

Равновесное смешение чистейших желтого и голубого дает зеленый, неравновесное — красный. Это надо понимать у Гёте не так, что исходные цвета желтый и голубой, а так, что невидимый свет, входящий в видимость с полюсов желтого и голубого, на отстоянии от полюсов да-

ет зеленое и красное¹. Гёте не редуцирует цвета к составляющим, они у него первоисконные (*uranfängliche*)² явления природы и оказывают самостоятельное нравственное (*sittliche*) действие на душу (*Gemüt*) безотносительно к форме и фактуре материала, на котором мы их видим, — гармоническое, характеристическое (показывающее нрав, натуру, характер), иногда дисгармоническое, но всегда значительное, внедряющееся в область нравственности (*das Sittliche*). Отсюда важность цвета в искусстве. Люди радуются краскам, как проблеску солнца в тусклый день. Цветным драгоценным камням приписывают целебные силы скорее всего из-за невольного ощущения этого неопределенного благополучия, присущего цвету самому по себе³. Цвет влияет на настроения (*Gemütsstimmungen*); об одном остроумном французе рассказывали, что тон его бесед с дамой изменился, когда она сменила обои своего салона с голубого на розовый (*cramoisi*). На «плюсовой стороне» (*Plusseite*) стоят желтый, оранжевый, сурик, они настраивают (*Stimmen*) энергично, живо, порывисто. Желтое обладает бодрящим, свежим, слегка прельщающим (*reizende*) свойством. Золото дает «новое и высокое понятие о желтом»⁴ — великолепия и благородства. Как цвет природе, так настроение интимно близко нам. Фигуры (формы, схемы) дальше от нас; строго говоря, мы видим не их, а такие-то соседства и переходы цветов.

К цвету прежде всего надо относить известную запись Витгенштейна 1947 года: «Дай Бог философу взглянуть в то, что у всех перед глазами»⁵. В заключении (включая добровольное; наш пример: можно отдышаться на Канарских островах и воспринимать цвет через рекламные открытки, т. е. не видеть его) мы видим мир монотонным, «отказывая в существовании всем цветам, кроме этого, серого; он входит в обиход глаза как пайка, необходимая для поддержания жизни»⁶. Вопрос только, не к пространству ли схемы относится то, что здесь названо серым?

1 Ср. этимологическое родство, по-видимому давнее, слов *голубой-желтый-зеленый*, также и в других и.-е. языках. По нашему предположению сюда относится и *красный*. Ср. также R. Findeis, *Über das Alter und die Entstehung der idg. Farbennamen*, Triest 1908.

2 *Гёте*, К учению о цвете § 758.

3 Там же § 759.

4 Ср. в нашем языке родство *золотого* и *желтого*.

5 Разрозн. заметки (WA 8, 539). Ср. Гёте в контексте спора с Ньютоном о цвете: «Ребенок и даже идиот может подметить то, что ускользает от самого искусного наблюдателя» (*Goethe, Weimarer Ausgabe, Abt. II, Bd. 11, S. 65–66*).

6 *Ирина Полянская*, *Тихая комната*. — Новый мир 1995, 3, с. 50–51.

не отказ ли тут и от серого тоже? Перламутр серый в другом смысле, чем как в этом рассказе о Шаламове. «Для тех, кто на общих работах, выдохлись все краски и умерли оттенки; серые длинные дни, серая пустыня и куда-то бредущие тени.» Слово *тени*, возможно, показывает, в каком смысле здесь надо понимать серость. От цветовой слепоты не избавляет яркость технических красок. Продукция цветной камеры окружает нас средой, в которой настоящего цвета меньше чем в черно-белом снимке. Мастера фотографии сознательно отказываются от цвета, воссоздание которого удастся только хорошему художнику и недоступно для машины¹.

Изменение аспекта, когда, открыв дверь тюрьмы², мы начинаем видеть не схемы, а цвета, субъективно, произвольно, случайно? Метрика схемы, мы говорили, не пересекается с топикой цвета. С увидением всего в цвете мир становится не объектом, а субъектом захвата. Мы улавливаем формы, но бессмысленно говорить, что улавливаем цвета; ловят скорее они нас. Не мой образ цвета принадлежит мне, а я окрашен (через настроение по Гёте и Хайдеггеру) в тон мира.³

Однажды вникнув в цвет, я не подлежу в его области смене аспекта: невозможно внезапным переключением (Umschnappen) увидеть красное, например, коричневым. Когда недальтоник, оговорившись, называет зеленый синим, это вовсе не значит, что в его зрении стоит то один, то другой цвет, как на автомате Кёлера выскакивает то белый, то черный крест; просто он не сразу отыскал в арсенале своей языковой игры нужное слово для однозначного впечатления.⁴

«Замечания о цветах» Витгенштейна надо читать на фоне гётевского «Цветоведения». Цвета меняют аспект только в особом смысле: голу-

1 Ср. ниже Заметки о цветах III 117.

2 «Человек — заключенный в комнате, где дверь не заперта, а открывается внутрь; но ему не приходит идея *потянуть на себя*, вместо того чтобы давить на нее.» (Разрозн. заметки, 1942, WA 8, 509).

3 По-японски иро *цвет, окраска, оттенок, тон, выражение лица, общий облик, обаяние*; ирои *оттенки, нюансы*; ироиро *различные, разные* (как у нас *пестрота*). иро основное слово для цвета (ироцуки-тэрэби *цветное телевидение*); иро с тем же иероглифом значит также *любовные дела, чувственные наслаждения, сладострастие* (ирогономи *роман*); ирокэ *страсть, влечение* (кэ *признак, след, привкус*); иромэку *принимать (любовь) окраску, оживляться, проявлять активность*, в отношении войск — *дрогнуть*.

4 Почти все основные цвета наш язык обозначает фактически одним и тем же словом (ср. выше с. 464, прим. 1), как если говорить *вот этот, вот этот*, отсылая к тому, что все одинаково видят.

бой никогда не окажется белым, но, например, на рисунке голубое небо покажется более светлым, чем оставленное неокрашенным пятно белой бумаги, хотя ведь — В. ссылается на Гёте — голубое более темная, белый более светлая краска, а на палитре вообще самая светлая. Черно-белая камера и человек, слепой к цвету (Farbenblind), одинаково и на фоне голубого неба, и на палитре опознают в белом более светлую краску. Назвать ли их зрение более совершенным? Можно представить себе народ, слепой к цвету, говорящий на нашем языке. Люди этого народа будут применять названия цветов, но иначе чем мы. Разве их словопотребление будет неверно? Оно может оказаться строже, техничнее нашего. «Нет общепризнанного критерия того, что такое цвет»; мы полагаемся только на то, что принято в нашей языковой игре.¹

За только что изложенными фрагментами следует запись, на первый взгляд не имеющая отношения к цвету:

Во всякой сколько-нибудь серьезной философской проблеме необеспеченность (Unsicherheit) достигает до самых корней.

Надо всегда иметь решимость к тому, чтобы узнать что-то *совершенно* новое.²

Когда научимся быть к этому готовы, необеспеченность кончится? Нет, ведь она создается как раз присутствием нового, которое не сводится даже к смене аспекта и смене глаз: всё это лишь наши старания задним числом назвать то, что новое *совсем*. Новое, как помнит наш язык, это нынешнее в смысле настоящего.

Цитируя Рунге в его переписке с Гёте, Витгенштейн говорит о непрозрачности белого цвета (непрозрачен, но иначе, и черный — Рунге называет эти два цвета телесными, körperlich). У голубого воздуха и воды есть глубина; можно представить такую же красную (глубину воспринимает и один глаз, поскольку он не геометрическая точка), но не бывает белой глубины. Среда прозрачна потому, что за ней что-то лежит: один цвет сменяется другим. Строго одноцветное пространство не имело бы измерения в глубину, как белый туман. Непрозрачность белого дает о себе знать еще другим образом. Белый кафель на дне голубой

1 Заметки о цветах I 13–14.

2 Там же I 15. Ср. Разрозн. заметки (1929): «Каждое утро надо снова пробиваться сквозь мертвые глыбы, чтобы прийти к живому, теплему ядру». Ср. реплику Хайдеггера американскому аспиранту, спросившему, почему в его философии всегда остаешься беспомощным новичком: «Но я именно так чувствую себя каждое утро».

воды покажется голубым (черный останется черным), белое лицо через желтое стекло видится желтоватым. Вообразим на минуту «белое прозрачное», невозможную среду (тонкая пленка молока прозрачна, но она уже не белая, а голубоватая или мутная, т. е. серая): какой через нее увидим черно-белую шахматную доску? Такой же. Непрозрачное белое бывает совершенно необходимо для того, чтобы выявить прозрачное. Если я выбираю тонированную стеклянную посуду, показывая нужные мне образцы цвета, я должен обязательно видеть ее на белом фоне. Возникает вопрос: где белый фон, позволяющий ручаться, что прозрачное небо действительно голубое? И еще один парадокс белого. Всякая окрашенная среда в меру своей глубины затемняет, «проглатывает» свет. Снова представим белое прозрачное; оно бы тоже затемнялось, чем толще тем сильнее, так что в конце концов белое прозрачное тонированное стекло стало бы темным?¹

«Свет бесцветен.» Почему так не вяжется сказать? По двум причинам. Мы, во-первых, не знаем в принципе ничего бесцветного; уверенно говорить, что свет бесцветен, значит давать характеристику вещи, о которой мы ничего подобного не вправе сказать. Во-вторых, свет бесцветен, надо думать, не в том смысле, что он лишен цвета, иначе с равным успехом можно было бы говорить, что число бесцветно. Свет вообще не из рода таких вещей как цвет.²

По Гёте, цвет есть граница света или то, что возникает на границе между светом и тьмой. Он кратко излагает свое учение так:

Для порождения цвета требуются свет и тьма, ясное и темное или, если хотим пользоваться более обобщенной формулой, свет и несвет. Ближайшим к свету возникает у нас цвет, который мы называем желтым; другой, ближайший к тьме, мы обозначаем словом синий.

Свет в привычном смысле этого слова можно было бы тогда определить как излучение, которое не полностью вязнет в воде, воздухе, стекле, кварце, в медузе, в роговице глаза; по мере увязания света в веществе возникает цвет, как зеленое — в хлорофилле, где химия превращается в биологию. Физическая теория, выносящая свет за скобки как сумму («аддитивный синтез») цветов, понимает границу проще. Достигла ли однако эта теория сейчас ясности в отношении света и цвета? окончательно ли опровергнут Гёте? Называть, как он делает, свет невидимым и

1 Заметки о цветах I 20–30.

2 Ср. выше Гёте о принципиальной невидимости цвета.

дающим всё видеть, строго говоря, нельзя; *свет* оказывается тогда просто производным от *видеть* — а что такое видеть? Бесспорным у Гёте остается однако опора на цвет.

Свет ощущается как нечто простое. Неясно, как смешение качеств должно дать чистую бескачественность. Или простота света наша иллюзия? Однако без чистого (мы называем его *белым*) света нельзя было бы гарантировать, что красный это красный и т. д. Сергей Сергеевич Хоружий говорит мне, то света в действительности нет, он родовое понятие, от которого можно бы и отказаться; он просто смешение цветов, и кажется простым потому, то смесь всегда естественнее чистого. По Гёте, наоборот, цвет поступок света. Всё видимо в свете, как всё сначала создано им. Свет и мир, который мы называем белым светом, одинаково невидимы; перед нашими глазами всегда уже краски и вещи. Но разве мир существует только как обобщенное понятие? Мир надежно защищен от любых дефиниций своей невидимостью; мир, можно было бы сказать, не существует, если за эталон брать бытие сущего; поэтому мир не устает (*ἀκάνιστος*), и что бы ни случилось с веществом, от мира в его существе не убудет. Так же свет? И только для ученого физика он родовое понятие? Похоже на то, что как цвет, по Гёте, есть деяние (поступок) света, так от нас требуется поступок, чтобы понять если не свет, то цвет; например, увидеть *настоящее* серое, подобно художникам, рисующим иногда серым по серому, а не просто всегда только одно монотонно серое.

Цвет как деяние света, конечно, не входит в научный дискурс. Что говорит наука? В сущности не так уж много. Она может измерить длину световых волн, но лучше удержаться от обоих терминов: что свет представляет собой *вóлны*, говорить неосторожно; это пока теория, как теорией было и воображение его эфиром, океаном тонкого рода; с другой стороны, интерференция показывает, что свет не полностью лишен волновых свойств. Называть свет светом физика тоже не имеет большого права, поскольку не умеет отличить его от цвета. Что же тогда знает наука? Она способна фиксировать приборами энергию (силу, напор) там, где наш глаз видит свет (цвет), и констатировать, то эта энергия пульсирует. Напишите 75 и еще двенадцать нулей — столько раз в секунду; напишите 43 и тоже двенадцать нулей, опять в секунду. Это верхний и нижний предел пульсаций, которые воспринимаются человеческим глазом. На верхнем пределе мы видим фиолетовый цвет; он какой-то режущий, и не зря: мы перестанем что-то видеть, когда частота пульсации

увеличится; если никакого другого «излучения» (снова сомнительный термин) в пространстве вокруг нас не будет, для нас станет всё черно. Если та энергия не кончится, а ее вибрация участится, она продолжит невидимо воздействовать на живые клетки, сначала немного хорошо, потом очень плохо. 9% всех лучей, посылаемых нам от Солнца, как вслед за фольклором и обыденной речью говорит наука, приходится на невидимую энергию *ультрафиолетового* цвета. — Приборы констатируют и менее частую вибрацию (чего?), т. е. реже 43 и еще двенадцать нулей раз в секунду, одновременно с прекращением видения; то мы еще воспринимали красный цвет, и вот перестаем, вместо цвета начинаем ощущать только одно тепло. Говорят, что красный цвет «теплый». Вибрация реже чем у красного и пурпурного ускользает от зрения. На *инфракрасную* часть спектра приходится примерно половина всей излучаемой Солнцем энергии.

Всё это цвет и то, что за пределами восприятия, — а где же свет? Наука говорит: в глазу; он не тонкий прибор, воспринимает все эти вибрации сразу в смешении, а не отдельно, и они для глаза сливаются в то, что называется просто свет, смазанная мешанина цвета. Здесь начинаются вопросы. Смешение разных частот вибрации должно вроде было бы давать их среднюю величину. Между крайними величинами воспринимаемых колебаний, ниже ультрафиолетового и выше инфракрасного, середина есть, но она занята *желтым* цветом; он точно посередине между частотами фиолетового и красного пурпурного. Это ничего, говорят нам; кто знает, что в неточном инструменте глаза из какого смешения чего с чем получится; получился вот не желтый, а так называемый белый свет. У Гёте, мы помним, желтый цвет, ближайший к свету (*die nächste Farbe am Licht*)¹, возникает через «мягчайшее ослабление», умерение (*Mäßigung*) света при прохождении сквозь затуманенную среду или при слабом отражении от белых поверхностей.

Цвета, которые при их техническом суммировании дают белый, например оранжевый и синий, называются дополнительными. «Белый свет» здесь технической термин, означающий «сложное по спектральному составу излучение». Сумма (сложение) всех вообще цветов тоже дает, говорят нам, белый. Этот сложный белый, просит заметить Гёте, непохож на белый свет нашего непосредственного ощущения.

Если считать свет волнами, «оптическое излучение» разбросано по

1 Гёте, Учение о цвете § 765.

широкому диапазону их длин от 1 мм до десяти миллиардных метра. Видимый свет (цвет) занимает ничтожную часть этого диапазона. Когда длина волны становится 740 миллиардных метра, т. е. примерно в тысячу раз меньше миллиметра, она становится вдруг видна; до того шло невидимое тепловое и инфракрасное излучение. Волны будут еще видны, пока их длина не сократится примерно вдвое, до 380 миллионных миллиметра. Они смогут потом сокращаться еще примерно в 40 раз, заполняя невидимый диапазон ультрафиолетового излучения. Затем так называемое оптическое излучение уступает место гораздо более коротким рентгеновским (до 6 триллионных) и гамма-лучам (до 50 квадриллионных метра).

На диаграмме длин названных волн видимый спектр будет выглядеть исчезающе тонкой линией. Мы уже попробовали примитивно представить себе, почему энергия влево (в сторону увеличения) и вправо (в сторону уменьшения длины волны) от видимого спектра не воспринимается глазом: вибрации реже света не проникают через вещество, вязнут в роговице или раньше, в воздухе, в ионосфере, как ноги вязнут в липкой грязи, не дающей от нее отпрыгнуть; вибрации, которые физики называют светом, проникают через воздух и жидкости (стекло жидкость), вне которых опять же увязают; когда длина волны по сравнению с волной красного цвета уменьшается не в два раза (тогда будет фиолетовый), а в 400 раз и больше, до в 10 миллиардов раз, проникающая сила уже не знает никаких преград, пробивает всё и несовместима с жизнью. Ограничиваются ли вибрации в природе названными выше? что если диапазон космических колебаний не имеет ни правого, ни левого предела? Оказавшись посреди бесконечности, диапазон видимых волн станет бесконечно малым и одновременно как ее часть бесконечно большим. Мы с нашей проблемой цвета и восстановленной проблемой его отличия от света выйдем из тупика, огороженного техническими возможностями, к полноте обзора¹.

Видимые лучи, полный спектр которых посылает Солнце, смешиваются в несовершенном инструменте глаза и дают белый свет? Простое соображение однако требует, чтобы цвет выделялся на несмешанном фоне, иначе его восприятие будет зависеть от качества смеси, которая в разных глазных инструментах не всегда будет одинаково нейтраль-

¹ Ср. выше с. 81 и др. о ближайшем мире как одновременно предельно большом и предельно малом.

ной. Не очень понятно, почему достаточно смешения всех цветов, чтобы на получившемся фоне я мог назвать красный цвет красным, а не моим субъективным впечатлением. Свет, родовое понятие всех цветов, так же не существует, как родовой человек в отличие от этих мужчины и женщины? Но я могу видеть вот этого человека, не имея в поле зрения родового, а со светом это не так. По Гёте, при созерцании отдельных красок, любой и каждой, особенно отчетливо такой-то, мы в известной мере «патологически аффицированы», тем самым «ограничены» и настроены вырваться из этой ограниченности на свободу, выставляя противоположность (контраст) для навязывающейся единичности и тем самым «умиротворяющую цельность». Она будет отличаться от частной окраски не как еще одна, а как разрешение односторонности цвета без выхода из его области. Этим свойством спокойной цельности обладает свет. Гёте не видит возможности прийти через комбинацию красок к свету. Ему известен опыт с вращением круга, раскрашенного по секторам, но в результате этого опыта мы получаем не настоящий белый свет, а «отвратительное ньютоновское белое», *das ekelhafte Newtonische Weiß* («Исповедь»).

2 мая 1824 года Иоганн Петер Эккерман записывает слова Гёте, которую скоро исполнится 75 лет:

Когда человеку семьдесят пять, — вдруг весело и жизнерадостно продолжал он, — он не может временами не думать о смерти. Меня эта мысль оставляет вполне спокойным, ибо я убежден, что дух наш неистребим; он продолжает творить от вечности к вечности. Он сходствует с солнцем, которое заходит лишь для нашего земного взора, на самом же деле никогда не заходит, непрерывно продолжая светить... — Для того, чтобы составить эпоху в истории, необходимы, как известно, два условия: первое — иметь недюжинный ум, и второе — получить великое наследство. *Наполеон* унаследовал Французскую революцию, *Фридрих Великий* — Силезскую войну, *Лютер* — поповское мракобесие, а мне в наследство досталась ошибка в учении Ньютона¹. Нынешнее поколение, правда, и понятия не имеет о том, что я сделал в этой области, но будущие времена должны будут признать, что наследство мне досталось неплохое.

1 Гёте «Ньютонову теорию считал великим заблуждением, опасным и вредным для ума человеческого» (Эккерман 20.4.1825); Ньютон не заметил или не захотел учесть, что все его оптические эксперименты включают вмешательство прибора и требуют прежде всего введения границы между средами при преломлении света, между светом и тьмой, в виде прорези оптического прибора, края призмы, причем эффекты света возникают только *на границе*.

Античность с ее вкусом к бесконечности, притупленным в Новое время, не нуждалась в телескопе и микроскопе из-за интуиции, что наше окружение под небом на земле, если смотреть внимательно и замечать подробности, дает пережить всем существом образ действий софии в бесконечности. Уверенность, что весь мир открыт нам здесь, вела и Гёте (как Николая Кузанского, Декарта, Лейбница; как многих позднее). Эккерман записывает 20.12.1826:

Глядя на горящую восковую свечу, я заметил, что прозрачная нижняя часть огонька представляет собою тот же феномен, благодаря которому небо кажется нам синим, поскольку мы видим темноту сквозь освещенную замутненность. Под серым, затянутым тучами небом начинало смеркаться. Гёте зажег свечу и пошел с нею к столу у окна. Он поставил свечу на белый лист бумаги, а рядом с нею палочку так, чтобы огонек свечи отбрасывал от палочки тень в направлении дневного света. — Ну-с, проговорил он, что вы скажете об этой тени? — Тень синяя, ответил я. — Вот вам и опять синева, сказал он; ну, а что вы видите с другой стороны палочки, со стороны, обращенной к свече? — Я вижу тень. — И какого же она цвета? — Красновато-желтая, отвечал я; но каким образом возникает этот двойной феномен? — А вы постарайтесь дознаться сами. Это возможно, хотя и очень нелегко... Феномен нижней части огонька, где прозрачная светлота на темном фоне создает синеву, я покажу вам сейчас в увеличенном виде. — Он взял ложку, налил в нее спирту и зажег его. И передо мною снова возникла прозрачная светлота, темнота же сделалась синей. Я поднес ложку к темному окну, и синева сделалась гуще; повернул ее к свету, она стала бледнеть и почти совсем исчезла. — Да, проговорил Гёте, величие природы в ее простоте и еще в том, что величайшие свои явления она повторяет в малых. Тот закон, который вызывает синеву небес, мы наблюдаем в нижней части огонька свечи, в горящем спирте, равно как и в освещенном дыме, поднимающемся над деревней у подножия темных гор.

Гётевское «что снаружи, то и внутри» — принцип, которому, судя уже по самым ранним записям и свидетельствам, следует Витгенштейн, формулируя его почти так же.

Математическая оптика, уже достаточно развитая к началу 19 века, остается для Гёте лишенной основания до тех пор, пока она не прояснилась себе, с чем собственно имеет дело, или, хуже, держится догмы о свете как смеси. «Математики — своего рода французы: если говоришь с ними, то сказанное им они переводят на свой язык, и тогда это сразу становится чем-то совсем другим.»¹ И Эккерману 20.12.1826:

1 Цит. по: Канаев И. И. Гёте как естествоиспытатель. Л.: Наука 1970, с. 292.

Я чту математику как возвышеннейшую и полезнейшую науку¹, покуда ее применяют там, где должно, но не терплю, когда ею злоупотребляют, используя ее в тех областях знания, к которым она никакого касательства не имеет, отчего эта благородная наука сразу же становится бессмыслицей. Словно существует лишь то, что поддается математическому доказательству! Какая ерунда! Вдруг кто-нибудь усомнился бы в любви своей девушки, потому что она не могла бы математически таковую доказать! Чтобы постигнуть феномены учения о цвете, достаточно умения наблюдать и здравого разума, но и то и другое, увы, встречается реже чем можно было бы предположить.

15.5.1831 Гёте заговаривает с Эккерманом о посмертном издании своих сочинений, томов 15 (изданы были сотни):

На худой конец, вы можете изъять полемическую часть «Учения о цвете». Я отнюдь не отрекаюсь от своего резкого разбора Ньютоновых положений, но по существу полемические выступления чужды моей натуре и удовольствия мне не доставляют.

Вне частной полемики Гёте ведет священную войну за свет против его отмены наукой.

Мне сильно досталось за то, что я понял: Ньютоново учение о свете и цвете — ошибочно. Я познал свет во всей его чистоте и правде и считал своим долгом за него вступиться. Противная же партия всерьез намеревалась его замутить, утверждая, что тень — частица света. В моей формулировке это, конечно, звучит абсурдно, но тем не менее это так. Ибо когда говорят, что цвета, являющиеся по существу большей или меньшей затененностью, это и есть свет или, что одно и то же, по-разному преломленные лучи света... Гёте умолк, ироническая усмешка промелькнула на его величественном лице.²

Для Гёте не всё в свете исчерпывается тем, что появляется, когда ему ставят границу. Невоспринимаемые глазом участки диапазона излучения Гёте назвал бы невидимыми действиями и страданиями света, который не сводится однако даже к сумме их всех. *Весь* свет невидим в сильном смысле слова, т. е. не уловляем ни несовершенным инструментом

1 «Осмотрительности — сочетанию только ближайшего с ближайшим или, вернее, выведению ближайшего из ближайшего — нам надо учиться у математиков, и даже там, где мы не пользуемся счетом, мы всегда должны приступать к делу так, как будто мы обязаны дать отчет самому строгому геометру.» Ср. ниже с. 478 Гейзенберг о гётевской математике.

2 Гёте — Эккерман 4.1.1824.

глаза, ни совершенным науки. Науке Нового времени неудобно иметь дело с абсолютно невидимым объектом.

Ньютон как математик имеет столь высокую репутацию, что до сегодняшнего дня сохраняется его нелепейшее заблуждение, а именно, что ясный, чистый, вечно неомраченный свет составлен из темных светов (*dunklen Lichtern*).¹

По Гёте, когда свету поставлен предел, он распускается цветом, из которого сам по себе не состоит. Как свет, так и его граница, возражает наука, существуют только для человеческого глаза, «благодаря особенностям зрительного аппарата человека; для мира вне человека это противопоставление света и тьмы отсутствует». Объективно никакой границы в районе перехода длины «электромагнитных волн» (осторожнее сказать: пульса излучаемой энергии) от, скажем, трети тысячной миллиметра к меньшей приборы не фиксируют; только человек вдруг говорит: ах, темно! ничего не видно! Во Вселенной есть волны в тысячу, хотите — в миллион раз короче. Для человека был свет, теперь тьма; для науки так называемый свет лишь исчезающе малый эпизод; самое интересное начинается с необъятным спектром рентгеновских и гамма лучей. «Переносить эту „полярность“ [света и тьмы] во внешний мир, приписывать ей некую „объективность“ — с точки зрения науки ошибка, известный антропоморфизм по отношению к природе. Полагая свет и тьму очевидной достоверностью, Гёте считал таковыми и цвета, как полутени, порожденные столкновением света и тьмы.» Не обязательно приводить автора этого типичного современного отчета о полемике Гёте с Ньютоном. Признаются заслуги Гёте, работавшего с приборами; его опыты были повторены, его понятие «физиологических цветов», возникающих «в нашем зрительном аппарате без непосредственного влияния внешних раздражителей» ценно, но в целом «наивный реализм» Гёте оказался «недостаточно критичным». Свет и тьма принадлежат древней онтологии, мифологии или психофизиологии с ее эффектами. «Гёте, считая цвета как таковые несомненным природным явлением, „ушел вслед за ними“ из сферы психофизиологических явлений, плодотворной основы своей хроматики, во внешний мир цветов и потому не мог понять правильность позиции Ньютона и, браня его, вызвал законный протест всех физиков своего времени и последующих лет.» Защита Гёте редко идет дальше признания этих его заслуг перед современной наукой пси-

1 Гёте, Максимы и рефлексии 1261.

хофизиологии. «Открывался совсем иной путь, нежели физический, к исследованию цветового феномена.»

Гёте не любил телескоп и микроскоп, хотя работал с ними. Телескоп более или менее приближает; но мир уже приблизил всё к нам как нельзя плотнее, и приставлять к нему оптику значит не доверять этой интимности. Гёте был близорук и, возможно, косил. Эккерман записывал за ним 5.4.1830:

Когда ко мне входит незнакомый человек с очками на носу, я немедленно прихожу в дурное настроение, тут уж ничего не поделаешь. Очки почему-то представляются мне чем-то невежливым, словно только что вошедший человек собирается наглубить мне. Единственный человек, чьи очки меня не раздражают, это Цельтер [профессор музыки, композитор]; у всех других — разве что с ума не сводят. Мне всё кажется, что я становлюсь объектом изучения и что незнакомый человек хочет своим вооруженным взглядом проникнуть в самые потайные уголки моей души и изучить каждую морщинку старости на моем лице. Вглядываясь в меня так пытливо, он нарушает всякое равенство между нами, ибо я не могу тем же ему отплатить. Люди от природы сильные духовно и физически, как правило, скромны, нищие же духом весьма самомнительны.

Очков не надо не потому что мой глаз острый прибор, а какой бы ни был глаз, он мой как я сам, прописан в моем существе, тогда как надо еще разобраться, что во мне заставило меня пойти путем изобретения протезов для тела.

Человек сам по себе, поскольку он пользуется своими здоровыми чувствами, есть величайший и самый точный физический аппарат из могущих существовать; и в том-то величайшая беда новейшей физики, что эксперименты как бы отделены от человека и люди познают природу лишь в том, что показывают искусственные инструменты, и этим ограничивают то, что она могла бы производить.¹

В «Философии природы» Гегель на стороне Гёте против «варварства» Ньютона, складывающего свет из семи темнот. В свете философ видит простое начало.

По вопросу о цветах господствуют *два представления*: согласно одному из них, разделяемому нами, свет есть нечто простое. Другое воззрение, утверждающее сложность света, прямо противоположно всякому понятию и представляет собой грубейшую метафизику; оно потому так дурно,

1 Гёте, Максими и рефлексии 1266, 1267.

что дело идет здесь о самой сущности понимания. Свет есть та область, в которой следовало бы отказаться от рассмотрения единичного, множественного и подняться к абстракции тождественного как существующего (§ 320).

В этом парменидовском пейзаже если свет *есть*, он *то же*, и бессмысленно, минуя эту простоту тождества, говорить о его сложности; хотя бы такая и была, она заслуживала бы рассмотрения во вторую очередь. Гигиена ума требует и в деле света не уходить от порядка вещей.

Здесь именно тот пункт, где непременно нужно возвыситься до идеального, до мысли, но названное представление уничтожает всякую возможность мысли своим исключительно грубым подходом. Философия никогда не имеет дело с составным, а всегда лишь с понятием, с единством различных, являющихся имманентным, а не внешним, поверхностным единством.

Гегель у себя дома, когда называет ночь матерью и кормилицей всего, свет — чистой формой, которой для бытия нужна ночь. Истину надо искать в единстве дня и ночи. Через тьму свет субстанцируется и материализуется. Возникает «безмятежное царство цветов и их живое движение в *игре цветов*». В цвете есть мир или что-то от мира. Внешне эта перспектива света-тьмы та же, что у Гёте, с которым Гегель согласен и в деталях:

Решающим доказательством своей теории Ньютон считал опыт с *вертящимся колесом*, покрашенным во все цвета; так как при его быстром вращении нельзя отчетливо распознать ни одного цвета, а видишь только беловатое мерцание, то это якобы доказывает, что белый свет состоит из семи цветов. Но в этом опыте видишь только отвратительную серость, какой-то навозный цвет, ибо ввиду быстроты вращения глаз уже не различает цветов, как при головокружении и затуманенности сознания уже не представляешь себе предметов в их определенных очертаниях.

Свет создает цвет не сразу и не без столкновения с границей. Ньютонское разложение цвета

подобно утверждению, что звуки уже существуют в валторне как различные звучания независимо от того, как я вкладываю губы и как вставляю пальцы в переднее отверстие инструмента, словно эти деятельности заключаются не в изменении звучания, а лишь в повторном извлечении звука то из одного, то из другого рожа [...] Заслуга Гёте в том, что он низвел призму с ее пьедестала.

Как ни «скверна» однако ньютоновская теория света, ее дурнота должна быть показана не извне, а имманентное опровержение равносильно созданию альтернативной оптики, требующей работы веков. «Недостаточно читать и штудировать, тут необходимо „действовать“, то есть ставить опыты, а это затруднительно.»¹ Почему сумма цветов дает белый? почему, с другой стороны, нельзя уверенно говорить, что сумма цветов дает свет? Вернер Гейзенберг в статье о Гёте и Ньюtone не видит примирения между двумя подходами. «Учение Гёте о цвете физик принять не может.» Не умеет или суть дела не позволяет? И то и другое. Гейзенберг не сводит Гёте к символизму и психологии, принимает его как серьезного соперника физику; два научных подхода дают разные результаты. Неверно, «будто поэтическая сторона мира обязательно должна быть чужда естествоиспытателю». Книга Гёте о цвете поэтическое произведение, но

будет правильным сказать, что мир поэзии близок всем действительно великим естествоиспытателям. Особенно справедливо это по отношению к такому труду Гёте, как его учение о цвете, которое должно способствовать новому объяснению цветовых явлений; причем написан он со всей научной строгостью.

Суть расхождения не в том, что один поэт, а другой физик; просто «в общем здании науки» Гёте и Ньютон занимали разные этажи. Наука сейчас на этаже Ньютона, но ничто в ней, в современной физике, «не может помешать естествоиспытателю следовать также и по пути Гёте». Это «более непосредственное и цельное отношение к природе», сейчас надолго закрытое для нас, потому что «задача нашего времени состоит в том, чтобы путем экспериментов познать низшие области природы и благодаря технике заставить их служить человеку». Перейти на этаж Гёте наука не может под угрозой остановки техники. Длится вековое восхождение новоевропейской математической физики.

Альпинист должен покинуть плодородные населенные долины; всё реже и реже видит он вокруг себя признаки жизни, попадает в ослепительно яркую область льда и снега, где уже нет никакой жизни и дышать становится почти невозможно. Только пройдя эту область, он может достигнуть вершины. Но когда он взойдет на вершину, наступит момент, что вся расстилающаяся перед ним местность станет ему видна совершенно отчетливо и, пожалуй, тогда область жизни не будет слишком далекой от него. Мы

1 Гёте Эккерману 21.12.1831.

можем не сомневаться в том, что окончательная и полная ясность, являющаяся целью науки, была близка Гёте-поэту.¹

Наука карабкается ввысь по ледяной пустыне только потому, что есть теплая равнина, в которой начало и цель.

Борьба Гёте против физической теории цвета должна быть в настоящее время продолжена на более широком фронте. Гельмгольц² говорил о Гёте, что его учение о цвете должно рассматриваться как попытка спасти непосредственную истину чувственных восприятий от вторжений науки. В настоящее время эта задача настоятельнее, чем когда-либо, требует своего разрешения.³

Математика Гёте здесь не препятствие.

Гёте отказывается, собственно, не от самой математики, а скорее от математических расчетов. Если иметь в виду математику в ее чистом виде, как она представлена, скажем, в теории симметрии или в теории целых чисел, то легко заметить, что теория Гёте содержит немалую долю именно такой математики.⁴

Современная математическая физика, включая квантовую оптику, имеет немного точек, где она считывает данные непосредственно с природы. В основном она разворачивает свои структуры из себя. Пункты привязки к природе однако обязательны; их получают в экспериментах, нечистых (одного отчетливого нового эксперимента хватает на многолетнюю разнообразную работу теоретиков), где на языке научной теории природе удастся поставить *очень* конкретные вопросы, на которые она отвечает да или нет. Сама природа никогда не проявляет здесь инициативы и не навязывает от себя ясности, никогда не показывает себя проблематичной; от науки требуется предельная отчетливость, чтобы быть на уровне природы. Наука возникла, отталкиваясь от метафизики и ее строгости; все границы метафизики были пересмотрены, но абсолютность границ соблюдена. Науке не меньше чем Пармениду с его алмазными воротами известно, что в так называемых космических константах (гравитационная постоянная, длина Планка, скорость света) приро-

1 Вернер Гейзенберг, Учение Гёте и Ньютона о цвете и современная физика. — Философские проблемы атомной физики. М. 1953, с. 71.

2 Г. Гельмгольц, О естественнонаучных трудах Вольфганга Гёте. — Популярные научные статьи Г. Гельмгольца. СПб. 1866, с. 37–66.

3 Вернер Гейзенберг, Учение Гёте и Ньютона о цвете..., с. 65.

4 Там же с. 59.

да безусловно строга. Наука не говорит *свет* и *тьма*, ее лексика — *так* и *не так*, *факт* и *вранье*, соблюдая границу между ними однако не менее настойчиво чем метафизика. Жесткость научного дискурса не считается с природы, которая скорее учила бы плавным переходам, однако получает отклик в ней.

Современная наука наблюдает, как ведет себя природа, не «на природе», а в лаборатории, где сама диктует природе свои условия. Если природа не хочет войти в предлагаемый ей математический формализм, то и не надо; но ее не оставят в покое, пусть тогда войдет в другой. Если электрон ускользает в принципиальную неопределенность своего положения в каждый данный момент времени — вычислить, где он будет в следующий момент, не удастся, — то нельзя ли взять в строгий расчет эту неподрачетность? формализовать несводимость к формуле? Новый формализм был предложен и назван соотношением неопределенностей квантовой механики; он учитывал непредвидимые скачки с одного «энергетического уровня» на другой, которые под руками ученого внутри точных приборов делал электрон. Природе был поставлен вопрос на да-нет, она дала на него положительный ответ: переходы электрона подчиняются предложенному формализму.

В контексте этого физико-математического метода гётевская полярность света-тьмы выглядит нелепо, как если бы спин элементарных частиц стали делить на добрый и злой или приписали электрону свободу воли. В богословском, даже философском контексте разделение света-тьмы естественно, но в лаборатории науки нельзя ничего представить отвлеченнее такого аристократизма. Наука не спросит природу, царство ли она света или тьмы. Дело науки в другом.

В чем? Сказать это науке трудно. Она вся как на острие иглы сосредоточена на очередном, очень специальном вопросе, под который подведено ее многовековое здание. Оно строилось на изобретении вопросов, которые задавали природе, и искусстве получении от нее однозначных ответов. Чем более серьезна и строга наука, тем меньше она знает. Тут она продолжает идти рука об руку с настоящей философией мимо безбрежного околонуточного пригорода.

Сейчас насыщенный и неопределенный общефилософский фон, окружающий квантовую оптику (одну ли ее?), сбивает с толку не только студентов, но и ученых, а с другой стороны служит постоянным вызовом для теоретиков; современное изучение интерференции света имеет мотивацией «в большинстве случаев стремление продемонстриро-

вать существенную неклассичность некоторых оптических явлений», и еще — манит мечта Эйнштейна, «понять, то такое *фотон*?»¹ Вопрос, что такое вещь без массы с квантованными энергией и импульсом, строго говоря, «грязный» — вещь без массы вообще не вещь, — но он всё равно работает, подстегивая понять хотя бы, в каком смысле он поставлен неправильно. Позитивной оказывается сама необходимость

разграничить *квантовую физику*, для которой характерно непрерывное плодотворное взаимодействие между экспериментами и математическими моделями, и бесплодную, преимущественно вербальную, *квантовую метафизику*, не контролируруемую экспериментами.

Без вербального посредника для связи математического формализма с показаниями приборов не обойтись, хотя даже «фотон как элементарная частица света» представляется «скорее метафизической категорией» и операционального определения не имеет². В самом деле, квантовая теория не предполагает никакой априорной информации о поле, кроме его «вектора состояния», или «волновой функции», «амплитуды вероятности»; за этими терминами стоит, примитивно говоря, убеждение, что поле *не даст* установить свое состояние иначе как вероятностно с учетом неопределенности, и одновременно — *даст* установить свой вектор. Никакого субстрата под это априори не подкладывается; да сама априорность тут условна, пока экспериментально еще не продемонстрировано, что свет имеет квантовые свойства. Если ожидание, что поле будет иметь волновую функцию, не столько априори, сколько распоряжение природе, какое свое свойство она должна показать, а именно квантованность, то предположение, что фотон есть нечто объективно существующее в пространстве-времени, не только мало оправданно, но и неинтересно: если за объективность существования принимать отклонение стрелки прибора, то во-первых ученый просто глуп, если отклонения ему мало и он строит на нем метафизический силлогизм, а во-вторых отклонение стрелки он же сам и вызвал, изменив параметры лазера. Поле, в квантовой оптике называемое светом, известно науке только так, что с ним то-то и то-то получится сделать, не больше.

¹ Д. Н. Клышко, Квантовая оптика: квантовые, классические и метафизические аспекты. — Успехи физических наук, т. 164, № 11, ноябрь 1994, с. 1187.

² Там же с. 1189.

Q-теория не дает никаких оснований для стандартных школьных выражений типа «свет состоит из фотонов», в справедливости которых уверено подавляющее большинство физиков,

и всё равно некуда деться: наука говорит о фотоне, не умея ни доказать, что он есть, ни формализовать его.

Наблюдается резкий контраст между очень высокой точностью некоторых расчетов, дающих иногда совпадение с измеренными значениями в седьмом знаке (и лучше), и туманностью вербального описания явлений.¹

Чтобы отвязаться от картинки летящих по небу световых шариков, физики в огромном большинстве, почти все, считают фотоны приблизительно «волновыми пакетами». Такие летающие микрополя, почему бы и нет. Против этой картинки говорят опять же эксперименты: в каких-то условиях энергия поля определенная, а число волновых пакетов нет; скандал вызван тем, что в этих условиях разрешен как одноквантовый, так и двухквантовый переход с возбужденного уровня в основное состояние. И еще: если летит такой волновой пакет, то почему бы нельзя было его пронаблюдать; траекторию микрочастицы в камере Вильсона даже фотографируют. Но волновой пакет можно зарегистрировать только один раз, здесь «наиболее важная (и таинственная) часть его описания»². Ничто не мешает считать, что пакетные (корпускулярные) свойства фотона *создаются* его регистрацией; что они такое до попадания в прибор, говорить нельзя. Картинка волнового пакета по-своему работает; но ведь и совсем классическое представление о потоке света немногим хуже: тогда можно вообще обойтись даже без идеи квантования и говорить просто о «мгновенной интенсивности падающего на детектор света». Единственно корректным остается формализм Гейзенберга или Шредингера (как бы два диалекта, есть еще третий боровский), но из-за его чисто математической «неконтактности» метафизически-классические языки остаются нужны; они «играют вспомогательную, эвристическую, утешительную или мнемоническую роли»³.

Быше на одном из таких языков мы говорили о частичном увязании света в вещество. Квантовая оптика отмечает в ближайшей нам ча-

1 Там же с. 1191.

2 Там же с. 1192: «Понятие фотона тесно связано с процессом детектирования»; «фотоны возникают лишь на мгновение, в момент их регистрации»; «фотон возникает на какое-то мгновение из небытия, лишь в момент его поглощения детектором».

3 Там же с. 1191–1192.

сти вселенной «слабое взаимодействие поля и вещества»; в целом поле (свет) остается само по себе, так же вещество. «Это удачное свойство нашего мира проявляется также в *линейности* большинства оптических эффектов.» В других мирах или в тех областях нашего мира, где взаимодействие поля и вещества сильнее, фиксация фотона окажется трудной или невозможной; он или элементарно не доберется до детектора, или во взаимодействии с веществом детектора не будет отчетливо квантоваться. Нашим миром как-то подготовлено несмешивание поля и вещества — говоря на общем языке, различение света и темноты.

Для квантовой теории существует, строго говоря, только скачок и его величина, но скачок чего? откуда? куда? Здесь начинается запретное для науки поле. Что видит невооруженный глаз от очень далекой звезды, от которой прибор фиксирует меньше фотона в секунду? А глаз регистрирует едва каждый десятый фотон. Вспышка в глазу, мы будем верить, означает, что к нему прибыл и поглощен ретиной фотон? Или, поскольку сказать «фотон» значит уже заниматься чем-то вроде художественного творчества, изменилось состояние электромагнитного поля? Железный занавес между языком, на котором ставятся вопросы, и математическим формализмом остается непроницаемым; всякое описание того, что фиксируют приборы, окажется еще одним (или старым) вопросом.¹ — Квантовая теория по своему замыслу отделяет наглядное от ненаглядного, запрещая спрашивать, что там внутри квантового скачка. Квантовая физика, без которой теперь уже нельзя жить, возникла как то достижение, что природа была уловлена в своем ускользании. В порядке компенсации за ее неконтактность в природе были выявлены такие параметры, которые она изменить не может и от которых никуда не уйдет. Наукотехнике нашей цивилизации служат достаточной опорой эти константы, купленные у нее ценой согласия ученых на роль обитателей платоновской пещеры, которые обязались не поворачивать голову в сторону железного занавеса, за который скрылась природа.² Отказ квантовой физики от заглядывания туда, где фиксируются только статистические закономерности, есть, при всех расхождениях с «классической моделью», продолжение новоевропейского отказа, благодаря введению понятия предела, от вглядывания в предел.

1 Ср. Д. Н. Клышко, Квантовая оптика..., с. 1213.

2 Там же: «М-фотон, как и 60 лет назад, остается „вещью в себе“, и мы по-прежнему играем роль обитателей платоновской пещеры, наблюдающих лишь тени или проекции квантового мира».

Гёте угадал Ньютона в главном: его оптические эксперименты были действительно прежде всего проведением границ. Когда Гёте взглянул в первый раз через призму на белую стену и не увидел обещанной радуги, он вспышкой понял: «Чтобы произвести цветá, нужна граница» (daß eine Grenze notwendig sei, um Farben hervorzubringen). Тут одновременно было названо и то, что нужно для превращения света в цвет, и то, что делает Ньютон: внедряется в свет, предлагая его природе жесткую границу, в случае призмы — тщательно отшлифованное мастером-профессионалом стекло. Современные приборы сложнее призмы Ньютона, но так же рассекают природу, добиваясь ее четкого ответа.

Гёте, в его воспоминаниях, «тут же словно по инстинкту громко сказал сам себе» (und ich sprach wie durch einen Instinkt sogleich vor mich laut aus): ньютоновское учение ложно. Ошибку он увидел не в эксперименте, который повторил с тем же результатом, а в одновременной с постановкой границы свету принципиальной *отмене* границы между светом и тьмой (свет как сумма «темных светов»). Внимание Ньютона к границе, только другой, сделало его таким близким врагом Гёте, интимным предателем, врагом в войне родных. Предает свой, посвященный. Как замечает Владимир Иванович Вернадский, у Гёте к Ньютону была «почти личная нелюбовь»¹. Вернадский цитирует замечание одного из записывавших разговоры с Гёте² о тоне его инвектив против Ньютона:

В то время как его слова неистощимо выбрасывались с силой выражения, которую я не могу передать, его глаза сверкали (funkelten) необычайным огнем, радость победы светилась в них, а на его губах играла ироническая усмешка и его прекрасная голова была еще более импозантна чем всегда.

Гёте празднует победу от уверенности, что человек рано или поздно распрямится и вернется к благородному пользованию своим существом. Ему возмутительно и смешно, когда разлитому в мире свету навязывают тесноту, «прищипывают», «ущемляют» или, другое значение слова, «исхлестывают» его, заставляя пробиваться через узкую щелку в металле. Сгибание спины, суeta ума, искажение божественного инструмента границы, которую из мира переносят в вещество.

Freunde, flieht die dunkle Kammer,
Wo man euch das Licht verzwickt

¹ В. И. Вернадский, Мысли и замечания о Гёте как натуралисте. — В. И. Вернадский, Избранные труды по истории науки. М.: Наука 1981, с. 283.

² F. Soret, Zehn Jahre bei Goethe. Leipzig 1929, запись 1828 года.

Und im kümmerlichsten Jammer
Sich verschrobnen Bildern bückt.¹

В разрозненных заметках о Гёте Вернадский ставит его рядом с Леонардо да Винчи. Оставаясь человеком науки, т. е. в конечном счете партийным, Вернадский восхищается Гёте издалека. Его похвала «в работах, включенных Гёте в его „К учению о свете“, мы теперь можем искать корни коренного перелома науки нашего времени — 20 века»² слабо подкреплена: главной новостью века для Вернадского была радиоактивность, а Гёте обратил внимание на свечение болонского шпата при определенном освещении, т. е. явление того же порядка, что открытые в 1896 г. лучи Беккереля³. Вернадский заметил отношение Гёте к микроскопу и телескопу, но не понял сути дела: «Он смотрел в телескоп и наблюдал в микроскоп, но это являлось противоречием для его охвата природы как целого через *глаз непосредственно* [...] не хотел ставить между ней и глазом сложных машин», как будто главное в восприятии глазом, а не в принятии бесконечности мира, внутри которой то, что вокруг нас, перестает быть частью, зажатой между микро- и макромиром, а оказывается одновременно беспредельно сильным микроскопом, где бесконечно малое увеличено до зримости, и неограниченным телескопом, где любое далекое приближено вплотную к нам, вдвинуто в нас, в наше зрение, созданное светом⁴.

То, что говорится о Гёте и Ньюtone без понимания их родства, далеко не идет. По Тимирязеву, «Гёте не хотел или не мог понять, что его прафеномен — цветá мутной среды — только частный случай, прямо вытекающий из учения Ньютона»⁵. Гётевскую интуицию увязания света в преграде Тимирязев не ценит.

1 «Друзья, бегите темной камеры, где вам прищемливают свет и в тоскливом унынии гнут спину перед перекошенными образами.» (Кроткие ксении)

2 В. И. Вернадский, Мысли и замечания о Гёте..., с. 245.

3 Антуан Анри Беккерель. Его отец Александр Эдмон занимался не радиоактивностью, а фосфоресценцией, дед Антуан Сезар Беккерель, младший современник Гёте, — флуоресценцией и термоэлектричеством. Фосфоресценция, как и флуоресценция, это возврат света веществом, но первая длится от микросекунд до нескольких дней, а вторая миллионные и миллиардные доли секунды.

4 Ср. афоризм Гёте из «Годов странствий Вильгельма Мейстера», окончание кн. 2, «Соображения в разуме странника»: «Микроскопы и подозрные трубы, собственно, спутывают чистоту человеческого смысла».

5 К. А. Тимирязев, Гёте — естествоиспытатель. — К. А. Тимирязев, Сочинения, т. 8. М. 1939, с. 383.

Она представляется однако тем более интересной, что инфракрасное и ультрафиолетовое излучение увязает в веществе почти полностью, так что крайний спектр его называют вакуумным, поскольку он распространяется только в пустоте. Цвет в нашей части Вселенной дает уникальную возможность наблюдать постепенное проникновение (превращение?) света в вещество. Во «Введении» к «Дидактической части» книг о цвете Гёте формулирует:

Глаз должен благодарить за свое существование (Dasein) свет. Из безразличных животных вспомогательных органов свет извлекает орган, который становится ему равен (seinesgleichen), и таким образом на свету глаз образуется для глаза, чтобы внутренний свет выступал навстречу внешнему.

Свет вызывает, провоцирует в веществе орган для своего восприятия. Не в первую ли очередь именно этот орган? Биология и этология не противоречат этой догадке. Есть разные уровни вхождения света в вещество. Фотосинтез в поглощающих свет пигментах (хлорофилле, каротиноидах) создает органические соединения из химических CO_2 и H_2O . Похоже, что создаваемые фотосинтезом ежегодно 100 миллиардов тонн органического вещества складываются только из воды и углекислого газа, но именно энергия солнечных лучей, не переходящая в массу, ведет к уникальному увеличению количества энергии в реакции их соединения; поэтому не абсурдно говорить, что под влиянием света возрастает качество вещества. Это возвращает к Гёте.

Тут мы вспоминаем о старой ионической школе, которая с такой многозначительностью снова и снова повторяла: только подобным познается подобное; так же как и слова одного старого мистика¹, которые нам хотелось бы в немецких стихах выразить так:

Wär nicht das Auge sonnenhaft,
Wie könnten wir das Licht erblicken?
Lebt nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
Wie könnt uns Göttliches entzücken?²

Непосредственное родство света и глаза никто не будет отрицать, но оба их одновременно мыслить как одно и то же более трудно. Вместе с тем

1 Плотин V 8, 1.

2 Перевод В. А. Жуковского: «Будь несолнечен наш глаз — Кто бы солнцем любовался? Не живи дух Божий в нас — Кто б божественным пленялся?»

легче схватить, если мы утверждаем, что в глазе обитает покоящийся свет, который при малейшем побуждении изнутри или снаружи возбуждается.¹

2 ЭКСКУРС: ПЛАТОН, АРИСТОТЕЛЬ

В платоновском «Меноне» рядом с темами доксы, автомата и доксы как автомата развернута и тема цвета² в связи со «схемой» и границей. Вопрос диалога добродетель. От Менона требуется не перечислить добродетели, а назвать то одно, то делает добродетельного таким. Переход отсюда к «схемам» (очертаниям) на первый взгляд кажется произвольным. Круглое лишь одна из схем, что же такое сама схема? Произвольным кажется и следующий затем вопрос о цвете: «Белое — это цвет вообще или один из цветов» (74c). Сократ добивается, чтобы его спросили, что такое схемы. Они единственное из сущего, что всегда сопутствует цвету, следует за цветом (75c). Неожиданная связь схемы с цветом кажется одному старому комментатору — и только ли ему — игрой, пародией на софиста³. Но после перебора мнений (схема связана с телом, 75e–76a; цвет по Эмпедоклу есть некое истечение, 76d) Сократ возвращается к «луч-

1 Гёте, К учению о цвете. Дидактическая часть. Введение.

2 В недавней обзорной статье Михаила Маяцкого о теме света и цвета отмечается «полная неизученность ее в современной русской исследовательской литературе, неизученность, приобретающая характер симптоматического умолчания... оптика, как и философия, есть только одна, западная». В отличие например от Декарта, обосновывающего очевидностью всякое знание, русская философия пренебрегает ею. «В России никогда не было никакой оптики, сегодня ее нет и на Западе; этот род знания или, быть может, воображения, который сегодня не помещается ни в одну классификацию наук, но и в философии не находит себе места, сыграл вместе со своим близнецом, астрономией, ключевую роль в становлении современной рациональности и умер с эпохой, которой он был нужен. К тому времени, когда Декартом была сформулирована эвидентно-миметическая парадигма европейского мышления, нужда в ее строительных лесах, в оптике, отпала. Некогда завораживавшая философов, она затем сциентизировалась, расщепилась и перешла в ведомство разных дисциплин: геометрии, квантовой физики, своей не более чем тезки — оптики как части физики, экспериментальной психологии, офтальмологии. Читатель, решивший сегодня поинтересоваться современным положением дел в том роде размышлений, что в древности обнимал устройство и лечение глаза, физику и, прежде всего, метафизику света, стихиеведение огня и воздуха, учение об оптических иллюзиях, мифологию цвета, учение о страстях, метафизику тождественного и иного и многое другое, вынужден будет уточнить, что же именно он хочет знать.»

3 Ceterum apparet hanc definitionem ad ludificandum sophistarum alumnum esse compositam.

шему» пониманию на 75b, связывающему цвет со схемой. Схема здесь — не форма (см. ниже). Гёте не противоречит Платону, когда говорит во «Введении» к «Дидактической части» учения о цвете, что

хотя это может звучать несколько странно, глаз не видит никаких форм, поскольку светлое, темное и цвета в совокупности только и составляют то, что отличает для глаза предмет от предмета, части предмета друг от друга.

Допуская прочтение схемы как очертания (в основном по этому пути идут переводчики), Платон понимает схему гораздо глубже, а именно как *математику (геометрию) цвета и света*.

В «Тимее» определение цвета близко к эмпедокловскому в «Меноне» («соразмеренное истечение», ср. у Гёте цвет как умерение, *Mäßigung*, света) и дело смешения цветов отдано Богу. До божественности возвышен цвет в «Филебе» (51a слл.). Истинные удовольствия вызваны красивыми красками, очертаниями, запахами, звуками. В примечании Лосева к этому месту цвета в понимании античной классики с одной стороны телесны, с другой — некоего рода абстрактная всеобщность. Порядок перечисления чистых красок у Платона может быть разный:

Я называю это [схемы] прекрасным не по отношению к чему-либо, что можно сказать о других вещах, но вечно прекрасным самим по себе, по своей природе и возбуждающим некие особые, свойственные только ему удовольствия, не имеющие ничего общего с удовольствием от щекотания. Есть и цвета, носящие тот же самый характер.

Дальше к тому же ряду относятся нежные и ясные звуки, цельная и чистая мелодия: они прекрасны не относительно, но сами по себе; они божественные, по крайней мере в большей мере чем запахи. Рядом и «удовольствия, получаемые от занятий науками» (Филеб 51c–52a). Белизна названа родом, причем чистым (52a). Стало быть, цвета не индивиды в общем роде? каждый цвет особый род? что такое «небольшая чистая белая вещь»? Удовольствие от нее «чисто от страдания» (53b–c), потому что опыт цвета изъят из смены доксы и доказывает сам себя.

У Аристотеля (О душе III 6) возможность, что белое будет увидено не как белое, вводится через «даже если» (καὶ γὰρ ἂν, 430b 2) и ограничивается случаем, когда с белым «сложено» небелое; не уточнено, имеется ли в виду подмешанная краска или идет спор об именах. Я понимаю τὸ ὀρᾶν † τοῦ ἰδίου (430b 29) через τὸ γὰρ ὁρατόν ἐστὶ χρῶμα, τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ ἐπὶ τοῦ καὶ αὐτὸ ὁρατοῦ (418a 29–30), относя «собственное» и «само по

себе» к непосредственной истине цвета. Для зрения, которое всегда есть собственно зрение цвета, надо чтобы сначала прозрачное «окрасилось» в свет (цвет особого рода). Свет как энергия, энтелехия имеет свойства полноты и распространяется «вдруг». «Присутствие», парусия огня или эфира переводит прозрачное в энтелехию сразу, а не постепенно. Другое дело цвет, он создает в освещенной прозрачной среде «движение», которое надо понимать по аналогии со звуком как волны. Свет «присутствует», потому что заполняет прозрачное пространство мгновенно, цвет «движется». Под светом Аристотель понимает не совсем то, что мы теперь; «движение» у него может значить изменение (см. подробнее ниже). Современная физика обходит тему вневременного «вдруг», включение его в ряд природных явлений отменило бы физическую науку; разве что в парадоксе Эйнштейна-Подольского допускается мгновенность информации или по крайней мере независимость скорости ее распространения от расстояния. Философия имеет свои причины независимо от физической теории и эксперимента допускать «вдруг» (платоновское ἔξαίφνης).

Наше *некрасиво поступаешь* предполагает поступок окрашенным. В древнегреческом χρῶμα ἦθος, букв. «окраска этоса», значит особенности нрава. Хайдеггер, не тематизируя цвет, походя говорит об окрашенности настроения, расположения; безнастроенная «теоретическая» установка единообразит и гасит (abblendet) мир. Витгенштейн вслед за Гёте говорит о сером цвете образованности. Аристотель заговаривает о цвете в начале «Органона» (Категории гл. 8, Качество) после категории *в отношении к чему* перед категорией *действия-претерпевания*. Примеры на качество все, казалось бы, из психологии и медицины, но мы постепенно учимся читать античных авторов. Белизна, чернота, всякий другой цвет — это παθητικὴ ποιότης, качество, связанное с состоянием; «претерпеваемое качество» в переводе 1978 г. «Многие перемены в цвете происходят из-за воздействий, испытываемых (претерпеваемых) [душой].» Редакторская вставка в квадратных скобках ошибочна. Когда Аристотель поясняет, «кто испытал стыд — покраснел, кто испытал страх — побледнел, и так в каждом подобном случае», он может думать, например, и об изменении цвета нагреваемого металла; для него (как, мы видели, для Гёте) непосредственно наблюдаемое безразмерно и проходит через все масштабные и онтологические уровни; покраснение лица берется как ближайший случай и в следующей фразе понимается расширительно:

То же состояние тела, которое в первом случае возникло при испытании стыда, может возникнуть и в зависимости от естественного строения тела, а потому естественным образом возникает и такой же цвет.

Различение между физиологией и психологией, душой и веществом, микро- и макромиром исходно не вводится. Что цветá суть испытываемые состояния (τὰ χρώματα παθήματα), повторяется в «Истории животных» (I 1, 486b 6) и в «О чувстве и чувствуемом» (6, 445b 4).

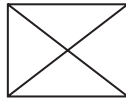
Как уже замечено, видимое есть прежде всего цвет, а также нечто такое, что можно описать словами, но не имеет особого названия (далее в гл. 7 кн. II «О душе» проясняется, что речь идет о фосфоресценции и флуоресценции). Виновен (αἰτία) в том, что он виден, сам же цвет; он такой сам по себе, в себе несет вину. Аристотель работает с *цветом, светом, прозрачным*, их действиями и страданиями. *Прозрачное* входит в понятие *видеть*; видеть значит иметь дело с прозрачным, соотносить, связывать то, что прозрачным разделено. Прозрачное однако должно сначала стать действительно прозрачным; так переходим к первому определению света: то, что из возможности выводит прозрачное в энергию. Прозрачное необходимо для зрения как то, через что подается к глазу цвет. Как звуковая волна дрожит в воздухе от колебаний воздуха, так прозрачное дрожит от цвета, который приводит прозрачное в движение и через него передает себя глазу. Свет раньше чем цвет; он приводит прозрачное в состояние полноты (энергии, энтелехии), достигнув которого, прозрачное готово принять колебания цвета. Энергия, сообщаемая светом, идет от высшего огня, или от верхнего тела, эфира. Когда мы видим разноцветное, прозрачное полно движениями от всякого цвета.

Цветное стекло прозрачно; его прозрачность становится цветной, когда принимает движение (κίνησις, собственно *изменение*) от цвета. Само по себе прозрачное просто, в том числе и когда достигло энергии (полноты), будучи пропитано светом. Центральное важное ключевое определение — «свет есть как бы цвет прозрачного», τὸ δὲ φῶς οἷον χρώμα ἐστὶ τοῦ διαφανοῦς (418b 11). Прозрачное высвечивается светом, как заполняется особым, недвижимым (покой энергии) и невидимым цветом. Цвет, каким мы его знаем, пишется уже по фону невидимого светового цвета.

Здесь, как видим, определения цвета нет, оно дано в небольшом трактате «О чувстве и чувствуемом»: цвет есть граница прозрачного, получившего предел в теле. Основная граница проходит между белым и чер-

ным. Цвет возникает от помех чистому свету; так солнце сквозь дым или вечернюю дымку кажется красным. Мы читали об этом у Гёте, переводчика Аристотеля-Теофраста.

Белое и черное у Платона и Аристотеля входят в число цветов по определению, поскольку они видимы, а «видимое есть цвет»¹. Поскольку в цвете нельзя ошибиться, «видение того, что свойственно воспринимать зрению, всегда истинно»; подразумевается, что прежде всего и исключительно зрение воспринимает только цвет. Цвет не подвержен текучести доксы, по Платону; то же (в терминах *собственного и самого по себе*, см. выше; впрочем, теми же терминами пользуется иногда и Платон) по Аристотелю². Всё, что мы приняли на веру (докса), убегает как живой автомат Дедала; в автомате Кёлера мы видим то черный крест, то белый; на портрете Леонардо то улыбку, то нет; увидев красное, мы, сколько ни присматриваясь, не увидим синее. Примеры можно продолжить; речь идет об очевидной вещи. Сомнение будет только в нашей лексике; не лучше ли назвать вот это красное перед нами красновато-оранжевым; и мы пустимся в перебор названий. Наоборот, когда в фигуре мы видим то конверт, то вид сверху на пирамиду, сомнений в точно-



сти названия того, что мы увидели, не появляется: фигура точно попала в одну из луз нашей языковой игры, хотя легко может вдруг выпасть оттуда.

У Платона, мы читали, цветá «дело истинное, прекрасное» «не по отношению к чему-либо другому, но сами по себе». По Аристотелю (О душе III 6), что там — белое, я ошибиться не могу, но суждение, что оно — человек, может оказаться истинным и ложным. Английский перевод этого конспективного места, как часто у Аристотеля бывает при завершении тем: «The seeing of something white is true». В конце главы Аристо-

1 Аристотель, О душе II 7, начало.

2 Аспект цвета не меняется, по Витгенштейну. Ошибка М. Маяцкого (одного ли его?) в цитированной выше статье об оптике, будто «отношение к визуальности здесь [у Аристотеля] принципиально иное чем у Платона, у которого само видимое как таковое объявляется ложным».

тель вдруг говорит: «То же с восприятием нематериальных сущностей», т. е. того же статуса, что цвет, то, что вне вещества: раз уж оно нас задело, смены его аспекта не будет; мы им недвусмысленно окрашены. Тот же переход в платоновском «Филебе», где после чистоты, истины и божественности чистых схем, цветов и звуков идут «удовольствия, получаемые от занятий науками», эпистемами. Это слово слышали в античности в смысле того, на что можно положиться.

Задавая задачу на будущее, Платон определяет цвет как «истечение [чистых геометрических] схем, соразмерное зрению и ощущаемое» (Менон 75b). По-видимому, цветом (особого невидимого рода) здесь, как развернуто у Аристотеля¹, назван и свет. Мало обращают внимание на связь этого места «Менона» с «Тимеем». Там говорится о черном, белом и их сочетаниях. «Когда белое, сойдясь с блестящим, ложится на густо-черную основу, тогда возникает синий цвет.» Благодаря указанию, пусть непроясненному, на *белый свет*, это интереснее чем у Гёте, следующего за Аристотелем-Феофрастом.

Ясно, к каким смешениям можно свести все остальные цвета, не нарушая при этом правдоподобия. Но тот, кто попытался бы строго проверить всё это на деле, доказал бы, что не понимает различия между человеческой и божественной природой: ведь если у Бога достанет и знания, и мощи, чтобы смешать множество в единство и снова разрешить единство в множество, то нет и никогда не будет такого человека, которому обе эти задачи оказались бы по силам.²

Для Ньютона это место не могло не быть хрестоматийным. Выводя свет из смеси цветов, он знал, за какую задачу взялся. Будущее исследование покажет, в какой мере объяснение света как смешения цветов задумывалось Ньютоном как провокация.

Цвета, прежде всего черное и белое, обеспечивали античности строгость космоса. Неверно, будто таким обеспечением служило наивное представление о постоянстве звездного неба. Эталонное значение ему придавалось только в эпоху крушения средневековой и становления новоевропейской астрономии. Этой преувеличенной оценке звездного неба следует Кант, неточно цитирующий Аристотеля в известном месте Заключения к «Критике чистого разума»:

1 Аристотель во многом лишь эксплицирует существовавшее до него знание.

2 Платон, Тимей 68d.

Две вещи наполняют душу всегда новым и возрастающим изумлением и благоговением, чем чаще и настойчивее занимается ими мысль: звездное небо надо мной и нравственный закон во мне.

Аристотель называет справедливость прежде всего соблюдением закона не потому что он хорош или плох, а потому что закон.

И потому часто справедливость (δικαιοσύνη) представляется сильнейшей из добродетелей (ἀρετῶν), и ни вечерняя, ни рассветная звезда [чтение Н. В. Брагинской] так не изумляют.¹

Аристотель цитирует тут из «Меланиппы» Еврипида². Это место Аристотеля или ставший хрестоматийным стих Еврипида дважды выписывает Плотин:

Прекрасен лик (καλὸν τὸ πρόσωπον) справедливости и целомудрия, и ни ἔσπερος, ни ἑφός не так прекрасны.³

Справедливость же не помысел справедливости, но как бы расположение ума, скорее же его энергия, лик которой поистине прекрасен и ни ἔσπερος, ни ἑφός не так прекрасны.⁴

Вторая цитата входит в трактат о числе. Речь идет о разнице между практикой (число тоже πράγμα, хотя и невещественное) и высшим делом, мышлением.

Еврипид, Аристотель, Плотин таким образом поправляют Канта, чья астрономия была ньютоновской и проецировала на движение неба абсолютную правильность. На начало ньютоновской космофизики «решающее воздействие оказало то, что при изучении движения Земли вокруг Солнца взаимодействиями между Землей, Луной и другими планетами в первом приближении можно пренебречь. В противном случае движение Земли вокруг Солнца нельзя было бы описать как простую систему двух тел (Земля-Солнце), а небеса не являли бы для нас прекрасное зрелище регулярных периодических движений. Для учета сложности движения планет скорее всего был бы предложен вероятностный подход. Возможно также, что понятие *неустойчивых* динамических систем, играющее ныне столь заметную роль, было бы сформулировано гораздо раньше.» Таков типичный отчет о различии между ньютоновской и

1 Аристотель, Никомахова этика V 3, 1129b 27–29.

2 Tragicorum graecorum fragmenta, ed. Aug. Nauck, 2. Aufl. Leipzig 1889, frg. 486.

3 Плотин I 6, 4, 10–12.

4 Плотин VI 6, 6, 39–40.

современной космологией. Античная классика, мы видим, не идеализировала движение небес. Кроме того, не обязательно понимать *ἑσπερος* и *ἑῶς* в смысле звезды (Венеры). Возможно, имеются в виду рассветные и закатные цвета, конкретнее, ближайшие к полюсам света и тьмы. Выражение *ἑσπερος θεός* значило *бог тьмы*. Возможный подтекст: добродетели доступна незримая красота, которая выше красоты цвета. Невидимость света при этом подразумевается.

3 БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ

Мы проследили далеко не все шаги античной мысли о цвете; не разобрали четверицу цвета (белый, черный, красный, желтый) у Эмпедокла¹, кстати позволяющего догадываться, что античность, рассматривая черный как именно цвет, брала за точку отсчета черные глаза. В контексте философской классики становится яснее, почему цвет по Витгенштейну² есть введение к философии. Среди его заметок о цветовой слепоте и смеси красок вставлена запись, лексически не относящаяся к цвету.

Здесь я хотел бы сделать одно общее замечание о природе философских проблем. Философская неясность мучительна. Она ощущается как постыдная. Чувствуешь: ты не разбираешься в том, в чем *должен бы* разбираться. И притом это всё же *не так*. Мы могли бы очень хорошо жить без этих различений, даже и без того чтобы здесь разбираться.³

Не сказано: можно хорошо жить без философии. Но не обязательно провести все разграничения, во всём разобраться и быть знатоком. Важнее признать, как Платон в «Тимее», что рассчитывать на такое значит забыть что ты смертный, вещь никогда не полезная. Кто-то, услышав, что идет речь о бытии и подобном, подумает, что философская проблема важнее чем ребус, кроссворд или паззл. Но человек, решивший, например, проблему власти, зря вообразит, что это лучше чем если бы он решил кроссворд. Гераклит играл с детьми в храме Артемиды вместо того чтобы решать мировые вопросы. Почему тогда философия, а не кроссворд царица наук? Потому что при правильном обращении с ней большее число подданных отпустит на свободу.

1 Витгенштейн насчитывает четыре основных, или чистых, цвета, с черным и белым шесть (Заметки о цвете III 134 и др.).

2 См. выше с. 461 мнение Витгенштейна о причине занятий Гёте цветом.

3 Заметки о цвете III 33.

Прозрачное и белое — основные темы Витгенштейна. Спор Гёте-Ньютона о белом проявляется им так: допустим, эксперименты показали слияние дополнительных цветов — сине-зеленого и красного, оранжевого и синего, зелено-желтого и фиолетового — в белый. Но почему лиловое мы можем назвать бело-красно-синим, коричневое черно-красно-желтым (Эмпедокл или Платон в «Тимее» называли коричневое желтым в смешении с серым), а белое желто-красно-зелено-голубым или как-нибудь еще никогда? Потому что белое не промежуточный цвет (Zwischenfarbe) среди других. Если белое смесь, то в каком-то другом смысле чем лиловое и коричневое.¹ Эта отличительная особенность белого интереснее, чем общая у него с другими цветами возможность получить его путем смешения.

Попытаемся хотя бы ходить вокруг особенности белого, говорит Витгенштейн. Подмешаем к цвету — любому — желтое. Произойдет разное, но самой цветности, окрашенности не убудет. Подмешаем белое — ее станет меньше, цвет куда-то денется. Это связано с непрозрачностью белого, оно замазывает. Красное, желтое бывают прозрачными и не мутными; белое замутняет. Мутное — это маскирующее форму? потому что смазывает свет и тень? а с другой стороны, разве белое не то, чем снимается темнота?²

Белое выпадает и из пары с черным. Белый экран через красное стекло кажется красным, черный — непохоже что меняет цвет. Говорят о «глубокой черноте», но не «глубокой белизне»³.

В философии надо всегда спрашивать: «Как я должен взглянуть на эту проблему, чтобы она стала разрешимой?»

Потому что здесь (когда я к примеру рассматриваю цвета) сперва налицо только неспособность навести какой-либо порядок в понятиях.

Мы стоим тут как бык перед свежеекрашенными воротами.⁴

Что такое холодные, теплые цвета? Нет порядка, кроме условного, в счете цветов. Говорят о четырех основных цветах, а художнику такое может показаться бессмысленным или смешным, разве что он считает число покупаемых тюбиков краски.⁵ И опять же белое и черное: не все

1 См. ниже с. 496, 499.

2 Заметки о цвете II 2–6.

3 Там же III 156.

4 Там же II 11–12.

5 Там же III 28. Далее параграфы этого III раздела «Заметок о цветах» даны в скобках внутри нашего текста.

ставят их в ряд с другими цветами, но о трехцветном флаге никому не придет на ум сказать, что он двухцветный, поскольку включает белую или черную полосу. О ковре с шахматным рисунком никто не скажет, что он состоит из квадратов двоякого рода, одни цветные, другие нет (37). И разве трудно представить, что цвет неба для какого-то племени не цвет? У них тогда будут *собственно* цвета, в том числе белый, и бесцветное небо.

Интимность цвета. Мы ничего не можем сказать о нем иначе как зная его сами. «Единственный общепринятый критерий того, что такое тот или иной цвет, — это что он один из наших цветов» (42). Заметим от себя, что нашим цветом может оказаться один серый поблекший, а не тот, каким некоторые художники рисуют серым по серому. В какой-то мере такое уже случилось. На выставке живописи с отделом детских рисунков обращает на себя внимание в целом отчетливая разница между разноцветной яркостью детского рисунка и общим более стертым тоном взрослых. В их племени произошло отчасти схлопывание всех цветов в один.

Оксфордские записи начинаются 28.3.1950 с общего замечания, что в философии надо во всяком случае научиться не только *что* говорить о предмете, но и *как* о нем говорить. «Ты должен снова и снова учиться сначала методу, каким к нему подойти» (43). Чистое, смесь, черное и белое, прозрачное остаются в центре внимания. Различают темные и светлые цвета, но темный не то же, что с примесью черного, и светлый — не с примесью белого. Насыщенное желтое темнее, но не чернее светложелтого. Говорят однако о «черном» стекле, хотя оно прозрачное. По-видимому, черных цвета два, один располагается на поверхности и замутняет, другой, меньше бросающийся в глаза, способен к глубине и сохраняет какую-то прозрачность (70, 104–105). Сияющее черное и матовое черное могли бы иметь разные названия (152).

Как живописи удастся *нарисовать* мутное и прозрачное? Рунге говорит в переписке с Гёте, что есть прозрачные и непрозрачные краски, однако прозрачное зеленое стекло будет выписано на картине той же краской что и зеленое платье (76). Почему художники не рисуют то, что видит перед собой простое зрение? Существует золотая краска, но Рембрандт изображает золотой шлем не ею (79). Грязь на стене пишется не грязной краской (88). Заметим от себя: какой краской будет написан серый мир? То будет другая краска, чем серое серого мира, — не проглотившая в себе, а *оставившая* остальные так, что они ожидаются. Или

по-другому: в сером мире краски стерлись; в картине серого мира их не хватает. Возможность передать цвет через серое как промежуточное двух полюсов, черного и белого (83), и трудности с передачей цвета цветом приводят к уже упоминавшемуся отказу художественной фотографии от цветной пленки.

Я видел на фотографии мальчика с гладкими причесанными назад льняными волосами в грязной светлой куртке и темноволосого мужчину перед какой-то машиной, состоявшей частично из окрашенных в черное литых частей, частью из обработанных гладких валов, шестерен, и рядом решетку из светлой оцинкованной проволоки. У обработанной стали был стальной цвет, волосы подростка были льняные, литые части черные, решетка цвета цинка, хотя всё было изображено только через более светлый и более темный тон фотографической бумаги (118).

Надо ли относить этот эффект к нейтральности серого? к физиологии? или всё же к логике (80)? «Что людям так кажется, служит им критерием того, что так оно *есть*»; но «из того, что мне — или всем — так кажется, не следует, что так оно *есть* [...] Логика цветовых понятий именно намного сложнее чем могло бы казаться» (96–106). Могли бы эти понятия быть совсем другими? Да; тут никакого сомнения нет. Могут ли они однажды установиться окончательно так, что уже никогда не придется думать об их замене? Нет; и значит такие, какие есть, плавающие, наши понятия о цвете единственно возможны и необходимы (ср. 124). Что бы ни доказал Ньютон, он не может отрицать, что белое, если оно смесь, то не в том смысле, как лиловое — смесь красновато-беловато-голубого; причем именно как ученый он никогда не сможет сказать, что этот особый смысл белого смещения его не касается (126). Теория Ньютона и физика вообще не может решить проблемы, задевшие Гёте. Правда, не решил их и сам Гёте.

Начало записи 12.4.1950: цвета — не вещи, которые можно было бы исследовать, отыскивая, скажем, новые цвета как ищут неизвестные элементарные частицы; невозможно вообразить, что есть неведомые нам цвета, или представить себе информантов, которые сообщат, что видели незнакомые нам цвета. Увидеть такие же точно цвета будет всё равно что пытаться иметь свою боль в теле другого человека. Сочувствовать его боли, мы читали, вполне возможно, но то будет всё же именно моя боль, не чужая. Цвет в чужом зрении я могу знать лишь поскольку тот же цвет в моих глазах тоже есть; воображать у других людей иную гам-

му цветов чем моя всё равно что говорить об инфракрасном *свете* (127), т. е. заглядывать за край нашей формы жизни.

Мы привыкли с особенным вниманием относиться к совершенно нереалистическим предложениям Витгенштейна. Представим себе стекло, через которое черное видится черным, белое белым, а остальные цвета оттенками серого. Таких стекол не бывает; его следовало бы называть «прозрачным белым телом». В нем можно было бы видеть и белое, которое через него выглядело бы отсветом или светлым бликом (136–140).¹ Иногда эффект экрана как прозрачного стекла, за которым видно изображаемое, только лишенное всех цветов кроме черного, серого и белого, возникает в кино, разве что не появляется искушения назвать это мнимое стекло белым (184). С другой стороны, свет иногда называют белым. Цветом прозрачной среды без обмана в любом случае будет только тот, в какой окрашивается находящийся за нею белый источник света (*eine weiße Lichtquelle*). Незатуманенным такой источник можно увидеть только через совершенно бесцветную среду (183), и если окрашенная среда придает чему бы то ни было свой цвет, то сначала *белому* (185). Оно как бы впитывает в себя цвета, и если бы все краски были беловатыми, изображение постепенно теряло бы глубину и яркость (195); так в тумане. Возможно, Рунге называл белый телесным из-за этого поглощения им других цветов (202). Не в том ли решающая разница между белым и другими цветами, что все они окрашивают собою белое, а белое обнаруживает или затемняет, но никогда не изменяет их (197, 199)? и красное через красное стекло невидимо, а белое через воображаемое витгенштейновское белое прозрачное будет выглядеть таким же, как через неокрашенное (200)? И еще: о «чистом белом» Лихтенберг говорит, что, хотя его и мало кому удавалось видеть, оно *самое светлое* из всех цветов. Никому не пришло бы в голову сказать так о «чистом желтом» (201).

О белом говорят часто как о нецветном. Сближают ли его при этом нечаянно со светом? То, что мы вообще по-разному говорим об этих вещах, относится к психологии; то, что мы ощущаем и ищем в цвете четких различений, — к логике (210–211). В цвете (его «переливы»), казалось бы, жестких границ нет. Но что если, наоборот, только с цветом возникает вообще граница?

1 Немыслимое прозрачное белое тело здесь заставляет вспомнить об аристотелевском понимании света как особого невидимого цвета (выше с. 488 сл.).

Скажем от себя, что нам снова и снова придется возвращаться к платоновскому объединению цвета и схемы. Гётевское «Граница!» как первая мысль о цвете относится сюда же. Логический позитивизм, на чьем языке учился говорить Витгенштейн, заметил невозможность опереться ни на что так, как на строгость науки. Нет восхитительного неба. Под нож вместе с небом попала метафизика. Витгенштейн не уступит в жесткости научному критицизму. Но цвет, как он вписался в новый пейзаж? Дневниковая запись 19.9.1914¹ говорит о невозможности описать цвет. Стулом может служить книга, ящик, пень, кровать; ничего подобного таким заменам в цвете нет. «Это лист бумаги. — Это коричневое.» Во втором случае проблема удостоверения принадлежит целиком только принятой в наших языковых играх цветовой лексике; цвет проверять не надо, он кажет сам себя. В первом встает проблема выяснения предмета; возможно, это не бумага, а пергамент. Цвет принадлежит логическому миру или пространству вещей? или он раньше этого различения? Так называемые вещи суть цивилизационные, культурные, научные конструкторы. Когда логика не хочет иметь с ними дело, она в своем праве. Первичную безусловную границу несет с собой цвет в широком смысле.

Математика не работает без тона уверенности, который не создается расчетом, но санкционирует его²; иначе нельзя воспользоваться результатом, который уже у нее в руках. Достоверность приходит не от суммирования знания; никакие расчеты ее не обеспечивают. «„Знание“ и „уверенность (Sicherheit)“ принадлежат к разным категориям.»³ Тут одна из тех повседневных вещей, которые незаметны потому, что слишком близки. Мы на каждом шагу проверяем себя знанием, но доверяем никогда не ему. Нельзя установить даже приблизительную пропорцию между знанием и уверенностью; она слишком часто бывает обратной. Расчет независим от тона только в том смысле, что тон не может быть доводом в расчете; доверяют не тому математику, который больше всех уверен в себе. Но расчет издавна заказан тоном достоверности, который ищет себе не подтверждения, а воплощения. Тон, цвет достоверности уходит корнями в интимную принадлежность миру. Поэтому уверенность неопытных детей не меньше чем у взрослых.

1 См. выше с. 244.

2 О достоверности § 30.

3 Там же § 308.

Несомненная истина, которая дана в цвете (и свете), не подготовлена опытом и всегда остается единственным выходом из бесконечного перелома вещей.

Вернемся к разделу III «Заметок о цвете». Коричневого, серого света нет. Но разве нет белого? Светящееся тело может показаться белым; но не коричневым. Есть белое каление. Почему нет серого каления как слабой степени белого? Светящееся бесцветное мы зовем всегда только белым. Это лексические проблемы? или прослеживание различий учит нас тому, что такое белое (215–217)? и не в целях его дефиниции, а для выхода из теорий цвета и к его *пониманию*? Мы хотим иметь дело не с теорией цвета, а с ним самим.

Мы хотим найти не теорию цветов (ни физиологическую ни психологическую), но логику цветовых понятий. А она способна дать то, чего часто без оснований ожидали от теории (188).

Так же не надо строить никакой феноменологии, достаточно решать феноменологические проблемы, возникающие при обращении к самим вещам (248). Выделенность белого из всех других цветов позволяет брать его для именованности света, который не цвет? Свет, о котором говорит Ньютон, повертывается тут неожиданной стороной. Светящееся не выглядит ни серым, ни коричневым, но может выглядеть белым (226). Явись мне ночью привидение, оно могло бы светиться слабым беловатым сиянием; выгляди оно серым, казалось бы, что свет идет откуда-то извне (231).

Цвет умеет быть и так, что он есть там, где его нет (одна из тем Гёте). На черно-белой фотографии лицо и волосы не выглядят *серыми* (273). Зная эту непредвиденность цвета, Рембрандт пишет золотой шлем не золотой краской; голубое небо на иконах оказывается при анализе серым (пример О. А. Седаковой). Краски на палитре для художников не аналоги видимых красок, а подручные средства для передачи настоящего цвета, который не привязан к своим названиям. Разве я *умозаключаю*, что человек на фотопортрете должен быть блондин? Если в слове «блондин» слышится его смысл, то тем более сфотографированный блондин может выглядеть таким (275).

Если цвет есть и там, где его не фиксируют приборы, то его видят и слепые? Как, какой? Мы думали, что слепые в несчастном положении оттого, что не могут описать и определить цвет. В том же положении оказываемся мы все, потому что слепые не могут нам показать, как

они видят краски, или тона! Гёте¹ говорит, что имело бы смысл взять из музыки и применить к цветам слово тон или, вернее, тональность (Tonart). Тогда станет прозрачнее связь цвета с настроениями и состояниями (Stimmungen und Zuständen²), которые могут быть вызваны цветом или ищут выражения в нем. Почему не ввести понятие цветовой гаммы, мажорной или минорной; это будет шире и интереснее, чем как сейчас в живописи упоминают тон только в смысле тонирования, распространения на всё изображение как бы завесы одной краски — обычно это было желтоватое тонирование, потому что художники инстинктивно тянулись к царственной силе, которая в желтом.³ Это тон в неподлинном смысле, похожий на совершившийся в культурной среде поворот к черно-белому вместо цветного пестрого: не хватает уверенного чувства цвета, и тогда вместо цельности, Totalität, получают единообразие, Uniformität⁴. Помимо расширения цвета до тона Гёте обращает внимание на то, что кроме физических, например оттенков неба, и химических, свойственных предметам, есть физиологические цвета, которые принадлежат глазу (dem Auge angehören); они неудержимо летучи (un-aufhaltsam flüchtig).

С Витгенштейном мы идем дальше. Цвет не привязан к физиологии, как видение не привязано к зрению. Разве не мог бы человек, принадлежащий к цветнослепому (farbenblinded) племени, набрести на мысль изобразить, обрисовать себе чужеродного человека, которого мы называли бы нормально видящим? Представить его, скажем, в театре? Ведь мыслимо изобразить человека, имеющего дар пророчества, самому не обладая таким даром.⁵ *Вижу и не вижу* принадлежат одному логическому пространству. Невидение цвета для существа формы жизни человек есть некоторое видение, и наоборот. Одним предполагается другое; оба развертывают одно и то же поле между полярными пределами. Невидение не хуже видения показывает, о чем у нас, людей, идет дело и о чем не идет. Вообще все наши понятия не столько ожидают своего прояснения, сколько высвечивают приоткрываемую ими область. Наши понятия увязли в редоточии нашей жизни и так же неразрешимы как она

1 Goethe, Zur Farbenlehre § 889.

2 Там же § 838.

3 Там же §§ 890–891.

4 Там же § 893.

5 Заметки о цветах III 285. Далее параграфы этого III раздела снова в скобках нашего текста.

(302). Бессмысленно поэтому надеяться, что у одних людей более правильные понятия чем у других (293). Когда слепые, как они любят делать, говорят о голубом небе и других специально зрительных вещах, зрячий думает: «Кто знает, что он при этом себе представляет?» Но с таким же основанием следовало бы задуматься о всяком зрячем: что он *имеет в виду*, именуя цвета (294)? Получил ли он в полноте опыт цвета? получил ли я?

Допустим, я наблюдаю и вижу что-то — божественное творение как богослов или пятно на стене. Оно меняется или, пожалуй, не меняется. Наблюдаемое мною и видимое мною — одно и то же? Нет. Если пятно меняется, я вижу другое, а наблюдаю то же самое; и чтобы заметить, что оно не меняется, мне тоже мало его просто видеть. Пятно не меняется, а если изменится, я это с чувством выполненного долга отмечу; но для этого я должен не менять предмет своего наблюдения.

У того, что я наблюдаю и что я вижу, не одинаковый род тождества (*Was ich beobachte und was ich sehe, hat nicht die gleiche Art der Identität*).

И без моих слов ясно, что я гляжу на пятно; я могу это и сказать; но как узнают, наблюдаю я его или вижу (318)? Вижу я каждый раз другое, но *держу* под наблюдением то же, и по этому держанию чувствую разницу между одним и другим. Мое дарение тождества тому, что я наблюдаю, я не могу высказать. В моих силах только не забывать, что я смотрю не только двумя глазами, но и двумя зрением.

Наблюдение есть зрение того, чего нет, потому что всё течет. Оно принадлежит одноцветному — Витгенштейн называет его матовым — логическому пространству. Другим зрением я погружен в неостановимые переливы цвета.

Подкрепим сказанное небольшим упражнением (231). Я вижу дерево, слепой его не видит. Я говорю ему: ты не видишь дерево, мы — зрячие — видим. Разве не так? А что если слепой верит, что он видит? он ошибается? Я не имею права так сказать. Ведь наблюдающим, держащим зрением он видит; правда, воспринимающим зрением он не видит, скажем, зелень листвы и что ветки качаются от ветра. Но ведь и я тоже замечаю в дереве далеко не всё. Если мне кажется, что я неспособен видеть всё — допустим, поняв, то целое от меня ускользает и я вижу только эпифеномены, пучок впечатлений, так что не знаю, что держать в тождестве, т. е. наблюдать, — то выходит, что слепой видит дерево, я нет.

Наблюдение (*Beobachten*, букв. *окружение моим вниманием*) не то же

что рассматривание или вглядывание. «Рассмотри (betrachte) этот цвет и скажи, о чем он тебе напоминает.» Между тем цвет изменился и рассмотреть то, что меня просили, я уже не могу. Почему я понял, что не могу? Потому что кроме получения зрительных впечатлений я наблюдал, т. е. имел внимание направленным на *то же* и на его фоне заметил перемену. Моё вглядывание будет продолжаться теперь — о чем меня и просили — как описание моих впечатлений. «Ты наблюдаешь, чтобы видеть, чего не видел бы, если бы не наблюдал» (326).

«Известно ли мне, что (daß) я вижу?» (329). Я должен поставить этот вопрос, он не бессмысленный. Ответить на него значит узнать, что такое *вижу*. Различив между *наблюдать* и *видеть*, я подобрался только к одному из многого, что есть в зрении. Я уже понял, что разницы между мной и слепым не существует в наблюдении, Beobachten, в котором слепой не может быть слабее меня и которое задает *тон* (фон) всякому видению. «Я вижу», «я не вижу» — обе фразы в важном смысле предполагают одно и то же, а именно что я в каком-то отношении вижу, в каком-то нет (ср. выше о дереве). В каком именно? Это мне предстоит разобраться. Как же так, сначала я сказал, что вижу или не вижу, а потом начну разбирать меру своего видения и невидения? Да, именно так получается у нас со словом. Мы сначала его говорим, потом, может быть, задумаемся — или не задумаемся, — где и какую оно проложило границу, вернее, где и какой границей оно легло.

Слово *вижу* открывает выход в широкое поле, но ничего не говорит о том, в какой части его мы находимся и находимся ли мы в нем вообще. «Мы научаемся применять выражения „я вижу...“, „он видит...“ раньше чем научаемся различать между видением и слепотой» (339). В свете напоминания, что мы еще не различили как следует между видением и слепотой, надо читать и § 345:

Не можем ли мы себе представить племя слепого народа? не могло ли бы оно при особых условиях быть жизнеспособным? и не могли бы там в порядке исключения быть зрячие?

Не научившись разнице между слепотой и видением, мы не можем уверенно говорить, что это племя не мы сами, и уверенно знать, к какой его части мы относимся. Между тем о своей способности видеть мне надо знать достоверно, иначе я не смогу доверять ни одному своему суждению. И получить помимо опыта света и цвета априорное удостоверение в том, что я не слепой, мне неоткуда (348).

4 ЦВЕТ ЛОГИКИ

Читаем в приложении 5 к первой части «Философской грамматики»:

Обсуди:

Различие между логикой содержания и логикой фразовой формы вообще. Одна является как бы пестрой, другая матовой. Одна по-видимому имеет дело с тем, что изображает рисунок [фразы], другая наподобие рамок рисунка представляется характеристикой формы рисунка.¹

Под матовым имеется в виду не тот снимающий цвет экран, о котором говорилось выше². Логическая форма не результат абстрагирования от содержательной пестроты. Дистилляцией формы из содержания В. не занят. Матовость фразовой формы служит акцентированию разноцветного через взятие его в рамку. Форма здесь не вторична к содержанию в том смысле, в каком очертания вторичны по отношению к цвету, когда мы видим собственно только переходы цвета и прорисовываем границы между ними на свой страх и риск. Взятие цветного (пестрого) в матовые рамки — другого рода. Если всякая граница между переходами цвета внутри картины условна, то рамка картины безусловно необходима, потому что бескрайней или неопределенной в протяжении картина быть не может. Взятие художником изображаемого в фокус и масштаб входит в творческий акт настолько, что его может оказаться достаточно для создания произведения. Рамка картины легитимируется, освобождается от вторичности, получает тот же статус, что и цвет, очертания внутри нее. Рамка вырастает в содержание и на каждом шагу формирует его.

В логической рамке фразы присутствует жесткая определенность мира. Через рамку каждая фраза относится прежде всего к целому и потом, уже отмеченная им, берет в свое содержание аспект.

Каждая фраза, которую я пишу, всегда уже имеет в виду целое, т. е. всегда опять то же самое, и получаются как бы только виды одного предмета, рассмотренного под разными углами.³

Матовое, т. е. собственно непрозрачное белое логической формы, относится к содержанию как белый цвет к остальным: он вбирает их в себя⁴.

1 WA 4, 217.

2 Ср. выше с. 497 о прозрачном белом теле.

3 Разрозн. заметки, 1930, WA 8, 459.

4 См. выше с. 494.

Картина не только берется в рамку, но и с самого начала диктуется ею. Формой (любого) мира определяется его содержание. Витгенштейн «Трактата» (5.633) спрашивает: где в мире наблюдается какой-то метафизический субъект? Его нигде здесь нет, как нет глаза в поле зрения; и во всем, на что смотрит глаз, нет ничего, откуда можно было бы заключить, что какой-то глаз на это смотрит. «Ничто в *поле зрения* не позволяет (не заставляет) умозаключать о том, что оно видимо каким-то глазом.» А что если, скажем мы, наоборот *всё* в поле зрения кричит о том, что оно под просмотром и присмотром? Возражаем ли мы тут Витгенштейну? Нет.

Мир именно такой потому, что на него смотрят; глядящего глаза в мире нет, но им всё определяется. «Трактат» 5.641: метафизический субъект граница, а не часть мира. Своей границей мир определен больше чем своей частью. Не будь границы, не было бы мира как целого, о котором можно было бы говорить, и не было бы фразы, поскольку форма фразы не наше создание. «Логические константы» ничьи не представители. Они обязательно входят в каждую фразу, где хоть и ничего не будет, но *нет* и *да* будет. «Перевод с одного языка на другой происходит не так, что мы каждое *предложение* одного переводим в *предложение* другого; переводятся только составные части предложения.» На другой язык предложение само по себе собственно всегда уже переведено; его форма (рамка) одна везде. Поскольку оно всегда понятно без перевода, мы достигаем взаимопонимания в опоре на эту понятность. Только в опоре на общее достигается новый смысл (ср. Трактат 4.03).

С какой стати и, главное, что я буду понимать, если фразы нет? Узнавание фразы во фразе, предшествующее пониманию, это мой аванс ей, который она вернет, когда оправдаются усилия понимания. Что рамка (фразовая форма) не абстракт содержания, видно по энергии, с которой она требует заполнения. Она найдет себе наполнение, мы сказали, даже на пустом месте. В этом смысле каждая фраза есть сотворение мира.

Цветная (содержательная) сторона фразы, наоборот, никогда не дана сразу как целое. Она разворачивается как процесс и в конечном счете оказывается, в отличие от матовой, знаком только самой себя.

Понимание фразы родственнее пониманию музыкальной пьесы чем думалось бы. Почему эти такты должны быть сыграны именно так? почему повышение и понижение силы и темпа я хочу привести именно к этому образу? — Мне хочется сказать: «потому что я знаю, что всё это значит». Ну и что же всё это значит? — Я не сумел бы этого сказать. Я могу для объяс-

нения только перевести музыкальный образ в образ какого-нибудь другого процесса; и дать одному образу высветить другой.¹

Цветную и музыкальную сторону фразы обычно обходят. Речь большей частью понимается готовыми строительными блоками, якобы соотнесенными с такими же блоками действительности.

5 ЛОГИКА И ЯЗЫКОВЫЕ ИГРЫ

В любом справочнике мы прочитаем нечто вроде:

Языковая игра. Ключевой концепт в позднем творчестве Витгенштейна. Согласно его знаменитой аналогии между применением языка и игрой по правилам, мы имеем там и здесь различные наборы правил или конвенций, определяющих, какие ходы дозволены и не дозволены, успешны или неудачны, причем каждый набор правил соответствует разной игре. О сделанном ходе можно судить только по правилам игры, в которой он сделан. Многие старинные и почтенные философские проблемы происходят из-за оценивания ходов в одной игре по правилам другой и могут быть разрешены просто систематическим прояснением релевантных различий; такое прояснение должно поэтому стать главной заботой философии.²

Языковой игрой, *Sprachspiel*, называется суммарное целое языка и деятельности, с которыми он переплетен. Строитель выкрикивает: «Плита!»; подсобный рабочий приносит требуемое; в языковую игру одинаково входит произнесение слова и принесение плиты без существенного различия между тем и другим³. То, что плита тяжелее колеблющегося воздуха, не дает ей преимуществ. Языковая игра может включать большие массы вещества. Важное различие В. видит не между языком и действительностью, а между *шутя* и *всерьез*.

Я могу говорить о «переживании» фразы. «Я это не просто говорю, я ведь и что-то вкладываю в слова (*meine*)»: когда раздумываешь, что же в нас происходит, когда мы что-то *вкладываем* в слова (а не просто их проговариваем), то чувствуешь так, как если бы с этими словами в нас было что-то сцеплено, тогда как иначе они вращались бы впустую. Как если бы они в нас *входили* в *зацепление*.⁴

1 Л. Витгенштейн, Филос. грамматика I 1, 4 (WA 4, 41).

2 A Dictionary of Philosophy. Ed. by J. Speake. L.: Pan Books 1979, p. 181.

3 Филос. исслед. I 2, 7.

4 Филос. грамматика I 1, 3.

Существенная разница проходит между тем, чему я даю холостым ходом прокрутиться через меня, и тем, что в меня въедается, образуя захват. Фраза обеспечена не отношением к «референту», а тем, что я вложил себя в нее.

К разнице между вращением впустую и захватом мы подходили, читая у В. о необязательности понимания приказа для его исполнения¹. Подходя к той же теме с другой стороны, он спрашивает: что пользы мне в знании значения приказа, когда хоть и есть какое-то различие между его пониманием и непониманием, но настоящая скачкообразная разница проходит между знанием (пониманием) и поступком. Мое *meinen*, вкладывание всего себя в слово, может быть уже достаточным поступком. На команду «Направо!» рассеянный повернул налево; он не понял приказ и выполнил его. Потом он спохватывается: ах да, направо! Больше во втором случае выполнения приказа или меньше? Как бы даже не меньше. Приоткрывается беспокойная (например, для командира) область понимания и истолкования, как бы зазор между приказом и исполнением. Когда без рассуждений солдат браво повернул не в ту сторону, сержанта, если он только уверен в добросовестности солдата, это устроит едва ли не больше чем задержка. Истолкования может быть сколько угодно, а скачка от знания к поступку так и не произойдет; и чтобы его добиться, никакого количества интерпретации не хватит.²

Если «понимать значение слова» значит знать грамматические возможности его применения, то я могу спросить: «Как же мне тогда знать, что я вкладываю в слово, которое произношу; не могу же я держать в голове сразу все способы применения этого слова?»³

Я сначала дождусь, пока выучу всю грамматику, чтобы быть готовым к исполнению приказа? но разве полное ее знание толкнет меня к действию? То, что грамматически из приказа уже ничего больше нельзя будет извлечь, не помешает мне заявить, что я его не понимаю. К пониманию от знания тоже ведет скачок. Поняв знак, я склонен думать, будто в моем моментальном схватывании его свернуто заключено его разнообразное содержание; это иллюзия, как и та, что будто бы, начав истолковывать свое понимание, мы это содержание развертываем. Принад-

1 См. выше с. 268 о следовании понимания приказа за его исполнением.

2 Филос. грамматика I 1, 8.

3 Там же I 1, 10.

лежность понимания и интерпретации к разным категориям высвечивается казусами типа:

К высказыванию «эта фраза имеет смысл» нельзя по существу спросить: «какой?» Как и к фразе «это сочетание слов есть фраза» невозможен переспрос: «какая?»¹

Мгновенная догадка, что передо мной не просто набор знаков и что они имеют смысл, и не результат интерпретации, и не обязательно может быть развернута в интерпретации. Так грамматика языка, составляемая обычно в конце его истории, не развертывает то понимание, каким он давно жил.

Тенденция представлять себе игру как следование установленным правилам повторяет ту же ошибку². Грамматика формулирует всегда *не то*; и в то самое время, как она формулируется, настоящий язык разгрызается не по ее правилам или просто не по правилам. Феномен языковой игры оказывается соответственно сложнее чем простое следование правилам. В раннюю дошкольную игру так же трудно заглянуть, как и представить себе, что и как говорило человечество те миллионы лет, когда правила, так сказать, беспробудные ум и воля. На лице дремучего младенца мы читаем упрямую волю и массу ума без проблеска сознания. Он играет почти постоянно, не давая себе ни малейшего отчета в том, по каким правилам это делает.

Мы же рассматриваем игры и язык с точки зрения игры, происходящей по правилам. Т. е. мы всегда *сравниваем* язык с таким процессом.

Способны ли мы попытаться и не делать этого? Едва ли. Но чтобы заметить, что здесь, внутри наших игр, идет всегда другая игра, которую никогда не уловит обычная грамматика, — ради этого мы читаем Витгенштейна. Догадаться, что не весь язык устроен по правилам, помогает тот факт, что на нем мы и объясняем правила. Правилами можно обусловить всё, но для этого надо сначала, чтобы язык умел «говорить сам за себя»³.

Ребенок 3 лет (наше наблюдение) отклоняет просьбу принести чашки: «К сожалению, не могу, я занят». Понимает ли он значение этого *к сожалению*? знает правила его употребления? Ребенок (пример Витген-

1 Там же I 1, 13; 18; ср. выше с. 66 о тождестве фразовой формы.

2 Там же I 2, 26.

3 Филос. грамматика I 2, 27.

штейна) говорит с интонацией взрослого: «Она *возможно* придет». Это очень похоже на игру в подражание, но ведь, с другой стороны, слово употреблено правильно. Понимаю ли его я сам? как я решил, что понимаю? Как все: знаю, как оно применяется, могу описать применение другому. В сущности я делаю как ребенок: смотрю, какое хождение имеет слово; ведь и описывая применение, я тоже буду ссылаться на то, как люди говорят. То же и ребенок, если добиться от него объяснений. Четкой границы между детским и взрослым знанием нет из-за неопределенности того и другого. Взрослый тоже говорит «к сожалению» и «возможно» сначала потому, что так говорится, разве что он слышал это сотни раз, а ребенок меньше. Оба включаются в языковую игру без знания ее происхождения, смысла и цели.

Можно было бы однако спросить: *понимаю* ли я всё же слово, вместе с описанием его применения понимаю ли я его цель? не обманул ли я в чем-то важным?

Я пока знаю только, как люди употребляют это слово. Но это может быть и игра, или формы приличия. Я не знаю, почему они так поступают, как *язык* входит в зацепление с их жизнью (*in ihr Leben eingreift*).

Тогда действительно ли значение есть лишь употребление слова? Не есть ли оно способ, каким это употребление входит в зацепление с жизнью?

Но разве его употребление не часть нашей жизни?¹

Упрощением оказывается таким образом и распространенное мнение о значении слова как употребления. Когда В. говорит здесь, что знание употребления еще не есть понимание, он вовсе не надеется, что понимание вырастет из *очень* большого знания употребления. Понимание, мы видели, идет не оттуда. Оно поэтому вовсе не обязано дожидаться, когда придет знание. Понимание есть внедрение, вращение в жизнь. Детское словоупотребление, сколь угодно наивное, из-за глубины такого внедрения никогда не кажется ущербным. Сказав «она *возможно* придет», ребенок скорее всего не думает об исчислении вероятностей, а захвачен возможностью ждать, надеяться и воображать, что сейчас откроется дверь; его понимание (или толкование) слова может оказаться совершенно фантастическим, но тем более он им задет и тем оно для него значительнее — почти без знания употребления. Можно даже сказать, что захваченность словом и соответственно понимание как принятие имеют место именно в меру незнания его употребления. Куда правила, пи-

1 Филос. грамматика I 2, 29.

санные и неписанные (обычай), не достают или еще не достали, там происходит (может произойти) наибольшее вращение слова в жизнь. Наоборот, эксплицирование употребления во взрослой речи часто служит тому, чтобы огородить заветное и не отдать его в общий оборот.

Понимание имеет два разных уровня, оно и сумма известных употреблений слова, и мое чувство захваченности словом, не скованное лексикографией. Оба уровня могут быть задействованы одновременно, мало зная друг о друге.

Понимаю ли я слово «великолепно», если знаю, как и при каких обстоятельствах люди его употребляют? и тогда-де уж смогу употребить его сам? Вкладывая в него, так сказать, убежденность.

Разве я не могу, зная это употребление, следовать ему тем не менее без понимания? (Как в известном смысле пению птиц.) Не заключается ли таким образом понимание в чем-то другом; в ощущении «полной грудью», в переживании этих выражений? — Они должны войти в зацепление с *моей* жизнью.¹

Что вошло в мою жизнь, то понято не на уровне правил игры.

С двумя уровнями игры, затрагивающей и не затрагивающей «внутреннего человека», мы знакомы из истории философии. Согласно Плотину (III 2, 15), даже выражения боли (слезы, стон) не всегда надо принимать за свидетельство действительного зла. Они обычно принадлежат игре, в которую играют живущие, сами игрушки, остающиеся только «внешней тенью человека». Невидима «внутренняя душа»; лишь она может и должна иметь дело с «серьезными вещами»; человек-игрушка отделен от действительности как сон от бодрствования. «Внутренняя душа» есть «собственно душа», бестелесная, свободная, владеющая собой (I 6; III 1). Действия такой души собственно наши и не подневольные. Что почти все человеческие дела игры, видно по тому, как люди, зная, что смертны, выходят на войну, играя как дети в боевой порядок (III 2, 15).²

Игра в жизнь заходит далеко. Мы другдругоеды ἀλλήλοφάγοι (как ἀνθρώποφάγοι людоеды), и оправдываем это тем, что живое существо всё равно ведь не может, даже если его никто не убьет, остаться навсегда. Для появления новых существ надо чтобы эти ушли. В сценической

¹ Там же.

² Ср. у Шекспира: «Жизнь лишь шальная тень; игрок негодный, Что час на сцене свой кричит, толчется И вот не слышен боле; это сказка Бессмысленная, с яростью и криком Рассказанная идиотом» (Макбет V 5).

игре убитый актер меняет вид и входит на сцену другим действующим лицом¹. Переживания умирающих, когда сминается сознание с его Я, для Плотина, как мы прочли, несущественны. Суeta сознания только мешает жизненной полноте и не нужна; настоящее течет глубже. Бросается в глаза наносное, невидимо совершается серьезное: таинственный актер (ὕποκριτής), сыграв одну роль, бросает там и начинается тут. Переход души из тела в тело прекраснее, чем если бы она была заперта в одном; жизнь разнообразно окрашивается (ποικίλλει), когда заново создает ладно сложенные живые игрушки. Если так обстоит дело с отнятием тела, насколько не беда переход имущества. Как убийства и смерти, так взятия и разграбления городов лишь театральные представления в ряду игр внешнего человека.

По Плотину, всего меньше возможностей выйти из игры у того, кто принимает ее всерьез. Другое чем игра для человека, живущего привычно *внизу* и *вне*, недоступно. Чем сосредоточеннее он погружается в свои мнимо серьезные заботы, тем глубже уходит в игру. Вырвется из нее только σπουδαῖος (от σπουδή²), живущий *вверху* и *внутри*. Кто неспособен к упорству, усилию и добротности, становятся серьезен в своих игрушках. Чтобы иметь дело с ними, надо включиться в их игру; так делает Сократ, играя в игрушку самого себя внешнего, παίζει τῷ ἑξῶ Σωκράτει. В этой своей тайной игре Сократ не балагурит, он добротен, спешит и успевает. К однозначной схеме серьезность-игра дело в платонической традиции поэтому не сводится. Платон играет не меньше Сократа. У Аристотеля σπουδάζειν и παίζειν иногда перестают быть противоположностями, когда идет игра всерьез, как в «Никомаховой этике» 1176b 32: παίζειν δ' ὅπως σπουδάζει. Царствующий в зоне ребенок играющий, хотя и относится к тому в Гераклите, что по Сократу требует опытного ныряльщика, из поля зрения платоников не выходит.

Вместо того, чтобы говорить о жизни, сердце, ощущениях, по Витгенштейну, можно ограничиться вниманием к интонации и жестам, сопровождающим слово, или еще лучше³: понять, что слово не сопровождается мелодией, а оно и есть тон (цвет, настроение) и жест. Или даже: слово

1 Плотину вторит «Бхагавадгита» (II 22): «Как выбросив ветхие одежды человек берет новые, так выбросив ветхие тела владетель тела (dehin) принимает новые другие».

2 Др.-рус. пер. этого слова *спехъ*, к *спешить* и *успех*, в связи с напряжением. У Аристотеля σπουδαῖος, *дельный*, противоположный игроку и иронику, или просто *хороший*, противоположный скверному.

3 Филос. грамматика I 2, 30.

подверстывается к тону; сначала тон, который есть собственно мы сами, и к тону подобрано слово. «Можно даже сказать, определенные слова суть лишь точка привязки (Angriffspunkt) для интонации.» Или все слова такие?

Разве нельзя представить себе язык, на котором говорили бы во всегда одинаковом стихотворном размере, и для удержания этого размера между словами фраз там и тут вставлялись бы слова-заполнители (Füllwörter). Представим, мы говорили бы о значении этих слов-заполнителей. (Кузнец, для сохранения ритма ковки перемежающий настоящие удары слабыми.)¹

Ср. Андрей Афанасьевич Потебня: «Понимание начинается с обозначения мысли тем, что само невыразимо, хотя и ближе всего к человеку».

Зачем тогда вообще слово, если речь в основе пение? Нельзя ли было остаться при мелодии голоса? Такою хотел слышать речь Андрей Белый, строивший текст как мелодию. Вводя ритмизованную прозу, он думал, что речи не хватает пения; когда Витгенштейн воображает себе язык, текущий как эпическая речь, он видит весь наш язык уже в музыке и ритме, так что специальные усилия, как у Андрея Белого, лишь заслоняют то, что всегда уже есть. Неудача попытки Белого омузыкалить язык показывает, что весь язык уже музыка на своем базовом уровне, откуда нет и не надо перевода на другой. Тон и значение относятся к разным категориям.

Звучит как до смешного самопонятное, когда я говорю, что думающий, будто жесты суть примитивные знаки, лежащие в основе всех других, будто не в состоянии заменить обычную фразу жестами.²

Музыкальное исполнение называется игрой; мало сочинить музыку, ее надо еще сыграть. Какая это игра? В нее явно входят правила, но диктуют ли они ее? Здесь снова игра и игра, которые не сменяются одна другой, а всегда переплетены. То же языковые игры, возможно, с большим диапазоном между игрой по правилам и без правил.

В «Философских исследованиях», читаем мы в литературе,

появляется трактовка «языковых игр» как исходных форм языка, которым обучаются путем своеобразной «тренировки».³

¹ Там же I 2, 31.

² Там же I 4, 46.

³ Грязнов А. Ф. Материалы к курсу критики современной буржуазной философии (Философия языка Л. Витгенштейна). М.: Изд-во Московского университета 1987, с. 18.

Если игра по правилам (только в такой возможна тренировка) — исходная форма языка, то в его основе лежит конвенция?¹ Это, казалось бы, подтверждается тем, что принятые языковые нормы соблюдаются поэтами, мастерами слова. С другой стороны, языка нет без смены аспекта (метафоры), которая конечно тоже может быть названа игрой, но без правил². Тренироваться в игре такого рода едва ли возможно³. Учитель может показать увиденный им новый аспект, но как научить превращениям?

Важно различить между игрой и игрой. Язык не сводится только к игре по правилам.

Мы... часто *сравниваем* применение слов с играми, исчислениями по жестким правилам, но не можем сказать, что пользователь языка *должен* играть в такую игру.⁴

Неосторожно поэтому называть мысль «позднего» Витгенштейна «прояснением механизмов языка»⁵. Точнее было бы сказать наоборот: философ смотрит туда, где язык перестает быть механизмом. Нет у него и «философии языка», отдельной от мысли о мире. «Научные вопросы», уместно цитирует его та же исследовательница, «меня никогда по-настоящему не захватывают. Увлечь же меня способны лишь *концептуальные* и *эстетические*»⁶. В отличие от научного рассмотрения для эстетики «существенно, чтобы изображение, музыкальная вещь etc., могли менять для меня свой аспект»⁷. Эстетическое имеет дело с аспектом и его сменой, с «превращением» того, что можно увидеть так и иначе. «Услышь эти такты, ты должен их услышать, как такты интродукции»; «услышь в этой тональности, минорной, а ты слышишь в мажорной»; «ты *вот так* разбей эту тему на фразы». Ступеньку

1 Ср. выше с. 97 об институциональном статусе естественного языка у Ф. Де Соссюра.

2 Об игре в правила см. выше с. 16 сл., 187 и др.

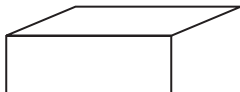
3 Ср. Иосиф Бродский: научившись приемам, ты разучился поэзии.

4 Филос. исслед. I 81. Ср. Филос. грамматика I 3, 36.

5 М. С. Козлова, Философские искания Л. Витгенштейна. — *Людвиг Витгенштейн, Философские работы* (часть 1). М. 1994, с. XIII.

6 Там же с. XIV.

7 WA 7, 431 = «Подготовительные штудии ко второй части „Философских исследований“» (1948–1949) III 633.



одни (большинство) видит выпуклой, на которую можно встать, другие вогнутой, над нашими головами. Чтобы она установилась неизменной, надо ввести правило, а именно условиться видеть ее как фигуру начертательной геометрии на плоскости.¹ Если отвлечься от придыханий и восторгов, окружающих всё эстетическое, останется смена аспекта, правящая в этой области и всегда странно задевающая нас. В своей основе «эстетические эмоции» сводятся к превращениям, идущим от этой смены. На одном уровне язык игра по правилам, на базовом нет; сам по себе он не обязывает нас держаться каких-либо правил.

Логика вписывается в этот пейзаж не так, мы видели, что от бесконечной сложности (укорененности) языка остается отвлеченная схема. Витгенштейновская логика не упрощающее усреднение. Она не принадлежит плоскости исчисления и учитывает неопределенную определенность того семейного сходства, каким объединены все игры.

Здесь не бывает, как в физике, упрощающего описания природного явления с отвлечением от вторичных влияний. Нельзя сказать, то логика представляет идеализированную действительность, имеет силу строго только для идеального языка и т. п. Ибо откуда нам взять понятие этого идеала?! Самое большее можно было бы сказать: «мы *конструируем* идеальный язык», в противоположность например обиходному языку; но не что мы *говорим* что-то, значимое только для идеального языка.²

Идеальный язык можно конструировать, но ни на нем, ни о нем невозможно ничего сказать, не отталкиваясь от естественного.³ Ни один знак в идеальном языке не прочитывается без явного или подразумеваемого запрета подходить к нему без системы правил.

Тема логики возвращает к началу нашего разговора о Витгенштейне, напоминая таким образом, что пора перейти к чтению его собственных работ.

1 Там же III 634.

2 Филос. грамматика I 3, 36.

3 Ср. выше с. 480 о невозможности обойтись без «классического» языка в математической физике. Одна из причин, почему Витгенштейн оставил естественные науки ради естественного языка.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН. ШИФРОВАННЫЕ ДНЕВНИКИ¹

9.8.14.

Позавчера при медосмотре признан годным и прикомандирован² ко 2-му полку крепостной артиллерии в Кракове. Вчера утром отбытие из Вены. Сегодня утром прибыл в Краков. Хороший лейтенант³ дал мою боль-

1 В 1974 г. Вильгельм Баум, выпускник Тюбингенского университета по философии и теологии, задетый на семинаре Ганса Кюнга «Современная критика религии» встретившейся ему характеристикой Витгенштейна как атеиста, вплотную занялся мистической стороной «Логико-философского трактата». Сохранившиеся три из семи тетрадей военных дневников Витгенштейна, как обнаружил Баум, были опубликованы только отчасти: распорядители наследия философа скрывали по разным причинам их шифрованную половину. Бауму удалось законными способами добыть летом 1981 г. полный текст дневников. Шифр оказался легким: вместо *a* писалось *z*, вместо *b* — *y* и так далее. К осени 1981 г. Ульрика Баум, жена Вильгельма Баума, транскрибировала текст. Выдержки из него они опубликовали в «Журнале католической теологии» (*Wilhelm Baum, Wittgenstein: Das Christentum als einzig sicherer Weg zum Glück. Neue Quellen zur negativen Theologie im «Tractatus»*. — *Zeitschrift für katholische Theologie* 105, 1982, S. 191–195). Первое полное немецко-испанско-каталанское издание осуществил в 1985 г. испанский журнал «Сабер» (*Wilhelm Baum, Diarios secretos de Ludwig Wittgenstein*. — *Saber*, Nr. 5, 1985, p. 30–59), после чего было еще одно мадридское, затем контрафактное итальянское издание и, наконец, в 1991 вышло первое (теперь их несколько) венское издание (*Ludwig Wittgenstein, Geheime Tagebücher 1914–1916. Hrsg. und dokumentiert von Wilhelm Baum. Mit einem Vorw. von Hans Albert*. Wien–Berlin: Turia & Kant 1991), дополненное докладом 1930 г. «Этика», комментированной перепиской с Дэвидом Пинсентом 1912–1918, комментированной перепиской с берлинским преподавателем Витгенштейна Станислаусом Йоллесом и его женой 1906–1939, архивными материалами о прохождении Витгенштейном воинской службы и, наконец, воспоминаниями его солагерника по итальянскому плену Франца Парака. Мы пользуемся, с некоторыми добавлениями из других источников, этим изданием, с благодарностью его создателю, Вильгельму Бауму, за большой вложенный труд и извинениями по поводу того, что у нас не было возможности должным образом получить от него разрешение на русское издание.

2 Витгенштейн был записан канониром (нижний воинский чин в артиллерии) и первоначально не думал использовать право вольноопределяющихся на повышение до офицерского звания, возможно, потому, что с трудом прошел медкомиссию как едва годный к военной службе.

3 Скорее всего, имеется в виду д-р Воеслав Моле, уроженец Канальской долины в словенской Каринтии, посещавший гимназию в Рудольфсверте (Ново Место) к югу от Любляны. Моле изучал право и историю искусства в Вене, Кракове и Риме, защитил докторскую диссертацию в 1912 в Вене. В 1913–1914 он был младшим чиновником служб

шую тетрадь для записей Тренклеру [?] на сохранение. Смогу ли я теперь работать?? Весь в тревоге о своей будущей жизни! Военные чины в Вене были невероятно дружелюбны. Люди, у которых тысячекратно за день спрашивают информацию, давали дружелюбные и исчерпывающие ответы. Такие вещи невероятно ободряют; это напомнило мне английские обстоятельства.

10.8.14.

Обмундирован как новобранец. Мало надежды, что мои технические знания пойдут в ход. Мне очень нужны хорошее настроение и философия, чтобы найти здесь себя. Когда я сегодня проснулся, мне было как в одном из тех снов, где ты вдруг совершенно нелепым образом снова сидишь в школе. В моем положении действительно много юмористики и самые низменные службы я выполняю почти с иронической улыбкой. Не работал. Это огневое испытание характера как раз потому, что уходит так много силы на то, чтобы не утратить доброе расположение + энергию.

11.8.14.

Плохо спал (насекомые). После того как я подмел помещение строю к нескольким старым [...] ¹ и учили ими пользоваться. Страшно жарко. Еда несвежая. На будущее, наверное, буду спать вне казармы.

охраны памятников в Сплите; в 1914 отправился на фронт. Позднее Моле проходит по документам как военнопленный в Красноярске и Томске. В 1919 он получает доцентуру в Томском университете, с того же 1919 года числится доцентом археологии и истории византийского искусства в Кракове, где в 1926 становится профессором истории византийского искусства. Моле автор «Истории раннехристианского и византийского искусства», работ «Русское искусство до 1914», «Славянское народное искусство», учебника «Искусство, его образ и его выражение». Еще до войны Моле печатал стихи в газете «Люблянский звон» и журнале «Слован»; в 1910 вышел его стихотворный сборник «Когда цвели цветы». К 1919 г. относится знакомство Моле с художником Рудольфом Вакером из Брегенца. Этими сведениями издатель «Тайных дневников» обязан Вальтеру Метлаглю, заведующему архивом Бреннера в Инсбрукского университета, сообщившему сведения из своей неопубликованной рукописи «Лейтенант Моле». В статье «Рильке и неизвестный друг [т. е. Витгенштейн, пожелавший остаться в качестве дарителя неизвестным всем кроме Тракля]» (журнал Der Brenner, 18. Folge, 1954, S. 237) Людвиг фон Фикер приводит рассказ Моле о том, «какую прекрасную летнюю ночь он однажды, вскоре после начала войны, провел на палубе судна в оживленной философской беседе с Витгенштейном, пока тот был занят чистой картошкой для корабельной кухни». Кроме того Моле, одно время командир судна, хорошо отзывался о «служебном рвении» Витгенштейна.

1 Не хватает слова.

Написал Дэвиду¹. Очень хочу письма от него чтобы не потерять чувство контакта с моими прежними временами. Не работал.

13.8.14.

Позавчера говорил с полковником. Я [...] ² разболтался + стоял перед ним не по-военному. Он был немного смешной и [...] ³ мне просто симпатичен. Результат = 0. Сегодня вскрылось, что я с аттестатом и т. д., по поводу чего целый ряд одногодичников ⁴ стали величать меня господин коллега + насели на меня, что я должен же использовать свое право вольноопределяющегося. Это меня позабавило (*it bucked me up*). Вчера и сегодня сильный насморк и часто ощущение нездоровья. Сегодня познакомился в столовой казармы с одним лейтенантом, которому показалось странно, что я там обедаю. Он спросил меня очень любезно, кто я на гражданке, очень удивился, почему меня не взяли в одногодичники-вольноопределяющиеся + был вообще очень дружелюбен, что на меня очень хорошо подействовало. ⁵

15.8.1914.

Происходит ⁶ много чего, так что день мне кажется длинный как неделя. Вчера приказом переведен в службу прожектора на захваченном нами судне на Висле. Экипаж свинский сброд! Никакого воодушевления, невероятная грубость, тупость и злоба! Так что все-таки неверно, что общее великое дело должно облагородить людей. Из-за этого самая тягостная работа становится барищиной. Удивительно, что люди сами превращают свою работу в ненавистную тяготу. При всех наших внешних обстоятельствах работа на нашем судне могла бы стать великолепным счастливым временем, а вместо этого! — Здесь будет конечно невоз-

1 Дэвид Пинсент (1891–1918), с 1912 ближайший друг Витгенштейна в Кембридже.

2 Пропуск слова.

3 Пропуск слова.

4 Кандидаты в офицеры с аттестатом зрелости.

5 14.8.1914 Витгенштейн писал Людвигу Фикеру: «Простите, что пишу карандашом; нет чернил поблизости. Я хотел Вам сообщить только, что пошел добровольцем в армию на всё время войны и что мой адрес для возможных сообщений теперь: 2-й полк крепостной артиллерии, 2-ая кадровая часть.» В ответном письме 21.9.1914 Фикер поздравлял Витгенштейна с его решением, советовался с ним о передаче его пожертвования Рильке и сообщал о местопребывании Тракля на фронте. Витгенштейн, по-видимому, в тот же день ответил Фикеру снова из Кракова, что месяц служил на судне флота Вислы на русском фронте, совершенно согласен с его предложением и *очень* просит только, чтобы Рильке получил свои деньги как можно скорее.

6 Слово написано нормальным письмом, дальше шифр.

можно найти общий язык с людьми (кроме как, скажем, с лейтенантом, который выглядит совершенно приличным человеком¹). Итак, в смирении выполнять работу и себя ради Бога самого себя² не терять!!!! Причем всего легче теряют себя, когда хотят подарить себя другим людям.

16.8.14.

На «Гоплане»³. Еще раз: тупость, наглость и злоба этих людей не знает границ. Любая работа становится мучением. Но я сегодня уже снова работал и не дам себя раздавить. Написал сегодня открытку дорогому Дэвиду. Небо храни его и сбереги мне его дружбу! — Собственно ночь на Висле великолепна, и я в хорошем настроении. aRb . aRc . bSc = aR[bSc] Def.⁴

17.8.14.

Шайка блатных! Офицеры только приличные люди и отчасти действительно **очень** славные. Спать приходится на голой земле и без одеял. Мы теперь в России. Из-за тяжелой работы я стал совершенно нечувствительный. Сегодня еще не работал. G. S. (???) На палубе слишком холодно, а внизу слишком много людей, которые говорят, орут, воняют.

18.8.14.

В час ночи меня вдруг будят. Старший лейтенант спрашивает меня и велит немедленно явиться к прожектору. «Не одеваясь.» Я почти голый побежал на капитанский мостик. Ледяной ветер, дождь, я был уверен что сейчас умру. Запустил прожектор и назад, одеваться. Было [...] ⁵ все. Я был **страшно** взвинчен и стонал вслух. Почувствовались ужасы войны. Сейчас (вечером) я уже опять преодолел этот испуг. Я буду всеми силами пытаться поддержать свою жизнь, если не изменю намерение.

21.8.14.

Мы с лейтенантом⁶ уже говорили обо всем на свете — очень славный человек. Он может обращаться к величайшим мерзавцам и сохранять любовь, ничем не поступаясь. Когда мы слышим китайца, то бываем склонны принимать его речь за нечленораздельное прополаскивание гор-

1 См. с. 515, прим. 3.

2 Повторы такого рода объясняются непрозрачностью зашифрованной фразы.

3 Сторожевое судно, на которое с начала службы был определен Витгенштейн.

4 Эта дефиниция, под влиянием Фреге и Рассела дающая субъект-объектной связи (S) приоритет над отношением (R), не была включена в «Трактат».

5 Слово неразборчиво.

6 См. с. 515, прим. 3.

ла. Человек, понимающий по-китайски, узнает в этом *речь*. Так я часто не могу узнать *человека* в человеке. Немного работал, но без успеха.

$\varphi(x)$ $(x) \cdot \varphi x$ $(\exists x) \cdot \varphi x$

Неужели теперь с моей работой навсегда покончено?! Одному дьяволу это известно! Неужели мне никогда больше ничего не придет на ум? Со всеми понятиями моей работы я целиком и полностью «врозь». Я ничего совершенно не вижу!!!

22.8.14.

Стоим уже 3 дня на песчаной отмели. Работаю часто с многими перерывами и до сих пор совершенно без успеха. Всё еще не могу дойти ни до чего прочного. Всё расплывается в туман. Только вперед!!!¹

25.8.14.

Вчера ужасный день. Вечером прожектор отказывался гореть. Когда я собрался его проверить, команда мешала мне криками, ворчанием и т. д. Когда я хотел поближе разобраться, то взводный взял его у меня из рук. Совершенно не могу продолжать писать. Это отвратительно. Одно я понял: во всей команде нет ни одного приличного парня. Как же я в будущем поставлю себя в отношении ко всему этому? Должен ли я просто терпеть? А если я этого не захочу? Тогда мне придется жить в непрестанной борьбе. Что лучше? Во втором случае я *заведомо* себя измочаю. В первом *возможно* нет. Сейчас для меня наступит *безмерно* трудное время, потому что теперь я фактически так же продан и предан, как тогда в школе в Линце². Только одно необходимо: иметь возможность рассматривать (*Betrachten*) всё, что с тобой происходит. СОБРАТЬ СЕБЯ! Помоги мне Бог!

26.8.14.

Вчера постановил себе *не оказывать никакого сопротивления*, сделать мое внешнее, так сказать, совершенно легким, чтобы оставить мое внутреннее ненарушенным.

29.8.14.

Каждую ночь стою на капитанском мостике, до примерно 3½ утра. Мой план совершенной пассивности я пока не совсем исполнил. Унижения от

1 Здесь впервые начинается на правой полосе разворота дневника нешифрованная философская работа, отчасти вошедшая в Трактат.

2 Государственная школа в Линце, куда Витгенштейн ходил в 1903–1906.

товарищей мне все-таки еще ужасны. Но только бы оставаться при себе. Что-то работаю ежедневно, еще без настоящего успеха, хотя уже кое-что мне просвечивает.

2.9.14.

Каждую ночь за исключением вчерашней у прожектора. Днем я сплю. Эта служба мне приятна в том смысле, что я таким образом ускользаю от скверности товарищей. Вчера мы слышали здесь о чудовищной битве, которая идет уже 5 дней¹. Если бы то было наконец решение! Вчера первый раз за три недели онанировал. Почти полностью нет чувственности. Если раньше я всегда представлял разговоры с каким-нибудь другом, теперь этого почти никогда не бывает. Работаю ежедневно понемножечку. Но слишком устал и сбит с толку. Вчера начал читать из «Толкований к Евангелиям» Толстого. Великолепное произведение. Оно однако еще не то для меня, что я от него ожидал.

3.9.14.

Вчера работал не совсем без успеха. Читал Толстого с большим приобретением.²

5.9.14.

Я на пути к какому-то большому открытию. Но доберусь ли я до него?! Чувственности больше чем прежде. Сегодня снова о... На дворе ледяной ветер, почти буря. Лежу на соломе на земле и пишу и читаю на деревянном сундучке (цена 2,50 крон).

6.9.14.

По-прежнему товарищи, большинство, мучат. Я пока еще не нашел к этому отношения, которое устанавливало бы мир. На совершенную пассивность я еще не решился, и это вроде бы скверно, потому что я ведь против всех этих людей бессилён. Защищаясь, я бесполезно извожу себя.

8.9.14.

Услышал сегодня рано утром, что Львов занят русскими.³ Теперь я знаю, что нам конец! В последние 4 дня не имел ночной службы, потому что ночи были очень светлые. Все дни много работал и много читал из «Толкований к Евангелиям» Толстого.

1 Победы 1-й армии Данкля под Красником и 4-й армии Ауфенберга под Комару-вым в конце августа 1914.

2 Здесь левая страница заполнена шифром только в самом низу.

3 Поражение 3-й армии Брудерманна под Львовом в конце августа 1914.

10.9.14

Много приходится делать. Тем не менее порядком поработал, без определенного успеха, но не в известном безнадежном настроении.

12.9.14.

*Новости становятся всё хуже¹. Сегодня ночью будет готовность № 1. Работаю каждый день более или менее и с надежной уверенностью. Постоянно повторяю себе в духе слова Толстого: «Человек **бессилен** плотью, но **свободен** духом». Пусть дух будет во мне! Пополудни лейтенант слышал выстрелы невдалеке. Я очень взвинчен. Вероятно нас поднимут по тревоге. Как я поведу себя, если дойдет до перестрелки? Боюсь не того, что застрелят, а того, что не выполню порядком свой долг. Бог дай мне силы! Аминь. Аминь. Аминь.*

13.9.14.

Сегодня на самом рассвете мы покинули судно вместе со всем, что на нем было. Русские идут за нами по пятам. Пережил ужасные сцены. Вот уже 30 часов без сна. Чувствую себя очень слабым и не вижу никакой внешней надежды. Если со мной теперь всё кончится, то пусть я смогу умереть хорошей смертью, помня о самом себе. Пусть сам я никогда не упушу себя.

15.9.14.

Позавчера ночью страшные сцены: почти все рядовые упились. Вчера снова на «Гоплане», которую перегнали на Дунаец. Вчера и позавчера не работал. Попытка безуспешно: моей голове всё это дело было чужое. Русские наступают нам на пятки! Мы в непосредственной близости противника. Настроение хорошее; снова работал. Всего лучше у меня получается теперь работать за чисткой картошки. Я вызываюсь это делать всегда добровольно. Это для меня то же, что шлифовка линз была для Спинозы. С лейтенантом отношения намного холоднее чем раньше. Но только мужество! Кого не оставляет гений --- ! Со мною Бог! Сейчас мне дается повод быть достойным человеком, потому что я стою лицом к лицу со смертью. Пусть озарит меня дух.

16.9.14.

Ночь прошла спокойно. До полудня слышен сильный артиллерийский и

1 Второе поражение австрийцев под Львовом («битва при Гродеке» 4–11.9.1914) с их откатом до Кракова и последующей (23.3.1915) капитуляцией их крепости Пшемьсл на Сане, где в русский плен попало 120 000 солдат.

ружейный огонь. Мы по всей вероятности безысходно погибли. Дух еще со мной, но не покинет ли он меня в крайней нужде? Надеюсь нет! Теперь только собрать себя и быть смелым! (9 р. т.) Ливень. Человек немощен в плоти и свободен духом. И только им. Ночью ничего не работал.

17.9.14.

Эта ночь прошла тоже спокойно. Стоял на посту. Нам надо плыть вверх по Висле до Кракова. Граница вроде бы вся занята казаками. Так что нам по всей вероятности конец. Только одно необходимо! Вчера утром лейтенант покинул судно и до сегодняшнего полудня еще не вернулся. Никто не знает, что нам надо делать, не хватает даже денег для закупки еды. Я однако все еще в хорошем расположении и надеюсь в таком остаться. Снова и снова думаю о том, как смогу выстоять.

18.9.14.

Страшно нервная ночь. Надо было светить и в любой момент приходилось бояться, что прожектор потухнет. Мы были в крайне рискованном положении, и погасни свет и произойди что, вся ответственность была бы на мне. Потом ложная тревога. Мне велели совершенно молчать и я должен был выслушать, как взводный старался очернить меня перед лейтенантом, якобы я трусил. Это меня страшно расстроило. От 1 до 3 на посту. Очень мало спал. Бесконечно трудно то и дело противостоять злу. Трудно на пустой желудок и не выславившись служить духу! Но что бы я был, если бы не мог этого. Вышестоящие грубы и тупы, товарищи тупы и грубы (с очень немногими исключениями). На пути к Кракову с галерами. День прошел спокойно и не неприятно. Что-то работал.

19.9.14.

В Краков. Вчера вечером я должен был светить до 11 часов при работе на одном судне. Ночью очень холодно. Мы должны спать в сапогах. Плохо спал. Уже 4 дня не снимал с себя одежду и обувь. Но всё это не может ничего значить. --- Не могу удержаться от опасений за то, что со мной будет в Кракове. Я знаю, что об этом вовсе не надо бы заботиться, но чувствую себя таким усталым, что боюсь напряжения сил.

20.9.1914

Еще раз: бесконечно трудно не противиться человеческой злобе. Потому что от злобы у тебя всякий раз остается рана. --- Русских отогнали от границы так далеко, что они до сих пор нас еще не беспокоили.

21.9.1914

Сегодня рано утром пришли в Краков. Всю ночь стоял на дежурстве у рефлектора. Вчера много работал, но не **очень** обнадёженно, потому что мне не хватало верного **обзора**. Имел вчера разговорчик с нашим взводным, **немножко** очистивший атмосферу. Сегодня в каком-то расстройстве: от массы волнений я уже так устал! Из Вены вовсе ничего не слышу! Сегодня получил открытку от мамы, которую она написала 20.8. Вечером получил тягостное известие, что лейтенант¹, который был у нас командиром судна, переведен. От этого известия я впал в глубокое угнетение. Никакого точного отчета в этом я себе дать правда не могу, но причина для подавленности убедительная. С тех пор я однако глубоко огорчен. Я хотя и свободен духом, но дух меня покинул! Смог вечером еще немного **поработать**. Чувствовал себя оттого лучше. ---

22.9.1914

До полудня в казарме, чтобы получить деньги у полковника. Он сказал, что мне надо нашить ленточку годовичников². Сделал много хлопотных дел и обратно на судно, где нашивка вызвала большую сенсацию. Получил массу открыток и писем, в т. ч. от Фикера³ и Йоллес⁴. Не работал. ---

23.9.14

Немного работал.

1 См. с. 515, прим. 3.

2 См. с. 517, прим. 4.

3 22.9 Витгенштейн получил оба письма Фикера от 21.8. и 15.9. и сразу ответил в двух открытках: «Многоуважаемый господин фон Фикер! Лишь сегодня получил я оба Ваших дружественных письма. Большое спасибо! Я был четыре недели на судне флота Вислы в России и только сегодня возвратился в Краков. С Вашим последним предложением относительно [денег для] Рильке я разумеется совершенно согласен. *Пожалуйста* поспособствуйте тому, чтобы он получил причитающееся ему как можно скорее. Мой адрес на обороте. *Сердечнейшая* благодарность за Вашу любезность и *сердечнейшие* приветствия. Ваш всецело преданный Людвиг Витгенштейн.» «Многоуважаемый господин фон Фикер! Это только добавление к открытке, которую я Вам послал сегодня утром. Я забыл сказать что вообще согласен со всеми Вашими предложениями. — Стало быть Траклъ тоже на войне! Смешно пожалуй думать что мы могли бы встретиться; но мне это было бы приятно. Желаю Вам всего наилучшего. Ваш всецело преданный Людвиг Витгенштейн.»

4 Адель Йоллес, супруга Станислауса Йоллеса (1857–1942), с 1906 по 1908 учителя Витгенштейна в берлинской Высшей технической школе, Шарлоттенбург.

24.9.14.

Довольно много работал, но довольно безнадежно. После полудня в городе.

25.9.14.

Довольно много работал, но без настоящей уверенности: мне всё еще не хватает обзора, и потому проблема оказывается необъятной.

27.9.14.

Вчера порядочно поработал, но без верного успеха. В последние дни опять некоторая чувственность. Телеграфировал вчера домой и просил известий.

28.9.14.

Что-то работал. Ожидают осады Кракова. Если она начнется, то нам предстоят еще тяжелые времена. Да дарует мне дух силу!

29.9.14.

*Сегодня утром отвел в госпиталь капрала, который заболел дизентерией. Здесь теперь много случаев дизентерии. Мне делается своеобразно на душе, когда я думаю, чего еще только мне не придется пережить на этой войне. Работал, но без успеха. Я всё еще вижу не ясно и у меня нет обзора. Я вижу детали, не зная, как они войдут в [...] целое¹. [...] кроме того я ощущаю всякую новую проблему как обузу. [...] ясный обзор должен был показать, что всякая проблема это **главная проблема**, и встреча с главным вопросом (?) не изматывает, а придает силы. Вечером работал не без успеха. Только держаться! ---*

30.9.14.

Сегодня ночью начал чувствовать себя нездоровым (живот и голова). Да будет воля Твоя.

1.10.14.

Вчера пришлось до полудня лечь и остаться лежать целый день, потому что я чувствовал себя очень нездоровым. Довольно много работал, но без успеха. Считается, что завтра мы должны уйти с этого судна. Мне не терпится знать, что со мной будет. ---

1 Здесь и ниже несколько слов как будто стертые.

2.10.14.

Довольно много работал. Не совсем без успеха. Всё еще неясно (?), что со мной будет, останусь я на судне или нет etc. etc.

3.10.14.

Сегодня принято решение, что весь старый экипаж этого судна за исключением четырех человек — среди них я — должны уйти с судна. Мне это не неприятно. Из дома я получил сегодня посылку, в которой теплое белье, чай, сухари и шоколад, то есть точно как если бы ее послала милая мама; но никакой весточки! Мама умерла? И потому мне не посылают никаких известий? Почти не работал.

4.10.14.

Вчера вечером еще как-то работал. Получил сегодня открытку, которую мама написала мне 9 числа прошедшего месяца. Там не содержится ничего важного. Моя работа после краткого взлета сегодня снова застряла. Довольно много работал, но без надежды. В ближайшие дни нам надо снова назад в Россию. Наш новый командир судна, обер-лейтенант, мне не очень нравится, хотя я лишь мельком его видел.¹

5.10.14.

Сегодня получил письмо от Кейнса, пришедшее на здешнее командование полка через Норвегию. Он пишет мне только чтобы спросить меня, как будет с деньгами Джонсона² после войны. Письмо кольнуло меня, потому что болезненно получить деловое письмо от человека, с которым прежде ты был в хороших отношениях, — а тем более в это время³. --- Только что получил открытку от мамы, от первого с. м. Всё хорошо. Ну вот! --- Думал последние дни часто о Расселе⁴. Думает ли он еще обо

1 В этот день Фикер переслал Витгенштейну письмо-благодарность Рильке за денежный дар и такую же благодарственную телеграмму от поэтессы Эльзы Ласкер-Шюлер (1869–1945).

2 W. E. Johnson (1858–1831), логик из Кембриджа, которому Витгенштейн назначил стипендию 200 фунтов в год.

3 Недатированный ответ Витгенштейна по-английски, полученный Кейнсом 4.1.1915: «Дорогой Кейнс, я получил письмо, которое вы написали мне в сентябре. Деньги будут посланы конторе как только окончится война. Пожалуйста передайте мою любовь Джонсону, которого я ценю тем больше чем дольше я его не видел. Если вы получите это, напишите мне по вышеуказанному адресу [кайзеровский и королевский дивизион самоходной артиллерии, полевая почта № 186] через швейцарский Красный крест.»

4 Витгенштейн Расселу, без даты, предположительно декабрь 1914: «Дорогой Рассел! Лишь сегодня я получил Твое милое письмо, которое Ты написал мне 28 июля. Что Мур

мне? Все-таки это было удивительное дело, наша встреча! Во времена внешнего благополучия мы не думаем о немощи плоти; но когда думаешь о временах нужды, она доходит до твоего сознания. И обращаешься к духу. ---

6.10.14.

Вчера довольно много работал. Человек не должен зависеть от случая. Ни от благоприятного ни от неблагоприятного. Вчера новый командир пришел на судно. --- Теперь они присылают из осветительного взвода сюда на судно людей, которые возятся с рефлектором. Не заботься о себе!! Только что пришел приказ отправиться в Россию. Так что снова всё будет всерьез! Со мною Бог.

7.10.14.

Всю ночь шли в Россию; почти вовсе не спал, вахта у прожектора etc. Мы вроде бы скоро выйдем под огонь. Дух со мною. Здесь в [...] Висло-ка¹ (вечером). Меня пронимает ледяной холод — изнутри. У меня то известное чувство: если бы я смог еще хоть раз выспаться, прежде чем начнется история --- ! Расположение лучше. Мало работал. Я всё еще не умею выполнять свой долг только потому что он мой долг, сохраняя всего своего человека для духовной жизни. Я могу умереть через час, я мо-

не мог объяснить тебе мои идеи, мне непостижимо. Сумел ли Ты что-то извлечь из его записей?? Боюсь что нет! Если мне придется погибнуть в этой войне, Тебе будет послана моя рукопись, которую я тогда показывал Муру; вместе с другой, которую я написал теперь, за время войны. Если я останусь в живых, то хотел бы после войны приехать в Англию и устно — если тебе угодно — объяснить свою работу. И в первом случае я тоже убежден в том, что кем-то рано или поздно она будет понята! Большое спасибо за присылку Твоего текста о чувственных данных. Я его еще не прочел. Подари мне небо скорее снова хорошие идеи!!! — Твой Людвиг Витгенштейн. Пожалуйста передай сердечный привет Джонсону!» Ответ Рассела от 5.2.1915: «Мой дорогой Витгенштейн! Я был совершенно счастлив услышать о тебе — постоянно думал о тебе и с нетерпением ждал известий. Меня крайне поражает, что ты с начала войны оказался в состоянии создать рукопись о логике. Не могу даже сказать тебе, как велика будет радость снова увидеть тебя после войны, если всё пойдет хорошо. Как только твои рукописи дойдут до меня, я сделаю всё возможное чтобы понять их и позаботиться о том, чтобы их поняли другие; но без твоей помощи это будет тяжело. Твое письмо пришло недели 3 назад — я не знал, как мне на него ответить, но теперь это стало возможно благодаря дружескому желанию помочь одного американца, который едет в Италию. Передай от меня приветствия твоей матери и скажи ей, что я постоянно с тревожной привязанностью думаю о тебе. Всегда твой Бертран Рассел.»

1 Висло́ка многоводный правый приток верхней Вислы, впадающий в нее ок. 100 км северо-восточнее Кракова.

гу умереть через два часа, я могу умереть через месяц или только через несколько лет. Я не могу ни знать это ни что-либо сделать за или против: **такова эта жизнь**. Как я тогда должен жить, чтобы выстаивать в каждый момент? Жить в добром и прекрасном, пока жизнь сама не прекратится.

8.10.14.

Движемся дальше прямо к Сандомиру¹. Ночь была спокойная, я **очень** устал и спал крепко. Стоим теперь у Тарнобжега и через полтора часа будем проходить напротив Сандомира. Когда я устал и мне холодно, то я к сожалению быстро теряю мужество выносить жизнь как она есть. Но я стараюсь не утратить его. --- Каждый час телесного благополучия как благодать.

9.10.14.

Спокойная ночь. Вдали продолжающийся гром канонады. Стоим всё еще у Тарнобжега. Здесь вблизи происходит очевидно громадное сражение, потому что уже больше 12 часов слышится непрерывный грохот орудий. Наш новый экипаж **намного** лучше (приличнее и порядочнее) чем старый. Приказ: всем в вооружении выстроиться на палубе. Со мною Бог! — Двинулись в Сандомир. Слышим непрерывный сильный гром орудий. Мы видим взрывающиеся гранаты. Я в очень хорошем настроении. --- Весь день сильнейшая канонада. Много работал. У меня не окончена еще по крайней мере **одна** основополагающая мысль. ---

10.10.14.

Спокойная ночь. Рано утром снова поднялась канонада. Должны теперь идти дальше к Завихосту². Стоим в Набжеше. Я сплю прямо у стены каюты нашего командира и подслушал разговор взводного с ним: мы должны помочь немцам сформировать переправу через Вислу. Он сказал, нам не приходится ожидать артиллерийского огня, а только огня стрелкового оружия. Много работал. Но без положительного успеха. Со мной так, словно какая-то мысль лежит у меня почти уже на языке. --- !

11.10.14.

Спокойная ночь. --- Ношу «Изложение Евангелия» Толстого **всегда** со мной повсюду как талисман. Подслушал опять разговор нашего ко-

1 Сандомир, Сандомеж русский пограничный город на западном берегу Вислы ок. 15 км севернее Тарнобжега.

2 Русский пограничный город на западном берегу Вислы.

мандира с капитаном другого судна: сегодня нам надо оставаться здесь в Набзеише и только завтра возможно пойти вниз по Висле. Только что подслушал сообщение, что Антверпен пал! И где-то наши войска выиграли большое сражение. Благодать, которой я наслаждаюсь, поскольку могу сейчас думать и писать, неопишима. Мне надо достичь равнодушия перед трудностями **внешней** жизни. Сегодня ночью нам надо идти в Завихост, чтобы высадить войсковую часть и материал. Мы должны проплыть прямо перед русскими позициями. Со мною Бог.

12.10.14.

Не пошли в Завихост. Спокойная ночь. Снова прислушиваюсь: обер-лейтенант и лейтенанты с нашим командиром судна: они еще не знают определенно, что будут делать, но вероятно, что мы пойдем в Завихост. Чужой обер-лейтенант очень честолобив и непременно хочет чтобы мы вышли на фронт. --- Во мне времена безразличия к внешней судьбе перемежаются с такими, когда я снова тоскую по внешней свободе и покою и томлюсь от необходимости выполнять всякий произвольный приказ. В **полной** неизвестности о **ближайшем** будущем! Короче: бывают времена, когда я жить **просто только** в настоящем и с духом не могу. Хорошими часами жизни надо наслаждаться с благодарностью как милостью, а в остальном быть равнодушнее в отношении жизни. Сегодня я долго боролся с какой-то депрессией, потом после долгого времени снова онанировал и наконец написал предыдущее предложение. Слышу сейчас, что сегодня ночью мы должны выполнить запланированное на завтра предприятие; о том, чтобы мы пошли в Краков, еще вовсе никакой речи! Итак сегодня ночью! ---

Мы должны будем стрелять из скорострельных орудий и пулеметов; как я слышу, больше чтобы нагнать шуму чем попасть. Еще я улавливаю, что дело окажется опасным. Если мне придется светить прожектором, то я **точно** пропал. Но это ничего не значит, потому что **только одно необходимо**. Через час мы отправляемся. **Со мною Бог!**

13.10.1914.

Около 11½ пришел приказ, что мы вообще или пока не должны идти в Завихост. Так что спокойная ночь. Тут же слышу, что наши суда получили приказ **немедленно** плыть вниз по Висле. --- Сейчас мы двинемся. Я дух и потому я свободен. Мы стоим у Лопицы и гранаты пролетают над нами со свистом. Оттягиваемся обратно к Надбжевише и идем теперь по новому приказу опять в то же место. После полудня всё вре-

меня сильнейший артиллерийский огонь. Я был вчера всё время в настроении и как пьяный от грома. Вечером мы отплыли в Сандомир, где должны были стоять всю ночь. --- Много работал.

14.10.14.

Спокойная ночь. До вечера стояли в Сандомире и будем пожалуй еще и эту ночь там стоять. Но не очень доволен, потому что снова трудно добиться обзора.

15.10.14

Спокойная ночь. Онанирую теперь примерно один раз в полторы недели. Работаю меньше физически, но зато тем больше духовно; иду спать около 9 часов и около 6 часов встаю. С тепереишим командиром судна я почти вовсе не говорю. Он однако пожалуй не совсем плох. Стояли целый день в Сандомире и останемся сегодня тоже на ночь здесь. Очень много работал и не без уверенности. Мне почти кажется, что я стою вплотную перед каким-то решением. ---

16.10.14

Утром в 8 отправились в Шмуцин¹, чтобы забрать снаряды.

17.10.14

Вчера очень много работал. Узел затягивается всё туже, но я не нашел никакого решения. Вечером мы остались стоять в Баранове² и теперь в 6 часов плывем к Шмуцину. --- Придет ли мне спасительная мысль (der erlösende Gedanke), придет ли она?!! — Вчера и сегодня онанировал. --- Вечером пришли в Шмуцин, где остановимся на всю ночь. Очень много работал. От этого несколько взбаламучен. Нагромоздил очень много материала, не сумев его упорядочить. Но этот наплыв материала я принимаю за добрый знак. Помни, как велика благодать работы! ---³

18.10.14

До обеда закупки. Около полудня мы отправились в Тарнобжег. 5 р. т. в Тарнобжеге. Мало работал. К вечеру на судно поднялись офицеры, чтобы его осмотреть. С одним, которому бросилась в глаза моя нашивка воль-

1 Шуцин, между Краковом и Сандомиром?

2 Австрийское пограничное селение на восточном берегу Вислы ок. 15 км к ю.-з. от Тарнобжега.

3 В этот день Фикер отправил Витгенштейну известие о своем намерении посетить Георга Тракля, лежащего в гарнизонном госпитале Кракова.

ноопределяющегося, я вступил в разговор. Мы очень душевно говорили друг с другом больше часа. Он был очень дружелюбно расположен и не глуп. Он перешел со мной на «ты», что меня радовало. Мало работал. Но это ничего! --- Остаемся на ночь в Тарнобжеге.

19.10.14

Утром пошли в Сандомир, где теперь стоим. Ночью снова онанировал (в полусне). Это происходит оттого, что я мало, почти вовсе не двигаюсь. После полудня снова поплыли в Тарнобжег. Со вчерашнего дня с пиццеварением не всё в порядке. --- Решение проблемы вертится у меня на кончике языка! --- Чувствую себя не очень хорошо, нет настоящей тяги жизни --- ! Очень много работал.

20.10.14

Нездоров. **Очень** много работал. После полудня самочувствие лучше. Но я не особенно счастлив; тоскую по Дэвиду: хоть бы ему можно было по крайней мере написать. Но мой дух говорит во мне против моих депрессий. Со мною Бог. ---

21.10.14

Слышно, мы должны снова идти в Краков. Мне это было бы не неприятно. --- Стоим целый день здесь в Сандомире. Очень много и с большой уверенностью работал. Вечером некоторая усталость, а в этом состоянии я очень податлив на депрессии; но только мужество! ---

22.10.14

Бои здесь поблизости продолжаются. Вечером целая канонада. Много работал. Целый день на ногах. ---

23.10.14

Теперь идем, до полудня, в Тарнобжег. Работаю **очень** прилежно, но пока без успеха. Очень много работал. Много думаю о Дэвиде. Увижу ли я его еще когда? --- ! ---

24.10.14

Плохо спал (слишком мало движения!). Наш командир очень большая посредственность, высокомерен, недружелюбен и третировал каждого как своего слугу. Пополудни в Тарнобжеге, где остаемся на эту ночь. Очень много работал, правда еще без успеха, но с большой уверенностью. Я сейчас веду осаду моей проблемы. ---

25.10.14

Поутру в Сандомир. Вчера вечером к нам пришло нелепое известие, будто Париж пал. Я впрочем тоже был сперва обрадован, пока не осознал невозможности известия. Такие немыслимые известия всегда дурной знак. Когда действительно происходит что-то благоприятное для нас, то *это* и сообщается, и никто не поддается на такие нелепицы. Чувствую оттого сегодня больше чем когда ужасный мрак нашего — немецкой расы — положения! Ведь что против Англии нам не потянуть, кажется мне всё равно что решенным. Англичане — лучшая раса мира — не могут проиграть! А мы можем проиграть и проиграем, если не в этом году, то в следующем! Мысль, что нашу расу разобьют, угнетает меня страшно, потому что я целиком и полностью немец! Внезапно нас орудийный огонь русских [...] ¹

Со мною Бог! --- Это был просто русский аэроплан. --- Очень много работал. Стоим всю ночь в Тарнобжеге и завтра утром идем к Штуцину. К полудню моя депрессия улеглась. ---

26.10.14

Рано утром к Ксуцину. Идем весь день. Голова болит и устал. Тем не менее много работал. ²

27.10.14

С утра пошли дальше в направлении Ксуцина. Очень много работал. Сегодня ночью я на вахте. ---

28.10.14

До и после полудня из-за очень большого утомления почти неспособен работать. Ночью фактически не спал. Бóльшая часть команды перепилась, так что мое вахтенное дежурство было очень неприятным. Пошли с раннего утра к Сандомиру. По пути сломалось одно лопастное колесо. Теперь нас должно буксировать в Краков какое-то другое судно. На пути в Краков. Получил сегодня много почты, в т. ч. *скорбное* известие, что Пауль ³ тяжело ранен и в русском плену — благодарение Богу, с хорошим уходом. Бедная, бедная мама!!! --- --- ---

1 Фраза прервана.

2 В этот день Фикер сообщил Витгенштейну из Кракова о ситуации Тракля и его желании познакомиться с Витгенштейном.

3 Пауль Витгенштейн (1887–1961), потерявший правую руку на русском фронте в 1914.

Еще от Фикера и милая весточка от Йоллес. Наконец, письмо из Норвегии, где Дрогде просит у меня 1000 крон. Но могу ли я их ему послать? Теперь, когда Норвегия присоединилась к нашим противникам!!!¹ Это кроме прочего еще и очень скорбный факт. Снова и снова я поневоле думаю о бедном Пауле, который так вдруг лишился своей профессии! Как страшно. Сколько философии понадобится, чтобы перешагнуть через такое! Если это вообще как-то возможно без самоубийства!! --- Не мог много работать; но работаю с уверенностью. --- Да будет воля Твоя. ---

29.10.14

На пути в Краков. Остановились, потому что наш буксир должен был пойти назад в Сандомир. Ждем когда он вернется! До полудня головная боль и утомление. Думал много о Пауле. Очень много работал. По-прежнему веду осаду моей проблемы, так что многие форты уже взяты. Вижу теперь так ясно и спокойно, как только в лучшие времена. Хоть бы только на этот раз я мог решить всё существенное, пока хорошее время не ушло!

30.10.14

Получили сегодня немецкую газету. Никаких хороших известий, что равносильно дурным известиям! Тяжело работать, когда тебя сбивают такие мысли!! Несмотря на это работал и после полудня. Часто у меня тяжелое чувство оттого что здесь у меня нет никого, с кем я мог бы что-то обговорить. Но я хочу держаться наперекор всем насилиям².

30.10.14

(Вечером) Получил только что милую почту, одну очень милую открытку от Фреге!³ Еще от Тракля⁴ и Фикера, мамы, Клары⁵, фрау Клингенберг. Это меня очень порадовало. Очень много работал. ---

31.10.14

Сегодня поутру снова к Кракову. Целый день работал. Штурмовал

1 Норвегия на самом деле сохраняла всю I мировую войну нейтралитет.

2 Хрестоматийное гётевское «Лила»: «Allen Gewalten Zum trotz sich erhalten, Nimmer sich beugen, Kräftig sich zeugen Rufet die arme Der Götter herbei.»

3 Готлоб Фреге в этой открытке от 11.10.1914 благодарил Витгенштейна за его приветственную открытку.

4 По-видимому, уже из краковского госпиталя. Тракля единственному было сообщено Фикером, что грант ему (20 000 крон) финансируется Витгенштейном.

5 Клара Витгенштейн (1850–1935), тетя философа.

на[...] проблему! Но я скорее оставляю свою кровь перед этой крепостью, чем отступлю не исполнив дела. Самая большая трудность это удерживать взятый бастион до тех пор, пока в нем можно будет спокойно сидеть. А пока город не пал, **нельзя** навсегда спокойно усестся в одном из его фортвов...

Сегодня ночью я на дежурстве и к сожалению уже очень устал от интенсивной работы. Моя работа всё еще без успеха! Только вперед! --- Стоим сегодня ночью в Щуцине.

1.11.14

До полудня дальше к Кракову. Во время вахтенного дежурства сегодня ночью работал; сегодня тоже очень много и всё еще безуспешно. Но не теряю бодрости, потому что постоянно держу в поле зрения **главную проблему**. --- Траклъ лежит в гарнизонном госпитале в Кракове и просит меня навестить его.¹ Как охотно бы я с ним познакомился. Надеюсь встретиться с ним, когда буду в Кракове! Возможно, это было бы мне большим подкреплением. ---

2.11.14

С утра дальше на Краков. Снова чувственность. К вечеру опять застряли на песке. Жгучий холод. Это действительно счастье, что человек имеет самого себя и всегда может ускользнуть к себе. Много работал. **Благодать работы!!**

3.11.14

С утра дальше на Краков. Слышу, что русские снова продвинулись вперед и стоят в 20 км от Опаковица; мы стоим в 10 км оттуда. --- Что теперь со мной будет, если я буду в Кракове?!? Почти целый день работал. --- ! Поплывем вероятно сегодня ночью. Слышим гром канонады и видим вспышки. ---

1 «Глубокоуважаемый господин! Вы обязали бы меня к большой благодарности, если бы одарили меня честью Вашего посещения. Я сейчас примерно уже 14 дней в здешнем гарниз. госп. в пятом отделении для психических и нервных больных. Возможно в ближайшие дни я смогу покинуть госпиталь и снова вернуться на фронт. Прежде чем это будет решено, мне сердечно хотелось бы поговорить с Вами. С наилучшими приветствиями преданный Вам Георг Траклъ.» Письмо в числе многих писем к Витгенштейну было обнаружено в Вене фрау Шарлоттой Эдер в 1988 г. (Reinhard Merkel, Du wirst am Ende verstanden werden. Fünfhundert unbekannte Briefe an den Philosophen Wittgenstein sind in Wien entdeckt worden. — Die Zeit, Nr. 18, 28.4.1989, S. 14).

4.11.14

Спокойная ночь. С утра дальше. Очень много работал. Завтра мы должны быть в Кракове. Слышу, что нам возможно надо ожидать осады Кракова. Тогда мне понадобится много силы, чтобы сберечь дух. ---

Не завись только от внешнего мира, тогда тебе не надо будет бояться того, что в нем происходит. Сегодня ночью вахтенная служба. Легче быть зависимым от вещей чем людей. Но и это ты тоже должен уметь! ---

5.11.14

С утра дальше на Краков, куда мы вроде бы придем поздно вечером. Я очень взвинчен, встречу ли я с Траклем. Очень на это надеюсь. Мне очень не хватает человека, с которым я мог бы немного выговориться. Дело должно идти и без такого человека. Но это бы меня очень подкрепило. Целый день некоторая усталость и склонность к депрессии. Работал не очень много. / В Кракове. Уже слишком поздно, чтобы посетить Тракля еще сегодня. --- Пусть дух даст мне силу. ---

6.11.14

*Рано утром в город, в гарнизонный госпиталь. Там узнал, что Тракль несколько дней назад умер.¹ Это меня задело **очень** сильно. Какая скорбь, какая скорбь!!! Я сразу написал об этом Фикеру. Исполнил поручения и потом к 6 часам пришел на судно. Не работал. Бедный Тракль. --- Да будет воля Твоя. ---*

7.11.14

Вчера около 9 часов вечера вдруг пришел приказ работать на другом судне, светить прожектором. Так что из койки вон и до 3½ ночи светил.

¹ Тракль с конца августа 1914 года ушел на фронт лейтенантом медицинской службы. После сражения при Гродеке один в сенном сарае оказался почти с сотней серьезно раненных на руках, один из которых на его глазах покончил с собой. Тракль сделал попытку застрелиться, у него в последний момент отобрали оружие. Внешне успокоившись, он вернулся к своим обязанностям фармаколога. Через несколько недель его вызвали в Краков и вместо ожидавшегося перемещения по службе положили в военный госпиталь на психиатрическое обследование. Он умер там в ночь с 3 на 4 ноября 1914, как считается, от передозировки кокаина. С этой версией мало вяжутся намерения, высказанные им в вышеприведенном письме к Витгенштейну, и наблюдение его денщика Матиаса Рота, единственного хоронившего его, который открыл гроб и видел сделанный при вскрытии надрез на левом виске, заставивший его подозревать тут какую-то фатальную ошибку врачей. Витгенштейн Фикеру, полевая открытка со штемпелем 9.11.1914 из Кракова: «Вчера вечером прибыл сюда и получил сегодня утром в гарнизонном госпитале известие о смерти Тракля. Я потрясен; хотя я его не знал!»

*Из-за этого очень устал. После полудня в городе с поручениями. Осада Кракова теперь ожидается со всей определенностью. Я буду искать возможности уйти со своего судна. Не работал. Я тоскую здесь по пристойному человеку, потому что здесь я окружен **недостойнством**. Пусть дух не покидает меня и сделается во мне постоянным. ---*

8.11.14

Не очень настроен на работу. Много читаю. Сегодня ночью вахтенная служба. Почти ничего не работал. Несколько озабочен своим будущим. ---

9.11.14

Подслушиваю как раз беседу нашего командира с каким-то другим офицером. Какие пошлые голоса. Вся скверность мира и Краков вопит из них. Пошлость, куда ни глянь. Ни одного чувствующего сердца, насколько хватает глаз!!! ---

*Получил **очень** милую открытку от дяди Пауля¹. Такая открытка должна была бы освежить и подкрепить меня. Но в последние дни я **поддаюсь депрессии**. Ни в чем мне нет настоящей радости, и я живу в страхе перед будущим! Потому что большие уже не покоюсь в себе. Всякое **недостойнство** моего окружения — а такого всегда хватает — ранит меня до глубины, и прежде чем затянется одна рана, получаешь свежую! Даже когда — как сейчас вечером — я не в депрессии, я все равно ощущаю себя не так уж свободно. У меня только редко, да и тогда совсем мимолетное наслаждение за работой, потому что я не могу добиться уюта чувств. Чувствую себя зависимым от мира и должен его поэтому бояться даже тогда, когда в данный момент мне ничего дурного не грозит. Я вижу самого себя, того меня, в ком я сам мог бы успокоиться, как желанный далекий остров, от меня ускользнувший. --- Русские быстро продвигаются к Кракову. Всё гражданское население должно покинуть город. Все наши дела мне кажутся очень скверными! **Пособи мне Бог!!!** Немного работал.*

10.11.14

Снова больше работал. И лучшее настроение. Узнал сегодня, что через Швейцарию могу писать в Англию. Сразу же завтра напишу Дэвиду и по-

¹ Пауль Витгенштейн (1842–1920), которому, рядом с Дэвидом Пинсентом, был посвящен «Прототрактат».

жалуй Расселу. Или может быть уже сегодня. — Надеюсь, теперь снова смогу лучшие работать! --- !!

11.11.14

Приятное письмо от Фикера. Порядком много работал. Мы уже слышали гром канонады со стороны заводов. Отослал письмо Дэвиду. Как часто я о нем думаю! Думает ли он обо мне хотя бы вполнину того? (?) Сегодня в лучшем настроении.

12.11.14

Лишь бы не потерять себя!!! Соберись! И работай не для проведения времени, а благочестиво, чтобы жить! Никому не делай несправедливости! --- Говорят о 6–7-месячной осаде. Все лавки закрыты и открываются только на очень короткое время. Чем серьезнее становится положение, тем грубее делаются унтер-офицеры. Они чувствуют, что теперь безнаказанно могут выгрузить всю свою пошлость, потому что офицеры сейчас теряют голову и никакого контроля в хорошем смысле уже не осуществляют. Всякое слово, которое теперь слышишь, это грубость. Потому что пристойность теперь ни во что уже не ставится, и люди отбрасывают и ту кроху ее, какую еще где-то имеют. Всё это глубоко печально. Пополудни в город. Порядком много работал, **но без настоящей чистоты видения!** Смогу ли я еще и дальше работать? (!) Или занавес уже падает? Это было бы странно, потому что я застрелял внутри проблемы, в разгар осады. --- --- !

13.11.14

Всё время до полудня впустую силился работать. Ясное видение никак не хочет устанавливаться. Много обдумываю свою жизнь, и здесь тоже причина, почему не могу работать. Или наоборот? Мне кажется теперь, что я все еще недостаточно замыкаюсь от других на судне. Я не могу с ними общаться, потому что мне не хватает известной доли пошлости, которая для этого потребна. Но совершенно непонятным образом это замыкание дается мне нелегко. Не то что я к кому-то чувствую малейшее влечение. Но привычка говорить с людьми дружественно так сильна! Сегодня ночью на вахта. Хожу теперь каждый вечер в кафе и пью 2 стакана кофе и добротпорядочная атмосфера идет мне впрок. Мало работал! --- ! Дай мне Бог разум и силу!!! ---

14.11.14

Ночью на вахте почти всё время придумывал правила для своей жизни,

чтобы она хоть чуть стала сносной. Я в бездонной депрессии, т. е. ни в малейшей мере никакой радости жизни. И каждое громкое слово, какое я слышу, меня ранит. Совершенно без основания!! --- Я работал и сегодня ночью на посту. --- Как благодать я должен рассматривать еще и то, что могу спокойно сидеть у себя в каюте и так имею возможность хоть немного собраться. --- Очень мало работал. Целый день большое утомление, так теперь к сожалению часто!! После полудня сильная депрессия прошла, но я был слишком усталый для работы. Вечером как обычно подъем.

15.11.14

Становится зима. --- Вчера получил от Фикера любезную открытку. Вообще-то говорят, что команда судна отсюда уйдет, потому что зимой суда использоваться не будут. Что тогда станет со мной? Нам слышен сильный гром канонады от заводов. Работал не много. Вечером в городе. Снова никакой ясности зрения, хотя я совершенно очевидно стою перед решением глубочайших вопросов, так что почти толкаюсь в него носом!!! Мой дух на них как раз теперь просто слеп! Я чувствую, что стою у **ворот** туда, но не могу их достаточно ясно разглядеть, чтобы толкнуть и открыть. Это исключительно странное состояние, которое я еще никогда не ощущал так ясно как теперь. --- !¹

17.11.14

Как трудно не сердиться на людей! Как это трудно, терпеть. До полудня были всевозможные хлопоты и не добрался до работы. Всякий раз, как я за работой вхожу здесь в соприкосновение с людьми, их низость становится мне так страшна, что ярость грозит взять верх и вырваться наружу во мне. **Снова и снова** я решаю в себе спокойно терпеть и **всегда** снова нарушаю свое намерение. И как это получается, я собственно сам не знаю. Так чудовищно трудно работать вместе с людьми и при этом **ничего** с ними не иметь общего. Снова и снова приходится с ними говорить, о чем-то их спрашивать; они не отвечают или полуотвечают. — Какой расход энергии уже чтобы это проглотить. — Ответ тебе однако нужен; тебе дают неясный приказ etc. etc. etc. А нервы и без

1 Фикеру на следующий день: «Всё, что я узнал о кончине бедного Тракля, это: за три дня до моего приезда он умер от сердечной недостаточности. — Мне было противно дознаваться после этого сообщения еще и о подробностях, так как единственно важное было уже сказано.»

того уже испорчены. Тут трудно жить, если не умеешь сделать себе это совсем легким. Пополудни меня охватила тяжелая депрессия. Она мне камнем лежит на груди. Всякая обязанность становится непереносимой тяготой. К вечеру мое скверное самочувствие улеглось. В душу вернулась чуточка бодрости. Почти не работал. В течение дня, как теперь уже часто, вообще никакого настроения; только вечером достаточный внутренний покой. Или это идет оттого, что вечером я радуюсь сну? --- Да, сегодняшняя депрессия была ужасна!!! ---

18.11.14

Сильный гром от заводов. Говорят, что в ближайшие дни нам надо снова плыть. Наши командир уходит и лейтенант вроде бы заступает на его место. Это меня радует. Слышен пулеметный огонь. Целый день сильный гром канонады с заводов. --- Довольно много работал. Хорошее настроение. Ношусь с планом перевестись отсюда, но не могу прояснить себе это до конца. Моя работа дошла до мертвой точки, потому что мне снова нужно какое-то значительное прозрение, чтобы пойти вперед. ---

19.11.14

Идет снег. Как теперь часто, с утра в угнетенном настроении. Всю первую половину дня работал для судна. После полудня ожидают посещения какого-то генерала. Всё поэтому уже сейчас в возбуждении. К вечеру несколько поработал. Снова сильные бои вокруг Кракова. ---

20.11.14

Сильная канонада. --- Немного работал. Сегодня ночью вахта. После обеда у глазного врача, потому что на вахтенной службе я страдаю от своих плохих глаз. Мне выдадут очки. Мое будущее еще совершенно неопределенно. Завтра я возможно буду говорить с нашим командиром о том, что со мной будет.

21.11.14

Несмолкающая канонада. Большой холод. Почти непрерывный грохот от заводов. Порядочно работал. Но все еще не могу высказать единое спасительное слово. Я хожу вокруг да около и совсем близко, но уловить его само еще не могу!! Всё еще немного озабочен своим будущим, потому что не вполне покоюсь в себе!

22.11.16

Сви́репый холод. По Висле плывет лед. Продолжающийся гром орудий. Не было ни одного настоящего прозрения и порядком устал, оттого мало работал. Спасительное слово не произнесено. Вчера оно было у меня один раз совсем на языке. Но потом оно снова ускользает. --- В посредственном настроении. Скоро пойду спать. ---

23.11.14

*Постоянный грохот. --- Как раз сейчас слышу, что пришла телеграмма: «Водный транспорт прекращен». Так что скоро должно решиться, что из нас будет. --- Мой день проходит теперь в чтении и кое-какой работе, причем я естественно всё время сижу у себя в каюте; каждый 4-й-5-й день вахтенная служба; время от времени чистка картошки, подноски капусты и подобное. Кроме вахтенной службы у меня нет никакой **постоянной** работы (прожектор уже 1½ месяца почти не употребляется). Я чувствую себя поэтому среди команды лентяем, и в мое долгое свободное время по-настоящему не достигаю покоя, поскольку чувствую, что должен был бы работать для судна, но не знаю как. Самое лучшее для меня было бы регулярная работа, которую я мог бы исполнять легко и уверенно. Потому что работа, на которую ты не тянешь, это самое скверное. Сегодня я попытаюсь поговорить с нашим командиром о возможности перевода. Это получилось, и я вправе надеяться, что меня отсюда переведут. Порядочно работал, но всё еще без успеха. Вечером в бане. ---*

24.11.14

*Сви́репый холод! Висла вся перекрыта движущимся льдом. Заходим сегодня в гавань. Хоть бы отправили меня уж отсюда сразу. Тут нескончаемое беспокойство, и никто не знает, что он должен делать. Унтер-офицеры становятся всё пошлее, и один тогда заражает другого и подстегивает его ко всё большей наглости. Есть конечно исключения. Сегодня ночью вахтенное дежурство. **Много** работал. Снова и снова чувствую познание, которого мне не хватает, на кончике языка. Это хорошо. Фикер прислал мне сегодня стихотворения бедного Тракля, которые я считаю гениальными, не понимая их. Они хорошо на меня подействовали. Со мною Бог! ---*

25.11.14

Стоим со второй половины вчерашнего дня в гавани. Отхожие места

судна заперты! И надо бежать далеко до полуоткрытой уборной. Очень холодно. Образ жизни становится всё более невыносим. Работал не много. Только бы скорее отсюда! ---

26.11.14

Когда чувствуешь, что застрял на проблеме, то не нужно больше еще об этом раздумывать, иначе останешься прилипшим к ней. Вместо этого надо подумать, где бы еще взяться, где можешь осесть совершенно уютно. Только не давить! Жесткие проблемы должны все сами собой растаивать перед нами. Сильный гром пушек. Что бы я ни делал, проблемы нагромождаются как гроззовые облака. И я не в состоянии занять в отношении их долгосрочную удовлетворительную позицию. Очень много работал, но не сумев как-то прояснить ситуацию. Наоборот, где ни возьмусь думать: повсюду встречаю вопросы, ответить на которые не могу. Сегодня мне было не по себе, как если бы теперь с моей плодотворностью был конец. Весь предмет как бы снова отодвинулся в даль. И конечно: мои 3-4 месяца прошли. И к сожалению без действительно большого результата! Но мы еще посмотрим! ---

Выясняется, что мы должны занять зимние квартиры, и если будет так, мне придется возможно спать со всеми людьми вместе; что Боже возбрани!! --- Хотел бы в любом случае не терять присутствие духа! Со мною Бог! --- ! --- !

27.11.14

Сегодня вахта. ---

28.11.14.

Вчера очень много работал. Со вчерашнего до сегодняшнего полудня в караульной комнате с 7 рядовыми и на посту. Чувствовал себя особенно сегодня очень несчастным. Добиваюсь всеми мерами своего перевода. Мне кажется, что в окружении этих грубых и пошлых людей, не умиряемых никакой опасностью, должен жалким образом погибнуть, если для меня не сотворится чудо, которое даст мне много больше силы и мудрости чем я сейчас имею! Да, чудо должно бы для меня произойти, если мне предстоит всё это пережить! Я в страхе за свое будущее. Мало работал. Чудо! Чудо. --- ¹

¹ В этот день Витгенштейн благодарил Фикера за присылку стихотворений Тракля: «Я их не понимаю; но их тон делает меня счастливым. Это тон истинно гениального человека.»

29.11.14.

Довольно много работал. --- !¹

30.11.14.

С утра в корпусном штабе. Говорил с нашим командиром насчет себя. Если меня переведут, то я должен буду пойти опять к работнику по кадрам. В случае перехода на зимние квартиры он позаботится, чтобы я получил собственную комнату. Но в ближайшее время прожектор снова будут использовать, и потому мне надо всё еще оставаться здесь. --- Сейчас вечером, когда я вернулся из города, тут большой шум, потому что одно судно должно отсюда отойти. Говорят однако, что и прожектор тоже с ним отправят. --- Это было бы мне совсем неприятно. Так наши планы каждый момент могут быть перечеркнуты, и мне надо держаться за что-то другое, чтобы всё же иметь возможность жить. Был сегодня после обеда у кадровика и говорил с одним пиротехником о том, нельзя ли мне перейти в воздухоплавательное отделение. Он сказал, что мне следовало бы поговорить об этом с пиротехником Влчком из этого отделения. Надеюсь, мне это удастся. --- Работал немного, но не без импульса. Снова некоторая чувственность. Жить только для собственного духа и всё предоставить Богу! --- .

1.12.14.

Вот уже и декабрь! И всё еще никакой речи о мире. Сегодня ночью сильный гром орудий; был слышен свист снарядов. --- Вчера вечером вниз по Висле спустилось какое-то судно, и каждый день на нем дежурит новая команда, напр. завтра мы! Как мне там придется?! С этими товарищами и с этим начальством! --- После полудня пошел искать пиротехника Влчека; не нашел. Был направлен в штабной дивизион артиллерии. Пойду туда наверное послезавтра после вахты. Очень мало работал. Храни меня дух, что бы ни произошло! ---

2.12.14.

Сегодня в полдень идем на вахту. Слава Богу наш командир судна идет с нами, так что по крайней мере один приличный человек будет. Ночью

1 Витгенштейн Фикеру, открытка октября или ноября 1914: «Глубокоуважаемый герр фон Фикер! Огромная благодарность за Вашу милую открытку и прилагаемое письмо Рильке. Он пишет что война отрывает человека от работы — и подумайте только, я работаю как раз последние 6 недель так хорошо, как редко удастся! Многим пожелаю бы такого!»

страшный грохот со стороны заводов. И сегодня около 8 утра он снова начинается. Сегодня ночью нам придется спать под открытым небом. Едва ли у меня дойдет дело до работы. Только не забывать Бога. ---

3.12.14.

Ничего не работал, но много пережил. Но сейчас слишком устал чтобы записывать.

4.12.14.

*Позавчера на вахте не произошло ничего особенного, кроме того что я на бегу упал и до сих пор хромаю. Со всех сторон сильнейший грохот орудий — ружейный огонь, пожары etc. Вчера вечером в штабе гарнизона по моему делу. Один оберлейтенант¹, услышав, что я изучал математику, сказал, что мне следует перейти к нему (на какую-то фабрику). Он похож **очень** славный. Я согласился и был сегодня откомандирован с этого судна. У меня большие надежды. Гром орудий вблизи, очень близко. После полудня в городе. Мало работал. Целый день какое-то утомление, потому что и в прошедшую ночь я тоже очень мало спал. Пораньше лечь! ---*

5.12.14.

Завтра или послезавтра я отсюда ухожу. Где я буду жить, еще не определилось. Ни в коем случае не буду я зависеть от таких вещей. Работал не много; но не стою на месте. Много думаю о милом Дэвиде! Храни его Бог! Меня тоже! ---

6.12.14.

Ночью пушки гремели почти вблизи, так что судно дрожало. Работал много и с успехом. Еще не узнал, когда я ухожу с судна. Завтра наше судно снова будет на полевом карауле, и если утром меня не отзовут, то придется идти вместе со всеми, что мне очень неприятно, потому что нога у меня до сих пор не поправилась после ушиба. Идет дождь, и по здеишим глинистым дорогам страшно плохо ходить. Защити меня дух! --- .

7.12.14.

С ногой у меня хуже. Наверное, не пойду со всеми на вахту. Приказ о моем переводе еще не пришел. Сильный грохот вблизи. --- . Только что

¹ Оскар Гюрт, впоследствии всячески способствовавший Витгенштейну и хлопотавший о присвоении ему воинского звания.

узнал, что ухожу отсюда завтра. Из-за ноги не могу идти в караул. Работал не много. Говорил с нашим командиром; он был *очень* любезен. Утомление. Всё в руке Божией. --- .

8.12.14.

До обеда у «фершала» со своей ногой: растяжение мышц. Работал не много. Том 8 Ницше¹ купил и читал оттуда. Сильно задел его враждой к христианству. Потому что в его сочинениях тоже содержится какая-то истина. Конечно, христианство единственный *надежный* путь к счастью. Но как быть, если кто-то пренебрегает этим счастьем?! Не лучшие ли тогда погибнуть несчастным, в безнадежной борьбе против внешнего мира? Но такая жизнь бессмысленна. Но почему не жить бессмысленной жизнью? Разве это недостойно? Как это вяжется со строго солипсистской точкой зрения? Что я опять же должен делать, чтобы моя жизнь не пошла насмарку? Я должен всегда быть в сознании себя — в сознании Духа. --- .

9.12.14.

С утра в штабе корпуса и получил на себя продовольственную карточку. Не работал. Очень много пережил, но слишком устал чтобы записывать.

10.12.14.

Вчера после полудня в канцелярию к моему новому шефу. Пришлось долго его ждать. Наконец он пришел и сразу дал мне работу. Мне надо было составить реестр мотопил здесь в одной казарме. Одновременно он пригласил меня на 8 часов вечера к себе на квартиру; там будет полковник, которому он обо мне рассказывал, и тот хотел бы меня видеть. Пришел к нему и увидел там 4 офицеров, с которыми ужинал. Полковник бесконечно симпатичный человек (все другие тоже были совершенно славные). Мы говорили до 10½ и разошлись необыкновенно сердечно. --- Сегодня утром искал и нашел жилье. С 10 до 5 вечера в бюро. Потом перенес свои вещи с корабля сюда в новое жилье: совершенно славная, маленькая комната. За 4 месяца впервые один в настоящей комнате!! Наслаждаюсь этой роскошью. До работы не дошло. Но теперь это уже скоро будет. Очень устал, потому что было *очень* много беготни. Ка-

1 Nietzsche Werke, Bd. 8, Leipzig 1904 («Случай Вагнера», «Сумерки божков», «Ницше contra Вагнер», «Переоценка всех ценностей, 1-я книга: Антихрист», стихотворения).

кая благодать, снова иметь возможность спать в постели! Какая благодать фактов. --- . --- .¹

11.12.14.

До обеда в канцелярии, там писал. До работы не дошло. Целый день канцелярия. Оберлейтенант необычайно приятный. До работы не дошло.

12.12.14.

Немного поработал. Был целый день в канцелярии, но дел было немного. Надеюсь завтра поработать больше. Помылся. ---

13.12.14.

Целый день канцелярия. У меня паралич мысли. Мышцы ноги болят, и похоже, что мой мозг тоже хромает. Всё же как-то работал. Всё еще никакого ответа от Дэвида! Получил ли он мое письмо? Принимает ли он войну больше к сердцу чем я?! --- Только бы жив был дух! Он надежная пристань, защищенная, в стороне от безутешного, бесконечного серого моря событий. --- .

14.12.14.

Целый день канцелярия. Не работал. Но за этим уж дело не станет! Милое послание от Йоллес. --- .

15.12.14.

Целый день канцелярия. Как-то работал. Но с моими мыслями дело как в поезде или на корабле, где тоже думается спутанно.

16.12.14.

Целый день канцелярия. Слышал, что мы вероятно скоро переберемся в Лодзь. Как-то работал, но без настоящего апито.

17.12.14.

Ц. д. к.² Не работал. Сильно раздражен этим. --- . Очень мало свободного времени. --- .

18.12.14.

Как обычно. Не работал.

19.12.14.

Немного работал. --- .

1 Открыта Фикеру, без даты: «Недавно я был откомандирован с судна „Гоплана“ и теперь технический служащий при отделении самоходной артиллерии».

2 «Целый день канцелярия»?

20.12.14.

Немного работал. Почти до 5 в канцелярии, потом в город. Приятное чувство бегущего вниз по спине холодка, когда в хорошем настроении знаешь свое одиночество.

21.12.14.

Письмо от Дэвида!! Я его поцеловал. Тут же ответил. Немного работал. --- .

22.12.14.

Не работал. До 6 канцелярия. --- . Совсем мало поработал. Вечером мылся. --- .

24.12.14.

Был сегодня к моей великой радости произведен в военные чиновники без звездочек. --- . Не работал. --- .

25.12.14.

Обедал в офицерской столовой. Как-то работал.

26.12.14.

Почти не работал. Познакомился еще с одним молодым человеком, который в Львове был студентом и здесь теперь шофер. Вечером с ним в кофейной и хорошо развлекался. --- .

27.12.14.

До 9½ р. т. канцелярия. Не работал. Назначен адъютантом оберлейтенанта Гюрта. --- .

28.12.14.

До 10 р. т. канцелярия. Не работал. Очень много дел. --- .

29.12.14.

Чутьочку поработал. В остальном много дел. Вечером баня.

30.12.14.

Не работал. Только не терять себя. --- .

2.1.15.

Позавчера после обеда вдруг узнал, что тут же должен с моим командиром ехать в Вену. Понятно крайнее изумление и радость мамы. Вчера не работал, а исключительно посвятил себя семье. Сегодня до обеда по поручениям. Сейчас полдень, ожидаю Гюрта, с которым должны заняться

делами службы. Хочу отметить только, что мое нравственное состояние теперь намного глубже чем скажем на Пасху.

3.1.15.

Вчера после полудня с Гюртом в Клостернойбург. Потом с мамой дома.

6.1.15.

Вена. Завтра едем обратно. Два дня назад и позавчера с Лабором¹. Вчера с Гюртом в венском новом городе, на обратном пути в Мёдлинге. Обедали с каким-то полковником Ротом, который был мне бесконечно антипатичен. Поехал поэтому сразу из-за стола один железной дорогой в Вену.

10.1.15.

Сегодня поздно вечером приехал в Краков. Устал. Провел много очень приятных часов с Гюртом. Хотел бы я знать, что получится из моей жизни. --- .

11.1.15.

Получил открытку от Фреге! Немного работал.

12.1.15.

Как-то работал. --- .

13.1.15.

Как-то работал. Работаю еще не с большим апіто. Мои мысли устали. Я вижу вещи не свежими, а будничными, без жизни. Словно какое-то пламя угасло и я должен ждать, когда оно само снова начнет гореть. Дух мой однако бодр. Я думаю... --- .

14.1.15.

Немного работал. Еще не хорошо. Очень часто думаю о Дэвиде и нуждаюсь в письме от него.

15.1.15.

Как-то работал; с бóльшим апіто. Вечером мылся.

16.1.15.

Больше работал и с апіто. Очень мало приходится делать для отряда, что мне очень приятно. Еще никаких вестей от Дэвида. В последние недели больше чувственности. --- .

1 Йозеф Лабор, слепой органист и композитор, друг дома Витгенштейнов.

17.1.15.

Снова работал. --- .

18.1.15.

Почти не работал. Чувствовал себя совершенно вялым и без всякого ані-то. Но наверное станет по-другому. --- .

19.1.15.

Очень мало работал. В этом отношении совершенный мертвец. Только не принуждать себя ни к чему!!! Когда я получу известие от Дэвида?!! ---

20.1.15.

Не работал. Но этот покой как живительный сон.

21.1.15.

Как-то работал. Отослал письмо Дэвиду. Пошел с ним прямо к цензору на здешнем главном почтамте, очень приятному человеку.

22.1.15.

Работал.

23.1.15.

Как-то работал. Натыкаюсь теперь из-за невысказанности моей ситуации на тяготы. Только победить самого себя! --- .

24.1.15.

Как-то работал. --- .

25.1.15.

Письмо от Кейнса! Не очень милое.¹ В последние дни много чувственности. --- Работал без успеха. Я в полном мраке относительно того, как будет идти моя работа дальше. Только через чудо она может оказаться

1 Ответ Кейнсу по-английски (без даты): «Письмо, написанное Вами 10 января, получил сегодня. Мне очень интересно услышать, что Рассел только что выпустил книгу. Не могли бы Вы мне ее прислать, позволив заплатить за нее после войны? Мне бы очень хотелось ее посмотреть. Между прочим Вы совершенно неправы, если думаете что солдатская жизнь мешает мне думать о пропозициях. По-настоящему я собственно очень много занимался логикой последнее время и надеюсь вскоре сделать еще намного больше. — Передайте пожалуйста мою любовь Джонсону. Война нисколько не изменила мои личные чувства (слава Богу!!). Или вернее: мне кажется я стал немножко мягче. Хотелось бы знать, смог ли Рассел извлечь что-то из записок, которые я дал Муру прошлую Пасху? Ваш Л. Витгенштейн.»

удачей. Только через то, что извне меня завеса будет снята с моих глаз. Я должен **полностью** отдать себя своей судьбе. Как мое предназначение нависло надо мной, так пусть и будет. Я живу в руке судьбы (только не измелечиться). И так я не измелечусь.

26.1.15.

Милая открытка от Арно. Как-то работал, но без успеха.

27.1.15.

Не работал. Вечером с многими офицерами в кафе. Большинство вели себя как свиньи. Я сам выпил чуточку больше чем обычно.

28.1.15.

Не работал, что меня очень оздоравливает — именно для работы. Очень чувственный, что странно, ведь я теперь не мало движусь. Сплю не хорошо.

29.1.15.

Почти не работал.

30.1.15.

Не работал. Пришлось много нервничать из-за моего внешнего положения, и сделаю вероятно в этом отношении скоро какой-то решительный шаг.

31.1.15.

Не работал.

1.2.15.

Не работал; обедал в офицерской столовой полковника Шольца, где было очень мило. --- .

2.2.15.

Чуточку поработал. --- .

3.2.15.

Не работал. Никаких идей. Обязан теперь взять на себя надзор над нашей кузницей. Как это получится? Пусть дух мне способствует! Будет очень трудно. Но: только мужество! --- . --- .¹

1 В этот день письмо У. Экклзу: «Дорогой Экклз, мы уже век с Вами не переписывались, и думаю славно было бы начать нашу переписку снова. Полагаю Вы знаете что я пошел в армию добровольцем в начале войны. Думаю что вы оба трудитесь для сво-

5.2.15.

Не работал. Много бываю теперь в кузнице. --- .

6.2.15.

Милое письмо от Дэвида (от 14.1).¹

7.2.15.

Не работал. --- . --- .

8.2.15.

От Фикера получил посмертную книгу Тракля.² Вероятно очень хорошую. --- . Чувственность. Сейчас вообще не знаю с какой стороны приняться за мою работу. --- .

9.2.15.

Не работал. --- .

ей страны тем или другим образом. До сих пор со мной всё довольно хорошо и я сделал много математической работы за последние 6 месяцев. — Как Вы и как Ада и миссис Мур, etc. etc.? Посылаю это письмо через Женеву, швейцарский Красный крест. Пришли-те свой ответ тем же путем *скорее*. Мой адрес: Кайзеровский и королевские артиллерийские мастерские укрепленного пункта Краков, полевая почта № 186. Пожалуйста напомните обо мне всем кому приятно помнить о моем существовании. Так что пишите скоро и много. Всегда Ваш Людвиг Витгенштейн. P. S. Я забыл Ваш адрес, так что посылаю это на квартиру Д-ра Мура.»

1 «Гленфилд Фоксом Хилл, возле Оксфорда

14 января 1915 года

Мой дорогой Людвиг —

Огромное спасибо за твое письмо — помеченное 4-м января 1915, — которое я только что получил. Твои письма ко мне доходят вроде бы гораздо быстрее чем мои к тебе: во всяком случае я так рад что ты наконец получил одно мое — посланное 30 августа. Есть еще два других, кроме этого и полученного тобой, которые наверное когда-то дойдут до тебя, оба на краковский адрес. Всего от тебя я получил четыре письма (включая только что пришедшее) с начала войны.

Я очень часто думаю о тебе и пытаюсь представить, как ты поживаешь. Очень мало есть чего сказать — кроме того что я надеюсь Бог даст мы увидимся снова после войны. Благослови тебя Господь! Всегда твой Дейв»

2 Вероятно, вышедший в конце 1914 томик стихов «Себастьян в сновидении». Фикер просил Витгенштейна узнать о могиле Тракля в видах переноса его останков в Инсбрук. Ответ Фикеру 9.2.1915: «Только что получил книгу Тракля. Большое спасибо! Я сейчас в стерильном периоде и не имею никакой охоты воспринимать чужие мысли. Такая охота у меня бывает при спаде продуктивности, не когда она уже *полностью* прекратилась. Но — к сожалению я чувствую себя сейчас совершенно выгоревшим! Тут надо иметь как раз терпение.»

10.2.15.

Не работал. Славное письмо от Фикера. Дарственная надпись от Рильке.¹ Лишь бы я снова начал работать!!! Всё остальное подтянулось бы. Когда мне снова что-то откроется?! Всё это в руке Божией. Только желай и надейся. Тогда ты не потеряешь время. --- .

11.2.15.

Не работал. --- Стою сейчас с одним из офицеров — кадетом Адамом — на очень напряженной ноге. Возможно, дело между нами дойдет до дуэли. Живу поэтому всё еще хорошо и по твоей совести; дух да будет со мною! Сейчас и в любом будущем! --- !

13.2.15.

Не работал. Дух да будет со мною. --- .²

15.2.15.

Вчера как-то работал. Теперь точно не проходит дня, когда бы я хоть раз — пусть лишь бегло — не думал о логике, и это хороший знак. Всевозможные предчувствия! --- Вчера вечером у полковника Шольца, где музицировали (до 12 р. т.). Очень по-домашнему.

17.2.15.

Вчера и сегодня как-то работал. Мое положение в отряде теперь совершенно неудовлетворительно; теперь должно произойти. --- Приходит много раздражения и расстраиваются и расточать свои внутренние силы. Снова очень чувственный и онанирую почти каждый день: так дело дальше не пойдет. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1 Это письмо Рильке считается утерянным.

2 Фикеру в этот день: «Спасибо за Ваше милое письмо от 21.12.14.! Прилагаю отсылаемые мною назад подтверждения [о получении денег], за исключением адресованных мне строк [Карла] Хауэра и милого, благородного письма Рильке. Остальные письма я бы как подтверждения не использовал; в качестве благодарности они для меня — честно признаться — были большей частью крайне несимпатичны. Какой-то неблагородный почти до дурноты приторный тон — етс. Письмо Рильке к Вам тронуло и глубоко обрадовало меня. Расположение всякого благородного человека как опора в шатком равновесии моей жизни. Я совершенно недостоин великолепного подарка, который пишу у сердца как знак и память об этом расположении. Не могли бы Вы передать Рильке мою глубокую благодарность и мою верную преданность! Могила Тракля имеет номер 3570 и обозначение: Группа XXIII. Ряд 13, могила № 45. Пусть воинская деятельность будет Вам радостью!» (Фикер 15.2.1915 вступил во 2-й тирольский полк императорских егерей в Брессаноне, ср. шифрованную запись Витгенштейна 21.3.1915.)

18.2.15.

Почти не работал. Много обдумывал свое положение. Интересно, что со мной будет, во всех отношениях. ---

19.2.15.

Новые неприятности на фабрике. Долгий разговор с моим командиром, не приведший ни к чему толковому. Почти не работал. Эти неприятности сбивают меня с мысли. Всё должно перемениться.

20.2.15.

Трусливые мысли, робкие шатания, боязливое промедление, бабьи жалобы не отвратят беду, не сделают тебя свободным!¹ Не работал. Много думал. --- .

21.2.15.

Не работал. Настроение лучше. Чувственность. Лишь бы я смог снова работать!!! --- ! --- .

22.2.15.

Не работал. Сегодня ночью чудовищно много и живо, но не плохо спилось. Много неприятностей с командой. Раздражение и нервы, даже от [...] ², etc. etc.

23.2.15.

Не работал. Мои трудности всё еще не улажены.

26.2.15.

Не работал! Начну ли я когда снова работать?!? Мрачное настроение. Нет вестей от Дэвида. Совершенно покинут. Думаю о самоубийстве. Начну ли я когда снова работать??!

27.2.15.

Не работал. Мрачное настроение. Очень чувственный. Ощущаю себя одиноким. Цель моей работы кажется мне больше чем когда-либо задвинутой в непроглядную даль! Мне не хватает мужества, уверенного в победе и надеющегося. Со мной так, словно мне уже никогда не предстоит сделать великого открытия. Уже давно я не был так покинут всеми добрыми душами как сейчас. Не теряй только сам себя!! --- . --- .

1 Повторение Гёте (неточное), как 30.10.1914.

2 Слово неразборчиво.

28.2.15/1.3.15.

Не работал. Нет вестей от Дэвида! Настроение неопределенное и меняющееся.

2.3.15/3.3.15.

Не работал. Вчера вечером один мгновенный проблеск. Нет известий от Дэвида! --- Приятный вечер у Шольца. В остальном общее мрачное настроение.

4.3.15.

Не работал. Нравственная вялость, однако сознаю громадную трудность моего положения. И до сих пор у меня еще полная неясность в отношении того, как его исправить.

5.3.15.

Говорил сегодня с Гюртом о недостатке моего положения. Еще никакого решения. Возможно, я пойду пехотинцем на фронт. ---

6.3.15.

--- . --- . Мое положение всё еще неопределенно, настроение резко переменчиво. --- .

7.3.15.

--- . Положение не изменилось. Сам с собой я еще [...] ¹ в неясности относительно уместного изменения. Вдруг снова начинается сильный мороз! Совсем не ко времени! Чувствую себя неблагополучно. Я так сказать душевно распряжен, очень расслаблен. Что против этого сделаешь?? Меня изматывают враждебные обстоятельства. Вся внешняя жизнь со всей ее пошлостью и низостью наваливается на меня. И я внутренне полон ненависти и не могу впустить в себя дух. Бог есть любовь. --- Я как выгоревшая печь, полная шлака и дряни. --- --- --- --- --- --- --- --- .

8.3.15.

Ситуация не разрешилась. Без изменений! Депрессии. --- . --- --- --- --- --- --- --- --- .

9.3.15.

Ситуация не разрешилась! --- . --- . Настроение чуткое, но плохое. --- --- --- ---

¹ Слово неразборчиво.

10.3.15.

Очень чувственный. Нерешительный беспокойный дух. --- --- ---
--- --- --- .

11.3.15.

Не работал. Положение без изменений. Ничего кроме неприятностей.
--- . --- .

12.3.15.

Не работал. Много думал. Положение не разрешилось. --- .

13.3.15.

Положение то же. В полной нерешительности. --- .

14.3.15.

Положение не изменилось! --- . Не работал. Депрессии. Ломит грудь.
--- . --- .

15.3.15.

Встретил знакомого одноклассника и обговорил с ним мои обстоятельства и завтра буду еще о том же говорить. Теперь я стало быть получил свои отметки (?). И всё еще не работаю. Буду ли я когда снова работать??!! --- --- --- --- --- --- --- .

16.3.15.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- .

18.3.15.

Вчера милое письмо от Дэвида! --- Меня перевели на фабрику. Дэвиду отвечено. Очень чувственный. --- .

19.3.15.

Говорил сегодня с Гюртом о моем будущем. Без успокаивающего результата. Очень чувственный. --- .

21.3.15.

Думаю пойти в императорские егеря, потому что Фикер там. Не очень здоров. Не работал. Стойкое неблагополучие. --- --- --- --- ---

22.3.15.

Нездоров. К вечеру лучше.

ПРИЛОЖЕНИЕ

23.3.15.

Очень чувственный.

24.3.15.

--- . *Не работал! Буду ли я когда снова работать??!!!* --- .

27.3.15.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- ---

29.3.15.

Подавленность! Окружен пошлостью! Как я устал! --- --- --- ---
--- --- ---

31.3.15.

Переменчивое настроение.

4.4.15/5.4.15.

Переменчивое настроение.

15.4.15.

Ничего нового мне больше на ум не приходит! (Гюрт отсюда откомандирован.) Не могу больше подумать ни о чем новом. И до этого может вообще уже не дойти.

16.4.15.

Очень чувственный. О. каждый день. Уже давно никаких вестей о Дэвиде. Я работаю. --- .

17.4.15.

Я работаю.

18.4.15.

Сильно простудился!

22.4.15.

Должен теперь потянуть руководство над всей мастерской. Свежие неприятности.

24.4.15.

Я работаю. --- .

26.4.15.

Работаю. В остальном моя деятельность очень неудовлетворительна.

27.4.15.

Работаю. Я должен теперь проматывать свое время на фабрике!!! ---

28.4.15.

Опять работаю! --- .

29.4.15.

Работаю. В остальном мои дела плохи. Не давай только обрабатывать себя пошлым людям.

30.4.15.

Милое письмо от Дэвида!

1.5.15.

Благодарь работы!

5.5.15/7.5.15.

Всё еще не произведен! Снова и снова неприятности из-за моего неясного положения. Если так еще долго продлится, постараюсь отсюда уйти.

8.5.15/10.5.15.

Много тревожного! Чуть не плакал!!!! Чувствую себя как разбитый и больной! Окружен пошлостью.

11.5.15.

Не работал.

22.5.15.

Милое письмо от Рассела!!¹

1 Считается не сохранившимся. Ответ: «22 мая 1915. Кайзеровские и королевские мастерские укрепленного пункта Краков, полевая почта № 186. Дорогой Рассел! Получил сегодня Твое милое письмо от 10.5. Дзевецкого навещу как только смогу; мне уже сейчас не терпится его увидеть. Что ты не смог понять записи Мура мне чрезвычайно жалко! Чувствую, что без дальнейших объяснений они очень трудны для понимания, но считаю их всё же по существу окончательно правильными. То, что я написал в последнее время, будет теперь, боюсь, еще непонятнее; и если я не переживу конца этой войны, то надо быть готовым к тому, что вся моя работа пропадет. — Тогда надо напечатать мою рукопись, всё равно, понимает ее кто-нибудь или нет! — Проблемы становятся всё более лапидарными и всеобщими и подход к ним полностью изменился. — Будем надеяться на встречу после войны! Сердечнейшие приветствия от Твоего верного Людвиг Витгенштейна.»

24.5.15.

Познакомился сегодня со старым логиком Дзевицким, о котором Рассел мне написал в своем письме.¹ Приятный старый человек.

25.5.15/8.6.15.

*Снова трудности с моим повышением. По всей видимости уйду отсюда. Часто **очень** подавлен из-за низости моего окружения, которое использует меня **позорнейшим** образом. ---*

22.6.15.

*Работаю **очень** много! Несмотря на **отвратительное** окружение!²*

1 Логик Дзевицки из Кракова (работы по схоластической философии), переписывавшийся с Расселом, после войны сообщил ему об этом визите Витгенштейна: «Рад был [...] услышать о Витгенштейне, безусловно дружелюбном молодом человеке, с которым мне было очень приятно познакомиться. Скажите ему пожалуйста, как я рад, что его мрачные предчувствия не сбылись.» Маргиналия Рассела к последней фразе: «Он представлял что погибнет в России».

2 Обрыв в дневнике (считаются потерянными одна-две тетради) отчасти восполняется перепиской того периода. Приведем малую часть ее. Витгенштейн — Фикеру, уже императорскому егерю, штемцелеванное 24.7.1915: «Неделю назад получил Ваше письмо от 11-го. В тот же день из-за взрыва в мастерской я перенес нервный шок и несколько легких ранений, так что не мог сразу ответить. Сейчас пишу в госпитале. Ваше письмо из Бриксена [Брессаноне] я не получил. Ваши скорбные сообщения мне даже слишком понятны. Вы живете так сказать вслепую, во мраке, и еще не нашли спасительного слова. И если я, так в корне от Вас отличающийся, буду что-то советовать, то скорее всего это будет глупость. Но тем не менее рискну. Известно ли Вам «Краткое изложение Евангелия» Толстого? Эта книга в свое время прямо-таки сохранила мне жизнь. Не купите ли Вы себе эту книгу, не прочтете ли?! Если Вы ее не знаете, то не можете себе и представить, как она может действовать на человека!»

Витгенштейн Расселу 22.10.1915: «Дорогой Рассел! Последнее время я очень много работал и, как думаю, с хорошим успехом. Я теперь близок к тому чтобы подытожить всё в целом и записать в форме трактата. Ничего не буду публиковать прежде чем Ты не согласишься. Но это конечно может получиться только после войны. Кто однако знает, переживу ли я ее. В случае если уже не переживу, то попроси моих людей послать Тебе все мои рукописи, среди них находится и последний итог, написанный карандашом на разорванных листках. Тебе возможно доставит некоторого труда всё понять, но не пугайся этого. Мой теперешний адрес: Кайзеровские и королевские поездные артиллерийские мастерские № 1, полевая почта № 12. Видел ли Ты хоть раз Пинсента в последнее время? Если увидишь Джонсона, приветствуй его наилучшим образом от меня. Мне всегда приятно думать о нем и о наших бесплодных и горячих диспутах. Да пошлет нам небо, чтобы мы еще раз увиделись! Самые сердечные приветствия от Твоего верного Витгенштейна.»

Фикеру 2.11.1915: «К. и к. арт. поезд. мастерская 1, полевая почта 12. Дорогой господин ф. Фикер! Вот уже много месяцев как я ничего от Вас не слышал! Как Ваши дела. Когда ничего не слышишь от своих друзей, то кажется, что это жуткое время длится бесконеч-

[...] ¹ и должен лишить себя жизни. ² Я страдал от адских мучений. И всё же картина жизни так манила меня, что я снова захотел жить. Я отправлюсь только тогда, когда действительно захочу отправиться.

29.3.16

Вынужден делать много непривычного. Мне требуется много сил чтобы это выдержать. Часто я близок к отчаянию. Я уже больше одной недели совсем не работаю. У меня нет никакого времени! Боже! Но это ведь естественно, потому что когда я буду мертвый, у меня не будет и ни-

но. Часто почти захлестывает отвращение. С Вами Бог.» Ответ Фикера 14.11.1915: «Как часто я тосковал по Вашему присутствию, потому что ни у кого, ни у кого не было для меня этого слова: защити Вас Бог! Единственного слова, которое человеку нужно и которое сегодня не находит уже ни один человек, никто, чье сердце повернулось бы при этом к тяготам другого [...]»

Гермина Витгенштейн брату 12.1.1916: «Карамазовых я взяла с собой и часто читаю понемногу оттуда. Сейчас я начинаю уже понимать и смысл, в каком надо читать эту книгу, ведь не можешь же ты думать, что от этой книги можно отделаться простым прочтением. Меня так радует, что она всегда напоминает мне о тебе и мне часто прямо-таки кажется, будто я слышу тебя и говорю с тобой.»

В мае-июне 1915 австрийцы вернули себе крепость Пшемисл, а также Львов, 5.8.1915 захватили Варшаву. В конце июля 1915 Витгенштейн в составе поездной артиллерийской мастерской переместился в Сокал на Буге к сев.-зап. от Львова. В остальном до марта 1916 г. о нем почти ничего не известно, кроме сообщения Макса Билера, бывшего с ним в Сокале: «Мы говорили на философские и метафизические темы, которые часто так захватывали нас, что мы забывали место и время [...] Из книг он захватил с собой немного, в том числе „Братьев Карамазовых“. Эта книга ему очень нравилась. Мы часто беседовали между собой о фигуре старца.» Ходатайства оберлейтенанта Гюрта о присвоении Витгенштейну звания инженера ландштурма, затем младшего чиновника инженерных войск получили отказ. В этом длинном ходатайстве, сопровождавшемся отличной характеристикой, упоминается, что Витгенштейн, выполнявший без звания фактически инженерную работу, не мог «несмотря на огромную энергию» поддерживать дисциплину среди унтер-офицеров, профессиональных ремонтников. «По причинам идейного свойства Витгенштейн не пожелал использовать свое право вольноопределяющегося или извлечь какие-либо преимущества из своего гражданского положения и своей хорошей финансовой обеспеченности, так что на судне флотилии р. Вислы он — как часто случается со слабосильными членами команды — почти исключительно использовался для оскоти отхожих мест и подобных работ [...] Оставление Витгенштейна в звании канонира сделает его положение в команде совершенно непереносимым, так что я должен буду уступить его просьбе отправиться в качестве канонира на фронт.»

1 Эта третья из сохранившихся тетрадей военных дневников Витгенштейна начинается с полуфразы.

2 После отклонения ходатайства лейтенанта Гюрта о присвоении Витгенштейну воинского звания он пошел на фронт с зачислением 21.3.1916 в 4 батарею 5 полка полевой гаубичной артиллерии в Санок на верхнем Сане.

какого времени для работы. Сейчас инспекция. Душа у меня сжимается. Боже просвети меня! Боже просвети меня! Боже просвети мою душу.¹

30.3.16.

Ты делай лучшее что можешь! Большие ты сделать не в силах: и радуйся. Будь доволен другими какие они есть. Ведь другие тебе не опора, разве что только на короткое время. (Потом ты станешь им в тягость.) Помоги себе сам и помогай другим во всю свою силу. И будь притом весел! Но сколько сил надо тратить на себя и сколько на других? Это **трудно**, жить хорошо!! Но хорошая жизнь красива. Но да будет не моя, а твоя воля!

2.4.16.

Болею. Сегодня еще большая слабость. Сегодня мой командир сказал мне, что хочет отослать меня в тыл. Если это случится, я покончу с собой.

6.4.16.

Жизнь это

7.4.16.

мучение, которое лишь на время немного отпускает, чтобы ты сохранил чувствительность для других терзаний. Страшный ассортимент мучений. Изматывающий марш-бросок, ночь в непрерывном кашле, сообщество упившихся, сообщество пошлых и тупых людей. Делай добро и будь рад своему достоинству. Болею и живу плохо. Помоги мне Бог. Я бедный несчастный человек. Боже услышь меня и подари мне мир! Аминь.

10.4.16.

Живу с трудом. Просветления мне еще нет. Увидел себя сегодня в зеркале; лицо **совершенно** ввалилось! Я и работать уже давно не могу.

13.4.16.

Спотыкаюсь и всё еще падаю в темноте. Еще не проснулся к жизни.

15.4.26.

Через 8 дней выступаем на огневые позиции. Пусть будет мне дарована милость при каком-нибудь трудном задании поставить на кон свою жизнь!

16.4.16.

С 22.3. **совершенно** асексуален. Последние 2 дня подряд днёвки.

¹ Окончание записи этого дня сделано нормальным алфавитом.

18.4.16.

Завтра или послезавтра на огневые позиции. Так что мужество! Бог может.

20.4.16.

Боже сделай меня лучше! Тогда я буду и бодрее. Сегодня вероятно уже на огневые позиции. Помогите мне Бог.

23.4.16.

*Уже несколько дней на новой позиции. Целый день **тяжелая** телесная работа; не в состоянии думать. Помогите мне Бог. Приходится чудовищно много страдать. Ходатайствовал сегодня о назначении на наблюдательный пункт. В полувзводе всё меня ненавидит, потому что меня никто не понимает. И потому что я не святой! Помогите мне Бог!*

26.4.16.

*Офицеры батареи вроде бы очень хорошо меня переносят. Это избавляет меня от некоторых неприятностей. Благодарение Богу. Да будет воля твоя! Ты иди своим путем! Да будет воля **твоя**!*

27.4.16.

Рядовой состав за малыми исключениями ненавидит меня как вольноопределяющегося. Так что теперь почти всегда я окружен людьми, которые меня ненавидят. И это единственное, что я еще не могу переварить. Мне почти не удастся найти у них следы чего-нибудь человеческого. Боже помоги мне жить. Сегодня у меня было предчувствие, что сегодня ночью будет тревога. И действительно сегодня ночью готовность. Да будет со мною Бог! Аминь.

28.4.16.

Ночью спокойно. Написал Расселу. Сегодня ночью у меня был плохой сон. Защити меня Бог.

29.4.16.

*После полудня у разведчиков. Нас обстреляли. Думал о Боге. Да будет воля **твоя**! Да будет со мною Бог.*

30.4.16.

*Пойду сегодня во время огневого налета снова к разведчикам: человек нуждается **только** в Боге.*

2.5.16.

Должен непрестанно обороняться против человеческой низости.

3.5.16.

Приходится трудно! Защищи и поддержи меня Бог. Аминь. Пусть минует меня более тяжелая чаша. Но да будет воля твоя. Работа спит в моей голове.

4.5.16.

Пойду возможно завтра по моей просьбе вперед к разведчикам. Тогда впервые для меня начнется война. И кто знает — жизнь тоже! Может быть близость смерти принесет мне свет жизни. Да просветит меня Господь. Я червяк, но через Бога стану человеком. Укрепи меня Бог. Аминь.

5.5.16.

Сижу как принц в заколдованном замке на наблюдательном пункте разведчиков. Сейчас при свете дня спокойно, но ночью, вот когда должны начаться страшные вещи! Выдержу ли я это???? Сегодняшняя ночь покажет. Пособи мне Бог!!

6.5.16.

В постоянной опасности для жизни. Ночь прошла по милости Божией хорошо. Время от времени падаю духом. Это школа ложной концепции жизни! Понимай людей! Всегда, когда тебе хочется их ненавидеть, стайся их вместо того понять. Живи в душевном мире! Но как ты придешь к душевному миру? Только живя как угодно Богу! Только так есть возможность вынести жизнь.

7.5.16.

Ночь прошла спокойно. Благодарение Богу. Только я один жалкий.

8.5.16.

Спокойная ночь. Со мною Бог! Люди, с которыми я рядом, не столько пошлые, сколько чудовищно ограниченные. Это делает общение с ними почти невозможным, потому что они вечно тебя недопонимают. Люди не тупы, но ограничены. В своем кругу они достаточно умны. Но им не хватает характера, а тем самым широты. «Всё поймет праведно верующее сердце.» Не могу сейчас работать.

9.5.16.

Мог бы иметь сейчас вдоволь времени и покоя для работы. Но во мне ни-

каких шевелений. Мой материал на большом расстоянии от меня. Только смерть впервые придает жизни ее значение.

10.5.16.

По благодати Божией сегодня у меня всё очень хорошо. Работать я к сожалению не могу. Но да будет воля твоя! Аминь. В опасности он меня не покинет!! --- .

11.5.16.

Послезавтра перемена позиции. **Очень** неприятно! Но да будет воля твоя.

16.5.16.

На третьих позициях. Как всегда много тягот. Но и большая благодать. Я слаб как всегда! Не могу работать. Буду сегодня спать под пехотным огнем, вероятно погибну. Бог да будет со мною! Во веки аминь. Я слабый человек, но он меня до сих пор хранил. Хвала Господу во веки, аминь. Предаю Господу душу мою.

21.5.16.

Да сделает Бог из меня лучшего человека!

25.5.16.

Нас обстреливают. Как хочет Господь!

27.5.16.

Письма от Мининг¹ и мамы. Сегодня или завтра ожидается русское наступление. Теперь как Бог пожелает. Я слишком глубоко увяз в грехе. Но Бог меня простит.

28.5.16.

В последние недели очень беспокойный сон. Сны всегда о службе. Сны, которые всегда подталкивают меня к границе пробуждения. За последние 2 месяца только трижды о.. Мое окружение отвратительно мне против моей воли. Часто они кажутся мне не людьми, а уродами. Низкая ишваль. Я не ненавижу их, но они мне отвратительны. Сегодня высокая степень готовности. Мой командир очень любезен со мной. Думаю о цели жизни. Это лучшее, что ты еще можешь делать. Мне следовало бы быть счастливее. Ох, если бы мой дух был сильнее!!! Но со мною Бог! Аминь.

1 Гермина, старшая сестра Витгенштейна.

29.5.16.

Со мною Бог.

6.7.16.

Колоссальные напряжения в последний месяц.¹ Много думал о всевозможных вещах, но странным образом не могу установить связь с моими математическими ходами мысли.

7.7.16.

Но связь будет установлена! Что не дает себя сказать, не дает себя сказать!

8.7.16.

Жалко, жалко! У меня нет времени для работы!

9.7.16.

Не раздражайся на людей. Люди мрачные плуты. И всё же ты не должен на них раздражаться. Их слова не смеют в тебя проникать. Когда они с тобой заговаривают, хранить спокойствие еще легко. Но когда они наглейт и грубейт в отношении тебя, то всё в тебе бунтует. Не раздражайся. Раздражение тебе вовсе не поможет.

14.7.16.

Благодать работы.

16.7.16.

Жуткая погода. В горах², с плохим, совершенно недостаточным охра-

1 Первый брусиловский прорыв начался 4.6.1916 и длился с перерывами до декабря 1916. 300 000 австрийцев были взяты в плен. Всё это время Витгенштейн был артиллерийским наблюдателем. 16.6.1916 он был представлен к награде за «храброе поведение перед лицом врага. Он действовал в 3-х дневном сражении 4–6.6 с. г. как наблюдатель на открытых местах [...] и оставался несмотря на последовавший сильнейший артиллерийский и пехотный огонь на своем наблюдательном посту, откуда делал важные сообщения о ходе сражения. Бесстрашный храбрый унтер-офицер.» Согласно еще одному представлению «на наблюдательном посту 417 батареи он непрерывно вел наблюдение под ураганным огнем, хотя я [командир 4 батареи лейтенант Генрих Бергль] много раз кричал ему, чтобы он прикрывлся. Своим исключительным поведением он производил на своих товарищей очень успокаивающее впечатление.» (6.10.1916 Витгенштейн получил серебряную медаль 2 класса за храбрость, а 19.10.1916 бронзовую медаль за храбрость.) В том же качестве он участвовал в сражении под Каломеей в Буковине, когда корпус генерала Пфланцер-Балтина, куда входила его батарея, потерял 12 500 солдат из 16 000.

2 Во время этого брусиловского наступления австрийская армия, включая артиллерию, оттянулась в Карпаты.

нением, ледяная стужа, дождь и туман. Мучительная жизнь. Страшно трудно не потерять себя. Ведь я же слабый человек. Но дух помогает мне. Всего лучше было бы мне уж заболеть, тогда мне перепала бы хоть чуточка покоя.

19.7.16.

Всё еще раздражаюсь. Я слабый человек.

20.7.16.

Только продолжай работу, чтобы ты стал хорошим.

24.7.16.

Нас обстреливают. И при каждом выстреле душа у меня сжимается. Мне бы так хотелось еще дольше пожить!

26.7.16.

Трогательное письмо от Дэвида. Его брат, пишет он, убит во Франции. Жутко! Это милое дружеское письмо открывает мне глаза на то, как я живу здесь в изгнании. Это возможно целительное изгнание, но я ощущаю его теперь как изгнание. Я в изгнании среди форменных чудищ и должен жить с ними среди сквернейших обстоятельств. И в этом окружении я должен вести хорошую жизнь и очищать себя! Помоги мне Бог.

29.7.16.

Меня вчера обстреляли. Упал духом. Был страх смерти. Теперь у меня такое желание жить! А трудно отрешиться от жизни, когда наконец привязался к ней. Это и есть «грех», неразумная жизнь, ее ложное понимание. Время от времени я становлюсь животным. Тогда я ни о чем не могу думать кроме как о поесть, попить, выспаться. Страшно! И тогда страдаю я тоже как животное, без возможности душевного спасения. Тогда я отдан в жертву своим похотям и своим неприязням. Тогда нечего и думать об истинной жизни.

30.7.16.

Смешно: сегодня я рассердился на то, что у пехотинцев, где я теперь на довольствии, я не получаю офицерского пайка, как было договорено вначале. Я веду себя таким образом в высшей степени ребячливо и дурно. Но тем не менее не могу справиться со своим раздражением на понесенную несправедливость. Снова и снова я должен думать об этом и как можно было бы помочь делу. Так туп человек.

6.8.16.

После 3 дней поездом на марше к новым огневым позициям. Здоровье не в лучшей форме и болею от ограниченности и низости моего окружения. Боже дай мне силу и внутреннюю крепость противиться душевной болезни. Боже поддержи во мне радость мужества.

11.8.16

Живу бездумно в грехе, т. е. несчастно. Угнетен, безрадостен. Со всем моим окружением живу немирно.

12.8.16.

Ты знаешь, что ты должен делать чтобы жить счастливо; почему ты этого не делаешь? Потому что ты неразумен. Дурная жизнь есть неразумная жизнь. Дело сводится к тому чтобы не раздражаться.

13.8.16.

Борюсь, всё еще безуспешно, с моей дурной натурой. Боже укрепи меня!

19.8.16.

В окружении пошлости! В обозримое время должен отправиться в тыл на переподготовку. Рад этому. В окружении пошлости. Бог поможет.¹

¹ 1.9.1916 Витгенштейн был произведен в капралы и откомандирован в офицерскую школу в Оломоуце. Там началась его дружба с Паулем Энгельманом (*Paul Engelmann*, Ludwig Wittgenstein. Briefe und Begegnungen. Wien-München 1979). 1.12.1916 Витгенштейн получает звание фенриха (прапорщика, кандидата в офицеры), рождество проводит с семьей в Вене. Где-то в это время он как будто дарит государству 1 000 000 крон на покупку мортиры для снарядов диаметром 30 см; документов об этом нет. 9.1.1917 он возвращается в свою батарею на Буковине между Карпатами и Днестром. Письмо Энгельману со штемпелем полевой почты 26.1.1917: «Снова могу работать, благодарение Богу! Напишите мне сразу и подробно, как Ваши дела.» 28.1.1917 получает еще одну награду и вскоре представлен к новой: «Прапорщик Витгенштейн 15.3 с. г. добровольно, преодолевая труднейшие погодные условия, выдвинулся вперед в направлении Дрвиняча как разведчик патруля связи и доставил очень важные сообщения». Летом 1917 по приказу правительства Керенского началось 2-е наступление Брусилова в восточной Галиции. В послужном списке младшего офицера разведки Витгенштейна записано участие в позиционных боях 9.7.1917 при Росульне, 10–11.7.1917 в сражении при Баян-Росульне, 12–22.7.1917 при Каме и Рдзянах, Стаме (24.7.), Коломее (26.7.), Князе (29.7.), Вашконце (30–31.7.), Хлимце (1.2.8.), при наступлении и захвате 3.8.1917 города Черновцы. С 4.8.1917 до перемирия на восточном фронте 29.11.1917 он также участвовал в боях, сначала позиционных, потом при австрийском наступлении на Боян. В сообщении по начальству о нем говорилось: «Закаленный скрытный характер. Исключительно хорош для примене-

ния как разведчик, с очень большим мужеством и неустрашимостью. Во всех сражениях зарекомендовал себя в этом качестве, в прочих должностях как артиллерийский офицер в меньшей мере пригоден [...] Оказывает хорошее влияние на подчиненных, особенно в боевых условиях.»

22.7.1917 ему была присвоена, 25.8.1917 вручена серебряная медаль за храбрость 1 класса: «Прапорщик Витгенштейн в боях под Лыдзянами 10–20.7 с. г. образцово осуществлял службу как офицер разведки. Непрерывно находясь под тяжелейшим артиллерийским огнем на своем посту, он направлял огонь батареи на угрожающие места, которые командир батареи видеть не мог. Благодаря этому противнику в решающие моменты были причинены ощутимые потери. Ввиду чрезвычайно храброго поведения перед лицом противника и хороших успехов этот дельный и энергичный прапорщик выдвигается на высшую награду.»

С восточного фронта Энгельману 31.3.1917: «Получил сегодня из Цюриха две книги того Альберта Эренштейна, который в свое время писал в „Факел“ (я однажды сам того собственно не желая поддержал его) и в благодарность он посылает мне теперь „Тубуч“ и „Человек кричит“. Дерьмо собачье; если я не ошибаюсь. И такую сдачу я здесь получаю! Пожалуйста пришлите мне — стихи Гёте, *второй том*, где венецианские эпиграммы, элегии и письма! И еще стихи Мёрике (Реклам)! Я работаю довольно усердно и хотел бы быть лучше и умнее. А это одно и то же. — Помогите мне Бог! Я думаю часто о Вас. О „Сне в летнюю ночь“ и о втором балете в „Мнимом больном“ [любительский спектакль под режиссурой Энгельмана в Оломоуце] и о том, как Вы мне принесли суп.» 9.4.1917: «Дорогой герр Энгельман! Большое спасибо за Ваше милое письмо и книги. Стихотворение Уланда [„Боярышник графа Эберхарда“] действительно великолепно. И это так: если ты не согласишься высказать невысказываемое, то *ничего* не теряешь. Но невысказываемое — невысказанно — *содержится* в высказанном! Генделевские вариации Брамса я знаю. Чудовищно —

Что касается Вашего переменчивого настроения, то это так: мы спим. (Я однажды уже сказал это герру Гроагу, и всё так.) *Наша* жизнь как сон. В лучшие часы мы однако бодрствуем достаточно для того чтобы узнать что мы спим и видим сны. Большей частью мы однако в глубоком сне. Сам себя я разбудить не могу! Я силюсь, мое сновиденческое тело (Traumleib) делает движения, но мое настоящее *не шевелится. Это к сожалению так!*»

Энгельману, штемпель полевой почты 27.8.(1917): «Благодарю Вас за Вашу открытку. Мог бы Вам много сообщить, но не могу ничего писать. Мой мозг работает с большой силой. Передайте самый теплый мой поклон Вашей госпоже матери.» Ему же: «Пожалуйста скажите герру Гроагу не мог ли бы он несмотря на опасность быть так любезен и послать мне мои рукописи. Если они оттого пропадут то такова была воля Божия.» Ему же 4.9.1917: «Пожалуйста будьте так добры и пришлите мне Библию в небольшом но все же еще читаемом формате. Мой адрес: Полк полев. гауб. 5/4, п/п 286. Мог бы вам многое сообщить, но всё еще не могу выложить.»

Братание с русскими на восточном фронте, о котором относительно Витгенштейна сообщает Рассел в своей автобиографии, могло происходить поздней осенью 1917 г. до или во время заключения перемирия с правительством большевиков.

Рождество 1917 г. Витгенштейн провел снова с семьей в Вене, после чего пошел на южный фронт. Энгельману 16.1.1918: «Дорогой друг! Огромное спасибо за Ваши строки от 8.1. Если бы только я их понял! Но я их не понимаю. Это конечно разница между мной теперь и тогда, как мы виделись в Оломоуце. А эта разница насколько я знаю та,

что теперь я стал *немного* порядочнее. Я тут имею в виду только что теперь я себе немного яснее в отношении моей непорядочности чем тогда. Если Вы теперь скажете что у меня нет веры, то Вы *совершенно правы*, только ее у меня и прежде не было. Да и ясно, что человек, который, так сказать, хочет изобрести машину чтобы стать порядочнее, что этот человек не имеет веры. Но что прикажете делать? *Одно мне ясно*: я слишком скверен чтобы сметь фантазировать о себе, но я или останусь дерьмом собачьим или сделаю себя лучше, и на том баста! Только без трансцендентальной болтовни, когда всё ясно как оплеуха. Не исключено что я вскоре приеду в Оломоуц для переподготовки! Вы конечно во всем совершенно правы.»

10.3.1918 Витгенштейн офицер разведки в 11 полку горной артиллерии 11 армии генерала фон Шойхенштюля, действовавшей в районах Асиаго, Монте Граппа и Трентино против итальянцев, англичан и американцев. Австрийцы копили силы, готовя июньское наступление, и с 10 по 25 мая 1918 Витгенштейн был на офицерских курсах в Тренто.

Открытка Энгельману от 1.6.18: «Посылаю Вам несколько книг, которых Вы не заслуживаете, поскольку Вы слишком ленивы даже чтобы откликнуться на настоятельную просьбу». (На просьбу о лекарстве от энтерита в письме от 9.4.1918?)

Как разведчик батареи самоходной артиллерии непосредственной поддержки пехоты Витгенштейн участвовал в первой атаке 15.6.1918. Ходайство о награждении его золотой медалью за храбрость для офицеров: «В сражении при Асиаго 15.6 с. г. как разведчик штурмовой артиллерии выдвинулся вперед с первым эшелоном наступающих войск. Вел разведку обстоятельств боя под сильным пулеметным и артиллерийским огнем, причем 2 солдата из его патруля были ранены. Под поистине ураганным огнем обеспечил отправку раненых в тыл, вернулся на батарею поддержки пехоты, находившуюся под тяжелейшим артиллерийским огнем. Когда 1-й офицер с 3 солдатами был контужен взрывом 28-сантиметровой гранаты, заступил на его место и руководил не щадя себя спасательными работами. Когда был дан приказ об отводе орудия, он под косящим ураганным огнем за короткое время отвел его в исходное положение. Его выдающееся мужеством поведение, спокойствие, хладнокровие и геройская доблесть вызвали у орудийного расчета полнейшее изумление. Своим образом действий он показал блестящий пример солдатской верности долгу и исполнительности.» Ввиду возражений полковника Данцера, по мнению которого атака дала «слишком малый» результат и золотая медаль за храбрость «чересчур много», Витгенштейну присудили только медаль за воинские заслуги на ленте с мечами, которая была ему вручена 22.9.1918. Позднее он смеялся над тем, как это храбрость измеряется успехом.

Июньское наступление заглохло, Австрия потеряла 100 000 человек. 5.7.1918 Витгенштейну разрешили отпуск домой с характеристикой «очень умный, серьезный характер, исключительно мужественный, очень дисциплинированный, хороший товарищ [...] замечательный офицер разведки [...] весьма благожелательный и требовательный по службе к подчиненным, особенно в сражении [...] энергичный (schneidiger) офицер».

В отпуске с июля по конец сентября 1918 г. Витгенштейн закончил, в основном у своего дяди Пауля в Халляйне под Зальцбургом, редакцию «Логико-философского трактата» (так называемый «Прототрактат») и в конце августа послал машинописный венскому издателю Ягоде. Известно, когда он получил письмо, которое Эллиен Пинсент, мать Дэвида, послала ему 6.7.1918: «Мой дорогой мистер Витгенштейн. Я знаю что вас очень огорчит услышать печальную новость что я должна сказать вам. Мой сын Дэвид погиб во время полета 8 мая. Он занимался исследованиями по аэродинамике и выполнил большую ценную работу. Он был совершенно счастлив при полетах, любил это, и думаю в послед-

ние месяцы своей жизни он был так счастлив как только возможно человеку. Он нашел работу для которой был по-настоящему пригоден и чувствовал себя по-настоящему полезным. Нам сказали что работа, которой он был занят, была связана со способами спасения многих жизней в будущем и он встретил свою смерть исследуя причину предыдущего несчастного случая. Хочу сказать вам как он любил вас и ценил до последнего вашу дружбу. Я видела его за день до его гибели и мы говорили о вас. Он всегда говорил о вас с большим чувством и жалел что не может написать вам [...]» Витгенштейн думал после этого сообщения о самоубийстве и дядя Пауль много сделал чтобы сохранить ему жизнь. «Прототрактат» был посвящен им обоим. Из письма Расселу 6.8.1920: «Каждый день думаю о Пинсенте. Он забрал с собой половину моей жизни. Вторую половину черт возьмет.»

В конце сентября Витгенштейн вернулся на фронт в Асиаго. 9.10.1918 он пишет Энгельману:

«Жизнь у меня собственно очень счастливая! Вплоть до времени когда она чертовски несчастна. (Я не острою.) Ягода еще не соизволил сообщить мне свой приговор. Я уже в большом напряжении.» Ему же 22.10.1918: «Д. г. Э.! Всё еще не получил никакого ответа от издателя! И у меня непреодолимое нежелание написать ему и спросить. Черт знает что он делает с моей рукописью. Возможно, подвергает ее химическому анализу на годность. Пожалуйста проявите *большую* доброту и как-нибудь, когда будете в Вене, зайдите к проклятому негодю (Kujon, [couillon]) и напишите результат! Работать у меня сейчас не получится, но околоть возможно да.» Ему же 25.10.1918: «Д. г. Э.! Сегодня получил от Ягоды сообщение, что он не может напечатать мою работу. Якобы по техническим причинам. Мне однако очень хотелось бы знать, что сказал о ней Краус. Если представится случай это разведать, я буду очень рад. Возможно, что-то знает Лоос. Пишите мне. Ваш Витгенштейн.»

24.10.1918 союзники начали наступление на Асиаго. В эти дни покончил самоубийством, не сумев удержать свою разбегающуюся часть, брат Витгенштейна Курт. Австрийцы (собственно, венгерская пехотная дивизия, в которую входила штурмовая артиллерия) держались до 30.10.1918, после чего отступили к Тренто. Но тот уже был взят англичанами и французами, и 3.11.1918 Витгенштейн оказался в итальянском плену, из которого вернулся согласно документам только 26.8.1919.

Лагерь для 2000 военнопленных офицеров в Кассино (южнее Рима) под горой с монастырем св. Бенедикта Нурсийского, рассказывает Вильгельму Бауму, немецкому издателю шифрованных дневников, Франц Парак, попавший туда еще раньше Витгенштейна, состоял из двух рядов бараков за высокой стеной. Бараки были поделены на небольшие помещения, в каждом два ряда железных кроватей с матрацем, подушкой и двумя одеялами. С вечера давали порцию хлеба, утром кофе без молока, в остальном офицеры сами организовывали себе питание на получаемое ими в зависимости от звания (140 лир лейтенант, 170 обер-лейтенант) денежное довольствие. Была подаренная из Швейцарии библиотека, военнопленные читали курсы и лекции по своим гражданским специальностям.

Парак обратил внимание на новичка, явно из хорошей семьи, узкоголица, с благородным профилем, среднего роста, по фигуре и виду моложе своих 30 лет; воротник зеленой гимнастерки расстегнут, поверх него воротник рубахи, штанины бриджей снизу спрятаны под обмотки. Он ходил без фуражки, коричневые волосы вроде бы слегка завивались; всего больше его отличала речь, необыкновенно отчетливая, и движение головы, обычно склоненной, но время от времени он ее вскидывал глядя в даль. Учитель

литературы, Парак коротал время сочинением рассказов; их захотел прочесть и Витгенштейн, в свою очередь показавший свою рукопись, около 50 машинописных страниц в коричневой тканевой обложке. Парака, не философа, воодушевил язык Трактата: «Мир есть всё, что имеет место»; вторая фраза была тогда не «Мир есть совокупность фактов, не вещей», а «Что имеет место, говорит нам, что имеет место и что не имеет места», что звучанием напоминало Параку начало Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово». Витгенштейн объяснил: если книга лежит на столе, то это положение вещей; если значок (Zeichen) претендует отобразить положение вещей, то элементы рисунка (Zeichnung) должны соответствовать предметам действительности; если мы выражаем то же речью, то фраза есть образ положения вещей в языке. Витгенштейн (всё это воспоминания Парака в 1970-х годах) писал Расселу: «Если бы ты был в моем положении, то, знаешь, я приехал бы к Тебе на край света»; он не знал, что Рассел как пацифист попал в тюрьму. Вместо Рассела однажды явился итальянский курьер и забрал коричневую тетрадку, которую итальянская мирная делегация отвезла вероятно в Версаль. Свою философскую задачу Витгенштейн считал выполненной в Трактате и всего больше хотел стать священником или (поскольку для этого надо было пройти 8 семестров теологии) учителем и читать детям Евангелие. Однажды автор «Логико-философского трактата» с жадностью набросился на книгу педагога-методиста Антона Хергета «Логика и дидактика», поскольку не знал, какие вещи пишут в учебниках логики. Со многим в учении о понятии, видах суждения, законах мышления, умозаключениях и доказательстве он не согласился. Однажды, занимаясь теорией преподавания, Витгенштейн заявил, что он возрожденный. Когда, в другой раз, Парак с увлечением заговорил о египтянах, чьими надгробными надписями занимался, Витгенштейн отверг веру в предсуществование душ; всё равно ведь мы не можем помнить о прежней жизни. Парак пришел к выводу, что возрождение Витгенштейн понимает в смысле 2 Кор 5,17: когда ты во Христе, то ты новый человек; и что свое имущество он роздал тоже следуя Евангелию (Мф 19,16–23). Льву Толстому это не удалось, и не потому ли, думает Парак, за все время плена о Толстом не было разговоров, тогда как «Преступление и наказание», нашедшееся в библиотеке, Витгенштейн неоднократно читал в послевоенное время кругу друзей, среди которых были армейский товарищ Людвиг Хензель, скульптор Михаэль Дробил, литературовед Алоиз Юнгвирт, Парак. На вопрос последнего, почему он так высоко ценит Достоевского, Витгенштейн ответил, что из-за его необычайно религиозной настроенности. «Братья Карамазовы», говорил он, еще великолепнее; но этой книги в библиотеке не оказалось. Алёша, чье имя он произносил любовно Aljoscha, был в некотором смысле его идеал. Он крайне зависел от своего настроения и отказ Фреге понять «Трактат» был для него провалом в бездну. Он говорил, что у него нет веры. Как много он думал о Боге, показывают его личные бумаги; о вере, был он уверен, нет смысла говорить, можно только показать что ты ее имеешь. Критикуя кого-нибудь за размытость представлений, он считал прежде всего необходимым найти слово, отчетливо отвечающее мысли: «Язык это всё», не раз говорил он.

Особые отношения были у него с музыкой, начиная с детства. В его музыкальной семье от предков хранилась тетрадь с понятными только их автору мыслями и соображениями Бетховена к его «Missa solemnis». Витгенштейн однако не считал Бетховена величайшим композитором, не в меньшей мере он ценил Гайдна; Вагнера не терпел. Похоже, всего больше он любил Баха и часто просил Парака просвистеть с ним на два голоса ту или иную тему из какой-нибудь фуги. Вообще очень критичный в суждении, на выставке рисунков военнопленных он назвал приличной только одну картину, и то лишь за лу-

жайку на ней; настоящая картина действует как удар в лицо, говорил он. О ложно патетическом чтении одним офицером-актером стихов он проходя мимо отозвался: «Невозможно слушать, это как электрический шок.» На лекции, тем более философские, он не ходил. Со временем он начал уклоняться «как мимоза» от общения с Параком.

21.8.1919 открылись ворота лагеря, скоро снята была охрана и приехавших туда в вагонах для скота офицеров отправили в пассажирских вагонах второго класса домой.

В плену Витгенштейн возобновил переписку с Расселом. Открытка из Кассино, провинция Казерта, 9.2.1919: «Дорогой Рассел! Не знаю Твоего точного адреса, но надеюсь что эти строки как-то дойдут до Тебя. Я в плену в Италии с ноября и надеюсь общаться с Тобой после трех лет перерыва. Я выполнил горы логической работы, которую смертельно хочу показать Тебе перед публикацией. Всегда Твой Людвиг Витгенштейн.» Открытка 10.3.1919: «Ты не можешь себе представить как я был рад получить Твои открытки! Хотя боюсь что нет надежды на нашу скорую встречу. Разве что ты приедешь навестить меня сюда, но это было бы для меня слишком много роскоши. Не могу писать о логике потому что не разрешено писать больше 2 открыток (15 строк каждая) в неделю. Я написал книгу, которая будет опубликована как только я буду дома. Мне кажется что я окончательно решил наши проблемы. Пиши мне часто. Это сократит мой плен. Благослови Тебя Бог [...]» 13.3.1919: «[...] Это письмо исключение, его отправил австрийский студент медик, уезжающий завтра домой. Я написал книгу под названием „Логико-философский трактат“, содержащую всю мою работу последних шести лет. По-моему я наконец решил наши проблемы. Это возможно звучит заносчиво, но мне невольно кажется что всё именно так. Я закончил книгу в августе 1918 и через два месяца стал *prigione*. Рукопись здесь со мной. Мне хотелось бы сделать копию для Тебя; но она довольно длинная и нет надежного способа послать ее Тебе. Да Ты и не поймешь ее без предварительного объяснения, поскольку она написана в виде очень коротких замечаний. (Это конечно значит что *никто* не поймет ее; хотя мне кажется что всё там абсолютно прозрачно. Но она переворачивает всю нашу теорию истины, классов, чисел и всё прочее.) Я напечатаю ее как только выберусь домой. Боюсь только что это *не будет*, в скором времени!“ И следовательно еще много времени пройдет пока мы встретимся. Едва могу себе представить как снова увижу Тебя! Это будет слишком! Наверное для Тебя будет невозможно приехать и навестить меня здесь? или пожалуй Ты думаешь что с моей стороны колоссальная наглость даже думать о такой вещи. Но если бы Ты был на другом конце света и я мог приехать к Тебе, то приехал бы. Пожалуйста напиши мне, как Ты; напомни обо мне д-ру Уайтхеду. Жив ли еще старик Джонсон? Думай обо мне часто! Всегда Твой Людвиг Витгенштейн.»

Открытка Энгельману 24.5.1919: «Огромное спасибо за Вашу милую открытку от 3.4. и за благоприятную рецензию. Проталкиваюсь сейчас через трудные душевно времена! Много было бы у меня что и сказать! — Пока одна просьба: вышлите мне сюда пожалуйста как можно надежнее и быстрее „Основные законы“ Фреге. Как-то уж дело пойдет. Пусть с Вами всё будет хорошо.» 12.6.1919: «Мой дорогой Кейнс, пожалуйста перешлите приложенное письмо по адресу Рассела. Хотелось бы мне как-нибудь его видеть, потому что, я уверен, он не сможет понять мою книгу без очень основательного объяснения, написать которое невозможно. Вы еще продолжали работать над вероятностью? Моя рукоп. содержит несколько строк об этом, где, мне кажется, — суть вопроса решена.» 12.6.1919: «Дорогой Рассел! Несколько дней назад я послал Тебе мою рукопись через посредство Кейнса. Я вписал туда только несколько строчек для Тебя. С тех пор Твоя книга [„Введение в математическую философию“, вышедшее в марте 1919] полностью попа-

ПРИЛОЖЕНИЕ

ла в мои руки и теперь у меня большая потребность Тебе кое-что написать. — Не хотелось бы верить, что надиктованное мною 6 лет назад Муру в Норвегии для Тебя пройдет так бесследно. Короче, я боюсь теперь что найти взаимопонимание с Тобой мне будет уже очень трудно. И малый остаток надежды, что моя рукоп. может тебе что-то сказать, совершенно испарился. Написать комментарий к своей книге я, как Ты можешь себе представить, не в состоянии. Я его мог бы дать тебе только устный. Если Тебе сколько-то важно понимание дела и Ты можешь устроить встречу со мной, то пожалуйста, сделай это. — Если это невозможно, то будь добр пошли рукоп. как только прочтешь ее надеждым путем обратно в Вену. Это единственный правленный экземпляр, какой у меня есть, и работа моей жизни! Больше чем когда-либо я *теперь* рвусь к тому чтобы увидеть ее напечатанной. Горько таскать по лагерям законченную работу и видеть, как на воле чушь раззванивает повсюду! И так же горько думать что никто ее не поймет, даже если она будет напечатана! — Писал ли Ты мне хоть раз после тех двух открыток? Я ничего не получил. Сердечнейший Тебе привет и *не думай, что всё то глупость что Ты не поймешь*. Твой верный Людвиг Витгенштейн.» 19.8.1919: «Дорогой Рассел! Большое спасибо за Твое письмо от 13 августа. Что касается Твоих вопросов, то *сейчас* я не могу на них ответить. Ибо во-первых я не всегда знаю к чему относятся Твои цифры, не имея копии моей рукоп. здесь. Во-вторых некоторые из Твоих вопросов требуют очень длинного ответа, а ты знаешь как для меня трудно писать о логике. По этой причине моя книга такая короткая, и как следствие такая темная. Но тут я ничем не могу помочь. — И боюсь что Ты собственно не уловил мою главную мысль, к которой вся история с логическими пропозициями только примечание. Вся суть в теории того, что может быть выражено (сказано) пропозициями — т. е. языком — (и, что сводится к тому же, что может быть *помыслено*) и что не может быть выражено пропозициями, а только показано (*gezeigt*); что, по-моему, составляет основную проблему философии. — Я послал мою рукоп. и Фреге. Он написал мне неделю назад и я вижу что он ни слова там не понял. Так что вся моя надежда увидеть поскорее Тебя и объяснить всё Тебе, потому что очень трудно остаться не понятым ни одной душой! [...]

Владимир Вениаминович Биbihин
ВИТГЕНШТЕЙН: СМЕНА АСПЕКТА

Корректор О. Е. Лебедева
Макет и верстка А. В. Иванченко

Подписано в печать 25.12.2004. Формат 60 × 84^{1/16}
Бумага офсетная. Печать офсетная
Тираж 1000 экз. Заказ

Институт философии, теологии и истории св. Фомы
105005, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 46, стр. 4
тел. 261-01-46
e-mail: thomas-secr@yandex.ru

Отпечатано в ГУП Московская типография № 2
Федерального Агенства по печати и массовым коммуникациям
129085, Москва, пр. Мира, д. 105, тел. 282-81-41

